

УНІТАСІОН
НАСЛЕДНИК

Лев Славин

Лев Славин

НАСЛЕДНИК



Лев Славин
НАСЛЕДНИК

АРДЕННСКИЕ СТРАСТИ

Романы

ДВА БОЙЦА

Повесть

РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

ББК 84Р7
С47



Составление и подготовка текста
С. Славиной

Вступительная статья
А. Туркова

Оформление художника
С. Кузякова

С $\frac{4702010201-149}{028(01)-90}$ 46-90
ISBN 5-280-01109-6

© Состав. Вступительная статья.
Оформление. Издательство «Художественная литература», 1990 г.

НЕДАРОМ ПОЖИТО!..

Лев Славин, представьте, претендовал на то, чтобы слыть счастливым. Иной раз совершенно серьезно: «Судьба благоприятствовала мне. Проведя четыре года на войне, я увидел конец ее в Берлине». Порой же с явной иронией: «Вел жизнь тихую, размеренную, участвовал в четырех войнах, из коих две мировые, а в свободное от них время писал».

Фраза чисто славинская — «тихая, размеренная», а в глубине своей таящая и улыбку, и мудрость, и грусть.

Он и свои воспоминания об Андрее Платонове начал словами: «Есть писатели легкой судьбы. А есть — трудной...», словно бы стесняясь собственной, того, что уцелел во всевозможных передрыгах эпохи, в отличие от многих современников и близких друзей.

Поэт более позднего поколения написал однажды: «Умирают мои старики, мои боги, мои педагоги...» Большинство же славинских друзей и ровесников, с которыми он вступал в литературу и у которых порой учился, уходили, не успев состариться: Эдуард Багрицкий, по свидетельству Льва Исаевича, знавшего его еще по Одессе, «мощно повливающий на всех молодых писателей, соприкасавшихся с ним», Михаил Кольцов, благословивший первый московский «дебют» Славина, Илья Ильф, Исаак Бабель, Евгений Петров, Борис Лапин, Захар Хацревин...

По-разному складывались судьбы уцелевших. «Таланты водятся стайками», — заметил Юрий Олеша. И в столице на первых порах веселая стайка, выпорхнувшая в двадцатых годах из Одессы, оставалась дружной и однородной. Неизменно пользовавшаяся читательской любовью со времени появления олешевской «Зависти», бабелевской «Конармии», катаевских «Растратчиков», «Двенадцати стульев», она, порой пышно именовавшаяся «одесской школой», знавала — да и до сих пор испытывает — в критике «приливы любви и отливы», часто далеко несоизмеримые с ее реальными достижениями и пробелами.

«Мы были очень молоды. Жизненный опыт наш был иногда глубок, но всегда узок», — вспоминал Славин самые первые послереволюционные годы, и эту характеристику можно в значительной степени распространить на многое, характерное для «одесской школы», брызжущей талантом, остроумием, жизнерадостностью и оптимизмом, и в то же время далеко не всегда захватывавшей в поле своего зрения бурный драматизм совершавшегося вокруг.

Об одном из персонажей первого славинского романа «Наследник» сказано, что он «боялся не только страданий, но даже и тех слов, которыми они называются. В его словаре вы не нашли бы чохотки, могилы, скорой помощи, землетрясения».

Подобное замечание можно во многом переадресовать некоторым произведениям выходцев из этой «школы».

Однако, как это бывает в подлинном искусстве, всякое творческое сообщество — отнюдь не солдатский строй, выравненный по линейке. Тревожные ноты возникали в «Зависти», кровавая реальность гражданской войны прорывалась сквозь «нарядность» бабелевского стиля, и «Наследник» тоже тяготел к подобной видению жизни.

Молодое щегольство эффектной метафорой (герой спешит к любимой «с радостью, слегка вздрагивая, как бегут на рассвете с полотенцем к речке», во время уличной перестрелки «прохожие разбегались с таким же точно ненатуральным визгом, как летом от дворника, поливающего улицы водой», и т. п.) не заслоняло в романе стремления к тому, чтобы перед читателем отчетливо «выступал огромный, грубый и неразборчивый текст жизни», наблюдаемой взволнованными глазами юноши, который постепенно, с трудом отрывается и от семейных традиций, и от сумбурного времяпрепровождения в богемной и кружковой среде, участники которой представляют собой «нечто среднее между эсером и бильярдином».

«Кому я смогу рассказать о фронте таком, каким я его вижу, — без героизма, без ненависти к врагу?» — размышляет Сергей Иванов, очутившись в окопах первой мировой войны, где буквально все жестоко оскорбляет «представление о герое, воспитанное... иллюстрированными журналами».

Этой первой большой вещи Славина не слишком повезло в критике. «В одной рапповской статье, — вспоминает писатель, — мой роман подвергся вздорным и злобным нападкам.. Писательская шкура моя тогда еще не была обмозолена, и я страдал».

Правда, немалым утешением служило то, что книга понравилась Всеволоду Иванову, одному из немногих, кого Славин с друзьями, по словам Льва Исаевича, «причисляли к разряду «настоящих».

К тому же роман, как богатый жизненными соками древесный ствол, дал новый мощный побег — пьесу «Интервенция», где, в частности, как бы разработан в образе Жени Ксидиаса иной, уже сатирический вариант судьбы юного «наследника», всего лишь кокетничающего своей мнимой революционностью. Его крикливо декларированная независимость от богатой «страны Ксидиас» обманчива и эфемерна, и он с куда большим правом, чем Иванов, мог бы сказать о себе словами романа: «...я был не более чем молодой шаловливый фокстерьер с голубым бантом на шее, выведенный на прогулку и уже среди гравы и солнечного блеска вообразивший себя свободным, а хозяин вдруг потащил его к себе, натянув ослабевшую цепочку, или даже не цепочкой, а просто свистом, который содержал в себе сразу идею победы и идею похлебки с жирными суповыми костями».

Познакомившись при сценическом воплощении своей пьесы с выдающимся актером и режиссером Рубеном Симоновым, Славин впоследствии писал о нем, что это «талант, ясный и вместе с тем терпкий,

в жизнерадостной легкости своей доходящий иногда до водевильности, а в других ролях поднимающийся до трагических высот».

В известной мере эта характеристика может быть отнесена и к ее автору, и, вероятно, поэтому встреча столь родственных дарований при постановке «Интервенции» создала замечательный спектакль, надолго вошедший в репертуар Театра имени Вахтангова.

«Картина, быть может, пестрая. Но эта пестрота умышленная, — писал один из строжайших рецензентов Ю. Юзовский. — Краски выбраны для нее подчас неожиданные, контрастные. Драматизированный анекдот. Случайная фигура, появляющаяся на мгновение, чтобы больше не появляться. Песенка. Драматическая новелла. Игра эпизодов».

Славин-драматург, как и Славин-прозаик, стремился к объемному, рельефному изображению жизни, способному вобрать рядом с драматическими событиями большого масштаба и такую будничную пестрядь, как грустно-юмористическая фигурка аптекаря, сбитого с толку калейдоскопом перемен и понуро жалующегося на то, что люди перестали болеть «нормальными» болезнями и что он уже три года не видел анализа мочи.

Причудливый колорит жизни Одессы в годы гражданской войны, усталость, растерянность, негодование французских солдат, постепенно распознавших уготованную им роль, романтически приподнятые образы подпольщиков и их гибель, — все это давало актерам поистине «редкий материал», как благодарно писал впоследствии, быть может, самый блистательный в артистическом созвездии спектакля А. Горюнов.

«Спектакль должен быть таким, — мечтательно сказал однажды Славин, — чтобы, посмотрев его, зрителю хотелось петь, драться, любить, мстить, строить, работать».

И такого эффекта он сам добивался и как драматург, и как автор появившейся в начале Великой Отечественной войны повести «Два бойца» (первоначальное название — «Моя земляки»), на основе которой родился широко известный одноименный фильм.

Перечитывая сейчас эту повесть, писавшуюся в осажденном, голодном Ленинграде конца 1941 года, и вспоминая кинокартину, где славинский талант снова вдохновил актеров, благодаря чему возник незабываемый дуэт Марка Бернеса и Бориса Андреева, думаешь, что маленькая книжка «Два бойца» оказалась тогда на самом строжайшем уровне литературы, пытливо приглядывавшейся к герою войны и стремившейся познать его душу, характер, секрет его героизма и стойкости. И как ни различны направления и жанры, как ни специфически окрашены «стрелы южного красноречия» одессита Аркадия Дзюбина, но уже что-то «теркинское» проступает в облике этого острого на язык, гораздо на выдумку, храброго и самоотверженного бойца.

Я говорил о самых значительных вехах творческого пути писателя, о тех его произведениях, которые особенно запомнились людям нашего поколения, вписались в их духовный мир, в саму их личность.

Но и любое другое из многочисленных произведений Льва Славина всегда привлекало к себе внимание широкого круга читателей, будь то исторические повести о Белинском и Герцене, роман «Арденнские

страсти» или «скромные» очерки о послевоенной Польше или об Армении. Во всем им написанном ощущаются талант, высокая культура работы над словом, а главное — серьезное, неспешное раздумье над жизнью.

Еще в первые месяцы войны писатель вместе со своим героем Аркадием Дзюбиным горько задумывался над тем, как это Гитлеру удалось так «обработать» души соотечественников, превратив множество немцев в послушные и бездушные орудия своих бесчеловечных планов. Подобные мысли не оставляли Славина и десятилетия спустя, когда он вдумчиво подытоживал все пережитое в этом веке и миром, и нашей страной.

«...маленький, подленький человек, — размышляет один из немцев в «Арденнских страстях» об активном деятеле СС. — И откуда Германия выгрэбла их в таком количестве? Самое ужасное в том, что всегда находится именно столько палачей, сколько им нужно».

И в этих горестных раздумьях не только героя, но и самого писателя нет высокомерного отношения «чистого» к «нечистым». Слишком многое в чужой жизни, чужой истории будило острые воспоминания о злоключениях своей страны, современников, друзей.

В рассказе «Помнишь Хемингуэя?» Славин ощутил и передал молчаливую трагедию двух советских военачальников, переживших гибель Испанской республики, различил «за... маской власти и гнева комочек боли» за происшедшее за Пиренеями и происходящее на родине, тайное предчувствие собственной близящейся гибели.

Драматичны и рассказы о друзьях по литературе, чьи писательские судьбы были или просто непоправимо оборваны, или, во всяком случае, изломаны и скомканы, как у Юрия Олеши, Андрея Платонова и, наконец, Василия Гроссмана, которому посвящены полные сочувствия страницы очерка «Армения! Армения!».

Славин писал об Ильфе, что тот «был мягок, но и непреклонен, добр, но и безжалостен».

Так можно было бы сказать и о нем самом.

Стеснительный Лев Исаевич, не задумываясь, подошел к Михаилу Булгакову, чтобы поздравить его с прекрасной пьесой о Мольере, над которой уже сгущались тучи.

Он не покидал опальных друзей и не благоволил к тем, кто процветал на образовавшемся безрыбьи и по-рачьи пятился назад.

Недаром один, причем далеко не худший, из подлинных «счастливицков» той поры признавался, что не ждет для себя добра от Славина-мемуариста.

Долгая жизнь Льва Исаевича (1896—1984) завершилась, но смотришь на полку, где стоят его книги, и вспоминаешь слова его юной героини о деревьях: «И совсем они не молчат. Разве ты никогда не слышал, как они разговаривают? Протягивают друг другу ветки и разговаривают».

Так, может быть, это и есть подлинное творческое счастье?

«Ей-богу, недаром пожито!» — как восклицал перед смертью один из героев «Интервенции».

А. Турков

НАСЛЕДНИК

Роман



1

Поручика Третьякова я узнал слишком поздно. Поручик плотен в талии. Кривоватые ноги его затянуты в щегольские лаковые сапожки. Есть в нем какая-то ненатуральная стройность, как будто он только притворяется стройным, а на самом деле вихлястый рассыпчатый человек.

То же притворство лежит на его лице. Есть лица, по которым узнаешь не только характер человека, но и события его жизни. Лицо поручика Третьякова открывает, что он начал кражей серебряных ложек из маминого комода, был изгнан из четвертого класса гимназии за дурную болезнь, не допускался в семейные клубы за чрезмерное счастье в карточной игре. Взятки и спекуляции обозначаются на его лице с такой отчетливостью, что удивительно, как же не видят этого другие, особенно женщины, которые любят его много и самоотверженно.

Кроме того, поручик Третьяков носит на шашке кожаный *темляк*, значение которого мне объяснили товарищи, как только я вступил в полк. Случилось это в 1916 году, в третью зиму великой европейской войны. В августе призвали восемнадцатилетних.

Я получил от воинского начальника повестку, где было сказано, что «Сергею Николаевичу Иванову надлежит явиться 15 сего сентября в воинское присутствие для медицинского освидетельствования на предмет зачисления в ряды войск, согласно приказу его императорского величества...».

Дед мой, Израиль Абрамсон, у которого я тогда жил, чрезвычайно расстроился. У этого крепкого и вспыльчивого старика была натура нежная и паническая. Он боялся крови, похоронных процессий, выстрелов, открытого моря, сквозняков, женских слез, понедельников, он отвергал все это и жил в мире приятного, созданном его воображением. Но повестка воинского начальника лежала на столе, и старик не осмеливался прикоснуться к ней, к яду этих холодных слов.

Было решено, что возлюбленный сын его единственной дочери пойдет к доктору. Не может быть, чтобы дитя было здорово, чтобы в его небольшом теле не нашлось какого-нибудь недуга — сердечной болезни, или пупочной грыжи, или самого легкого смещения печени. А так как старик боялся докторов, со мной пошла бабушка моя Идес Абрамсон.

— Ребенок слаб,— сказала она, треща праздничным корсетом,— прошу вас, осмотрите хорошо его организм.

Доктор посмотрел на мою грудь гребца и попросил меня побегать вокруг стола. Я побежал, отставив локти и выкидывая колени, как учили меня в гимнастическом клубе «Турн-Феррейн». Я бежал, испытывая ту особенную летучую радость бега, какая знакома каждому легкоатлету. Доктор остановил меня движением стетоскопа.

Он выслушивал меня, настойчиво стуча согнутым пальцем по ребрам, как человек, которому долго не открывают двери. Он мял холодными пальцами мое обнаженное тело с упорством, от которого мне становилось стыдно. Он ползал по мне, искал болезнь, вызывал ее, как заклинитель, вверху, внизу и посередине.

— Смотрите хорошенько, доктор! — просила бабушка, всхлипывая.— Его покойная мать Сарра умерла от чохотки, у нее была гнилая кровь, моя кровь...

— Вы забываете,— сказал доктор, умывая руки,— что ваша дочь смешала свою кровь с кровью Николая Алексеевича Иванова, человека сильного, с превосходным аппетитом.

Он обменялся с бабушкой небрежным рукопожатием,

вполне достаточным, впрочем, чтобы перехватить десятирублевую бумажку.

— Боже мой,— говорила старуха, когда мы возвращались домой,— как я скажу твоему дедушке, что ты совершенно здоров?..

Действительно, дедушка пришел в бешенство. Он не пошел в тот вечер в клуб «Торговцев и ремесленников» для своей обычной партии в стуколку, а все ходил по комнатам и громким голосом проклинал моего отца. Подлость этого человека, как видно, не имеет границ! Разве можно перечислить все обиды, которые перенес он, Израиль Абрамсон, от этого нищего дворянина? Бродяга, голоштанник, он выманил у Абрамсона деньги, увлек его дочь, обратил ее в православие, вогнал в могилу, сам застрелился и вот, точно мало ему, продолжает пакостить из могилы, передав сыну свою грубую натуру христианина!

Присев за письменный стол, старик в тот же вечер написал письмо моему другому деду, с отцовской стороны, графу Шабельскому, который губернаторствовал в Пензе.

«Пусть Вам будет известно,— писал он почерком рондо, с которым обращался только к наиболее почтенным заказчикам,— пусть будет Вам известно, что Сереженьку призвали в армию. Между тем достаточно одной записки Вашего превосходительства, чтобы ребенка зачислили в зубоврачебную школу или в музыкальное училище, которые дают освобождение от военной службы. Жена моя Идес и я шлем привет Вашей почтенной супруге, ее сиятельству Марфе Егоровне».

Граф Шабельский ответил с поспешностью, которая растрогала всех:

«Печальная участь, грозящая сыну моего незабвенного Nicolas, наполняет меня ужасом. В нехороший час мы подняли оружие. Скажите Сергею, что ему там нечего делать. Сидеть в окопах и строчить, как швейка, из пулемета — это не дворянское занятие, дорогой Израиль Маркович! В расходах прошу вас не стесняться. Я бы и сам примчался к вам, если бы не то, что обожаемая моя супруга, графиня Марфенька, готова каждый день разрешиться от бремени. Преклонные годы мои сообщают этому событию характер почти научного открытия. При сем прилагаю письмо к полицмейстеру вашего города, капитану Садовскому. Обратитесь к нему: пройдоха Садовский непременно найдет способ вызволить Сережу.

Графиня пожелала приписать несколько слов. Болезнь и волнения сделали нетвердой руку ее сиятельства».

Несколько строк невероятных каракуль извещали, что графиня «молица за дорогово Сереженьку и целует ево нещетно...».

За семнадцать лет брака графиня Шабельская, ранее купеческая вдова Бабакина, не могла овладеть грамотой. Графу Матвею Семеновичу это только нравилось. Он находил отраду в том, чтобы шокировать свою среду манерами Марфы Егоровны. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как люди его круга угодничают перед безграмотной миллионершей. Он видел в этом новое доказательство для своего искреннейшего убеждения, единственного, которое он имел во всю жизнь, — убеждения в низости человеческой природы. Странно, что такая мелкая идея овладела этим неглупым человеком, но он веровал, что люди подлы, и доказал это личным примером, женившись после разорения на богатой вдове, польстившейся на его титул. Если не считать французских рационалистов XVIII столетия и охотничьих собак, мой несчастный отец был самой крепкой его привязанностью. В беспутных судьбах этих двух людей находили много схожего. Привязанность эту унаследовал я, и Матвей Семенович впрямь приехал бы сейчас, несмотря на свои шестьдесят девять лет, если бы не роды жены, которых престарелый граф ожидал с ребяческим любопытством. Через несколько дней телеграмма известила нас о рождении графини Анны, названной так в честь христианского имени моей покойной матери. Я узнал в этом каверзную натуру Шабельского, который не постеснялся взволновать стариков Абрамсонов напоминанием о дочери.

Между тем дедушка Абрамсон уже успел побывать у полицмейстера. Однажды утром он надел новый цилиндр и предложил мне пойти погулять.

— Граф Матвей Семенович, — сказал дедушка, когда мы вышли, — писал мне, чтобы я с полицмейстером не торговался, — расходы он берет на себя. Мне смешно. Неужели он думает, что мы тебя любим меньше, чем он? Скажи, дитя, — взволнованно сказал старик и взял меня за подбородок, — тебе было бы приятней, чтоб кто дал взятку: граф или я?

— Вы, дедушка, — сказал я уныло.

Старик успокоился.

— Но все равно, — сказал он со вздохом, — некому

давать. Сенаторская ревизия уволила капитана Садовского, а новый полицмейстер не берет взятки. Он не будет их брать еще не менее двух месяцев, чтобы создать себе славу неподкупности и тем набить цену. Конечно, человек из столицы, потребности выше.

Он остановился у парадного хода и позвонил. Тут только я догадался о цели этой прогулки, увидев на дверях табличку: «Ромуальд Квецинский, артист». Мне стало грустно.

Известный всему городу Ромуальд Квецинский не имел никакого дела с музами драмы или комедии. Он также не выступал ни в опере, ни в цирке, ни в «Театре миниатюр», ни даже в балаганах на Куликовом поле, где в пасхальные дни безголосые теноры состязались с ревматическими акробатами. Но ловкость, с какой он проделывал свои манипуляции, заслуживала какого-нибудь титула. Это были манипуляции над законами Российской империи. Грузные, нечеловечески важные, они приобретали в его грациозных руках летучесть жонглерских шаров. Мне стало грустно, ибо давно уже я чувствовал влечение к гуманитарным наукам. Я мечтал об историко-филологическом факультете, в частности об отделении древних литератур. Я любил латынь, культуру августовского века, Сатирикон, Светония. Между тем, переступив порог квартиры Квецинского, я понимал, что переступаю порог медицинского факультета, костлявого, исполненного воню.

Квецинский сам открыл нам дверь: щекотливость его дел не допускала присутствия в доме слуг. Мы увидели маленького изящного господина с лицом усталым и скучающим. Он был в смокинге, белая грудь рубахи топорщилась с важностью, необходимой при его малом росте.

Очутившись впервые в кабинете знаменитого Квецинского, я с любопытством огляделся. Тогда, в зиму 1916 года, вошли в моду предметы военного обихода. Считалось хорошим тоном иметь пепельницу в виде оружейного стакана, накрывать бумаги осколками снаряда, оправлять карандаши в ружейные гильзы. В кабинете Квецинского эта бутафория войны приобретала необыкновенные размеры. Настоящие патроны, а не только гильзы, отшлифованные, с капсюлями, в разнообразных комбинациях, образовывали чернильный прибор. Предложив нам сигары, он выстрелил в дедушку из маузера, который вдруг оказался бейзиновой зажигал-

кой. Мы стряхивали пепел в ручные гранаты и вешали шляпы на штыки. Всюду валялись орудия смерти, обезвреженные, прирученные. Портрет царя в солдатской фуражке висел на стене среди винтовок — германских, австрийских, японских. За всей этой воинственной обстановкой едва различим был маленький рояль розового дерева. Квецинский был пристрастен к сентиментальным романсам (Мендельсон, Гречанинов) и исполнял их достаточно хорошо, чтобы выступать на благотворительных вечерах в пользу раненых воинов, — разумеется, без всякого гонорара, единственно, из патриотического порыва.

Дедушка опустился на стул, с отвращением поглядывая по сторонам.

— Моему внуку нужно поступить на медицинский факультет, — сказал он коротко.

— Пана Сергея влечет медицина? — грациозно спросил Квецинский, не принимая делового вызова. Он любил длинные изящные беседы, полные деликатных намеков.

Но дедушка не расположен был к любезничанью. Обстановка его ужасала.

— Сколько? — спросил он нетерпеливо.

— Пятьсот, — холодно ответил Квецинский.

— Двести! — резко сказал дедушка. — Я не поставщик сапог. Не спекулянт на сахаре. Не фальшивомонетчик.

Квецинский ничего не ответил и, скучая, стал вертеть в руках безделушку в виде противогАЗа. Дедушка вздрогнул и согласился.

— Завтра пришлите мне следующие документы, — сказал Квецинский и начал загибать свои тонкие белые пальцы пианиста и шулера, — справку от полицейского участка о вашей нетрудоспособности, заверенную господином участковым приставом. Если пристав пану не знаком...

— Он у меня на жалованье, — сухо сказал дедушка.

Квецинский одобрительно склонил голову.

— И справку о том, что пан Сергей состоит на иждивении своего родственника — георгиевского кавалера.

— За пятьсот рублей вы сами могли бы дать кавалера, — пробормотал дедушка.

Квецинский сожалительно развел руками.

— Поверите, такой спрос! Если война продолжится еще два года, нас ждет банкротство. Да, Израиль Марко-

вич, я предсказываю серьезный кризис на георгиевских кавалеров.

— Этот мошенник жалуется на войну, — сказал дедушка, когда мы вышли на улицу, — а между тем совсем недавно он был только шулером, да, мелким пароходным шулером, которого били не меньше, чем пять раз за летний сезон. Война убила навигацию, но она дала в руки Квевцинскому его новое ремесло. К сожалению, не одни только бывшие шулера занялись такими делами. Смерть оказалась доходным предприятием, Сереженька! Кому я не перестану удивляться, так это Авичу, который поставляет солдатские иконки на передовые позиции. Я с ним уже не кланяюсь. Но разве он один? А Клячко, который открыл завод для переработки костей, собираемых на поле сражения? А Рубинштейн, а Перкель, а Вржещ, а Симоненко? Мне скоро не с кем будет раскланиваться в этом городе. Сто на сто уже не считается заработком, выгоняют двести, четыреста! Гибнет настоящая торговля, старая честная коммерция. Какие-то новые времена настают. Попомни мое слово, Сергей, все это кончится невиданным крахом. Твои социалисты не так уж глупы: никогда еще протест векселей не достигал таких размеров.

Так рассуждал мой дедушка, влача по солнечным улицам свою честность, как горб, и замолчал не прежде, чем мы вошли в контору, в его собственную контору «Израиль Абрамсон и К°», старое честное учреждение по экспорту хлеба, со стеклянными перегородками и ежегодным дефицитом в четыре тысячи довоенных рублей. Управляющий выбежал к нам навстречу.

— Скажите, Петя, — сказал ему дедушка, — среди наших служащих нет ли часом георгиевского кавалера?

— Как же, — ответил управляющий, поглаживая свою пышную старообрядческую бороду, — инвалид Рувим Пик, сторож склада номер семнадцать.

— Пришлите его ко мне, Петя, — сказал дедушка.

Рувим Пик явился вечером, когда мы пили чай в большой столовой. Он остановился на пороге, ослепленный великолепием этой комнаты. Огромная люстра, подражавшая семисвечнику, распространяла неяркий свет. На стенах висели варшавские, одесские и гомельские Абрамсоны (с изобретением фотографии у евреев появились галереи предков). Они струили по сюртукам свои бороды, хвастливые, как павлиний хвост. Возле каждого была жена, чистенькая старушка в шелковой

наколке. Здесь совсем не было молодых лиц, кроме портрета моей матери, Анны Степановны. Фотограф поставил ее боком, и она улыбалась из-за плеча во всей своей красоте, девятнадцатилетней, дерзкой, взволнованной.

Рассказывают, что такой именно увидел ее в первый раз мой отец, когда приехал сюда в высоких болотных сапогах, со сворой гончих, будто бы отдохнуть после охоты, а на самом деле просить старика Абрамсона в третий раз переписать векселя, хотя бы под залог палисандровой гостиной — царского подарка, которому не было цены. Увидев мою мать одну в прихожей, молодой Иванов пошатнулся, — он ощутил нечто вроде удара меж глаз, ослепительный приток нежности, сжавшей ему сердце. Он едва нашел в себе силы схватить ее за руку и пролепетать что-то невнятное о ее красоте. Девушка вырвалась и убежала к себе в комнату, где провела всю ночь за дневником и телефонной трубкой, допытываясь у себя и у подруг — возможно ли влюбиться в незнакомого мужчину чужой веры, видел его не более двух минут в плохо освещенной прихожей? Дело кончилось отчуждением палисандровой гостиной в дедушкину собственность за злостную оттяжку всех законных сроков для погашения векселей.

Имея твердое намерение поразить Рувима Пика в самое сердце, дедушка снял наконец с знаменитой мебели чехлы, которые не снимались со дня бегства дочери, проклятой стариками и не прощенной до смерти за брак с христианином. Разоблачение мебели походило на похороны, сопровождалось проклятьями, слезами, запахом валерьянки.

— Ты видишь, Сережа, — говорила бабушка, отирая пыль, — дедушка ушел. Он не может этого видеть. Он притворяется, что все в порядке. Но разве я не слышу, как он плачет во сне и молится: «Прости меня, доченька, прости меня». Бог наказал его за гордость. Ну, а меня за что?

Для Рувима Пика было придвинуто самое большое кресло. Инвалид почтительно расположил среди царских вензелей свое разрушенное тело.

Дедушка не спешил начать разговор. Он медленно пил чай вприкуску и критически разглядывал инвалида.

У Рувима Пика недоставало правой ноги. От нее осталась едва ли восьмая часть — толстый обрубок в штанине, аккуратно заколотой английской булавкой.

Сабельный удар пересекал его лицо от подбородка к виску с такой силой, что глаз и ухо сдвинулись с положенных мест.

— Ну, Рувим Пик, — сказал дедушка, — вы георгиевский кавалер?

— Я георгиевский кавалер, — повторил Рувим Пик и поджал губы с видом человека, который от этого вовсе не в восторге.

— Что же, — сказал дедушка, привычно раздражаясь, — что же, я должен верить на слово?

Инвалид поспешно расстегнул ворот и откуда-то из смрадных пазух своей рубахи вытащил красивенькую бумажку с золотым обрезом, которую ему выдало правительство взамен потерянной ноги. Дедушка развернул ее. Там было написано, что «рядовой 171-го стрелкового полка Рувим Пик 13 февраля 1915 года в деле под Бзурой проявил *пренебрежение к смерти*, за что награжден орденом святого Георгия четвертой степени».

— Эй, господин Пренебрежение, — сказал дедушка, — сколько ты у меня получаешь?

— Тринадцать рублей, — сказал Рувим Пик и угодливо улыбнулся.

— Ты будешь получать восемнадцать, — сказал дедушка. — Слышишь, Пик? На целых пять рублей больше.

Да, Пик слышит. Он, правда, не верит своим ушам. Он думает, что это сон или грезы, какие иногда посещают бедных людей. Пик сделал несколько шагов к столу, не переставая говорить. Он назвал дедушку водоемом добродетелей, утешением еврейского мира, он клялся в этом и призывал в свидетели весь фотографический сонм предков. Остаток ноги покачивался в такт его цветистому красноречию. В конце своей речи Пик с неожиданным коварством спросил: чем он, собственно, обязан этому ливню щедрот, пролившемуся на его ничтожную голову?

Вопрос был поставлен в упор. Дедушка, рассчитывавший, что солдат подпишет бумажку об иждивении без расспросов, покраснел от унижения и стал объяснять.

— Нет, — сказал Рувим Пик, — я не могу, хозяин!

Он отталкивал от себя документ со слепым ужасом неграмотного человека перед бумагой.

— Хорошо, — холодно сказал дедушка, — я тебя не насилую, Рувим Пик. Когда Сережу убьют на войне,

я сделаю ему памятник с надписью: «Убит зверской рукой Рувима Пика».

Инвалид замахал руками и с отвращением взял перо...

Я его встретил на другой день у ворот. Казалось, он поджидал меня. Он попросил у меня рубль. Я дал. Через несколько дней бабушка мне призналась, что инвалид вторгается к ней в спальню каждый день и требует денег, говоря: «Вы же у меня на иждивении, вы должны мне помочь». Она дает ему деньги и выпроваживает по черной лестнице, боясь, чтобы его не увидел дедушка, который, по гневности своей натуры, может прогнать инвалида и тем расстроить мое поступление на медицинский факультет.

— Он пьет, Сережа, — прибавила бабушка шепотом, — люди видят Рувима Пика в кабаках. Передают, что он путается с какой-то Маргаритой, которая ради денег не гнушается пускать к себе безногого калеку.

Подумать, что столько усилий было приложено напрасно! Когда в назначенный день я пришел в канцелярию университета, я, правда, нашел свое имя в списке принятых, но с пометкой: «Историко-филологический факультет». Поначалу я обрадовался, но вскоре сообразил, что не смогу насладиться прелестями филологических наук, ибо через две недели буду взят на войну. Еще больше я страшился гнева дедушки и потому целый день слонялся по городу, не без приятности играя на бильярде с моими друзьями, Володей Стамати и Володей Мартыновским.

Только поздно вечером я вернулся домой, все еще не выбрав слов, достаточно деликатных, чтобы сообщить дедушке об ужасной новости. Но старик уже знал ее. Он протянул мне письмо, полученное им от Квецинского, где артист изящно извинялся в катастрофе, происшедшей не по его вине, и возвращал пятьсот рублей за вычетом организационных расходов.

— Я на него не в обиде, — сказал дедушка с грустью, — два с половиной процента могут считаться законными для сделок в военное время. Но что же будет с тобой, Сережа? Мы с бабушкой толковали и решили, что тебе остается только одно: *оттягиваться*.

— Я вам дам ответ завтра, — сказал я и выбежал, оставив старика в недоумении...

...потому что все еще я не знал, что думать о войне. Она началась для меня знойным июльским утром 1914 года, когда солдаты из соседней казармы выступили на фронт. Это были первые маршевые роты, когда никто не плакал, полковые оркестры играли марш из «Африканки», офицеры шли впереди взводов танцевальным шагом, поднимая к козырьку учтивую руку в элегантной замшевой перчатке. (Это было горе только для влюбленных, которым даже три недели разлуки казались вечностью. Никто не верил, что война продлится дольше. Не верили в выстрелы, в кровь, в невозможность поехать на Карлсбадские воды. Пришлось инсценировать злобу против немцев, запретить оперы Вагнера, гамбургскую колбасу.)

С рассудительным волнением начитанного мальчика следил я за движением рядов, стройных, как на учении. В моем мозгу мешались батальные сцены из Виктора Гюго с акварельными атаками профессора Самокиш-Судковского, кои давались бесплатным приложением к журналу «Семейный досуг». Пожалуй, мне нравилась война! В семье Абрамсона я не разыскал следов патриотического возбуждения. Их не оказалось и в семье Шабельских, где я гостил каждый год по два месяца. Какая-нибудь случайность — фотография в газете, траурный креп, падение Перемышля — переворачивала мои мысли.

Бесноватые ораторы собирали на площадях несметные толпы народа и произносили речи о зверствах императора Вильгельма, уверяя, что у него из правого уха течет зловонная жидкость. Под влиянием их красноречия я целую неделю ненавидел Вильгельма, пока не узнал, что бесноватость ораторов обеспечена текущими счетами монархического союза «Михаила архангела».

Тогда начал выходить журнал «Русские герои на войне», где на отличной бумаге способом многокрасочного печатания изображались подвиги солдат русской армии всех национальностей, кроме евреев. Обиженные этим, военные поставщики-евреи выпустили журнал «Евреи на войне», где описывались, с применением тех же способов типографского прогресса, героические поступки на земле, в воде и в воздухе, совершенные одними евреями. Я читал оба журнала и, чувствуя в себе муже-

ство двух наций, рвался на войну. Разброд чувств не прекратился и тогда, когда я вступил в подпольный социалистический кружок.

В организацию меня вовлек мой бывший репетитор Кипарисов, студент-естественник, с умным, утиным лицом, в круглых очках, похожий на школьный портрет Грибоедова.

Приглашение Кипарисова мне польстило. Я немедленно возвысился в собственных глазах. Кроме того, я надеялся получить от организации твердое и окончательное разрешение мучивших меня вопросов, в частности — вопроса о войне. Относительно многих вещей члены кружка придерживались полного единодушия. Так, например, все без исключения соглашались, что религиозные догмы произошли от первобытного поклонения силам природы, от фетишизма, анимизма, тотемизма, терротемизма. В то же время одни говорили, что победа над немцами укрепит самодержавие и что нам следует желать поражения России. Я сделался пораженцем. Другие говорили, что война действительно бесчеловечна; однако немцы — варвары, гунны и исторические разрушители культуры, что подтверждается артиллерийским обстрелом Реймского собора. Пример с Реймским собором подействовал на меня, и я сделался оборонцем. Я быстро сделался опять пораженцем, когда увидел, что все наши гимназистки (даже Лидочка Шоль) гуляют с прапорщиками.

Прапорщики задавали тогда тон. Их выбрасывали тысячами каждую неделю из бесчисленных офицерских школ, чтобы пополнить неслыханную убыль в командном составе. Офицеры бесчинствовали в тыловых городах. Кутежи. Заносчивость. Азарт. Ореол геройства. Им подражали многочисленные чиновники из полувоенных организаций, молодые врачи, служащие Земского союза, Союза городов, Северо-помощи, гидротехнических канцелярий и Особого комитета по снабжению действующей армии сухарями. Все эти организации давали право на ношение формы, которая не отличалась от офицерской. Только в погонах было маленькое различие — тусклый фон или крошечные зигзаги по краям. В золотошвейных научились делать эти зигзаги почти неразличимыми, так что не только солдаты, но даже старые, опытные городские по ошибке козыряли чиновникам и только после спохватывались и ругали себя за позор. А самое главное — все эти организации давали отсрочку от военной

службы, почему там и скопилось множество молодых здоровых людей.

Володя Мартыновский попал в Земсоюз благодаря протекции своего дяди — генерала Епифанова. Я встретил Володю на улице. На нем были шашка, шпоры, полевая сумка, компас, часы со светящимся циферблатом, термос, маузер, полевой бинокль и походная папиросница на ремне.

— Что ты так разукрасился, Володька? — сказал я, подойдя к нему. — Всем известно, что ты строишь бани в тылу.

Володя положил руку на термос. Военная доблесть блеснула в его глазах.

— Священная обязанность наша, — сказал он, — оборонять родину от нашествия тевтонов. Я не позволю смеяться над этим.

Я плюнул и отошел. Мы рассорились. Мной овладела зависть к золотым погонам, которых я не мог достигнуть из-за своего полуеврейского происхождения. Я примкнул к штатским, белобилетчикам, к симулянтам, к тем, кто купил себе удостоверение о паховой грыже или о плоской ступне. Мы собирались в своем кругу, где-нибудь в маленькой кофейне, в глухих уголках парка. Там мы критиковали стратегические планы главного штаба и пели вполголоса куплеты: «Прежде я был дворником, звали меня Володей, а теперь я прапорщик, ваше благородье...» Говорят, что эту песенку сложили старые офицеры мирного времени, завидуя прапорщикам за их быстрое продвижение в чинах, на которое раньше надо было класть годы работы, лести, низкопоклонства.

Однажды на бульваре пьяный мастеровой запел эти куплеты. Офицеры возмутились. Один из них выхватил шашку и зарубил мастерового насмерть. Военно-окружной суд приговорил убийцу к двухдневному домашнему аресту и церковному покаянию. Монархические газеты напечатали его портрет на первой странице во весь рост, в сопровождении стихов, аттестовавших его как нового Ивана Сусанина. Многие тогда увидели извилистый нос, лукавые глаза и стан неестественной стройности. Офицера звали поручик Третьяков.

Выбежав от бабушки, я пошел прямо к Кипарисову. Я радовался заранее его умному, утиному лицу и большим спокойным рукам. Эти руки производили впечатление задумчивых, оттого что, разговаривая, Кипарисов медлительно шевелил пальцами. Они как будто думали

вместе с ним, производя на свет спокойные, плавные мысли. И вдруг, сжимаясь в кулак, обрушивались последним неопровержимым ударом.

Невозможно было спорить с Кипарисовым: он не только отличался острым умом, но и обладал еще особым способом мыслить, который он назвал «методом». Этот метод казался мне похожим на ключ, который подходил решительно ко всем замкам, к несгораемым шкафам религии, философии, морали, политики. Ах, особенно политики! Я много дал бы за обладание этим ключом, ибо с ним можно было чувствовать себя легко в жизни, почти волшебником. Иначе говоря, Кипарисов представлялся мне всеведущим; и сейчас, идя к нему, я знал, что застаю его за книгой, сочинением устрашительной толщины, окаймленным дебрями примечаний, и которое тем не менее Кипарисов без труда опровергает своим удивительным методом, покуривая махорку и улыбаясь с непобедимой насмешливостью.

Кипарисов сидел верхом на кухонном столе, заваленном рукописями, и играл в карты с хозяйским сыном. В пылу игры они меня не заметили. Это был «подкидной дурак». Лицо Кипарисова нахмурилось. Мне было знакомо это выражение мозговой напряженности. Очевидно, он проиграл, ибо крепко выругался и бросил карты, а мальчик, засмеявшись, принялся щелкать его по лбу, по великолепному высокому лбу, отшлифованному в умственных бурях. Тут Кипарисов увидел меня.

— Сережа, у вас серьезное дело, — сказал он, скинув ноги со стола, — вы чем-то встревожены. Расскажите.

— Дмитрий Антонович, — сказал я, — Митенька, меня берут в армию через три недели. Я могу отвертеться — скажем, буду *оттягиваться*. Но я еще не знаю, как смотрит организация, как вы на это смотрите, Митенька, на вопрос о войне.

Поддавшись искушению, я прибавил:

— Разве карты не есть сословно-классовое развлечение, которому не будет места при социалистических формах жизни?

Кипарисов посмотрел на меня с недоумением и рассмеялся. Он попробовал сдержать смех, но ему становилось все смешнее. Он повалился на стул, хохоча и в бессилии махая руками. Он вылез из этого смеха ослабевшим, как утопленник, и сказал, утираясь платком:

— Вот что, Сережа, приходите сегодня вечером к Мартыновскому. Мне нравится ваше принципиальное

отношение к вопросу о войне. Мы поставим его на обсуждение. Кстати, это будет отличной проверкой отношения членов кружка к войне. Словом, будет жарко.

Он надел картуз, взял меня под руку, и мы вышли на улицу.

— Видите ли, Сережа,— сказал он по дороге,— вы давеча обиделись, когда я рассмеялся. Рассмотрим этот случай. Вы правы. Я все явления рассматриваю с точки зрения диалектического материализма и на нем же основываю свои действия в жизни. Но — как бы вы это поняли, мальчик! — это великое учение вовсе не состоит в том, что человек должен с утра до вечера сидеть над толстыми книгами. Карты (а карты только частный случай), вино, любовь или, скажем, рысистые бега вовсе не будут нами оставлены при переходе из царства необходимости в царство свободы. Фурье, если помните, даже строил свои фаланстеры на разумном использовании человеческих страстей. Страсти, Сережа, хотя они основаны на изменениях клеточек материи, имеют свое течение.

Я признался Кипарисову, что я тоже считаю, что все основано на изменениях материи, но твердость этого убеждения часто колеблется идеалистическими писателями во главе с Эрнстом Махом, иногда простым дуновением весеннего ветерка, а чаще всего ссорами со стариком Абрамсоном, ибо я не могу поверить, чтобы такая алчность и придирчивость порождались простыми изменениями материи, а не злобным демоном сварливости, который засел в старике.

— Вы видите вещи не в реальном свете необходимости, а в произвольном блеске воображения,— проговорил Кипарисов и скрылся в дверях пивной, оставив за собой атмосферу всемогущества, слегка разреженную горьковатым запахом махорки, которую он курил, будучи бедняком.

3

Дом, в котором жил Володя Мартыновский, принаследжал дяде его — генерал-лейтенанту Епифанову, герою Перемышля. Никто не мог бы подумать, что в этом аристократическом особняке собираются поклонники Бланки и Маркса, что здесь рассуждают о бомбах, об экспроприации орудий производства, клянутся в верно-

сти рабочему классу над чаем с марципанами от Печеского и обсуждают технику царевубийства. К тому же старинный дом был почти пуст: мужчины, подрастая, уходили на войну, за ними разбредались жены по фронтам, по лазаретам. Десятки писем стекались сюда еженедельно из Персии, из Галиции, из Польши, из Салоник. Володя старательно вел корреспонденцию, извещая каждого члена этой огромной семьи обо всех переменах, происходящих с остальными, о смертях, калечиях, повышениях в чине. Володя хвастался своим положением. Он корчил из себя хранителя фамильных традиций, он говорил, что его устроили в Земском союзе с отсрочкой специально, чтоб не угасла династия Епифановых. Мы знали, что он просто трус. Но по правде сказать, не все ли нам равно!

Володя был одержим болезнью услужливости. Неуверенный в себе, хвастун, прилипала, он покупал доброе расположение своим отличным столом, библиотекой, связями в штабе. Мы пользовались всем этим без стеснения и не любили Володю.

Он встретил меня в дверях. Холодный поклон. Мы дулись друг на друга после недавней ссоры на улице.

— Все в сборе, — сообщил Володя безразличным голосом, будто вовсе и не мне. — Кипарисов собирается открыть заседание.

— Много народу? — сказал я тоже в пространство.

— Ужасно много! — ответил Володя обрадованно. — Кипарисов назвал людей из других кружков. Человек шестьдесят. Есть настоящие рабочие. Есть анархисты. Есть девочки. Как ты думаешь, удобно потом предложить ужин? На всякий случай я заказал повару.

«Зачем он назвал столько народу!» — с неудовольствием думал я, не отвечая Володе и идя дальше по коридору.

Я знал, что мне будет нехорошо. Мне всегда нехорошо среди незнакомых, несвободно, стеснительно. Наоборот, чем больше своих, известных, тем мне лучше. Но не было никакой надежды сблизиться или хотя бы просто познакомиться в короткий срок с таким множеством людей.

Я начал осторожно приоткрывать дверь, надеясь незаметно войти. Но дверь с язвительным визгом закрипела, и все глянули на меня. Я увидел подобие колоссального рокошущего блина, в котором слиплись все лица. Они качались, эти лица, как привязные шары,

смеялись, хмурились или кричали. Все увидели меня разом, и я знал, что у каждого из этих шестидесяти человек появилось впечатление обо мне. «Он глупый», — подумали одни. «Неловкий», — другие. «Как он попал сюда?», «Должно быть, ничтожество», «Ничего себе, только застенчивый», «Что он, горбатый?», «Чучело», «Не говорите, в нем есть что-то приятное», «Красивый профиль», «Щуплый!», «Не умеет держаться».

Посреди этого оглушительного хора мыслей я брел с преувеличенной прямизной, спотыкаясь, по бесконечной комнате, кругом всходили лица, ослепительные, как солнца, я слышал жестокий смех, кто-то приветствовал меня, я, не оглядываясь, почти бежал к дальнему углу, где видел удобный стул в тени развесистого фикуса.

— Осторожней, послушайте! — услышал я женский голос. — Вы мне ногу отдавили. Медведь!

Стул действительно оказался удобным. Здесь меня никто не заметит. «Под сенью фикуса», — подумал я, ища в насмешке противоядие от смущения. Я хорошо видел всех. Сколько людей! От шума и столпления комната стала чужой. Она раздвинула свои масштабы, дальние ряды стульев кажутся недосягаемыми, там студенты в рубашках, усы, лысинки, а за ними, в совершенной уже недосягаемости, дематериализованный, за маленьким круглым столиком с карандашами, со стаканом воды — Кипарисов. Митенька улыбается; круглые очки его непобедимо сверкают. Какая свобода в обращении! Там смех, сверканье мысли, похлопывание по плечу, револьверы в задних карманах брюк. Смогу ли я когда-нибудь достигнуть такого совершенства?

Я стал искать глазами женщину, которой я отдал ногу. Припоминаю: это было во второй половине пути, против камина. Вот они, порыжелые ботинки с отстающими подметками. Сама виновата: зачем вытянула ноги! Я вскарабкался глазами по ним — это были две уверенные в себе ноги, тонкие, с отчетливой мускулатурой, — задержался на животе, удивляясь путанице узоров, приподнятых повыше, на груди, достиг шеи, умилительной в своей худобе (двадцатирублевый бюджет, уроки на краю города с тупыми малышами), и уже чувствовал жар широкого рта, когда поспешно отвел глаза: незнакомка смотрела на меня в упор. Расширенные (серые?) глаза. Строго. Сдвинутыми бровями. (В конце концов, что я такого сделал?)

Когда через минуту я опять посмотрел на нее, она глядела в сторону, отвлеченная разговором.

Я увидел ее лицо безукоризненной ясности. Можно было поклясться, что эти глаза никогда не шуряются, что рот никогда не кривится во лжи или гнев, лицо такое странное, такое строгое и родное, что сердце мое похолодело от отчаяния. Я чувствовал отчаяние оттого, что не могу выйти из-за фикуса, положить руки ей на плечи и сказать: «У меня никогда не было друга. Давайте будем друзьями!» — и оттого еще, что не имел надежды сделать это когда-нибудь потом.

После этого я стал открывать в незнакомке другие черты. Она показалась мне пронизательной, смешливой, способной к математике. Целомудренный узел волос на затылке я приветствовал как старого знакомого. Мне удалось предсказать точные размеры ладони, запачканной чернилами, ее длину, узость и даже момент ее появления, как это удалось Леверрье в отношении к Нептуну. Становясь все холодней и разумней, я понял, что незнакомка не может быть лишена недостатков. Тотчас я представил себе их. Наконец каким-то невероятным усилием воли я извлек из себя знание ее имени. Катя. Катерина. Катенька для друзей!

Неожиданность этого открытия ошеломила меня. Я обратился за подтверждением к соседу. Сосед спорил с кем-то. Он так погрузился в спор, что на поверхности оставалась одна спина. Я постучался в эту спину взволнованно, как человек, который потерял ключ от квартиры. Сосед оборотился, и я увидел добрые и насмешливые глаза Рымши.

— Я не знаю, — сказал он, пожав плечами, — вообще тут чертова уйма незнакомого народу. Кипарисов готовит что-то грандиозное.

И с деревянным скрипом он снова повернулся вокруг своей оси.

— Кипарисов готовит грандиозный сюрприз, не так ли, коллега Иванов?

Я обернулся и увидел громоздкую фигуру и раздвоенный подбородок Адамова.

— Не так ли, коллега? — повторил он своим густым басом. — Ведь вы его любимый ученик.

Адамов мне был немного знаком. Я знал, что он социалист. Удивительней всего были в нем его крупные телеса, его тяжесть. Все стеклянное в квартире дребезжало, когда проходил Адамов своим шагом победите-

ля, возмущая атмосферу воинственным рыканием. Еще удивительней была моя догадка о нем: в глубине гиганта я прозревал низенького, трусливого, тенорового человека. «Коллега» — мне польстило, «любимый ученик» — мне тоже польстило. Не зная, что ответить Адамову, я смутился. Тем более что в этот момент Володька Мартыновский устроил мне неприятность. В припадке хозяйской хлопотливости, снуя по залу, он вдруг отодвинул фикус в угол, и я открылся во всей своей неприглядности, с руками, зажатыми между коленями, с мучительно закушенной губой.

Я быстро глянул в сторону незнакомки. Странно! Ее не было. Там сидел маленький Володя Стамати и весело мне улыбался. Он повел пальцем перед носом — жест предостережения! Продолжая шарить глазами по залу, я добрался до Кипарисова. Митенька встал. По залу пошло движение, кашель, шарканье стульев. Тотчас поднялся возле меня Рымша и зашагал, лавируя между стульями. Дойдя до Кипарисова, он оборотился и показал залу свое бледное, словно ослепшее лицо.

— Слово принадлежит, — проскандировал в тишину Кипарисов, — слово принадлежит товарищу Рымше.

(— Так вы ничего не знаете? — услышал я тяжелый шепот Адамова. Пудовая ладонь легла мне на плечо. «Что же это будет?» — подумал я взволнованно.)

— Господа! — сказал Рымша. (Началось!) — Нашего товарища Сережу Иванова призывают в армию...

(Новый взрыв движения и шепота. Вижу оборачивающиеся лица, кивки, улыбки. Хочу провалиться сквозь землю.)

— Господа! — продолжает Рымша. — Будучи при своей молодости человеком принципиальным, товарищ Иванов...

(Слава богу никто не смотрит!)

— ...решил согласовать это с решением нашего кружка, который, в свою очередь, является частью Российской социал-демократической партии. Вот, господа, вопрос совести для каждого, кто причисляет себя к социалистам. На третьем году войны мы должны, господа, поставить этот вопрос со всей решительностью.

(Голос с места: «Вспомнил!» Кто это? Не Стамати ли?)

— Должен предупредить аудиторию, что на реплики с места я не отвечаю. Всякий, кто не согласен со мной, благоволит выйти сюда и членораздельно объяснить.

(Аплодисменты. Нещадно рукоплещет Адамов. Он даже повизгивает от удовольствия.)

— Господа! Повторяю: это вопрос совести. Не только совести, правда. Еще и некоторой доли ума. Не хочу быть голословным. Только сегодня, перед заседанием, я позволил себе осведомиться у нашего уважаемого хозяина, господина Мартыновского, о его личном отношении к войне. Я получил такой ответ: «Война до конца». Потом: «Чаша терпения переполнилась». Не улыбайтесь, господа. Вы спрашиваете, какова его партийная принадлежность? Я полагаю, нечто среднее между эсером и бильярдином.

(Смех. Всеобщее удовольствие. Явно обрадованный Мартыновский раскланивается во все стороны.)

— Является вопрос: допускает ли наша партия свободу мнений? Некоторые ставят вопрос шире: допускает ли свободу мнений принадлежность к Интернационалу?

(Голос с места: «К бывшему!» На этот раз явно: Стамати.)

— Вопрос по меньшей мере праздный, господа! Все знают, что социалистические депутаты английского, германского и французского парламентов вотировали военные кредиты. Больше того: они вошли в состав правительств так называемых коалиционных, или оборонческих. Ибо обе воюющие стороны уверяют, что они только обороняются. Таким образом, мы присутствуем при странной разновидности драки, где оба дерущихся защищаются друг от друга. А так как это положение противоречит здравому смыслу, то оба участника драки уверяют, что нападает противная сторона. «Мы защищаем культуру, а противник разрушает ее», — говорит каждый из них, будь то Тома во Франции, Шейдеман в Германии, Вандервельде в Бельгии или Плеханов в России. И европейская культура, ревностно защищаемая со всех сторон, гибнет с катастрофической быстротой. Гаазе сказал на международном митинге в Брюсселе...

Я не узнал, что сказал Гаазе. Я перестал слушать. Как всегда на людях, мной овладела забота о своем лице.

Сквозь эту заботу, как сквозь туман, доносился неровный гул Рымшиного голоса, иногда прорываясь громом метафор. Как часто, сидя у себя в кабинете перед зеркалом, я примерял маску задумчивости или иронии, грусти, живости или смеха. Но я растеривал все эти

прекрасные маски, едва попадал в общество, и лицо мое оставалось голым во всей своей губошлепости, волоокости, простоте, скуке. Я считал, что сидеть на людях со своим лицом так же не принято, как без штанов. Только об этом не говорят, потому что говорить об этом еще неприличней.

Я огляделся. Вот и сейчас все закрыли наготу своего лица. У одних лучше, у других хуже. Вот Мартыновский. Он рассудителен и чуть-чуть грустен, каким и полагается быть во время серьезного теоретического доклада. Вот рыжий студент из плехановской группы «Единство», у него лицо такое, что он отлично понимает не только то, что оратор говорит, но и то, что оратор скажет и что вообще все ораторы могут сказать, — маска превосходства, отороченная легкой иронией. Я посмотрел на Стамати. По лицу моего маленького приятеля бежали легкие тени. Он волновался. Внезапно я заметил странную вещь: таинственную связь взглядов между ним и Кипарисовым. Контакт улыбок, огорчений, обид, лукавства. Они чувствовали заодно. Мне сделалось завидно. Ежеминутно Стамати открывал рот, словно собирався крикнуть, и тотчас захлопывал его, остановленный строгим взглядом Кипарисова. Они походили на заговорщиков. Вдруг я увидел, что сейчас Стамати не выдержит. Действительно, он выметнул вперед свое горячее лицо и крикнул:

— Поцелуйтесь с Каутским!

Не отвечая, Рымша продолжал:

— Есть и другая группа социалистов, численно меньшая, да и качественно не блестящая именами. Они сильны, пожалуй, своим крайним фанатизмом. Чтобы заранее рассеять могущие возникнуть сомнения, заявляю от имени своего и своих единомышленников, что мы отнюдь не примыкаем к этой группе, сходясь с ней только в некоторых конечных тактических выводах. В остальном нас разделяет глубокое идейное и организационное разногласие. Чтобы успокоить товарища, сидящего возле камина, — кажется, его фамилия Стамати? — я могу назвать их имена. Вряд ли они скажут вам что-нибудь: это — довольно известный исследователь экономических вопросов Ленин и еще несколько шведских и латышских социалистов. Эти люди издают в Швейцарии журнальчик «Vorboten», что означает — «Предвестник». Они и претендуют на то, чтобы называться предвестниками социалистической эры. С большим тем-

пераментом они призывают народы Европы бросить войну и выступить против своих правительств, против буржуазии, за — социальную революцию. Но — должно быть, из-за маленького тиража журнальчика — социальная революция не приходит.

Поднялся смех и шумные аплодисменты. Я тоже похлопал. Действительно, смешная компания — эти сотрудники «Предвестника», пытающиеся своими статьями вызвать мировую революцию. (Такая революция связывалась для меня с иллюстрациями к фантастическим романам в журнале «Мир приключений»). А главным образом я аплодировал потому, что мне просто неудобно было оставаться безучастным.

Но Рымшу, казалось, эти рукоплескания совсем не радуют. Положительно он недоволен! Лицо его кисло поморщилось, и он досадливо махнул рукой. С каждой минутой я все меньше понимал происходящее. Отчего Кипарисов сдерживает Стамати, если они заодно? Отчего Рымша недоволен своим успехом, если он сам его добивался? А главное, я недоумевал (и даже досадовал), почему так быстро забыли обо мне и перешли к сухим, скучным спорам. Мне было это неудобно, потому что я не знал, просить ли мне у дедушки денег на *оттягивание* или идти прямо в армию. Из речи Рымши совершенно не ясно, в чем долг социалиста.

Я решил выспросить все наверняка у Кипарисова. Я встал, чтобы подойти к нему. Но тут же отступил к стене: в дверях мелькнул смутный очерк моей незнакомки.

В этот момент Володя Стамати выкинул странный номер. Он вскочил на стул и крикнул:

— Размазня! Рохля! Рымша, я вам говорю! Какой же вы интернационалист? Вы — кисель, болото! Да здравствует международное братство рабочих! Да здравствует пролетарский Интернационал!

Кругом негодующие шумели. Кипарисов призывал к порядку. Стамати подбежал ко мне и торопливо спросил:

— Ты не видел, сколько человек мне аплодировало? Мало, — сказал он в раздумье, узнав, что всего трое, — но ничего: через полчаса их будет тридцать, через год — триста тысяч.

Высказав это фантастическое предположение с видом вполне уверенным, он уселся рядом со мной. Я причислил его слова к списку сегодняшних непо-

нятностей: почему вспрыгиваяню на стул и выкрикиваяню ругательств предстоит такое блестящее будущее? Почему?

Тем временем Кипарисов объявил, что следующим будет говорить товарищ Адамов. Я не удивился: на мой взгляд, Адамов давно этого хотел. Он весь набух желанием говорить. Красноречие, еще не родившись, уже булькало у него в горле и даже сочилось с пальцев, которыми он нервически шевелил. Однако, ставши у стола, Адамов заговорил не сразу. Его широкое лицо было непроницаемо, оснащенное толстыми очками и трехдневной небритостью. Начало его речи напоминало прыжок в холодную воду.

— Преступление! — выкрикнул он громким голосом и погрозил в пространство своим толстым, как чубук, пальцем. — Предательство! Прямая измена! Вот чем занимаются невинные сотрудники «Vorbote», над которыми так изящно острил наш интернациональный товарищ Рымша. Не острить, а прикрыть их надо, по крайней мере пока не будет сломлена немецкая опасность. Нечего смеяться, не до смеха сейчас, я вам говорю, молодой человек Стамати! Я сам сообщил бы вашим родным о ваших опасных тенденциях, если бы я не видел, что вы просто щенок. Глупый щенок, науськанный кем-то; кем — я еще не знаю, но до кого я доберусь! Воображаю, до чего вы договорились бы, если бы не тактичность нашего уважаемого председателя, товарища Кипарисова.

(Поклон в сторону Кипарисова. Кипарисов отвечает вежливым кивком. Аплодисменты. Стамати тихо смеется. Я тревожно оглядываю окружающих. Возобновление адамовского рева.)

— Да, хороши! Статейки в журнале, высокие идеалы, братство, смешные чудаки! А это тоже идеалы? А это тоже чудаки?

(Адамов потрясает в воздухе какими-то бумажками. «Эге, да он подлец!» — шепчет Стамати. Всеобщая заинтересованность. Кипарисов невозмутим. Жутко!)

— Сейчас, сейчас, товарищи! Швейцарские птицы оказываются авторами не только фанатических статей, но и возмутительных прокламаций, распространяемых среди наших доблестных частей на фронте. Тише, товарищи! Я понимаю ваше законное негодование. Я сейчас процитирую. Вот прокламация, подписанная Петербургским комитетом большевиков, — как видите, птицы зале-

тают из Швейцарии довольно далеко, может быть, даже в этот зал. Читаю: «Мировые события надвигаются. За наступающими потрясениями и политическими переворотами уже стоит призрак социальной революции». Прекрасное чтение для фронтовых частей, не правда ли? А вот из другой. Подписана областным комитетом кавказских большевистских организаций. Обращена к солдатам Кавказского фронта: «Смещайте начальников, выбирайте руководителей из вашей среды, объявите войну помещицкому правительству и завоюйте землю и волю». А? По-вашему, идеализм? Ну, а по-моему — немецкие деньги!

— Идиот! — отчетливо раздается возглас Стамати.

Адамов снимает очки. Лицо его дрогнуло, смягчилось, заулыбалось, как у приказчика за прилавком, когда, не надеясь на качество товара, он пытается сдобрить его сладостью обращения.

— Прошу заметить, что я никого не обвиняю. Товарищи, я старый социалист! За успех международного братства я не пожалел бы жизни. Благороднейшие умы! Человечество! Но ростки международного братства еще так бессильны. Товарищи, они — как игрушечные плотинки перед порывом моря, и ничего удержать не могут. Когда-нибудь. В будущем. Быть может, скоро. Долой войну? Да, долой! Но не раньше, чем в центре Европы, в Берлине, будет уничтожена вечная угроза человечеству и культуре. Вы можете мне не верить. Адамов ошибается. Адамов врет. Тут некоторые горячие головы пытаются оскорблять Адамова. Спрошу их: ну, а как же с Каутским, который утверждает, что во время войны классовая борьба должна быть приостановлена?

(Стамати: «Каутский — предатель!» Гул возмущения.)

— Товарищи, успокойтесь! В то время, когда некоторые из ораторов с места ходили без штанов и мама им вытирала нос, Карл Каутский уже был основоположником ортодоксального марксизма, к вашему сведению! Благодарю вас, товарищи, за аплодисменты. Я вижу по ним, что сторонники крайних идей здесь не в большинстве. Именно к ним — вы говорите «к нему»? Не знаю, не знаю! — я адресую мой следующий вопрос: а как же с Плехановым, который заявил, что война справедлива со стороны царя и что нужно прекратить всякую борьбу против русского правительства? Тише, товарищи, это интересно!

(Стамати смущен. Он шепчет: «Ты не знаешь, Сережа, он не врет насчет Плеханова?» Я молчу. По-прежнему происходящее мне кажется сложной игрой, правил которой я не знаю. Адамов надевает очки. Голос его крепнет. Он гремит.)

— Довольно болтовни! Итак, Плеханов, который всю жизнь боролся против шовинизма и оппортунизма, Георгий Валентинович Плеханов, отец русского социализма, — тоже предатель? Да или нет? Товарищи, он молчит! Есть вещи, на которые не осмеливается даже этот развязный юноша. В таком случае я сам отвечу. Плеханов, товарищи, вместе со всем передовым русским обществом, вместе со всей, я позволю себе сказать, прогрессивной Европой, — за уничтожение отвратительного тевтонского империализма, за мир в Берлине! Долой предателей! Долой цюрихских дезертиров! Да здравствует война до победного конца!

Тут поднялись такие аплодисменты, что я испугался, что оглохну. Один Стамати не хлопал из тех, кто мне был виден. Он имел довольно жалкий вид. Еще Кипарисов не аплодировал — безусловно, из соображений председательской беспристрастности. Третий человек, который не аплодировал, был я. Не знаю, из каких соображений. Думаю, что очень уж меня взволновал вид Адамова. В детстве, через промежутки в три-четыре года, у меня случилось несколько припадков ярости. Они были так резки и так ужасны по последствиям, так не похожи на мое обычно кроткое и немного вялое существо, что окружающие долго вспоминали их, качая головой, как у постели чудесно спасенного. Всегда одно и то же чувство начинало их: чувство непобедимого отвращения к наглицам, к трусам, к хамам. Увидев Адамова, когда он отходил от стола, раздувшийся от самодовольства, от сознания своей силы, я почувствовал, что заболеваю, я вскочил и крикнул:

— Товарищ Кипарисов! Я прошу слова!

(«Куда ты лезешь? — услышал я шепот ужаснувшегося Стамати. — Сиди, не порть дела!» «Это Иванов, — говорили довольно громкие голоса сзади, — да, да, очевидно, подкрепление, из резерва»).

Кипарисов внимательно посмотрел на меня.

— Я вас запишу в список ораторов, — сказал он, — ваша очередь, — он порылся в бумажке, — седьмая.

— Нет, я хочу сейчас, — сказал я и ужаснулся высоте и вибрации своего голоса.

— Сейчас, — сказал Кипарисов в своей обычной корректной манере, — сейчас в порядке очереди буду говорить я.

(Подсказывают: «Просите по мотивам голосования».)

Кричу:

— Прошу по мотивам голосования!

(Почему все смеются?)

— По мотивам голосования, — говорит Кипарисов очень серьезно, — не могу вам дать потому, что не было голосования, а значит, не было и мотивов.

Голова моя яснее (от ярости), и я говорю:

— Внеочередное заявление.

Кипарисов смотрит на меня и вынимает часы.

— В порядке внеочередного заявления, — говорит он громко, — слово предоставляется товарищу Иванову. Три минуты. Прошу выйти на середину.

Митенька, вы думаете, я не выйду! Я подбежал к столу. Тихо.

Я говорю:

— Тут предыдущий оратор спрашивал насчет Плеханова: а как же, он предатель или нет?..

(Важно говорить быстро, прежде чем выдохлось бешенство. Толстая голова Адамова смотрит на меня с противным добросердечием.)

— Нет, вы спрашиваете, товарищ Адамов! Так вот я вам отвечаю: объективно — да!

(Недоумевающие крики: «Что — да?»)

— Это ясно, как божий день, сколько бы вы ни угрожали нам. Между прочим, я нисколько не удивлюсь, если вы окажетесь доносчиком. Я заявляю, что я оскорблен вашей манерой говорить, нет, я не испуган, я возмущен, я считаю это хамством...

Кипарисов наклоняется ко мне и учтиво спрашивает:

— Вы кончили?

Я припоминаю, что надо сесть. Издали раздается одинокое рукоплескание, бешеное, как колокол на гибнущем корабле. Это Стамати сигнализирует мне свою дружбу. Остатки ярости еще шевелятся во мне. Меня еще хватает на кусанье губ, на независимую позу со скрещенными руками. Но уже ощущается разложение, уже ощущаю длину и неудобство своих рук, уже не выдерживаю пристальных взглядов.

В этот момент (как благодарен я ему!) поднялся Кипарисов, чтобы начать свою речь. Его высокая фигура

резко торчит над столом, зачеркивая все предыдущее. Его глаза и губы обещают твердость, ясность, разоблачение тайн.

Я думаю о Митеньке словами верности и восторга, когда замечаю, что шепот изумления, нарастая, летит по комнате. Я оглядываюсь на Кипарисова и тоже изумляюсь: он не говорит свою речь, он читает ее по бумажке! Кипарисов, который никогда не пользуется никакими шпиргалками, чей систематизированный мозг обходится без конспектов, без тезисов!

Не удержавшись, я заглядываю: в руках Митеньки печатный текст. Еще один пункт к перечню сегодняшних непонятностей! Я прислушиваюсь: да, он читает, это слышно по ровности голоса, по книжности интонаций.

— «...стоит немецкая буржуазия. Она одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну ради защиты родины, свободы и культуры, ради освобождения угнетенных царизмом народов... А на деле именно эта буржуазия... всегда была вернейшим союзником царизма и врагом революционного движения рабочих и крестьян в России».

(Адамов подает знак к аплодисментам. Я смущен.)

— «Во главе другой группы воюющих наций стоит английская и французская буржуазия, которая одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну за родину, свободу и культуру, против милитаризма и деспотизма Германии... На деле целью борьбы английской и французской буржуазии является захват немецких колоний и разорение конкурирующей нации, отличающейся более быстрым экономическим развитием...»

(В зале смятение. Испуганные перешептывания. Некоторые выходят, гремя каблуками. Другие пересаживаются. Выкрик: «А германские зверства?» Адамов успокаивает окружающих жестами злорадного предостережения.)

— «Обе группы воюющих стран нисколько не уступают одна другой в грабежах, зверствах и бесконечных жестокостях войны, но чтобы одурачить пролетариат и отвлечь его внимание от единственной действительно освободительной войны, именно гражданской войны против буржуазии как «своей» страны, так и «чужих» стран, для этой высокой цели буржуазия каждой страны ложными фразами о патриотизме старается возвеличить значение «своей» национальной войны...»

(Из гула возмущения, который уже не прекращается во время всей Митиной речи, я вылавливаю отдельные восклицания: «Недопустимые приемы!», «Этика социализма не может!», «Какая свинья!», «Вот его сюрприз!», «Значит, вы за поражение!», «Политический бред!».)

— «...для нас, русских с.-д., не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии».

(На слове «Азия» Адамов встает. «Простите, — говорит он, и оглушительный голос его разом покрывает все шумы в комнате, — простите, я вас перебиваю, наше настоятельное желание, я говорю от имени большинства присутствующих, наше настоятельное желание — знать автора и название бумаги, которую вы читаете». — «Ну, так убирайтесь, если вам не нравится!» — кричит Стамати. Рыжеволосый плехановец вскакивает и уводит свою группу из трех человек. Мартыновский вьется около них. «Будет ужин», — умоляюще шепчет он. Расстройство в стульях. Многие сидят верхом на них и ожесточенно спорят, наезжая друг на друга. Молниеносные диспуты в разных концах. Жарко. Я тупею. Кипарисов возвышает голос.)

— «Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 г.) резолюцией и вытекающий из всех условий империалистской войны между высоко развитыми буржуазными странами».

(Я устал. Я пробираюсь к выходу. Комната переменилась. Вокруг Адамова, как в опыте Плато об образовании вселенной, собрались почти все группы. Вокруг Кипарисова — пустота, которая кажется панической. Только несколько верных. Среди них Стамати.)

— Бумага, которую я читал, — кричит Кипарисов, — манифест нашей партии!

— Погоди, — убедительно шепчет Мартыновский, — будет ужин.

Я отстранил его и выбежал на улицу.

Улица, теплая, ветреная. Падают листья. На всем щеголеватый лак осени. Голова моя набита словами. Я не могу из них ничего сделать.

— По Адамову,— шепчу я,— идти, по Кипарисову — не идти, по Рымше — и идти и не идти.

У меня был способ избавляться от тяжелых мыслей — бросать их. Приходила легкость. Чудесная легкость отчаяния. Таким образом мне удалось избавиться от страданий, связанных с оставлением на второй год в восьмом классе, с отъездом Катюши Шаховой. Я почувствовал, что теперь это не удастся. Ко мне будут приставать дедушка, Володя Стамати, университетское начальство, Рувим Пик, Матвей Семенович, его жена, воинское присутствие, Кипарисов. Они будут приставать со слезами, с советами, с законами, с жалобными письмами, с памятью отца. Они меня запутают, изведут, поссорят с собой, вынут из меня мои собственные желания и вложат долг внука, долг гражданина, долг христианина, долг еврея, долг социалиста, долг дворянина, долг сироты. Вот сейчас передо мной свобода. Всего несколько часов. Скорей! Прежде чем я увижу дедушку и Кипарисова, я смогу решить сам. Скорей!

Тут я признаюсь, что мне хочется на войну. Мне нравится военная форма. Опасности, заманчивые, как географический атлас, влекут меня. Рана в руку или легкая рана в голову — я опять в тылу, я гуляю по бульвару с перевязанной головой, с георгиевской ленточкой (очень скромной) в петлице. «Вы ранены?» — «Пустяки,— говорю я и машу рукой,— осколком гранаты, это почти неизбежно на фронте». — «Но я вижу, вы георгиевский кавалер?» Тут я чувствую, что мне не избавиться от рассказа. «Я заработал этот крест,— говорю я холодно,— за пренебрежение к смерти в деле под Бзурой». — «Пренебрежение к смерти...» — шепчут собеседники, восхищаясь красотой этих слов. «Нас было трое,— говорю я и морщусь от своей тяжелой раны в голову,— генерал Епифанов, поручик Третьяков и я. Несмотря на разницу в чинах, мы очень дружили: опасности сближают. Мы были всегда вместе. Мы были всегда впереди. Мы врзались в самую сердцевину вражеского строя. Мы хотели захватить знамя. Вы знаете, конечно, что, когда знамя взято, полк сдается в плен. Генерал скоро отстал, ему трудно, одышка. Поручик тоже отстал. Он не отстал, он просто уступил. Просто из товарищеских чувств. Тем более что у него уже есть «Георгий». Я начал драться со знаменосцем. Благодаря тому что я умею фехтовать (я — чемпион гимнастиче-

ского клуба «Турн-Феррейн»), я зарубил знаменосца и взял знамя».

Собеседники подавлены, они понимают, что так щеголять скромностью может только настоящий герой.

«Прощайте», — говорю я и поднимаюсь, морщась от боли. По их дружелюбным и понимающим улыбкам я вижу, что они знают, куда я иду. Со своей скамейки все они отлично видят, как ко мне подходит высокая дама (но ниже меня) в вуали, я беру ее под руку и иду, хромая на раненую ногу. Легкая зависть к моей хромоте.

Может быть, я еще помечтал бы (я часто на улицах мечтаю), но чья-то легкая рука легла мне на плечо.

Я обернулся и увидел мою незнакомку.

— Так и есть, — сказала она, — это Сережа. Здравствуйте! Как живете?

— Слушайте, — крикнул я, — вот так история! Теперь я знаю, почему я знаю ваше имя. Катя! Катенька Шахова.

Катя улыбнулась.

— Все говорят, что я изменилась. Положим, два года. А я вас сразу узнала. Вот только тут, на улице, начала сомневаться, когда вы захромали. Что с вашей ногой?

— Я задумался, — пробормотал я.

Она расхохоталась.

— Да, это вы, Сереженька! Наверное, опять вообразили себя Георгом Байроном. Слушайте, как вы попали к Мартыновскому? Что вы делаете? Где вы живете? Где Шабельские?

— Обыкновенно, — пробормотал я, не переставая смотреть на нее. — Как вы попали в Одессу? Что вы делаете? Расскажите.

Старинная привычка — не слушать Катю, а смотреть ей в лицо и восхищаться шевелением губ, — старинная, позапрошлого лета, привычка опять овладела мной.

— Я здесь учусь на женских курсах. Я про себя потом. Ну, а вы что?

...Позапрошлого лета. Я гостил в усадьбе Шабельских «Приятное», на Инзе, в Пензенской губернии. Шаховы были нашими соседями. Мы быстро подружались с Катей. Она была охотница разгадывать сны. Мы встречались каждое утро в беседке, едва успев выпить чаю. Она любила сны необыкновенные, с экзотикой, с простором для разгадывания. «Но что я могу сделать, Катенька, — плакался я, — если мне снится ерунда?» — «Это доказы-

вает, что вы сами неинтересный человек», — говорила она холодно.

Я начал красть сны из книжек. К тому же все чаще в снах мне стала появляться Катя, и в таких непроизносимых подробностях, что я ни за что не признался бы ей в этом. Но мне было тяжело молчать, и я искал, кому бы открыться.

В дальнем углу сада стоял сарай со всяким хламом: ржавые лопаты для сгребания навоза, журнал «Живописное обозрение» за несколько десятков лет. Этому сараю я открыл свои чувства. Я был осторожен. Я написал на самой нижней доске латинскими буквами: «*Katia krasivaja devocka i ia ee lublu*».

Отец Кати, либеральный священник, гулял по аллеям сада, обдумывая сочинение о химических доказательствах бытия бога. Это был ученый человек, он знал все живые языки и четыре мертвых: латинский, греческий, древнееврейский и санскрит. Он внимательно прочел надпись, подчеркнул четыре ошибки, потом пошел к Шабельскому и все ему рассказал. Дедушка Матвей Семенович призвал меня к себе.

«Лублу? — сказал он, насмешливо глядя на меня. — Рано ты красивыми дэвоцками заинтересовался. В папашу пошел...»

Хотя ему было и смешно, дедушке Шабельскому, но он искренне огорчился. Он боялся, чтобы я не повторил бурную и несчастливую жизнь моего отца. В тот же день вечером я был отослан в Одессу, к Абрамсонам. Вот о чем я думал, смотря на Катино лицо, близкое, как у сестры, которой у меня никогда не было.

— Советую вам оттягиваться, — сказала мне Катя на прощанье очень серьезно.

4

Дедушка протянул мне толстую пачку кредиток. Несмотря на все, я любил дедушкину руку — плотную, уютно поросшую рыжим волосом, просторную, как мир.

— Сережа, — сказал он с неудовольствием, — помни, венерические болезни не освобождают.

Дедушке далось это с трудом. Он боялся не только страданий, но даже и тех слов, которыми они называются. В его словаре вы не нашли бы чахотки, могилы, скорой помощи, землетрясения. Он не любил кляtv:

«чтоб я так жил», «чтоб я не сошел с этого места», «голову даю на отсечение». Он не прикуривал третьим, не дарил ножей, не здоровался через порог, а когда кто-нибудь при нем, наливая воду из графина, поворачивал руку ладонью кверху, он поднимал страшный крик, утверждая, что желают его смерти через удушение. Нельзя было просыпать соль на скатерть, нельзя было, выйдя из дому, вернуться за оставленным носовым платком, а можно было только дойти до дверей и попросить, чтобы его вынесли, но при этом обязательно сделать вид, что платок не забыт, а понадобился по внезапной нужде, иначе не удастся ни одно из задуманных сегодня дел. Все его существо, заключенное в объемистый сюртук, с руками, независимо засунутыми в карманы брюк, с золотой цепочкой поперек широкой груди, все его бранчливое философическое существо стремилось к покою и миру.

— Будь осторожен, — сказал он с отвращением, — венерические болезни не освобождают.

И он пробормотал:

— Не про меня будь сказано, не про тебя будь сказано, ни про кого не будь сказано, — как всегда, когда он говорил о неприятных вещах.

Я привык к этому шепоту с детства, к тому, что дедушкину речь всегда сопровождала тень невнятных бормотаний, которые он разбрызгивал по сторонам, как шприц дезинфектора.

Я пересчитал деньги и написал расписку. Дедушка раскрыл желтый скоросшиватель, пробил в расписке две дырочки и с наслаждением вздел ее на регистратор. Я должен был оставаться в комнате, покуда он вписывал расход в толстую счетную книгу, я должен был расписаться в графе «Сережина военная служба», где уже были статьи: «Гонорар полицмейстеру — 100 рублей», «Рувиму Пику — 4 р. 50 к.». Стоп! Все кончено. Можно идти. Дедушка посмотрел на меня с улыбкой добросердечия, которое образовалось в нем от занятия любимым канцелярским делом.

Я положил деньги в боковой карман, часть — в задний карман брюк для расчетов в ресторане — превосходный жест, рассчитанный на публику, часть — в кошелек: мелкие прихоти, нищие, тотализатор. Из бокового кармана я решил не брать денег вовсе, только в крайнем случае, — основной капитал компании, предназначенный для разгула. Восемьсот рублей — даже

при нынешнем курсе на рубль это было целое состояние. А мне надо все его потратить на удовольствия. Потому что на совете с Кипарисовым было решено, что я должен *оттягиваться*. Нечего увеличивать царскую армию таким здоровым молодым хлопцем. Для моего ума и для моей молодости найдется довольно работы в тылу — Кипарисов обещал мне это. Но что это могло быть? Распространение прокламаций? Тайная типография? Начинка бомб динамитом? Кипарисов — и этому не мешал ни его линиялый студенческий картуз, ни манера подвязывать большую щеку, так, что концы платка торчали, как ослиные уши, — сделался в моих глазах личностью еще более романтической, чем отец Саши Гуревича, господин Исидор Гуревич, генеральный консул республики Перу.

— Дедушка, — сказала я, — я иду *оттягиваться*. Я буду *оттягиваться* с Сашей Гуревичем. Я с ним вчера познакомился.

— С этим уродливым? — воскликнул дедушка. — Фу, какой он уродливый! Как его отец, которому я уже два года не подаю руки. Старик Гуревич хуже вора, он — убийца. Он прячет хлеб и набивает оптовые цены. Я написал об этом господину президенту республики Перу, но он почему-то не ответил. Одна шайка. Они все из Бобруйска. Сережа, я тебе запрещаю *оттягиваться* с сыном шарлатана Гуревича. Знаю я, что это будет за *оттягивание!*

Он бросился в кресло, предвкушая, по-видимому, приятную беседу с бранью, попреками в неблагодарности, криками в пространство: «Ну как вам нравится это хамское отродье!» — крушением стаканов, компрессами на виски и для заключения — сладостным примирением в слезах и нежном шепоте, хорошую абрамсоновскую беседу, после которой в доме на три часа водворялись тишь и мигрень.

Но у меня не было времени.

С холодной вежливостью, тоном интендатского поручика, явившегося реквизировать хлеб для военных надобностей, я выразил удивление по поводу неожиданной задержки.

— *Оттягиваться*, — добавил я сухо, — означает: отощать, приобрести синяки под глазами, шум в сердце, трясучие руки. Разве вы не видите, дедушка, по ночам компании молодых людей...

(— Паршивцев! — вставил дедушка.)

— ...бредущих из пекарни в публичный дом, по

кабакам, по игорным клубам? Разве вы не знаете, дедушка, что тысячи мужчин портят себе здоровье...

(— Туда им и дорога!..)

— ...специально, чтобы комиссии по приему в армию забраковали их, признали неврастениками, астматиками, косолапыми, близорукими, ненормальными?

В заключение я выхватил из всех карманов деньги, восклицая, что не могу ими пользоваться при отсутствии полного доверия и что ввиду этого вынужден обратиться к щедрости господина Исидора Гуревича, который, конечно...

— Ну, ну, кровь Иванова! — примирительно вскричал дедушка, уже ревнуя меня к Гуревичу.

В сущности, его дурное настроение происходило от зависти к отцу Гуревича, перуанскому консулу, за его удачные спекуляции хлебом, которыми дедушка пренебрегал в своей довоенной чистоплотности.

Внезапно он перестал меня видеть и принялся прилежно вычинивать карандаш, с наслаждением орошая свое массивное тело потоками лакированных стружек.

А я, поспешно запихнув деньги, побежал в кафе «Босфор», принадлежавшее греку Панайоти Параскева, обширное заведение с подачей пива и маленьким оркестром из пяти молодых женщин. Я пробежал первый этаж, не останавливаясь и зажмурив глаза по своему способу. Способ состоял в том, что глаза оставались широко открытыми, но фокус перемещался, так что все виделось неотчетливо, в тумане, как это бывает у близоруких. Никто не имел силы проникнуть сквозь этот туман, если я не хотел, и первый этаж кафе «Босфор» неясно бился на краю тумана широкими офицерскими погонами, запахом шашлыка, разносимого меж столиков танцующим грузином, мелодическим лязгом ножей, трудившихся над отделением котлеты от прожаренной косточки, — вся музыка и хирургия ресторана, заманчивый мир, который я страстно хотел назвать своим, но который отдалял от себя в юношеской заносчивости, и центр этого мира — дирижерша квартета, Тамара Павловна, женщина с голой и узкой, как тесак, спиной и растрепанными от музыкального усердия волосами.

В третий раз я приходил в заведение Панайоти Параскева и до сих пор только и знал в Тамаре Павловне, что эти растрепанные волосы да ослепительное лезвие спины, если не считать множества рискованных слухов, и будущее, пока я взбегал по скрипучей лестнице

на второй этаж, мое волнующее будущее представлялось мне странной главой под названием: «Когда Тамара Павловна повернется».

На втором этаже стояли бильярдные столы. Треск шаров встречал меня уже на лестнице. «Промах», — говорил я себе, прислушиваясь к тупым ударам о борта. Попаданья я узнавал по металлическому чавканию, с каким шар влетает в лузу. Иногда раздавался раскат, подобный театральному грому, и за ним взрыв смеха. Это шар вылетал на пол, и все веселились над неловкостью игрока. Мой слух изошрился до того, что там же, на ступеньках, я отличал глухое уханье шаров из мастики от благородного звона слоновой кости, и я уверил себя, что явственно узнаю в этой трескотне короткие властные удары Макса и женственные движения Мишуреса — двух чемпионов, которым я поклонялся, считая их великими людьми.

Рано еще. Наш стол пуст. Воздух заполнен дымом и взмахами киев. Я стал пробираться между столами, поминутно озираясь на дуплеты и крики: «Беру на аферу!» Игроки толкали меня локтями и задами, целясь в шары.

Я солгал дедушке, говоря, что знаю Сашу Гуревича. Он был вожаком одной из компаний оттягивавшихся. «Кладбище талантов», — сказала про Гуревича Катюша Шахова. Она взволновалась и не захотела больше говорить. Я поклялся узнать его. Он по телефону назначил мне свидание здесь.

Вокруг крайнего стола — толпа. Я с трудом протискался. Один из игроков обернулся и небрежным кивком ответил на мой почтительный поклон. Это Мишурес, король бильярда. Второй игрок, юный мрачный студент, был мне незнаком.

— Кто это? — спросил я у соседа.

— Пижон, — шепнул он, — выиграл три партии.

Я значительно кивнул, показывая, что мне знакома бильярдная терминология. Собственно, играть на деньги запрещалось. Но подкупленные маркеры смотрели на это сквозь пальцы. Я увидел, как Мишурес, проиграв четвертую партию, с притворным огорчением швырнул в лузу четвертной билет.

— Эх! — сказал он с видом отчаянного малого, прожигающего наследство. — Пропадать так пропадать! Идем на квит, коллега!

Студент покраснел. Видно было, что он считает

Мишуреса безрассудным человеком и даже колеблется, удобно ли обыгрывать такого слабого партнера.

— Ну хорошо,— сказал он и прибавил, благородничая: — Пожалуй, я вам дам пять очков форы.

Мишурес отказался все с тем же видом человека, катящегося по наклонной плоскости. В толпе захихикали. Давно уже у Мишуреса, которого знал весь город, не было такого выгодного партнера. По-видимому, это был провинциал, приехавший в Одессу учиться, жирный помещичий сынок с чемоданом, набитым домашними колбасами, бельем голландского полотна, французскими книгами с подстрочным переводом, например: «Поль и Виргиния» или «История Карла XII».

Перед тем как начать партию, противники долго выбирали кии, подносили их к глазу, как подзорную трубу, взвешивали на руке, проверяя их прямизну и тяжесть. Наконец пижон сделал первый удар. Шар слегка коснулся правого угла пирамиды и, мягко отшатываясь от бортов, вернулся к игроку. Толпа зрителей наблюдала с угрюмой внимательностью. Правильный удар! А ну, что делает Мишурес?

Мишурес занес кий угловатым движением наемного убийцы, словно собираясь проколоть шар насквозь, и вдруг погнался в самый лоб пирамиды. Она с треском развалилась, и шары разбежались по полю, ставши у луз легкими и аппетитными приманками.

В толпе стали многозначительно перемигиваться. По правилам обыгрывания пижонов — пятую партию должен был выиграть Мишурес. При этом победа должна была прийти к нему с величайшим трудом, как бы случайно, вследствие исключительного везенья, возможного только раз в жизни.

Пижон тотчас бросился на легкие шары и сразу забил три верняка, набрав тринадцать очков. Он взволновался, и четвертый шар — жирные пятнадцать очков — от неблагоприятного удара вдоль борта застрял в самой стремнине лузы, он висел над ней.

Мишурес покривлялся немного, отчего студент запальчиво вскричал: «Беру на аферу!» — и положил пятнадцатый шар с треском. Класть верняки с треском — признак дурного тона, и Мишурес нарочно сделал это, показывая, что он щеголяет легкими шарами. В действительности же у него была другая цель — тайная цель «отыгрыша». «Отыгрышем», то есть искусством ставить свой шар, Мишурес владел, как никто.

От сильного удара свой шар отбежал в середину, где тоже стоял верняк, который Мишурес тотчас положил. Это было четырнадцать очков. Он притворился обезумевшим от радости и кинулся на третий шар, которого не забил.

— Такого шара промазали, — сказал студент с насмешкой.

Подобно всем игрокам, он склонял шар в родительном падеже, как живое существо, ибо ни один бильярдист не может заставить себя видеть в шаре неодушевленный предмет — так много в нем чисто женских капризов, внезапного упрямства и необъяснимого послушания.

Студент вдруг начал испытывать на себе это сложное и странное упорство шаров. Они отказывались падать в лузы. Напрасно студент щурил глаза, как стрелок, и вычерчивал на поле мысленные чертежи. Самые верные удары оказывались промахами. Студент отер лоб жестом отчаяния. Должно быть, ему казалось, что самая физика возмутилась — и угол падения вступил в конфликт с углом отражения. В действительности студент просто устал. Он начал ошибаться, не более чем на десятую миллиметра, — вполне достаточно, чтобы проиграть в этой тригонометрической игре. Мишуресу пришлось положить много труда, чтобы не разгромить партнера на первых ударах, а придать его проигрышу вид почетного поражения.

Потом король бильярда садически медленно упрягал выигрыш в карман. Впервые мне стало жаль студента. Зрители деятельно перешептывались. Даже самому неопытному из нас было ясно, что теперь пижон пропал. Мишурес поселил в нем самую опасную из всех страстей — страсть отыграться. Чтобы потуже затянуть студента в западню, шестую партию Мишурес ему проиграл. Деньги вернулись к пижону на одно мгновение. Слепленный, он погнался за ними в зеленые дали седьмой партии.

— Направо в середину, — сказал Мишурес и улыбнулся от удовольствия, что может играть не притворяясь.

Студент посмотрел на него с недоумением. Шар не падал. Можно было поклясться, что шар не падал. Трудность шара заключалась в том, что касательная удара была параллельна борту стола. Это было издевательство над механикой. Мишурес ударил, почти не целясь, с той

женственной небрежностью движений, которая придавала его игре особенную красоту. Он срезал шар с остротой бритвы, без звука, и так сильно было ощущение отточности, что глаза мои стали машинально искать на столе тонкий слоновый ломтик. Впрочем, знатоки тут же зашептались, уверяя, что шар положен без прикосновения, одним действием воздушного тока.

На блеск этого удара сбежались игроки от дальних столов. Кругом повставало множество людей, запачканных мелом, без пиджаков, с киями на плечах, с глубоко-мысленным выражением лица. Подошла группа педерастов, содержанцев банкира Жданова, красивых юношей в элегантных костюмах; покачиваясь на прекрасных ногах, они вполголоса обсуждали игру, перемежая это занятие понюшками кокаина из маленьких стеклянных трубочек.

Какой-то офицер в расстегнутом кителе, с неестественно стройной талией, вызывавшей мысль о корсете, воскликнул:

— Это просто замечательно! У студентика полный мандраж!

Вглядевшись в офицера, я узнал в нем поручика Третьякова, знакомого мне по газетным фотографиям.

— Мандраж! Мандраж! — закричали всюду.

Пижон затрясся и еще неряшливей затыкал кием. Он действительно впал в ту крайнюю растерянность сил, которая называется у бильярдистов мандражем. Самое время бросить кий. Но вместе с мандражем приходят к игроку слабоволие и тщеславие. «Брось! — мысленно шептал я. — Я приказываю тебе бросить!»

Студент стал мне вдруг симпатичен. Я заметил, что у него стоптанные башмаки и штаны с бахромой. Нет, он не помещичий сынок, он, должно быть, репетитор, бегающий по урокам на край города, восторженный, бедный, содержит семью. А деньги у него непременно чужие, может быть, из кассы землячества. Я мысленно видел слезы, позор, дуло револьвера, и я еще сильнее зашептал: «Брось!»

Мишурес тем временем пустил в ход все свои приемы: «оттяжку» — страшный удар под самый низ шара, после чего шар бежал обратно к Мишуресу, как натасканная собака; «француза» — удар в бок шара, отчего он начинал вращаться, как балерина на носке, не сходя с места; «от трех бортов в угол!» — когда шар летел через весь бильярд и падал в дальнюю лузу, пред-

варительно описав целую серию равнобедренных треугольников.

Мишурес работал молча, деловито и ослепительно. В три минуты он сделал сухую и выгреб на лузы кучу смятых кредиток. Я боялся посмотреть на студента.

— Господин Мишурес, — услышал я его низкий, болезненно напряженный голос, — отдайте мне, пожалуйста, деньги. Я вам их верну через несколько дней. Это чужие. Пожалуйста, я вас умоляю.

— Господин студент, — сказал Мишурес, — приведите с собой няньку, и она будет смотреть, чтобы вы не проигрывали чужие деньги. Пожалуйста, я вас умоляю!

Он очень удачно передразнивал виолончельный голос студента. Кругом засмеялись.

Мишурес самодовольно улыбнулся. Он решил доставить публике удовольствие.

— Ой, уже восемь часов! — сказал он с притворным испугом. — Уже мамочка беспокоится, где ее сыночек. Господин студент, бежите быстро домой!

В толпе помирали со смеху.

Но студент ничего не слушал.

— Отдайте мне, пожалуйста, отдайте! — жалобно басил он. — Я должен их отдать, я больше никогда не буду играть!

Студент стыдно и жалко плакал. Обнажилась его шея, худая, как у недоедающих. Мне стало безумно жаль его. Я угадал в нем брата по застенчивости, по страсти. Ах, если бы я мог ударить кулаком по столу и крепко выругаться! Если б я мог схватить Мишуреса за плечи и трясти его, пока он не отдаст награбленных денег! Почему меня научили боксу и не научили, как не быть робким! «Схватить или нет? — мучительно соображал я. — Схватить или нет?»

В это время, раздвигая толпу сильными руками, в круг вбежал юноша с развевающимися черными волосами, рябой и смеющийся. Он одет поношенно, но изящно, подобно сказочным принцам, чьи лохмотья не могут скрыть их благородного происхождения.

— Мишурес! — крикнул он, остановившись. — Вы опять принялись за свои шутки! Моментально отдайте деньги!

Мишурес расстегивает пиджак и закладывает руки в карманы. При этом вызывающе обнажается его выпуклая, под свитером, грудь, огромная и вульгарная диафрагма.

— Серьезно? — говорит он. — Здравствуйте, господин защитник. Как поживаете?

Но юноша не дослушивает его. Он поворачивается к студенту и отрывисто спрашивает:

— Сколько вы проиграли? Двести пятьдесят рублей? Так. Чужих? Так. Должны завтра отдать! Так! Так!

Он внимательно выслушивает студента, пронизывая его плачущую речь своим телеграфическим таканьем.

— Перестаньте реветь, — говорит юноша, — деньги вам будут возвращены. Что? Ручаюсь. Не целиком, конечно. Половина.

И неожиданно с обольстительной улыбкой:

— Ведь он тоже поработал, не правда ли?

И обращаясь к Мишуресу:

— Скорее, деньги!

— Нет, кроме шуток, — говорит Мишурес, — ты вырвался из сумасшедшего дома или тебе моча в голову ударила?

— А-а! — закричал юноша, и хохот кругом разом прекратился.

Юноша скрестил руки на груди и оперся о бильярд.

— Спокойно, снимаю! — закричал Мишурес и, сложив из пальцев фигу, сделал вид, что фотографирует. Но кругом не смеялись.

— Не выводи меня из себя, — сказал юноша холодно, — не выводи меня из себя, Мишурес! Околоточный внизу. Если я сейчас не увижу денег, тебя вожмут. Ты меня знаешь, Мишурес.

Тишина. Юноша топнул ногой. У него обнажились крайние зубы, видные только у волков.

— Ша! — испуганно сказал Мишурес. — Не подымай скандал. В чем дело? Разве я говорю «нет»?

Но юноша уже рвал у него из рук деньги. Он бросил студенту комок кредиток:

— Считайте!

— Сто двадцать пять, — сказал студент, глядя на юношу обожающими глазами.

— Ладно, идите, — сказал юноша и беспечно махнул рукой, — и больше чтоб сюда ни ногой!

Потом он повернулся и стал внимательно оглядывать окружающих. Многие подходили к нему, пожимали руку и восхищенно трепали по плечу. Вдруг юноша увидел меня.

— Кажется, — сказал он, — вы Сережа Иванов?

Он улыбался своей обольстительной улыбкой и тряс мне руку.

Я молчу, ничего не понимая.

— Мы должны были здесь встретиться, — добавляет он.

— Ах, — говорю я и счастливо бледнею, — вы Саша Гуревич?

Он радостно кивает головой.

— Позвольте вас познакомить, — говорит он, — Клячко, Завьялов, еще один Клячко, Беспрозванный. Вся наша банда.

Четверо студентов кланяются мне с угрюмой поспешностью.

— А я, — говорит Гуревич и фамильярно схватывает под руку меня и ближайшего из Клячко, — исчезаю. Небольшое дело. Вы пока тут потолкуйте. Через полчаса я вернусь, и мы обсудим вопрос, куда нам пойти сегодня ночью прожигать свою молодость.

Он засмеялся и убежал.

Мы, пятеро, с неловкостью топчемся на месте.

Маленький Беспрозванный внезапно обращается ко мне:

— Война скоро кончится?

Я искоса смотрю на него, чтобы узнать, серьезно ли он спрашивает. У Беспрозванного хитрое, непроницаемое лицо.

— Война, — говорю я, — кончится не раньше, чем народы поднимут восстание против своих владык.

Мне досадно, что эта фраза вышла такой книжной. Ее туманная напыщенность не идет к стуку шаров. Припоминая уроки Кипарисова, я пытаюсь растолковать Беспрозванному экономический механизм войны.

— Война империалистическая, — наставительно заканчиваю я, — должна превратиться в войну гражданскую.

Беспрозванный молчит. По забавной торжественности его лица я догадываюсь, что он ровно ничего не понял.

— Ну да, — говорит он с важностью, — война продлится еще очень долго, так я и думал. Хорошо, что я начал оттягиваться.

И он прибавляет с хвастливостью:

— Я спустил уже десять фунтов. Это довольно трудно. Нужен режим. Сильная воля.

— А они? — говорю я и киваю в сторону обоих Клячко и Завьялова, затеявших американку.

Беспрозванный пренебрежительно пожимает плечами:

— Тоже люди! У них ни черта не выходит. Очень слабо. Ведь вы знаете, что оттягивается только один Клячко. А другой — белобилетник. Но он всюду ходит за братом и следит, чтобы тот не спал и не ел. Он у него вырывает куски изо рта. А сам лопает. Но он тоже человек. Иногда он засыпает, и тогда младший брат бежит в ночную пекарню и жрет бублики. Они вечно ссорятся.

— А Завьялов? — говорю я.

Беспрозванный опять пренебрежительно пожимает плечами. Положительно, он всеми недоволен!

— Завьялов — дурак! — говорит он. — Ты себе можешь представить, ведь он был на медицинском факультете!..

Беспрозванный в волнении откидывается на спинку стула. Я тоже откидываюсь на спинку стула, ошеломленный главным образом неожиданным переходом на «ты».

— У него нервы слабые, — насмешливо говорит Беспрозванный, — он не может слышать про анатомию, про кишки. Когда он узнал о строении человеческого тела, с ним сделался обморок. Он не смог вынести разговоров о тонкости сосудов, о сердечной мышце, об ишиасе, о табесе. Он сказал, что гораздо легче видеть смерть на фронте, чем копать в ней ежедневно с микроскопом в руках. И он ушел с медицинского факультета. Видал такого дурака?

Я с любопытством посмотрел на Завьялова, испугавшегося сложности своего организма. Действительно, в нем была какая-то расслабленность; нижняя губа его отвисает; вспоминая, он подтягивает ее и испуганно озирается. У обоих Клячко низкие лбы и убегающие подбородки. Они похожи друг на друга животным сходством: как кролики, как мыши. Уже между собаками такого сходства не бывает.

Я смотрю на других, на всех, кто здесь, в бильярдной. Я вижу узкие лбы дегенератов, носы, разъеденные кокаином, плечи, похожие на гниение. Глаза мои делаются страшно зоркими. Рожи! Рожи кругом!

— А Гуревич? — вскричал я.

— Гуревич? — пробормотал Беспрозванный. — А, это умница! Очень начитанный. У него дома целая библиотека. Он редко бывает дома. Поссорился с отцом. Тот

его выгнал. Говорят, из-за горничной. Владеет несколькими языками. Все знает. Ловкач! Ты видел, как он разделался с Мишуресом?

— Да, да, — говорю я, — здорово! Как он не боялся?

— Боялся? — говорит Беспрозванный. — Чего ж бояться? Э, да ты ничего не знаешь. Я тебе расскажу. Гуревич у Мишуреса в доле. Это все заранее решено. Ну как ты не понимаешь? Контора. Мишурес ловит пижона. Обыгрывает его. А чтоб не было скандала, появляется на сцене Гуревич, разыгрывает из себя благородного защитника и заставляет половину денег отдать пижону. А потом оставшейся половиной Гуревич с Мишуресом делятся. Они недурно зарабатывают.

Я не успеваю ответить. Перед нами вырастает Гуревич. Он озабоченно смотрит на часы и говорит:

— Джентльмены! Надо решать, куда мы сегодня идем. Маскарад, клуб или заведение Марьи Ивановны?

Я смотрю на Гуревича с ужасом.

5

Через полчаса после знакомства с Гуревичем меня поймали на том, что я во всем ему подражаю.

Гуревич пообещал мне, что я похудею:

— Через неделю ты себя не узнаешь, Сережа. Люди будут думать, что ты рожден не мужчиной и женщиной, а циркулем и линейкой.

В характере Гуревича было выражаться причудливо. Это меня восхищало.

— Почему бы тебе не стать писателем? — убеждал я его.

— Я кладбище талантов, — ответил Гуревич с выражением разочарования на своем юном лице.

— Ты знаешь Катюшу Шахову! — вскричал я ревниво, вспомнив, что это же говорила мне Катя.

Саша покраснел и ничего не ответил.

Через пять минут он начал мне мстить.

— Я знаю, — сказал он, — ты идейный, ты, наверно, мечтаешь о карьере заговорщика. Ну, скажи, какая твоя профессия?

Я мечтал о многих профессиях. С пятнадцати лет последовательно мне хотелось стать путешественником, солдатом, купцом, стивидором, международным авантюристом (вроде Калиостро), астрономом, социалистическим агитатором, адвокатом.

Особенно адвокатом. Я долго верил в свой ораторский талант. Эта вера основывалась на тех удивительных речах, которые я произносил. Случалось, что я произносил в день по шесть-семь речей. Скоро я уже считал себя профессиональным оратором, разумеется воображаемым, потому что все эти речи я произносил совершенно беззвучно, мысленно, изредка только, в самых патетических местах, позволяя себе шевелить губами, так что бабушка, услышав неясный хрип, исходивший из моей груди, предлагала мне теплого молока с сахаром, не подозревая, что этот хрип соответствовал наиболее возвышенным местам речи. Я набросился на речи Карабчевского, Плевако, Цицерона и кончил тем, что увлекся латинским языком.

— Я хочу быть филологом, — сказал я, подумав.

— Профессия — это возраст, — разразился Гуревич, — моряк всегда юноша, филологи — старики. Но ты врешь — ты идейный, ты состоишь в социалистическом кружке под предводительством этой старой девы — Кипарисова.

Даже когда я оставался один, в ушах моих звучали тирады вроде: «Смысл жизни в красоте. В красоте и наслаждении. Все остальное — ерунда с маслом. Кипарисовский социализм — это слюнявчик для младенцев».

Кто это сказал? Гуревич? А может быть, так говорил Заратустра?

Ницше стоял на Сашиных полках вместе с Оскаром Уайльдом и Максом Штирнером. Я с жадностью читал эти книги, и бедная голова моя стала пухнуть от эстетизма, индивидуализма, скептицизма и мистики.

Когда через несколько дней ко мне пришел Кипарисов с очередным списком книг по самообразованию (отдел: политическая экономия, разряд: натуральное хозяйство), я убежал черным ходом, передав через испуганную бабушку, что меня нет дома.

До призыва в армию оставалось всего десять дней, и Гуревич выработал для меня особый, ускоренный курс оттягивания. Мне приходилось делать все вдвое. Норма черного кофе была для меня увеличена до шести стаканов в сутки. Норма сна уменьшена до четырех часов. Я не смел прикоснуться к пиву и к сахару. Молоко и тесто были изгнаны из моего обихода. Я ел блюда острые, мы питались исключительно в греческих и грузинских ресторанчиках, где нам раскрыли всю горечь перца и всю кислоту уксуса. Везде я таскал за собой груз

сонливости и аппетита. Меня нельзя было оставить одного: я тотчас засыпал, подложив локоть под щеку, счастливо улыбаясь. Меня будили швейцары на ступеньках лестниц, университетские сторожа, чистильщики сапог, дедушка, кондуктора трамваев.

С необузданностью человека, рожденного повелевать, Гуревич взялся перекроить всю мою физическую природу. Он клялся, что иссушит мои почки и разболтает сердце.

— Аорта! — кричал он. — Аорта у тебя слишком здоровая! Бык! Грубиян!

Он поминутно вытаскивал из кармана руководство для ротных фельдшеров, где был приведен перечень всех увечий и язв, освобождающих от военной службы. Я беспрекословно нюхал кокаин и глотал лимоны. Кокаин плохо действовал на мой организм стайера. К тому же эпоха фальсификации оказалась и здесь: продавцы всучивали нам под видом наркоза бертолетову соль. Гуревич был недоволен мной. Оглядывая мои румяные щеки взглядом ломбардного оценщика, он говорил:

— Почему ты не худеешь? Ты слишком весел, Сережа. Это веселость бездарного человека. Ты не задаешься проблемами. Старайся думать о смерти, о банкротстве Абрамсона. Почему бы тебе не задуматься о загробной жизни, о проблеме двойного существования? От этого худеют. Ты видел когда-нибудь толстого мистика? Человек с интеллектом не может быть толстым. Наполеон начал делать глупости с того момента, как потолстел. С жиром к человеку приходят тупость, спойствие. Прогресс делают худые. Толстяки — балласт человечества. Мне это только что пришло в голову, но это дельная мысль. Постарайся ее развить, может быть, ты от этого похудеешь. Составь биологическую формулу соотношения между гением и весом гения, вспомни комплекцию всех великих людей, постарайся разыскать их меню. Дарю тебе эту мысль. Но нет, ты слишком бездарен. Я начинаю терять надежду на то, что ты когда-нибудь похудеешь. Придется принять другие меры. Ты не знаком еще с Тамарой Павловной?

Сам Гуревич был тощ, но плотен, широк в кости. У него были изогнутые тонкие брови, похожие на полет птицы, и под глазами — лиловые тени, которые при его молодости придавали ему вид философа или кутилы. Он был всегда охвачен страстью удивлять и распоряжаться. Я думаю, что таким был Дантон или Бетховен, на кото-

рых Гуревич походил своим рябым, курносым и стремительным лицом. Он выражался далеко не с той чистотой, как Кипарисов, не так умно, не так честно, — я это понимал. Часто, расставшись с Гуревичем, один в прохладе ночных улиц, я возобновлял наши сумасшедшие споры, и тут я с легкостью находил неотразимые доводы, которые жили только до утра, до новой встречи с Гуревичем.

Мало-помалу я стал верить, что галстук и носки должны быть одного цвета, что политическая экономия — это скучная материя, что в театр по билетам ходят только дураки, что величайший поэт современности — Игорь Северянин, что водку нужно пить стаканами, что любовь — это глупость, спорт — тоже глупость и идейность — глупость, что дедушка прикарманил деньги моего покойного отца, что самое главное — это красота, но ее чертовски мало в жизни. Я перенял все убеждения Гуревича, все его вкусы и менял их так же часто, как он сам.

Представляясь Тамаре Павловне, я не посмел посмотреть на нее: оглушительный горловой смех, ямайская смуглота лица и серьги до плеч смутили меня. Никто не занимался модами в 1916 году, и на Тамаре Павловне была новинка: «июль 1914 года», последнее изобретение мирного времени — платье «тальер». Там внизу был разрез до колена, из него все время, как артист на вызовы публики, выступала нога Тамары Павловны, высокая, полная, белая.

Должно быть, Тамара Павловна подумала обо мне, что я очень горд, потому что я вовсе не разговаривал с ней, а только рассматривал альбомы с фотографиями, придавая себе вид рассеянный и пресыщенный. В альбомах было много военных: летчики в черных беретах, адъютанты, которых нетрудно было узнать по аксельбантам и отсутствию боевых орденов, молодые генералы из штабных с порочным благообразием лица, и сама Тамара Павловна там была в кителе с офицерскими погонами, с хлыстом, один раз даже в бурке, которая не смогла скрыть очертаний ее фигуры.

Некоторые карточки были испещрены надписями. «Все проходит, любовь остается. Николай». «Кошечка, не забывай о своем котике Мише. Полковник Бальц». «Лучшие песни — неспетые песни. Штабс-капитан 213-го Феодосийского полка Мирончук». Попадались в альбоме засушенные цветы, счета от шляпниц, пряди волос, порошки фенацетина от головной боли, листки из

календаря, сохраненные ради полезных сведений: «Как вывести чернильные пятна с паркетного пола», «Питание беременной женщины», конверты со штемпелем «Действующая армия», надорванные небрежной и страстной рукой. Иногда тянуло духами, нежными, как юность. Угадывалась жизнь неряшливая, блестящая, с поздними вставаниями, с окурками в стаканах, с несуществующим женихом на передовых позициях, с криками: «Ах, какой вы бесстыдник!» — с наемными автомобилями, ликером, тянучками, бесконечными абортами. Ах, как я хорошо все знал это по тысяче книг, прочитанных с двенадцатилетнего возраста! Куда мне деваться от скуки начитанного мальчика!

Гуревич, Завьялов и маленький Беспрозванный затеяли «железку» в углу за китайским столиком. Они играли, не обращая внимания на хозяйку. Изредка слышались угрюмые восклицания: «Анкарт. Повторю пять рублей. Мажу десять». Оба Клячко дремали на диване.

— Вы внук Абрамсона? — сказала Тамара Павловна и положила руку мне на колено.

Я вижу ее лицо в ошеломительной близости. Зрачки, расширенные белладонной. Заштрихованные подглазники. Улыбка. Но эта улыбка, безошибочно поражающая на расстоянии, оказывается совершенно безвредной вблизи, как бацилла, попавшая под микроскоп. Я различаю в ней доброту, притворство, скверную помаду и очень много усталости. Рука на колене жжет, как горчичник.

— Ого, да вы с характером! — сказала женщина в нос. — Вы мне нравитесь, хотя видать, что вы страшный задавака.

— Он филолог, — отозвался Гуревич от карт, насмешливо ударяя на последнем слоге, — он филолог, его женщины не интересуют, он сам баба. Он как латинские исключения, по окончанию — мужского рода, а по значению — женского.

Я сидел неподвижно. Я молчал. Я облек себя в таинственную задумчивость, в тоску природы мрачной, но возвышенной. Мне повезло. Тамара Павловна растрогалась и заинтересовалась.

Но Гуревич, который отлично понимал меня, заявил:

— Тамарка, не будь растяпой! Он просто боится тебя. Он малохольный. Ущипни-ка его пониже поясицы!

И он удалился, поцеловав руку возмущенной Тамаре Павловне и взяв у меня сорок рублей (в последнее время он это делал часто). Все ушли за ним. «Ну вот, — сказал я себе, — ты ждал этого. Отчего же ты сидишь как оболтус? Действуй! Она ждет тебя. Тамара Павловна вернулась».

Она придвинулась. Я чувствую жар ее тела, доброту этой кожи, умащенной патентованными кремами. Но беспощадная трезвость вдруг овладевает мной. Я замечаю капельки липкого пота на ее ищущей руке. Штопку на шелковых чулках. И — грубую ложь ее рассказов. Она говорит без конца, болтливая женщина! Чувства мои утончаются, доходя до неслыханной остроты, а она рассказывает мне бог знает что, чушь, вычитанную из бульварных романов, — о своем графском происхождении, о муже, польском магнате, тоскующем по ту сторону фронта. Судебный следователь не дал бы ни гроша за этот рассказ, где все документы оказывались утерянными, свидетели — за границей, где слишком много кораблекрушений и пошлых анекдотов. Рассказывает мне, воспитанному на тонкостях французской литературы, поклоннику Стендаля, йогов, психоанализа! Я посмотрел на нее с насмешкой, чувствуя свое превосходство книжного человека над безграмотным существом. В это время она распахнула халат, и я пал к ней на грудь, бормоча извинения и клятвы, и, падая, успел удивиться: где же ее белье?

Был момент резкого счастья, такого короткого, как будто его вовсе и не было. Я встал и удивился себе такому, каким я был секунду назад. Она нежилась на диване. Мне захотелось от ее улыбок и мягкости, полумрака и шепота — к делу, к воздуху, к твердости мужской руки, к твердости мужского разговора. Я вспоминаю о той, которую люблю, и мне делается стыдно. «Чистота! — думаю я с тоской. — Сестра моя, чистота!»

Я пошел к выходу, едва попрощавшись. Тамара Павловна побежала за мной.

— Сереженька, — сказала она в дверях, — мне предлагают чудесный флакон настоящего «коти». Редкий случай...

Я смутился и дал ей сторублевую бумажку. Дал, почему-то таясь, как врачу. Она разгладила кредитку и довольно улыбнулась.

— Прощайте, Тамара Павловна, — сказал я с возмущением, — больше мы не увидимся.

— Придешь, — сказала она беспечно, — придешь, милый, всегда в первый раз так бывает.

Я едва дождался утра, чтобы рассказать все нашей компании. Я изобразил Тамару Павловну женщиной большой неприступности. Я дал понять при этом, что такие победы мне не впервые. Мне польстила зависть, с какой товарищи слушали меня. Внезапно Гуревич раскричался:

— Ты дурак и грубиян! Подумаешь — Дон-Жуан! Обольстил за сто рублей девицу легкого поведения. Во-первых, ей красная цена — четвертной. Во-вторых, она деликатничала с тобой целый час, потому что ты мальчишка и она тебя жалела. Тамарка умнее тебя. И тактичней. Пойми, идиот, она хотела создать тебе обстановку любви, а не публичного дома. Это трогательно. Руки целовать ей за это надо!

Я покраснел. Особенно меня разозлило то, что Саша при всех назвал меня мальчишкой. Мне захотелось отомстить ему. Я сказал:

— Ты как будто влюблен и ревнуешь?

Тотчас я пожалел о сказанном. Как всегда, мне стало больней, чем человеку, которого я обидел. Саша закурил и ничего не ответил. Я начал с шумом рассказывать анекдот. Я хотел забить неловкую паузу словами. Тут маленький Беспрозрачный, который не умен, но хитер, как крыса, и чуток на всякую пакость, выскочил вперед и сказал:

— Сережка отбил у Сашки бабу. Сашка влюблен, но получил «отсеч».

Поднялся хохот. Все подхватили эту тему. С ужасом я увидел, что из всей нашей компании только я один люблю Гуревича. Даже апатичный Завьялов разевал толстогубый рот и издевался над Сашей. С обоих Клячко спала обычная дремота, и они цинично острили. Все почувствовали слабое место Гуревича, топтали по нему, мстили за унижение всех этих недель.

— Дурачье, — сказал Гуревич, пожав плечами, — Тамарка мне друг. Вам этого не понять.

Я стал бывать у Тамары Павловны. Я не сердился, когда заставал у нее мужчин. Альбомы ее пухли. Я тоже подарил ей свою карточку; подражая покойному отцу, я снялся во весь рост, под деревом, в охотничьих сапогах. Тамара Павловна повесила эту карточку на почетном месте, под круглым зеркалом, рядом с полицмейстером Садовским и заводчиком Пистерманом. Маленький Бес-

прозванный предсказал верно: она ко мне привязалась. Я должен был пригрозить Тамаре, что брошу ее, если она не будет брать от меня денег. Она сама представила меня своим подругам, боясь, чтоб однообразие впечатлений не оттолкнуло меня от нее: Наташе — кокаинистке, которая полагала, что на все слова мужчин нужно отвечать смехом; Веронике — высокой и злой, ругавшейся, как матрос; Иоланте — скрипачке, которая была помешана на светскости и во всех случаях жизни обходилась одной фразой, меняя в ней только первое слово: «Жара дает себя знать», «Вино дает себя знать», «Простота дает себя знать»; Маргарите, о которой даже глядя сзади можно было сказать, что она сластена и обжора, с ее тяжелыми боками и привычкой облизывать губы.

Из симпатии ко мне и стремясь сделать приятное Тамаре, все были со мной предупредительны. Скоро я понял, что моя мягкость, моя бледность и дедушкины деньги делают меня любимцем женщин. У меня появились черты бабника: надушенный платок, круги под глазами, ласковость ко всем женщинам, набор ходячих остроумств.

Но тяготы Тамириной любви уже утомляли меня. Она начала досаждать мне верностью, подарками, городскими телеграммами. Я пожаловался Гуревичу.

— Брось ее, — сказал он равнодушно.

— Ей будет больно, — сказал я с досадой.

Он насмешливо глянул на меня и заговорил, как всегда, рисуясь:

— Ты тряпка, Сережа! Я окончательно в этом убедился. У тебя никогда не будет силы сделать решительный поступок. Ты слабоволен. Ты всегда чья-нибудь собственность. То Кипарисова. То моя. А то трехрублевой мамзели. Что? Не веришь? Согласись, что мне неприятно говорить тебе такие вещи. Но ведь это так. Хорошо, уступаю тебе. Тобой владеют не люди, а положения. Ты консерватор по натуре. Ты всегда боишься разрушить старый порядок. Покойней, не правда ли? А еще социалист! Ведь это — каторга, розги, виселица. Ну как ты будешь стрелять, если тебе трудно вынуть руки из карманов? Брось Тамарку! Больно ей? Черт с ней! Умей быть мерзавцем. Да ты не сердись, я по дружбе. Я нарочно так, чтобы разозлить тебя, кисляй, чтоб ты действовал.

— Нельзя ли без советов? — пробормотал я. — Когда мне нужно, я действую не хуже, чем ты.

— Докажи! — закричал Саша, горячась. — Не можешь? Я докажу!

Он быстро посмотрел вокруг себя. Мы на перекрестке. Улицы пусты. Сумеречный час. На углу — ларек, набитый фруктами и хлебом. Хозяин-грек неспешно разжигает калильную лампу. Под его руками свет шипит и делается раздражительно белым.

— Ну вот, — шепчет Гуревич и показывает мне на булки, сложенные миниатюрными штабелями, — стащи булку. Не можешь? А я могу.

Он подходит к ларьку, неторопливо берет булку и возвращается. Все его рябое лицо смеется и торжествует.

— Ну? — говорит он.

Во мне рождается безумное желание превзойти Гуревича. Я тоже подкрадываюсь к ларьку. Широкая спина хозяина неподвижна, как брандмауер. Я тащу к себе большую спелую дыню. Спина шевелится. Я обмираю. Обернется или нет? «Ай, — думаю я, — скорей бы одно или другое! Какая глупость!» Хозяин медленно поворачивается и, посмотрев на меня, равнодушно говорит:

— Двенадцать копеек.

Я швыряю деньги на прилавок и возвращаюсь к Гуревичу. Дыня у меня в руках. Она тяжелая. Чувствую, что у меня преглупый вид. Саша хохочет как безумный.

Вдруг он делается серьезным и говорит:

— Ты опять не догадался, что надо делать? Бежать надо было! Хозяин толстый, не догнал бы.

И он добавляет:

— Теперь ты видишь, что я прав.

Непререкаемость его тона убивает меня. Кроме того, я не знаю, что мне делать с дыней. Отдать нищему? А вдруг он не возьмет? И что он подумает? Мнение нищих, официантов и парикмахеров всегда болезненно интересовало меня. Гуревич смотрит на меня с ехидным любопытством. Может быть, положить ее на землю и пойти размашистой походкой, изображая собою чудака, богему, сумасброда. А вдруг попадется знакомый, который меня таким не знает? Он подумает: «Иванов — кривляка. Что это такое? Оказывается, он с каждым другой». Дыня у меня в руках. Я ее ненавижу. Я ненавижу себя. Саша, махнув рукой, уходит вдаль. «Ему надоело», — догадываюсь я. Я брежу, не забывая на всякий случай придать себе вид задумчивый, как если бы мне было поручено купить в магазинах несколько

вещей и я припоминаю, что именно. Тотчас уличаю себя в этом новом притворстве.

Но самобичевание не облегчает. Мне гадко. На лице разброд. Все расплзается. «Переменить жизнь», — думаю я. Это счастливая мысль. Да, да, я знаю! Не курить, изучать языки, снова спорт, вернуться к Кипарисову, рефераты в кружке, Катя, жизнь ученого, книги, хорошо бы лаборатория, пробирки и географические карты, в дальнейшем — научная командировка, путешествие на корабле «Бигль», и главное — твердое расписание. Моей натуре талантливой, но (я гонюсь за словом) страстной — да, страстной! — необходимы шоры программ, расписаний. Система — вот слово!

Я перекладываю дыню из одной руки в другую и шагаю походкой более уверенной. Позволительно меня сравнить с Шопеном. Ему тоже недоставало воли, чтобы стать гением. Я ощущаю в себе польскую хрупкость, польскую тонкость. У меня такая же белая кожа и пепельные волосы. Лицо мое, слегка задранное кверху, обнаруживает черты вдохновения. С завтрашнего дня — новая жизнь. Мысли идут рядами. В передних рядах мысли-слова. Они из букв, как на транспаранте: «С завтрашнего дня». За мыслями-литерами — мысли-картинки. Я думаю путаницей домов, лицом Гуревича, прищуренным, насмешливым, оно значит: «Почему же завтра? Сейчас, сию секунду!» Но так как это не слова, то я притворяюсь, что я этого не думаю. Наконец встают самые дальние ряды мыслей; это не буквы и не картинки, это шумы глубин, пролетающие в голове, как облако, они невыразимы: запах стыда, осадок безнадежности. Но я не даю шумам и картинкам возобладать над буквами. Лучшая жизнь начнется с завтрашнего дня. Само собой разумеется, что сегодня я могу еще пожить по-старому. Фу!.. Я вздыхаю с облегчением, как после большой и удачно проделанной работы. Нет, право, я заслужил отдых. Решаю немедленно пойти к Маргарите, к толстой, глупой Маргарите, которая не умеет думать.

Я весел. Шаги мои тверды. Хочется петь. С увлечением мурлычу:

— «Ночные приключения дарят нам развлечения, спешите прославить клеш, устраивай дебош...»

Зажав дыню под мышкой, браво вскакиваю в трамвай.

Кто-то ахнул и проговорил:

— Господин Иванов!

Я оглянулся и увидел Рувима Пика. Он карабкался по ступенькам за мной, стуча костылем. Я помог инвалиду взобраться в вагон, брезгливо взяв его под руку. Он стал еще неопрятней. Лицо его приобрело стойкий цвет грязи. Серебряный крестик подпрыгивал на тощей груди, пропадая в дырках рубахи, некогда зеленой. Он казался неуместным на этом смрадном калеке, он оскорблял представление о герое, воспитанное в нас иллюстрированными журналами.

Рувим Пик опустил на свободную скамью, довольно ловко опередив какую-то толстую даму со свертками.

— Ничего, — пробормотал он при этом, — можете постоять, я за вас под Перемышлем больше стоял...

Он долго и хлопотливо усаживался на скамье, располагая свои обрубки.

— Слава богу, — говорил он, гримасничая разрубленным лицом, — я уже не солдат, я уже имею право сидеть в трамвае. Но я уже не сторож тоже. Я уже не службу у вашего дедушки, мосье Иванов. Он меня выгнал.

— Что вы врете, Рувим Пик! — сказал я, сторонясь.

Я бы ушел из вагона, но крестик меня притягивал. Я не мог оторваться от этого крестика. Какой подвиг совершил грязный, болтливый Рувим Пик? Может быть, он мне расскажет? Я хочу знать технику подвига.

Рувим Пик меж тем рассказывал мне, что дедушка Абрамсон уволил его со службы в наказание за то, что я не попал на медицинский факультет. Это была месть совершенно в стиле Абрамсона, который всегда делал виновниками в своих неудачах служащих, царское правительство, революционеров, погоду, бабушку.

— Вы можете хорошо устроиться, Рувим Пик, — льстиво сказал я, продолжая смотреть на Георгиевский крестик.

Инвалид заинтересовался и попросил объяснить подробней. Тогда я напомнил ему судьбу Хакютина, заведующего мучным складом № 3. За последние два года дедушка увольнял его со службы семь раз: за то, что была объявлена война, за крупный проигрыш в стуколку, за то, что пришлось пожертвовать деньги на постройку госпиталя, за введение мораториума, за то, что мы не выиграли двухсот тысяч рублей в тираже государственного внутреннего займа, за то, что я вывихнул ногу на футбольном поле, за обстрел Одессы германским броненосцем «Гебен». В последнем случае

Хаютин проявил черную неблагодарность, отказавшись после боя с броненосцами вернуться на службу; он скопил недурное состояние и открыл собственное дело «Овес и отруби» на Запорожской улице. Я брался устроить Пика на место Хаютина.

— Вы должны рассказать мне, — прибавил я, краснея, — как вы получили Георгиевский крест.

Сквозь потное стекло вагона мелькнули арки Сабанеева моста. Дома, обращенные к морю, к Турции, были темны. На крутом вираже трамвай визжал, как молодая певица. Кондуктор выкрикнул остановку. Пассажиры шумя устремились к выходу.

— Это было, — сказал Рувим Пик, — у фольварка Полесье, подле местечка Бродовицы. Черт меня дернул пойти на разведку. Никто меня не назначал. Сам пошел. Вызвался. Крестика мне захотелось. «Вдруг, — я подумал, — такой случай случится». Пошел с нами прапорщик Елкин. Ничего хлопец, только пугливый очень. Он выстрелов боялся. Нет, не боялся, он дрожал от них. Чуть бахает — он трясется и сдержать себя не может. Нервы, конечно. А так ничего. Один раз только он в штаны наделал. Не смейтесь, пожалуйста, мосье Иванов, это на фронте случается. Конечно, прапорщика Елкина после такого дела не уважали. А так ничего хлопец. Случай случился, когда мы стояли у опушки лесочка. Думали, никого кругом нет, а тут вдруг с деревьев посыпались австрияки. Множество. Пальба! Тысяча и одна ночь! Вижу: на Елкина с разных сторон со штыками бегут четыре хлопца. Здоровые. Мадыяры. А из наших только мы вдвоем. Остальные? Вы вчерашний день видели? Так я их видел. Увидели такое дело, взяли и без дураков удрали. «Ой, я корова! — думаю я. — Чего я здесь околачиваюсь?» И прячусь за дерево. А Елкин за меня. «Ваше благородие, — говорю я ему, — примите команду». Но он ничего не слушает и кричит: «Сдаюсь!» Чудак! Мадыяры в плен не берут. Я оттолкнул Елкина и начал целиться. Нельзя сказать, чтоб я любил драться, мосье Иванов! Я же знаю: у каждого мамаша или детки. Но у меня тоже мамаша и детки. Я выстрелил два раза и убил двух мадыяров. Но другие два — ноль внимания, бегут на меня. Тогда я сорвал с пояса две гранаты — и разом их! Оба мадыяра в кашу!

Трамвай заскрежетал тормозами и остановился.

— Городской театр! — выкрикнул кондуктор.

Рувим Пик поспешно заковылял к выходу.

— Мосье Иванов, — кричал он, оборачиваясь, — идемте! Это же наша остановка!

Действительно, заслушавшись рассказом инвалида, я едва не миновал Городской театр, возле которого жила Маргарита. Ее домик с жалюзи и цветочными горшками стоял в переулке, спускавшемся в порт.

— Позвольте, — сказал я, остановившись у газового фонаря. — Рувим Пик! Откуда вы знаете, что мне надо было именно здесь выйти?

Инвалид сосредоточенно хромал по просторным каменным плитам, опоясывавшим театр. Он поднял голову и торжественно сказал:

— Это я вам рассказал, как я не получил Георгиевский крест. Теперь я вам расскажу, как я получил Георгиевский крест.

Мы углубились в переулок.

— Разве вы не получили?

— Нет, — сказал инвалид, — мне не дали. Прапорщик Елкин не представил меня. Конечно, ему невыгодно. Вышло бы, что он трус. Но он человек с совестью. Ему становилось неловко, когда он видел меня. И он добился, чтобы меня перевели в другой полк. Я попал прямо в окопы. У нас был особенный дивизионный. Он все высчитывал. Он высчитал, что для того, чтобы ему получить к пасхе производство в генерал-лейтенанты, нужно, чтоб было перебито не меньше половины дивизии. Я попал как раз перед пасхой. Нас гнали в атаку по несколько раз в день. Дивизионный спешил. Он не виноват. Если у него такое начальство, которое считает, что нужно много трупов? Ну, он успел к пасхе уложить полдивизии. Мне повезло, я был только ранен, вы видите, в голову и ногу. Я попал в госпиталь. Тут дивизионный начал опять высчитывать. Трупов у него уже было сколько нужно. Но георгиевских кавалеров не было сколько нужно. Он пришел в госпиталь. Он высчитал на бумажке. На мою палату пришлось семнадцать крестов. Раздавали через каждые пять, или с кем писарь знаком, или кому скоро умереть. Один крест попал мне. Генерал велел поместить всех георгиевских кавалеров в одну палату и сказал нам речь. «Орлы, — сказал он, — ваши геройские подвиги известны всей армии. Царь и отечество восхищаются вами. С такими молодцами через год мы будем в Берлине». Очень хорошая речь, мосье Иванов! Присутствовало много генералов и сам верховный главнокомандующий князь Николай Николаевич. Вели-

кий князь поцеловал дивизионного. Многие плакали. Я тоже плакал. Очень торжественно было...

Внезапно Рувим Пик остановился. Я увидел дом Маргариты.

— Вам же сюда, мосье Иванов, — с нежностью сказал инвалид, — вы же идете к мадмазель Маргарите.

— Пик! — крикнул я. — Кто вас нанял за мной следить? Дедушка? Гуревич? Может быть, вы служите в полиции?

Рувим Пик бросил костыль и опустил на свое единственное колено.

— Мосье Иванов, — сказал он, — я вас умоляю: не ходите к Маргарите. Не убивайте меня. Вы человек молодой, вас и так женщины любят. Зачем вы у меня отняли мадмазель Маргариту? Я калека, пожалейте меня, мосье Иванов, не ходите к Маргарите!

Калека хватал меня за ноги. У него длинные руки с крепкими грязными ногтями, которыми он рвал на мне пальто. С трудом освободившись, я вбежал в квартиру, преследуемый истерикой.

— Ты принес мне дыню! Как это мило с твоей стороны! — воскликнула Маргарита.

Я бросился на диван, в мягкий хаос подушек. Началась болтовня, сплетни про Веронику, насмешки над поджаростью Иоланты, музыкальные обрывки, планы роскошных вечеринок.

— Будь покоен, во мне нет ничего поддельного! — кричала Маргарита, в припадке самодовольства шлепая себя по бокам.

Посреди разговора о том, можно ли верить газетным рекламам об увеличении бюста, раздался бешеный стук. Я вскочил. Нет сомнения, это Рувим Пик!

— погоди, я ему сейчас задам! — вскричала Маргарита, покраснев от злости.

Захватив смычок от контрабаса, она выбежала из комнаты.

— Я вышвырнула его, — заявила она, вернувшись. — Я попрошу полицмейстера, чтобы он поставил городского у моего дома. Мне надоел этот хулиган.

— Ты могла бы его пускать к себе раз в неделю, — пробормотал я, охваченный жалостью к Рувиму Пикю.

— Ну вот еще! — вскричала Маргарита. — Спасибо тебе, попробуй повозись с безногим. Я тебе скажу: я это делала просто из патриотизма. Знаешь, каждый помога-

ет родине как умеет. И потом — я тогда плохо зарабатывала. Он такой грязный мужлан. Он вел себя здесь, как в окопах. Знаешь, не так уж приятно найти на подушке насекомое.

Она жадно ела дыню, обливаясь соком. Я молчал, размышлял о Пике; мне было стыдно за свою лишнюю ногу. Тишина. Сумерки. Ах, как я люблю этот час, предшествующий началу спектаклей, час незажженного электричества, брошенной книги, мечтаний о будущем, которое никогда не осуществится!

Внезапно раздался звон. Из окна посыпались стекла. На пол лег большой булыжник. Маргарита вскрикнула. С улицы доносился хриплый голос Пика:

— Эй ты, мамзель! Отдай мои деньги! Смотрите, господа, здесь живет девка Маргарита. У нее прячется купчик Иванов. Он скрывается от военной службы. Я это знаю, да! Ты меня ограбила, шлюха такая! Смотрите, господа, я герой германской войны!

— Сережа, — плакала Маргарита, прячась в портьеру, — что же это такое! Пойди набей ему морду! Уже собралась толпа. Городовой стоит и ничего не делает. Сережа, почему городовой его не убивает?

— Он не имеет права арестовать георгиевского кавалера, — отозвался я из своего угла.

— Сережа, я боюсь, они ворвутся сюда! Будет погром. Вот подошел офицер. Господин офицер! Он остановился. Сережа, он ударил Пика. Так его, так! Еще раз! Молодец!

Я подбежал к окну. Плотный офицер с погонами пехотного поручика, невысоко занося руку в перчатке, ударял по разрубленному лицу Пика. Пик мотал головой, опустив руки по швам. Прохожие молчали. Городовой держал под козырек.

— Он не имеет право бить! — крикнул я. — Маргарита, это хамство! Слушайте...

Маргарита зажала мне рот. Офицер отер руку и пошел в даль, сквозь раздавшуюся толпу. Городовой обхватил Руви́ма Пика, потащил его на извозчика. Прохожие молчали и не расходились.

— Я знаю этого офицера, — сказала Маргарита, загибая портьеру, — его зовут поручик Третьяков.

«Не понимаю, почему вы меня избегаете? Мои письма остаются без ответа. Я вас не видел со дня заседания у Мартыновского. Один раз видел вашу спину, когда вы убегали по черной лестнице. Обижены? Объяснимся. Вот вас могут забрать в армию, и я не увижу вас. Пожалуйста, ждите меня сегодня. Очень важно для дела. Зная ваш прямой характер, уверен — не надуете».

Подписано: «Ваш Кипарисов». Еще не забыв правил конспирации, я тщательно сжег записку на спичке. «А пепел съешьте», — вспомнил я любимую шутку Кипарисова. О, как давно это было! Словно не три недели назад, а в детстве, дорогом, глупом приготовительном классе. Против воли люблюсь Митиным почерком — как из немецких прописей, готический. У Мити и в натуре готика: чистота, звон, торжественность. Я отдернул пальцы — записка догорала. Осталось одно слово «характер», почерневшее, покоробленное. Посмотрим! Никто не знает моего настоящего характера, даже я сам (разве Гуревич?). Я улыбнулся: мысль о сложности моего характера доставила мне удовольствие.

Приходите, Кипарисов! Я вас не надую. Мы поговорим!

Я стал раздражительно шагать по комнате.

Нет, скажите пожалуйста, кому я давал право третиловать меня, как школьника? Мне хочется судить о вещах просто, как поют песни, как играют в футбол. Зачем же я приневолил себя к марксистскому методу и обязан повсюду выискивать экономическую базу, товарные отношения, производственный процесс?

Я явственно представил себе социалиста: студент в очках, с курчавой бородкой крадется сквозь дебри книг, сжимая в руке револьвер. Ах, боже мой, разве это все объясняет? А как совместить с марксизмом любовь к бильярду, вечера у Тamarки, страшное любопытство к жизни, то, что мне хочется иметь велосипед? Что можно и чего нельзя? Мне нужна такая вера, которая все объясняет, или мне не нужна никакая вера.

— Бабушка! — крикнул я, высунувшись из двери. — Я ухожу. Если ко мне кто-нибудь придет, пусть пождет.

Перед тем как уйти, я накидал на стол книг. Мы будем хитрить, мы сразу не раскроем карт. У нас серьезный противник.

Вернувшись вечером, я узнал, что меня ждут.

— Он сидит уже полтора часа, — сказала бабушка, — в твоей комнате, без конца курит, еще больше, чем ты. Чтоб ты был мне здоров! — прибавила она с силой, но шепотом, чтоб бог в самом деле не услышал этой молитвы накануне призыва. И так дедушка ворчал, оглядывая мое цветущее лицо. Я здоровел от распутства, как другие от деревенского воздуха.

Волнуясь, я открыл дверь и увидел Гуревича.

— Не ожидал? — сказал он, щурясь. — Недоволен? Кого-нибудь ждешь?

И он с насмешкой прочитал:

— «Религия же есть сон человеческого духа».

Это было из фейербаховской «Сущности христианства», которую я положил раскрытой на стол, готовясь к встрече с Кипарисовым.

Кому он нужен здесь сейчас, Гуревич? У меня мало охоты объясняться с Кипарисовым в его присутствии. И вообще три человека — это цифра совсем меняет атмосферу разговора. Начинается взаимная слезка, интриги, соперничество. Четыре — опять другой счет: настраиваешься на дружеский лад, на интимность старых приятелей, особую четырехугольную уютность разговора. Пять человек — новая ситуация, самая нечетность цифры настраивает на споры, в обществе пяти вспыхивают дискуссии, руготня, фракционность. Но не могу же я всего этого объяснить Гуревичу! Это мое, необязательное для других.

Ах, все равно — поздно уже! Я не успею выжить Гуревича: слышны шаги, хорошо знакомые шаги Кипарисова. Я еле успеваю выбрать между суховатым «войдите» и радушным «пожалуйста», Кипарисов вбегает в комнату, как бы опережая собственный стук, — такая уж у него повадка: летучая, шумная.

— Сережа, вы хорошо выглядите, — сказал Кипарисов, оглядев меня. — Румяные щеки. Возмужал мальчик! Только глаза печальные-печальные.

Точь-в-точь как когда-то. Всегда Кипарисов при встрече прежде всего брал меня за плечи и говорил, как я выгляжу.

— Дмитрий Антонович, — сказал я с прежней нежностью, — у меня тоска.

Гуревич поднял руку.

— Тоска, — сказал он, как бы недоумевая, — вот болезнь, в которой каждый признается с охотой. Почему

не признаются в триппере, в эпилепсии, в чесотке, в она-низме, в любви к мальчикам? Тоска — красивая болезнь!

— Вы совершенно правы, — к моему удивлению, сказал Кипарисов и с любопытством посмотрел на Гуревича.

Я понял коварство Кипарисова: он хотел вызвать Гуревича на откровенность. И действительно, подстеги-ваемый интересом к себе, тщеславясь и хитря, мой приятель принялся ораторствовать.

— Сережу, — восклицал Гуревич, — увлек не социализм, а вы, Дмитрий Антонович! Ваше красноречие. Ваша блестящая натура. Если бы вы были сионистом — и он стал бы сионистом, несмотря на то, что оба вы христиане. Я хорошо знаю Сережу. Его увлекают не теории, а люди, романтика положения. Да, да, не возражайте! Он человек средней линии. Он человек без фокуса. Без центрального интереса. Быть может, это от смещения рас, не знаю. У него эстетское отношение к жизни. Провинциализм сердца, Дмитрий Антонович!

— У Сережи очень сознательное отношение к жизни, — вежливо возразил Кипарисов, — мне кажется, я тоже довольно хорошо знаю Сережу.

Эти люди спорили обо мне, как если бы я был доктриной. Друг с другом они говорили с большой предупредительностью, со всеми формами официального почтения: «Мой дорогой», «Позвольте обратить ваше внимание», — как на публичном диспуте. То и дело они обращались ко мне с негодующими или саркастическими возгласами, не дожидаясь, впрочем, моего ответа, как это делают спорщики. Между ними я чувствовал себя неудобно. Каждый раз мне приходилось переключать себя на ток Митиной нежности, Сашиного цинизма, Митиной честности, Сашиного остроумия. Мне не удавалось вставить ни одного слова. Меня забывали. Я уже имел не более чем историческое значение: от меня начался спор.

— Какой же это социализм! — кричал Гуревич. — Восьмичасовой рабочий день — скажите пожалуйста! Во-первых, наука доказала, что достаточно работать четыре часа в день, так что восемь часов в день уже не в интересах рабочих. А во-вторых, Сергею не место в вашей компании. Он — сын дворянина, племянник графа, внук капиталиста. Социализм ему нужен, как зубы на заднице.

Кипарисов покраснел. Он не выносил грубых слов. Я знал это. Гуревич тоже знал это. Но по свойствам своим Гуревич был мягок и предупредителен с дураками и, напротив, запальчив и язвителен с талантами, умницами.

— В разговоре со мной, — с неожиданной злостью сказал Митенька, — покорнейше просил бы вас оставить свой сутенерский жаргон.

Гуревич закашлялся. Теперь наступила его очередь краснеть. Он краснел усердно, кропотливо, исподволь. Он краснел, как маленькие, с потом, со слезами, с зудом в ушах. Я растерялся. В чем дело? Страшная догадка пришла мне в голову: неужели Тамарка дает Гуревичу деньги? Какая гадость, если это так!

— Ну, а как вы относитесь к существующему строю? — спросил Кипарисов спокойнейшим голосом, как ни в чем не бывало. — Я хочу сказать: вы оба.

Гуревич уже оправился. Его рябое лицо мгновенно выразило величайшую готовность удовлетворить любопытство уважаемого собеседника.

— Может быть, это покажется вам глупым, Дмитрий Антонович, — сказал он и посмотрел на Кипарисова притворно собачьими глазами, — но политические проблемы, если они перевалили за восемнадцатое столетие, не кажутся мне заслуживающими внимания, Дмитрий Антонович! Я хочу сказать — не кажутся нам. Ну что политика! Свобода слова, больничные кассы для рабочих, община, отруба — мелко. Высот не ощущаю. Я хочу сказать — не ощущаем. Усовершенствование духа — вот проблема. Так я пришел к теософии. Я пришел к теософии через сон, Дмитрий Иванович! Я увидел удивительный сон. Мне хочется рассказать его. Я в то время изучал технологию металлов. Да, в политехникуме. Мне нужно было сдавать зачет. И вот мне стала сниться библиотека. Она стала мне сниться с редким упорством, каждую ночь. Я видел книги, Дмитрий Иванович! Это было собрание редчайших книг — и все по технологии металлов. Каждую ночь я получал по книге! Я их читал. А проснувшись, злился. Что за ерунда! Голова моя была набита сведениями из этих книг, я не мог отделаться от них, они не забывались. Вдруг сон прекратился. И тут я узнал странную вещь, Дмитрий Антонович! Книги из сна были настоящими! Реальными! Что может быть реальнее Амброзиуса «Инструментальная сталь» или Валуева «Свойство железобетона»?

Я потом разыскал их наяву, я их держал в руках. Но они уже не нужны были мне, потому что я сдал зачет. Блестяще сдал — на основании вычитанного во сне. Тут есть отчего взбеситься, Дмитрий Антонович! Я стал искать объяснения. И нашел его в теософии! Не стану вам объяснять механизм этого события, Дмитрий Антонович, потому что теософия требует особого настроения ума и в людях, к ней не расположенных, способна вызвать по отношению к себе иронию. А это было бы мне неприятно. Нам неприятно. Но позвольте мне выразить уверенность, Дмитрий Антонович, что вы, с вашим умом и чуткостью, рано или поздно тоже придете к теософии. Правда, Сережа?

Я ответил не сразу. Мне вспомнился теософский кружок, откуда меня с Гуревичем недавно выгнали за издевательство над верховным духом вселенной. Я понял, что Гуревич и сейчас издевается над Кипарисовым, над его чистотой, мужеством, и что издевательство вообще является для Гуревича высшей ступенью человеческой мудрости. Но я тоже считал издевательство вершинной мудрости, и я сказал:

— Да, конечно, мы — теософы.

Оба посмотрели на меня и опять повернулись друг к другу.

— Вот видите, — сказал Гуревич, — я вам говорил. Правда, сейчас мы вышли из теософского кружка. Мы вообще не выносим никаких кружков и организаций. Почему? Там, где собираются люди одинакового цвета, скука всегда будет председательствовать, а глупость — вести протокол.

Гуревич поднялся. Это была его манера — уходить в выигрышном положении, под эффектную фразу. Он только что вычитал ее из книги Людвига Берне, лежавшей у меня на столе.

— Сережа, — сказал он деловым тоном, почти грубо, — не забудь, что мы сегодня ночью гуляем на балу. Предупреди Тамару и всех девчонок. Тебе завтра призывать. И дай мне, пожалуйста, денег — рублей пятьдесят.

Он спрятал деньги и вышел, послав Кипарисову нежную улыбку.

— Ну, как вам понравился Гуревич? — спросил я, словно между прочим.

Митя ответил не сразу. Можно подумать, что ему неловко смотреть мне в глаза.

— Бойкий человек, — сказал он наконец, — остер, интересен, но только... — Митя шевельнул пальцами, доставая из воздуха слово, — сердечности нет. Понимаете? Души нет.

— Души? — вскричал я со злостью. — Вы говорите о душе, вы? Не вы ли сами воспитали во мне ненависть к этому термину? О, я хорошо помню! Душа — это высшая нервная деятельность. Душа — это коллоидальное вещество. Душа — это аккумулятор химической энергии, превращения которой и выражаются в явлениях жизни — как наиболее простых, так и самых сложных. «Читайте Осборна, Сережа», — говорили вы. И я читал. А теперь вы, материалист, биолог, говорите о сердечной душе! Разве аккумулятор химической энергии может быть сердечным? Нет, видимо, не я один переменялся, Дмитрий Антонович!

— Значит, вы тоже знаете, что вы переменялись? — сказал Кипарисов странным голосом.

Он встал и поправил очки. Утиное лицо его, милое, худое лицо, было задумчиво.

— Я на вас не сержусь, — сказал я задорно.

— Я знаю, — сказал Кипарисов, — вы на себя сердитесь. До свидания!

— А дело, Дмитрий Антонович! — пробормотал я. — Вы писали, что у вас ко мне дело?

— Обойдется, Сережа, — сказал он и пошел к дверям.

— Нет, как же, Дмитрий Антонович? — говорил я искательно и шел вслед. — Нельзя так! Вы же сами написали.

Я задыхался не оттого, что делал большие шаги, а оттого, что слезы, обидные мальчишеские слезы, поднимались к горлу.

— Значит, мне не доверяют? — сказал я, невозможная духоту, застрявшую в горле.

Кипарисов остановился. Кажется, он жалеет меня.

— Что ж, — сказал он, — если вы так серьезно, приодите сегодня к Стамати. Там кое-кто будет. Распределите работу. Но вы не можете? Вы идете на бал?

— Нет, отчего... — пробормотал я.

Кипарисов усмехнулся и стал спускаться по лестнице.

— Дмитрий Антонович! — крикнул я, перегнувшись через перила. — Я буду!

— Хорошо, Сережа! — сказал Кипарисов и улыбнулся, стоя внизу, по-хорошему, по-прежнему.

Оставшись один, я стал переодеваться, медленно и с особой тщательностью. Холодный скользкий воротничок, противившийся галстуку; патентованные подтяжки, обращение с которыми требовало знания формулы рычагов; накрахмаленные рубашки, ломавшиеся на сгибах со склеротическим хрустом. Борьба с тугими, надменными вещами выгоняла мысли, убогие мысли, которых я боялся. Я вспомнил Гуревича, среди талантов которого числилось умение одеваться. Свой старенький костюм он носил с непринужденностью щеголя. Вещи радовались, попадая к нему на плечи. Он заставлял вещи проявлять их лучшие стороны. Почему же с людьми у него было наоборот?

Я покосился на часы. Да, время идет быстро, как всегда в таких случаях!

Я принялся наводить порядок в комнате, хлопая дверцами шкафов, освобождая ящики. Я погрузился в пафос вспомогательных движений — например: как лучше сложить газету, чтоб ее удобней было читать перед сном, в какой карман положить портмоне и в какой — гребенку, долго рассматривал маленькие трещинки на лаковой туфле, размышляя по поводу низкого качества кожи, явившегося, несомненно, как следствие мировой войны... «Да, маникюр — я согласен, но полировать ногти — для мужчин дурной тон...»

Хватит, довольно, я гнусный лжец и лицемер! Стрелки часов поспешно приближались к одиннадцати — час, когда собирается публика на бал и заговорщики на собрание. Решительно ничего больше не оставалось надевать и переключивать, комната выталкивала меня из себя. Я очутился на улице, расстроенный, колеблющийся и расфранченный. Пошел, держась у стен, как будто опасался предательского удара ножом в спину. Прохожие казались мне гигантами мысли и дела — они уверенно шагали, зная цель и путь.

«Почему же, — думал я, влезая в такси, — это так получается? Я знаю, что пойти к Стамати хорошо, честно, и все-таки я иду на бал. Что это — мягкость моей матери или слабование моего отца?»

Со всех сторон съезжались на бал. Он начинался еще внизу, в гардеробе, где торопливо разоблачались, переходя из дикости мехов к нежности обнаженного тела. Женщины, орудуя карманными зеркальцами, с походной быстротой подмазывали губы, мужчины поспешно уравнивали концы галстуков. Офицеры подтягивали к коленям опавшие сапоги, всюду звенели шпоры. Бал давался офицерским комитетом помощи увечным воинам.

Принято было, скинув пальто на руки капельдинеру, избежать с озабоченно-счастливым лицом вверх по лестнице, навстречу музыке, деликатно заглушаемой пространствами, и тем особым запахам бала, которые состояются из духов, пота, апельсиновых шкур. Сверху, из этого розового блаженства, внезапно выбежал Гуревич. На борту его студенческого мундира — голубая розетка распорядителя. Он припудрен, завит, снисходителен.

— Молодец, что приехал, — сказал он, — наши уже все здесь.

Он обвинил меня вокруг талии и повлек вверх, рассказывая бальные новости. Очень весело. Уйма хорошеньких женщин. Танцуют уже третий вальс. Пьяных покуда немного. Видимо, стесняются присутствием начальника округа, генерала Белова. Зато внизу, в подвалах биржи, на полуразрушенных плитах парочки завели похаберию на полный ход. Завьялов притащил спирту, очень хорошего, из дядькиной лечебницы. Он, Гуревич, изобрел новую игру. Нечто изумительное! Он расскажет о ней потом.

Держась за руки, мы стали пробираться по залу сквозь толпу. Танцующие налетали на нас, слышались возмущенные возгласы. Мы насмешливо переглядывались. Особая грубость манер считалась в нашей компании хорошим тоном.

Кругом, в киосках, сделанных как лебедь, как храм, как бутылка, продавались хризантемы и шампанское. В киосках сидели калеки, отмытые и причесанные, оглушенные музыкой. Никто у них не покупал. Мелькнуло среди цветов и бокалов разрубленное лицо Рувима Пика.

— Мосье Иванов, — крикнул он, — здесь мадмазель Маргарита!

Он подошел ко мне, застенчиво улыбаясь. Мы стали друзьями после того, как я освободил его из полицейского участка и устроил на службе у дедушки.

— Ну как я выгляжу? — тревожно спросил он.

Инвалид был в чистом костюме и с новой деревянной ногой, которую он приобрел на первые же заработанные деньги. Он надевал ее только в торжественных случаях — когда шел в кино или в почтенные дома. У него был плохой вид, открылась старая рана на шее, и теперь Пик не мог поднимать головы, а смотрел исподлобья, как школьник, поставленный в угол за непоседливость во время урока.

— Хорошо, Пик, — сказал я, отворачиваясь, — вы, наверное, понравитесь мадмазель Маргарите.

Гуревич усмехнулся, но ничего не сказал.

Открыли форточки. Сентябрьская ночь туманом ворвалась внутрь, выше виднелись фрески: гений торговли обнимался с гением промышленности, богиня хлебофуража взвешивала на мифологических весах золотое зерно, стоял, опираясь на трезубец, дух мануфактуры, мускулистый, прекрасный, совсем не похожий на живых мануфактурщиков, которых было довольно много на балу, и, как правило, низеньких, толстых, с отставленными, как у борцов (но — от жира), руками.

Жена начальника округа, похожая на Екатерину Великую, гравированную на меди, сидела на троноподобном стуле и благожелательно лорнировала публику. Через каждые пятнадцать минут, справляясь с часами, она подзывала какую-нибудь девушку из толпы и ласково трепала ее по щеке, говоря: «Какая красавица! Тебе весело? Как зовут?» — не дожидаясь, впрочем, ответа, а через каждые двадцать минут — кого-нибудь из коммерсантов и протягивала руку для поцелуя. Это была большая милость, и купечество хмурилось, опасаясь дополнительного требования денег на нужды военных лазаретов. Я увидел дедушку Абрамсона. Он держался среди богатейших негоциантов города. Это были все крепкие люди, первогильдейцы, в длинных черных сюртуках, подпертые высокими сверкающими воротничками. Дедушка поцеловал руку губернаторше бережно, как тору.

У стойки с винами паслись тонконогие столики.

Здесь было шумней и веселей всего. Мы стали искать знакомых.

— Мальчики, к нам, к нам! — весело закричала Тамара и поманила рукой, затянутой до локтя в белую перчатку.

Наташа, Маргарита, Иоланта и Вероника улыбнулись.

— Жара дает себя знать; — пробормотала Иоланта, отирая ладонью потный лоб и стараясь вести себя, как дама из хорошего общества.

Наташа глупо захохотала.

— Ах, боже мой, как скучно! — сказала Тамара.

— С такими кавалерами повеселишься! — со злостью сказала Вероника, оглядывая мужскую часть компании.

Действительно, протянув ноги под стол и уложив подбородки на грудь, Беспрозванный, Завьялов и оба Клячко сладко дремали, не допуская себя, впрочем, до полного сна. Сон восстанавливает силы, а завтра — призываться в армию.

Маргарита положила руки на стол и вполголоса запела:

Ах лучше бы взял кинжал ты да в грудь мою вонзил,
Чем ты, подлец, другую так страстно полюбил!..

— Маргаритка, спасайся, идет калека! — взвизгнула Иоланта.

Постукивая деревянной ногой и согнув простреленную шею, с видом наказанного школьника, инвалид Рувим Пик шел прямо на столик. Он остановился в нескольких шагах и заговорил низким, полным страсти голосом:

— Холера тебе в голову! Ты еще долго будешь от меня бегать? Маргарита, я тебе говорю, Маргарита! Мало я на тебя денег перевел? Мосье Иванов знает. Сейчас же идем со мной, не то я тебе устрою такой скандал, что ты еще в жизни не слышала!

Женщины замерли. При своей профессии они больше всего на свете боялись публичных скандалов.

Внезапно вскочила Тамара.

— Что вы пристааете к девушке? — сказала она, побледнев от гнева. — Кто вас трогает? Девушка вас знать не хочет. Что, вы ее купили за свои паршивые

деньги? Она их заработала. Она плевать на вас хочет. Урод, калека!

Тамара наступала на инвалида. Эти расширенные в бешенстве глаза хорошо были знакомы ее подругам и людям, которых она любила. Когда у Тамары делались такие глаза, надо было подчиняться или бежать. Но тут ничего не вышло. Тамара была слишком высока для того, чтобы инвалид со своей склоненной головой мог видеть ее глаза.

— Она не девушка, — рывкнул он, хватив кулаком по столу. — Она — тварь!

Озадаченная его бесстрашием, Тамара села. Тут она попала в поле зрения инвалида. Когда Рувим Пик увидел, что его ругает такая хорошенькая женщина, он смягчился.

— Маргарита завела себе новую моду, — пожаловался он, — каждый вечер гулять с другими. Я ничего не имею против. Но я тоже хочу получить удовольствие. Она должна протанцевать со мной один вальс.

Инвалид хлопнул себя по новенькой деревяшке, которой, видимо, очень гордился, и сделал два шага вперед, но вдруг повернулся и с непостижимой для его хромоты ловкостью исчез.

Я оглянулся. Мимо нас проходил офицер в лакированных сапожках, с плотной талией, приятно, несколько свысока поводя лысеющей головкой. «Поручик Третьяков», — подумал я. Но кто это рядом с ним в черном платье, с оголенными плечами? Неужели? Нет, не может быть! Неужели Катюша Шахова?

— Тише! — закричали в зале.

Множество голосов повторили: «Тише!» Музыка смолкла. Посреди залы очистился большой круг. Высокий нестарый военный вышел на середину. Он оперся рукой о столик и слегка отставил ногу — в позе генерала Отечественной войны 1812 года. Только фоном ему, вместо дымящихся пушек и эскадронов, скачущих по косогорам, служили официанты, скользившие меж столиков с подносами в руках, да купцы, засевшие в креслах, сосредоточенно копясь во рту зубочистками. Это был начальник округа генерал Белов. Он поднял, блеснув обшлагом, руку, в которой была зажата свернутая в трубку бумага.

Говор стих. От почитительного сдвигания каблучков звенели шпоры.

— Господа! — воскликнул генерал хрипло и повелительно, как на церемониальном марше. — Я обращаюсь главным образом к купечеству. Среди вас, здесь сидящих, есть миллионеры. Могут ли эти люди считать, что они выполнили свой гражданский долг, пожертвовав на лазарет какие-то жалкие гроши? Подписной лист у меня в руках. Я не хочу оглашать его, чтобы некоторым не стало стыдно.

— Какие скареды, дуся, правда? — проговорила Маргарита, прижимаясь ко мне.

Купцы задумчиво смотрели на пол. Абрамсон душевно склонил голову, как бы заслушиваясь звуками генералова голоса.

— Господа, — продолжал генерал, — мы, начальники округов, даем отчет царю. Как я скажу его величеству об Одессе? Кому же не известно, что Одесса — богатый город? Я не призываю вас в Минины, которые говорили: «Заложим жен и детей и все принесем за дорогое отечество...»

Генерал сделал паузу и сощурил глаза в знак того, что он сказал шутку. Кругом охотно засмеялись. Купцы подняли глаза к потолку, не теряя серьезности.

— Я прошу вас, — продолжал генерал, — только об одном: приютите больных и раненых, положивших здоровье свое на защиту родины. Господа, от вас требуются только крохи, какие-нибудь сто тысяч на оборудование лазарета. Поймите, бедняки отдадут все...

Генерал сделал широкий жест, обводя рукой публику.

Посвященные этим жестом в бедняки, студенты в мундирах на белой подкладке, молодые танцоры во фраках и смокингах, откупившиеся от военной службы крупными взятками, чины жандармского управления, кокотки и сутенеры зашевелились и укоризненно посмотрели на купцов. Калеки в киосках тупо хлопали глазами.

— Да, — растроганно сказала Маргарита, — старики прав. Мы тоже сегодня играем здесь бесплатно.

Купечество глядело вдаль с благообразной грустью.

— Вот подписной лист, — сказал генерал. — Матвей Иванович, начинайте, покажите, что вы русский человек.

Генерал сделал шаг вперед и протянул лист высокому бородатому купцу с медалью в петлице. Коммерсант услужливо подхватил бумагу и сказал:

— Ваше превосходительство, что же я?.. Пускай вон начинает Израиль Маркович!

Он сунул бумагу в руку дедушке. Дедушка ласково улыбнулся, как шутке балованного ребенка, и деликатно отложил бумагу на стол. Никто ее не брал.

Генерал постоял с минуту, потом разгневанно повернулся и пошел, гремя металлическими частями, к выходу. За ним потянулась свита: жена, полицмейстер, чиновники окружной канцелярии и раздосадованные чиновничьи жены, которым до смерти хотелось остаться на балу. Капельмейстер поднял палочку, снова заиграли, пошли танцевать, за столиками сделалось шумно.

Дедушка подошел ко мне.

— Что ж, что война? — говорили купцы, толпясь. — Войны всегда были. Даже в Библии про войны упоминается.

— Не война, а мир ожесточает человека, — ораторствовал высокий англазированный коммерсант в пенсне, — долгий мир всегда рождает жестокость, трусость, грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой.

Прочие солидно соглашались. Какой-то офицер, подойдя к группе, захохотал и воскликнул:

— Денег пожалели, господа! Эх, российская буржуазия!

Дедушка взял меня под руку.

— Тебе не нужно мелочи, Сережа? — пробормотал он.

— Ничего мне не нужно, — ответил я, освобождаясь от старика.

Меня беспокоило отсутствие Гуревича. Куда он пропал? Я стал искать его, бродя между столиками. Старик не отставал от меня. Мне было тяжело без Гуревича. Меня мучило сожаление: почему я пошел на бал, вместо того чтобы пойти к Стамати? Это было ощущение утраты чего-то страшно важного. Единственно я утешался тем, что точно такое же ощущение мучило бы меня, если бы я пошел к Стамати, вместо того чтобы пойти на бал. Это оттого, что я не знаю, что хорошо и что плохо. Я не знаю сравнительной ценности вещей. А Саша знает. У меня нет мировоззрения. Кровь с бесполезным шумом бежит по моим жилам. А у Саши есть, он находится с миром в сложных, интимных, ворчливых отношениях, как со старым приятелем, с которым ни-

когда нет разговора о любви, и, однако, двух дней невозможно прожить друг без друга. А я в стороне от мира, перед закрытыми дверями, хозяина никогда нет дома, он прячется, ему скучно со мной. Мне нужен Саша, иначе я пропаду!

— Саша! — крикнул я, внезапно увидев его.

Он сидел за столиком в незнакомой мне компании. Но я знаю, кто они. Это золотая молодежь города. Некоторые и меня причисляют к золотой молодежи потому только, что я шляюсь по бильярдным, одет франтовски, сорю чужими деньгами. Но тут, за столиком, сидела настоящая золотая молодежь, верхушка пирамиды, лысоватые и черноусые денди, жившие от карт, от эксплуатации женщин, от тотализатора, чьи портреты выставлялись в витринах лучших фотографов, посреди артистов, героев и профессоров. И Гуревич сейчас сидит среди них как равный, разве только слишком громко говорит и при этом поглядывает на соседние столики.

— Дедушка, — вполголоса сказал я, — что вы увязались за мной?

— Ну что такое? Я тоже сяду с твоими знакомыми. Разве ты стыдишься меня? — бранчливо сказал дедушка.

— Чтоб вы не смели подходить! — прошипел я.

Я подошел к Гуревичу. Но он словно не узнает меня. Я неловко мнусь. От близости к этим людям я ослеплен, я теряю фокус, я только вижу сигарный дым, мужские руки, униженные брильянтами, взлетающие в клятвах и в хохоте, скатерть, забросанную рыбьими костями, облитую вином с небрежностью гениев. Кто-то говорит:

— Гуревич, что это за мальчик торчит возле вас? Я совсем не знал, что вы Петр Дмитриевич.

Все засмеялись. Я краснею. Я знаю, что *Петрами Дмитриевичами* в этой компании называют педерастов.

— А, — говорит Гуревич, — уступаю его вам.

Оборотившись, Саша бормочет:

— Что тебе надо? Что ты ходишь за мной?

И, увидев слезы на моих глазах:

— Тряпка!

— Пойдите, Гуревич, — сказал один. — Может быть, у него есть деньги?

— У тебя есть деньги? — резко говорит Гуревич. — Мы хотим еще пить. Рублей пятьдесят.

— Я сейчас достану, — говорю я.

— Возьми, возьми, Сереженька, — счастливо шепчет

дедушка, — только позволь мне сесть с вами. Последний вечер, ты же завтра призываешься.

— Нет, — говорю я жестко, — мне неудобно.

— Ну, так я не дам, — говорит дедушка жалобно, — пожалуйста, доставай у других.

Он хитрый старый делец. Он знает, что мне негде достать. Это верная спекуляция.

— Ну, идем уж, идем! — говорю я со злостью.

Появление дедушки приветствуется компанией с комической торжественностью.

— Ну, как дела в похоронном бюро, папаша? — говорит кто-то из них.

Дедушке наливают большой бокал вина и убеждают выпить. Он виновато отшучивается и старается не рассердить «Сережиных товарищей». Он убежден, что это все мои друзья и что завтра мы все вместе идем призываться. Я поминутно краснею от ярости, оттого, что никто не хочет со мной разговаривать, даже Гуревич. Только теперь я замечаю, что здесь, за столом, кроме Саши, всего четыре человека, а я думал — десять, толпа. Один — с издевательским складом рта и манерой недоговаривать. Пробую подражать ему, но у меня ничего не выходит, я договариваю, у меня не хватает силы бросить фразу на середине. Другой отвечает всем, ни минуты не думая. Как это у него выходит? Пстой, пстой, ты подумай! Куда там! Я так не могу, я мучительно оттачиваю свои ответы. Третий, разговаривая, не дает себе труда смотреть на собеседника, а рассовал глаза по углам зала и оттуда, из-под мебели, извлекает свои ответы. Я попробовал сделать так же и вытащил из угла, подле стойки с вином, такое несуразное, что все переглянулись. Но не сказали ни слова. Хоть бы выругали меня! Четвертый молчит, но молчит так внушительно, что я гложу от его молчания, и при этом он презрительно поглядывает на окружающих, на всех, кроме меня. Я пытаюсь поставить себя под его взгляды, изгибаюсь, проливаю бокал, избрегаю застольную школу акробатики, все-таки мне не удается попасть в солнечную систему его взглядов.

Я изнеможен. Я раздавлен ощущением собственного ничтожества. Существую ли я еще? Ощущение небытия так мучительно, что я сейчас готов на все: могу поцеловать стул, могу убить человека. Но все равно — уберут труп и не посмотрят на меня.

Я существую только для дедушки. Он озабоченно смотрит на меня, не понимая, чем я обеспокоен. На вид

все так хорошо: шестеро прилично одетых молодых людей весело разговаривают, отличные остроты, прекрасное вино, благовоспитанность, дружба. Отчего же Сережа нервничает? Дедушка — по своей привычке сводить все страдания к простейшим причинам: мигрени, тесной обуви, изжоге, запору — решил, что я голоден. Он взял кусок хлеба и толсто намазал его маслом и икрой.

— Кушай, Сереженька, — сказал он, — это горбушечка. Ты же любишь горбушечки.

Он побледнел от испуга — до того страшным сделалось мое лицо. Раскрыть мою тайну среди таких людей, мою мальчишескую тайну! Никто не сказал ни слова, но я понял, что моя репутация среди золотой молодежи окончательно загублена. Они ни за что не допустят в свою среду человека, который любит мещанские горбушки, намазанные маслом, — они, чьи привязанности отданы женщинам, скаковым лошадям, марке вина, способу вывязывать галстук.

Я посмотрел на дедушку с ненавистью. Почему у меня есть дедушка, даже два дедушки? Ни у кого из золотой молодежи нет родственников. Родственники — мещанство. Можно еще допустить существование матери, грустной дамы, коллекционирующей фарфор, — заходишь к ней в гостиную два раза в неделю для того, чтобы, целуя руку, выпросить денежный чек на покрытие позорного векселя, — или отца, о котором известно, что он живет с опереточной актрисой, и призывающего тебя однажды вечером в свой кабинет со словами: «Завтра утром ты отправляешься экспрессом в Бухарест заведовать отделением нашей фирмы — или твои карточные долги останутся неоплаченными». Попробуй поцелуй руку бабушке, если она вечно воняет рыбой и в ответ на поцелуй даст тебе тумака в бок, приговаривая: «Я у тебя не заслужила, Сережа, чтоб ты строил с меня насмешки!»

Я отталкиваю дедушкину руку с проклятой горбушкой и залпом выпиваю стакан водки. Дедушка только ахнул.

Тотчас тело мое содрогнулось от желания выплеснуть отвратительную жидкость. Но она пошла уже внутрь, разгорячая кишечник. Жизненные процессы в моем организме протекают слишком медленно. Усталость и гнев растягиваются на недели. Между приемом цианистого калия и смертью я успел бы, вероятно, еще

пожалеть о недочитанных книгах. Я бы не опаздывал на свидания, не пропускал восходов, не проиграл бы первенства по фехтованию, если бы кто-нибудь сумел изменить химию моего организма.

Алкоголь это сделал. Он достиг мозга, ополоскал железы, я съел огурец и почувствовал беспечное желание говорить людям правду.

— Кривляки! — храбро воскликнул я. — Ну что вы сидите, опустив носы? Больше жизни!

Все внимательно посмотрели на меня. Только теперь, казалось, меня заметили. Самый тембр моего голоса переменялся, жесты стали взрослыми, как у игроков в преферанс. Ого, со мной уже разговаривают! Атмосфера накалялась. Я острил, как бешеный, провозглашал тосты, интимничал. Все, что было разболтанного в моем организме, — пронизательность, лукавство, сердечность, юмор, запальчивость, — все собралось теперь в безупречный механизм. Я становился центром кружка. Я разливал вино, издевался над публикой, ласкал собеседников, не отвечал на вопросы. Я нашел горбушку и с аппетитом ее сжевал. Все за столом вдруг стали громкими. Один снова завел свою отрывочную речь, посвящая недоговоренные части фраз на этот раз одному мне. Другой заговорил еще быстрее, чем прежде, и я принял эти старания с благосклонностью. Третий вытащил для меня из угла свою лучшую остроу. Четвертый сосредоточил на мне все свое великолепное молчание, я купался в его пренебрежительных взглядах. Для полноты счастья мне не доставало только зависти. Я посмотрел на Гуревича.

— Саша, — сказал я, — что ж твоя игра? Ты хвалился, что придумал какую-то изумительную игру? Представляю себе!

— Идемте! — сказал Гуревич, вскочив. — Я вам покажу свою игру!

Все поднялись и со смехом пошли за Гуревичем. За столом остался один дедушка.

Он надел очки и недоверчиво разглядывал счета, поднесенные ему официантом. И хотя самые суммы его ужасали, он получал удовольствие от арифметических выкладок.

Игра Гуревича оказалась чрезвычайно простой. Следуя за ним, мы подошли к одной из стен зала. Здесь оказалась небольшая лестница, почти трап, видная только вблизи, заброшенный вход в ресторан — должно быть, для поваров и судомоек, — которым сейчас никто

не пользовался. Мы спустились за Гуревичем, который сохранял таинственный вид, в темноту и пыль этого крошечного помещения. Тут открылось еще одно свойство лестницы. Из понятной предосторожности, чтоб никто сверху не упал в пролет, лестницу прикрыли большим деревянным чехлом. Однако между ним и полом вследствие небрежности плотников оставалась щель, куда при желании можно было просунуть нос и приблизить глаза. Вот в этом и состояло одно из условий игры Гуревича. Он расположил нас на ступеньках и попросил посмотреть в щель. Мы ахнули: одни ноги! Мы видим бал снизу, он шаркал, пылил и притопывал, проходя на уровне наших глаз.

Гуревич объявил правила игры: по ногам надо было отгадывать возраст и профессию — это давало одно очко — или имя — два очка; очко расценивается в три рубля.

Всем эта игра понравилась. Мы разостлали на полу носовые платки и прильнули к щелям. Оказалось возможным по сапогам определять чин и возраст офицеров. Припадание на каблуки говорило о тучном животе, о командовании полком. Мы узнавали подагрические косточки бальных завсегдатаев и плоские ступни белобилетников. Ноги разоблачали множество мелких тайн: заплатки бедных студентов, проникших на бал зайцами, носки старых холостяков, прикрепленные наспех к кальсонам английскими булавками, шнурки из веревочек на ботинках телеграфистов, старательно замазанные чернилами. Мы видели желтые розы на подвязках кокоток, мощные коленные связки балерин, чулки мещанок, скатанные как бублики над коленями, грязные панталоны нерях, иногда — полное отсутствие белья, указывавшее на чрезвычайную рассеянность человека или на его нетерпеливость.

Прильнувши к щели, мы азартно выкрикивали:

- Помещик лет сорока пяти!
- Кавалерист, кривые ноги!
- Мадам Криади!
- Земгусар призывного возраста!

Гуревич деловито проверял через специальное отверстие, проделанное им на уровне роста.

Я выиграл один раз, узнав новую деревяшку Рувима Пика. В другой раз мне удалось назвать Маргариту, которая прошла возле самой щели, волоча тяжелые икры.

Лучше всех угадывал Гуревич. Он знал в ноги множество народу.

— Пара ножек на ять! — крикнул он.

Все прильнули к отверстию. Проходила женщина, девушка должно быть, легко и уверенно отталкиваясь стройными ногами, и вся система мускулатуры играла с необыкновенной отчетливостью, так что походка говорила не только о собственной красоте, но о богатстве натуры, о застенчивости, об уме, о страстности.

— Два очка мне! — закричал Гуревич. — Это Катюша Шахова! Вот девчонка как раз мне по мерке!

Я повернулся и ударил Гуревича по лицу.

Он вскочил.

— Вот как! — сказал он, потирая покрасневшую щеку. — Вот как! А я совсем ничего не знал.

Но я не слушал и бежал туда...

8

БАЛ

(Продолжение)

...где в толпе мелькало черное платье Катеньки.

Да, Гуревич ничего не знал!

Он не знал о существовании у меня еще одного друга, помимо него самого и Кипарисова, он не знал, я от него утаил и встречу возле университетской башни, и прогулку на приморских холмах Ланжерона, и поцелуй в оркестровой раковине городского сада, и теперь я сразу раскрыл ему все это пощечиной.

Он не знал, я скрыл от него — единственную вещь в жизни, — что еще три недели назад со мной случилась странная история: я привязался к Катиным вещам. Я вдруг почувствовал страшную привязанность к ее книжкам, будь это «История культуры» Липперта или «Клодина хочет замуж», с загнутыми уголками страниц и карандашными отметками на полях, к письменному столу с гипсовым бюстом Наполеона и кляксами на зеленой бумаге, к рыжей касторовой шляпке с фазаньим пером, вывезенной из пензенской глуши, к хвостикам на прописных буквах, к замшевой сумке и к содержимому этой сумки: пудреница, сезонный билет яхт-клуба, фотография Веры Холодной и крошки от миндального пирожного. Я таскался целую неделю с ее носовым

платком, украденным мною, анализировал его и привязывался к нему все больше.

Эта странная власть над вещами давалась Кате очень легко. Короткая и не заключающая в себя ничего особенного операция покупки Катей карандаша «Фабер № 1» сразу выделяла его из тысячи таких же карандашей, заваливавших все магазины, делала его карандашом-счастливецем среди карандашей-неудачников. Гипсовый бюст Наполеона терял свою исконную глупость, как «Клодина» — свою пошлость и шляпка — свое безобразие. Все они сроднились в нежности, в силе, как члены одной блестящей и влиятельной семьи. «Фетишизм, — говорил я сам себе, — атавистический пережиток первобытного поклонения неодушевленной природе». Но объяснение не помогало.

Потом к вещам стали присоединяться места, недвижимое имущество: аллея тополей в городском саду, целый обрыв с пасущимися коровами, которых Катя боялась, и удобными тропками для прогулок; четвертый час пополудни, когда в перерыве между лекциями Катя бежала обедать в столовку, волнуемая догмой римского права и предчувствиями крем-марго на сладкое; тень от башни подле столовки, откуда я вдруг выступал каждый раз как будто случайно и заводил незначительный разговор об архитектуре, но, впрочем, больше слушал университетские новости, сплетни Катины о профессорах и неизменный вопрос: «А может быть, мне лучше пойти в киноактрисы? Как вы думаете, Сережа?»; трамвайный павильон в вечерних огнях, с суетливыми пассажирами и процедурой смены кондукторов, где Катя обычно ждала меня, лузгая семечки; и старая еврейка, продававшая эти семечки и полюбившая, в свою очередь, меня за неслыханную щедрость, с которой я оплачивал семечки и ириски.

Весь город распался на два сорта вещей — любимых и нелюбимых, Катиных и не Катиных. К Катиным вещам относились еще ее глаза и колени. Серые глаза и узкие колени. К не Катиным вещам относилась ее манера есть две порции мороженого, за что я выговаривал ей, называя это жадностью и провинциализмом. Потому что я никогда не пропускал случая поругать Катю. Я грубил ей: «Неужели вы думаете, что из вас выйдет юристка? Женщины поступают в университет, чтобы поймать жениха». Или: «Что это у вас за привычка так широко раскрывать глаза? Бездарное подра-

жание Вере Холодной?» Я решил даже, что у меня врожденная ненависть к Кате, потому что я грубил ей иногда против воли, удивляясь грубостям, выскакивавшим из меня, тогда как я хотел сказать: «Хотите, я брошусь на трамвайные рельсы и буду лежать, пока вы не скажете? Хотите?» А она бы ответила мне: «Сереженька, не надо, я верю вам», — и у меня бы отчаянно забилося сердце.

Непроизвольная работа сердца — вторая вещь, которую я скрыл от Гуревича. Я до сих пор не знал, что у меня есть сердце. Не было таких вещей, которые заставили бы его усиленно биться, за исключением разве бега на три тысячи метров, — законное сердцебиение стайера после второго километра, успокаиваемое короткими выдохами через рот. Но теперь, после двух шагов прогулки с Катей, оно начинало жужжать, как муха в кулаке, оно хлопотало в своем левом углу (жалкий паразит, которого я выкормил в своей груди!), в одну минуту сводя на нет весь труд тренировки и гордости — от взгляда, от встречи локтей, от темноты кинематографа. Мне делалось больно.

Однажды, гуляя в городском саду, я решил объясниться с Катей. Но я никак не мог начать. Между нами как будто не было воздуха. Катя загорела за лето, я смотрел на нее сбоку, и от этой смуглой кожи, натянутой на скулах с цыганской и детской прелестью, от манеры перебивать меня посреди рассказа неожиданным вопросом: «Сережа, вы умеете делать такое лицо, как будто мы брат и сестра?» (и, ни секунды не дожидаясь ответа, расхохотаться и вскрикнуть: «Да, я совсем забыла вам рассказать смешную историю! Вчера ко мне на улице подходит старик лет сорока и говорит...» — и я растерянно наблюдал, как гибнет мой рассказ, подготавливающийся с таким долгим старанием, в Катином смехе, в Катиной непоседливости, в Катиной жажде вечно нового), — от всего этого у меня было ощущение совершенной недостижимости. Нет, Катя не была человеком, положительно она не была человеком! Тотчас я выругал себя за эту мысль. Я должен почувствовать ее сделанной, как все мы, из мяса, ворчливости, любви к путешествиям. Мне нужно отыскать в этой девочке что-нибудь обычное, земное — скупость, нечистые ногти, любовь к цыганским романсам, что-нибудь из того, что встречается во всех нас. Я начал искать, просил денег, хватал за руки, фальшиво насвистывал «Мой костер в тумане

светит». Но ничего земного в Кате не обнаружилось. Тогда в совершенном отчаянии я обнял ее в пустынной раковине оркестра, куда нас загнал дождь. Прислонившись к запыленному дирижерскому пульта, я обнял ее, и все это — смех, маленькие мозоли на руках от гребли, вскрикивания, косой пробор налево — повалилось мне на руки, я почувствовал губы Катины, судорогу девичьей спины и заплакал от счастья. Я целовал и плакал.

— Слезы твои, — сказала Катя тихонько, — я готова все отдать за твои слезы!

Да, Гуревич ничего не знал. Увидев его в тот же вечер, я промолчал. Это был вечер, когда он познакомил меня с Тамарой. Я ничего не мог скрывать от Кати и пошел к ней, чтобы все рассказать. Я чувствовал себя предателем, тройне преступником — против себя, против Кати и против Тамары. Единственное, что меня могло очистить, — это Катино прощение.

Я бежал к ней с радостью, слегка вздрагивая, как бегут на рассвете с полотенцем к речке. Но вдруг, увидев ее, я смутился и напустил на себя какой-то дурацкий тон. Я напустил на себя тон профессионального бретера, кутилы, я не мог отстать от этого тона, несмотря на все усилия, и закончил рассказ эффектным жестом старого гуляки и небрежно развалился в кресле, чувствуя, что я невыносимо глуп. Катя подумала и сказала: «Уходите и больше никогда не приходите». Я сейчас же ушел.

Я несколько раз потом подходил к ее дверям, но не смел войти. Потом перестал, совсем не думал о ней, только — по утрам, просыпаясь, в те странные пять минут, когда человек ничего не может поделать со своими мыслями и страх, сожаление, нежность проступают на щеках теплыми пятнами меж спутанных волос. Потом я быстро забывал Катю в замечательной суете дня.

Почему же сейчас я спую по этому шумному залу, пристаю к незнакомым с вопросами:

— Скажите, вы не видели девушки в черном платье, лет восемнадцати, загорелая, большие серые глаза?

— Простите, здесь столько народу, не заметишь, — отвечают одни.

Другие:

— Вышла замуж за старшего дворника и уехала в Антарктику.

— Остроты? — рычу я. — Берегитесь! Я вас отучу острить.

Бал пьянел, пошел второй час ночи, бал распался на несколько балов, танцоры презирали нетанцующих, молодежь, играющая в фанты, делала вид, что не замечает сделок старичков с проститутками, сидевшими вдоль стен. Одни только пьяные пересекали все круги, встречаемые сочувственными улыбками, как артисты, добившиеся наконец всеобщего признания.

Я увидел Катю издали. Она сидит за столиком и прилежно грызет утиное крылышко. Рядом — офицер. Это поручик Третьяков. Он сосредоточенно разговаривает с официантом. Катя принимает участие в разговоре только бровями, шевелением тонких бровей, то протестуя, то удивляясь, то хмурясь и с явным намерением заговорить, но ей жаль оторваться от крылышка.

Вдруг Катя замечает меня. Она, бледнея и улыбаясь, откладывает недогрызанную косточку и вытирает за масляные пальчики салфеткой.

— Вот так штука! — говорит она. — Сто лет я вас не видела. Только что пришли?

— С самого начала, — говорю я, кланяясь.

И тотчас соображаю: «Сто лет — это значит между нами ничего не было: ни поцелуев в оркестре, ни слез моих. Приказание забыть. Вычеркнуть».

— Вы не знакомы? — говорит Катя. — Поручик Третьяков. Сережа Иванов.

Поручик кланяется мне с пристойной учтивостью. И снова, оборотясь к официанту:

— Бить вас по морде, сукиных сынов, за это надо! Молчать! Холуй! Выгоню!

— Пойдемте, — говорит мне Катя, — пойдемте походим.

Третьяков благосклонно ей кивает, как бы говоря: «Ты, милая, погуляй, а у меня здесь дела», — и опять поворачивается к официанту.

Говорю:

— Поручик любит пошуметь.

Катя:

— Он горячий человек. Вам это трудно понять?

— Ничего подобного! — кричу я запальчиво. — Просто он из таких людей, которые вечно скандалят с лакеями, с извозчиками, с дворниками. Потому что они не смеют ему ответить. Я бы ему ответил!

— Довольно, — говорит Катя, — мне неприятно, когда о Третьякове говорят плохо. Расскажите лучше о себе.

Я подозрительно покосился на Катю. О себе? Это

намек: «Ты ничего не можешь о себе рассказать такого, что бы делало тебя интересней Третьякова. Ты — ничтожество».

Я парирую:

— Я не люблю говорить о себе. Я люблю говорить о других.

Это должно означать: «Ты можешь думать обо мне что угодно; люди знают мне цену». Я смотрю на Катю сбоку: поняла ли она?

Тоненьким голоском Катя соглашается:

— Ну хорошо. Встречаете ли вы вашу знакомую Тамару?

Понимаю: «Не смей думать обо мне, я для тебя не существую». И не надо!

Я:

— Да, я с ней в последнее время очень подружился.

Катя покраснела. Она смотрит на меня умоляющими глазами. Можно было бы подумать, что она о чем-то умоляет меня, если б я не был уверен, что она хочет меня высмеять.

— А я? — говорит Катя тихо. — А меня вы забыли, Сережа?

Я смущен. Что это должно означать? Я теряюсь. Я устал от этого тройного разговора, где я должен помнить, что я говорю на самом деле, что я хочу сказать и-что Катя думает о том, что я говорю.

— Вас зовут, — говорит Катя, вздыхая.

Я оглядываюсь.

Тонкая рука, затянутая в белую перчатку, манит меня. Виолончель, контрабас, скрипка и альт стоят в открытых футлярах вокруг столика.

— Это Тамара, — бормочу я и нехотя подхожу к столику.

— Ах, какая интересная девушка с вами! Познакомьте! — громко говорит Тамара.

Катя протягивает руку. Тамара подвигает ей стул. Наташа, Маргарита, Иоланта и Вероника улыбнулись.

— Усталость дает себя знать, — говорит Иоланта и делает голубые глаза.

Наташа заискивающе хохочет.

— Вы самая хорошенькая на балу, — говорит Тамара, разглядывая Катю.

— Все старые одесские коровы притопали на бал, — со злостью говорит Вероника.

Маргарита вытаскивает портсигар из пиджака За-

вьялова и угощает Катю. Завьялов, Беспрозванный и оба Клячко, на секунду выпадая из дремоты, кланяются Кате.

Меня ужасает соседство Кати с этими женщинами. Я тихонько тяну ее за руку. Она взглядывает на меня. Я делаю ей знак глазами: «Уйдем...» Катя упрямо поджимает губы и опускается на стул.

Ах, вот как! В таком случае я умываю руки. Я знаю, сейчас ее обдадут грязью с головы до ног. Что ж, она сама захотела этого... Не пройдет и минуты, как она со стыдом убежит, оскорбленная цинизмом этих женщин. Ничего, ничего, пусть учится жизни! Я тоже опускаюсь на стул и натянуто улыбаюсь, силясь вообразить себя старым скептиком, познавшим жизнь до дна. Однако, к моему удивлению, между женщинами завязался оживленный разговор в самом дружелюбном тоне.

— Муслиновый воротничок подметывается отдельно, — горячо говорит Тамара.

— Теперь носят вместе, — уверяет Катя, убедительно прижимая руку к груди.

Прочие азартно бросаются в разговор — с проймами, с воланами, с рюшами, с бретелями. Только и слышно:

— Пуговицы обтянуты тем же плюшем.

— Спина гладкая.

— Отделка из крепдешина шампиньонового цвета.

Все это сопровождается жестами вдоль бедер, отворачиванием юбок, демонстрацией добротности чулок. Катя записывает на билете яхт-клуба адрес портнихи, которой ей сообщает Тамара.

— Вы хорошо носите белье? — осведомляется практичная Маргарита.

— Чудно, — говорит Катя. — А вы?

— Идемте, — шепчу я Кате, возмущенный разговорами о Маргаритином белье.

— Иди ты к чертям! — кричит рассерженная Вероника. — В первый раз за весь вечер по-человечески поговорили.

К столу подходит конферансье. Я узнаю его. Это — Ромуальд Квевцинский, специалист по добыванию отсрочек от военной службы. Он дружелюбно кивает мне и говорит, обращаясь к столику:

— Барышни, сейчас ваш номер. Начинайте!

Иоланта взяла скрипку, Вероника — альт, Наташа — виолончель, Маргарита — контрабас. Тамара взмахнула палочкой. Внимание! Раздалась музыка. Это

мой любимый мотив, какая-то гортанная шотландская песенка, такая странная смесь торжества и печали, что невозможно ее слушать без сердечного содрогания.

— Катя, — шепчу я, когда мы проходим между столиками, — Катя...

Она скользит впереди, иногда касаясь руками спинки стульев, то вдруг взглянет на меня, полуоткрыв рот, словно ловя дыхание, гримаса скуки и нетерпения пробегает по ее лицу, то вдруг, улыбаясь, начинает говорить, но беззвучно, я не слышу что, и я чувствую, что сил моих больше нет, что вот я сейчас ей скажу все. Пусть же она обо мне думает что угодно!

— Ну? — вдруг говорит Катя тоже почему-то шепотом. — Ну?..

Но тут снова меня охватывает подозрительность. Засмеет. Вышутит. «Нет, не скажу ни за что». Молчу. Иду сзади и молчу. А шотландская песенка поет, заливаясь своим печальным тоненьким голоском.

— Ну, до свидания, Сережа! — говорит Катя, странно взглянув на меня. — Правильней сказать — прощайте!

Почему «прощайте»? Я не понимаю и не хочу брать руку, которую мне Катя протягивает, нетерпеливо шевеля пальчиками.

— Вы завтра призываетесь.

(Да, я завтра призываюсь, я совсем забыл!)

— Я выхожу замуж.

(Постойте! Что за слово?)

— Вы шутите, Катя?

— Нет, я не шучу. Я выхожу замуж за поручика Третьякова. Он мне нравится.

— Катя! Постойте, Катя, он мерзавец, я знаю. Постойте, подождите, я вас люблю!

— Вот как, — говорит Катя, бледнея от гнева, — из вас это нужно вытаскивать клещами!

Она сердито поворачивается и уходит не оглядываясь туда, к своему столику. Она, волнуясь, о чем-то рассказывает Третьякову. Я вижу издали, как поручик смотрит на меня с любопытством и смеется.

— Получил отсеч? — слышу я голос сзади. — По шапке дали?

Оборачиваюсь. Это — Гуревич. Саша смотрит на меня своими ясными, глумливыми глазами.

И так как я не отвечаю, он продолжает:

— Ты считаешь, что это красиво — ударил меня

и убежал? Что же, думал, что я тебя не разыщу? Что тебе так пройдет?

— Она выходит замуж, — говорю я, — она мне сказала: она выходит замуж за Третьякова.

Саша хватается меня за руку.

— Плюнь, — говорит он с такой сердечностью, какой я и не знал в нем, — пренебреги, не расстраивайся. Любви нет.

Он усаживает меня за столик и обнимает за плечи.

— Я не могу! — говорю я. — Саша, мне хочется умереть.

— Любви нет, — говорит он тоном покорительного убеждения, — я это знаю. Знаешь, из чего складывается любовь? Из литературы, из сытости, из подражания, из хвастовства, из желания победить. Но почему непременно побеждать женщину? Можно побеждать идеи, общество. Слушай меня: любви нет. И честолюбия нет. И храбрости нет. Выдумка! Все великие страсти можно разложить, и оказывается, что они состоят из кучи обыкновеннейших вещей. Всего понемножку. Например, самопожертвование, когда человек бросается спасать утопающего, — оно состоит из щегольства, из истерики, из отвращения к смерти, из жажды благодарности, из неосторожности. Поверь мне! Все страсти и благородные поступки не монолитны. Их вообще не существует, а существуют атомы, их составляющие. Не расстраивайся, я прошу тебя, любви нет!

— Я не могу жить без Кати! — сказал я. — Что мне делать?

— Забудешь, — сказал Гуревич, — пройдет. Меня гораздо больше огорчает, что ты разлюбил меня. Ведь ты разлюбил меня, правда, Сережа?

Он заглянул мне в глаза.

— Ты ударил меня! — прибавил он со стоном. — Как ты мог ударить меня, Сашу Гуревича?

— Катя меня не любит, — повторял я, — как же я буду жить?

К нам подходят четверо. Это — золотая молодежь. Странно: мне кажется, будто они стоят за версту от меня или будто в последний раз я их видел в раннем детстве.

— Помирились? — говорит один. — Видно, Гуревич привык получать по морде?

— Ничего подобного! — крикнул Гуревич. — Смотрите!

Он размахнулся и сильно кулаком ударил меня по

левой щеке. Голова моя мотнулась. Весь зал поплыл влево. Режущая боль в ухе. Вся мука, все плохое, что мне сделали в жизни, кинулось мне в голову. Я схватил бутылку и замахнулся — убить Гуревича! Но рука не опустилась, кто-то схватил ее на излете за кисть, она затрещала в суставах.

— Вышвырнуть его, хулигана! — закричали кругом.

Кто-то сильно схватил меня за шиворот и за брюки сзади и потащил через зал к выходу. Невозможно сопротивляться. Рядом бегут люди, смеясь и тыча в меня пальцами. Мелькнула хохочущая Тамара, Рувим Пик с внимательно опущенной головой, дедушка, испуганно надевающий очки. Катя! Катя!

— Гони его на улицу ко всем чертям! — кричит над ухом грубый голос Гуревича, бегущего рядом рысью.

Тот невидимый, который тащит меня, ударяет мной о двери, они распахиваются, вся толпа вываливается на лестницу, и те же две руки, которым невозможно сопротивляться, протаскивают меня по ступенькам вниз и с силой швыряют вперед. Хохот замирает.

Я на улице. Я лежу на панели.

Дождь? Нет дождя? Жаль, что нет дождя!

9

Жаль, что нет дождя. Надо, чтобы шел дождь, чтобы я лежал в луже и колеса экипажей окатывали меня жирной грязью, а сверху хлестало бы. Вот штанины и ноздри наливаются холодной водой, между ногами образуется широкая запруда, пристань окурков, плевков, мертвых листьев, я слышу под щекой адское кипение канализационных труб, кто-то бежит за городом, за «скорой помощью», и прохожие с гадливостью осматривают меня, толпясь и не подозревая, что я умираю от тоски и ярости.

Но нет дождя. Звезды. Успокоительная чернота сентябрьской ночи. Издалека, с бала, — музыка, глухой топот барабана. Я поднимаюсь и стряхиваю пыль с колен.

Ненужность этого движения поражает меня. Ведь я иду умирать!

А может быть, она наврала про свое замужество? Я сжимаю себе руки и умоляю вспомнить, что она была бедной, на собрании у Мартыновского она была в рваных

башмаках, а сегодня на балу она в шелку. Третьяков дает ей деньги. Богатый жених. Я плачу. Я люблю свои слезы, потому что Катя сказала когда-то, что она отдаст все за мои слезы. Катя, сияние свежести! Она ездит верхом, у нее подкованные сапожки, бронзовые подковки на сапожках. Я не могу без волнения читать любовные места в книгах, даже «Бедную Лизу» Карамзина. Как я опустился из-за любви! Вот каким бывает настоящее несчастье — не то, что я разорвал с Гуревичем, и не то, что я разорвал с Кипарисовым, а то, что я разорвал с Катей!

Я озираюсь. Кой-где светятся окна. У перекрестков дремлют извозчики. Тишина. Пустынно. Только шаги мои да тень моя плетутся за мной, как собаки, чующие смерть хозяина.

На гастрономическом магазине читаю надпись: «Внимание! Прибыла свежая партия нежинских огурцов. Постоянным г.г. покупателям скидка». Как посмотришь кругом — сколько ласки в обращении людей друг с другом! Но это уже не для меня. Никогда больше не получать мне скидки в магазинах, не брать справок в адресных столах, не находить серебряных брелоков в коробках с гильзами, не получать журналов с чудесными приложениями. Я ухожу из жизни.

Мне становится понятным, что я сделаю это сегодня ночью в городском саду. Время и место уже определены подсознательной работой мозга. Принимаю. Но способ? Застрелиться?

Мой отец — по тайным, дошедшим до меня слухам — застрелился. Будто бы на балу, в присутствии множества гостей. Может быть, у нас в роду наследственная мания самоубийства? Это интересный вопрос. Решаю исследовать его в ближайшие же дни. Господи, что я за дурак! Какие «ближайшие дни»? Ведь я сейчас умираю!

Я расстроен своей забывчивостью. Уж не значит ли это, что я несерьезно отношусь к своей беде? Что я не верю в свою смерть? И тут же я ловлю себя на странных вещах. Оказывается, что в то время, когда всего меня целиком, казалось бы, занимает главная, генеральная мысль о самоубийстве, по боковым ходам мозга снуют десятки подспорных мыслишек — о том, что не забыть бы завтра взять деньги у дедушки, и правда ли, что из-за бессонных ночей можно облысеть, и что не бутылкой мне надо было замахиваться на Гуревича, а бить его в челюсть прямым кроше!

Я их сгребаю в охапку, эти мысли, я их вышвыриваю горстями из головы, из всего тела. Я обнаруживаю, что во мне самом думаю не только я, но спина моя, ежась под взмокшей рубахой, самостоятельно тоскует по свежести крахмальных простынь, ноги мои, передвигая меня к городскому саду, заняты в то же время отдельными от меня заботами, причем левая, по обыкновению, при шаркивает подошвой с оттенком дурного фатовства, а правая, как корабельная грудь, режется вперед, и возможно, что они переругиваются насчет моды на высокие каблуки. Я извлекаю из кармана руку и с интересом разглядываю ее: она шевелится, как зверь, пальцы вытягиваются в ночь, быть может, они мечтают о кольцах, о маникюре, о ковырянье в носу, — черт его знает, о чем могут мечтать пальцы!

— Успокойтесь, — говорю я, обращаясь к собранию моего тела, — я не допущу не только бунта, но даже простого ворчанья. Вы все будете делать то, что буду делать я.

Застрелиться нельзя. Просто потому, что нет револьвера. Можно отравиться. Опиум. Нашатырный спирт. Карболка.

Передо мной решетки городского сада. Угадываю в темноте ползучий виноград. Скамейки. Сейчас под ногами зашуршит гравий. Пора решать. Нет, не буду травиться! Противно — это похоже на химический опыт. И потом — все равно не достать мне яду. Не так легко, оказывается, убить себя! Я вздрагиваю. Я поймал себя на том, что мне хочется спросить совета у Кати. Я понимаю: это действует старая привычка — в затруднениях искать помощи у Кати. Старые привычки продолжают действовать, как часы, забытые в кармане покойника.

Я бросаюсь на скамью, мокрую от росы. Хорошо! Если я не могу застрелиться и не могу отравиться, я повешусь. На подтяжках. Вот я пишу записку. На листе из записной книжки я пишу: «Отец мой, я иду к тебе!» Интересно, какой вышла эта строчка в темноте: ровной ли, а если косою, то вверх или вниз? Ну что за ерунда, я опять отвлекаюсь!

Дерево как раз надо мной. Найдется крепкая ветка. Вся публика с бала утром пойдет через городской сад. Гуревич. Третьяков. Рувим Пик. Золотая молодежь. Я буду качаться. На моих щеках будет медленно проступать борода. Иоланта заплачет и скажет: «Любовь дает

себя знать». Гуревич заставит себя состричь. «Ну конечно, — скажет он, — Сережа всегда отличался юмором висельника». Золотая молодежь будет поражена. Как я робел на балу! Заметили они это? Заметили они робость, воображение, заносчивость, подмигиванья? Я вспоминаю все обилие и всю тонкость своих чувств, и это льстит мне. Но тут же я пожимаю плечами: тоже чувства! У других — большие, настоящие страсти: ревность, азарт, фанатизм, стяжательство. Лицемер Тартюф, скупец Гарпагон, честолобец Гуревич, мститель Макдуф, а у меня — пустяки, мелочь. Всю жизнь я возился с третьесортными страстями, никогда не поднимаясь до сластолюбия, даже до вероломства. Но что это, я опять отвлекся? К делу! К смерти!

Я вскакиваю на скамейку. Да, ветка выдержит. Много раз я составлял план исправления неисправностей жизни и всякий раз успокаивался и не исправлял. Вот теперь все будет исправлено как следует.

Но неужели я по-настоящему задохнусь? Невероятно, чтобы петля в одну секунду могла уничтожить мысли, желания, умение делать стойку на одной руке, любовь к Стендалю. Но я понимаю — это не верит кровь, — это возмущаются восемнадцать лет, молодость! Я чувствую себя одновременно убийцей и жертвой. Но я опять отвлекаюсь! Скорее! В петлю!

Подтяжки держатся на шести пуговицах: две сзади и четыре спереди. Я отстегнул одну. Я сделал один шаг навстречу смерти. Штаны чуть спустились. Я делаю усилие, чтоб воздержаться от предсмертной пошлости самоубийц: воображать собственные похороны и злорадствовать над горем окружающих. Я должен умереть как мудрец, получивший к тому же социально-экономическое образование.

«Причина самоубийства романическая», — напишут газеты. «Спьяну», — скажет сторож в морге. «Жертва буржуазного строя», — пояснит Кипарисов. Как все это неверно!

Я отношу себя к разряду самоубийц-философов. Как Сократ, например. Как Отто Вейнингер. Как Лафарг. Как жена Лафарга. Я хочу, чтобы говорили: «Он умер от пресыщенности». И так как вторая пуговица не отстегивается, я ее вырываю с материей, с мясом. Что бы сказала бабушка, увидев такой беспорядок! Но я опять отвлекаюсь, я безнадежно отвлекаюсь! Почему я еще не умер? Я поспешно одну за другой отстегиваю три пуго-

вицы. Осталась последняя, сзади, справа. Жизнь моя держится на одной пуговице. Повременим же капельку.

Скоро светает. Можно различить контуры деревьев. Рождается день. Моя страсть быть всюду первым (выражавшаяся до сих пор в посещении премьер, в обожании эго-футуристов, в криках: «А я знаю новый мотив танго!») получает полное удовлетворение. Меня окружают первые облака, первые ветры, первые люди: молочницы и ассенизаторы.

Я сижу, развалившись на скамье, со сползающими штанами, и держу руку на последней пуговице. Я на секунду представляю себе, что сижу на электрическом стуле и держу руку на рубильнике. Мгновение — и я включаю ток. Это ощущение так реально, что, когда я отстегиваю пуговицу, страшная судорога пробегает по телу. Ах, вот они, подтяжки! Теплые, пахнущие телом. Остается стать на скамью и закинуть петлю. Сейчас.

И, как запасливый путешественник, отправляющийся в неблагоустроенные края, где мало шансов встретить приличный ресторан, я начинаю спешно наедаться на дорогу. Я обжорливо глотаю все, что попадает под руку: свежесть рассвета, садовые аллеи с пылью и чириканьем воробьев, постепенно яснеющие улицы с синими жилками рельсов. Как тихи они сейчас! Отчего бы и среди дня не устроить улицы, на которых запрещено говорить, зоны молчания, и другие, которые надо проходить обязательно с песнями, улицы анекдотов, улицы политических разговоров, семейных сплетен? Сережа, ты опять отвлекся! Это могло бы показаться даже подозрительным, если бы я тут же не установил причину своих отвлечений. Это — ассоциации. У меня ассоциативное мышление, я не умею сосредоточиться: чуть начинаю думать — кругами идут ассоциации. Но ничего, как тигр, я хожу вокруг своей жертвы и потом прыжком кидаюсь в самый центр, и... Может быть, так надо решать математические задачи?.. Это путаница... Это — я засыпаю...

Пока я спал, должно быть, происходило следующее. Солнце поднималось все выше и выше. Пробежали дети, направляясь в школу. Гадкий мальчишка остановился у забора и, насмешливо оглядываясь, стал писать нехорошее слово. Зашумело дерево над моей головой. Пришел садовник и пустил фонтан. Прогремели трамваи. Теплело. Мухи на солнце радостно потирали лапки. Шли

чиновники на службу, модистки, солдаты, хлопали двери кофейен, в раскрытых окнах появлялись подушки, медленно брели тряпичники, постукивая посохами и уткнувшись в землю, как за гробом родственника.

Наконец показался в городском саду невысокий плотный студент с живым чернявым лицом. Он шел не спеша, посвистывая, сентиментально оглядывая окрестности. Толстый зад смешно и добродушно торчал под коротенькой курткой. Вдруг студент увидел меня. Лицо его сделалось серьезным. С минуту он вглядывался, поражаясь бледности моего лица и подтяжкам, которые я сжимал в руке, потом подошел и тронул меня за плечо.

Вот тут я проснулся.

— Володя! — крикнул я и простер руки ребяческим жестом. — Стамати, миленький мой! Откуда ты взялся?

— Подвинься, пожалуйста, — сказал он, сурово толкнув меня в бок, и я узнал приятную силу Стаматиных рук. — Это ты на балу так нагазовался? Ты знаешь, что мы тебя ждали вчера до десяти часов вечера?

— Расскажи мне, пожалуйста, что было на заседании, — пробормотал я и сделал вид, что приготовился выслушать длинный рассказ.

Всем видом своим — внимательным наклоном головы, руками, зажатыми между коленями, тогда как взгляд неопределенно, но деловито блуждал в пространстве, — я хотел настроить Стамати на длинный рассказ не потому, что мне так приятно было слушать, а потому, что я хотел дать себе время припомнить что-то очень важное. (Стамати, который рассказывал длинно, бурно и не интересуясь мнением собеседника, хорошо подходил для этой цели.) К тому, чтобы думать именно сейчас, меня побуждало ощущение недоделанности какого-то страшно срочного дела. Но какого?

Не в первый раз я просыпался с тяжестью, не сваленной накануне и застрявшей в мозгу до утра. Самое дело позабывалось, но соки, испускавшие им, пропитывали весь мозг. Долго приходилось, лежа в кровати, перебирать события предыдущего дня, и вдруг открывалось, что это — неприготовленный урок или, что еще хуже, пропущенное свидание с Тамарой в те дни, когда она мне уже надоела.

Но оттого, что тяжесть обнаруживалась, она не становилась легче: начиналось лихорадочное придумы-

вание предлогов, которые помогли бы мне избежать раздражительности классного наставника или Тамары, и, обессиленный, я начинал жаждать какого-нибудь большого несчастья — пожара или внезапной смерти всех моих родственников, — во время которого классному наставнику и Тамаре, разумеется, неловко будет устраивать мне сцены.

Еще с секунду, покуда Стамати гудел у меня над ухом своим младенческим баском, — еще с секунду я колебался между необходимостью припомнить забытое и соблазном отложить это на потом и вдруг вспомнил: самоубийство!

Едва это слово всплыло у меня в памяти (а всплыло не слово, но целый ряд представлений: я сам, болтающийся на подтяжках и бессознательно прихорошенный, лошади с черными плерезами на головах, письмо к дедушке Шабельскому, начатое на прошлой неделе и оставшееся недописанным по лени), я тотчас почувствовал облегчение. Я почувствовал облегчение оттого, что в самоубийстве не ощущалось неприятного осадка, свойственного отложенным с предыдущего дня делам. И если бы я захотел, например, отсрочить самоубийство или вовсе отказаться от него («Но ты этого не сделаешь!» — с силой сказал я самому себе), то это не грозило бы мне ни тройкой в поведении, ни женской истерикой, и единственный человек, с которым мне надо было бы объясниться, это я сам. Уж тут-то я, во всяком случае, не наткнулся на тупость, эгоизм, придиричивость, жестокость собеседника, тут можно культурно спорить, не презирая друг друга, не топая ногами, временами даже в виде отдыха выкуривая папироску, и — кто знает! — в конечном итоге, быть может, прийти к какому-нибудь разумному соглашению. «Хочешь ли ты этим сказать, Сережа, — тут же сурово спросил я самого себя, — что ты человек покладистый? Или, может быть, ты совсем раздумал умирать? Так скоро, Сережа?»

Но тут Стамати кончил свой рассказ, из которого я не слышал ни одного слова, и сказал:

— Что же ты думаешь обо всем этом, Сережа?

Я закивал головой со значительным видом, который говорил, что я давно, собственно, предвидел все, что мне рассказали, а если еще и задам один-два вопроса, то просто, чтоб не обидеть собеседника, — с видом проницательным и даже слегка насмешливым, который я наблюдал у нашего домашнего врача, когда, ничего не понимая

в болезни дедушки, он продолжал с притворным вниманием выстукивать его широкую грудь.

— Я хотел бы еще узнать, Володя, — сказал я, тонко улыбаясь, — что же говорил об этом Кипарисов?

И когда Стамати с большой охотой пустился в новый рассказ, я стал поспешно (ибо было мало времени) отыскивать причины, по которым мое самоубийство было невозможным.

О том, что оно стало невозможным, я уже знал по интересу, с каким я прислушивался к звукам, доносившимся из-за дощатых стен летнего театра, где оркестранты репетировали оперетту «Жрица огня», ежеминутно умолкая под свирепыми окриками дирижера: «Валторны, тише! Финкельштейн, где ваши уши? Отставить! Сначала!» — звукам, зажигавшим во мне необыкновенную любовь к жизни, к недоигранным детским играм, к возможности, если взбредет в голову, показать язык дедушке, петь, даже не имея голоса, любить, хотя бы тебя не любили, драться, лежать на траве, прославиться, мстить, болеть и потом выздоравливать.

Но все это, разумеется, не могло быть причиной для отказа от смерти в глазах ума, такого просвещенного, такого философски образованного, каким я представлялся самому себе. И, поспешно отвергнув горе родных, как мотив сентиментальный, Катино замужество, потому что я запрещал себе об этом думать, и урон для организации, как явную ложь, я наконец отыскал настоящую причину, увесистую, непреодолимую, — то обстоятельство, что ведь я, в сущности, не мог воспользоваться подтяжками. Ах, я совершенно упустил это из виду! Становясь орудием смерти, подтяжки переставали исполнять свое прямое назначение, и штаны скатились бы по ногам, обнажая на потеху зевакам самые сокровенные части тела. Нечего сказать, хорошую фигуру представлял бы я собой, качаясь под деревом в одних кальсонах! Важность смерти в одну минуту сошла бы на нет. Пошли бы толки, меня бы сочли неумелым даже после смерти, плоским и претенциозным даже в могиле.

— Володя, ты представляешь себе, — сказал я, прерывая Стамати, — я пережил ужасную ночь!

— Я вижу, что ты налился как свинья, — невозмутимо сказал Стамати, — ты совершенно одурел. Вот уже пятнадцать минут, как я декламирую «Похождения Яшеньки Гоппе», и ты, как болван, мотаешь головой, как

будто я тебе в самом деле что-то рассказываю. Интересно — о чем ты все это время думал!

Свинья Володька! «Похождения Яшеньки Гоппе» — биографическая поэма в трех частях, сочиненная еще в гимназии всем классом про учителя истории Якова Францевича Гоппе, который имел обыкновение, вызывая ученика, слушать только несколько первых фраз из урока, а потом засыпал, и ученик начинал: «Фигли-мигли-мигли-фигли! Вот летит на мотоцикле Яша Гоппе, Гоппе Яша, гадкий бяша, злой канаша, а за ним в лихом канкане Фаня Грункин, Грункин Фаня», — и дальше в том же роде. Все это мне прочел Стамати, заподозрив, что я не слушаю его, и чтобы проверить это.

Мы захохотали с Володькой, обмениваясь здоровенными тычками в бок и восклицаниями:

— Подлюга!

— Хамулеску!

— Хотел бы я видеть сейчас нашего дорогого Гоппóньку!

— Сережка, я лопну!..

— Слушай, Сергей, — сказал Стамати, когда мы успокоились, — мы вчера порядком толковали о тебе. Ты не должен об этом знать, но я тебе по-товарищески могу кое-что рассказать. Признали, что ты ненадежный человек. Что тебе нельзя доверить работу. Ты честный парень, никто не сомневается. Но ты попал в эту пижонистую компанию Гуревича, и она тебя испортила. Ты стал субчиком. Ты только и знаешь, что газовать, да стрелять за бабами, да ловить фраеров на бильярде. Может быть, ты еще переменишься, ну тогда другое дело. Пока что тебе нельзя работать в организации.

— Я не субчик! — вскричал я с негодованием. — Я просто оттягивался! Я больше не хочу видеть Гуревича, он мне опротивел! Пусть мне поручат дело. Вы увидите: я сделаю.

Я стал умолять Стамати, чтобы мне позволили вернуться в организацию. Я брался выполнить любое поручение, самое ничтожное: например, сбор денег, или самое рискованное: убийство начальника округа.

— Я мог его убить ночью, — с досадой прошептал я.

— Партия отвергает индивидуальный террор, — сказал Стамати, мрачно огляывая меня, — обратись к анархистам или к эсерам, ты к ним лучше подходишь с твоей геройской натурой.

— Ничего подобного, — возмутился я, — я социал-демократ.

И действительно, я тотчас почувствовал себя доподлинным социал-демократом. Я обнаружил в себе любовь к «Искре», к явкам, к маевкам, к Минскому съезду 1898 года. Тут же, не сходя со скамейки, я объявил о своей приверженности к тезисам Циммервальда и Кинтала. Я последовательно обругал отзовистов, впередовцев, ультиматистов, богостроителей. Мой разболтанный организм бурно тянулся к четкости, к ясности, к ортодоксальности, к непримиримости. Я захотел жизни, исполненной теоретических споров, подложных паспортов, побегов из Туруханского края.

Стамати смотрел на меня с некоторым удивлением и слегка поколебленный.

— Ты слишком много говоришь, Сергей, — наконец сказал он, — из тебя выработался порядочный болтун. Смотри, у тебя даже морщины около рта образовались. Морщины говоруна. Но почему бы тебе не заняться делом?.. Да, — повторил он, в то время как я растерянно ощупывал уголки своего рта, — да, — сказал он, обнимая колено и с видом человека, преподносящего мне блестящее предложение, — почему бы тебе не заняться делом?

— Ты рассуждаешь, как оболтус, Володя, — наставительно сказал я, окончательно переключаясь на где-то слышанный мной тон научного лектора, — вот тебе простейший марксистский анализ: я — типичный герой нашего времени, буржуа-рантье, буржуа, по выражению Маркса, выпавший из процесса производства, буржуа, уже не накапливающий, а только потребляющий, паразит...

— Не повторяй слова Кипарисова, — грубо перебил меня Стамати, — не попугайничай. Довольно тебе носиться с собой. Слушай лучше, что я тебе скажу. Я выпросил у наших ребят одну вещь. Они разрешили, чтобы ты помогал мне. Я буду работать в армии. Но ты забыл, Сергей? Я вижу, что ты совершенно забыл, что мы сегодня призываемся? Где ж твоя голова?

Я со стыдом признался, что я действительно забыл. Как я мог забыть! Ведь все, что произошло за последние три недели, все это случилось из-за войны, все было порождено войной: и посещение врача, и дружба с Гуревичем, и ссора с Кипарисовым из-за души, и то, что я стал лживым, грубым, распутным, несчастным, — все драки, увлечения, обиды, измены. Я подивился силе войны, которая с таким шумом ворвалась в маленькую

жизнь восемнадцатилетнего мальчика и, еще не ранив его, даже не тронув из родного дома, уже переломила его характер, загрязнила мысли, поссорила с друзьями, сунула в петлю, война — интриганка, воровка, убийца, война — сводница!

Пока мы с Володей передвигались к воротам сада, с той изумительной остротой, какую иногда приобретает мозг в минуты возбуждения, я постиг скрытую связь между событиями и войной. А так как я думал, что знаю истинные причины войны, то мне нетрудно было вообразить отдаленные истоки поступков — провести, например, причинную линию от Катиной неверности к индустриальному перепроизводству Великобритании и в жесте Третьякова, когда он замахнулся над побледневшей щекой Рувима Пика, разглядеть борьбу держав за предел Африки. Мне казалось, что я постиг происхождение своей ужасной бездеятельности, ибо как я мог опрокидывать соперников или спасать погибающих, если величие Третьякова, как и падение Рувима Пика, зависело не от блеска или, напротив, ничтожества натуры, а от оперативных замыслов маршала Жоффра или от размеров выплавки чугуна в Верхней Силезии.

— Все детерминировано, — прошептал я, потрясенный этими мыслями. — Но где же пределы воли? Можно ли построить счастье, победу, любовь? Стоит ли желать?

Я чуть не вскрикнул от мучительного чувства прозрения. Никогда воздух не был таким прозрачным, не пели птицы с такой откровенностью, так легко и понятно не ложились на лица прохожих доброта, усталость или смирение. И я увидел вдруг то, что коверкает жизнь мою и других, я увидел врага в лицо и назвал его по имени (какое счастье, я недаром читал книги!) — огромный, несправедливый капиталистический строй! Как бы мне не забыть этого, не утратить этого знания в шуме и возне жизни, в сытости, в женских объятиях, кому бы мне дать клятву — страстную клятву молодости, которая ненавидит несправедливость!

— А вдруг нас не возьмут в армию, забракуют? — сказал я с испугом, потому что теперь мне страстно хотелось попасть в самую сердцевину войны.

Я представлял себе, что в окопах я сумею изучить этот вопрос, как в лаборатории; очищенная от крови, от стратегии, от героизма, война представлялась мне университетским семинарием по кафедре политической экономики.

— Не беспокойся, — ответил Стамати, — теперь берут всех, даже явных калек.

Он остановился и заботливо помог мне пристегнуть подтяжки.

— Какую же работу тебе там поручила организация? — спросил я, с нетерпением заглядывая Володе в глаза.

— Только без вопросов, — резко сказал он, — пожалуйста, приучайся держать язык за зубами!

Он взял меня под руку, и так, тесно прижавшись друг к другу, бессознательно шагая в ногу, мы прошли через город, внимательно вглядываясь во встречных солдат и офицеров, и остановились перед серой, дикого камня стеной. Это было воинское присутствие.

Стамати храбро шагнул вперед. Калитка с громом отворилась. Повеяло ржавостью, махоркой, сквозняками.

Двое часовых, не поворачивая головы, диким излетом глаз глянули на нас. Рядом босой солдат рубил поленья с протяжными звуками, как если бы у него гудела селезенка. Увидев нас, он отложил топор и принялся чесать себя под мышками.

— Завшивел я здорово, — с доброй улыбкой пояснил он, — проведешь рукой по затылку — трешшит.

Калитка захлопнулась. Мы покинули мир Штатских и вступили в мир Армии.

10

— Разговорчики! — сердито кричит взводный Дриженко. — Слушать, что я говорю!

Взводный говорит о бомбе-лимонке.

— В ее середке насыпано взрывчатое существо, — поясняет он.

Это урок «словесности». Мы сидим на нарах, все, все четвертое отделение. Мы в фуражках, потому что, отвечая, мы должны вставать и прикладывать руку к козырьку. Вставать нужно лихо, то есть гремя каблуками и преданно раздувая ноздри. Но лихость нам, новеньким, плохо дается.

Нас здесь семь новеньких. Я да Стамати (кажутся вдвойне родными на фоне всего чужого его пухлые мальчишеские губы и насмешливый взгляд исподлобья), мой сосед Куриленко (он меня поражает переходами от

угрюмости к безудержному веселью), молдаванин Леу — бородатый, высокий, с индийской смуглотой лица («Шты русэшты!» — кривляясь, кричит Дриженко под почтительные хихиканья взводных подхалимов и уверенный, что он издевается над Леу), старик Колесник — из ополченцев, степенный мужик, привязавшийся ко мне с первого взгляда (причем из почтения ко мне он не садится рядом, а располагается на полу на корточках и задает вопросы о смысле жизни), Бегичко — спокойный непонятный парень в матросском тельнике, и Степиков — судя по произношению и словарю, уроженец воровского предместья Сахалинчик (в первый же день он дал мне дельный совет: «Подсолнух заховай в сапог», — указывая на мои золотые часы).

Взводный беспрестанно оглядывается на двери. Ждут командира роты. Никто из нас еще не видел его. У всех чувство ожидания хозяина.

— Дриженко — невредный человек, — шепчет мне Куриленко, — он только подлиза. Это самое плохое. Он кадровый, — прибавляет со злобой Куриленко.

Мне неудобно спросить значение слова «кадровый».

В казарме жарко. Круглые железные печи распространяют неуютную теплоту. Чистота здесь тоже неуютная, с запахом лампадного масла и ваксы. В углу — стойка с винтовками. Равномерный блеск штыков. Она называется «пирамида». За сутки я узнал много новых слов: «дневальный», «махра», «антабка», «варежки», «отвечать, как полуротному». Я не могу применять эти слова. Я еще не овладел языком армии.

— Иванов, что есть часовой? — вдруг говорит взводный.

Я вскакиваю. Часовой? Это тоже новое слово. Я напрягаю все свои логические способности, я призываю всю свою образованность, знание батальных романов, я говорю:

— Часовой — это, по-моему...

— Не «по-моему»! — кричит взводный, хмурясь. — Что такое — по-моему! По уставу! Куриленко, что есть часовой?

— Часовой, — говорит Куриленко быстрым деревянным голосом (и я понимаю, что эта деревянность голоса здесь ценится так же высоко, как у нас в гимназии ценилось богатство интонаций), — часовой есть лицо неприкосновенное, поставленное на пост, чтобы никому ничего

не отвечать, винтовки не отдавать, подарков не принимать...

Меня поражает бессмысленность этого определения.

Во-первых, оно отрицательное. Во-вторых, цель подменена признаками. Грубая логическая ошибка. Но я бессилён объяснить это взводному. Я бессилён спорить с уставом.

— Видишь, Иванов, — неправдоподобно огорчаясь, говорит взводный, — Куриленко тоже новенький, а все знает. Садись!

Это неправда. Куриленко — старый солдат. Он с фронта, он после ранения. Но я бессилён спорить со взводным.

— Иванов! — кричит взводный, и я опять вскакиваю. — Скажи, Иванов: сколько весит мулек?

Я молчу. Я вопросительно обегаю взглядом товарищей. Я не знаю, что такое мулек — род оружия или часть одежды? Но я не знаю, считается ли незнание по законам армии допустимым. Я не знаю — можно ли здесь, как в мире штатских, заявить о своем незнании, можно ли проявлять любознательность, скептицизм или это карается дисциплинарным батальоном? Я чувствую, что тупое молчание и хлопанье глазами являются в этом случае наименее рискованным ответом. Я молчу и хлопаю глазами.

Но взводный меня не отпускает. Он поглаживает свои реденькие усы и говорит тоном лицемерного пощрения:

— Ну, как ты думаешь, Иванов? Фунт? Или же менее фунта?

Я быстро соображаю. Фунт — это только один случай. Меньше фунта — множество случаев. По теории вероятностей — мулек весит меньше фунта.

— Меньше фунта, господин взводный, — говорю я, сиюсь быть тупым и деревянным.

Раздался хохот. Хохотало все взводное начальство, все унтер-офицеры и ефрейторы. Выглянул писарь из канцелярии и охотно присоединился к хохоту. Аристократия потешается над дураком из народа!

Оказалось, что мулек ничего не весит. Оказалось, что мулек — это отверстие в рукоятке штыка, дырка, и вопрос о мулке — древняя казарменная острота, на которую ловят всех новобранцев.

Взводный подобрел от смеха. Он, в общем, благоволил к образованным. Он когда-то работал в штабе на

стеклографе и поэтому считал себя прикосновенным к интеллигенции, к наукам. При случае он не прочь был заехать в ухо солдату. При всем том он считался сносным взводным, потому что, по слухам, брал взятки, допуская послабление по службе. Все это мне шепотком рассказал Стамати после команды «оправиться», когда нам дали трехминутный отдых. Особое значение Стамати придавал слухам о взяточничестве взводного.

— Ты понимаешь, — убедительно шептал он, — это для наших планов очень удобно...

Но Володя не успел досказать. Внезапно вскочил взводный, лицо его исказилось от усердия, он крикнул одурелым голосом:

— Встать! Смирно!

От дверей медлительными шажками среди тишины подвигался командир роты. Лицо его скрыто в тени большого козырька. Дежурный подскочил и продеревянил:

— Ваше благородие, за время моего дежурства никаких происшествий...

И — припадочным криком:

— ...не случилось!

— Вольно! — пренебрежительноскомандовал офицер. — Сесть, продолжать заниматься.

Он подошел к нашему отделению. И тут я увидел, что это поручик Третьяков.

Я увидел одутловатое благообразие его лица, прищур левого глаза, пухлую грудь, выпяченную с оскорбительной прямизной. Я испытал тошноту ненависти и отвращения. Весь организм мой ответил на появление Третьякова отвратительным ощущением катастрофы. Это ощущение тотчас собралось в самых неуверенных точках — в горле, которое начало сохнуть, в пальцах, охваченных непобедимой дрожью.

Лицо поручика было замкнутым и недобрым — лицо начальства. Он приблизился, распространяя запах духов, кожи и меди.

«Но ведь мы знакомы, — убеждал я самого себя, — мы рядом, я и поручик, смотрели недавно игру Мишуреса в бильярдной, мы три дня назад встретились на балу, и он жал мне руку и улыбался. Мы люди одного круга».

— Иванов! — негромко сказал поручик.

Я поднялся и откозырнул.

— Иванов, что такое прямая линия?

Какой легкий вопрос! Вопрос — для меня, для человека, изучавшего геометрию. Штатский вопрос.

— Прямая линия, — говорю я и даже позволяю себе легкую игру гражданскими интонациями, — это кратчайшее расстояние между двумя точками.

— Ваше благородие! — кричит вдруг Третьяков.

Я недоумеваю и умолкаю. К кому это относится?

— Тебе, болван, тебе говорю! — кричит поручик, приближая ко мне напудренное лицо. — Ваше благородие съел! Дриженко, скажи.

— Прямая линия, ваше благородие, — ханжеским тоном говорит взводный, — это расстояние от глаза стрелка через прорезь прицела и вершину мушки к точке прицеливания, ваше благородие!

Я смотрю в удаляющуюся полную спину Третьякова. Он проходит в следующие комнаты, в другие литеры, оттуда доносятся: «Встать! Смирно!» — и деревянные бормотания дневальных: «...не случилось!», «...не случилось!».

Я не могу унять дрожь.

— Шулер, — шепчу я бессильно, — офицеришка, сутенер!

Я должен был ему сказать: «Вы забываетесь, поручик, вы, должно быть, получили воспитание на конюшне». Я изобретаю длинный воображаемый диалог, кончающийся тем, что поручик униженно извиняется и говорит: «В глубине души я понимаю, что прямая линия — это кратчайшее расстояние, но, знаете, дисциплина...»

— Иванов, — говорит взводный Дриженко и деловито оглядывает меня, — что ж ты, выходит, обгадил весь взвод? Эх, ты, штудэнт, хвост тебе в рот, как телеграфный столб! Будешь мне повторять два часа без перестачи «ваше благородие».

— Земляк, расстроился? — говорит Куриленко, подходя ко мне.

Он без фуражки, потому что занятия кончились. Стамати тоже здесь, он смотрит на меня с мрачным сочувствием.

— Большой, видать, стервец у нас ротный, хлопцы! — говорит Куриленко, поматывая головой с видом знатока. — Выдающая сука, окопался в тылу, сволочуга, и мало себе думает.

— А может, он с фронта? — говорит Стамати.

— А где твои глаза, вольнопер? — насмешливо гово-

рит Куриленко. — Не видел, что ли, на нем кожаный темляк? Чтоб он был на фронте, у него был бы красный анненский темляк. Кадровая шкура! По замашкам видно. Сунулся бы он на позиции заговорить таким длинным языком — одного дня не прожил бы. Там разговор короткий, хлопцы, — пуля в затылок!

Мы молча слушаем. Колесник от трудных дум открыл рот. Куриленко расстегивает пояс и ложится на нары. Он хочет спать.

— Ты слышал? — многозначительно говорит Стамати. — Ты понял настроение ребят? Надо поговорить с ними. Может, нам удастся сколотить кружок...

Ну как мне поговорить с ними? Я никогда не жил среди такого множества людей. В одной нашей роте — три литеры: «А», «Б» и «В». В каждой триста человек. Обилие людей подавляет меня. Только ближних я различаю. Остальные сливаются в неясную сквернословящую перспективу. Здесь все сквернословят. Брань, которую я считал присущей языку только пьяных или преступников, здесь изрыгают через каждые два слова, и никто не обижается на эти страшные оскорбления.

Странности нового мира обступают меня. Здесь не знают столов, салфеток, мыла. Пятеро едят из одного котла, обсасывают деревянную ложку и снова суют ее в котел; то, что я считал этнографией, картинкой из Элизе Реклю, здесь — жизнь. И я должен, как все, совать ложку в котелок и по ночам ловить на себе насекомых и давить их на ногтях со звуком, похожим на лопанье каштанов.

Здесь пьют кирпичный чай. Его отламывают каблук, положивши на пол. Кипятку здесь придают огромное значение. На кипятке сделал карьеру Степиков. У него собственный чайник, и взводный посылает его поминутно за кипятком в лавчонку против казармы. Часовые выпускают Степикова, когда у него в руках чайник. Степиков ходит с чайником в театр, в гости.

Здесь выдают двадцать восемь копеек жалованья в месяц, тридцать два золотишка крупы и полфунта сахару. Молдаване, сидя на полу, едят сахар с салом и изнемогают от блаженства. Взводный Дриженко подкрадывается сзади к самому грязному, самому робкому — молдаванину Луке и оглушительно кричит над ухом: «Мамалыжник, посылка на твое имя!» Но Лука не двигается с места. Он глух. Или он притворяется глухим? Взводный, разозлившись, что испытание не уда-

лось, с размаху дает Луке по уху. Тот падает. Я вскакиваю. Но Стамати властным взглядом удерживает меня на месте. Как быстро Володька привык к этой обстановке! «Сережка, сдерживай себя,— шепчет он,— помни, для чего ты здесь!»

Поев, здесь испражняются, сразу по двадцать человек, над зловонными ямами, увязая в глине, рыгают, выпускают желудочные газы, раздирают до крови кожу, мочатся не скрываясь, где попало. Когда мы пришли на стрельбищное поле всем полком, в составе шести тысяч человек,— безобразно распухший, заболевший тыловой водяной запасной полк,— я оглянулся и ахнул: несколько сот человек после команды «оправиться» отошли в сторону и, присев на корточки, опорожняли желудок. Рассветное солнце озаряло этот чудовищный луг, на котором взошли круглыми розовыми плодами сотни обнаженных ягод.

Я задыхаюсь, я теряю себя в дикости и одинаковости этого мира,— так было испокон веков. Я хочу разбить окаменелость этой среды своими знаниями, книжностью, пониманием причин. Не может быть, чтоб эти люди были только животными! Ведь здесь все эксплуатируемые, братья, обманутые, которым нужно открыть глаза. Я мучительно думаю, как это сделать. В этот момент я вдруг замечаю, что взводный раздаёт солдатам патристические книжки: «Спасительная молитва воина, идущего на поле брани», «Утешение и наставление скорбящим о смерти на войне воинов». Солдаты читают их, внимательно шевеля губами, прячут за голенище—не разберу я для чего, из уважения ли к книге или чтоб потом раскурить.

В бессилии я бросаюсь на нары, пытаюсь заснуть. Но тут начинается храп — храпит взвод, храпит рота, храпят три литеры — «А», «Б» и «В» — тонко, на разные ноздри, с густотой, с клокотаньем жирных масс в носоглотке. Астматические, катаральные груди свистят и стонут, из отпавших челюстей текут слюни. И во сне люди не перестают раздирать кожу грязными ногтями. Я засыпаю только к утру, когда дневальный, проходя на носках, задувает вонючую лампу. Через два часа меня будит оглушительный барабан...

— Сережа, — сказал мне Стамати, — я уже наметил кой-кого. А ты?

— Я тоже, — соврал я.

На третий день мы пошли принимать присягу.

Собралось несколько тысяч новобранцев, сведенных во взводы и отделения. Выстроились четырехугольником на огромном плацу. В середину вышли офицеры и духовные лица. Странно было видеть черные сюртуки раввина и пастора посреди золотых погон и голубых шинелей офицерства. Потом к ним присоединились ксендз в крылатке и священник в рясе. Священнослужители дружественно беседовали под удивленными взглядами нескольких тысяч солдат. Большинство представляло себе, что духовные лица разных религий должны быть в кровавой вражде между собой.

Небольшую речь произнес священник.

— Среди вас много крестьян, — сказал он, — война имеет огромное культурное значение для русского крестьянина. Многому полезному научит она его. Можно с уверенностью сказать, что война будет для крестьянства поучительнее всех выставок. А теперь, православные, повторите за мной слова присяги.

Он поднял правую руку с крестом и произнес:

— Обещаю и клянусь всемогущим богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству...

Он остановился, чтобы мы повторили.

Нестройный гул разлился по полю. И я, увлеченный движением голосов, пробормотал:

— ...хочу и должен его импера...

Я оглянулся на Стамати. Он молчал. Смущенный, замолчал и я.

— ...верно и нелицемерно, — продолжал священник, — служить не щадя живота своего... — И снова остановился, простирая крест.

Гул. Я покосился на Куриленко. Лукаво блестя глазами, он говорил в такт присяге:

— Неверно и лицемерно служить, не щадя живота твоего...

— ...телом и кровью, — запевал священник, — в поле и крепостях, водою и сухим путем...

— В тело и в кровь, — подхватил Степиков, — в печенку и в селезенку, в бога, веру и...

А Куриленко:

— Холера вам в бок, хвороба на вашу голову...

— ...а предпоставленным надо мной начальникам чинить послушание... — проскандировал священник.

Я огляделся.

— Чтобы вы все рассказали! — бормотал Колесник, сохраняя на лице набожное выражение.

— От команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться... — говорил священник, вознося крест.

Всюду ругались. Присяга проходила под ужасающую брань. Солдаты изошрялись в придумывании чудовищных проклятий. Всех восхищала возможность вслух и безнаказанно поносить начальство и службу — все равно в этом гуле ничего не разберешь. Кроме того, каждый считал, что он не дает, таким образом, никакой присяги.

— Ну что, товарищ, — спросил Бегичко на обратном пути, — весело присягнули?

Я посмотрел на него. Меня поразило его «товарищ».

— Вы рабочий? — сказал я.

— Рабочий, — ответил он, — с порта.

Давно уже я с интересом приглядывался к его отлично вычерченным и всегда сомкнутым губам — губам упряма и насмешника. Я начал различать лица.

На уроке словесности, в клозете, в строю я открывал прямодушных, слабовольных, мятежников, лентяев, истериков, умниц. Я ликовал, открыв, что существуют натуры утренние, дневные и сумеречные, а также темные и глубокие, как ночь. Но вскоре отовсюду полезли характеры полуночные, закатные, послеобеденные, рассветные и предрассветные, и мне пришлось отказаться от этой слишком шаткой классификации. Я перешел к происхождению, к воспитанию, к семейному укладу. Я выпытывал сведения о площади засева, о количестве батраков, о том: «Что ты делал в 1905 году?» Я производил характер от способа производства, я намечал кандидатуры.

— Три человека? — сказал Стамати, деловито хмурясь. — Маловато. Но ничего. Кто же именно?

— Колесник. Ничего, что он стар. Этот огромный мужик с наружностью сказочного разбойника деликатен, как дитя. Ненасытная любознательность. Девственная почва для пропаганды. Их здесь целая группа, стариков, ратников второго разряда, целая социальная категория неимущих крестьян, но домовитых, с психологией собственника и хозяйством бедняка. Нет ничего легче, как уничтожить этот идеологический разрыв. Он засыпает меня вопросами — покуда о боге и загробном существовании, его простая душа тянется к обобщениям.

Он смутен. Столетиями он впитывал авторитет власти. Сейчас в нем происходит расшатывание принципов. Он боится от этого. Я клянусь претворить эту робкую натуру в бунтаря!

— Допустим, — сказал Стамати. — А дальше?

— Куриленко. Он из зажиточных крестьян. Прошу не возражать, я только начал. Он с фронта. Тоже группа: эвакуированные в тыл для лечения. Он с фронта — он не боится ни бога, ни черта. Он понимает, что начальство бездарно и развращено, он ненавидит начальство. У него сложная натура, он из мечтателей — опасная для власти порода! То валяется на нарах, подперев голову руками, и думает — черт его знает, о чем он думает, — а то вдруг вскочит, дикая энергия, способен на все. Три года в солдатах — очень важно: постоянное пребывание в массе. Кроме того, военное искусство, привык владеть оружием — чрезвычайно существенно.

— Вечно ты со своей воинственностью, — пробормотал Стамати. — Но в общем приемлемо. Кто еще?

— Степиков. Очень интересный материал. Ничего, что он вечно дурака валяет. Это у него *façon de parler* — от среды, от сахалинчиковской шпаны, где он вырос. Оттуда же его жаргон бандита и то, что он говорит: «С меня пользы, как с козла молока». Интеллигентов считает «иолдами», о политике отзывается — «байда». Он чем-то мне напоминает Гуревича — мятежничеством, цинизмом, острословием. Городской человек, люмпен. Он бунтарь от природы.

— Хорошо, — сказал Стамати, — я добавлю еще двух. Леу. Молдаванин. Это тоже целая группа, как ты говоришь — категория. Нам важно распропагандировать крестьянина из угнетенной национальности. Он страшный бедняк. Очень смысленный парень. Второй — Бегичко. Странно, что ты не заметил единственного рабочего во взводе. Это же настоящий пролетарий! Что он малосознательный — это ничего, отшлифуем, зато у него настоящее чутье, коренная ненависть к эксплуататору. Я уже говорил с ним. А когда ты возьмешься за своих?

— Завтра, на строевых занятиях, — сказал я, — это удобно во время отдыха.

— Ладно, — сказал Стамати, по-видимому не очень доверяя моей торопливости.

Наутро мы узнали, что на строевые занятия роту поведет сам Третьяков. Настроение у всех разом упало.

Это значило, что весь путь от казарм до поля мы пройдем бегом и на поле будем заниматься наиболее утомительным упражнением — штыковым боем.

Действительно, только выйдя из ворот, Третьяков повернулся и, окинув роту хозяйским взглядом, запел:

— Бего-ом!

В рядах шепотом заругались.

— Аррш! — заключил Третьяков.

Рота затряслась в мелком неудобном беге, винтовки больно били в плечо. Третьяков знал, что на фронте винтовок на плече не носят и бегают совсем по-другому, но он делал так, чтобы помучить роту, а также ради удовольствия каждые две минуты выкрикивать новую команду. Ему нравился собственный голос, ему нравилось подчинение его голосу нескольких сот взрослых людей. Даже я, привыкший к физическим упражнениям, обессилевал, приходя на поле.

— Шаго-ом! — предостерегающе запел Третьяков, выводя это слово, как музыкальную фразу.

Тело, не оставляя бега, приготовилось к перемене темпа.

— Аррш! — раздалось под левую ногу музыкальное разрешение.

Левая нога плавно легла на носок, рота мерно шагала, пот заливал лицо, его нельзя было отирать.

— Смир-на! — в басовом ключе запел Третьяков. — Равнение на-лева!

Рота зашагала тверже, ноги, как птицы, выплывали из-под шинели и широко, всей ступней, распластывались на мостовой, в затылке ныло от неудобного поворота. Третьяков начал изощряться. Он пустился в тонкости, он варьировал тему.

— Пол-оборота нале-оп!

«Ле» звучало высоко и нежно, совсем как скрипка на флажолетах, потом удар барабана — «оп!». Рота передвинулась, как деревянные солдатики на шарнирах, и зашагала вкось.

— Пол-оборота напра-оп! — заливался Третьяков, вытягиваясь на носках, как тенор.

Он вздваивал ряды, выпускал взводы по отделениям, он переходил к сложным командам, к запутанным, доставшимся нам от прусской шагистики, к новым коротким командам, рожденным войной, где он никогда не был. Он вдруг кричал:

— Аэроплан!

И все кидались плашмя наземь, вода пробивалась сквозь дырявые шинели.

Среди прямолинейных сквозных движений роты болтались несколько человек, как мышь в проволочной ловушке. То были люди — говорят, в каждом взводе обязательно есть несколько таких человек, — не способные к восприятию простейших команд. Подобно тому как я в гимназии никогда не мог постигнуть бинорма Ньютона, так они ни за что не могли научиться ходить в ногу. Впереди меня как раз шагал один из таких, и я невольно отдавливал его неритмичные пятки.

От усталости всех начинала душить злоба. Не находя исхода, эта злоба распространялась на соседей, на товарищей. Изнеможенные, кляня свою жизнь, мы пришли на поле. Дриженко выстроил нас для штыкового боя.

— На ру-ку! — скомандовал он.

Люди выдвинули левую ногу и выбросили штыки.

— Коли! — заревел Дриженко.

Мы начали с остервенением поражать воздух штыковыми ударами. Если бы неприятель согласился выстроиться против нас в шеренгу и стоять, опустив руки по швам, наши удары были бы для него смертельными. В других ротах, которыми командовали боевые офицеры, эта схоластическая штыковая атака была давно отменена, как совершенно неприменимая в бою. Мы же перешли по команде Дриженко к штыковому бою с индивидуальным противником.

Колесник побежал на «врага», наклонив штык вперед. Тяжелые сапоги мешали ему бежать. Длинная, как юбка, шинель путалась под ногами. Врага изображало чучело — мешок с сеном, прикрепленный верхним концом к деревянной раме. Предполагалось, этот мешок дает полную иллюзию германца, австрийца или турка. На ходу Колесник отирал пот с лица и подтягивал сапоги. Чучело ждало.

— Кричи, — заорал Дриженко, — кричи, хвост тебе в рот, как французский штык!

Колесник испуганно закричал «ура». Этот крик тоже рекомендовался уставом как средство для устрашения противника.

— Ура! — дрябло кричал Колесник и шлепал по грязи.

Добежав до чучела, он с усилием ударил его жестом кучера, стегающего заупрямившуюся лошадь. Посыпались опилки.

— Деревня, не умеешь! — закричал Дриженко. — Покуда ты его, немец тебя три раза заколет. Степиков, а ну-ка, покажи, как русский солдат колет!

Степиков побежал.

— Ура-а! — кричал он преувеличенно зверским голосом.

Солдаты давились от смеха. Добежав до чучела, он сделал балетный выпад левой ногой и, выдерживая после каждого движения паузу, деликатным усилием всадил штык. Дриженко похвалил его. Степиков изобразил на своем лице стыдливое смущение и даже ухитрился покраснеть, как институтка, которую похвалили за изящество реверанса.

Один за другим выбегали солдаты и протыкали чучело.

Женщины с корзинками, идущие на рынок, останавливались и издали смотрели на занятия.

Поручик Третьяков гулял неподалеку, покуривая папиросу и не глядя на солдат. Когда я проделал обряд протыкания чучела, он вдруг повернулся и сказал громким голосом:

— Иванов, сюда!

Я подошел к нему, сомкнул пятки и развернул грудь.

— Плохо здесь? Дома лучше? — отрывисто сказал он.

— Никак нет, — пробормотал я.

— Нравится? Дисциплинированный стал? Проверим. Снять штаны. В три минуты раздеться и одеться. Третьяков отогнул рукав и посмотрел на часы.

— Вы шутите? — сказал я.

— Что-о? — сказал Третьяков.

Его взорвала штатскость моего обращения.

— Ваше благородие, женщины стоят, — сказал я.

— Не разговаривать! — крикнул Третьяков.

Все повернулись в нашу сторону.

Я огляделся. Мне нечего рассчитывать на помощь. Штаты не станут устраивать восстания из-за моих штанов. Самодержавие мне приказывает. Тирания глумится надо мной. Я скинул сапог. Нога в портянке стала на сырую землю. Я скинул второй. Никто не смеется. Третьяков смотрит на часы. Я стаскиваю штаны.

Мне вспоминается ночь в городском саду, когда я не убил себя потому, что не хотел остаться без штанов. Я не убил себя — и вот я живу. Я стою в кальсонах, сомкнув

пятки и развернув грудь. Потом я быстро все надеваю под изучающим взглядом Третьякова.

Он видит грязь на белье, дыры, сквозь которые проглядывает нечистая кожа, следы насекомых. Он заставляет меня переживать весь стыд обнаженности, может быть, у меня кривые ноги, или слишком тонкие, или слишком волосатые, или просто грязные.

Он поворачивается и уходит своей фланерской походкой, его не интересует, как я там копошусь, одеваясь, ему надоело, у него уже готов забавный рассказ обо мне, рассказ даже для дам, если рассказывать тонко: «Понимаете, у меня в роте студент-филолог потерял штаны, малоаппетитное зрелище при всем моем уважении к науке», — рассказ для Кати!

— Стоять вольно! Оправиться! Разойдись! — командует Дриженко и вынимает из фуражки папироску.

Это значит — десятиминутный отдых.

Я беру под руку Степикова и Куриленко и отвожу их в сторону.

— Видели, ребята, — спрашиваю я их, — что со мной сделал офицер?

— Разве он офицер? — с презрением говорит Степиков. — Мелкое барахло. Стоит обращать внимание! Не порть себе кровь.

— Когда кончится война, ты ему напомнишь, — успокаивает меня Куриленко.

— Я ему не хочу мстить, — говорю я с горячностью. — Ну, что толку, если я убью его? Останутся тысячи других, останутся помещики, богатеи, останется царь.

Я умолк и посмотрел на обоих. Я произнес страшное слово «царь», которое пишется в газетах не иначе, как большими буквами, окруженное другими словами, которые тоже пишутся не иначе, как большими буквами:

«СОИЗВОЛИЛ ПОВЕЛЕТЬ»

«МОНАРШАЯ МИЛОСТЬ»

«СОБСТВЕННОРУЧНО НАЧЕРТАНО»

Куриленко и Степиков смотрят на меня серьезно. Я решил.

— Товарищи! — сказал я.

Ах, как сладко говорить слово «товарищи»! Оба с живостью придвинулись ко мне. Они поняли, кто я. Слово «товарищи» не произносят зря. Значит, я из

этих бунтовщиков-студентов, которые призывают к свободе и могли бы, при своей образованности, стать губернаторами или архиереями, но вместо того, жертвуя молодой жизнью, пошли за народ.

— А что-нибудь делается? — жадно спросил Куриленко.

— Ого! — сказал я. — Рабочие бастуют, крестьяне требуют землю. Всюду есть наши. В каждом полку есть кружок сознательных солдат. Только у нас нет. Но мы создадим, и вы оба в него войдете. Никому ни слова, ребята! Встретимся сегодня после вечерней поверки в уборной.

Я любил наш полутемный казарменный клозет. Это было место многочисленных привилегий солдата. Здесь можно было, севши на корточки, спокойно выкурить папиросу, не опасаясь диких вскриков: «Встать! Смирно!» Офицеры не заходили сюда, брезгая невыносимой грязью этого помещения. Взводные не осмеливались нарушить святость физиологических процессов. Солдаты намеренно затягивали опорожнение желудка, дружески беседуя о том о сем. Здесь расцветала забитая индивидуальность.

Я приучился вместе с другими ценить простейшие жизненные акты: испражнение, питание, сон. Никогда организм не удовлетворялся ими вдоволь и всегда жаждал их. Я приучился пересыпать свою речь беззлобными ругательствами, брань через каждые два слова точно помогала солдатам мыслить, как в гимназии нам помогало мыслить ничего не значащее словечко «значит». Я стал солдатом. Я усвоил язык среды, быт среды, законы среды. Я узнал товарищество, крепче которого не бывает на свете: товарищество подневольных. Ненависть, злоба, голод здесь были одинаковыми у восьмисот сорока двух человек роты. И оттого эти чувства приобрели неслыханную стойкость. Но сколько же в полку рот, а в дивизии полков, а в корпусе дивизий, а в армии корпусов! До чего необъятен этот резервуар тоски и злобы, и я — один из тех людей, которые втайне бешено и ловко прорывают новые каналы для выхода народного гнева, подкапывают устои величайшей в мире империи.

Иногда мне казалось, что даже глухой молдавнин Лука прислушивается к нашим страстным речам. Быть может, и он стал бы одним из наших, если б Дриженко не доконал его. Это случилось во время дезинфекции.

Голые по пояс, мы всем взводом выстроились в одну шеренгу вдоль нар. Начальство решило вывести вшей. Нам приказали поднять руки и спустить штаны ниже живота. Ротный фельдшер обмакивал огромную кисть в банку с керосином и мазал солдат по волосьям частям. Он мазал эту живую стенку широкими взмахами, как маляр, захватывая сразу по нескольку человек. Особенно плохо приходилось молдаванам с их пышной растительностью. Потревоженные насекомые разбежались по всему телу. Солдаты сдержанно хихикали под щекочущими движениями, но продолжали стоять недвижимо: строй — святое место.

В этот момент Дриженко подкрался сзади к Луке и бросил ему под ноги серебряный рубль. Монета, звеня, покатилась. Лука вздрогнул и бросился поднимать.

— Ага, — торжествующе закричал Дриженко. — Такой ты глухой, хвост тебе в ухо, как пожарная кишка!

Он швырнул молдаванина на пол и принялся его избивать. Он бил его по всему телу, а главным образом в эти уши, которые доставили начальству столько беспокойства. Он бил не торопясь, как победитель, с полным сознанием своей безнаказанности, кулаком, в котором был зажат рубль, и сапогами, подбитыми железом. Молдаванина, залитого кровью, снесли в околоток. Вот этот случай послужил началом вечернего разговора в уборной.

— Интересно — он настоящий глухой или липовый? — угрюмо проговорил Куриленко, усаживаясь под стенкой орлом.

— Теперь настоящий, — уверяет Леу, который успел сбегать в околоток, — у него лопнули перепонки.

— Подвезло парню, — замечает, усмехнувшись, Степиков, — получит белый билет — голову даю на обрезание.

— Ох... — вздыхает Бегичко, — еле-еле удержался, чтобы не пустить взводному пулю в живот. Из винтовки, понимаешь, не с руки.

— А ты стащи из цейхгауза наган, — советует из своего угла Куриленко.

— Наган — это мусор, — пренебрежительно отзывается Степиков. — Маузер — это вещь. На Сахалинчике за пятьдесят дубов имеешь маузер.

Револьвер — это мечта солдата, маленькая штучка, которую можно упрятать в карман и в нужный момент пустить в ход.

— Пятьдесят рублей! — уважительно повторяет Колесник. — Большие деньги!

Его крестьянская натура возмущена этой цифрой, возмущена легким отношением городских людей к деньгам. Я счел этот момент удобным, чтоб вступить в разговор.

— А ты знаешь, Колесник, сколько стоит война? — сказал я. — Уже подсчитали, что на войну затрачено столько денег, что на эти деньги можно было бы выстроить для каждой семьи в России, Франции и Германии по целому дому в два этажа, ценой в пять тысяч рублей.

Колесник подавлен.

— Война разоряет народ, — говорю я, — от войны никому никакой выгоды...

— А я скажу, братцы, война кой-кому и на руку, — прерывает меня Стамати.

Все смотрят на него.

— А что, нет разве? — говорит он.

Люди одобрительно кивают головами. Всем понятна эта мысль. На Стамати собираются взгляды. По-видимому, думают все, из этих двоих студентов он — голова.

— А ты знаешь, Колесник, — возвышаю я голос, — сколько народу перебито на войне? Двадцать миллионов человек. Вот что за ужас война!

— Да не война ужас, — досадливо говорит Стамати. Я недоумеваю. Неужели я опять ошибся?

— То есть ужас, конечно, — поправляет себя Стамати. — Но главное в том, что власть принадлежит богатым, — вот откуда завелось все зло, товарищи. Помещики и заводчики все время хотят увеличить свое богатство за счет бедняков — это ужас. А от этого главного ужаса все другие: голод, нищета, темнота и война. Беднякам не из-за чего воевать, но богатые сидят в тылу, вроде Третьякова, а воюют бедняки, которых дурят и гонят, как баранов.

Стамати умолкает. Он умолкает в самый напряженный момент, когда все лица обращены к нему с жадным вопросом: «Ну, и что же? Что делать дальше?»

Но Стамати молчит, независимо покуривая трубочку и обратив свое чернявое лицо в потолок. Он, должно быть, хочет, чтобы солдаты сами сделали необходимый вывод. У него ставка на мыслительную работу солдат, пускай они даже ошибутся, он поправит, — исправленная ошибка лучше запоминается. Но я боюсь этого: солдаты сделают не тот вывод, что надо, и потом трудно

будет их переубедить, мысли солдат просты, но неповоротливы, как глыбы. Я говорю:

— Нужно требовать мир. Нужно всем побросать винтовки, и война кончится сама собой.

Движение среди солдат. Симпатии снова на моей стороне. Я перетянул. Уж не руководит ли мной чувство соперничества со Стамати, старинная моя страсть превзойти всех? «Не нужно этого здесь, Сережа, — говорю я себе, — вредно, подло!»

— Верно! — кричит Куриленко, поощряемый остальными. — Мир, иначе ничего не надо нам!

Молчат только Стамати и Бегичко.

— А что, разве не правду я говорю, Бегичко? — спрашиваю я с некоторым беспокойством.

— Ладно ты говоришь, дипломатично, — говорит Бегичко, улыбаясь, — а мыслишь довольно капиталистично. Мало нам мира, товарищ Сергей, если хочешь знать.

— Мало мира, — подхватывает Стамати. — Не отдавать винтовок, а ими переколоть помещиков и заводчиков и взять власть в свои руки.

— Вот это верно — переколоть помещиков! — подтверждает Колесник своим кротким голосом.

Идея переколоть помещиков захватывает всех. Ее долго переворачивают, обсуждая на все лады.

Когда все расходятся, Стамати укоризненно шепчет:

— Ты не то сказал им, Сережа: к гражданской войне надо призывать. Чтобы эту войну, которая сейчас, превратить в гражданскую. Понял?

— Но мне кажется, что прежде всего нужен мир, Володя, — возражаю я.

Взгляды Володи мне кажутся утопическими.

— Ты пацифист, Сергей, — сердито говорит Володя, — ты типичный пацифист.

Те же взгляды Володя проводил в письмах, которые мы писали по просьбе солдат. Обычно неграмотные пользовались готовыми «солдатскими письмами», которые продавались в полковой лавочке. Красивым курсивом, отпечатанным в типографии штаба округа, они извещали, что кормят на службе немислимо хорошо, ротный командир — отец родной и притом орел, и войска наши с ужасной силой идут вперед и не сегодня завтра будут в городе Берлине. В начале и в конце письма было оставлено пустое место для обращения и подписи. От родных из деревни начали получаться

ответы: что это, дескать, вы пишете все об одном и слов не меняете?

Мы с Володей стали писать письма под диктовку солдат. Стамати наловчился между просьбой прислать пятерку на харчи и пространными поклонами родне втискивать революционные лозунги. Я напросился писать письмо взводному, и из озорства вставил фразу: «Я Дриженко, первейший дурак в роте и шкура барабанная».

Поручик Третьяков, который цензуровал письма — впрочем, довольно небрежно, — призвал меня к себе. Дни, когда он был в ротной канцелярии, проклинала вся казарма, даже взводное начальство. У Третьякова оказался беспокойный характер. Он был одержим манией повелевать. Не так, как Гуревич, который очаровывал людей и переиначивал их по-своему. Третьяков любил, чтоб бегали люди по его приказам, чтоб был шум, испуганные глаза, трепет в членах.

Призвав меня к себе и потрясая письмом, он сказал: — Развлекаетесь, господин студент?

И неожиданно:

— Жид, жидюга!

Я побледнел. Третьяков наслаждался эффектом.

Каким-то образом он дознался о моем полуеврейском происхождении. При всем взводе он кричал мне: «Иванов, грудь вперед, это тебе не синагога!» Или заводил разговоры среди солдат об употреблении христианской крови. Его злила моя фамилия. «Хаимзон! — кричал он. — Срулик!» И вежливо поправлялся: «Виноват, Сергей Иванов».

Подстрекаемый оскорбленной гордостью, я возобновил давно лелеянную мысль ударить Третьякова по физиономии — на этот раз в ответ на «жидюгу». Я хотел посоветоваться с товарищами. Когда я вошел вечером в клочет, я застал там кучу солдат нашего отделения. Посреди стоял Бегичко и ораторствовал.

Незамеченный, я приблизился и услышал:

— Ребята, командир грубым окриком остановил нашего товарища, всем известного Иванова, и назвал его «мерзавец», «сукин сын», «баран без мозгов», «жидовская морда» и многое другое витиеватое. Товарищи, проклятая царская власть нарочно натравливает на евреев, чтобы народ не замечал гадостей, которые власть творит. Товарищи, для нас нет евреев или же русских, а есть богатые и бедняки, угнетенные и парази-

ты. Товарищи, если я не прав, укажите мне, и я успокоюсь.

У меня пропало желание бить Третьякова или доказывать с документами в руках, что мой отец дворянин, а один из дедушек даже граф. Я понял, что мне не надо поднимать себя в глазах общественного мнения, то есть в глазах солдат нашего взвода. Для них я — товарищ, свой парень, Сережа Иванов. На всякий случай, я спросил Стамати.

— Плюнь, — сказал он, — это ерунда. Есть дела поважней, — пробормотал он и вытащил из кармана записку.

— Это от Кипарисова, Степиков притащил ее в чайнике.

Я давно догадывался, что Володя использовал Степикова с его возможностью постоянно проходить в город для связи с организацией. Вероятно, в том же чайнике Степиков притащил на днях грудку нелегальных листовок с призывом к восстанию, которые мы пустили по полку. Сначала мы, по Володиному предложению, поручили распространение прокламаций Куриленко, как наиболее развитому из солдат. Но вскоре пришлось его отстранить, потому что он заводил с солдатами горячие политические споры и на не согласившихся с ним набрасывался с кулаками.

Зато — и совершенно неожиданно — превосходные агитаторские качества проявил Колесник. Ухитряясь, при своей разбойничьей наружности, сохранить кроткий, прямо ангельский вид, он с ловкостью первоклассного конспиратора быстро и бесшумно распространил всю сотню прокламаций. Его солидная манера успокоительно действовала на солдат. Даже свою любимую фразу: «Всех помещиков надо переколоть», — он проносил степенно и благожелательно, как хороший хозяйственный совет, хотя при этом не оставалось никаких сомнений, что он сам при первой возможности переколет собственноручно возможно большее количество помещиков, не утрачивая, впрочем, все той же степенности и благожелательности.

Колесник был моей кандидатурой, и я торжествовал. Быть может, поэтому в первый раз открыто Володя заговорил со мной о делах организации. Я мгновенно нахмурился, чтобы не выдать радости, которая овладела мной от сознания, что мне уже доверяют. В записке знакомым милым почерком было нацарапано: «Приходи

завтра в девять, надо поговорить. Можешь захватить Сергея. Кипарисов».

Мы стали озабоченно толковать: как нам выбраться из казармы? Увольнительной записки Третьяков не даст — это ясно. Особенно после того, как на вчерашней вечерней поверке выяснилось, что Бегичко сбежал. Его исчезновение не было неожиданным для нас. Он все эти дни говорил, что либо сбежит, либо бросится со штыком на начальство — немоготу! Дезертирство усилилось. Каждый день на вечерней и утренней поверке недосчитывались нескольких человек.

— Дадим взятку взводному, — предложил я.

— Идея! — воскликнул Стамати.

Мы остановились на сумме в пять рублей. Решено было, что взятку вручу я. При этом требовалось проявить максимум дипломатических способностей. И не сказать прямо, что нам нужно в город, и в то же время выразиться с такой тонкостью, чтобы Дриженко понял, чего мы от него хотим.

Задача оказалась не из легких. Сжимая в руке пятерку, я кружил вокруг взводного. У меня рождались фантастические планы — сунуть деньги ему в голенище, как бы по рассеянности, или преподнести их запеченными в булку, вроде того, как заключенным пересылают зашифрованный план побега. У меня было чисто теоретическое представление о взяточничестве, я жалел, что у меня под рукой нет книг Салтыкова-Щедрина, например, о вороватых чиновниках или «Итальянских хроник» Стендаля, где из описания развратных придворных нравов я мог бы почерпнуть ценные практические сведения о коррупции.

— Уже шесть часов, — раздраженно прошептал Володя.

Я с отчаянием оглянулся. Дриженко стоял неподалеку, спиной ко мне, разговаривая с кем-то. Руки его были заложены за спину. В такт разговору одна из ладоней сжималась и разжималась. Я подошел и всунул в ладонь пятерку. Рука мгновенно захлопнулась. Я отбежал в дальний угол. Там уже стоял Стамати с тревожно-расширенными глазами. Мы принялись наблюдать. Рука, не разжимаясь, медленно поползла в карман, потом вылезла уже свободная и отряхнулась, точно побывав в воде. После этого Дриженко потянулся, зевнул и лег на койку. Он даже не оглянулся, не интересуясь, от кого получил деньги. Через минуту мы слышали его храп.

— Дурак,— сердито сказал мне Стамати,— смотри, что ты наделал своими штуками! Не мог просто дать!

Я молчал. Гибельное чувство неуверенности овладело мной. Я вспомнил день, когда я не мог украсть дыню и Гуревич назвал меня тряпкой. Ни на что я не способен! Стамати тем временем шептался со Степиковым. Я подошел к ним. Степиков внимательно склонил лицо, сухое и умное, как у доberman-пинчера. Он был польщен, что к нему обратились за советом.

— Ей-богу,— сказал он,— вы два идиота! Меня берет тошнота на вас.

Потом он задумался. Мы с тревогой смотрели на него.

— Слушайте, что я вам скажу,— сказал он наконец,— разбудите Дриженко и попросите сыграть с вами в лото. У него есть. За полчаса вы успеете проиграть пять-шесть рублей. Больше этому хабарнику не нужно. И он вас отпустит.

Одну-две партии Степиков посоветовал нам выиграть, просто из приличия, «для близиру», как он выразился.

Действительно, взводный охотно отозвался на предложение сыграть в лото.

— С котлом? Без котла? — деловито осведомился он.

В его сундучке, набитом цветными рубашками, портретами красавиц, вырезанными из журналов, жетонами за отличную стрельбу, картами, свиным салом, оказался полный набор игры, и через минуту Дриженко бойко выкрикивал номера. Мне было противно, что те же руки, которые били Луку, мешаются с моими, касаются их пальцами, тогда как мне хотелось схватить эти пальцы и сжимать их, покуда взводный не грохнется передо мною на колени.

Он оказался опытным лотошником и уснащал игру примечаниями, опротивевшими мне с детства,— туманного моего детства, заполненного тоскливыми семейными вечерами, на которых дедушка Абрамсон заставлял меня часами играть в кругу взрослых ради удовольствия выслушивать, когда я выигрывал, льстивый хор гостей: «Какой способный ребенок, чтоб не сглазить!»

— Барабанные палочки! — кричал взводный, вытягивая «11» и хитро подмигивал.— Сорок с носом! — и ставил «48». — Дедушка! — и торжественно демонстрировал «90».

Мы притворялись обезумевшими от восторга и, в

свою очередь, козыряли ответными прибаутками: «Туды и сюды!» — когда выходило «69» или: «Учитесь считать, господин взводный?» — когда он вытаскивал несколько номеров подряд. Эти жалкие лотошные острофы восхищали взводного. В то же время мы не забывали аккуратно проигрывать, так что через час в руках взводного скопилось около пяти рублей.

Дриженко пришел в прекрасное настроение и на просьбу Стамати отпустить нас в город до одиннадцати часов побаловаться с девчонками заявил:

— А потом за вас отвечай, хвост вам в рот, как старая оглобля! — но тут же вытащил из кармана бланки увольнительных записок, подписанные Третьяковым, и вписал туда наши фамилии. — Смотрите, ребята, — строго сказал, — чтоб не напороться во дворе на ротного. В одиннадцать часов он из офицерского собрания идет домой.

Был вечер, неожиданно теплый, какие бывают иногда в Одессе даже в декабре. Я с наслаждением взрывал сапогами рыхлый снег, коричневый, как шоколадная халва. От долгого воздержания строй штатской жизни ударил мне в голову. Я с аппетитом оглядывал парадные ходы, украшенные медными табличками зубных врачей и ящиками для писем. Мелькали окна с прозрачными занавесками, сквозь которые иногда можно было разглядеть большую кафельную печку или завиток табачного дыма, кувыркающийся в воздухе.

Володя молча семенил рядом, мой милый товарищ, похудевший на царских хлебах, озабоченно облизывающий толстые губы.

Избегая светлых улиц, мы вошли в Инвалидный переулок. Началась немецкая часть города, кирка, училище св. Павла, готические стрельчатые крыши, напротив из консерватории пробивались звуки фортепьяно. Хлопали старые двери гимнастического общества «Турн-Феррейн».

Захлебываясь, я стал рассказывать Володе сплетни про старого гимнаста герр Лидиге с мускулатурой микеланджеловского Моисея и слезящимися от старости глазками, который вот уже десять лет два раза в неделю пытается сделать «солнце» на турнике — и у него ничего не выходит, про фрейлейн Крафт, преподавательницу гимнастики, с уродливым лицом и удивительным телом, о которой говорили, что у нее в любовниках какой-то революционер. Я стал высказывать разные предположе-

ния о личности этого революционера, чтоб сообщить моей болтовне подобие значительности.

Я возбуждался все больше и больше от зрелища мирной жизни, от афиш на столбах, от извозчиков, на которых катили господа в котелках, придерживая за талию дам, от собак, деловито бежавших в разных направлениях и по совершенно, видимо, частным делам.

Мы углубились в Гулеву улицу, которая теперь называлась улицей Карангозова, но которую все продолжали называть Гулевой, — монархисты из презрения к новшествам, либералы из ненависти к генералу Карангозову. Кругом стояли магазины музыкальных мастеров, все чехи — Драгош, Лукаш, Седлачек. В окнах рядом с балалайками и мандолинами стояли фикусы, кактусы и клетки с попугаями.

Мы прошли по Соборной площади, но не через центр, залитый светом, а по темной боковой аллее, меж мароньеров и акаций. На матовых стеклах кафе Либмана мелькали силуэты бильярдистов. Аптека Гаевского и Поповского сияла лиловыми и рубиновыми вазами. Справа начинались торцы Дерibasовской улицы. Городовой в белых перчатках воздымал дубинку. Катились трамваи, широкие южные трамваи с желтыми соломенными сиденьями. По Дерibasовской шли люди с книжками от Распопова, пирожными от Печесского, колбасой от Дубинина, рахат-лукумом от Дуваржоглу. Город дышал пивом Санценбахера, консервами Фальцфейна, богатством Ашкинази, гордостью Сцибор-Мархоцкого. Сколько раз я принимал участие в прогулках по Дерibasовской, почти ритуальных в своей неизменяемости, раскланиваясь со знакомыми, завидуя серой форме учеников 1-й гимназии! А дальше тянулись заманчивые пространства Ришельевской улицы, которая начинается так гордо «Лионским кредитом» и платанами, морем и каллиграфом Косоде, но вскоре запутывается, входит в сожительство с грязными Большой и Малой Арнаутскими и беславно гибнет среди дешевых притонов и мусорных ящиков на перекрестках, меж фотографом «Гений Шапиро» и парикмахером «Жорж Крутопейсах». Пусть моя жизнь не будет похожа на Ришельевскую улицу!

Возбуждаясь, я говорил все больше и больше. Я попытался объяснить Володе совершенную отчужденность Польской, Земской и Гимназической улиц, на жителей которых дедушка Абрамсон — э, да что там, и я сам! —

взирал, как если бы они жили в Новой Каледонии. (Напротив, я ощущал как родную Садовую улицу, где стоял дедушкин дом, и всю прилегающую систему Коблевских, Нежинских, Херсонских, Елизаветинских улиц, с двухэтажными флигелями и уборными в конце двора.) Еще дальше шли совершенно уже непонятные — Слободка-Романовка, Пересыпь, Молдаванка и, наконец, первобытная дикость Ближних и Дальних Мельниц, край мира, обросший травой.

— Какое идиотство! — вскричал Володя. — Перестань работать языком!

Мы вступили на Преображенскую улицу. Фруктовая лавка с толстой хозяйкой, похожей на испанку, пивной погребок «Гамбринус», университет, набитый сторожами, матрикулами, колбами. Сквозь Малый переулок мы достигли улицы Гоголя. Внизу шумело море, гипсовые атланты подпирали балкон, величественный, как земной шар. Здесь жил Мартыновский.

— Здорово, орлы! — крикнул Мартыновский, отворив нам дверь. Он по-прежнему был в форме прапорщика Земского союза.

Мы стали во фронт и ответили, как полному генералу:

— Здра-жла-ваш-сок-дит-сво!

Мартыновский захохотал, придя в восторг. Сейчас же он сделался серьезным и сказал:

— Здесь сам Левин.

Он повел нас через темные комнаты, где тускло отсвечивали паркет и кожа, в кабинет генерала Епифанова. Здесь Мартыновский сделал себе, как он говорил, «мое ателье». В кабинете был зажжен камин. На столе стоял ужин, приготовленный рачительным хозяином. У камина сидели трое: Кипарисов (он с сердечностью обнял нас), Рымша, интернационалист Рымша, весь разлившийся в доброй улыбке, и третий, незнакомый мне, отягощенный широкими плечами, согнувшийся под их бременем, должно быть, Левин. Он мельком глянул на нас, и я увидел, что он сильно косит.

Статати начал рассказывать о нашей работе в полку, прерываемый поминутно вопросами. Я заметил, что к Левину, который сохранял угрюмую молчаливость, все обращались с большим уважением. Я вспомнил, что он крупный работник, член городского комитета, тогда как Кипарисов — только студенческого. Я стал присматри-

ваться к Левину с тем непреодолимым любопытством, которое я испытываю к новым лицам. У него было грузное, пространное, тонкогубое, необъяснимое лицо. Это лицо держалось на двух скулах, огромных, как автомобильные шины. И если правда, что нужно описывать не лицо, а свое впечатление от лица, то от его лица было впечатление силы, ехидства, ума, развратности, воодушевления. Оно сияло над столом, как страна, полная равнин и неба. И по нему тенями проносились мысли. Величайшая снисходительность шла от каждого его жеста, от смыкания ресниц, от поигрыванья кончиком ноги, небрежно заброшенной на другую ногу. Наконец он заговорил, и мы услышали голос гиганта, намеренно сдавленный, приспособленный для несовершенного слуха окружающих; казалось, заговори он в полную силу, мы все оглохли б.

— Словом, армия готова, недостаёт только Бонапарта, — вдруг сказал он.

И засмеялся собственной шутке. Нет, он не смеялся, он произносил те звуки, которыми обозначают в книгах смех: «Ха-ха!» Должно быть, мы были недостойны его настоящего смеха. На всякий случай я тоже усмехнулся. Остальные молчали, с уважительностью глядя на Левина.

— Базовый склад литературы, — продолжал Левин, обводя нас взглядом (и казалось, что он дважды посмотрел на каждого — сначала косым глазом, потом обыкновенным), — будет устроен в гимнастическом обществе «Турн-Феррейн», что в Инвалидном переулке. Товарищам, работающим в армии, надлежит за литературой обращаться именно туда, к преподавательнице гимнастики Луизе Крафт.

Я вздрогнул и посмотрел на Стамати. Но он не обращал на меня внимания.

— Демонстрацию, — продолжал Левин, — думается, можно бы наметить на послезавтра. Постараемся, чтобы вас подержали и другие части.

Когда мы с Володей вышли на улицу, он с восхищением сказал:

— Вот это парень! А? Вот это настоящий подпольщик!

Меня Левин тоже поразило. Образ Кипарисова бледнел и рассыпался. Я пожалел, что за все время заседания не вымолвил ни слова. Пожалуй, Левин и не заметил меня. Ничего, все-таки я в центре удивительных собы-

тий. Я замечтался до того, что настоящее видел как прошлое, как картинки в журнале «Былое»; я видел, как растет литература об этом еще не произошедшем выступлении, полемику ученых, письма, комментарии, среди которых мои будущие мемуары занимают не последнее место.

Итак, послезавтра! Этот вопрос мы обсуждали с Володей всю дорогу.

— Согласится ли рота? — спросил Стамати, толкая калитку. — Или ограничиться взводом?

— За литературой, пожалуй, пойду я, — сказал я, протягивая увольнительные записки часовому, который их наткнул на штык.

— Беги! Ротный! — задыхаясь, шепнул Стамати и бросился под лестницу, в тень.

Я замер, не понимая. Навстречу надвигалась фигура, позвякивая шпорами.

— Поди-ка сюда! — медленно произнесла фигура.

Я подошел и взял под козырек. Это был поручик Третьяков.

Он покачивался. От него несло вином.

— Где ночью был?

— В городе, ваше благородие!

— Кто разрешил?

— Вы, ваше благородие!

Третьяков смотрит на меня в упор. Он похлопывает ресницами в некотором недоумении, как гастроном над меню, уже выбравший кролика, но еще не решивший, съесть ли его в тушеном виде или зажарить в сметане с кореньями. Я жду спокойно. Ну чем он может оскорбить меня? «Болван» я уже слышал. «Жид» тоже слышал. Штаны снимал. Я спокоен. Я сильнее его. Я явственно ощущаю в себе это новое чувство силы. По-видимому, и Третьяков ощущает ее во мне. Он силится придумать что-нибудь новое, точное, что сразило бы меня наповал. Наконец он говорит:

— Вольноопределяющийся, вам кланялась мадемуазель Шахова. Мы с ней сегодня побаловались немножко... — Он делает циничный жест.

— Скотина! — кричу я на весь двор и замахиваюсь кулаком.

Поручик отскакивает и свистит.

Из караульного помещения выбегает разводящий.

— Взять его! — кричит поручик. — В темную!

Два солдата ведут меня в карцер. Я слышу, как

разводящий защелкивает замок и ставит снаружи часового.

В темноте нащупываю скамейку и ложусь на нее, запрокинув руки за голову.

Что они сделают со мной? Будут судить? Сошлют в дисциплинарную роту? В штрафной батальон? Расстреляют? Но мне не хочется думать. Удивляясь собственной беспечности, я засыпаю и долго сплю без сновидений, смутно слыша, как часовые сменяют друг друга, топоча сапогами.

Я проспал утреннюю зорю, полдник и обед. На моих часах было два, когда я вскочил со скамьи, разбуженный щелканьем замка. Ах, как я хочу есть! Может быть, они решили попытать меня голодом?

— Иди в роту! — крикнул разводящий, открывая дверь. — Ротный дожидает тебя в канцелярии.

Я побежал в роту. Я хотел увидеть поручика сию же минуту. Я задышался. Я распустил все силы своего мозга. Я решил увенчать свою жизнь безумно героическим поступком, — вот когда подошла моя минута! — сорвать с Третьякова погоны, выволочь его на середину роты и, прежде чем меня арестуют, выкрикнуть зажигательную революционную речь. Может быть, с этого начнется восстание, и наша рота опередит весь гарнизон, и Левин, сидя у себя в подполье, будет восхищаться, и это историческое восстание одесского гарнизона навсегда будет связано с моим именем. Больше всего я боялся, чтобы это мое решение по дороге не ослабло, я вспомнил про Катю и почувствовал удвоенный прилив желания разорвать Третьякова.

Я вбежал в канцелярию, не постучавшись, не сказавши, как полагается: «Ваше благородие, дозволейте войти», — не щелкнув каблуками, не взявши под козырек. Третьяков поднял голову и улыбнулся.

— Поручик, — крикнул я, задыхаясь от гнева, — вы бесчестный человек!

— Ну вот еще! — протянул поручик и с видом крайнего добродушия похлопал меня по животу. — Мы оба погорячились — и хватит. Ну и нервный же вы, коллега Иванов!

Я оторопел. Поручик меж тем усадил меня на стул и сунул мне раскрытый портсигар.

— Вы знаете, — говорил он, взгромоздившись на стол и фамильярно болтая ногами в лаковых сапожках, — мне так надоела эта проклятая военная служба!

Грязь, грубость, скотство. Сам как-то грубеешь. Разве это обстановка для интеллигентного человека? Возьмем меня. Ведь я мечтаю о сцене. Между нами говоря, у меня находят приличный талант. Вы, верно, замечали, я иногда даже в казарме прикидываюсь этаким бурбоном, военной косточкой, ну, словом, в духе роли Скалозуба. Вы знаете, когда нет возможности играть на сцене, приходится упражняться в жизни, чтобы окончательно не отстать.

Я курил одну папиросу за другой. Уже нельзя было и думать о том, чтобы наброситься на Третьякова. Заряд моего бешенства весь расточился в воздухе, как удар боксера, когда его противник ныряет под руку.

Я покосился на поручиково лицо со страхом: неужели он предвидел, что я собирался делать? Мне приходилось читать и слышать про ловкачей следователей, про жандармов-психологов, которые мягкостью обращения выпытывали у революционеров все их тайны. Я решил молчать, как труп.

Но поручик ничего не говорит об организации, он продолжает болтать всякий вздор, сыплет старыми анекдотами, хватает меня поминутно за руку, признаваясь в любви к глинтвейну, в давнишнем либерализме.

— Ты знаешь, — говорит он, в припадке дружбы переходя на «ты», — Милюков — это — между нами, конечно, только — голова! О, это голова!

Безумная мысль мелькнула у меня: вспыхнула революция, и поручик подлизывается ко мне, как к одному из ее вождей. Но тотчас я посмеялся над собой: портрет царя по-прежнему висит на стене, издали доносится пенье солдат, разучивающих «Боже, царя храни», самодержавие прет отовсюду. Так быстро революции не делают, Сережа!

Поручик меж тем с добродушной грубоватостью старого приятеля выталкивает меня из канцелярии, похлопывая по плечу и приговаривая:

— А вы скрытный мальчик, нехорошо, скрытный!

На что он намекает, черт возьми?

Меня окружили друзья. Кириленко отдавливает мне руку. Стамати обнимает меня за талию, как барышню. Колесник хлопотливо расчищает мне место на нарах. Леу протягивает мне бутылку сидра и кусок сала — комбинация, которая у молдаван считается самой лакомой.

— Ну что, — кричит поверх голов Степиков, — ротный к тебе здорово латался?

Я изумлен: откуда он знает? Все хохочут. Стамати рассказывает:

— Сегодня здесь был знаменитый старикан. Он пришел в полной парадной форме, красные отвороты, целая куча звезд на груди, под шинелью мундир шталмейстера. Баки. Прямо чучело гороховое. Третьяков перед ним чуть на колени не бросился. А чучело: «Я приехал повидаться с моим внуком, Сергеем Ивановым. Позовите-ка его, поручик!» А Третьяков совсем запупел. «Ваше высокопревосходительство, говорит, вольноопределяющийся Иванов мной отпущен в город по своим делам». — «Ну так передайте ему, — говорит старикан, — что к нему приходил его дед, граф Шабельский. И отчего у вас так воняет здесь, поручик?» Мы чуть не полопались со смеху.

Вот оно что! Опять дедушки вмешиваются в мою жизнь. Не один, так другой. Я злюсь на графа Матвея Семеновича: если бы не он, вся моя жизнь с сегодняшнего дня, быть может, потекла бы иначе — чище, возвышенной.

— Здорово, генеральский внучек! — кричит кто-то сзади.

Оборачиваюсь: Бегичко! В руке у него бритва и осколок зеркала. Он бреется.

— Ты откуда взялся? Ты ж бежал?

— Споймали, — спокойно говорит Бегичко.

Я озираюсь. Все помрачнели.

— Будет ему теперь компот, — угрюмо шепчет Степиков.

Я замечаю возле Бегичко солдата со штыком на поясе, как во время дневальства. Я догадываюсь: караульный. К пойманному дезертиру всегда приставляют караульного, который всюду ходит за ним.

— Споймали, — говорит Бегичко, продолжая скрести бритвой подбородок, — в порту. Думал: кругом все своя братва, грузчики. Да, видно, завелись среди нашего брата предатели.

— Что же будет теперь с тобой? — говорю я.

Никто мне не отвечает. И только взводный Дриженко, проходя в эту минуту мимо нас, бросил Бегичко загадочную фразу:

— Чистись, чистись! Будешь завтра фигурировать на дворе с голой задницей.

Смысл этой фразы разъяснился после вечерней зори, когда, пропев обычное «Боже, царя храни» и молитву, взвод был построен вдоль нар. Дриженко, выйдя перед фронтом, огласил приказ:

— «Рядовому Бегичко за самовольную отлучку — пятьдесят розог...»

И покуда взводный монотонным голосом дочитывал: «Приказ этот прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, пулеметных командах...» — Стамати шептал мне на ухо:

— Ты не знал разве? Новое дисциплинарное взыскание. Порка. Введена высочайшим приказом.

Порка состоялась на следующий день. Она обставлялась, как спектакль. Трубил горнист, бил барабанщик. Мы были выстроены четырехугольником во дворе казармы — все восемь рот квартировавших здесь двух батальонов. Винтовок нам не дали. Отдельно с заряженными винтовками стояла чужая часть — взвод так называемого экстренного вызова, отборные солдаты из учебных рот. «Учебники» дежурили при коменданте города и несли службу охраны порядка, являясь внутриармейской полицией.

Посреди двора разостлали коврик, как для бродячих акробатов. Рядом положили связку прутьев — пятьдесят, по числу ударов. Бегичко вывели на середину. Третьяков бегал в кругу и хлопотал, как хозяин на именинах. Кликнули добровольцев — пороть Бегичко. Никто не отозвался. Тогда по приказу Третьякова вышли не очень охотно два унтер-офицера из чужой роты. Они поделили прутья и подошли к ковру.

— Скидай штаны, живо! — крикнул поручик.

Бегичко засуетился. Белый день, множество народу, тишина затрудняла его движения. Наконец он справился с пуговицами, штаны и кальсоны сползли, мы увидели желтую пупырчатую кожу, сходную с куриной. Бегичко поспешно опустил на четвереньки, упершись в коврик локтями и коленями. Шагая по кругу с заложенными за спину руками, Третьяков крикнул:

— Начинай!

Свистнул прут. Потом другой. Унтера секли не спеша, беря для каждого удара новый прут, штрихуя Бегичкину спину красными полосами. Я заметил, что по рядам передается какая-то весть. Я с жадностью ждал ее. Наконец сосед прошептал мне:

— Секут легко, только для виду, мажут.

Но Третьяков тут же заметил проделку.

— Нечего! — закричал он. — Бей по совести! Сами захотели туда же?

В это время раздался многоголосый крик:

— Довольно! Позор! Отставить!

Я со страхом оглянулся: кто посмел?

Кричали «учебники», солдаты экстренного вызова, присланные для охраны порядка. Они вскидывали вверх винтовки и кричали:

— Отставить!

«Ага! — подумал я с восторгом. — Вот где, наверно, поработал Левин!..»

Третьяков бежал к ним. Унтера в растерянности перестали сечь. Бегичко привстал на колени.

— Отставить! — кричали «учебники». — Кровь проливаем! Позор!

— Отставить! — кричали уже в наших рядах.

Крик переливался на роты, на нас, безоружных маршевиков.

— Отставить! Мы не собаки! Позор!

Наиболее боязливые мычали, не открывая рта. Молдаване бросали в воздух странные, бессмысленные вопли. Стамати рядом со мной топал ногами и стонал:

— Ах, если б их организовать, если б их организовать!

Но я не слушал, я орал, широко разинув рот, все те же слова, что и другие:

— Позор! Отставить!

Я с наслаждением присоединился к общему крику, я плыл в нем, меня охватило чувство слитности со всеми, чувство огромной силы, никогда еще не испытанной мной.

Бегичко, все еще стоя на коленях среди двора, широко улыбался и поводил рукой, как бы дирижируя. Потом он поспешно натянул штаны и встал в строй. Порка была сорвана.

«Учебники» построились и, превосходно маршируя, ушли.

Я огляделся. Третьякова не было. Он убежал в офицерское собрание. Раздались звуки автомобильного рожка. Во двор въехала легковая машина. Оттуда выскочил толстый полковник. Я узнал в нем командира полка. Он выбежал на середину.

— Солдаты сорок восьмого полка! — закричал он. —

Вы покрыли себя позором! Только кровью вы сможете смыть его. Завтра же вы отправляетесь на фронт!

Все молчат. Все тяжело дышат. Воздух неспокоен над головами. Мне хочется кричать. Мне хочется что-то сделать в ответ на слова полковника. Но я не знаю — что. Никто не знает.

Полковник продолжает, театралью потрясая руками:

— Вы опозорили знамена славных одесских орлов! Только славной борьбой с врагами внешними и внутренними...

Полковник задыхается, у него не хватает слов.

— ...студентами...

Пауза.

— ...и прочими революционерами...

Пауза.

— ...вы купите себе мою прежнюю любовь!..

Полковник довольно отирает лоб. Солдаты молчат, подавленные непонятными словами.

— На фронте, — продолжает полковник, — кровавыми боями вы будете себе завоевывать славу. Но помните, что малейшее повторение событий, имевших место сегодня, обойдется вам очень дорого! У нашего царя очень много полков, и ему ничего не стоит расстрелять один из них.

Полковник исчезает. Уже сумерки. Отделенные и взводные, вполголоса командуя, отводят нас в казармы.

В клозете меня дергает за рукав Степиков. Он бледен. Он необычно серьезен. Он шепчет:

— Володька арестован.

— Что ты врешь? — говорю я испуганно.

— Чтоб я не дождал тебя увидеть, — клянется Степиков, — он хочет поговорить с тобой. Он в карцере. Иди до него. Будто в околоток. Я все устроил.

Я бегу в карцер. Часовой молча пропускает меня. Вглядываюсь — это Леу. Стамати сидит на скамье. Горит огарок свечи.

— Сергей, — говорит Стамати, — организация разгромлена. Кипарисов арестован. Кто-то донес.

— Откуда ты знаешь?

— Степиков был в городе, разузнал.

— А Левин?

— Вот это парень! — с воодушевлением говорит Володя. — Он скрылся. Он в подполье. Он уже успел выпустить письмо к членам организации с призывом не падать духом и продолжать работу.

— Почему же тебя арестовали, а меня нет? — вскричал я.

Володя пожал плечами.

— Ты для них, Сережа... — сказал он и замялся, — просто еще не пожива.

Я с досадой закусил губу. Я все понял: я слишком мелкая фигура, вроде этого пошляка Володьки Мартыновского...

Стамати серьезно посмотрел мне в глаза. По-видимому, он прочел мои мысли.

— Знаешь, — сказал он, — выдать мог только один из тех, кто присутствовал на собрании. Скажи — ты мог бы поручиться за Володьку Мартыновского?

— Значит, ты думаешь, что это он? — вскричал я, потрясенный.

— Я не имею права ничего думать, — с живостью перебил меня Володя, — организация займется этим и узнает.

Я задумался. Неужели Мартыновский? Пожалуй, он мог стать предателем со своей болтливостью, пустотой и вечной нуждой в деньгах. В сущности, он не революционер, а только хозяин дома, меценат.

— Вот что, Сергей, — сказал Стамати, — бог знает, когда мы еще увидимся. Ты завтра уходишь на фронт, а со мной неизвестно что будет. Я хотел тебе сказать, чтобы ты помнил наше дело и на фронте. Там почва еще более благодарная. Ты хорошо работал, из тебя, по моему, выходит твое пижонство. Ну, давай попрощаемся.

Володя протянул мне руку. Я взял, чувствуя, что могу заплакать. Маленькое чернявое лицо Стамати глядело на меня с добротой. Он притянул мою голову, и мы поцеловались.

— Ну иди, а то заметят, что тебя нет, и подымут бучу, — сказал он озабоченно. — Если смогу, напишу тебе на адрес Абрамсонов. Адье.

Я выскочил во двор.

Луна, тишина, белизна бросились мне в лицо. Двор широк и пуст. Меня охватывает тоскливое чувство одиночества. Володю отняли у меня. Теперь я совершенно один. Мне кажется, что кто-то должен прийти и вновь завладеть мной. Чувство потерянности собирается в спине, она обмякает, мне хочется опереться. Я шагаю

к стене под предлогом, что там легче будет обдумать положение. На полпути делаю над собой усилие и возвращаюсь. Будь же мужчиной, Сережа! А забавно, должно быть, глядеть на меня со стороны: маленькая фигурка мечется под луной, описывая зигзаги. Я начинаю шептать слова:

— Сила, мужество, Катя, революция, Володя.

Из каждого я вытягиваю немножко бодрости — каждое как глоток свежего воздуха. Я вспоминаю, что несколько человек во взводе ждут меня, готовы идти за мной. Мне делается стыдно за свой припадок слабости. Ведь я не ребенок, я много сделал за последнее время. Пожалуй, не узнаешь меня! Я избавился от подражания Гуревичу, от страсти к Тамаре, от поклонения Кипарисову. «Левин — вот это парень!» Да, быть как Левин! Повторить его жизнь — с ее преданностью революции, идейностью, самоотверженностью. У меня влюбленно замирает сердце при мысли о Левине, и этому чувству влюбленности в Левина суждено было остаться у меня надолго, вплоть до того ужасного момента, когда обнаружилось, что Левин, как это увидит читатель впоследствии, совсем не то, чем все мы его так долго считали.

У входа в казарму меня тихо окликнули. Оглядываюсь — Бегичко. В руках у него узелок.

— Иванов, — говорит он, — я тебя искал. Хочешь удрать со мной?

Я не понимаю:

— Куда удрать?

— Совсем удрать. На волю. Айда?

Он увлекает меня в глубь двора и дальше, в темноту.

— Идем, я тебе покажу.

Мы подходим к забору. Бегичко нажимает одну из досок. Доска поддается, она отпорота снизу.

— Осталась самая малость, — говорит Бегичко и вынимает большой нож, — выковырять с полдюжины гвоздей. Хорошее местечко, а?

Он садится на корточки и начинает орудовать ножом. Он работает спокойно и ладно. «Бежать? — думаю я. — Там воля, Левин, связи дедушки Шабельского. Но здесь — работа, здесь четыре товарища, здесь поручение организации. Что делать? Оставаться?» Воображение рисует мне десятки последствий одного и другого поступка. Я их явственно вижу. Но что выбрать? Почему к такому сильному дару воображения привязана такая хилая способность действия?

— Ну, идешь? — говорит Бегичко, принимаясь за последний гвоздь.

Я всегда мучусь, когда мне надо выбирать. Я не имею мнений. Где мне достать их? Вещи не рожают во мне отношения к ним. Я остаюсь неподвижным. Ах, как хорошо людям, которые при виде моря начинают рыдать от умиления, вмешиваются, не думая, в чужие уличные драки, объясняются в любви на второй час знакомства! Что ими двигает? Направление мозговых извилин? Усиленный обмен веществ? Если б мне влить в жилы такой физиологический раствор, который создал бы во мне способность выбирать!

— Ну, так ты идешь или нет? — говорит Бегичко.

Он кончил работать. Доска вынута. Кусок мира сияет сквозь щель. Бегичко стоит и смотрит на меня.

— Счастливого пути! — говорю я и жму Бегичко руку. — Я должен оставаться в армии, продолжать работу.

— Действуй, — говорит Бегичко, — накачивай парней. Может, ты и прав.

Он крепко жмет руку и исчезает. Я иду обратно. Я радуюсь твердости моего решения. Организация доверила мне пост, и я не имею права покинуть его. Мне хочется, чтобы эти мои мысли стали известны Левину. Он похвалил бы меня. Он выругал бы меня за предыдущие мысли: о неспособности действовать, о зависти к людям с быстрой реакцией — к пошлякам зачастую. «Товарищ Левин, — мысленно говорю я, приближаясь к дверям казармы, — поверьте, это был припадок слабо-волия, рецидив, который тотчас прошел. Прежде, до работы в казарме, это было преимущественное мое состояние. О, товарищ Левин, если б я вам рассказал мою жизнь...» — «Я знаю ее, — говорит Левин, мягко улыбаясь, — я давно слежу за вами. История мелкобуржуазного характера. Я возлагаю на вас надежды, Сережа». И дальше Левин говорит что-то очень лестное для меня, но не выразимое словами, и я прерываю воображаемый разговор, тем более что двери казармы передо мной — надо войти.

На минуту я задерживаюсь, держа руку на ручке дверей, чтобы додумать две мысли. Первая мысль: я опять, значит, в подчинении — не у Кипарисова на этот раз, не у Кати, не у Гуревича, а у Левина. Что же, воображаемая дружба имеет свои преимущества: она не осквернена грубостью, непониманием, полемическими разногласиями, безвкусицей, рассеянностью, неотливо-

стью рук и другими более мелкими недостатками, собственными физическим лицам; мне обеспечены дружеское участие, откровенность, душевный разговор в любой час дня и ночи — когда я только захочу. Левин, в сущности, сумма политических и философских идей, которым я, из непобедимого отвращения к отвлеченному мышлению, придал образ живого человека. Мне остается только следить, чтобы сумма этих идей не искажалась под влиянием моих увлечений, чтоб она сохранила свою чистоту и благородную тяжесть, чтоб, скажем, идея о превращении империалистической войны в гражданскую была так же неотделима от моего Левина, как его косоглазие или неизлечимый бронхит.

Вторая мысль — и я спешу ее скорей додумать, потому что слышу, как за дверью каптенармус распределяет новые шинели перед отправкой на фронт, — вторая мысль — это боязнь рецидива старых моих настроений, боязнь повторения того, что я называю припадками слабоволия. Как мне удержать мои прекрасные приобретения — твердость, энергию, темперамент революционера? Я знаю: мне нужно слово, одно слово. Но это слово должно быть магическим. Магия его в том, что оно должно заключать в себе волны бодрых ассоциаций. Оно должно быть знаком мужества, честности, силы, оно должно выносить меня из бездны душевной депрессии, оно должно напоминать мне о самом лучшем, что есть в моей натуре.

Тут мне вспоминается Ришельевская улица, печальный пример Ришельевской улицы, которая вступила в жизнь как прекрасный юноша и, пробежав каких-нибудь полверсты, превратилась в слюнявого грязненького обывателя. Прекрасное начало Ришельевской улицы — вот на что должна походить моя жизнь: море, платаны, чугунные фонари, «Лионский кредит».

Я вбегаю в казарму. Спят все. Я ложусь на свое место между Куриленко и Степиковым. На подушке я нахожу нбвую шинель. Внимательно разглядываю ее: хороша, из плотного сукна, крепкие крючки, абсолютно чистая; это, верно, Колесник позаботился обо мне. Я кладу голову на подушку. О, сладкое изнеможение сна! Ах, какой ужасный день был сегодня — порка, бунт солдат, провал организации, арест Стамати, бегство Бегичко. Завтра — на фронт! Перед тем как заснуть, я шепчу: «Лионский кредит».

Меня тотчас наполняют Катина нежность, Сашина

дерзость, Митина сила, Володина чистота. Я счастливо улыбаюсь: слово действует.

Нас разбудили в пять часов утра. Кадровое начальство, как всегда в такие моменты, отсутствовало, чтоб не раздражать маршевиков своим «тыловым» видом. На вокзал нас повели новые маршевые отделенные и взводные.

Для полка был приготовлен длинный состав из теплушек. У дебаркадера расположился оркестр. Для поднятия солдатского духа он непрерывно играл браваурные мотивы из «Веселой вдовы» и «Жрицы огня». Наша пятерка устроилась в одной теплушке. Мы составили винтовки и выпрыгнули на перрон покурить. Разговаривать не хотелось.

В это время, раздирая толпу, ко мне кинулся старик.

— Сережа! — крикнул он.

Солдаты кругом поспешно вытягивались и козыряли. Это был граф Шабельский. Он притянул мою голову к своей груди, окуная меня в свои седые пахучие бакенбарды.

— Сереженька, — повторял он, — миленькой мой Чегоитебежелаю...

Я рассмеялся. «Чегоитебежелаю» — это мое детское прозвище еще с тех времен, когда все мои письма дедушке Шабельскому состояли из одной строчки: «Дорогой дедушка, я, слава богу, здоров, чего и тебе желаю».

— Будь спокоен, Сережа, — пробормотал Шабельский, — через две недели я тебя вытащу с фронта.

— Не надо, дедушка, — строго сказал я, — иначе мы с вами поссоримся на всю жизнь.

— Ну, ну! — сказал граф Матвей Семенович, отходя в сторону и сразу повеселев, потому что долго не мог оставаться огорченным.

Из-за его спины выдвинулся дедушка Абрамсон.

— Сереженька, — сказал он, протягивая пакет, — это шерстяные носки. Чтoб ты их носил. Помни, что на фронте сыро.

— Помню! — свирепо сказал я.

Бабушка стояла рядом, но не смела уже ничего говорить, боясь меня рассердить, а только смотрела глазами, полными слез. Граф Шабельский смеялся: он не изменил своей привычке прежде всего подмечать смешное.

— Сережа, — сказал он, — а Марфеньку ты не хочешь замечать?

Молодая женщина подняла вуаль и, улыбаясь, пода-

ла мне руку. Я покраснел и поднес руку Марфы Егоровны к губам. Солдаты кругом захихикали.

— Молчать! — крикнул граф Шабельский.

— Дедушка! — гневно сказал я и покосился вокруг.

Куриленко отходил прочь со злым лицом. «На кой черт нужна мне вся эта дребедень?» — думал я, учтиво улыбаясь Марфе Егоровне, которая смотрела на меня большими, полными патриотического обожания глазами. Граф нежно обнял ее за тонкие плечи.

— Сергей, — сказал он, — держись, сзади еще провожающие.

Я оглянулся и увидел Мартыновского и Рувима Пика. Мартыновский с трудом оторвал глаза от графини и воскликнул:

— Сергей, покажи этим швабам, что значат одесские парни!

Приблизившись, он прошептал мне:

— Какой ужас! Меня чуть не арестовали.

Я пожал плечами.

— Вот возьми, — сказал Мартыновский и сунул мне в руку две шоколадные плитки, — у нас в Земском союзе их до черта, некуда девать.

Считая обряд прощания исполненным, он подошел к графине и, звякнув шпорами, звучно представился.

— Мадмазель Маргарита тоже должна прийти, — печально сказал Рувим Пик, подходя ко мне. — Может, вы ей скажете напоследок пару теплых словечек за меня, мосье Иванов?

— Садись по вагонам! — раздался крик коменданта.

Я вырвался из объятий внезапно навалившихся на меня Абрамсона и Шабельского и вскочил в вагон. По всему перрону разлился бабий визг, голосили солдатские жены. Оркестр грянул «Я раджа, индусов верных повелитель».

— Две недели! — кричал Шабельский, надрываясь. — Десять дней!

В это время, отталкивая его, выбежал вперед молодой человек в форме Земского союза и одним прыжком вскочил в вагон. Это был Гуревич.

— Сергуська! — крикнул он. — Это я! Давай морду!

Вся старая нежность к Гуревичу сразу хлынула к моему сердцу. Мы поцеловались.

— Ну да, — сказал он, играя рябым лицом, — его, как первую любовь, та-та-та, сердце не забудет. Не робей, Сергей! Видишь, я тоже в Земсоюзе.

И, сделав широкий жест, он сказал:

— Смотри, вся наша банда здесь.

Действительно, на перроне стояли тоже в форме Земского союза, звякая шпорами и улыбаясь, Беспрозванный, Завьялов и оба Клячко. А дальше махали платочками и визжали Тамара, Маргарита, Иоланта и Вероника.

— Бабец первый сорт, — с видом знатока сказал Степиков.

Матвей Семенович хохотал как сумасшедший.

— Катя здесь? — сурово спросил я Гуревича.

— Долго рассказывать, — быстро сказал он, — напишу.

Ударило три звонка. Гуревич соскочил на перрон. Паровоз свистнул и рванулся. Бабушка и Иоланта залились слезами. Последнее, что я видел, — огромные насмешливые глаза Гуревича.

— Надоела мне эта свора родичей, — смущенно сказал я.

Куриленко одобрительно выругался.

— Ну, будем шамать, — деловито сказал Степиков и разостлал на полу газету.

Колесник положил на нее бублик, Леу — студень, Куриленко — сало и я — шоколад.

11

Ссору начал, как всегда, подполковник. Он прискакал из головной роты.

— У вас курят в строю, капитан! — кричал он. — Подтянуть людей не умеете!

Лошадь суетилась под ним и била ногами, зараженная беспокойством всадника, который выюном вертелся в седле.

Ротный наш, штабс-капитан Нафталинцев, лениво вздымал руку к козырьку. Лицо его выражало ложь и иронию.

— Мы не на параде, господин полковник, — вяло возражал он.

— Врать изволите! — кричал подполковник. — Вы все в обоз норовите, в тыл, в резерв чинов!

Начинался длинный язвительный разговор, наполненный взаимными упреками в трусости, в неспособности, старыми служебными обидами, цитатами из «Русского инвалида».

Злорадство, с которым прежде солдаты наблюдали

грызнию офицеров, исчезло теперь, во вторую неделю похода. На привале и без того много дела.

— Ну, кого он сейчас кроет? — осведомлялся Колесник, скидывая мешок и принимаясь разбираться в вещах.

— Мотивирует штабных, — равнодушно отвечал Степиков, самый любопытный из нас, однако тоже охладевший к однообразным ссорам начальства, — разоряется насчет захода правым флангом.

Это означало, что подполковник перешел ко второй части программы и поносит начальника дивизии, командира корпуса, командующего армией, добираясь до начальника главного штаба. Мы же приступали к тем сложным многочисленным делам, которыми заполнено солдатское время на привале.

Прежде всего — поесть! Давно уже походные кухни не работали из-за отсутствия припасов. У солдат начинался сухарный понос. Мы продвигались по австрийской земле среди русинских мужиков. Привал — не без умысла — был сделан неподалеку от деревни.

Трижды с начала похода менял я свое отношение к товарищам. «Так вот оно, мародерство!» — взволнованно думал я в первый день, тревожимый литературными реминисценциями (покуда солдаты громили крестьянские халупы) и неясно воображая себя участником наполеоновских походов, ординарцем Даву, Фабрицием под Ватерлоо. Но к вечеру я решительно стал на сторону крестьян, тронутый их криками. Я кидался в драки с грабителями. Я бегал с доносами к ротному. Мое чело-веколюбие длится целый день. На следующий я присоединяюсь к мародерам. Я голоден. Я хочу есть. Я не имею права быть благородней моих товарищей.

Наша пятерка действовала сообща. Леу рыл картофель. Я и Колесник таскали кур. Уже на третий день похода я делал это с такой ловкостью, как будто во всю свою жизнь я только и знал, что таскать крестьянских кур, как будто не было в этой жизни поклонения Гегелю, прелюдий Шопена, теософии, влюбленности. Колесник при этом играл роль подручного: держал наготове мешок и пугал крестьян, не прибегая, впрочем, к насилию, даже угрозе, а единственно зверским выражением своего заросшего лица. Степиков стряпал, проявляя изрядный поварской талант. Куриленко благосклонно принимал пищу. Приходилось упрашивать его. Он был в одном из своих припадков меланхолии. Она выражалась в не-

обыкновенной молчаливости, изредка прерываемой короткими загадочными фразами, вроде:

— Со мной соглашались? Не соглашались. Так нечего мне голову крутить.

Или — после долгого и пристального созерцания кончиков собственных пальцев:

— Катитесь вы все к чертовой матери!

— На паровом катере? — деловито осведомился Степиков, собирая сучья для костра.

Но Куриленко ощерил зубы с такой свирепостью, что Степиков тотчас откатился, не удержавшись, впрочем, от многозначительного подмигивания и фразы: «Ну чем ты лучше тети Евтухи?» — фразы, уже давно приобретшей в нашем кругу условный комический смысл, так что смеяться после нее стало добрым товарищеским обычаем; к ней прибегали иногда даже для искусственного поднятия настроения, например, после целого дня утомительной ходьбы или когда кто-нибудь из нас слишком сильно начинал тосковать по родным.

Но Куриленко остался недвижимым, и я откладываю душевный разговор с ним еще на один день. Вот и сейчас он валяется на земле в позе пресыщения и злобы — как альпинист, взобравшийся наконец на вершину Гауризанкара и увидевший, что не стоило драть колени, потому что кругом открываются одни невыразительные долины да кучка грязи, оставленная туристами, — куда мы с Колесником вытряхиваем из мешка трех тощих русинских петухов.

— Эти петухи у меня уже в печенке сидят, — недовольно ворчит Степиков, опаливая их над костром, — в других ротах парни телят режут.

— Теленка отдавать под ножик — ни за что, — бормочет Колесник. — Вот птицу я люблю крошить, — прибавляет он в своей мечтательной манере и тоже простирается на земле.

Действительно, ни разу во все время похода не удалось мне подбить Колесника на то, чтобы стащить теленка. Он жалеет их, у него крестьянская нежность к скотине. Он мечтает во время нашего будущего отступления из Галиции, в котором он почему-то не сомневается, забросить веревку на корову или даже на двух и гнать их до своей деревни.

Обед готов. Степиков объявляет, что он приготовил два блюда: ризото из курицы и рагу из потрохов. Мы долго трудимся над ними. Мы наполняем желудочные

мешки со сладострастием скупцов — костями, гребнями, шпорами. С едой покончено. Она отняла, как мы и положили, полчаса. Двухчасовой привал у нас строго распределен, иначе мы не успели бы все сделать.

Сейчас наступает второй получас, посвященный ногам. Ноги заняли в нашей жизни такое же исключительное место, какое в казарме занимал кипяток. Все разуваются.

Из сапог, из шерстяных чулок, из газет, из портянок вылазят, разминаясь, пошевеливая пальцами, солдатские ноги. Мы внимательно разглядываем их, отирая и поглаживая, как малых ребят. Куриленко мрачно промывает их в луже и потом ножиком пластинка за пластинкой срезает мозоли. Другие прокалывают штыком или шилом большие жемчужного цвета пузыри, натертые на пятках, возятся с ногтями, режут комки дикого мяса, выросшие на пальцах. Мы не шевелимся. Мы не разговариваем. Мы предаемся неге разутости. Ноги мирно колышутся под небом, поворачивая к ветру свои потертости, ссадины, опухоли, фурункулы. Ноги дышат. Ветер разносит по дороге кислый, слегка гнило-стой запах — запах стоверстного похода.

Но время идет, надо обуваться. Те, у кого есть бумага, обертывают ею ступни. Сейчас, правда, тепло, но нельзя доверять февральской теплоте. Идут в ход письма с родины, обрывки газет, пораженческие прокламации, щедро разбрасываемые с неприятельских самолетов. Они особенно высоко ценятся из-за своей плотной бумаги. Мой жизненный опыт обогатился множеством ценных сведений, в том числе искусством наматывать портянки. В уставах есть куча ненужных вещей, но нет ни слова о том, как уберечь ноги. Я расстилаю портянку на землю и пеленаю ногу широкими ровными слоями, короткий конец идет под подошву, пальцы располагаются не далее чем в двух вершках от края. Я обеспечен теперь, что в походе портянка не собьется в твердый комок, причиняющий невыносимую боль.

Потом мы берем гусиный жир, сбереженный для этой цели Степиковым, и смазываем им сапоги. С ногами покончено. Наступает самая неприятная часть привала: чистка винтовки.

Она ненавистна нам со своими одиннадцатью фунтами и истерической манерой ржаветь от каждого пустяка. Мы всегда в страхе: как бы не случилось раздутия ствола, не сдвинулся прицел. Малейший холод — и она поте-

ет, как туберкулезный, или покрывается раковинами, как прокаженный. Приходится беречь это тонкое и нежное создание, чтобы оно могло убивать как следует. Проклиная винтовку, мы смазываем ее осторожными, почти ласкающими движениями, предписанными уставом.

— А придешь в окопы, — сердито замечает Куриленко, растирая магазинную коробку промасленной тряпкой, — навалит земли из-под блиндажа — затвор не повернешь.

Мы навьючиваем на себя все, что полагается иметь солдату в походе: шанцевую лопатку и кирку, котелок, флягу, вещевой мешок. Сейчас в путь, последние фразы перед командой: «В ружье!»

— Интересно, куда подевались все офицеры?

— Не знаешь, что ли? В обозе, солдатские подарки жрут.

— А говорят, наши разбили турциев.

— Ванька безголовый, говорили тебе: Турция — наш союзник.

— Гляди, ребята, австрийские самолеты!

— А что же это наших никогда не видеть? Летать бояться?

— Дубовая ты голова, их в Питере держат — на случай, если прилетят цепелины.

— На случай революции, — говорю я.

Внезапно Куриленко раздражается бранью:

— На кой черт тебе эта революция? Одна власть, другая власть! Хрен редьки не слаще. Никакой власти чтоб не было — вот это революция!

Ну, теперь мне все ясно! Анархистские лозунги! Куриленко откуда-то набрался анархизма. Я не могу этого оставить так. Анархистам не место в нашей организации. Недаром я штудировал с Кипарисовым Прудона, Бакунина, Теккера, Маккая, Кропоткина и Сореля. Я набираю полную грудь воздуха и мгновенно ощущаю свою сиротливость. Под огромным серым небом, на топкой чужой земле копошится моя двенадцатая рота, голодная, неграмотная.

Из четвертого взвода доносится крик фельдфебеля:

— Порядок не вижу!

Он цукает ратников, он заставляет их петь. Ратники, бородатые мужики, по-бабьи подоткнув шинели, запевают одичалыми голосами. Многие без сапог, ноги обмотаны тряпками:

Раздайтесь, напевы победы.
Пусть русское сердце вздрогнет!..

Вот когда мне недостает спокойствия Стамати, решительности Левина.

— А как же классы, Куриленко? — говорю я тихо. — Борьба классов, — ведь она остается? — но тотчас умолкаю, взглянув на Куриленко: он весь дрожит, каждая часть его лица спорит с другой, он разевает рот, точно ему не хватает воздуха. Ему не хватает слов.

Я не знаю еще, откуда набрался Куриленко своего анархизма — накачал его кто-нибудь или просто сказала старинная природа крепкого мужичка, та самая, которая впоследствии, всего через год, сделает Куриленко — в туманных поисках вольности — предводителем махновской шайки на Украине и даст ему в начальники штаба рефлектирующего интеллигента — штабс-капитана Нафталинцева. А может быть, анархизм Куриленко родился просто из усталости, из голодного состава крови. Но мне ясно, что все сдвинулось в этом парне. Ведь мы сами — я и Стамати — заразили его муками мыслительной работы. В его мозгу прокладываются сейчас новые ходы, новые ассоциативные связи: от ломания шапок перед помещиком — к поджогу усадеб, к переделу богатств. Это чудовищно трудная работа для девственного мозга, которая вонне выражается ужасным морщеньем лба, матюканьем и даже внезапными слезами, стекающими по худым щекам Куриленко.

Мы идем. Батальон шагает по дороге. Винтовки торчат как попало. Мы идем не в ногу. Уставы, уставы, где вы! Невозможно понять, куда мы идем. Повороты бесчисленны. Иногда поворачиваем обратно, и кажется, что мы идем назад, в Россию. В Одессу. На угол Успенской и Пушкинской. В заведение шипучих вод Монастырского. С продажей мороженого и вафель со взбитыми сливками. Отдаленный гул канонады. Мы суетимся, как муравьи. Если б взглянуть с высоты птичьего полета, оказалось бы, что мы идем самым коротким и безопасным путем. За нами сотни верст, но перед глазами все время только крохотный кусок, не более двухсот шагов. От этого все передвижения кажутся бессмысленными, рождают гнев. Мы — как муравьи, о которых Фабр говорит, что они не сознают своих чудесных талантов, подобно тому как желудок не сознает своей химии.

Ротный проезжает мимо на коне. В сумерках видна

его улыбка, ленивая, покровительственная. Наша рота идет последней, она — в тыловом охранении, но уже давно мы догнали полк, все смешалось, австрийцы свободно могли бы окружить нас и перебить. В темноте мы прижимаемся друг к другу, я ощущаю большое теплое тело Колесника. Теплота воспринимается как дружба. Неразрывная. На веки веков. Я знаю мысли Колесника. Он — мой. Мысли всех двухсот пятидесяти одинаковы. Это — страх перед окопами, куда мы сейчас придем. Стоп! Мы пришли.

Но этот страх уступил место более могущественному чувству, на этот раз принадлежавшему одному мне, едва мы залезли в окопы и нас со всех сторон обступила земля, уже подернутая весенней сыростью. Это чувство шло от запаха земли, и сила этого запаха была не только в свежести трав, уже лезших из загаженной окопной земли напролом к солнцу, не только в гниении луж, вдруг сделавшихся теплыми и вонючими, как грязевые ванны, прописанные подагрикам, — земля сильнее, чем всем этим, пахла воспоминаниями.

Она пахла для меня переездом на дачу, зацветанием сирени, блеском велосипедных спиц, прогулками на дедушкиной яхте «Идес», когда склоняешься над бортом и видишь на ужасной глубине движение огромных масс синевы, тяжелых и чистых, как счастье, а поверху, вертя голубыми мясистыми шлейфами, вдруг проплывает пухлая медуза, похожая на внезапно разбогатевшую спекулянтку. Вечерним чаепитием пахла земля — за широким столом под деревьями, и в стакан, украшенный вензелем дедушки Шабельского, вдруг тихо падает цвет акации. Нежное весеннее небо накаляется закатом, с которым начинают в разных местах спорить керосинокалильные лампы в киосках, бросая свое шипучее сияние на корзины с лимонами, на решетки, увитые плющом, на стайки смешливых девушек в белых платьях и с голыми, уже загоревшими руками, затевающих фанты с поцелуями в аллеях, обсаженных персидскою сиренью и уже совсем почти темных, отчего все кругом приобретает странную и волнующую значительность. И так силен был комплекс этих полудетских ассоциаций, которые беспрерывно источала из себя галицийская земля в виде маленьких белых паров, становившихся уже видными в рассветном мерцании, что я испытал чувство сладкой, умилительной слабости, бессильно прислонившись к брустверу и сжимая холодное ложе винтовки.

Только один уголок в голове, оставшийся трезвым в этом всеобщем опьянении мозга, продолжал сопротивляться потоку воспоминаний не потому, что вспомнить в окопах о тыле, о городской жизни опасно, ибо это понижает способность организма противостоять тифу, снарядам, смерти, — я узнал это фронтовое правило гораздо позже, — а потому, что все эти ассоциации сытости, красоты, приволья, весь этот тяжелый груз беспечной жизни потянул меня назад — к крокету, к карманным деньгам, к возможности иметь собственный мотоциклет, — от бунтарства, от братства с Колесником, от бессонных ночей над Плехановым, точно я был не более чем молодой шаловливый фокстерьер с голубым бантом на шее, выведенный на прогулку и уже среди травы и солнечного блеска вообразивший себя свободным, а хозяин вдруг потащил его к себе, натянув ослабевшую цепочку, или даже не цепочкой, а просто свистом, который содержал в себе сразу идею побоев и идею похлебки с жирными суповыми костями. Трезвый кусочек мозга, в который как будто сбежались, как остатки разбитой армии в последнюю крепость, остатки воли, мужества, честности, продолжал слабеющим голосом призывать к работе, требовал перерубить привязь, проклясть Абрамсона, отречься от наследства...

Сразу все прекратилось. Запах земли был резко перечеркнут другим запахом — пороха и горячего металла, запахом выстрела. Я услышал над ухом грохот и увидел рыжее пламя, вырвавшееся из винтовки Куриленко.

Я мгновенно дослал патрон в канал ствола и тоже выстрелил. Слева от меня выстрелил Колесник. Поднялась пальба. Особенно неистовствовал Куриленко, пустые обоймы кучами валились из-под его большого пальца. Австрийцы начали отвечать. Пули свистят над головой и утихают, втыкаясь в землю. Я совсем не чувствую страха, но, может быть, мое сердцебиение — это и есть мой страх? Я кошусь на Куриленко, стремясь разглядеть сквозь рассветную мглу — нет ли у него сердцебиения?

Кто-то хватает меня за руку и кричит над ухом: «Отставить стрельбу!» — и подбегает к Куриленко и тоже кричит: «Отставить стрельбу!» Я вглядываюсь: это ротный. По окопам передается: «Отставить!»

Ротный смотрит на Куриленко и говорит:

— Старый солдат называется! Поднял стрельбу без команды. Порядка, что ли, не знаешь?

— А меня про порядок спрашивали? — угрюмо говорит Куриленко. — Не спрашивали. Так мне плевать на порядок!

Я ужасаюсь вольности куриленковского ответа. Ротный иронически смотрит на меня.

— Слыхали? — говорит он. — Как вам нравится этот доморощенный анархист?

— Ваше высокоблагородие... — говорю я, бледнея. Ротный машет рукой.

— Бросьте, вольноопределяющийся, — говорит он, — это нелепое титулование. Какой я высокоблагородие? Я присяжный поверенный Нафталинцев, волей судеб обращенный в защитника царя и отечества. Смотрите же, господа, — прибавляет он, меня иронический тон на деловой, — без команды не стреляйте. Приказ по участку: ввести неприятеля в заблуждение.

— Ваше высокоблагородие, — говорит Куриленко, — я старый солдат, меня не обдурят: просто надо беречь патроны, потому что их мало.

Нафталинцев смеется и внезапно умолкает. Мимо нас проходит полуротный, пранорщик Извеков, здоровый молчаливый детина в романовском полушубке. Нафталинцев кивает нам головой и идет за ним.

— Прапорщик, — доносится до нас его голос, не утративший штатский изнеженности, — ссудите-ка мне вашего очаровательного кепстена.

Куриленко подмигивает мне.

— Слыхал? — говорит он. — Ротный из анархистов, он и книжки давал мне.

Таясь, Куриленко вытаскивает из-под шинели желтенькую брошюру. Я читаю: «Жан Грав. Умиращее общество».

— Куриленко, — сурово говорю я, — нам с анархистами не по пути. Толпа революции не сделает, нужна организация, дисциплина.

Тотчас я понял, что сделал ошибку, сказав это слово. И вообще мне надо собраться с мыслями, я не приготовлен к нападению с этой стороны. Извольте в окопах, под вражескими пулями, сколачивая из полуграмотных солдат социал-демократический кружок, вести идейные дискуссии с анархистами! Я с досадой подумал об учителях моих, Кипарисове и Стамати, которые не догадались подготовить меня к такому случаю. «Их бы сюда», — сердито думал я, выбирая ноги из лужи и стараясь

вспомнить два-три аргумента посolidней из Плеханова или из Кипарисова.

— Дисциплина? — неприятно улыбаясь, сказал Куриленко. — Ты с ним поговори. Я необразованный.

Ротный вправду стал часто приходиться к нам. Пользуясь затишьем на участке, всякий день он усаживался против меня на корточках и, приладив длинное туловище к стене окопа, заводил разговор. Он ценил во мне образованного слушателя.

— Молодой человек, — говорил он, — вы не причастны к литературе? Жаль! Вернувшись в тыл, вы могли бы издать наши разговоры под названием: «Беседы на корточках».

Он стряхивал пепел с австрийской сигареты, добытой в атаке.

— Мне скучно в окопах, — говорил он, — жалею, что не пошел в контрразведку. Глупая брезгливость. Я бы там хорошо работал, у меня, как говорят наши доблестные союзники, «esprit de l'intrigue».

Он с завистью рассказывал, что у австрийцев в блиндажах висячие лампы, столы, стулья. Ему нравилось превращать Куриленко в анархиста.

— Нам нужно сбросить династию Романовых, — заявлял он, — простите: лже-Романовых, династию Голштин-Готторпов, и заключить сепаратный мир. Но как?

— Солдаты должны побросать винтовки, — угрюмо говорил я.

— Оставьте, — отмахивался Нафталинцев изящным мановением своих нервных, перевитых жилами рук, — фантазии правдивостов. Я знаю их отлично — Ленин, он же Ильин, он же Николай Ильич Ульянов. Остро пишет. Но неверно. Россия должна быть свободным собранием анархических коммун. Нам нужен раздел имущества. Всеобщая дележка.

Слова эти возбуждали Куриленко. Я еле удерживал его от того, чтобы он не рассказал ротному про наш кружок.

— Как же побросать винтовки? — заявил мне вечером Колесник, когда мы пришли в убежище. — Стамати говорил: не бросать, а переколоть помещиков.

— Здесь я вам голова, — резко сказал я, — а не Стамати. Не устраивай, пожалуйста, базар!

Чтобы показать Колеснику, что я им недоволен, я прекратил разговор и полез на верхние нары, хотя там было беспокойней: от снарядов осыпались земляные своды.

Нафталинцев находил меня и здесь.

— А после революции... — начинал он.

И я дремотно слушал его, поглядывая на дверь, которую приладили к убежищу солдаты, утащив ее из какого-то дома. Эта принадлежность мирной жизни меня ужасала. Подумать только — дверь! С ручкой, со следом от звонка, с зарубками, по которым, должно быть, измеряли рост детей!

— ...а после революции, — продолжал Нафталинцев, — опять власть? Так это же...

В речь его врывались солдатские реплики: «С бомбомета!» — после оглушительного взрыва возле самого убежища; «По второму взводу!» — в ответ на огневой вал, прокатившийся по бетону, застилавшему наше подземелье. Я знал, что сейчас засну, не обращая внимания на разрывы, на зуд от насекомых, на нестерпимую духоту. Я забыл то время, когда меня будил солнечный луч, случайно проникший сквозь неплотно запахнутые портьеры, или легкие шаги бабушки, подходившей к моим дверям с чашкой какао на тот случай, если я уже проснулся и мне лень кликнуть горничную. Только снаряды будили меня теперь по утрам, и то не менее чем пятнадцатисантиметровые.

Нафталинцев сентиментальным голосом восклицал, хватая меня за ногу:

— Так это же порочный круг, *circulus vitiosus!* *Circulus vitiosus,* — повторял он, вознося ладонь. Он преподносил эти слова как в чаше.

— Цирк? — подхватил Степиков, глядя на штабс-капитана притворно-влюбленными глазами. — Ваше высокоблагородие, вы, часом, не были клоуном?

Ротный нехотя засмеялся. На следующий день Степиков был вне очереди назначен в секрет распоряжением прапорщика Извекова. Ротный не вмешивался в дисциплинарные взыскания. Он вел себя добрым баринком. Все наряды исходили от прапорщика Извекова.

— Ну так отмените их! — говорил я, возмущаясь.

— Что вы! — пугался Нафталинцев. — И так у меня в полку репутация революционера.

И так как Степиков не унимался («Галла-представление!», «Дети до восьми лет бесплатно!»), он влипал в секрет чуть ли не ежедневно.

— Я уже свел знакомство с австрияками, — сообщил он мне. — Чудилы страшные! Просят сахар.

Я задумался...

— Пехоту обходят наградами, — пожаловался через несколько дней Нафталинец, — вместо «Георгия» мне дали мечей к «Станиславу», а я их уже имею.

Начинались сплетни про штаб, про командира полка (как все окопные, Нафталинец ненавидел штабных).

— Наш командир полка, — сказал он, — сумасшедший: он назначил на сегодня атаку, а проволока не сбита.

Казалось, атака не столько страшит его возможностью смерти, сколько хлопотливостью своей — бежать, стрелять, кричать «ура». Наша компания встревожилась. Такая близкая атака разрушала один наш план, дерзкий по замыслу, но счастливо начатый и уже близкий к свершению. Однако вечером Нафталинец пришел и заявил, что никакой атаки не будет, потому что подполковника официально признали ненормальным и увезли в госпиталь, предварительно усыпив хлороформом.

— Так делаются репутации, — сказал Нафталинец. — Подполковника считали отчаянным храбрецом, а у него оказалась мания убийства. Вот уж поистине «безумно храбрый»!

Он вынул из кармана бутылочку с красноватой жидкостью и отхлебнул.

— Рекомендую, — сказал он, — средство от страха, двухсотпроцентный раствор йода.

— Вы все гаерничаете! — сказал я с досадой.

— Ничуть, — сказал он, — известно, что малые дозы йода благоприятно действуют на чувство страха у неврастеников. Это понятно. Страх — стеснение дыхательных путей. Йод их расширяет. Физиология, милый!

Нафталинец кокетничал. Он поворачивался к собеседнику своими странностями, как женщина — красивой стороной профиля. Для всего он находил необыкновенные объяснения. Поражения австрийцев, например, он объяснял тем, что австрийская кавалерия не вооружена пиками, а пехота составлена из болгар, турок, кроатов, чехов и албанцев, причем офицеры — правда, только до чина майора, — в большинстве мадьяры.

— Я с вами откровенен, — галантно восклицал он, — вы знаете, как вы мне симпатичны!

Голубые глаза его наполнялись слезами. Он был сентиментален. Он легко плакал, цитируя при этом Брюсова или Малларме.

— Москва, российские Афины! — воскликнул он. — Вы не можете представить себе, как там необычаен расцвет искусств. Салоны Рябушинского, Мамонтова, Полякова, Гучкова!

Из всех этих имен мне было знакомо одно.

— По-моему, Гучков известный черносотенец, — говорил я.

— Что вы! — сердился Нафталинец. — Вы не знаете, до чего это прекрасная душа! Слушайте, я посвятил это ему.

И он читал, задирая свою грязную бороду:

Я крошка. Я маленький эльф.
Я в воздухе тихо порхаю.
На арфе я тихо играю.
И вот я уже улетаю.

— Я знаю, — говорил он, — вам чужды символисты, вы любите этих варваров: Бурлюка, Маяковского. Не досрости, милый!

Я делал вид, что соглашаюсь с Нафталинцевым, что поддаюсь его анархической агитации. С притворным восхищением я выслушивал его чудовищные бредни о пафотическом освобождении личности, об Иоанновом здании духа, об астральных существованиях.

— Все, что я вижу, — восклицал он, — и Куриленко, и вы, и даже этот идиот подполковник — это мой мир. Это все вращается вокруг меня. Я — солнце моего мира.

И он шел далее по лужам окопов своей фатовской подпрыгивающей походкой, точно под ним были блистающие паркетные доски окружного суда.

Тем временем я налазил связь с соседними частями. Не ограничиваясь пехотой, укомплектованной в большинстве из крестьян, я послал Колесника и Степикова в службу связи, в технические войска, ко всем этим парням с прожекторами, с телефонами, с динамитными шашками, рассчитывая в их среде встретить индустриальный пролетариат. И хотя атака все-таки была, она не помешала нам завербовать людей в других частях. Мы могли приступить ко второй части своего плана.

Степиков сообщил, что все налажено: сегодня ночью несколько австрийцев («страшные чудилы, все свои парни...») выйдут к озеру, чтобы поговорить с нами. Озеро это лежало между траншеями, в нейтральной полосе. Мы устроились так, чтобы попасть в секрет всей нашей компанией. Один Леу оставался в окопах.

Мы вышли с темнотой. Все захватили с собой сахар. Ночью должен был подползти из команды связи Пашка Новгородов, телефонист. В секрете кинули жребий, кому дежурить. Выпало мне.

Я оставался на ногах, чтобы не уснуть. Остальные забрались в землянку, устроенную тайком от начальства, — подрыта вбок земля, сверху положены бревна, все замаскировано дерном. Ребята укладываются на соломе.

— Ах, не пихайтесь, пожалуйста, — жеманно говорит Степиков, притворяясь стыдливой девушкой.

Это настраивает всех на мысли о женщинах.

— Хорошая у меня жена, — говорит Колесник мечтательно, — ругается часто, а любит.

Колесник вспоминает о семейных ссорах с нежностью, как ветеран вспоминает о стычках на поле боя, хотя они далеко не всегда кончались его победой. Я переключаю разговор на австрийцев. Я подробно объясняю, какое значение имеет для нас свидание с австрийцами, я перекладываю на язык ребят идею международной солидарности трудящихся, я говорю:

— Мы должны устроить так, чтоб хоть на одном маленьком участке солдаты с двух сторон положили винтовки и сказали: «Баста, больше не воюем!»

— А может, лучше поднять бунт? — упрямо говорит Колесник.

— Перебить офицеров, ясное дело, — добавляет Степиков, — не понимаю, чего с ними цацкаться.

— Ребята во всех ротах требуют бунта, — угрюмо замечает Куриленко и смотрит на меня едва ли не с ненавистью.

— Может быть, Куриленко, ты вообще возьмешь на себя руководство организацией? — говорю я сдержанно. — Заменишь Левина? Может быть, мне ушиться, ребята? Так вот имейте в виду: эти Стаматины фантазии насчет бунта надо забыть. Иначе все развалится.

Молчат. Но я знаю — я их не убедил. Я уверен, что я прав. Пусть Стамати тысячу раз называет меня пацифистом, но бунт — это утопия, это «Мир приключений», не только потому, что нас всех перебьют, а потому, что я верю в силу непротивления. Я волнуюсь.

— Ну ладно, — успокаивает меня Степиков, — ты бедняга, мы будем прохлаждаться, а ты чертоломь тут за нас всю ночь.

Он падает и мгновенно засыпает. Все засыпают.

Я один. Кругом ночь. Тихо, как в деревне. Кажется, что должны залаять собаки. Я стою, опираясь на винтовку, в классической позе часового. Это усыпляет. Пробую считать. Пробую для развлечения, произнося отвлеченные понятия, воображать их конкретно. «Бытие», например. Предстает наша старая квартира на Садовой улице с запахом натертых полов, с тишиной, сопровождавшей все мое детство, с огромным буфетом, в котором, знаешь, где-нибудь непременно лежит почти полная коробка шоколадных конфет с ликером. Или — «сила». Возникает мягкий голос Кипарисова, произносящий с присущей ему небрежной отчетливостью: «Нехорошо, мой мальчик».

Однако скучно. Хоть бы Новгородов поскорей пришел! Я тихо свищу на мотив «Мы встретились с тобой», как было установлено между нами, чтоб обозначить для Новгородова место секрета. В образе пластуна представляю я его себе — в образе пластуна, который ползет из темноты на животе, сжимая в зубах кинжал. Какая ерунда! Пашка Новгородов, московский наборщик, рыж, смешлив и придирчив сверх меры. Так и был он с первого взгляда отнесен к группе суетливых болтунов со своим курносом носом и манерой хохотать над каждым словом Степикова. «Обыкновеннейший парень», — сказали бы вы, озирая незамысловатый набор его лица, щедро залитого веснушками. Но это не так! Я ведь знаю, что обыкновенных людей нет. Все необыкновенны. Сумей только найти эту необыкновенность, и тогда ты будешь видеть человека насквозь, будешь знать, как он ответит на поцелуй, где зарыдает, с кем пойдет на смерть, а с кем в пивную и в какой час с ним произойдет катастрофа от неразделенной любви.

После этих мыслей о Новгородове, доставивших мне удовольствие, потому что в них я выступал (правда, к сожалению, только перед самим собой) как тонкий психолог, я вынужден был отметить в Пашке линию упорства, обрисовавшую его безволосый подбородок, и позавидовать ей, так же как недостижимой для меня рассеянности взгляда, свойственной мечтателям и упрямам, и особенно — манере отвечать, не дождавшись конца моего вопроса, — манере, изобличавшей в Новгородове раздражительную быстроту мысли. Идея встречи с австрийцами, по правде сказать, принадлежала ему. Идея перестроить работу кружка тоже принадлежала ему. «Так нельзя работать, Сергей, — сказал он вчера, —

нужны тройки или семерки, словом, нужна организация. Придумай. Иначе мы провалимся».

И вот я стою под небом Галиции и придумываю. Ночь густеет. Храпит Колесник. Вылезают прожекторы на небо. Потому что я обещал, сказавши: «Открыл Америку! Не беспокойся, это у меня не первый кружок». И ничего не могу придумать.

Тут я вспоминаю о старом своем прибежище: Левин. И вот я пишу мысленное письмо Левину.

«Дорогой товарищ Левин, — пишу я, глядя на разливованное прожекторами небо, — дорогой товарищ Левин! Организационная слабость. Пожалуй, вы не знаете, что я на фронте, что я пропагандист в окопах...»

Левин отвечает немедленно, прямо обрывает меня на полуслове, вмешивается, дрожа от нетерпения. И вот я воображаю левинский ответ. Но нет, я не могу вообразить его! Конечно, Левин хвалит меня, мужество, ловкость, говорит, что я превзошел многих, — словом, Левин отвечает восторженно, но туманно...

И неожиданно я говорю себе: «А не довольно ли дурака валять, Сережа! Не пора ли отставить все эти мысленные разговоры с Левиным, всю эту опасную игру воображения?»

Ах, вот оно что! Формулировка, как всегда, пришла после процесса сознания — я достаточно хорошо знаю законы своего мышления. И если я говорю «не пора ли отставить» — значит на самом деле уже отставлено, значит, навсегда порвано с мысленным Левиным, подобно тому как охлаждаешь к приехавшему из родного городка другу детства, внезапно увидев его глупость и вопиющий провинциализм манер. Нечто вроде сожаления шевельнулось во мне к утраченным Сережиним свойствам, к застенчивости, к неуклюжести, к способности обожать старших. О детстве пожалел я. Я понял, что исчезнувшие чувства не возвращаются, как не отрастают поредевшие брови.

Я даже заглядываю в землянку, чтобы убедиться, так ли уж юны мои товарищи, а вдруг я увижу трех стариков, узловатость пальцев, засыпанные пеплом и в складках жилеты, ожирелую басистость голосов. Но там темно, я вижу только носки Куриленко, повешенные им для просушки у входа. Носки качаются под ветром с Карпат, как знак его невозмутимой храбрости. Я попробовал вообразить — кому же я смогу рассказать про эти носки, когда я вернусь домой, в тыл? Кому я смогу

рассказать о фронте таком, каким я его вижу, — без геройства, без ненависти к врагу?

Никто мне не поверит, потому что там, в тылу, люди судят о войне по книгам.

(Ракеты в это время взлетают из австрийских окопов, ослепительные хлопья света, я быстро отмыкаю штык, чтоб он не выдал меня блеском.) Вообще по книгам выходит так, что если человек, скажем, влюблен, так больше уж ничего не делает, как только целуется, сходит с ума, мечтает; или если война, так только режутся, совершают подвиги или, напротив, трусят.

Но вот я на войне. Я вижу, что здесь люди не оставили своих обычных дел, привычек всей своей жизни, что они принесли сюда любовь поспать после обеда, страх перед мышами и что война сама прибавилась к их привычкам и, только прибавившись, начала исподволь менять мысли, окрашивать их в цвет трусости, или храбрости, или ненависти к царю. И даже трусость и храбрость тоже не сосредоточиваются каждая в одном человеке, они бродят по людям, как пятна, проступая то там, то здесь, отнюдь не враждуя, а мирно уживаясь в одном человеке, и вообще трусость и храбрость — это не противоположные понятия, не такие, как черное и белое, а такие, как черное и твердое, то есть совсем разные.

(Я снова свищу, и вдруг этот свист напоминает мне свисток ротного вчера перед атакой. Артиллерия смолкла, затрещали австрийские пулеметы, ротный засвистел, мы лежим на дне окопов и, как бесноватые, кричим «ура». Наступил тот знаменитый момент, когда должен подняться храбрец и увлечь за собой всю роту. Но он не поднимается. Только свист, и крик «ура», и треск пулеметов, ужасный, сводящий с ума. Наконец встали самые слабые, самые неврастеничные, у которых не выдержали нервы. «Ура!» — закричали они и побежали на австрийцев. За ними побежала вся рота, пули навстречу, сплошная стена пуль. Есть ли в ней прорехи? Мы размахиваем лопатами и тычем штыки, я согнулся, во мне слишком много измерений, — если б потерять ширину, например! Пули — как паутина, даже путь пуль кажется длинной стальной полосой, многие вязнут в пулях, остаются на земле, на меня бежит австриец, вытянув штык, — смерть, Сережка! — я бью его по лицу лопатой. Он падает медленно, на лице проступают кровь и мозг.)

Или влюбленность. Когда я был влюблен в Катю, я припоминаю, мне это нисколько не мешало наедаться

редиской с маслом, пользоваться средством для уничтожения перхоти. Из этого я вывожу, что книги пишутся неправильно, вернее: они пишутся так, что из них невозможно получить правильного представления о жизни. Но в таком случае они мне не нужны, и я решаю — вот, стоя на галицийской земле и ударяя для верности по ней ногой, я решаю (а из-под ноги в это время выкатывается что-то круглое, я нагибаюсь: это — еж, мертвый, задушенный газом «хлорпикрин ОВ», который убивает птиц, зайцев, траву, деревья, полевых мышей и чуть не убил меня на днях, потому что мне нечем было, когда он нахлынул, смочить марлевую маску, но Куриленко сообразил и быстро начал мочиться. Я подставил маску, потом — на лицо, и был спасен), я решаю не читать книг вовсе, во всяком случае до того момента, пока не появится книга, справедливо и резонно описывающая решительно все, что происходит с человеком. Там, посреди описания ощущений влюбленного человека от созерцания любимой, я найду описание ощущений того же влюбленного от того, скажем, что во время любовного свидания он почувствовал непобедимое желание съесть горячий пирожок с мясным фаршем в ближайшей кондитерской, заторможенное боязнью показаться смешным в глазах любимой, — и это будет со стороны книги честно.

Я пытаюсь решить вопрос: можно ли эти мои мысли причислить к разряду возвышенных, щеголять ими, делать карьеру или, напротив, скрывать, как позор, как болезнь? «Думай о встрече с австрийцами, — говорю я себе, — ты даже не знаешь еще, о чем с ними говорить».

Красная ракета, взвываясь над австрийскими окопами, отвлекает мое внимание. Ракеты меняют цвета: зеленый, цвет раздавленного желтка, красный. Новгородов пришел во время красной ракеты, похожий на оперного черта.

— Пашка, — шепчу я, — наконец-то! Иди-ка сюда, я объясню тебе, о чем надо говорить с австрийцами.

— Очень мне надо! — говорит Новгородов, независимо пожимая плечами. — Я без тебя отлично знаю, что надо делать. Иду будить ребят. Идти пора.

Итак, мне не удастся покровительство над Пашкой, хоть он и мой сверстник, желторотый, а я так тоскую по приятности этого чувства.

Степиков выходит из землянки. Он мрачен, оттого что недоспал.

— Сматывайся, Сергей, — говорит он, — топаем до озера.

Мы идем гуськом все пятеро. Степиков ведет, вынюхивая дорогу, как собака, как она, зевая и почесываясь.

Мы натываемся на австрийцев внезапно. Они стоят трое рядышком, настоящие австрийцы, в коротеньких куртках, в бескозырках с задранными полями, смотрят исподлобья, держа руки в карманах, где, безусловно, лежат гранаты.

Однако надо прервать молчание.

— Guten Tag, meine Herren, — говорю я и краснею за эту фразу из хрестоматии Глезера и Петцольда.

Самый высокий из австрийцев выступает и вдруг говорит:

— Здравствуйте, товарищи! Я говорю по-русски. Я болгарский студент Тодоров. Я учился в Петербургском университете. Это — Тидеман. Это — Байер.

Степиков шепчет:

— Они. Те самые парни.

Т о д о р о в. Извините. Я устал. (*Опускается на землю.*)

К у р и л е н к о. И я устал.

Н о в г о р о д о в. И я устал.

Мы все сидим или лежим на земле. Небо в ракетах и прожекторах. Мы все привязались к этому слову, мы повторяем его бесконечно:

— Устал... Устал...

И снова, как это было уже несколько раз, меня охватывает чувство слитности в мыслях с окружающими. Усталость тянется на тысячи километров, я вижу их все — огромные поля апатии, изрытые окопами, где сидят, сжимая винтовки, миллионы людей, измученных голодом, грохотом, непониманием, за что они умирают и убивают. Но вместе с усталостью или рождаясь из нее, росло во мне чувство протеста, желание опровергнуть усталость, обратить ее в силу, — нам нужна сила для общего дела, замечательность которого я чувствую, но не могу выразить. Тут Новгородов, который умозаклял так же, как я, но, очевидно, быстрее на какую-то долю секунды, вскочил и крикнул:

— Тодоров, для чего мы воюем?

Тодоров повернулся к товарищам, они стали переговариваться по-немецки, потом:

Т о д о р о в. У нас разногласие. Я и Байер считаем,

что войну затеяли капиталисты для своих интересов. Тидеман считает, что могут быть другие причины войны, но он их не знает.

Степиков. Твой Тидеман страшно умный.

Я. У нас есть план — объявить, что мы не хотим больше воевать. Бросить винтовки. Одновременно — и вы и мы. Начнем с наших рот.

Новгородов. У нас есть еще план — не бросать винтовок, а уйти с ними в тыл, в города. Ну, словом, поднять бунт.

Я. Товарищ Новгородов, ваши личные мнения держите при себе. Я серьезно говорю, Пашка! Не суйся, пожалуйста, со своими бандитскими лозунгами. Я говорю от имени организации. Ты хочешь сорвать все?

Новгородов. В чем дело? Кто тебя вообще уполномочил? Я не верю, чтоб организация была против вооруженного выступления. Бунт!

Куриленко. Бунт!

Колесник. Бунт!

Степиков. Сережа, не надо мордоваться. Они говорят дело.

Со стороны австрийцев начинают стрелять орудия. Мы их в горячности не слышим. Светает. Тодоров оживленно переговаривается с товарищами.

Тодоров. У нас разногласие. Одна часть — я и Тидеман — считает, что нужно устроить мирную демонстрацию. Другая часть — Байер — считает, что нужно немножко перебить офицеров.

Новгородов (*возбужденно*). Он считает — за ним пойдет рота? Спросите!

Тодоров (*внезапно*). Я голоден. (*После паузы.*) Они тоже голодны.

Колесник вскакивает, он кладет австрийцам на колени хлеб и сахар. Они набрасываются на еду. Мы засыпаем их вопросами. Тодоров едва успевает переводить.

— Дайте им поесть, — убеждает нас Степиков, — разговаривайте по-интеллигентному.

Австрийцы едят жадно, как звери, они давятся, они рыгают икотой голодающих.

— А что у вас сеют? — спрашиваем мы. — Правда ли, что умер Франц-Иосиф? У кого из вас невеста? Что вам дадут по воскресеньям?

Мы пьянеем от сознания своей близости, от любви друг к другу. Маленький Тидеман уцепился за меня, размахивая рукой, в которой зажат кусок хлеба, и ора-

торствует длинно и восторженно. Колесник, Куриленко и Новгородов втроем насели на очкастого Байера. Жестами, криками они пытаются объяснить ему идею превращения империалистической войны в гражданскую. Байер радостно кивает головой: о, он отлично все понимает — офицеры сволочи, шайка эксплуататоров — и старается выразить это ответными криками и жестами. Степиков заботливо кормит Тодорова и требует, чтобы тот переводил каждое его слово. Тодоров задумчиво сосет сахар: ну, как, например, перевести «матюкайло», или «не подначивай меня», или «жрем житняк на полном ходу».

Снаряд в это время разрывается рядом неожиданно, как будто он подстерегал нас в засаде. Мы кидаемся на землю. Мы поднимаемся через минуту, медленно, один за другим, все, кроме Тидемана. Тидеман лежит. В руке — краюха хлеба. Тидеман не шевелится, на земле рассыпан сахар. Сахар становится красным.

— Самая гнусная рана, — бормочет Степиков, — в живот.

Тидеман мертв. Новый разрыв. Мы снова все на землю. Поджать ноги или нет? Тело станет меньше, но выше. Что лучше? Еще разрыв. Еще. Снаряды ложатся всюду. Да, это подготовка к атаке. Зачем я ушел из окопов? Там не так страшно! Зачем я не остался в казарме? Зачем я не оттягивался? Зачем я связался со Стамати? Я впиваюсь в землю глубже, всем телом. Чья-то рука хватает меня за шиворот и поднимает. Я бешено борюсь.

— Вставай! — говорит голос Колесника. — В лес мы бежим. Ну вот, ей-богу, брошу, останешься один.

Я стараюсь ударить его ногой.

— Дурило, тебя здесь убьют.

— Да, в лес! — говорю я.

Мы бежим. Все бегут. Впереди — длинноногий Тодоров. Разрывы все чаще. Степиков бежит зигзагами. Есть мнение, что так легче спастись, но это — от пули. Снаряд мне кажется ястребом, плывущем в небе: заметит жирное тело человека — и тотчас обрушится на него. Колесник бежит рядом, поддерживая меня за руку.

— Не кричи, — говорит он. (Разве я кричу? Да, кричу, но не могу прекратить крика.) — Сейчас лес, там безопасно, все одно как в блиндаже. Ну чем ты лучше тети Евтухи? — добавляет он, чтобы ободрить меня.

Но фраза не действует. «Колесник любит меня», — догадываюсь я, но мне наплевать. Для любви нет во мне

сейчас места: все занято страхом. Мы в лесу. Наконец-то!

Мы рассыпаемся меж деревьев. Деревья валятся. За соседними деревьями Степиков и Куриленко. Степиков зовет меня к себе жестом хлебосольного хозяина. Но я боюсь двинуться. А вдруг мое место — счастливое? На секунду я стыжусь своего страха. «Лионский кредит», Сережа, «Лионский кредит»! Вот я уже боюсь шевельнуть даже пальцем, бровью, глазом, мыслью, — быть может, это шевеление вызовет ток воздуха и притянет гранату. Я каменею, глаза неподвижны, я злюсь на свои мысли, которые не могут окаменеть, а ерзают по черепу. Некоторые гранаты не разрываются. Одна, маленькая трехдюймовая, долго валяется подле нас. Разорвется или нет?

— Боишься ее, Куриленко? — слышу я насмешливый голос Степикова. — Смотри, какая у тебя бледная ряшка!

— Кто боится? Я боюсь? Пospорим, что я ее три раза подброшу и поймаю? — говорит Куриленко.

— Pospорим! — азартно подхватывает Степиков. — Похороны по первому разряду за мой счет.

Куриленко берет снаряд и подбрасывает его в воздух.

Снаряд падает ему в ладони с мягким шлепком. Я ужасаюсь. Он может всех нас убить, это даже не храбрость, это болезнь, это бред храбрости!

— Ну, теперь ты, — говорит Куриленко и сует гранату Степикову.

— Иди ты к свиньям! — говорит тот и отворачивается.

— У, босявка! — угрожающе говорит Куриленко и вдруг умолкает.

— Двадцать один сантиметр сюда летит, — говорит он, сразу сделавшись серьезным.

Двадцать один сантиметр — это смерть. Я знаю этот семипудовый снаряд: он ударяется с такой силой, как если бы поднять на воздух всю нашу дивизию и разом грохнуть ею об землю, он превращает бетон в пыль, он разлетается четырьмя тысячами осколков. Двадцать один сантиметр гудит, как автомобиль, предупреждающий о катастрофе: «Я лечу, я не могу свернуть, уходите, уходите!» Но нам некуда уйти. Он падает, не долетев до леса. Несколько минут темно, как ночью, от земли, взлетающей и оседающей. Потом — свет, тишина. Об-

стрел кончился. Слышны пулеметы и ружья: значит, там пошли в атаку.

Убедившись, что я жив, я вылез из-за дерева и крикнул. Послышались голоса. Вышли Степиков и Куриленко. Они не тронуты. Вышел, стоная, Новгородов. У него окровавлена рука, левая.

— В мягкое попало, не реви, — говорит Куриленко и бинтует его индивидуальным пакетом.

Вышел Байер. Но где Тодоров и Колесник?

Скоро мы находим Колесника. Его зашвырнуло на верхушку дерева.

— Ну, довольно там прохладиться, — кричит Степиков, — слазь, толстозадый.

Но Колесник не слазит. Куриленко ругается и лезет на дерево. Он тянет Колесника за ногу. Внезапно Колесник рушится и застревает на нижних ветках. Мы осторожно снимаем его.

— От разрыва сердца, — говорит Степиков.

— Что за дурацкие шутки!

— Ну, помогай же нам! — свирепо шепчет мне Степиков.

Они роют могилу. И хотя мы опускаем уже туда Колесника и я сам держу его большую голову, я не верю, что Колесник мертв или что мертвый — это Колесник с его разбойничьей бородой, с его добротой, степенностью, с его фразой «переколоть помещиков», с его сильными, короткими руками. И только когда мы засыпали Колесника и получилась могила, ко мне пришло ощущение его смерти и вслед за ним — весь вихрь чувств, сопровождающий утрату близкого: опустошенность, поиски виновников, жажда мести. Я хватаюсь за Нафталинцева, за Третьякова, за царя, но нет, все не то, не главное. И мысли более широкие, более философские приходят мне в голову, покуда мы сколачиваем из веток крест.

— Паршивый пацифист, — шепчу я себе сквозь слезы, — смотри, что ты наделал: Колесник мертв, который тебя так любил. Ничтожество, ты возилсь с непотреблением, а они убивают нас, как баранов. Большой теплый Колесник, бедняк Колесник, друг мой, которого я не замечал. Да, переколоть помещиков!..

Усталость, отупение, безразличие овладевают мной. Меня не удивляет появление Тодорова, который уже успел разведать местность. Он объявляет, что наши окопы пусты: австрийцы вернулись в свои, а русские отступили куда-то в деревню.

Тодоров и Байер жмут нам руки. Мы обнимаемся. Они уходят. Мы глядим им вслед, они идут быстро, иногда они оборачиваются и машут руками.

Потом мы идем искать свою часть. Окопы пусты и разрушены. Нетрудно найти дорогу к нашим, она обозначена брошенными ружьями, паникой отступления, трупами. Мы добираемся к вечеру. Мы залазим в первую попавшуюся избу.

Вбегает Леу.

— А я думал, вас всех побил, — обрадованно говорит он. — И тут же мне: — Солдаты волнуются, целая буча, все из-за сахара — вместо сахара дают деньги. А чего с ними сделаешь?

Я не могу выбраться из состояния отупения, я ничего не могу сказать. Леу удивлен.

— Ты слышишь, Сергей? — говорит он.

— Колесник убит, — бормочу я.

— А! — говорит Леу и умолкает.

Потом робко:

— Но все-таки, ты понимаешь, прямо бунт.

— Бунт?

Я вспоминаю, что в этом случае надо что-то сделать, но я не могу связать слов с действиями, ассоциативные пути заросли, они стали непроходимыми! Я чувствую одно: тоску, неуходящую тоску по Колеснику. Леу, огорченный, выходит.

По всей деревне стоит бабий крик. Солдаты дорвались до женщин. Хозяйка избы смотрит на меня с опаской. Она беременна, огромный живот натянул платье с такой силой, что на нем обозначились завитки пупка.

Степиков подходит ко мне. Он помылся.

— Сережа, — говорит он. — Пойдем жмать баб?

Я не отвечаю. Степиков подмигивает Куриленко, и оба уходят. Новгородов берет мою руку.

— Прощай, — говорит он, — я получил две недели в лазарет.

Я киваю головой. Прибегает денщик Нафталинцева.

— Ротный тебя зовет, — говорит он.

«А я его не замечал, — думаю я о Колеснике и иду к ротному. — Единственный друг. Он любил меня, его убили».

Вторичная волна злости приходит ко мне ощущением удушья, дрожи пальцев, жажды действия. Я быстро вхожу к ротному. Полно офицеров из батальона. Здесь тоже говорят о женщинах.

Нафталинец не замечает меня. Он развалился на лавке.

— Ах, дорогие мои, дорогие мои, — говорит он, хлопая себя по колену, — что вы знаете о любви!

Он снимает с головы стальной шлем.

— Вы видите, господа, — сказал он, проводя рукой по его выпуклостям, — совершенное подобие женской груди. Незаменимо в окопах.

Кругом дурно захихикали.

Тут Нафталинец увидел меня.

— Идемте, дитя мое, — сказал он, взяв меня под руку и выводя на улицу. — Если бы вы знали, как мне надоели эти разговоры о трипперах, о презервативах! Где собираются несколько русских интеллигентов, там обязательно начинаются похабные анекдоты.

— Но вы же сами... — сказал я со злостью.

— Мне надо вам кое-что сообщить, — сказал он конфиденциальным тоном.

Тут из-за угла внезапно появился прапорщик Извеков.

— Господин капитан, — говорит он, — главный зачинщик Леу арестован. Что прикажете с ним сделать?

— Ах, боже мой, что хотите! — раздраженно говорит Нафталинец. — Ну, расстреляйте! И не мешайте нам, прапорщик.

— Слушаю, — говорит Извеков и идет обратно за угол халупы.

Я вырываю руку из руки Нафталинцева. Я бегу за Извековым. Выстрел. Я оббегаю халупу. Леу лежит на земле с окровавленным затылком. Прапорщик Извеков прячет наган в кобуру.

— Солдаты, — кричу я и бегу по улице, — солдаты, сюда! Я...

Нафталинец зажимает мне рот.

— Сумасшедший! — говорит он и втаскивает меня в избу. — У меня слабость к вам. Скажите — кто вам покровительствует в штабе корпуса?

— В чем дело? — пробормотал я, вырываясь.

Нафталинец вытащил из кармана бумагу и прочитал:

— Рядовой двенадцатой роты Иванов Сергей откомандировывается в канцелярию штаба корпуса с зачислением на все виды довольствия с 14 февраля сего 1917 года...»

Я узнал длинную руку графа Шабельского.

Меня поселили в офицерском общежитии, при штабе. Моим соседом по комнате оказался человек по фамилии Духовный, военный корреспондент газеты «Биржевые ведомости». Он сидел за столом и обедал, когда я внес в комнату свое имущество, состоявшее из шинели и винтовки.

Все время, пока Духовный сидел, у него оставались на лице смущение и неловкость. Устраивая винтовку в углу за койкой, я старался угадать: что же обнаружится, когда он встанет — косолапость, неглаженные брюки? Он встал наконец, и тут открылось, что, вставши, он не сделался выше, чем был сидя. Это карл с короткими ногами и длинным туловищем. Вечное перо торчало в кармане его полувоенного кителя. С места в карьер он посвятил меня в свои сердечные дела.

— У Марии Сигизмундовны длинные прекрасные пальцы, — произнес он, внимательно оглядывая меня, — этими пальцами, сверкающими, как драгоценность, она марается в чернилах или свертывает собачью ножку. Это странно. Странно и умирительно. Знакомо вам это чувство?

— Знакомо, — сказал я.

— Сама она тонкая, стройная, — продолжал карл, — вдруг такая жалость охватывает, и хочется плакать. Знакомо вам это чувство?

— Знакомо, — сказал я.

Духовный в волнении прошелся по комнате. То, что все мне было знакомо, приводило его в прекрасное настроение.

— Мы с вами сойдемся, — пообещал он, благосклонно покосившись на меня, и тут же прибавил: — Хотя должен вам сказать, что меня предупреждали о вас. У вас возмутительные настроения. Вы заражены. Ваш ротный командир сообщил, что вы анархист. Такой молоденький!

— Я анархист, — скромно признался я, стараясь напустить на себя покаянный вид.

Духовный вдруг остановился и пронзительно свистнул. В комнату, медленно ступая, вошел огромный голубой дог и поднял на хозяина большие, словно утонувшие в молоке глаза. Духовный стал производить пальцами еле заметные движения. Повинуясь им, собака проделывала всякие штуки — падала мертвой, брала на караул.

— Прекрасная собака, — с видом знатока сказал я. — И прекрасно воспитана.

— Мария Сигизмундовна, — сказал карл, — просто обожает моего Бонифация. Два раза в неделю она моет его зеленым мылом.

Казалось, Духовный напал на свою излюбленную тему. Он сообщил мне, что Мария Сигизмундовна каждый день приносит Бонифацию кости, «знаете, прекрасные мозговые кости». Понимаю ли я, что это значит? Это не каждый может понять. Это может понять только собачник. Мне уже начали надоедать эти разговоры о женщине и о собаке. Мне надо остаться наедине с собой. Мне надо отдохнуть прежде всего — я не спал две ночи, — разобраться в мыслях, осмотреть обстановку: нельзя ли здесь начать пропаганду, нельзя ли достать табаку взамен изрядно надоевшей мне махры. А подозрительный болтун продолжал, не унимаясь:

— Вам повезло: сегодня день вычесывания блох. Вы увидите ее. Она поведет его сегодня гулять. Только ей я доверяю это. Сам не могу — страшно занят, пишу все время, редакция теперь от меня требует каждый день по статье.

Духовный выдвинул ящик, наполненный бумагами.

— Вот, — сказал он, кидая на стол груды газетных вырезок, — статьи, они наделали много шума. Без ложной скромности скажу, что они мне удались.

Духовный подсунул мне две вырезки. Сделав внимательное лицо, я пробежал одну из них. Это была громкая статья, направленная против вошедших в моду словосокращений — «главковерх», «командарм», «военмин». Слова вроде «столовка», «ночлежка» трактовались как позорное проявление российской расхлябанности. На «самогонку» автор обрушивался с пафосом трибуна и с отвращением учителя словесности.

Другая статья называлась: «Что, сынку, не помогли тебе твои Циммервальд и Кинталь!» Здесь попадались фразы: «*Saveant consules!*», «Германия — вне законов божеских и человеческих», «Наши добродушные солдатики», «Интернационализм на немецкие деньги».

— Против пораженцев, — пояснил Духовный.

И неожиданно:

— Вы как относитесь к пораженцам?

— А это что? — сказал я, вытягивая из ящика бумагу и притворившись страшно заинтересованным ее содержанием.

— Это нельзя, — быстро ответил Духовный и бумагу накрыл рукой. — А впрочем...

На лице его изобразилось колебание. Он самодовольно улыбнулся и сказал:

— Впрочем, я вам доверяю. Читайте. Это редкая вещь.

На бумаге корявыми буквами рукой ребенка или пьяного было написано: «Папа дорогой! Дума не годится. Красного петуха пуцают над городом. Цепи рвут. Бойся красного петуха. Гони прочь сторожа из старого дома. Закрывай окна. Молюсь господу — да сгинет старый дом. Григорий».

— Подлинная записка Распутина, — сказал карл, значительно сощурившись, — оригинал телеграммы к царю. Коллекционирую такие вещи. Какая замечательная символика, правда? Поживете со мной — еще не то увидите. Но условие — полная откровенность.

— А что значит «старый дом»? — сказал я, перечитывая записку и чтобы увести разговор от настойчивых предложений противного карла сдружиться.

— Ну как вы не понимаете! — все с тем же самодовольством воскликнул Духовный. — Это Николай Николаевич, великий князь. Царица Александра Федоровна без ведома царя распорядилась все продовольственное дело передать в руки Протопопова. Это ей внушил старец, рассчитывая, что таким образом Протопопов покончит наконец с союзами — с Земским, с Союзом городов. Эти общественные организации, по мнению двора, рассадники революции. Но мы-то с вами знаем, что революция делается не там. — И Духовный игриво ткнул меня в ребра.

— Ну, а Николай Николаевич при чем здесь? — вскричал я, окончательно ничего не понимая.

Духовный сделался важен и даже как бы грустен.

— Николай Николаевич, — сказал он, понизив голос до конфиденциального шепота, — претендент на престол. Как своему, могу вам сказать, что недавно в Москве было негласное собрание купечества и дворянства под председательством Гучкова и Родзянко, где детально обсуждался этот вопрос.

— Что вы говорите! — радостно вскричал я. — Значит, я был прав, когда говорил, что Гучков черносотенец!

— Кому говорили? — быстро спросил Духовный.

И, не услышав ответа, прибавил:

— Распутин был немецким агентом. Он получал

деньги из Германии через петроградского банкира Мануса. За то, что он устроил отставку Сазонова, министра иностранных дел, ему немцы заплатили двести пятьдесят тысяч рублей. Вы — малое дитя, вы ничего не знаете.

Духовный стал вываливать столичные сплетни. Меня поразила его осведомленность. Протопопов — душевнобольной на почве венерической болезни, его лечит придворный шарлатан, тибетский врач Бадмаев. Великий князь Сергей Михайлович — казнокрад и под башмаком балерины Кшесинской. Великий князь Александр Михайлович — спекулянт, покупает для фронта бракованные аэропланы. Министр императорского двора граф Фредерикс — немецкий шпион. Лейб-медик Боткин считает царицу ненормальной.

Вскоре я заметил излюбленный прием Духовного: неожиданно посреди сплетен он ввертывал вопрос, обращенный лично ко мне, рассчитывая, что я, растерявшись, отвечу. Так, после подробного описания великосветских салонов — салона графини Софьи Сергеевны Игнатьевой, где собираются правые, салона графини Шереметьевой, урожденной Воронцовой-Дашковой, где собираются оппозиционно настроенные гвардейцы, и германофильского салона Елизаветы Феликсовны, тетки князя Феликса Феликсовича Юсупова, — он неожиданно сказал:

— А вы знаете, что вы фактически под арестом и что самое лучшее все рассказать? — на что я состроил совершенно дурацкую мину.

А после фразы:

— Наши дни мне напоминают последние дни императора Павла — в России, в сущности, царствуют три человека: покойный Распутин, Александра Федоровна и Вырубова, — он прибавил, стремительно наступая на меня, формуя воздух перед собой энергичными жестами: — Говорят — на фронте братанье, говорят — тайные встречи с немцами, наши им — сахар, а они нашим — кильки, электрические фонари!

«Электрические фонари» он выкрикнул грозным голосом, прижав меня к подоконнику.

— Не знаю, — сказал я, отворачивая лицо, — не знаю.

Он: А я бы по братанью артиллерией, артиллерией!

Я: И стоит.

Духовный в изнеможении отер лоб. Внезапно он стал смотреть на меня так, как если бы я был сановник, при-

ехавший для ревизии. Всему своему короткому телу он сообщил почтительную извилистость. После каждого моего слова он сокрушенно помахивал головой с долей восхищения по моему адресу — дескать, как же это я сам не догадался, старый дурак, а вот молодой человек, совсем мальчик, и во все проникает.

Увидев, что и после этого я не стал разговорчивей, он молниеносно изменил тактику — он сделался важен, торжествен, отвлечен. Он стал говорить в пространство и не заботясь о логической связи, отрывочно, как прорицатель или как газетчик, продающий экстренный выпуск телеграмм, поглядывая, однако, на меня уголком глаза:

— Порваны провода... Молчание... Атмосферные бури... Забастовка...

И внезапно:

— Слушайте, молодой человек, сегодня седьмое марта, с двадцать четвертого февраля я не имею никаких известий из Петрограда. Мне только известно, что неделю назад в Петрограде бастовало триста тысяч рабочих. Будто войска и даже казаки отказывались стрелять в толпу. Будто они даже иногда стреляли в полицию.

— Не может быть, — прошептал я, потрясенный.

— Ага! — закричал он, торжествуя. — Вы себя выдали! Вы — эсдек-большевик. Вы — пораженец.

— Идите к черту! — закричал я. — Да, я пораженец. Нате лопаите меня. Все равно больше ничего не скажу.

— Руку! — сказал Духовный и действительно протянул мне свою, запятнанную веснушками, совершенно рыжую руку. — Руку, молодой человек. Я должен вам открыться: я — эсер. Мой девиз — народовластие. Будем друзьями.

Он наступал на меня с вытянутой пятнистой рукой, слова нечистоплотно возникали на его губах, как слюнные пузыри, он требовал любви, откровенности. Я пятился к дверям.

— А знаете что, — сказал Духовный, иронически глядя на меня, — я передумал. Мне нет никакого интереса дружить с вами. Вы даже не человек. Вы выдуманы. Вы выдуманы Чеховым.

— Ничего подобного! — сказал я, ужасаясь непонятности его слов. — Вы сами неправдоподобный, у вас спина неправдоподобная. Такие, как вы, не бывают. Вот вы действительно не человек. Вы...

— Позвольте, — сказал Духовный холодно и сел на стул. Он продолжал с большой учтивостью: — Вы зака-

тываете истерику, а я вам дело говорю. Ваш дед граф Шабельский? А другой — Абрамсон? Так. Ваш отец Николай Алексеевич Иванов? Кончил самоубийством? Все совершенно сходится. Ваша матушка Сарра Абрамсон, иначе Анна Степановна, умерла от чахотки? Так. Имя купеческой вдовы Бабакиной вам тоже, конечно, знакомо. Все это персонажи из драмы Чехова «Иванов». Там все это описано. Ну, я ведь не отвечаю за ваше незнание классической литературы.

Он резко повернулся к столу и, склонившись над ним, стал скрипеть пером по длинным и узким листам бумаги, которые служили ему для статей. «Психопат», — думал я, с опаской глядя на его спину, которую я только что назвал неправдоподобной и которая действительно пучилась, как парус или как облако, как что угодно, но только не как нормальная человеческая спина, обложенная мускулами. Тотчас я призвал себя к спокойствию и рассудительности. Могло быть несколько решений: Духовный — сумасшедший, Духовный — провокатор, Духовный — столичная штучка, быть может, романист, собирающий материалы для психологического романа. Тут же я подумал, что есть какое-то родство между ним, Нафталинцевым и Гуревичем, черта юродивости, черта скольжения на краю пропастей, которые, впрочем, оказываются не более чем выгребными ямами.

Я очень обрадовался тому, что нашел это слово, я захотел сейчас же сообщить его Духовному, чтобы унизить его этим точным определением.

Но в дверь постучали, и вслед за стуком в комнату вошла особа в черном бархате, лет девятнадцати, с крашенными в рыжее волосами; пес встал и с шумом начал тереться об ее ногу, затянутую в превосходный оранжевого шелка чулок.

— Мария Сигизмундовна, — сказал карл и обратил к ней свое лицо, которое вдруг сделалось влюбленным, — у Бонифация сегодня сухой нос.

Женщина бурно протестует. Я разглядываю ее. Она хороша. Лицо неправильной прелести, вздернутая усеченная губка; расцвет таких лиц приходится на годы восемнадцать — двадцать пять, они бывают тогда неотразимы и забивают красавиц; ранняя старость — удел таких лиц.

Разговор между Духовным и Марией Сигизмундовной сводится к тому, что он склонен не выпускать сегодня собаку, а она тащит ее на улицу.

— Сегодня день вычесывания блох, — тоном нежного упрека напоминает Духовный.

О н а : Бонифаций сдохнет в этой вони (*бросая время от времени на меня благосклонные взгляды*).

Кончается ее победой, собака и женщина уходят. Духовный — снова за стол, снова скрипение пера, прерываемое романтическим ерошением волос и вдохновенной застылостью лица. Я хватаю фуражку и убегаю от всех этих непонятностей на улицу.

Как все прифронтовые городки, Дишня наполнена дельцами, хиромантами и проститутками. Иные золотшвейни с десятками мастеров снимались с якоря и переселялись сюда из Киева, из Одессы — шить погоны и петлички для штабного офицерства. Также приезжали сюда публичные дома, магазины роскоши, рестораны с бильярдами и цыганскими хорами, игорные клубы, венерологи.

Суеверие и похоть возрастали по мере приближения к линии боя. То и дело я наткнулся на большие вывески: «Предсказательница Ламерти из Харькова, исправляю дурные наклонности» или «Составление гороскопов, гг. офицерам скидка». Они затмевали скромные деревянные дощечки, обозначающие коренные занятия аборигенов: «Случка коз», «Домашнее приготовление боярского кваса».

Бульвар был полон, когда я пришел туда. Свитские офицеры гуляли отдельно от штабных, здесь была страшная распря. Те и другие сторонились окопных. Несколько стареньких генералов в возрасте не менее шестидесяти лет (в штабе не было генералов моложе) медленно брели, внимательно оглядывая женщин. Здесь был настоящий парад проституток. Стремясь выделиться, некоторые носили мужской костюм или форму сестры милосердия; конкуренция заставляла их рядиться в зеленые платья гимназисток, в амазонки, изобретать наряды почти маскарадной пышности.

Вскоре я увидел Марию Сигизмундовну. Собака величественно брела рядом. Увидев меня, женщина сделала глупо-надменное лицо и отвернулась.

Меня удивляло, пока я возвращался домой (мимо площади, где солдаты занимались ротным ученьем), отсутствие мыслей во мне. Мне даже стало совестно, что я ни о чем не думаю. Ведь прежде всегда толпа чувств толкалась у меня в голове. Там, за стенками черепа, царил

страшный шум, драки. Мысли заглушали друг друга, так что, оглушенный, я кидался в подушки, ища спасения во сне. А теперь мир, тишина.

Я попробовал притащить мысли силком в череп извне. Ну есть, например, такая интересная мысль: «Вот меня не арестовали, как Стамати, не убили, как Колесника. Кто же я — счастливец или ничтожество?» Но нет, не думается мне на эту тему. Приходится признать, что я разучился думать.

А между тем нельзя утверждать, что мыслей вовсе нет в моей голове: я чувствую их плотность, их мощное залегание. Сознание огрубело, оно уже не раздираемо противоречиями. По нежным доселе тканям сознания проехался фронт всеми колесами своих батарей и утрамбовал его — фронт-насилник, фронт-убийца, фронт-агитатор. Я составлен из ясности и злобы. Злобы, которая переработалась из тоски. Из тоски по Колеснику. Я больше не могу избавляться от неприятностей тем, что забываю о них. Детские рецепты утешения уже не годятся. Смерть Колесника не забывалась. Но в то же время она и не вспоминалась. Она живет во мне, как цвет моих глаз, как мое классическое образование, которое тоже не вспоминается, но ежеминутно выдает себя цитатами из классиков, невежеством в технике и любовью к несуществующим уже рождественским каникулам. Смерть Колесника течет с моей кровью, орошает мозг и пробуждает его к заговорам, к мечтам о бунтарстве, к лукавству с Духовным.

Духовный по-прежнему скрипел пером, когда я вошел в комнату.

— Ну, — сказал я, — поздравляю. Ваша Мария Сигизмундовна — проститутка. Да, — продолжал я, испытывая большое удовольствие от созерцания его искаженного надменностью и страхом лица. — А ваша собака нужна ей, просто чтоб выделяться на бульваре. Вообще собака — это превосходный предлог для знакомства. Собака создает индивидуальность, набивает цену. Ей-богу, вы брали бы хоть за прокат.

— Благодарю вас, — со злостью сказал карл, — будьте уверены, я перед вами в долгу не останусь...

Совершенно непонятно, что сейчас должно было разыгаться между нами. Но тут в комнату вошел солдат, прислуживавший Духовному, и сказал, обратившись ко мне:

— К вам старики...

Я посмотрел на двери и ахнул: там стояли, поблескивая сединами и окулярами, дедушка Абрамсон и дедушка Шабельский.

— Сереженька! — воскликнули они одновременно и бросились ко мне.

Пошли объятия, поцелуи.

— А ты, в общем, недурно устроился, — говорил граф Матвей Семенович, оглядывая комнату, — чистенько. А этот господин твой сожитель?

Духовный почтительно согнулся.

— Ваше превосходительство, — прошептал он.

— Вот что, дитя мое, — сказал Шабельский, — мне нужно пойти к генералу, поблагодарить его за разрешение приехать повидать тебя, к сожалению, ненадолго, — вечером мы обратно.

Духовный вызвался быть провожатым. Они ушли.

— Ну что, дедушка? — сказал я, подходя к Абрамсону, потому что не находил, о чем с ним говорить.

Абрамсон извлек из кармана жареного цыпленка в промасленной бумаге и небольшую подушку в красной наволочке.

— Возьми, Сереженька, — сказал он, — больше ничего не успел захватить.

— Спасибо, дедушка, — сказал я, — я научился жрать что попало и спать на голой земле.

— Штуки... — проворчал дедушка.

Я рассмеялся. Начинался дедушкин словарь. «Штуки» говорилось про все, что было непонятно дедушке и истолковывалось им как притворство в целях обморожения окружающих: любовь к стихам, профессия летчика, манера приходить в гости после десяти часов вечера. Следующим, как я и ожидал, появилось слово «солдатский», которым обозначалось все грубое, недостойное воспитанного человека: толстая жена, появление на улице без шапки, ботинки номер сорок три.

Привычное раздражение овладело мной. Дедушка бродил по комнате.

— Это винтовка? — сказал он, остановившись.

Винтовка его смешила.

— Как Любовь Марковна, — сказал он.

Бедная родственница и старая дева Любовь Марковна издавна служила в нашей семье для сравнения с особо безобразными и смешившими дедушку предметами —

креслами с высокими спинками, небоскребами, подзорными трубами, всем долговязым, тонкошеим, что имело узкую талию или высокий рост. «Это все равно, что Любовь Марковну одеть в штаны», — говорилось, глядя на портрет Фритьофа Нансена, восторженно вывешенный мною в столовой. Всеобщий семейный хохот.

Я не мог видеть, как дедушка брал винтовку, — двумя пальцами, жестом, предназначенным для трости, для нюханья табака. Вдруг он сделался грустным. На лице его изобразилось страдание.

— Что с вами? — сказал я.

Дедушка махнул рукой. Внезапно он признался мне, что тысячи мелких забот отяготили его существование. Так, например, он не мог почувствовать прикосновения к одной ноге без того, чтобы сейчас же не прикоснуться к другой. Эта странная и утомительная страсть к симметрии одолела его жизнь. Зазудит ли у него в правом ухе, сейчас же он почесывает себе и левое. Ни одной половине тела он не давал преимущества перед другой.

— Это очень тяжело, Сережа, — сказал дедушка, — это очень утомительно. Это сумасшествие.

Он смотрел на меня широкими глазами, влажными по-стариковски, с какой-то странной думой в них.

— А ты воюешь? — прибавил он рассеянно (словно: «А ты куришь?»).

Потом жалобно:

— Я пойду прогуляюсь, Сереженька.

И вышел на улицу...

— Он немножко того, — сказал старик Шабельский, вернувшись из штаба, многозначительно постукивая себя по лбу, — он капельку рехнулся, твой дедушка Абрамсон. У него странности давно, а вот теперь, после этих событий в Петрограде... Но я совсем забыл, что ты еще ничего не знаешь. Сейчас тебе расскажу. Ты знаешь, что случилось в Питере...

— Что это все с ума походили! — вскричал я, прерывая Шабельского. — Протопопов, царица! Этот тип, что здесь живет, журналист Духовный — тоже сумасшедший! Он помешался на собаке, он говорит невероятные вещи: что министры — шпионы, что мы все — вы, мой папа, и мама, и Марфа Егоровна — описаны в какой-то пьесе.

— Уже разнюхал! — с досадой сказал Матвей Семенович. — Нет спасения от этих газетчиков. Должен тебе сказать, что действительно была такая пьеска. Написал

Чехов. Между прочим, в Ялте, когда я был там лет пятнадцать — двадцать назад, меня с ним познакомили. Приличный, в бородке. «Что же, — я сказал, — вы это считаете порядочным — взять и описать чужую семейную историю, да еще не потрудившись изменить имена?» А он говорит: «Почему вы так считаете? — и, знаешь, смотрит на меня через пенсне. — Я, говорит, изображал не личность, а тип, меня не личность интересовала, говорит, а социальная категория». Такие слова! «Спасибо, говорю, наизобразили таких типов, что дальше некуда». — «Почему же, говорит, вы так говорите?» — «Да как же, говорю, меня вы там почему-то называете заржавленным, и я там все больше насчет водки выражаюсь. А ведь я универсант и читал Вольтера, когда вы еще, извините, пеленки обмачивали». — «Да вы не горячитесь, говорит, допустим, что я на ваш счет допустил ошибку. А еще какие вы неправильности заметили?» — «Сколько хотите, говорю, и даже Авдотью Назаровну не пощадили, написали — старуха с неопределенной профессией. Да какая же она, говорю, с неопределенной профессией, когда она во всем уезде известна как первая знахарка. Нехорошо, говорю, молодой человек, просто некрасиво. А уже о том, как вы вывели племянника моего Николая Алексеевича Иванова, прямо не говорю — сплошной пасквиль!» — «Как же я его вывел?» — говорит. «Сукиным сыном, говорю, вывели». — «Нисколько, говорит, не сукиным сыном. Я, говорит, в лице его хотел соединить все, что до сих пор писалось о ноющих и тоскующих людях, и положить предел этим писаниям. Он, говорит, русский интеллигент, он лишний человек». Такие слова! Ну, я плюнул и отошел. Тоже Шиллер, подумаешь. Эту пьеску, между прочим, потом ставили в Москве, в Художественном театре. Причем меня играл сам Станиславский. Ну, он, знаешь, совсем изобразил какое-то чучело, и почему-то плед на коленях, а я никогда в жизни не возился с пледами. Так что можешь не беспокоиться, Сереженька, никакого сходства, одно голое однофамильство.

Не успел я прийти в себя от изумления, вызванного этим необыкновенным рассказом, не успел я сообразить, что же следует из того, что я сын людей, выведенных в литературном произведении, и зачем Духовный ввязался в эту историю, как старик Шабельский наклонился ко мне и прошептал:

— В Питере революция. Монархии не существует.

Правит Государственная дума. Царь уже не царь. От этого Абрамсон и тронулся.

Теперь я уже думал, что и Шабельский сошел с ума. Испуг. Меня окружают сумасшедшие! Тыл наполнен сумасшедшими! Но Матвей Семенович вынул из кармана газету и протянул мне. Я развернул ее. «ИЗВЕСТИЯ» — огромными буквами значилось в заголовке ее. «Что же мне делать?» — наугад прочел я посреди текста, — тихо спросил царь. «Отречься от престола», — ответил представитель Временного правительства».

— Холера на его голову, — пробормотал Абрамсон, вошедший в этот момент в комнату.

Я метался по газетной странице. «Тяжкое бремя, — читал я изменившимся от волнения голосом, — возложено на меня волею брата моего...», «...прошу всех граждан державы Российской подчиниться Временному правительству...», «подписал: Михаил...» — «В руки восставших войск и революционного народа попала также и Петропавловская крепость...» — «Бастилия», — прошептал я, подняв на стариков восторженные глаза.

Далее следовало письмо в редакцию какого-то протоиерея Адрианского, который уверял, что духовенство всегда было с народом. «Да здравствует обновленная великая Россия, — писал протоиерей, — да расточатся внутренние и внешние враги ее!» Вся газета была испещрена словами — свобода, правда, справедливость. Постепенно я стал замечать, что сюда примешиваются имена князей и графов — и в количестве, которое мне показалось до странности большим. Князь Львов, председатель Временного правительства, князь Васильчиков, граф Капнист, назначенные комиссарами, меня удивили. Великий князь Кирилл Владимирович, великодушно заявивший: «Я в распоряжении Государственной думы», на что Родзянко ответил: «Я очень рад», — меня разозлил. А когда я увидел, что военным и морским министром назначен Гучков, я воскликнул:

— Это не революция! Это безобразие! Это предательство!

Наконец я добрался до стенограммы речи Милюкова, и она смутила меня окончательно:

«(Шум, громкие крики: «А династия?..») Вы спрашиваете о династии?..»

— Да, — страстно прошептал я, вдруг вообразив себя в полупуцикульном зале Таврического дворца, замешанным в толпу матросов, солдат и студентов, которые

прибежали сюда прямо с баррикад, а в центре — «любимец народа», Милюков, поводящий своими серыми с желтоватым оттенком усами, — да, я спрашиваю о династии!

«...я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит, но я его скажу. Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен... (Рукоплескания.) Власть перейдет к регенту, великому князю Михаилу Александровичу... (Продолжительный шум, негодующие крики.) Наследником будет Алексей...»

— Дедушка, что ж это такое? — растерянно сказал я, сразу возненавидя Милюкова.

«(...Страшный шум, крики: «Не надо нам монархов!», «Да здравствует республика!».)»

— Да здравствует республика! — заорал я, вызывающе смотря на обоих стариков, которые угрюмо и не без насмешливости озирали мою взволнованность. Но то, что было напечатано в газете ниже, сразу успокоило меня:

«Московский комитет РСДРП(б) выпустил наказ делегатам, избранным в Московский Совет рабочих депутатов... В наказе, между прочим, говорится: «Народ проливал свою кровь не для того, чтобы заменить правительство Протопопова правительством Милюкова — Родзянко. Наш депутат должен зорко следить за делами буржуазии. Наш делегат должен помнить, что братоубийственной войне должен быть положен самый скорый конец...»

Меня также чрезвычайно утешила речь Керенского, который пришел в Совет рабочих депутатов сообщить, что он стал министром. Глотая слезы, я читал:

«Могу ли я верить вам, как самому себе? (Бурные овации, возгласы: «Верь, верь, товарищ!») Я не могу жить без народа, и в тот момент, когда вы усомнитесь во мне, — убейте меня! (Новый взрыв оваций.)»

Меня, правда, немного смущало то обстоятельство, что Керенский стал министром без разрешения Совета рабочих депутатов. Я также с недоумением прочел его слова о том, что надо оставаться верными союзникам и довести войну до победного конца. Эти слова Керенского я прочел как бы зажмурившись, словно не замечая их, чтобы не разрушать в себе прекрасного образа, снова напомнившего мне картины французской революции так, как она изложена у Александра Дюма.

— Сережа, — сказал мне Шабельский, — помни: обо

всем этом никому ни слова. Меня в штабе определенно просили не разглашать о революции еще несколько дней. Знаешь — дисциплина.

Я встал и надел фуражку.

— Я иду в штаб, — сказал я строго, — и сейчас же потребую, чтоб все это огласили. Я считаю ваше поведение, дедушка, реакционным.

Дедушка Матвей Семенович хохотал, оглядывая меня с явным удовольствием.

— Ты молодец, — сказал он, — но только ничего не выйдет. Тебя арестуют. И даже я не смогу спасти тебя.

— Вы контрреволюционер, дедушка, — сказал я с презрением.

Я схватил красную подушку и отодрал от нее лоскут. Дедушка Абрамсон болезненно вскрикнул. Перья посыпались на мою грудь. Я связал из лоскута бант и прицепил к шинели. Я быстро вышел из комнаты, не обращая внимания на восклицания дедушек.

Не замедляя шага, я пошел к плацу, где происходили строевые занятия. Еще издали я слышал команду: «Ноги нет! Гонять буду! Рота кру-го-ом!» Прежде чем офицер успел скомандовать «марш», я предстал перед солдатами. Все с изумлением посмотрели на меня. Тут только я сообразил, что я имею, должно быть, очень странный вид, с красным пятном на груди и весь в перьях. Пожалуй, подумают, что я резал курицу. Но я все с тем же изумительным и редким для меня, пожалуй, первым в моей жизни ощущением того, что поступки опережают мысли, скомандовал громовым голосом, неизвестно откуда набирая эти громы:

— К ноге!

Рота, послушно бряцая винтовками, взяла к ноге, подчиняясь энергии, звучавшей в голосе странного неизвестного солдата. А тот (то есть я) продолжал, размахивая руками:

— Товарищи! Свобода! Население восстало против царя. Армия тоже. Свергнута старая власть. Царь отказался от царства.

— Солдаты, — закричал офицер, бегом направляясь ко мне, — не верьте ему! Это немецкий шпион!

— Вот манифест! — крикнул я, выхватывая из кармана газету.

И, глотая целые фразы, боясь, что мне помешают, я стал выкрикивать:

— «Жестокий враг напряг последние усилия, и уже

близок час... В эти решительные дни... сочли Мы долгом совести... признали Мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть...»

Офицер вырвал газету у меня из рук.

— Я тебя сейчас здесь расстреляю! — крикнул он, наваливаясь на меня нафабранными усами, красным лицом, эфесом шашки, матерщиной. — Ты не солдат, ты крамольник. Запереть его в караулку!

Унтер-офицер с крестом, взяв винтовку наперевес, повел меня прочь с поля, в караулку. В караулке он сказал мне:

— Не бойся, ни черта не будет, в штабе есть телеграмма о революции. С часу на час ждем из губернии специального человека. Как только он приедет, мы сразу освободим тебя.

Часа два я просидел в караулке, прислушиваясь к все возрастающему гулу на площади, к выстрелам. Наконец унтер потерял терпение.

— Знаешь, про нас, видимо, забыли, пойдем сами.

Он швырнул винтовку на пол, и мы побежали на плац.

Там — огромная толпа солдат, прорезанная изредка золотыми погонами офицеров. Посредине — трибуна, доска на двух бочках. На ней — оратор. Вглядываюсь. Чудеса — Новгородов Пашка, рыжий! Он и есть этот «специальный человек из губернии». Солдаты, узнавая меня, теснятся и пропускают к трибуне. Пашка радостно кивает мне. Потом продолжает читать по бумажке, которую держит в руке:

— «Всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения. Во-первых. Во всех ротам, батальонах, полках, батареях, эскадронах и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из нижних чинов. Во-вторых. Во всех политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. В-третьих, всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее должно находиться в распоряжении и под контролем комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам. В-четвертых. Вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы отменяется. В пятых. Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п. Грубое обращение с

солдатами, и в частности обращение к ним на «ты». воспрещается. Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов».

— Ну, товарищи, — сказал Новгородов, кончив читать, — выбирать мы будем в конце, а сейчас кто желает говорить, выходи сюда.

И покуда оратор карабкался на бочки, Новгородов шепнул мне:

— Ты будешь говорить после него, подготовься, вот материалы, — и сунул мне в руку пачку бумаг.

Я развернул их: это были резолюции бюро Центрального Комитета большевиков. Солдат с трибуны меж тем говорил:

— Почему-то товарищ оратор ничего не коснулся о мире. Почему-то это остается в области вопиющего в пустыне. Господа офицеры из штаба науськивают воевать до победного конца. Наш взвод это обсудил и постановил высказать негодование на их пошлые речи. Если они такие храбрые и самоуверенные в победе, пусть они идут в окопы и заменят нас.

— Ура! — закричали кругом и захлопали.

Солдаты смеялись и добродушно смотрели на офицеров. Толстый полковник из свиты командира корпуса, кряхтя, влез на бочку.

— Прежде всего, православные воины, — крикнул он, — позвольте мне как старому солдату, поздороваться с вами. Здравствуйте, молодцы!

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — дружелюбно гаркнули солдаты.

— Тревога, тревога! — вдруг закричал полковник и ткнул рукой в сторону, и все, действительно встревожившись, глянули в сторону. — С запада идет туча, и она готова опять покрыть тенью родную землю, над которой только что засияло солнце свободы.

Выражение это солдатам понравилось. Они захлопали. Им льстило, что офицер разговаривает с ними возвышенным языком, как с ровней.

— Ни минуты не сомневаюсь, — продолжал полковник и действительно выразил всей своей толстой фигурой полную уверенность, — что, воодушевленные светлым чувством свободы, вы исполните возложенный на вас долг. Великий русский народ дал родине свободу — великая русская армия должна дать ей победу. Сомкнем

же ряды, чтобы не впустить в измученную родину палачей и насильников Вильгельма. Не бросим нашу общую мать ему под ноги, да не будет розни между нами! Все за каждого и каждый за всех!

Солдаты захлопали с таким усердием, что мне сделалось страшно: как я буду возражать полковнику?

— Может быть, можно обойтись без меня? — пробормотал я.

— Не валяй дурака, — свирепо шепнул Новгородов, — лезь на бочку!

Но там уже, неизвестно откуда взявшись, стоял плечистый бородач, видимо, ратник, в длинной артиллерийской шинели. Он низко, в манере крестьянских ораторов, поклонился толпе.

— Жарь! Жарь! — поощрительно закричали ему, сплевывая семечки и кое-где усаживаясь на землю.

— Граждане солдаты! — закричал бородач, неожиданно оказавшийся обладателем по-бабьи тонкого голоса. — Назвали нас гражданами, а какие же мы граждане, когда жалованье наше семьдесят пять копеек и сидим мы без табаку!

— Верно! — в восторге закричали солдаты.

И хотя в этих словах оратора ничего не было плохого об офицерах, солдаты начали поглядывать на них неприязненно.

— Все, кто имеет побольше земли, — продолжал оратор, еще больше истончаясь в голосе и нисколько не заботясь о логической связи в своей речи, но просто выкрикивая одну за другой те мысли, которые были у всех солдат, и это возбуждало их больше всего, — какими-нибудь секретными статьями увернулись от войны.

— Правильно!

— Лошадь, — кричал оратор, — казна должна выдать трудящемуся!

— Верно! — закричали повсюду и стали окружать офицеров так, словно это упоминание о лошади было призывом к убийству.

Голос оратора становился невыносимо тонким, и в этом была еще одна причина возбуждения солдат, потому что в этой все возраставшей тонкости была огромная сила экспрессии, гнева, ненависти, еще не находившей себе нужных слов, но понятной и без них.

— Подай только бог, — кричал оратор, — выбратся с фронта, а потом мы возьмемся за внутренних врагов, то есть за помещиков!

Полковник махнул рукой и начал торопливо выбираться из толпы.

— Пойдите, пойдите, господин полковник, — кричал оратор, — вы позволили себе дерзкую и в высшей степени наглядную насмешку над солдатами! Вы...

Оратор остановился в мучительных поисках слова. Толпа затаила дыхание. Я заметил, что некоторые офицеры расстегивают кобуры.

— Если не ошибаюсь, — сказал наконец оратор, — то скажу, что вы волк в овечьей шерсти. Они все против народа, товарищи, я смотрю на нас и только удивляюсь — что же мы терпим это осиное гнездо?

— Бей их! — закричали в толпе и разом двинулись на полковника.

Офицеры в разных местах рванулись к нему на помощь, но их схватили за руки и крепко держали. А тем временем полковника били кулаками, прикладами. Он упал. Его понесли на шинелях в штаб. Солдаты мрачно глядели вслед.

— Ну что? — сказал Новгородов сурово. — Колесника помнишь? Тидемана помнишь? Началась расплата за них.

И потом — совсем другим тоном:

— Ты болен? Что с тобой?

— Две ночи не спал, — пробормотал я.

— Иди выспись, без тебя провернем.

— Нет, я буду говорить.

Я полез на бочку. Но и на этот раз не успел.

Там уже стоял, надменно ворочая огромной головой на крохотном теле, Духовный. Он простер руку. Я с неудовольствием признал, что он не трус.

— Исполнилась светлая греза лучших умов нашего народа, — сказал он негромко, но внятно, — настала свобода.

Перед тем как сказать фразу, Духовный склонял голову и прикрывал веки, от чего его слова как бы получали особый, сокровенный и значительный смысл.

— Ликует и трепетно волнуется Россия, — говорил он отчетливо и бесстрастно, как на уроке дикции, — на всем своем великом протяжении, затаил дыхание весь мир, созерцающая чудеснейший из всех известных всемирной истории переворотов.

Однако кое-кому уже наскучила эта пышность. Слышен выкрик:

— Довольно! В будку!

Духовный остановился.

— Кто это сказал? — грозно крикнул он. — Кто?

— Я, — смущаясь, сказал крикнувший.

— На своего нападаешь? — сказал Духовный. — Ребята, я — эсер, мы, социалисты-революционеры, десятки лет боролись против царя. Смотрите, ребята, он провокатор, он хочет, чтобы мы ножами между собой перерезались. Выгоните его к чертовой матери, чтобы не смущал.

Солдата быстро выгоняют, подталкивая увесистыми тумачами.

— Полковнику дали в шею, — продолжал Духовный и вдруг остановился. (Все смотрят на него — решающая минута!) — Это правильно. Но этого мало.

Толпа притихла. На лицах нетерпение и преданность.

— Это еще не все, — продолжает Духовный, — вы разделались с немцем внутренним, теперь надо покончить с немцами внешними.

— Ловкий черт! — со злобным восхищением шепчет Новгородов. — Хитро повернул. Тебе, Сережа, придется разделать его на все корки.

— Хотите вы, — яростным голосом кричит Духовный, — чтоб немцы нас выморили голодом? Чтоб русского рабочего и солдата закрепили в германские рудники и заводы, как они приковывают цепями к пулеметам своих солдат?

И вдруг, подняв обе руки:

— Да здравствует Временное правительство, сумевшее в единении с Советом рабочих и солдатских депутатов закрепить революцию! Веруем и исповедуем, что свободный народ сумеет отстоять свободную Россию от посягательства на ее землю!

Буря оваций. Духовного подхватывают и качают. Он взлетает в воздух, не утрачивая и там, вверху, надменного выражения лица.

Я на бочке. Я должен говорить. Слабость сопутствует мне. От шума, оттого, что я — средоточие всех взглядов, у меня прекращается работа мысли, между мыслью и речью возникает провал. Например, я сказал:

— Товарищи, Временное правительство — это контрреволюционеры. Оно состоит из помещиков и фабрикантов. Ему нельзя доверять. За ним надо следить, а то они опять царя посадят.

И как только кончились эти слова, придуманные

мною заранее, я ощутил гибельный распад личности, как всегда во время публичного говорения, то есть мысли выговаривали одно: «Призови их к братанью, к братанью», — язык, чтобы не остановиться, — другое:

— Не верьте эсерам, не верьте!

Лицо, оторвавшись от работы мозга, проделывает гримасы ужаса и удивления, что, впрочем, воспринимается в сумерках солдатами как ярость революционера и бурно приветствуется. Мучительно напрягая весь организм памяти и хмурясь, чтобы вызвать в себе эффект гнева, я крикнул:

— Товарищи, мы должны создать свое собственное, революционное временное правительство из рабочих и крестьян. Мы должны отобрать все помещичьи и монастырские земли и передать их народу. Мы должны немедленно прекратить войну!

— Хватит, — прошептал Новгородов, увидев, что я шатаюсь, пятна на лице, жесты одержимого, и приписывая все это усталости. — Хорошо, — сказал он, — валяй домой спать.

Кругом кричат «ура». Меня качают. Теперь мне хочется говорить еще, говорить без конца, извлекать из толпы крики, обожание. Но я вправду валяюсь от усталости.

Подхватив с обеих сторон, меня ведут домой. Вглядываясь в провожатых, блеск седин, окуляров — это дедушки!

— Как, вы еще не уехали? — говорю я слабым голосом.

Но они молчат, они сумрачны. Они укладывают меня на кровать, кряхтя, стаскивают с меня сапоги, соревнуясь в скорости, сквозь сон чувствую — меня целуют.

Посреди ночи кто-то будит меня. Это Духовный.

— Вас и меня, — шепчет он, наклонившись, — вы брали в комитет армии. Прочтите, это вам будет интересно, — и сует мне под нос какую-то брошюру.

Слипающимися глазами читаю: «Иванов, драма в четырех действиях», — роняю ее на пол и засыпаю.

«Сережа, страшно рад был узнать, что ты жив, носились слухи, что ты помер. Рассказывал мне о тебе один подозрительный господинчик, по фамилии Духовный. Удивляюсь, что ты водишь знакомство с такими

типами. Я напоролся на него во время демонстрации 4 июля у Таврического дворца. Должен тебе сказать, что там делалось что-то необыкновенное. Вообще мы были за 5 минут от захвата власти. Собралось народу тысяча пятьсот, рабочие, ребята из Кронштадта и т. д. Это было чисто стихийное. Масса знамен с надписями: «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов» и пр. Настроение самое боевое. Выступил меньшевик Богданов, пробовал уговорить разойтись, его затюкали. Тут меня кто-то хлопнул по плечу. Смотрю — этот паршивец Гуревич. Вот он мне сказал, что ты жив, в Одессе, сам написал несколько строк и попросил, чтоб я вложил в письмо к тебе. Вкладываю. Он ужасный кривляка. Говорит: «Французская революция — это прекрасная гравюра, а русская — бездарный лубок». Я плюнул и ничего не ответил.

Но тебе, наверно, интересно, почему мы не взяли власть в эти дни? Я сам сначала так думал. Нельзя еще! Рано. Ленин тоже так думает. Вообще с приездом Ленина многое переменялось, Ленин выдвинул новые лозунги. За социалистическую революцию! Здорово, правда? О чем мы только мечтали — стало практическим лозунгом. Ленин — настоящий вождь. Кипарисов (он тоже здесь), который его лично знает, тоже так думает.

Да, чуть не забыл! Вот здесь ко мне подошел Духовный. Он просто подслушал мой разговор с Гуревичем о тебе. Он представился с большим фасоном, сказал, что ты и он были вместе в армейском комитете, но ты большевик, а он эсер. Я услышал, что ты большевик, и чуть не лопнул от радости. А Гуревич говорит: «Это он подражает взрослым, скоро выдохнется». Потом они взялись под ручку и ушли. Вообще здесь были все. Знаешь, кого еще я встретил? Но я еще не закончил насчет захвата власти. В общем, что тебе сказать? Ты заметил, наверно, что никакой борьбы, никакого сопротивления...»

(«Сопrotивление» было два раза подчеркнуто.)

«...в сущности не было — я говорю про март, про царскую власть. Власть пала сама. Не то будет, когда мы...»

(Подчеркнуто «мы».)

«...будем брать власть. Здесь кровь неизбежна. Здесь будет сопротивление класса. Видел я, значит, еще Катю Шахову. Она эсерка, втрескалась в Керенского, очень хорошенькая. Говорю: «Что же, вы мартовская эсерка?» А она мне отвечает совсем невдопад...»

(Впервые за все время чтения я улыбаюсь, узнав старинную Володину ошибку: с детства он произносил «невдопад» вместо «невропад», точно так же как вместо «эскиз» — «эксиз», вместо «Лиссабон» — «Либассон» и вместо «виртуоз» — «виртоуз». «Невдопад» глядело на меня добро и насмешливо, как Володькина морда...)

«Вы толкаете Россию в пропасть». Про тебя ничего не спрашивала. Ну, и я, конечно. Говорила, что уезжает в Москву к папаше. Сережа, «Правда» разгромлена. После этой демонстрации пошла контрреволюция. Среди большевиков аресты. Восстановлена смертная казнь. Ищут Ленина. Временное правительство вызвало с фронта верные полки. Черта с два они верные! Между прочим, с этими полками приехали Степиков и Куриленко. Помнишь их? Куриленко я так и не вижу, он все время вертится у анархистов, идиот. А Степиков — наш. Он, между прочим, хочет тебе приписать пару слов. В общем — что ты делаешь? Я работаю в Нарвском комитете. Главным образом по агитационной части. Жду письма.

Вл. Стамати».

Приписка:

«Сергей! Ты паршивец, что не прислал ни звука нам на фронт, но тем не менее, однако, между тем и так далее я тебе семейной сцены делать не буду. Скучаю за Одессой-мамой. Работаю в милиции, работа пустяковая, играемся в городовое. Думаю плюнуть и драть в Москву, теперь же свобода действия. Куриленко — форменный анархист. Что ты скажешь на этого контрреволюционера?

Аркадий Степиков».

Отдельно — записка от Гуревича:

«Сережа, здесь, в Питере, есть автомобиль № 996, им управляет женщина изумительной красоты. Я ищу ее все дни. Я ни разу ее не видел. Я хочу в нее влюбиться. Погоды превосходные...»

(...После революции — я замечаю — Гуревич стал выражаться проще...)

«Политикой не интересуюсь. Если прав Флехсиг, который утверждает, что есть лобный ассоциативный центр, который служит местом образования наших представлений о собственной личности, то больше всего я интересуюсь тем — что же хранится под моим лбом? Можешь не отвечать, я уезжаю в Москву. Видел Катю —

рожа, непрерывно говорит о тебе. Изучаю Фрейда и рефлексологию. Иногда даже страшно становится — до того насквозь я вижу людей. Целую.

Гуревич».

Петроград, 25 июля 1917 г.

«Сергей Николаевич! Хотя вы этого не заслуживаете, но я пишу вам. Вы вероломны по отношению к друзьям вашим, как мне сообщил эта крыса Стамати, с которым я столкнулся у Таврического дворца во время преступной попытки большевиков захватить власть 4 июля. Не поздравляю вас с таким другом!

Тут же я встретил вашего второго приятеля — Гуревича. Насколько более приятное впечатление производит этот молодой человек!

Однако не для того взялся я за перо, чтобы описывать черты друзей ваших, хорошо вам известные и без меня. Упомяну только, что они явно недостойны вас, — ни большевичок Стамати, злобный и невежественный мальчуган, ни даже умница Гуревич, при всей своей культуре, поверхностный и непостоянный человек. Ведь я о вас высокого мнения, Сергей Николаевич, хоть вы мне и причинили зло, оболгав и оклеветав Марию Сигизмундовну. Она теперь жена мне. Признайтесь, ваша гордость уязвлена, вы ревнивы в свои девятнадцать лет, как Отелло. Недаром Бонифаций ненавидел вас. Но бог с вами, я не помню зла.

И вот доказательство. Я занимался вашей особой тут, в Питере, в течение всего последнего месяца. И это — несмотря на мою крайнюю занятость, которая еще более увеличилась в последние дни в связи с тем, что во главе военного министерства поставлен Савинков, который поручил мне некоторые дела государственного значения. Вы знаете, разумеется, что в составе нового кабинета — как его называют здесь: «Правительство спасения революции» — пять эсеров. Власть наша, Сергей Николаевич, власть твердая, наконец-то ленинство исчезло с политической сцены, и, могу вас уверить, навсегда. Неужели вы еще большевик? Однако — к делу.

Мне удалось выяснить путем архивных изысканий и расспросов людей, лично знавших Чехова, что драма «Иванов» списана с натуры действительно. Сделана она по заказу антрепренера Корша, который, как кажется, сам и сообщил автору сюжет этой драматической исто-

рии, довольно хорошо известной среди помещичьего дворянства Инсарского уезда. Некоторые имена изменены в угоду писательскому пристрастию к курьезным фамилиям, некоторые персонажи вовсе выдуманы автором. Но это из второстепенных. Главное осталось за подлинными именами и во всей своей фактичности. Можно протестовать против использования в литературе личной драмы (несомненно, тут у автора расчет на совершенную неизвестность этой провинциальной истории), но невозможно не удивляться мастерству автора, особенно если вспомнить, что пьеса написана с умопомрачительной быстротой — в две недели! Ваш батюшка — по отзывам его знавших — как живой! Ваше счастье — не зная отца, вы можете увидеть его в книге. Однако и мне, не скрою, посчастливилось — я знаю сына.

Между нами говоря, Сергей Николаевич, я вознамерился написать этакую историко-литературную беллетристическую книгу, где хочу описать историю создания «Иванова», а далее — историю его живого сына, то есть нашу с вами встречу, графа Шабельского и через это — всю революцию, то есть, вы понимаете, целую эпоху описать, два поколения русской интеллигенции и то, откуда родилась революция. Труд колоссальный — голова кружится! И вот, Сергей Николаевич, вы мне очень сможете помочь любезным сообщением оригинальных черт из вашего детства, из жизни Абрамсонов, Шабельских, некоторых дат, предоставить кой-какие семейные фотографии, письма, — почему бы, черт возьми, не продолжить традицию Чехова описывать живых людей! Вы сразу благодаря мне можете стать самым модным человеком в России.

Но не это еще, признаюсь, главная цель моего письма, несколько затянувшегося, — простите, сейчас кончу!

Сергей Николаевич! Почему вы уклонились от пути, предназначенного вашим батюшкой? Ведь вы интеллигент, да еще потомственный! Почему вы с большевиками? Откуда в вас эти черты фанатизма, это деревянное упорство, эта бездарная прямолинейность? Между прочим, и приятель ваш, г-н Гуревич, удивился, выслушав мое впечатление о вас, и сказал, что это в вас ново. Где отцовская и ваша былая тонкость, где гуманность, где борьба со злом? Вспомните слова вашего батюшки: «День и ночь болит моя совесть». И еще: «Я обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда». Вот эту возвышенную организацию интеллигентской души, с ее повы-

шенной чувствительностью, с ее отвращением к земному, это благородное наследство предков вы променяли на вульгарную цельность большевиков, их дикарский примитивизм, их утробные лозунги — хлеба и мира!

Верьте, дорогой Сергей Николаевич, в мои неизменные теплые чувства к вам. Все равно, если вы даже — чего, по-моему, быть не может — останетесь в большевиках, больше того: если даже — допустим на минуту это невозможное предложение! — большевики восгосподствуют, все равно я напишу мою книгу, но тогда эпиграфом к ней я поставлю слова: «Что мне с того, что я получил весь мир, если я потерял свою душу...»

Жду вашего ответа по адресу: «Петроград, редакция «Биржевые ведомости», мне.

Игорь Духовный».

Одесса, 30 июля 1917 г.

«Дорогой Володя! Получил твое письмо и тоже страшно обрадовался. Знаешь, сколько мы не виделись? Семь месяцев. Но за это время столько было, что кажется — годы. У меня такое чувство, будто я увижу другого человека. Ты — во всяком случае. Я здорово переменялся. Но я боюсь об этом говорить. Боюсь спугнуть эти перемены.

Я — юнкер. Не хотелось идти в военное училище. Но пошел по настоянию организации. «Нам, говорят, нужны свои офицеры». Ну, я тут, в училище, немного завертел машинку. Сколотил кружок. Вообще тут еще силен старый дух. Среди ночи может вдруг разбудить дежурный и сказать: «Юнкер, кальсоны лежат неправильно, извольте выложить штрипками наружу». Цукают. Разумеется, не так, как при старом режиме, когда младшие юнкера возили старших на спине в уборную и там ждали в дверях с бумажкой во рту. Кажется, это им доставляло удовольствие.

Кстати. Катя меня совершенно не интересуется. Гуревич — ты прав — кривляка. Он все гениальничает. Духовный мне тоже странен. Да, ужасная вещь! В опубликованном газетами списке провокаторов значится Левин. Вот что напечатано: «Левин Даниил Борисович (кличка «Крафт»), студент, с.-д. Входил в состав местного комитета партии. Работал в охранном отделении с 1913 г. Давал сведения о деятельности областного бюро и работе партийных кругов. Выдал участников

военной организации и явочные адреса. По его доносам был произведен ряд арестов. Получал 60 руб. в месяц. Скрылся». Кроме смерти Колесника, я не знаю вещи, которая меня потрясла бы сильнее, чем провокаторство Левина. Я даже первые дни думал уйти из политики — кому верить? — и заняться живописью. Тут один парень уверяет, что у меня есть способности. Но потом передумал. Ах, Володька, столько надо бы рассказать о себе! Керенский, конечно, дешевка. Если ты увидишь Катю, расскажи, как будто нечаянно, обо мне — что я и где. Мне хочется обратить Гуревича в большевики, все-таки это будет приобретение для партии. Как ты думаешь? В октябре меня выпустят в офицеры. Поеду в Москву. Жму руку.

Серезжа».

Одесса, 30 июля 1917 г.

«Гражданин Духовный! Отвечаю по пунктам.

1) Я не ревную, потому что Мария Сигизмундовна мне не нравится.

2) Ваши характеристики моих друзей в корне неправильны, и вообще это не ваше дело.

3) Никаких материалов к вашей книге я вам не представляю, потому что не вижу нужности ее.

4) «Иванова» я прочел. Не понимаю, почему вы так волнуетесь. Да, я сын ему. Но я ему не наследник. Я отрекаюсь от наследства. Пусть они лежат бесхозными, все эти благородные страсти интеллигента — меланхолия, *ennui de vivre*, метанья от преферанса к богоискательству, вечное чувство виноватости, ирония во что бы то ни стало, поза одиночества, интересничанье, чувство превосходства, постоянная страсть быть в оппозиции и все ее стадии — от брюзжанья до бомбометанья. Я не против интеллигенции, идеологию пролетариата создала тоже интеллигенция. Но я за тенденциозность, за работу вместе с другими, за земное счастье для бедняков, за беспощадность к врагу. Только дай мне бог сохранить все эти качества.

Итак, я объявляю характер Иванова выморочным. Справка из Свода законов: «Выморочное имущество — это имущество лица, не оставившего после себя наследников (род или семья вымерли)». Можете эту справку взять эпиграфом к вашей будущей книге. А то, что вы радуетесь, что я прежде был другой, — так оставьте эти надежды. Я теперь не такой. Тот я вымер. А во-

обще это нахальство — влезть в чужую семейную историю. Но в общем мне наплевать на это.

Очаровательным Марии Сигизмундовне и Бонифацию привет.

Сергей Иванов».

14

На Арбате меня поразила ширина трамвайной колеи. В Одессе рельсовый путь теснее, и ширина московского пути казалась мне — покуда я шел с Брянского вокзала, взволнованный сообщением, что начался бой между белыми и красными, — точно так же, как и кривизна московских улиц, и высота домов, и неслыханно твердое произношение буквы «р», — каким-то курьезным патологическим отклонением от нормального типа путей, домов и «р». Сюда присоединялись обычаи города, например, торговля яблоками не на вес, а на штуку, а помидорами, напротив, не на штуку, а на вес, или отсутствие ставен на окнах, или манера вывешивать на воротах дощечку с надписью «Уборной в доме нет», причем таких домов оказывалось явное большинство, — обычаи, которым я не удивился бы разве только в какой-нибудь полинезийской деревне, приготовившись увидеть совершенно чуждую мне цивилизацию. Однако уже через минуту, поднимаясь по широкой лестнице Московского Совета, я подумал, что тут дело не в особенностях Москвы, а скорее в свойствах моего ума: в его лености, в его консерватизме, в его склонности считать все, к чему привык с детства, в чем вырос, — будь это двухэтажный дом со стеклянной верандой дедушки Абрамсона, а в сфере интеллектуальной — умеренный позитивизм дедушки Шабельского, — единственно правильным, настоящим, а все непохожее, новое — уродством и ересью.

Худая маленькая брюнетка — существо с неземными глазами, вьющимися волосами и коховскими палочками в легких — быстро пробежала мои бумаги и воскликнула:

— Товарищ, вы нам страшно пригодитесь! Офицер?

— Ровно семь дней, — сказал я, — с двадцатого октября.

→ Тем лучше. Стамати здесь.

Володька выбежал из соседней комнаты. Мы кидаемся друг другу в объятия.

— Возьми сколько можешь людей и шпарь... — Он на минуту задумался, деловито поджав пухлые губы,

и — решительно: — Шпарь на Петровку. Сдерживай юнкеров. Они на Театральной. Да скинь эти штуки, — прибавил он, указывая на мои погоны прапорщика.

Я содрал их и кинул в угол. Три солдата с «гочкисом» и четыре рабочих с берданками охотно согласились пойти со мной. Присоединяется еще один — с ручным противоаэропланным пулеметом «люис» на плече. Он моих лет. Он тянульщик проволоки на заводе Тильманса.

Я веду отряд по Петровке. Я приказываю выстроиться гуськом и держаться стен. В запертых воротах отворяются глазки и обывательские голоса восклицают: «Белые? Красные?» Пули юнкеров, засевших в гостинице «Метрополь», еще не достигают нас.

— Ты как попал сюда? — говорит парень с «люиссом».

Я объясняю ему, что получил назначение в Московский военный округ, но, узнав, что началось восстание, пошел прямо в ревком и показал свои бумаги большевикам.

Разговор прерывается. Юнкера бегут цепью через площадь, волоча пулеметы. Они резко подпрыгивают на булыжниках, как игрушечные тачки, в которых дети возят песок. Мы устраиваемся за колоннами Большого театра.

Я умоляю себя поверить в реальность происходящего, в то, что юнкера действительно занимают сквер против Большого театра, используя садовые скамьи и клумбы как прикрытие, в то, что за спинами нашими подступы к Московскому Совету, к ревкому, которых мы не отдадим, хотя бы пришлось всем здесь погибнуть, в то, что в кармане у меня лежат три адреса, по которым я так и не успел сходить, втянулся сразу в сражение. Я нащупываю эти бумажки в кармане и, вынув, читаю: «Шабельский — Проезд Исторического музея, соб. дом», «Гуревич — Башиловка, 24, что в Петровском парке», «Шахова — Кудринская, церковь Покрова». Я решаю в промежутках между боями — должны же быть моменты отдыха в этой ненатуральной войне! — обязательно сбегать по всем трем адресам, чтобы — и эти мысли нисколько не мешают мне выдвинуть один из наших пулеметов до Незлобинского театра и меткой стрельбой заставить умолкнуть юнкерский бомбомет у дверей отеля «Метрополь» — сказать Гуревичу, что он свинья, закусить у Шабельского и, может быть, даже

успеть принять ванну (обстоятельство, благодаря которому уличная война мне кажется необыкновенно уютной, комфортабельно обставленной — со своими чудесными блиндажами в виде подвалов в пятиэтажных домах, бесчисленными наблюдательными пунктами на любой крыше и колокольне и полным отсутствием удушливых газов) и увидеть наконец расширенные серые глаза и узкие колени Катюши Шаховой.

Юнкера тем временем разливаются широкой дугой от «Метрополя» до Думы, сосредоточив главные силы в районе Выставки птицеводства под Китайской стеной. Будучи дугой штыков, она была в то же время дугой пуль, широкой смертоносной дугой, методически продвигавшейся и показывающей намерение сомкнуть концы у колонн Большого театра.

— Слушай, товарищ, — кричит мой тянульщик проволоки, — айда наверх, на крышу!

Я мгновенно схватил его мысль и одобрил ее. Впятером, взявши один пулемет, мы проникаем в театр и бежим сквозь ложи, фойе, ярусы, галереи — все выше! Огромный кругозор открывается перед нами. Мы примацываем пулемет подле колесницы, влекомой четверкой бронзовых коней. Их мускулистые мифологические ноги служат нам отличным прикрытием. Теперь мы держим под обстрелом всю площадь. Отталкивая солдата, я сам берусь за пулемет, мной овладевает старинная человеческая радость — целиться и попадать в цель.

Юнкерская дуга дрогнула, вот она превращается в ломаную линию, распадается на точки, исчезает. Белые подражают нашей тактике. Они тоже на крышах, одни — «Метрополя», другие — Думы. Мы — под перекрестным огнем, пули звенят, ударяясь в Аполлона. Снова начал стрелять бомбомет. Парень с Тильманса оттаскивает меня от пулемета.

— Вниз! — кричит он.

— Зачем? — говорю я. — Здесь удобная позиция.

— Ты хочешь, чтобы театр разрушили?! — свирепо кричит он.

Загорелся спор. Но все на его стороне. Спустившись, мы складываем баррикаду из дров между Большим театром и Незлобинским. Дрова нашел все тот же парень в театральном погребке. Я замечаю, что руководство отрядом незаметно перешло от меня к нему.

— Я пойду в штаб, — сказал я, — здесь все в порядке.

— Валяй, — сказал тянульщик проволоки.

Я быстро ухожу, я бегу — и не только от тянульщика, но и от моего желания унижить его, свергнуть тянульщика с его пьедестала спокойствия, самоуверенности. Я чувствую в себе противное желание видеть тянульщика растерянным, без его деловитости, без чувства превосходства над другими. Я ничего не имею против того, чтобы другие превосходили меня. Но для этого они должны быть не моими сверстниками — по крайней мере, лет на десять старше меня. Этот срок — десять лет — я считал вполне достаточным, чтобы превзойти кого угодно.

Из Совета меня послали на Пресню.

— Надо оттуда повести наступление, — сказал Стамати, устало потягиваясь всем своим маленьким телом, — так, чтобы соединиться с нами. Погоди, надень погоны — тебе придется проходить сквозь белых. Погоди, ты же не знаешь города, с тобой пойдет Степиков.

Он тут, Степиков, рядом. Ящик маузера у него на боку. Он возбужден, громогласен, увит пулеметными лентами. Он обнимает меня. Но вдруг резко отстраняет и кричит куда-то вдаль с раздражением:

— Что вы даете винтовки жуликам?!

В толпе рабочих, пришедших прямо с производства, в закопченных блузах, с задымленными лицами и руками, с новеньким знаменем, на котором написано: «Клянемся под этим знаменем добиться братства всех народов!», Степиков своим чутьем уроженца Сахалинчика распознал несколько уголовных, проникших сюда в суматохе.

— Блатные, вон к чертовой матери! — резко командует он.

И так как никто не двигается, он в упор спрашивает одного:

— Ты пек блины?

Другого:

— Гонишь скамейки?

Третьего:

— Работаете на банях?

Фальшивомонетчик, конокрад и вокзальный вор выходят, покрасневшись, как девушки.

Вооруженные паролем для своих и погонями для белых, мы благополучно добираемся до Пресни. Штаб красной гвардии — в пожарной части на Кудринской улице. Тотчас нам дали задание занять церковь Покрова и устроить там наблюдательный пункт.

Рукою ты нагана я стучу в дверь квартиры священника. Катя мне открывает. Я теряюсь.

— Вы пришли, Сережа? — говорит она, счастливо улыбаясь.

Я не могу отвести глаз от ее ясного и смелого лица.

— Ой, Катюша, некогда сейчас. Я все, все расскажу вам потом. А теперь... где ваш отец?

Она ведет нас в гостиную. В углу — образа. На стене — портрет Керенского. Степиков вынимает из кармана нож и вспарывает Керенского по диагонали: он считает своей священной обязанностью делать это всюду.

Ее серые глаза, знаменитые серые глаза, которые никогда не врут, наливаются гневом.

— Катя, — говорю я мучась, — нам нужны ключи от колокольни.

Она отворачивается. Я с тоской смотрю на милый узел волос на ее затылке.

В дверях, скрипя сапогами, в голубой рясе, огромный, как двуспальная кровать, возник отец Василий Шахов. Тут только я вспоминаю, что забыл снять свои золотые погоны. Но нелепо же снимать их сейчас, вот здесь, в гостиной, и так что-то невыносимо театральное есть в этой сцене. Шахов думает, что мы белые. Он раздражается длинной репликой, быть может, проповедью, которую он приготовил для произнесения в день освобождения Москвы от большевиков:

— Как назвать то, что происходит сейчас на святой Руси?! (Степиков с насмешливым сочувствием поддакивает.) Можно ли считать людьми большевиков?! Можно ли оправдать их сатанинскую злобу?! Нет ни любви, ни страха божия у большевиков, короче именуемых хулиганами.

Степиков (*внезапно осердясь*). Хватит! Гоните ключи!

Но священник (*не слыша и как бы обращаясь ко всей России*). Господа! Граждане! Братцы! Ради всего святого пробудитесь от кошмарного наваждения... (Я не слушаю, я боюсь поднять глаза на Катю, я устал был на такой знакомый мне бюст Наполеона, который стоит на стуле, заложив, как Керенский, два пальца за борт сюртука и оглядывая мир с мрачным величием.) Спешите — или конец Руси! Боже, спаси Россию...

— Папа, — тихо говорит Катя, — перестань, они большевики.

— Ключи, ключи! — торопит Степиков.

— Да, пожалуйста, ключи... — говорю я извиняющимся голосом.

— Да не поднимется рука... — невнятно бормочет Шахов и не дает ключей.

— Что ж, — пожимает плечами Степиков, — в таком случае идемте в штаб.

— Иди, отец! — страстно кричит Катя.

На лице ее изображается восторг перед великомученическим подвигом отца, которого она в обычное время недолюбливает за манеру копаться в ее дневниках и письмах и таскать у нее, несмотря на свою либеральную репутацию выборщика от кадетов в III Государственную думу, головные шпильки для прочистки своих мундштуков.

Но Шахову, видимо, не улыбается перспектива попасть в большевистский штаб. Он вынимает ключи и кидает их нам.

— Сергей, — говорит он голосом проповедника, — не разрушай святого храма во имя тех дней, когда я гулял с тобой по берегам Инзы, обучая тебя слову божию, и ты был кроток и смиренномудр...

— Это твоя девчонка? — сочувственно шепчет Степиков, покуда мы вбегаем на колокольню. — Ни черта, найдешь другую!

Мы долго разглядываем с колокольни улицы, ищем места, выгодные для постройки укреплений. Мы выбираем наконец Горбатый мост, Новинский бульвар, Поварскую, Малую Никитскую.

На Поварской мы выломали для баррикады ворота дома и повалили несколько столбов. У Зоологического сада пошли в ход трамвайные вагоны и бочки. На Остоженке мы изобрели подвижную баррикаду из огромных кип шерсти. Мы перекатывали их к юнкерским окопам, укрываясь от пуль, застревавших в шерсти, покуда не вышибли юнкеров из окопов.

Мне приходилось тут же, во время боя, обучать рабочих стрельбе. Они палили, как дети или как женщины, упираясь прикладом в грудь и пальцами впихивая патроны в магазинную коробку, уминая их там, как махорку в трубке. Они не знали простейших правил укрытия от огня. Они брали в плен броневик, кидая в него бомбы жестом старых игроков в городки. Я подружился с ребятами с завода Тильманса, Прохоровской мануфактуры, Мамонтова, Бромлея.

Это была война, стратегии которой я не понимал. Разведка вдруг оказывалась тылом, обоз — в любой подворотне. Надев повязку Красного Креста, можно было безнаказанно пересекать фронты. Мне не удалось прославиться, я не мог опередить товарищей, я начинал уставать от войны, где не было никаких шансов сделаться героем. Даже ранения не давали мне никаких преимуществ. Мне казалось, что я стерся, что я обезличился в этом сражении, общего хода которого я не понимал, ибо оно рассыпалось на пожары, смерти, уличные драки, расстрелы и ухаживания по вечерам за работницами с фабрики «Дукат», приносящими на баррикады хлеб и чистые бинты. В разных местах, у пулеметов или в атаке, я встречал Степикова и Стамати и, не успевши осведомиться об их ощущениях, снова терял. Мы пошли брать тогда пресненский комиссариат.

Нас собралось человек десять. Все безоружны. Только у меня наган.

— Ребята, — говорю я, — надо набрать еще народу, их там человек сто и масса оружия. Элементарная тактика...

— А иди ты к бабушке, — кричит наш вожак, — со своими военными знаниями! ;

Он — чернорабочий с завода «Мюр и Мерилиз», лысый, высокий старик. Перед зданием комиссариата старик приказал нам рассыпаться. Часовой вскинул винтовку. Старик отстранил ее рукой.

— Выходи! — заорал он, задирая бороду к окнам, и, обернувшись, повелительно кивнул нам.

— Выходи! — заорали мы все.

Из здания высыпали милиционеры. Я взвел курок нагана, готовясь умереть геройской смертью — один против десяти! Но вместо того чтобы растерзать нас, милиционеры выстроились в затылок и, переругиваясь как во всякой очереди, принялись складывать оружие на мостовой. Мы повели их в штаб.

— Слушай, отец, — сказал я, — как это выходит у тебя, что ты не геройствуешь и не обезличиваешься?

— Ой, — сказал старик, отмахиваясь, — опять завел свои рассуждения!

— Но пойми, — сказал я, поспевая за стариком, — что тебе на фронте дали бы за такое дело крест. Это же подвиг.

— Пойми ты, балда, — нетерпеливо сказал он, — что милиционеры — члены союза, что со стороны союза

было давление по профессиональной линии, что милиционерам нет никакой радости помирать за буржуев, а хочется поскорей домой к жене и попить чайку. Мы их сейчас отпустим домой.

Из штаба милиционеров действительно отпустили.

Слова старика нисколько не помогли мне уяснить положение. Но я заметил, что жизнь моя убыстрилась, и если прежде — как это было во время игры на бильярде между Мишуресом и пижоном, или на балу, где я скользил между столиками, умирая от зависти к золотой молодежи, или тогда, когда я не мог украсть дыню из фруктового ларька, — десятки часов шли на медлительные, как анализ бесконечно малых, обсасывания собственных ошибок, подобно тому как комментатор нанизывает на недомолвку поэта томы ученой болтовни, и все события совершались за стенками моего черепа, на небольшом плацдарме мозга, где разыгрывались авантюры и заговоры, блестяще выигранные судебные процессы, открытия стран и планет, незабываемые услуги человечеству, побития рекордов, самоубийства и познание основных причин, — то теперь события происходили вне меня, по собственной воле, комментарии отпали, может быть, они появятся потом, а теперь выступал огромный, грубый и неразборчивый текст жизни.

Это случилось после революции, которая оказалась также революцией во мне самом. Может быть, немножко раньше революции, должно быть, в каждом человеке есть революционное подполье.

Тут я запутывался в рассуждениях о переменах, происходящих во мне и в других. Я лишь догадывался, что причины их надо искать, наблюдая не только людей, не только вещи и даже не только действия, а наблюдая *движение* людей, вещей и действий, подобно тому, как разгар болезни или, напротив, ее утихание узнается по не бывшим прежде прыщам на языке, или по свисту в легких, или по тому, что больной вдруг начинает верить родственников, что все предметы отстоят от него на невероятном отдалении и что если ему все-таки удастся, протянув руку, достать с ночного столика стакан с сахарной водой, то это только потому, что рука его тоже выросла, растянувшись в длину не менее чем на три километра, и, погружая это колоссальное удилище в мир, он может оттуда вытаскивать предметы, нужные ему для существования: термометр, ночной сосуд, руку матери. С больным этой последней категории я сравниваю себя,

но уже в периоде выздоровления, когда все предметы вокруг начинают возвращать свои обычные размеры, так что я уже не кажусь себе больше, чем крошечный Стамат, или меньше, чем огромный отец Шахов.

Признаться, мне становится скучно от этих рассуждений. Да ведь, собственно, и рассуждать-то было некогда. Белые вышибли нас с Садовой-Кудринской. Мы бросились в наступление, раздобывши орудие. Отряд двигался по Никитской — впереди с пулеметом я, дальше орудие, еще дальше красногвардейцы. Ими командовал вагоновожатый Щепетильниковского парка, маленький блондин с незначительным лицом и прекрасной шевелюрой. Он был в форме трамвайных служащих и с личным номером на груди — сто сорок девять. То и дело он прибегал ко мне.

— Знаешь, товарищ, — говорил он, — я уже четыре дня не евши, — тяжело.

— Да, — говорил я, внимательно озирая пустые проезды Никитской, — конечно.

— Знаешь, товарищ, я уже четыре дня не видел невесту. Смотри, вот карточка. Хорошая девчонка? Она ткачиха.

— Да, — говорил я, косясь на фотографию, — ничего.

Прибежали разведчики и, волнуясь, выкрикнули, что на Кудринскую площадь прорвался белый броневик. Тотчас возле нас стали ложиться снаряды. Впервые за все дни уличных боев я почувствовал страх. Он выразился в том, что я ощутил мгновенно всю хрупкость своего черепа, мягкость и даже текучесть тела, покрытого не более чем кожей — притом не крепкой, измоленной коркой пролетария, а нежной розовой пленкой интеллигента, источенной постоянными умываниями.

— А ну, ребята, — крикнул вагоновожатый, тряхнув шевелюрой, — запрягайся! — и сам приналег на орудие.

Со всех сторон набегали люди. На руках мы докатили орудие до Кудринской площади.

Увидев нас, броневик сделал молниеносный круг и исчез.

Тут мы уже не могли остановиться. Штыками мы выбили юнкеров из окопов Новинского бульвара. Пошло стремительное наступление. Мы гнали белых по Ржевскому, Трубниковскому и Скарятинскому переулкам, набитым особняками Второвых, Морозовых, Щепотьевых, Щекутьевых, быть может, моих дядюшек и кузенов. Мы опрокинули белых на Поварской.

— Не геройствуй, Сережа, не геройствуй! — говорил я себе, выбегая на Арбат и устраиваясь с пулеметом на перекрестке.

Прохожие разбегались с таким же точно ненатуральным визгом, как летом от дворника, поливающего улицы водой. Мы преследовали белых до Александровского сада, просовывая штыки сквозь садовую решетку, сделанную в виде ликторских прутьев с вызолоченными топорами.

«Что, если бы здесь, — думал я, переводя дыхание, — между римскими секирами и маленьким писсуаром, похожим на башню броневика, возник в мягкой бархатной шляпе, принятой среди помещиков нашего уезда, и в лаковых штиблетах с резинками неперемный член по крестьянским делам присутствия Николай Алексеевич Иванов? Что сказал бы отец мой, — продолжал я развивать эту захватившую меня мысль, забегая юнкерам в тыл со стороны Смоленского рынка, — увидев меня борцом за социальную революцию, он, чьи революционные дела не шли дальше анонимных писем губернатору о том, что он-де ретроград и гонитель света, и изредка — на открытии церковно-приходских школ — произнесения речей в защиту высшего женского образования?»

И к этому моменту, когда мы перешли наконец Бородинский мост и обложили осадой Смоленскую школу прапорщиков, я окончательно пришел к убеждению, что то, что мы сейчас делаем, — это есть процесс ликвидации всего осужденного Чеховым. Слегка расставив ноги и сощуриив левый глаз, я методически слал пули не только в юнкеров, в панике забаррикадировавших окна шубами, сапогами, пуховиками, коврами, но и в самый институт частной собственности, в банки («Прицел чetyреста!»), в скуку, в безыдейность, в ипотеки, в Продуголь, в жандармерию, в деспотизм — куда винтовка не накалилась.

Нас сменили, и я, изнемогая от усталости, пошел спать в Московский Совет.

Здесь был настоящий лагерь. Всюду — обеды да канцелярские корзины, набитые гранатами. То и дело приходили меньшевики и эсеры и предлагали свои услуги для ведения мирных переговоров с белыми. Я разыскал Стамати, возле него стоял мой старый знакомец Рымша. Он пожал мне руку, сказав с чувством:

— И вы с этими безумцами!

Потом, снова обратясь к Стамати:

— Я гарантирую рабочим свободу и безнаказанность при условии сдачи оружия. Полковник Рябцев лично дал мне слово.

Володя, скучая, отмахнулся рукой и лег на пол. Я — рядом с ним. Опустился и Рымша.

— А вы почему не с нами? — спросил я.

— Это ужасно, — ответил он, — я только что из Питера, там сделана та же ошибка. Поймите, нельзя брать власть! Я до хрипоты спорил с Кипарисовым, он сейчас в верховодах, такой же фанатик, как и вы все здесь. Поймите, слепцы, что вы своей скороспелой победой оттягиваете торжество социализма на сотни лет. Почему бы не подождать, пока капитализм сам падет, сгнив на корню? Ведь это должно случиться скоро, совсем скоро.

Рымша смотрел на меня умоляющими глазами, словно я мог встать и устроить так, чтобы капитализм гнил еще скорей.

Я подмигнул Володьке. Я знал взгляды Рымши. Он питал отвращение к действию. О да, он был уверен в том, что капитализм умрет. Он даже жалел немного капитализм, как жалеют обреченных, умирающих. Он глядел — по доброте своей натуры — с жалостью на броневики, на идеалистических философов, на стихи символистов, на банковские палаццо. На всю силу и красоту капитализма он смотрел с жалостью, как смотрят на румянец туберкулезного.

— Смотрите, Рымша, — сказал я, обводя рукой зал, наполненный вооруженными рабочими, чисткой винтовок, храпом под столами, клубами махорки, взлетающими к плафону. — Разве это не прекрасно? Восстание пролетариата.

— Да, конечно, — пробормотал Рымша, поглядывая на зал без большого удовольствия.

Я установил, что Рымша не переменялся. Рабочих он любил отвлеченно, метафизически — «рабочий класс». А каждого в отдельности рабочего чурался, считая его грязнухой, хулиганом, лодырем, алкоголиком и тупицей.

— Слушайте, — сказал Рымша с досадой, — это же старая история, повторяется Великая французская революция: вы приведете к власти Бонапарта.

— Вы не видите жизни, Рымша, — сказал я строго, — ваше состояние — это борьба одиночки с объективной действительностью. Вы ведете на нее всю армию своей фантазии, огромную, но призрачную, и — погибаете.

— Не в том дело, — вдруг вмешался Стамати, приподнимаясь с пола, — при чем здесь французская революция? У вас, Рымша, как бы это сказать, — несвободный ум. Вы мыслите аналогиями.

Сказав это, Володя завернулся в шинель и уснул. Я тоже завернулся в шинель и уснул.

На следующий день я дежурил в Петровском парке. Со мной был Степиков. Предполагалось, что казаки могут двинуться на Москву со стороны Всехсвятского, или Лосиногостинского Острова, или Петровского-Разумовского.

Однако все было спокойно. Под ногами шуршали листья. Пахло милым тлением осени. Небо казалось отставшим от века. И если говорить о пейзажах, то все это — и закат, и перистые облака, смахивавшие на крылья врубелевских демонов, и японское трепетанье сосен, — казалось, было сделано рукой художника не бездарного, но вконец испорченного долголетним торчанием в галереях и копированием модных мастеров, отчего все его творчество (и в данном случае Петровский парк) носило характер засушенный, выставочный и, уж конечно, — думал я, сожалея едва ли не впервые в жизни, что рядом со мною Степиков, а не человек поинтеллигентней, кто мог бы войти в обсуждение этих проблем, — не могущий идти в сравнение с картинами хотя бы уличного боя. Тут я не без удовольствия вспоминал себя, вбегающего с красным знаменем в пороховом дыму (однако опять не первым, но позади все того же Степикова!) в здание Алексеевского военного училища, объявившего о своей сдаче.

Но едва это старомодное небо стало темнеть, как в Петровском парке начались необыкновенные дела. Он наполнился светом автомобильных фар, хлопаньем винных пробок. Мы обнаружили, что парк полон кутилами и дамами, приехавшими сюда из города, чтоб повеселиться в разбросанных меж деревьев ресторанах.

— Иолды! — со злобой ворчал Степиков — слово, которое обозначало у него мужчину с чертами бабы, кривляку, паразита.

— Запомни это, Степиков, — говорил я, — во время Парижской коммуны буржуазия вела себя так же подло.

Мы решили обыскивать публику и отбирать оружие. Оказалось, что это совсем не трудно. Весельчаки охотно поднимали руки и без грусти расставались с револьверами. Некоторые спрашивали:

— Скажите: что это за стрельба в последние дни на улицах?

С одного автомобиля заявили:

— Делаете революцию? Пож-жалуйста. Только, пожалуйста, не мешайте нам гулять.

Интонации мне показались знакомыми. Я взгляделся. Так и есть, Гуревич! Его оболъстительная улыбка. Его рябины, распутство и элегантность.

— Сережка, — воскликнул он, — ты все еще ходишь в большевиках?

Рядом с ним дамы и офицер.

— Ваш документ! — сказал Степиков.

Гуревич захохотал.

И — обратясь ко мне:

— Хорошая компания!

Потом, кивнув в сторону Степикова:

— Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост.

— Это мой друг, — сказал я сердито.

— А все-таки, — Гуревич хитро подмигнул, — признайся, ты все-таки не можешь сойтись с ним до конца. Не тот компот. Интеллигенту нужен интеллигент. Вот как я с поручиком. — И он захохотал, хлопнув офицера по плечу.

Степиков тем временем громко прочел, глядя в документ офицера:

— «Поручик Третьяков...» А, старый знакомый! — вскричал Степиков. — А ну, вылазь-ка сюда, вылазь на волю, мы с Ивановым тебя давно дожидаем!

Третьяков вышел из автомобиля. Он узнал нас. Он бледен.

— Я — эсер, — говорит он дрожащими губами.

— Эсер? — говорит Степиков. — А ну-ка, посмотрим, как сквозь эсера проходит пуля!

И он с силой ударяет Третьякова по лицу.

— Становись к дереву, — кричит он, — мордой сюда! Сережка, слушай мою команду! По шкуродеру с колена пальба...

Женщины поднимают визг. Гуревич кричит:

— Сережа, не делай этого! Во имя нашей дружбы! Не будь убийцей!

— Аркадий, — говорю я, — отпустим Третьякова. Ну его к черту!

— Как к черту? — говорит Степиков. — Ты уже забыл все? Ты, может быть, забыл, как он мордовал Бегичко?

— Не стоит мараться, ну его к черту! — говорю я. — Еще наклепают на нас, что мы бандиты.

Степиков смотрит на меня.

— Только ради тебя, — говорит он, — чтоб уважить твоих знакомых, я его выпущу.

Он галантно раскланивается с дамами. Третьяков, перебирая лаковыми сапожками, быстро семенит к машине. Степиков вздыхает.

— Сережа, — говорит он, делая пригласительный жест, — дай ему раз в морду. Я тебя прошу. Ну, уважь меня.

— Ну его к черту, — говорю я, отворачиваясь.

Третьяков растягивается в машине. Дамы утешают его. Перегнувшись через борт автомобиля, Гуревич жмет мне руку.

— Спасибо, — говорит он, — между нами говоря, ему не мешало побить морду. Он шулер, он меня вчера обставил тысяч на пять.

— Чем ты сейчас занимаешься, Саша? — спросил я.

— Спекуляцией, — ответил Гуревич, пожимая плечами, точно это подразумевалось само собой, — а кроме того, психоанализом и рефлексологией.

— Бросил бы ты дурака валять, Саша, — сказал я, преисполняясь старой нежностью к Гуревичу. — Ей-богу. Я плохо говорю. Но вот ты послушал бы какую-нибудь речь Стамата, я уверен — ты стал бы человеком.

— Речь, — Саша снова пожимает плечами, — речь — это дополнительная функция дыхательных и жевательных мышц.

— Это все ерунда, — сказал я, как всегда в присутствии Саши теряя слова, — правда — у большевиков.

— У тебя комплекс навязчивости, — сказал Саша докторальным тоном, интригуя меня заманчивыми терминами. — Что, — добавил он, насмешливо глядя на меня, — обьелся политикой?

— Брось ты все это, иди к нам, — упрямо повторял я. Гуревич лукаво:

— Лучше ты иди к нам, — и сделал широкий жест, обводя им трех нарядных женщин, сидевших в машине; они, улыбаясь, потеснились, освобождая для меня место. — Мы едем в один чудесный погребок. Серьезно, садись к нам. Что, разве большевики — монахи?

Я изо всей силы ударил ногой по машине и воскликнул со злостью:

— Ну, катись, да веселей, а то мы можем передумать и вас всех вздрючить в два счета!

Машина двинулась. Саша, привставши, запел:

Если вдруг вам дома стало скверно
И к жене своей попали прямо под каблук,
Лучший выход, чтоб спастись от мук, —
Ввалиться в ресторан,
Где Гуревич у руля...

И женщины подхватили:

Ввалиться в ресторан,
Где Гуревич у руля...

Мы пошли дальше дозором по парку...

На другой день повели наступление на Кремль. Я с небольшим отрядом стоял на Тверской улице. Всей нашей группой командовал немолодой слесарь с фабрики «Свет и лампа». Самокатчик привез мне приказ:

«Занять квартиры, что возле городской думы, после артиллерийской подготовки ворваться в кремлевские ворота».

Через минуту слесарь пришел сам.

— Мы сделаем это вместе, — сказал он. — Айда!

Это был восьмой день боя. Лицо невымытое, заросшее, глаза воспаленные от недосыпа, от стрельбы, френч изорван, шинель где-то потеряна. Не мудрено, что дедушка Шабельский не узнал меня, когда мы ввалились к нему в квартиру. Зато я узнал его сразу. Он не изменил своей привычке ежедневно пробривать подбородок между бакенбардами и даже сохранил генеральские погоны на гражданском полумундире, афишируя свое пренебрежение к событиям.

— Окна, — прекрасно, прямо на Кремль, — хрипел слесарь со «Света и лампы», осматривая квартиру, — сюда пулемет, сюда четыре стрелка, прикрытие устроим из стола и буфета. Сергей, тащи подходящее барахло для укрытия стрелков. Хозяев выставь — подозрительны.

Дедушка Шабельский посмотрел на меня.

— Сережа, это ты?

Слесарь сказал:

— Ну, ты здесь распоряжайся, а я пошел по другим квартирам.

— Сергей, — вдруг захолопотал дедушка, — ванну? Чистое белье? Можно соорудить яшечку. Мигом.

— Сейчас некогда, — сказал я, — видите, что делается. Тащи, ребята, стол.

Мы принялись подтаскивать мебель к окнам. Буфет

пришлось положить боком. Получился превосходный бруствер. При этом разлетелась вдребезги фарфоровая чернильница, с которой я играл еще в детстве, знакомая мне, как дедушкины морщины, которых (я увидел это, поглядывая на него тайком) стало ужасно много, с тех пор как я видел его в последний раз.

— Нельзя ли полегче! — закричал дедушка. На лице у него появилось выражение слабости и гнева. — Ну, я понимаю, вам надо разгромить юнкеров. Но к чему же колошматить хорошую посуду? Или ты пьян, Сергей? В папашу пошел.

Из соседней комнаты прибежала Марфа Егоровна. Услышав мужские голоса, она там припудрилась, сделала брови.

— Вот внучек, — коротко сказал дедушка.

— Сереженька, — воскликнула радостно Марфа Егоровна, — какая неожиданность! А я думала — погромщики. Хотите чаю? Вы устраиваете у нас позицию? Скажите: скоро с этим будет покончено? Здравствуйте!

— Здравствуйте! — сказал я, испытывая неловкость от прикосновения к умытой женской руке.

Марфа Егоровна приписала это действию своей красоты.

— Я же вам бабушка, — сказала она, кокетничая, — ну, скажите — бабушка.

— Бабушка, — пробормотал я, растерявшись.

Красногвардейцы у окна захохотали.

— Марфа, — сказал дедушка, — не валяй дурака. Он красный. Он за социальную революцию.

— Сережа, вы революционер? — тоном нежного упрека протянула Марфа Егоровна. Она произносила «рэволюсионэр».

— Дура, он большевик, — нетерпеливо сказал дедушка.

Но Марфа Егоровна не разбиралась в партийных окрасках. Она повторяла с бессмысленной кокетливостью под грохот рушащихся стен Кремля:

— Вы рэволюсионэр?

В дверях показался слесарь.

— Ну что же ты? — сказал он неодобрительно и пошел дальше.

Загрохотали орудия. С Кремлевской стены валился кирпич. Ворота треснули и растворились.

— Ура! — закричал я и прыгнул в окно. Красногвардейцы — за мной.

Отовсюду — из Иверского проезда, с Никольской, из Торговых рядов — бежали наши. Мы вбежали во двор. Юнкера кидали винтовки, поднимая руки. Кремль был взят.

Я пошел медленно на завод Тильманса на Пресне. Мне сказали, что там будет митинг. По дороге я спрашивал у встречаемых, что слышно в других районах. Никто толком не знал. Стамати, усталый, сходил с трибуны. Я бросился к нему.

— Ну что? — сказал я.

Он протянул мне бумагу.

«Боевой приказ», — прочел я. И дальше: — «Враг сдался. Все наши условия приняты. Признана власть Советов. Мирные условия вырабатываются. Позиций не ослаблять. Быть настороже».

— Володька! Ура!

— Сережка, ты рад?

— Вопрос! Ну, а дальше что?

— Масса работы, — сказал Володя, нахмурившись. Он потащил меня к столику. Там сидел рабочий и записывал. Вокруг теснилось много народу.

— Володька, — сказал я, беря его под руку и конфиденциальным шепотом, — как ты думаешь, мы долго продержимся?

— Идем записываться, — ответил Володя и снова потащил меня.

— Нет, подожди, Володя, — продолжал я, — то есть я знаю, социализм будет. Но *цифры* — ты подумай: например тысяча девятьсот тридцатый год, двенадцатилетний партийный стаж, Шестнадцатый съезд партии. *Цифры* я не представляю себе. Это грандиозно! А ты?

— Ну, — пробормотал Володька, — начались рассуждения.

Он подтолкнул меня к столику.

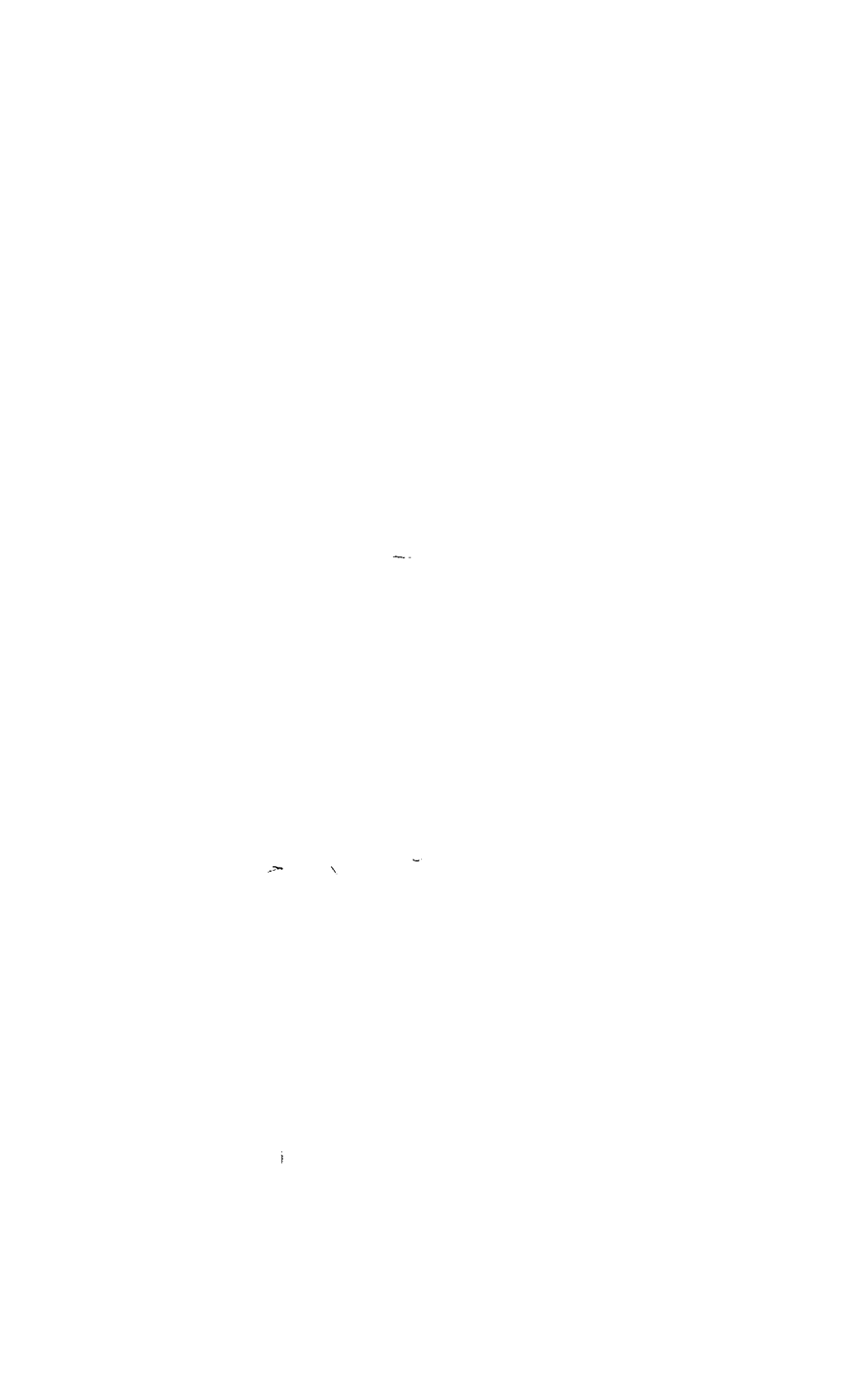
— А куда здесь, собственно, записывают? — спросил я.

— В отряд на Украину — для борьбы с белыми.

Я взял перо и после фамилий Стамати и Степикова написал «Сергей Иванов» — угловатыми буквами и с жирным взлетающим росчерком, который я выработал с прошлого года, прочитав в книге по графологии, что такой росчерк обозначает характер твердый, кипучий и предвещающий славу.

АРДЕННСКИЕ СТРАСТИ

Роман



**СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА
ПЕРВОГО ЛЕЙТЕНАНТА ЛАЙОНЕЛА ОСБОРНА**

Записи от 5—10 декабря 1944 года

Второй день я мотаюсь в этой курортной, наполовину разбомбленной дыре Спа и все не могу найти попутной машины в часть.

И вообще сдается, что войны вовсе и нет.

А ее и вправду нет в Арденнах.

Это, положим, не мои слова. Это сказал мне за обедом саперный капитан, похожий на постаревшего кролика.

Когда он ест, его оттопыренные уши (точь-в-точь две улитки!) шевелятся в такт жеванью. Честное слово, я насобачился по частоте этого ритма судить о вкусовых качествах жратвы в этой интендантской объедаловке, забравшейся в роскошные залы ванного заведения «Петр Великий». Крыша стеклянная. Окна под потолком.

Поинтересовался:

— Что это еще за «Петр Великий»?

Капитан меня просветил:

— Русский император. Лечился здесь. Имейте в виду, эту знаменитую воду не вывозят. Пользоваться можно только здесь. Ходить недалеко: источник «Петр Великий» тут же, в подвале. Волшебная водичка! Хо-

чешь — пей, хочешь — купайся. Курорт! И не только здесь, в Спа. Весь наш фронт до самого Ахена и до Трира — сплошной курорт. Последний выстрел я слышал, когда у Сен-Вита обивал окопы досками. И то, по-моему, из охотничьего ружья.

Ну, я ему на это сказал, что не мешало хотя бы поштукатурить облупленные стены «Петра Великого». А он начал вздыхать и качать головой. Что, мол, делать! У немцев здесь было офицерское казино. И они разрисовали все стены в своем анально-фекальном стиле. Пришлось сбивать эту порно, чтобы наши ребятки не воспалялись излишне. Я полюбопытствовал:

— А что ж это за такой стиль?

— А вот полюбуйтесь.

И он вынул из кармана статуэтку. Маленькая борода-тая собачка. Я взял ее, осмотрел. Ничего особенного. Собачка как собачка.

А он так хитренько улыбнулся, говорит:

— Это же машинка для чинки карандашей. Вся штука в том, куда вставляется карандаш. Под хвост! Весело, да? Или вот еще.

Опять он полез в карман и вытащил фарфоровую пепельницу. Посреди нее была выложена фарфоровая же и очень натурально сделанная кучка кала.

Спрашиваю:

— Вы что, собираете эти прелести?

Он сказал:

— Забавно же...

И принялся за суп.

Смотрю: уши его замолотили как сумасшедшие. А очень просто: овсяный суп с опостылевшей свиной тушенкой был премерзким и, значит, капитан спешил разделаться с ним побыстрее. Но это не мешало ему работать языком. Так и сыпал именами. Пришлось мне останавливать его чуть ли не на каждом слове.

Говорит:

— Старик Трой Миддлтон, конечно, вне себя...

— Стоп! Это кто?

А он недоверчиво:

— А вы не знаете?

— Я же не вашего фронта.

— Это наш командующий корпусом. Да и вся эта штабная бражка Восьмого корпуса ворчит: нет боев, нет наград. Весь Спа нафарширован штабами. Здесь вы можете увидеть Ходжеса...

— Стоп!

— Все забываю, что вы не наш. Командующий Первой армией. Да и сам Брэдли изредка наезжает. Омар Брэдли, командующий Двенадцатой группой армий.

— Это-то я знаю.

— И вообще генералов тут у нас, в Спа, хватает. Как-то прикатил старик Уильям Симпсон из Девятой, из Маастрихта, принял парочку углекислых «петров великих». А однажды удостоил нас визитом сам Монти.

Говорю:

— А не заливаете, капитан? Фельдмаршал Монтгомери?

Я подумал, что ослышался.

Но он:

— Во-во! Собственной персоной. Хотя лайми там, под Антверпеном, не очень-то потеют.

Так я узнал, что англичан наши ребята называют «лайми». Это, я сказал бы, не чересчур почетное прозвище.

А он сыплет дальше:

— Слушайте, Симпсон, часом, не индейского происхождения? С его носом, изогнутым, как клюв коршуна, он сильно смахивает на какого-нибудь ирокезишку. Как же он все-таки докарабкался до генерал-лейтенанта, а?

Подали бараньи котлетки, и тут уши капитана замолотили в темпе модерато. Действительно, не сокру, котлетки прямо таяли во рту, нежные, в пикантных сухарях, отлично прожаренные.

А капитан бубнит:

— Да и воевать тут, собственно, некому. И не с кем. На весь фронт в сто двадцать километров у нас тут четыре дивизии Ходжеса неполного состава. И резерва никакого. А зачем он здесь? А у мофов у того нет.

Так я узнал, что немцев тут называют «мофы», словечко голландское и довольно крепкое.

— Глушь. (Это все он говорит.) Леса. Ни тебе дотов. Ни тебе минных полей. Да и ни к чему они здесь. Горы. Непроходимые горы. Дорог нет. Вот и шлют нам с других участков потрепанные части для отдыха и поправки. Да еще новобранцев обучать. Я вижу, вы хромаете? Из госпиталя? Ничего. У нас вы быстро поправитесь. Витамины тут, в Арденнах, в воздухе, прямо трещат на зубах.

Вот придет весна — в горных речках форель, в лесу кабаны. Как вы насчет охоты, не любитель?

Он, наверно, обомлел, когда я встал и не простившись вышел из столовой. Как подумаешь, что в Тихом океане, и в Бирме, и у Окинавы, и в Италии, и в России ребята сгорают, тонут, разлетаются в куски! А эта старая ухорвертка забаррикадировалась Арденнами и наворачивает бараньи котлетки!

Хотя, в сущности, чем он виноват!

В конце концов, сказать по правде, мне тоже не мешает после ранения отдохнуть, вернуть форму. Эх, как я вспомню свой старый уютный контрабас, на котором я работал в нашей кафешке «Магические брызги»... Нет, нет! К черту! Не буду расслабляться. Я уже заметил: чуть я начинаю что-нибудь такое, рана кровоточит.

Значит, так. Медленно я плелся по улицам Спа. Все-таки он не очень разбомблен. Отели первоклассные. Ванные заведения прямо как дворцы. А кругом горы. Как будто их здесь поставили специально для обстановки люкс. Лес на них темно-зеленый, из него так и тянет кондиционинг-воздухом.

Прошел через маленькую площадь. Смотрю: памятник какому-то усатому типу. Оказывается, это маршал Жоффер — прямо морж на коне. А все-таки немцы его не снесли! Хотя им доставалось от него в ту войну. Может, просто руки не дошли.

Горка снежная. Издали показалось: дети катаются с нее. Подхожу: солдаты! Хохочут. И съезжают на детских салазках. Вояки! Отвратительно. На меня никакого внимания.

Хорошо, но все-таки мне надо где-нибудь переночевать! Я решил опять завернуть к коменданту. А вдруг? И что же — действительно повезло. Только я вошел в комендантское управление, как дежурный сержант орет:

— Первый лейтенант Осборн! Хорошо, что вы пришли! Есть машина. Правда, не военная. Ну да тут у нас тихо. Мистер Ли согласился подхватить вас.

Через полчаса мы выезжали из города вверх по узкой аллее, обсаженной елями.

Мистер Ли сказал:

— Забавный городишко, а?

Он сам сидел за баранкой своего старого «бьюика», джентльмен средних лет, в куртке с кенгуровым воротником. Машину ведет неплохо.

А сосед мой — мы его прихватили в комендантском, молоденький парнишка в берете и камуфлированном комбинезоне десантника-коммандоса, или, как англичане говорят, «рейнджерс», — так он говорит брезгливо:

— Помойная яма...

Спа, значит.

Я не удержался и спросил, глядя на его английское обмундирование:

— Каким ветром тебя занесло к нам?

Он пробормотал:

— Из окружения... Пробираюсь в Бастонь. Там пункт сбора.

Дорога паршивая, извилистая, с крутыми поворотами. С гор туман. Мистер Ли выжимал не менее ста и при этом беспрерывно болтал, иногда даже жестикулировал. Я подумывал: а не отнять ли у него баранку? Голос у него скучный, и он бубнил:

— Нет, городишко любопытный. Знаете ли вы, ребята, что в первую мировую войну в Спа была ставка германского императора Вильгельма Второго?

Я подмигнул десантнику, а он поджал губы: мне, мол, наплевать.

На императора, конечно.

А я спросил из чистой вежливости, все-таки машина его, то есть мистера Ли, он же мог и не взять нас с собой, это надо ценить. Так я спросил:

— Это тот, который с усами, закрученными кверху?

Я имел в виду императора.

В это время из-за поворота вылетел «додж» три четверти¹. Я закрыл лицо руками. Но сквозь пальцы смотрел. Мистер Ли отчаянно выкрутил баранку сначала вправо, оба правых ската завертелись в воздухе над пропастью, потом влево. «Додж» пронесся с дьявольским грохотом. И вот мы снова всеми четырьмя лапками на земле и мирно катим дальше.

— That's some driving!² — крикнул десантник.

«Р» у него было раскатистое, славянское.

Спрашиваю:

— Русский?

— Поляк.

Ну, я назвал себя. И он назвал себя:

¹ Осборн имеет в виду полугрузовичок вместимостью в три четверти тонны. (Здесь и далее примеч. автора.)

² Вот это езда! (англ.)

— Сержант Феликс Маньковский.

Мистер Ли опять завел свою говорильную машину:

— Бьюсь об заклад, вы не знаете, что было в Спа летом тысяча девятьсот двадцатого года!

Я посмотрел на поляка. Он пожал плечами и сказал:

— Вы не могли бы рассказывать быстрее, а ездить медленнее?

А мистер Ли заявляет:

— Летом двадцатого года здесь, в Спа, состоялась конференция держав-победительниц. Они определили размер репараций с Германии и запретили ей на веки вечные вооружаться. И вот мы опять с ней воюем.

Я, конечно, дал тут же отпор:

— Ну, теперь мы наступим ей на пах так, что она не пикнет.

Маньковский покосился на меня. Вообще этот мальчишка в камуфляже начал раздражать меня своим вызывающим молчанием. Коммандос, подумаешь! Будто они значат что-нибудь на войне!

— Чем пахнет нагретый от стрельбы затвор карабина, знаешь? — спрашиваю.

А он угрюмо:

— Я из-под Арнема.

Молчу. Арнем — другое дело.

Мы то спускались в долины, то снова карабкались на горы. Внизу стояли склады. Всякие — боеприпасов, провиантские, амбары с горючим. Добра чертова уйма под защитой непроходимых гор. Потом мы опять подымались и кружили по тесным горным спиральям.

В одном месте стоп: шлагбаум. К машине подошли ребята из Эм-Пи¹ в своих белых шлемах. Я вынул документы. Но они даже не посмотрели на них. Их интересовало другое. Они потребовали открыть бензиновый бак.

Мистер Ли, конечно, отказался. С негодованием! Тогда один из солдат сам открыл бак, вставил в него резиновую трубку, потянул ртом, и бензин полился на землю. Они полезли также в багажник, проверили горючее в канистрах. Потом откозыряли нам и открыли шлагбаум.

Когда мы отъехали, я спросил: в чем дело? Мистер Ли проворчал:

— Я ж им говорил, что у нас бензин белый.

¹ Э м - П и (Military police) — военная полиция (англ.).

Не скажу, чтоб я что-нибудь уразумел из этого ответа. Маньковский меня просветил:

— Военный бензин розовый.

— Почему?

— Чтоб не крали. Тут же воровство на полном ходу. Воруют сигареты, консервы, ну, и бензин. Вот его стали подкрашивать.

— Н-да... Местечко эти Арденны...

— Тыл... — сказал Маньковский.

Здесь к нам подсел совсем молоденький лейтенантик. Таких молочных поросят сейчас пачками штампуют в Штатах. Все на нем до неприличия блестящее и скрипучее. Почтительно поглядывая на мою линялую куртку и комбинезон Маньковского, он представился:

— Джон Вулворт.

— Не из фирмы ли «Эдна Вулворт, магазины стандартных цен «Пять и десять центов»?

— Да... Собственно, это моя тетя...

— Что же она не пристроила вас при каком-нибудь сенаторе?

Мальчик так покраснел, что мне стало жалко его. Потом он робко спросил:

— А почему у нас шофер штатский?

Я посмотрел на Маньковского.

— Черт побери, а ведь действительно, кто он?

Поляк пожал плечами.

— Гробовщик, — тихо сказал он.

— Как? Гробовщик?

Маньковский улыбнулся.

— Он владелец фирмы, которая взяла подряд на перевозку и захоронение трупов американских солдат

— То-то у него такой похоронный вид.

— Да, это профессиональное. Только, кажется, в Арденнах он прогорит.

— Да, ему бы к вам под Арнем. Там бы он поживился.

Так мы болтали шепотком, крутясь по извилистым горным дорогам, переваливая через арочные мосты осторожно соскальзывая с крутизны, тормозя мотором. А этот сосунок Вулворт с обожанием смотрел на меня и поляка и восхищался солдатской грубостью нашего разговора. Сам он молчал, не смея вмешаться своим писком. Ей-богу, мне даже стало жаль его, и я спросил:

— А тебе куда?

Он поспешно отбарабанил:

— В Шестую бронетанковую дивизию Восьмого корпуса Первой армии Двенадцатой группы армий. — Он помолчал. Потом спросил нерешительно: — Не знаете, там какие машины? Я ведь танкист. — И добавил: — Как и Эйзенхауэр.

Он смутился: не звучит ли это по-ребячески хвастливо.

Неожиданно, не поворачивая голову от баранки, мистер Ли крикнул:

— Ну, он, положим, больше дипломат, чем военный!

Это выпад, конечно. Но не хотелось ссориться с водителем. Наступило неловкое молчание. К счастью, поляк сказал:

— В дивизии танки типа «генерал Шерман».

Мальчик обрадовался:

— М-четыре — А-два? Вот здорово! С семидесятишестимиллиметровой пушкой? Это ж мой танк. Классная машина!

Поляк сказал:

— Много я их видел, вдрызг покалеченных, в Пятом корпусе.

Вулворт даже просиял:

— Там жарко, да?

— В Пятом? На реке Роер? Баня! Идут бои за эти проклятые дамбы. Там есть одно подразделение из твоей Шестой дивизии. Только тебе-то что? Ты же в Восьмой корпус. На курорт.

Лейтенантик всполошился, полез в свой бумажник за документами. Мы заглянули в его предписание. Мальчик чуть не плакал.

— Я уверен, — хныкал он, — что это все тетя Эдна подстроила... Чертова баба!

Он нудил и ругался школьными ругательствами, пока я не заткнул ему рот:

— Слушай, старик, ты утри сопли и не искушай судьбу. На фронте ничего нельзя менять, понял? Какие карты тебе сданы, такими и играй. Без передергивания. Судьба! Уразумел?

Поляк кивнул головой, подтверждая святую правду моих слов.

— Вот и он так говорит. Слушай старых солдат. А он из-под Арнема. Он был в аду и вернулся живым. Маньковский, расскажите нам про эту заваруху под Арнемом. Ребенку полезно. Да и мне интересно.

Поляк молчал. Потом сказал:

— Не хочется.
Лицо его помрачнело.
Я не настаивал. Дело хозяйское...

ИСКУССТВОВЕД

Дом стоял в буковом лесу, совсем небольшой, просто сторожка, покинутая лесником, каменная халупа, сложенная из неровных глыб, с конической грифельной крышей. Ветви, запорошенные снегом, льнули к окошку.

Не сходя с койки, Вулворт видел могучие отроги Эйфеля, плавно переходившие в долины, а иногда вдруг обрывавшиеся так круто и отвесно, словно их отхватили вселенским топором. Кое-где ветром смело снег, обнажились каменные бугры материнских пород.

На другой койке полулежал маленький пухлый первый лейтенант в очках. Часа два назад в штабе он приветливо встретил Вулворта. Никакого отношения к 6-й дивизии он не имел, а просто, увидев растерянность Вулворта, пожалел его.

Снег повизгивал под их ногами, когда они шли сюда, в эту каменную конуру. Первый лейтенант прикрывал рот рукой. Он буркнул:

— Берегу дыхание.

И всю дорогу молчал.

Вулворт машинально шел с ним в ногу. Потом спохватился, что это выглядит как-то по-школьному, и нарочно сбился с ноги. На морозе первый лейтенант казался молодым, а в комнате Вулворт увидел, что ему, вероятно, что-нибудь за сорок.

На стене висело изображение богоматери. Все кватерское существо Вулворта инстинктивно напряглось при виде «идола». Возможно, первый лейтенант заметил это, потому что сказал, что в мирной жизни он был искусствоведем и богоматерь эта — «Сикстинская мадонна» Рафаэля.

— Как раз перед войной я выпустил исследование. Может быть, вам попадалось? Томас Конвей, «Ранние византийские иконы». Нет? Я подарю вам. А чемодан у вас легонький. Набит, видно, надеждами и мужеством. Вы не против, если я лягу? У меня, видите ли, строгий режим. С утра лыжи. После обеда часок поспать. Вечером можно позволить себе стаканчик, но не больше. Ревматизм, ничего не поделаешь. Перед сном прогулка.

— Значит, здесь боевых столкновений совсем нет?

— С кем? — удивился Конвей. — Кто полезет в эти горы, да еще зимой? Я очень рад вам, народу у нас тут мало.

— Мало? Все-таки корпус.

— А! — Конвей пренебрежительно махнул рукой. — Чтобы перечислить по пальцам наши подразделения, можете сапог не снимать. Что у нас тут? Три пехотные дивизии да эта ваша бронетанковая. Ну еще небольшая бронекавалерийская разведывательная группка.

— Все-таки целых три пехотных.

— А что проку? Сто девяносто шестая только что из Штатов, пороху еще не нюхала. А Четвертая и Двадцать восьмая так были потрепаны в ноябре, нет, не здесь, а на реке Роер, что от них остались одни огрызки. Их отвели сюда к нам на отдых и пополнение. Да, кстати, ваша Шестая бронетанковая тоже только по названию дивизия.

— Почему?

— Потому что несколько батальонов увели на север в Пятый корпус. Наши дрались за эти проклятые дамбы на Роере и, видно, там и полегли.

Глаза Вулворта горели от возбуждения. Он восхищался небрежным и даже слегка скучающим тоном, каким первый лейтенант упоминал о сражениях. Вулворт и завидовал этому тону и негодовал. Проглотив слюну, он сказал:

— Так что здесь...

— Здесь? Тысяч, я думаю, восемьдесят на сто двадцать километров фронта. Представляете? По тридцать — сорок километров на одну дивизию. Все мы растянуты в один эшелон. Усвоили? Но вы не волнуйтесь.

— Нет, я ничего. Наоборот...

— Ладно, ладно, я когда-то тоже был таким петушком. А теперь знаете что? Да, кстати, выпить хотите?

Вулворт засуетился:

— Я сейчас...

Он полез в чемодан и вынул бутылку виски «Длинный Джон». Они выпили. Бывший искусствовед растянулся на койке.

Вулворт ожидал, что сейчас зайдет разговор о женщинах, постарался внутренне перестроиться и приготовился выпалить несколько залихватских историй, вынесенных еще из колледжа. Конвей, мечтательно устремив глаза в потолок, говорил:

— Вы понимаете, Вулворт, с моим ревматизмом я мог бы без труда получить увольнение из армии. И я это сделал бы, если бы не Спа. Я езжу туда три раза в неделю. Ванны! В мирное время мне это было не по карману даже в Штатах. Вы только подумайте, какие грандиозные усилия пришлось применить из-за меня. Я часто об этом думаю. Понадобилось произвести на свет этого выродка Гитлера. Понадобилось, чтобы он слопал всю Европу. Так? Понадобилось, чтобы этим он не насытился и решил заглотать Россию. Так? Понадобилось, чтобы он подавился Сталинградом. И все это для того, чтобы я мог спокойно, тихо, а главное, бесплатно лечить свои суставы. И где? На одном из самых дорогих аристократических курортов мира. Знаете, Вулворт, так воевать я согласен. Почему вы не пьете?

— Спасибо. Значит, здесь совсем тихо?

— Отпуск. До самой весны. Великие зимние каникулы. Хотите, я вас зачислю в свою группу? Группа небольшая, но, как у всех здесь, штаты не заполнены. А перевод из вашей бронетанковой мы устроим.

— Это какой род войск?

— Разведка.

— Разведка? — Глаза Вулворта заблестели.

Конвей улыбнулся.

— Вы уже чего-то себе навоображали. Работа у нас тихая — по связи с партизанами.

— Значит, надо проникать к ним в горы?

— Ну вот еще! Мы устроились удобнее. Время от времени они сами спускаются с гор и докладывают, как там, у немцев. Давно уже не были, потому что ничего не происходит. Так хотите?

Вулворт замялся.

— Знаете, я ведь танкист, — сказал он смущенно.

— Ну так что? Я сам артиллерист, — сказал Конвей, зевнув, и опустил на подушку.

Вулворт подумал, что Конвей потерял к нему интерес, потому что считает его мальчишкой, маменькиным сынком. Он покраснел от стыда и решил исправить впечатление.

— А как у вас тут насчет баб? — сказал он деланно хамским голосом. — Я слышал, что голландочки слабы на передок.

Он попытался придать своему юному лицу игривое выражение, какое подмечал у взрослых мужчин, когда

они вели вольные разговоры о женщинах. И подмигнул при этом своим детски чистым голубым глазом.

Конвей приподнялся на одном локте и внимательно посмотрел на Вулворта. Потом захохотал. Он ничего не говорил, он только смеялся. Вулворт пролепетал что-то невнятное. Наконец Конвей сказал:

— Я отдал бы десять лет жизни, чтобы уметь так очаровательно краснеть, как вы, Вулворт.

Вулворт надулся и спросил:

— А до Бастони тут далеко?

— Да тут все, в общем, близко. А что?

— В штабе у вас сказали: ищите вашу дивизию в районе Бастони. Кроме того, там у меня родственник полковник Чарлз Вулворт.

— Что ж, — сказал Конвей, снова зевнув, — подавайтесь в Бастонь. Завтра туда перебазировается Сто первая воздушно-десантная дивизия. Пристройтесь к ней.

Он опустил на подушку, заложил руки за голову и сказал:

— А мне и здесь хорошо. Так воевать я согласен хоть всю жизнь...

ВЕЧЕР В КАЗИНО

Ствол стопятидесятимиллиметровки смахивает на хобот слона, когда он вздымает его, чтобы протрубить боевой клич. «Однако, — подумал капитан Франц Штольберг, — эта пушечка, хватающая на двадцать два километра, выглядит здесь весьма мирно, почти музейно». Сходство со слонем усиливалось благодаря серому чехлу, которым, как перчаткой, был обтянут ствол гаубицы. Но это же окончательно лишало ее воинственности.

Вокруг орудия на дощатом круглом обводе валялись несколько парней, не иначе как оружейная прислуга. Двое, по пояс голые, нежились в лучах горного солнца.

Горячие лучи и крахмально блистающий снег с морозными блестками — этот коктейль восхитил капитана Штольберга. Он только что прибыл с Восточного фронта, из слякоти польских проселков. В шинах его автоколонны был еще варшавский воздух. А кроме того, он любил сшибать противоположности. Это напоминало ему его самого: седоват, а лицо нестарое.

Он окликнул одного из солдат. Тот вскочил, щелкнул

каблуками, прижал локти к бедрам. Капитан спросил дорогу к коменданту. Потом кивнул в сторону орудия:

— Исправна?

— Кто? Спящая красавица?

Капитан засмеялся:

— Когда ж она проснется?

Солдат махнул рукой:

— Весной, должно быть.

Он взгляделся в погоны капитана: по голубой их оторочке увидел, что невелика птичка — всего-то транспортная служба. Он усмехнулся глупо и дерзко, буркнул: «Sieg heil!»¹, — повернулся налево кругом и пошел по обводу.

Капитан зашагал далее, энергично махая руками, посвистывая, вертя головой по сторонам. Его длинное суставчатое тело трещало на ходу, как ящик с бильярдными шарами. Он с удовольствием озирался. После бесконечных тревожных славянских просторов арденские вершины, нависавшие над городом, действовали на него успокоительно, как стены дома.

С комендантом он разговорился. Пожилой офицер, слишком старый для своего чина, слушал его хмуро.

— Нет, обер-лейтенант, я не из Берлина, — говорил Штольберг, усевшись без приглашения в потертое, но удобное кожаное кресло, явно извлеченное из какого-то частного дома. — Конечно, я очень хорошо знаю Берлин. Я там учился и подолгу живал. А сам я из Штраусберга. Не слышали? Небольшой городок. Мы соседи Берлина. Всего тридцать километров. Город страуса. У него и в гербе страус. Красивый городок, старинный, на озере. У нас там был собственный рыбный садок...

Комендант был вынужден перебить его, потому что Штольберг говорил не останавливаясь: намолчался он, что ли, там, в унылых восточных равнинах? А у коменданта дел невпроворот: шутка ли — навалилась из-под Кельна вся мантейфельская громада, 5-я танковая армия. Обер-лейтенанту удалось мельком увидеть самого генерала Гассо Эккарда фон Мантейфеля. Генерал вышел из автомобиля на площади и зашел за стену дома, вероятно по нужде, тощий, с длинным печальным лицом, похожий на задумавшегося пастора.

Комендант задал только один вопрос Штольбергу,

¹ Да здравствует победа! (нем.) — приветствие в фашистской армии.

отобрав для этого наиболее обтекаемые выражения: верно ли, что внесены некоторые поправки в закон о порядке или, точнее сказать, норме призыва в армию очередных возрастов, без сомнения вызванные важными государственными соображениями? В ответ капитан Штольберг рывкнул со свойственной ему грубоватой решительностью:

— Еще бы! Если у вас есть внучата-школьники и отец-пенсионер, распрощайтесь с ними, обер-лейтенант. Призывной возраст снижен с семнадцати с половиной до шестнадцати лет и повышен до шестидесяти. Это фольксштурм. Из них сформированы фольксгренадерские дивизии. Наши бабы, как ни тужатся, не успевают народить нам новые армии, так ведь, обер-лейтенант?

Капитан расхохотался и, видимо, собирался что-то еще добавить, но, встретив отчужденный взгляд коменданта, ничего не сказал, усмехнулся и, положив в карман ордер на постой, вышел на улицу. Сквозь свисавшие с крыш длинные сосульки хрустально преломлялось солнце, разбрасывая по сахаристому снегу оранжевые и синие полосы. Капитан глянул на небо, радостно голубевшее над домами и горами, и подумал озабоченно: «А погодка-то ведь летная...»

С Вилли Цшоке капитан Штольберг встретился вечером в офицерском казино. Тут царствовал все тот же курортный дух. Чересчур много женщин. Не говоря уж об официантках, здесь порхали телефонистки едва ли не со всех участков арденнского фронта, офицерские жены, даже матери из тех, что помоложе, и просто какие-то гости из глубины Германии, быть может из самого Берлина, пробравшиеся под всякими предложениями сюда от бомбежек, от «регламентированного снабжения», от хлеба с примесью древесной коры, попросту от полуголодного «карточного» существования — сюда, в этот спокойный сытый уголок Западного фронта.

Одна стена казино была заклеена лозунгами, призывами, изречениями фюрера. Тут же плакат, уже порядком намозоливший глаза в оккупированных областях: под словами «Верьте доброму немецкому солдату» был изображен улыбающийся солдат, обнимающий ребенка, который уписывает толстый бутерброд с колбасой.

Майор Цшоке несколько не изменился. Та же щекастая веснучатая благодушная рожа, разве только голос стал совсем хриплым. Видно, от неумолимого пьянства

у него изрядно набрякли голосовые связки. Облапив официантку, Цшоке кричал:

— Вы, молодые, учитесь, как надо ухаживать за женщиной!

Сидевший за тем столиком молодой офицер сдержанно улыбнулся. Штольберг глянул на его левую петлицу, туда, где у эсэсовских офицеров были знаки различия — плетеные квадраты, — и увидел, что перед ним гауптштурмфюрер, что соответствовало общеармейскому чину капитана. Со своими тонкими усиками и лиловатыми подглазьями на узком бледном лице эсэсовец был похож на несколько подержанного фата. Что касается Цшоке, то на нем по-прежнему были погоны с розовой окантовкой танковых войск.

Увидев Штольберга, Цшоке перестал тискать официантку и кинулся к нему:

— Как я рад тебя видеть, чертов малыш!

Штольберг не помнил, чтобы он был когда-нибудь с Цшоке на «ты». Но в этот момент его поразило другое. Если Цшоке здесь, то не значит ли это, что и 6-ю танковую армию СС пригнали сюда с Востока? Решив выяснить это обстоятельство, Штольберг присел за столик к Цшоке. Эсэсовец привстал и назвал себя:

— Гауптштурмфюрер Биттнер.

Услышав фамилию Штольберг, он посмотрел на капитана несколько более пристально, чем это принято при первом знакомстве. Впрочем, не сказал ничего. Лицо его снова приняло выражение мягкой, почти томной грусти.

Штольберг приступил к делу издадалека. Он не очень верил в опьянение Цшоке. Он не понимал, почему Цшоке так дружески прильнул к нему. Ведь отношения между ними всегда были прохладными. Особенно после нашумевшей реплики... Дело в том, что Цшоке умудрился в самом начале войны с Францией попасть в плен. Редчайший случай в те идиллические времена. После капитуляции Франции Цшоке утверждал, что он бежал из плена. Во всяком случае, на его служебной карьере это как будто не отразилось. Однажды — это было в небольшом польском городке — Цшоке, как каждое утро, вышел из дому для совершения гимнастических упражнений. Так он опохмелялся после ночных разгулов. Ставши на крыльце, он плавно воздел руки, сопровождая это глубоким вдохом, потом опустил их — выдох, и так несколько раз: руки вверх — вдох, руки вниз... В этот

момент мимо проходил Штольберг. «Не удивляйтесь, — сказал Цшоке, улыбаясь. — Я упражняюсь в правильном дыхании. Для этого я поднимаю руки вверх и...» — «Тем более что вы привыкли это делать», — сказал невозмутимо Штольберг. Острота эта быстро разошлась среди офицеров гарнизона.

Но сейчас Цшоке был любезен, может быть даже чрезмерно любезен, и подливал Штольбергу коньяк с такой ретивостью, что тот подумал: «Уж не собирается ли он подпоить меня?» Штольберг все хотел повернуть разговор на передвижения 6-й армии, да не мог подыскать подходящего повода. Цшоке засыпал его вопросами: каково сейчас в Берлине, не голодно ли там и много ли жертв от ночных англо-американских бомбежек?

— Но, конечно, присутствие духа высокое, не правда ли, Франц? Я даже слышал, что берлинцы с никогда не покидающим их чувством юмора называют фугасные бомбы «бомбоньерками»? Верно это?

Штольберг вдруг озлился. Ему захотелось проткнуть этот пузырь, раздувшийся от самодовольства.

— О! — сказал он. — Чувство юмора сейчас шагнуло так далеко, что вместо «убивать» говорят «обезвреживать» или «подвергнуть специальной обработке».

Цшоке отмахнулся:

— Так это в концлагерях по отношению к политическим преступникам и расово неполноценным. А я — о нашем здоровом берлинском юморе...

Вмешался Биттнер. Поглаживая черные усики, он сказал:

— Сейчас у берлинцев в ходу, например, такое выражение: «Думайте, о чем вы говорите, иначе вылетите в трубу».

Тон у него был нравоучительный, как у проповедника.

Цшоке захохотал:

— То есть, конечно, в дымовую трубу? В крематорий? Нет, Франц, ты только посмотри на Биттнера, на его невозмутимое лицо. Как все прирожденные юмористы, откалывает он свои словечки с ледяным видом.

Действительно, Биттнер сохранил холодное спокойствие, только чуть помаргивал презрительно. «Штука, должно быть, этот эссовец», — подумал Штольберг. Он досадовал на себя. Время шло, а он еще не выведal того, что его интересовало. Кроме того, он почувствовал, что слегка пьянеет, и испугался. «Еще не хватает, чтоб

я надрался, и тогда я вообще забуду, зачем я, собственно, подсел к этим свиньям». И он выпалил первое, что ему пришло в голову:

— Похоже, что я видел старика Зеппа Дитриха, он промелькнул в большом камуфлированном «мерседесе». Неужели его Шестая тоже рванула сюда?

Биттнер отвернулся, словно и не слышал вопроса. А Цшоке бросил пренебрежительно:

— Знаешь, я ведь не интересуюсь этими золотыми фазанами.

Он вызывающе посмотрел на Штольберга. Тот несколько оторопел. За эту дерзость — «золотые фазаны» (так, издеваясь, прозвала улица нацистских заправил) — можно было в два счета попасть в лапы гестапо. Цшоке продолжал насмешливо смотреть на Штольберга, потягивая ликер, и весь его вид говорил: да, я вот какой, я ничего не боюсь, мне море по колено. Он подозвал официантку и попытался посадить ее к себе на колени. Крупная дебелая женщина с хохотом вырвалась и убежала. Цшоке вскочил и погнался за ней.

Штольберг сказал:

— Я вижу, здесь нравы вольные.

Биттнер улыбнулся:

— Осуществляем на практике лозунг доктора Геббельса: «Сила через радость».

Штольберг не понял, говорил он это серьезно или издевался. Пожал плечами и заметил:

— Подходящее занятие для боевого танкиста.

— О,— сказал Биттнер,— майор Цшоке временно откомандирован в распоряжение третьего отдела «Группен-абвер».

— Простите мое невежество...— начал Штольберг.

— Третий отдел «Н» — это контрпропагандистская группа, которая ведает поддержанием боевого духа и нацистского образа мыслей в рядах вооруженных сил.

Вернулся Цшоке. Он плюхнулся на стул, а впрочем, был совершенно серьезен. Казалось, пьяненькое с него разом слиняло. Он посмотрел на Штольберга внимательным, изучающим взглядом, разлил по бокалам розовое «либфрау милх» и в некоторой задумчивости повертел между пальцами тонкую ножку бокала, еще раз глянул зорко из-под припухших век на Штольберга и молвил, придавая своему хриповатому голосу ласковость:

— Чудак ты был, Франц, и чудак остался. Я и титул

придумал тебе. — Он поднял бокал и возгласил: — Твое здоровье, ваше чудачество!

Злобное озорство вдруг охватило Штольберга. Он поднял бокал и сказал с поклоном:

— И твое, ваше стукачество!

Наступило молчание. Потом Цшоке сказал как ни в чем не бывало:

— Слушай, Франц, тут собирается небольшая экспедиция в горы. Ты ведь отличный лыжник. Такие люди нам нужны. Места живописнейшие, старая голландская мельница. Будешь моим заместителем. Решено?.. Что ж мы не пьем? По этому случаю еще по бокальчику...

ПОЕДИНОК

Из казино Штольберг выходил уже в сильном подпитии. Он только успел заметить, что на кузове «вандерера», в котором Цшоке подбросил его домой, зигзагообразные стреловидные молнии — эсэсовская эмблема.

Рано утром его разбудил продолжительный стук в дверь. Он встал с сильной головной болью. Солдат из комендантского управления откозырял и вручил ему два запечатанных конверта. Штольберг расписался, швырнул пакеты на стол и пошел варить кофе. Несколько согрев нутро, он распечатал первый конверт и крепко выругался.

В бумаге с грифом «совершенно секретно» значилось, что капитан технической службы Франц Штольберг назначен заместителем командира эйнзацкоманды для проведения карательной экспедиции против партизан в район мельницы в пункте Сент-Антуана. К этой бумаге были приколоты «Приложения»:

«Приложение I. Накануне выступления Вам надлежит получить на складе 028-БД: рюкзак, лыжи, бинокль, компас, а также из расчета... дней шоколад, сухари, чай, табак. Оружие легкое стрелковое, гранаты.

Приложение II. Извлечение из наставления «Боевые действия против партизан». Вводится в действие с 1 апреля 1944 года.

Ст. 31. Если предстоит двигаться по неразведанной дороге, надлежит с целью обнаружения мин принимать следующие меры предосторожности:

- а) высылать перед колонной деревянные катки;
- б) гнать впереди колонны скот.

Ст. 70. Допрос пленных является одним из лучших способов получения сведений. Поэтому захваченных партизан расстреливать *сразу* не следует.

(Слово «сразу» подчеркнуто красным карандашом.)

Ст. 78. Некоторые способы уничтожения партизанских отрядов:

...б) метод «охота на куропаток»:

«Атакующие силы оттесняют партизан, как куропаток, к оборонительным позициям нашего отряда... Такой метод рекомендуется возле позиций у реки... у лесной полосы.

(Против этих слов на полях замечание красным карандашом: «Как в данном случае».)

...Оттеснение партизан к этим позициям ведет к их уничтожению».

Тут же было «Приложение III» — извлечение из специальной директивы по борьбе против партизан штаба 257-й дивизии:

«Если допрашиваемый сначала притворяется, а позднее сообщает какие-либо сведения, его надо подвергнуть более тщательному допросу, сопровождая примерно двадцатью пятью ударами резиновой дубинкой или плетью. При этом после каждого удара добавлять слово «говори!».

(На полях красным карандашом: «Обеспечить в отряде наличие переводчика, знающего голландский и французский языки». Ниже добавлено: «...а так же русский ввиду наличия среди арденнских партизан значительного числа русских беглецов из шахт и лагерей военнопленных».)

Далее было «Приложение IV» — извлечение из «Памятки об использовании войск против партизан»:

«...8а) Партизан, захваченных в бою, надлежит допросить, а затем расстрелять или повесить;

б) к повешенным следует прикреплять табличку с надписью на местном языке: «Этот партизан не сдался».

Штольберг внимательно прочел «Приложения». Потом снова перечитал бумагу о своем назначении. В конце ее было добавлено, что о дне выступления будет извещено особо и что временное откомандование капитана Штольберга будет согласовано с его начальством.

Последняя фраза лишала Штольберга всякой возможности отговориться от ужасного задания. Что делать? Сказаться больным? Да, это единственный выход. Но как? Надо подумать. Надо посоветоваться с дивизионным врачом Миллером, он все поймет, он поможет.

Так. Теперь второй пакет. Штольберг нетерпеливо вскрыл его. Час от часу не легче! Это был вызов к имперскому военному следователю. К десяти часам утра. Штольберг посмотрел на часы: половина десятого. Он натянул сапоги, сунул голову под кран и пустил холодную воду. Вытираясь, он подумал, что этот вызов — следствие вчерашней пьяной трепотни в казино. Что-то, помнится, он разливался о «наркозе власти», о том, что «вкус власти сладок», многозначительно восклицал: «Пусть только кончится война!..» Ай-ай-ай, как плохо, а главное, как глупо... Перед кем он гарцевал! Перед старым доносчиком, а теперь, видно, абверовцем Цшоке! Правда, Цшоке тоже был пьян и тоже щеголял вольнодумством. На что Штольберг (даже сейчас, вспоминая это, несмотря на ужас своего положения, он улыбнулся) отвечал: «На словах ты либеральничаешь, а на деле сукин сын. Знаешь, Вилли, на кого ты похож? На того обывателя, который тайно посещает бардак, а уверяет, что в это время был в церкви».

Но тут безжалостная память подбросила Штольбергу еще один его вчерашний ляп, да такой, что его сейчас бросило в дрожь: «Мы преступили заповедь «не сотвори себе кумира». Мы заглушили в себе дух критицизма. Мы героизировали этого человека. Он занимает слишком большое место в нашей частной жизни...» После операции «Валькирия», как называли заговорщики июльское покушение на Гитлера, даже тень намека на критическое отношение к нему каралась смертью, притом мучительной. «Оперативно сработал Цшоке, — продолжал Штольберг ворочать в голове вчерашний вечер. — Да еще этот тост: «ваше стукачество»...» Штольберг был уверен, что донес на него именно Цшоке, а не Биттнер. «Но в таком случае, — мучительно думал он, — почему Цшоке берет меня своим заместителем в карательный отряд? Может быть, это способ испытать меня, устроить мне

проверку на политическую благонадежность? А раз так, любое уклонение от этого задания, даже болезнь, приведет в лапы гестапо».

Чувствуя, что у него в голове от всего полная заверть, Штольберг вышел из дому и побрел к военному следователю, мысленно понося себя последними словами: «Вот что значит выпивать со всякой дрянью! Ну уж тут, в разговоре со следователем, я буду осторожен. Ни одного лишнего слова. Никаких вольностей...»

— Садитесь, пожалуйста, капитан Штольберг, — сказал Биттнер, любезно пожимая ему руку.

— Так это вы следователь? — изумился Штольберг.

— Разумеется, — сказал Биттнер. — Разве это что-нибудь меняет?

«Ну и влип же я! — подумал Штольберг. — Оказывается, я трепался прямо в пасти у гестапо...»

— А знаете, вы мне что-то знакомы, — сказал он развязно, чтобы протянуть время.

— Возможно, — учтиво согласился Биттнер, — что вы меня встречали, когда я служил в учебной роте переводчиков при ОКВ¹.

«Вот откуда у него этот назидательный тон, который так не вяжется с его физиономией жуира», — подумал Штольберг. И при этом снова, как вчера, его поразила тяжелая пристальность взгляда Биттнера. Она не вязалась с томной улыбочкой, все еще не покидавшей его губ. В этом сочетании было что-то недоброе, как в желтом цвете неба перед грозой.

— Значит, вы из переводчиков махнули в эсэсовцы? — сказал Штольберг.

Он силился придать разговору стиль легкой приятельской болтовни.

— Видите ли, я до войны работал как специалист по психологии торговли в крупной фирме Титца. А ведь следователь обязан быть опытным психологом, не правда ли?

Снова этот взгляд...

Штольберг по нетерпеливости своей натуры решил идти ва-банк.

— Слушайте, Биттнер, — сказал он, — мы все были вчера изрядно выпивши.

¹ ОКВ — верховное командование фашистской армии.

Биттнер перебил его.

— Неужели вы думаете, — сказал он меланхолично, — что я побеспокоил вас по поводу безобидной болтовни за стаканом вина?

Казалось, он тоже включился в этот тон дружеской солдатской беседы у костра.

— В таком случае... — обрадованно и удивленно сказал Штольберг.

Длинной рукой Биттнер доверительно коснулся колена Штольберга.

— Вы заподозрены в действиях, которые носят угрожающий государству характер.

Штольберг оторопел, потом рассмеялся — до того это было неожиданно.

Биттнер сел за стол. Не то чтобы он сразу переменялся, нет, по-прежнему на лице его покоилось выражение мягкой грусти. Но уже не было солдатской беседы у костра, над которым висит котелок с вкусной дымящейся тюрей, откуда они по-братски черпают ложками. Теперь между ними залегали ледяные пространства письменного стола, папки, досье, высокий узкий стакан, ошетилившийся остро отточенными карандашами.

Но Штольберг словно и не замечал этой перемены. Он по-прежнему балагурил:

— Слушайте, Биттнер, а она не прогорела, эта фирма, где вы работали психологом по торговле, а? Нет, серьезно, вы, наверное, спутали меня с кем-то другим.

Биттнер задумчиво огладил свои щегольские черные усы и сказал, не повышая голоса:

— Вам известно такое имя — Ядзя-с-косичками?

Вот оно что!

Штольбергу понадобилось собрать все свое самообладание, чтобы не вскрикнуть, не измениться в лице и сказать с хорошо разыгранным недоумением:

— Какое дурацкое имя!

Биттнер посмотрел на Штольберга с нежным укором:

— Скажу вам откровенно, мой дорогой, провести столько времени на Восточном фронте в генерал-губернаторстве и не слышать имени этой знаменитой партизанки — в это трудно поверить.

— Баба-партизанка? Были и такие? — сказал Штольберг.

«Не переигрываю ли я», — подумал он и добавил:

— Напомните-ка мне, может, я и вспомню.

И пока Биттнер мерным скучающим голосом пере-

числял: участие Ядзи в знаменитой акции 17 октября сорокового года, когда в отмщение за повешенных поляков в одну ночь было уничтожено тридцать четыре германских офицера; налет с участием Ядзи на германскую кассу, где был захвачен миллион злотых (Штольберг зашелкал языком — ц-ц-ц! — самым естественным тоном); наконец, чтоб не распространяться об остальном, неслыханное по дерзости убийство начальника гестапо у него же в кабинете, куда Ядзя проникла с поддельной кеннкарте¹ на фальшивое имя Эрики Неттельхорст.

Биттнер очень отчетливо произнес это имя. А Штольбергу тем легче было изобразить на лице полное недоумение, что действительно он слышал это имя впервые. Мысленно он усмехнулся: до того нелепым представилось ему, что он спрашивает у Ядзи документ в ту минуту, когда упрятывал ее в ящик из-под македонских сигарет, а кругом топали искавшие ее эсэсовцы.

— Я позволил себе побеспокоить вас, капитан...

Штольберг насторожился. В голосе Биттнера появилось что-то рокочущее, словно отдаленный раскат приближающейся грозы.

— ...потому что в этот день вскоре после убийства полковника из этого места, то есть недалеко от Сандомежа, вышла автоколонна, груженная пустой тарой из-под продовольствия. Это были ящики крупной вместимости, куда при желании свободно можно было упрятать человека небольших габаритов. Известно, что транспортировкой тары ведали вы.

В общем, Биттнер говорил довольно корректно. Вот только последнее слово, это «вы», он внезапно точно отхватил топором.

— Ядзя... Ядзя... — медленно проговорил Штольберг.

Он нахмурился, задумчиво уставился в потолок, всем своим видом показывая, что роется в памяти.

— Так Ядзя, говорите?

— Ядзя-с-косичками, — довольно нетерпеливо сказал Биттнер.

— Помню, зацапали мы такого Андрея из хлопского батальона, — вдумчиво врал Штольберг. — Так мы его, знаете, на месте... Потом — это было где-то недалеко от

¹ Удостоверение личности в оккупированных немцами областях.

Барнува, — как же его звали?.. Ага, Стефан! Мы его отправили в Аушвиц¹. Ну а там, конечно, — как это вы вчера здорово сказали! — его пустили в трубу.

— Так это же все мужчины, — сказал Биттнер уже с некоторой досадой.

— Да... Погодите, еще там были... Дай бог памяти...

— Мужчины?

— Да... Ах, вы ищете бабу? Вот что-то баб нам не попадалось... А имена этих парней я вам сейчас припомню...

— Да нет, не трудитесь. Вы лучше постарайтесь вспомнить Ядзю. Это очень важно для вас же.

— Для меня? Почему?

— Потому что ваша забывчивость может быть принята за притворство.

— Ерунда! На кой черт мне притворяться!

— Прямой расчет, — пояснил Биттнер.

И тоном вполне деловитым, даже каким-то монотонно-канцелярским он начал излагать, почему это выгодно для Штольберга. Первое: свести все это дело о побеге Ядзи к неопределенности, утопить его в тумане невещественности. Второе: придать делу характер незначительности. Третье: окончательно отодвинуть себя от этого дела в такую отдаленность, что не то чтобы участником, но даже свидетелем по нему Штольберг быть не может.

Штольберг мрачно слушал. Он видел, что пес вышел на след. Но его взорвал этот канцелярски-деловитый говорок Биттнера, эта бездушная машинообразность поведения. И Штольберг заорал:

— Опомнитесь! Что за чушь вы несете?

Биттнер удовлетворенно улыбнулся. Видимо, это и было его целью — вышибить Штольберга из равновесия и сгоряча заставить его проговориться.

И Штольберг это понял. Но ему было наплевать. В нем заговорила самолюбивая спортивная злость. Неужели этот чопорный кобель переиграет его? Он уже не думал о том страшном, что ему, быть может, грозит. Он чувствовал одно: волю к победе в этой игре. Он заставил себя улыбнуться.

— Я вижу, старик, вы глубоко разочарованы: не удастся упечь меня в кутузку!

Биттнер покачал головой с некоторой грустью.

¹ Освенцим.

— Мера пресечения, — сказал он, — тут другая.

— Какая? — не удержался Штольберг.

Биттнер сказал тихо:

— Эшафот.

— Эшафот?

— Да. Отсечение головы. — Помолчав, он добавил: — И это еще лучший исход. — Он закурил сигарету, искоса глянул на Штольберга и продолжал: — Представьте себе полутемное помещение с голыми стенами на первом этаже берлинской тюрьмы Плетцензее. В потолок ввинчены крюки, на них петли-удавки. Процесс повешения рассчитан так, что происходит медленное удушение — минут пять. Конечно, обезглавливание лучше.

Он не спускал глаз со Штольберга.

Тот снова засмеялся и сказал:

— Это очень мило с вашей стороны — предлагать мне такой богатый выбор. — Потом уже серьезно: — Знаете, Биттнер, а наш друг Цшоке совершенно прав: вы действительно, как прирожденный юморист, откалываете свои остроты с ледяным видом. Манера классного остряка! Правда, у вас, я сказал бы, несколько макабрический стиль.

Досада впервые промелькнула на лице Биттнера. То ли ему надоело, что его считают юмористом и к тому серьезному, что он говорит, относятся как к каким-то клоунским выходкам. То ли он заподозрил, что над ним просто потешаются. Он нырнул в гору папок, извлек оттуда бумагу и протянул ее Штольбергу:

— Читайте.

— Что это?

— Протокол казни.

Штольберг забыл согнать с лица улыбку. Так она, покауда он читал протокол, и сохранялась на его лице, подобно тому как сброшенная одежда сохраняет форму тела.

В левом углу бумаги штамп: «Народный трибунал». Прочтя эти два слова, Штольберг с трудом сдержал волнение. Так вот чем Биттнер его стращает! Обычный суд, который выносил приговоры тоже под давлением нацистских органов, начал казаться властям слишком медлительным, слишком приверженным к соблюдению юридических норм. Народный трибунал — он был создан для рассмотрения дел о государственных пре-

ступлениях — отшел все эти процессуальные тонкости. Здесь было упрощенное судопроизводство. А мера наказания одна: смерть.

Народный трибунал
Каторжная тюрьма
Плетцензее Кенигсдам, 7
Телефон 356231

ПРОТОКОЛ

исполнение смертного приговора
над Ю л и у с о м Л е б е р о м
за государственную измену
в боевой обстановке

Присутствовали:

Главный прокурор нар. трибунала Лауст
Инспектор тюремной канцелярии А. Бауэр
Тюремный врач Э. Кнотцер

В 21 ч. 05 м. приговоренный в кандалах был введен конвоирами в смертную камеру. Здесь уже находился палач Реттгер и три его подручных.

Штольберг отер пот со лба.

Было произведено установление идентичности личности приговоренного. После чего были оголены шея и плечи приговоренного.

На шею его была опущена петля.

Совершив повешение, палач доложил о его успешности.

Процедура заняла восемь с половиной минут.

Старший советник военного суда	(подпись)
Инспектор тюремной канцелярии	(подпись)
Тюремный врач	(подпись)
Палач	(подпись)

— Вы улыбаетесь? — Биттнер не скрывал раздражения.

— А я представил себе, — сказал Штольберг, — как

эти смертники, выдвинув голову из петли, кроют своих палачей.

Биттнер искоса посмотрел на Штольберга, как бы проверяя, в самом ли деле он глуп или придуривается из тактических соображений.

— Это предусмотрено, — сказал он холодно. — Чтобы смертники перед казнью молчали, им заливают рот гипсом.

Штольберг напрягся, чтобы сдержать дрожь.

— И вы при этом присутствовали? — спросил он. — Но, по-видимому, не в качестве приговоренного, судя по тому, что ваша голова, если мне не изменяет зрение, у вас на плечах.

Штольберг говорил длинными витиеватыми фразами, чтобы дать себе время опомниться. Он не хотел, чтобы Биттнер увидел, что в него прокрался страх.

— Я там не был, — сухо сказал Биттнер, — мне рассказали.

«Врет, был, — подумал Штольберг. — Он маленький, подленький человечек. И откуда Германия выгребла их в таком количестве? Самое ужасное в том, что всегда находится именно столько палачей, сколько им нужно. А Гете один, Эйнштейн один...»

— Вот вы упомянули, капитан, — сказал Биттнер, взяв протокол из рук Штольберга и аккуратно укладывая его в папку. — Вот вы упомянули, что ящики обвязывали веревками.

— Я этого не говорил!

Он подумал: «Ловит»... И весь напрягся внутренне, готовясь к отпору.

— Разве не говорили? — сказал Биттнер, несколько не смутившись. — Так все-таки обвязывали?

— Не знаю. Это ведь не на мне лежало. Мое дело транспорт. А упаковка — это дело отправителя.

— Так, так...

Биттнер забарабанил пальцами по столу.

Уже не было ни лирики, ни солдатского братства. А были охотник и дичь. Ну, пока она еще не поймана. Она ускользает. Внезапно Биттнер спросил:

— Вы были членом НСДАП?

— Да.

— И даже штурмовиком?

— Да.

¹ НСДАП — национал-социалистическая партия.

— Но потом сделали шаг влево и вышли из партии?

— Не совсем так.

— То есть?

«Чем короче я говорю, тем лучше», — подумал Штольберг и сказал:

— Меня исключили.

Биттнер оживился:

— За что?

— За связь с расово неполноценной женщиной.

Биттнер ничего не сказал. Он снова извлек из папки какую-то бумагу и углубился в чтение.

Штольберг в это время думал: «Он все знает. Он ловит меня: сокру или нет? Все данные обо мне перед ним. Я должен во что бы то ни стало произвести на него впечатление искреннего малого. Главного-то он все-таки, по-видимому, не знает. А вдруг знает? — Штольберг лихорадочно соображал: — Уж не шофер ли меня выдал? Не может быть, Ганс — верный парень. Но ведь только он и мог выдать. Может быть, его пытали...» Подняв голову, Штольберг увидел, что Биттнер за ним наблюдает. «Неужели у меня озабоченное лицо?»

— Значит, — медленно сказал Биттнер, — не помните?

Штольберг уже не помнил, чего он не помнит.

— Слушайте, Биттнер, — сказал он устало, — вы представляете себе, сколько ящиков во время войны я перевез?

— Безусловно, — вежливо согласился Биттнер, — но...

Он замолчал, закурил сигарету. По-видимому, эта пауза ему нужна — пусть Штольберг томится в ожидании. От этого слабеют духом.

— Но, — продолжал он, путив в воздух из округленного рта колечко дыма, — но из всего этого неисчислимого множества ящиков нас интересует только один: тот, в котором сидела Ядзя. — Он вынул из папки бумагу и помахал ею в воздухе: — А об этом документике вы не забыли?

Штольберг сразу узнал этот позорный «документик». Как и другие военнослужащие на Восточном фронте, он был вынужден подписать его:

«Я поставлен командованием в известность, что в случае моего перехода на сторону русских весь мой род — отец, мать, жена, дети и внуки будут расстреляны».

Штольберг пожал плечами, сделав равнодушное лицо.

— То есть вы хотите сказать, — тотчас подхватил Биттнер, не сводя с него тяжелого взгляда, — что Ядзя-скосичками не русская, а полька? Но ведь это пустая отговорка.

Штольберг молчал. Он устало подумал: «Признаться, что ли?»

Биттнер добавил:

— Или, может быть, это был не единственный случай? Может быть, это был способ освобождения польских партизан?

Штольберг искренне удивился. Мысль о том, что партизаны почему зря разъезжали по стране в бисквитных и табачных ящиках, показалась Штольбергу до того забавной, что он рассмеялся. «Да нет, ничего не знает, ловит... Знал бы, так не тянул бы с допросом... А может быть, знает, но ему нужно мое собственное признание. Для полного успеха. Это будет его заслугой». Биттнер устало потянулся. «Он тоже устал, как и я, — подумал Штольберг, — а может быть, это иезуитский следовательский приемчик. Будем насто-роже».

Биттнер протяжно зевнул и сказал, преодолевая зевоту:

— В общем, картина ясна. Да, вот еще вопросик, так сказать, для полноты впечатления: можно ли забраться в ящики так, чтобы вы не заметили?

«Отчего же, можно», — хотел было сказать Штольберг, потому что этот вопрос был как бы протянутая рука помощи. Допустим, что Ядзя пробралась в ящик где-то в хвосте колонны, она ведь длинная, а Штольберг не заметил — и все! И делу конец. Но тут же мгновенно он сдержал готовое сорваться с языка «отчего же, можно». Ибо это было бы почти равносильно признанию. Да! Это ловушка! Капкан! Пробралась незаметно? Допустим. А вышла как?..

— Что вы! — сказал Штольберг сурово. — Даже мышшь не могла бы проскользнуть в мою колонну.

— Ну что же, — сказал Биттнер добродушно, — я думаю, капитан, на сегодня довольно.

— На сегодня? — удивился Штольберг. — Вы что же, думаете продолжать это странное занятие?

— Истина иногда играет с нами в прятки, — сказал Биттнер, — но в конце концов мы ее находим.

Он медленно поднялся.

«Если он меня сейчас ударит, — решил Штольберг, — я не сдержусь, расквашу его благочестивую сутенерскую рожу. А там что будет, то будет».

Биттнер наклонился к Штольбергу и сказал озабоченно и сочувственно:

— Устали?

Штольберг вздохнул облегченно, но не принял этого дара. Он сказал резко:

— А где протокол допроса, ведь я должен его подписать.

Улыбка не сходила с лица Биттнера, — по-видимому, он заказал ее надолго.

— Помилуйте, — сказал он. — Какой допрос? Мы с вами просто беседуем.

Штольберг вскочил:

— Ах так? В таком случае прошу меня простить. У меня служебные дела, и мне некогда заниматься разговорчиками.

Биттнер развел руками:

— Не смею вас задерживать.

Они пошли к выходу. Уже у самых дверей Биттнер сказал:

— Чуть не забыл!

Лицо его в полутьме коридора было совсем близко. Штольберг сжал кулаки и не спускал глаз с его крупного носа и тоненьких фатовских усов.

— Это был какой-нибудь особенный рейс или обыкновенный, рядовой?

«Самый что ни на есть обыкновенный, — чуть было не ляпнул Штольберг. И тут же спохватился: — Боже мой! Чуть не рухнул. Стоило мне только сказать, какой это был рейс, — и я пропал!» Он выдавил из себя смешок:

— Знаете, Биттнер, в конце концов это становится забавным. Вы спрашиваете меня о каком-то случае, о котором я ни черта не знаю. Наша беседа похожа на разговор глухих.

Биттнер рассмеялся.

— Ну, я надеюсь, — сказал он, дружески положив руку на плечо капитану, — завтра мы будем разговаривать более определенно.

«Как? И завтра это мучительство?» А вслух Штольберг сказал:

— Думаю, что вам я могу это сказать. Я назначен...

— В карательную экспедицию в партизанский район. — перебил его Биттнер.

«Он и это знает!» — с ужасом подумал Штольберг.

— Но срок выступления, — продолжал Биттнер, — во всяком случае, еще не завтра...

ИЗ ДНЕВНИКА КАПИТАНА ФРАНЦА ШТОЛЬБЕРГА

«Вчера после допроса я уже считал себя «Totwürdig»¹, как вдруг сегодня этот подонок Биттнер известил меня, что не надо приходить на второй допрос. Я подумал: это потому, что я умело повел себя на первом допросе. Я был похож вчера на искусного фехтовальщика, с той только разницей, что это было не спортивное состязание, а борьба за жизнь».

Штольберг отложил перо. Ему показалось, что он прихорашивает себя. Он вымарал несколько строк. Мало того: он тут же записал признание, что вымарал их потому, что искажил правду. После этого он вернулся к разговору с Биттнером:

«Я не удержался и спросил его, почему он прервал следствие. Он отмахнулся: «Не до того». Он казался взволнованным. Я поспешил к Цшоке с медицинской справкой, которую вырвал у доктора Миллера. Но только я заикнулся о ней, как Цшоке заорал: «Экспедиция отменена!» — «Почему?» — «Не до того». В течение дня я несколько раз слышал это выражение. Казалось, оно заменило прежнее: «Рванем весной». Если добавить, что получен срочный приказ принять сейчас ежегодную присягу от всех Parteigenosse на верность фюреру, то есть значительно раньше обычного срока, то, очевидно, что-то более значительное вытеснило и отменило все остальное, в том числе и мое «дело» и карательную экспедицию...»

Штольберг снова отложил перо и задумался. А стоит ли записывать все это? Особенно сейчас, когда эти ищущие заинтересовались им? Не благоразумнее ли уничтожить дневник?

¹ «Достойный смерти» (нем.) — фашистский термин для приговоренных к смертной казни.

Он полистал тетрадь. И вдруг ему стало жаль расставаться с ней. Сюда занесено столько фактов и сведений поистине примечательных для лица эпохи. А ведь забудутся! От кого же узнают люди об этих необыкновенных временах, если не от нас, очевидцев и участников?

Может быть, просто прятать тетрадь более тщательно, чем до сих пор? Но тут же Штольберг посмеялся над самим собой: «Уж если за мной придут, ни одной щелочки не оставят непроверенной».

Нет, нельзя уничтожить дневник. Это так же противоестественно, как убить живое. Тем более кто знает, как повернутся события? Он перечел предыдущие строки, взял перо и продолжал:

«Сопоставив все это с тем, что в Арденны переброшены две армии, я прихожу к убеждению, что, очевидно, ожидается наступление англо-американских войск. Да, очевидно, это так! Вероятно, Эйзенхауэр очнулся от своей зимней спячки и заносит руку над нами. Наверное, он собрал кулак и собирается рвануть от Ахена. Вот тебе и «курортный фронт» в Арденнах! Сумеем ли мы сдерживать натиск англо-американцев? Поговорить бы... Да с кем?

А Гитлер сидит где-то в Восточной Пруссии под Растенбургом, в своем Вольфшанце¹ в глубине леса. Люди, побывавшие там, говорят, что лес там до того густой, что солнце не проникает к Гитлеру. Там он сидит далеко от нас и решает наши судьбы...»

В СТАВКЕ ГИТЛЕРА

Но Гитлер был гораздо ближе. В сопредельной с Арденнами немецкой земле, у города Цигенберг. Сюда с крайнего востока Германии, из Герлицкого леса, что у города Растенбурга, на крайний запад ее, в горное гнездо Таунус, он еще 11 декабря неожиданно перенес свою ставку. И назвал ее «Адлерхорст». Сюда от станции Герлиц в специальном поезде «Атлас» через всю империю везли обстановку из Вольфшанце, ибо фюрер изъявил желание, чтобы его новая штаб-квартира ничем не

¹ Волчье логово (нем.).

отличалась от старой в его излюбленной Восточной Пруссии, куда сейчас с непостижимой поспешностью прорываются славянские орды. Впрочем, об этом Гитлер предпочитал не думать, так как у него уже был готов план в самый короткий срок снова переманить военное счастье на свою сторону.

И все здесь стало, как в Вольфшанце. Как и там, не вдруг распознаешь обиталище фюрера — невысокий снежный холм, сплошь заросший кустарником. Надо было чуть ли не носом уткнуться в него, чтобы обнаружить небольшую дверь, выкрашенную по зимнему времени в белый цвет. За дверью начинался длинный каменный коридор, упиравшийся в другую дверь, массивную, стальную. Она открывалась нажатием кнопки, упрятанной в стене. За дверью кабинет фюрера, огромный, со сводчатым потолком, откуда свисали стилизованные сталактиты, — не то церковный придел, не то пещера: причуда Гитлера, все еще воображавшего себя гениальным архитектором, обреченным отказаться от строительства зданий (так и не приступив к нему), для того чтобы строить новый мир. У задней стены кабинета — просторный стол из черного мореного дуба. Столешница покоится на двух мощных тумбах. На правой тумбе с ее наружной стороны так, чтобы это сразу бросалось в глаза посетителям, сверкала ярко начищенная серебряная табличка с отчеканенной надписью: *«Стол императора французов Наполеона Бонапарта в годы 1804—1810»*. Рядом на полу меховой коврик для Blondi, любимой овчарки фюрера.

Снаружи этот белый холм окружен минным полем и шестью заборами из колючей проволоки. Разумеется, там есть проход. Но без провожатого не сунешься: проволока всегда находится под высоким напряжением.

Новой ставке надо было дать кодовое имя — очевидно, в стиле тех высокопарных кличек, которые диктовал Гитлеру его мещанский эстетизм, вроде «Волчьего логова» в Восточной Пруссии, или «Альпийской крепости» в Берхтесгадене, или «Оборотня» в ставке под Винницей. После недолгого раздумья Гитлер окрестил свою новую штаб-квартиру «Адлерхорст» — «Орлиное гнездо».

Вместе с обстановкой в «Орлиное гнездо» переехал двор Гитлера: его камердинер Линге, его шофер Эрих Кемпка, его врач Теодор Морелль, его пилоты Битц

и Бауэр, его фотограф Генрих Гоффман и его зять группенфюрер СС Герман Фогелейн, сделавшийся приближенным Гитлера, когда женился на сестре Евы Браун. В этой среде браки заключались только внутри касты, между своими. Семьи высокопоставленных чиновников рождались между собой. Это еще больше сплачивало касту. Чужих не впускали в это сановное сословие, боясь проникновения жадных, завистливых людей с другой психологией, быть может, с другими политическими воззрениями, быть может, объятых социальным гневом. А также потому, что это было просто невыгодно.

Переехал сюда также женский кружок — Ева Браун, Магда Геббельс, Луиза Йодль и та несколько мужеподобная секретарша Бормана, к которой ревновала Ева Браун; в их среде Гитлер любил проводить послеобеденных два часа, превращаясь из всемогущего властителя в галантного юбочника, каким он бывал в те времена, когда таскался по значным местам Берлина.

Переехала также библиотека Гитлера: «Малый лексикон» Кнаура, «Поход в Россию 1812 года» Филиппа де Сегюра, адъютанта Наполеона, речи Бенито Муссолини, военные сочинения Мольтке, Шлиффена, Клаузевица, «Жизнеописание Чингисхана», Елена Блаватская — «Ключ к теософии», Юлий Цезарь — «О Галльской войне», несколько романов Казимира Эдшмидта, совершившего головокружительное сальто-мортале из задиристого экспрессионизма в уютное болото национал-социализма, а также изрядное количество экземпляров книги Гитлера «Майн кампф». Как известно, фюрер написал ее, а вернее, продиктовал Маурицу и Гессу еще десятка два лет назад. К тому времени другие ведущие нацисты, например Розенберг или Эккарт, уже были авторами глубокомысленных политических и даже философских бредней. И это просто неприлично, что лидер партии Адольф Гитлер до сих пор не произвел на свет хоть самой завалющейся брошюры. Надо доказать всем этим заносчивым свиньям и вообще народу, что хотя он, ваш фюрер, не нюхал разных там университетов и не допер даже до аттестата зрелости, тем не менее он может швырнуть вам в морду десяток-другой цитат и вообще является глубоким мыслителем, черт побери! Так появилась на свет «Моя борьба» с ее водянистым стилем, напыщенными библеизмами и ницшеизмами, с ее самолюбованием и самовлюбленностью, и не много было

людей даже среди членов партии, у которых хватило терпения дочитать ее до конца.

В утренние и даже дневные часы в ставке Гитлера царилла благоговейная тишина. Гитлер превратил день в ночь. Он бодрствовал до четырех часов утра. И все окружающие, и генштабисты, и консультанты, вызванные для справок, и жалобщики, и генералы, явившиеся за распоряжениями, и прожектеры, удостоенные приема, и доносчики, примчавшиеся со свеженькими новостями, не смеют сомкнуть глаз.

Тут же в углу коридора стоит большая, только что срубленная елка. Ее мохнатые лапы охвачены широким полотнищем, верхушка упирается в потолок. Она испускает приятный смолистый запах. Через несколько дней рождество. Но никто не знает, будет ли фюрер праздновать его, и если да, то как и с кем. Он ведь не христианин, а придерживается каких-то язычески-оперных обрядов. Все же елку срубили на всякий случай.

Вообще же говоря, эти дни наполнены тревожным предчувствием каких-то чрезвычайных событий. Несмотря на тщательную конспирацию, невозможно было скрыть передвижение с востока крупных воинских сил. Как и капитан Штольберг, многие полагали, что предстоит большое наступление англо-американских сил и принимаются меры для его отражения.

И никто не знал, что еще около двух месяцев назад, а точнее 1 ноября, еще там, в «Волчьем логове», Гитлер вызвал к себе фельдмаршала Вальтера фон Моделя, своего фаворита, и фельдмаршала Герда фон Рундштедта, единственного из старых германских генералов, еще не изгнанного им из армии. Гитлер не любил его, но ценил за огромный военный опыт.

Что касается Рундштедта, то поначалу он ничего не имел против Гитлера. Возрождение германской армии, захват Австрии, Чехословакии, победоносные походы на Францию, на Польшу — все это Рундштедтом одобрялось, поддерживалось, даже восхищало его. Нацистская идеология? Что ж, и это, в общем, не противоречило взглядам Рундштедта. В его среде родовитых помещиков издавна считалось, что Германия призвана править Европой, а в дальнейшем и миром, что немецкая чистопородность — величайшее благо, что французы — вырождающаяся нация, славяне — недочеловеки, а евреи вовсе не люди. Но когда военное счастье отшатнулось от Гитлера и одна за другой загрохотали катастрофы под

Сталинградом, на Курской дуге, в Сицилии, во Франции, Рундштедт почувствовал презрение к этому неудачнику, этому недоучке ефрейтору, вскарабкавшемуся на диктаторский трон. Но уже не мог отлепиться от него, так как (так же как и генерал-полковник Гудериан) был перевит с ним кровавой веревочкой.

Другое дело Модель. Безжалостный и сентиментальный, он считал величайшей добродетелью фанатичное повиновение власти. Он делал быструю и блестящую военную карьеру, хотя никаких выдающихся побед за ним не числилось. Но ему покровительствовал Гиммлер, разгадавший в нем родственную натуру. Одно из качеств, необходимых полководцу, у Моделя, во всяком случае, было: решительность. Но — в незначительных ситуациях. Он обладал свойством быстро подгрести и подтаскивать резервы, но опять-таки во второстепенных положениях. Его прозвали «скорая помощь» или «аварийная служба», в конце концов за ним утвердилась кличка «пожарный для безнадежных положений».

Оба фельдмаршала стояли потому, что стоял фюрер. Его гигантская тень стлалась по полу и, скользя на заднюю стену, затмила ее. Не задержавшись здесь, она вскарабкалась на потолок, сжалась в шар и стала похожа на большой флакон с маленькой пробкой.

Только взглядевшись, можно было увидеть в углу вторую тень фюрера — рейхслейтера Мартина Бормана, шефа партийной канцелярии, коренастого брюнета с борцовской шеей. Бесшумно отворяя потайную дверь, один за другим входили и застывали министр пропаганды и просвещения доктор философии Иозеф Геббельс, начальник штаба оперативного руководства генерал-полковник Альфред Йодль, бывший венский адвокат, а ныне начальник всех фашистских полиций Эрнст Кальтенбруннер, каланча, увенчанная конской мордой.

Гитлер принимал фельдмаршалов стоя не потому, что хотел подчеркнуть этим холодность приема, а для того, чтобы придать ему торжественность. Он собирался сообщить им нечто чрезвычайное. Правда, была еще одна причина, по которой он предпочитал стоять: в этом состоянии не так заметны были судорожные подергивания его ног.

Пока он молчал — а молчал он тоже для того, чтобы нагнетать торжественность, — оба фельдмаршала испытывали почти непреодолимое желание переглянуться. Но они остерегались сделать это. Это могло быть принято

за сговор. За особый тайный язык взглядов. Как есть тайнопись, так есть (возможно?) и тайноглядь. А сговор — это уже почти заговор. Ведь после июльского покушения на фюрера было умерщвлено народным трибуналом и иными, еще более скоростными способами не менее пяти тысяч немцев. Уничтожали целыми семьями. Притом по методу, предписанному фюрером: «Вешать, как скотину!» И вешали — на мясных крюках. А так как ввиду массовости мероприятия веревок не хватило, пустил в ход для удушения фортепьянные струны. Эсэсовские вешатели получали добавочную порцию спирта и колбасы. И именно он, фельдмаршал Герд фон Рундштедт, был назначен председателем военного «суда чести» для расправы над заговорщиками. И не посмел отказаться — уж очень он привязан к своей старой шкуре.

Так зачем же переглядываться? Не стоит, право. Тем более что там же в тени стоит око Гитлера — уколиций человек в пенсне, с фюрерскими усиками под носом, всеми ненавидимый рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Рундштедту и Моделю казалось, что к каждому из них приставлен офицер СС.

А переглянуться фельдмаршалам страсть как хотелось! Потому что уж очень поразили их новые разрушения в облике Гитлера. То, что левая рука его тряслась, а щеки были испещрены красными пятнами, это уже не ново, это появилось после поражения под Сталинградом. Положим, Рундштедт не очень верил в столь патристическое происхождение этой гитлеровской трясучки. Придворный врач фюрера Теодор Морелль шепнул Рундштедту в минуту приятельской откровенности, что болезнь Гитлера *paralysis agitans*, или в просторечии Паркинсонова болезнь, есть следствие не столько сталинградского разгрома, сколько гриппа или венерической болезни. Впрочем, сейчас левая рука не тряслась. Гитлер плотно прижал ее к боку как по команде «смирно». Сейчас фельдмаршалам показалось, что Гитлер стал ниже ростом и ссохся. А между тем лицо раздулось, особенно правая щека, словно отекала.

Но вот он заговорил. И перед ними — прежний Гитлер. Снова эти не то лающие, не то квакающие звуки, ставшие каноном красноречия для нацистских ораторов. Необычайно широко открывается рот и захлопывается резко, едва ли не с шумом.

Однако фельдмаршалы перестали обращать внима-

ние на внешность Гитлера — так поразило их то, что он им сказал.

— Я решил нанести решающий удар на Западном фронте. Я выбрал для этого Арденны, где англо-американцы не смогут противостоять мне. С вершин Эйфеля мы низринемся к реке Маас. Мы форсируем ее и бросимся на Брюссель и Антверпен. Да, господа! Мы пройдем горы и покатаемся по равнине! Вперед! Только вперед! Не обращая внимания на фланги! Я расколю фронт англо-американских войск! — Слюна пузырилась в уголках его рта и походила на пену. — Севернее Антверпена я загоню британскую группу войск в эту западную между Рейном и Мозелем и там уничтожу ее!

Голос его истончился, временами переходил почти в фальцет. Он выбрасывал слова с необыкновенной энергией и даже яростно, как всегда, когда заговаривал об англичанах.

— Удар будет внезапен. Это будет похоже на убийство спящего, и мы имеем на это право! Я отвечаю за все!

Модель слушал его как завороченный. Он смотрел на фюрера с обожанием. Иссеченное морщинами и все же молодежавое лицо Рундштедта сохраняло вежливое внимание. Он был строен, несмотря на свои преклонные годы, мундир его даже во фронтовой обстановке выглядел щегольски.

— Мы повторим блистательный удар сорокового года на Францию. Рундштедт, вы помните, каким вихрем мы тогда промчались через Арденны?

— Мой фюрер, у нас тогда было сорок пять дивизий. Из них семь танковых. И нам противостояло только семнадцать французских дивизий и ни одной танковой.

Рундштедт говорил, как всегда, лениво и важно, слегка нараспев. Голос его с барственными искорками раздражал Гитлера. Но на этот раз он сдержался.

— А сейчас, — сказал он, хмурясь, — нашим двадцати одной дивизии противостоят только три американских пехотных дивизии — Вторая, Четвертая и Двадцать восьмая, сильно потрепанные, да! Выдохшиеся в боях на реке Роер! Мы сомнем их и перемелем! Это будет поворотный момент в войне. Хваленый англо-американо-русский «единый фронт» развалится с оглушительным грохотом. Западные державы вынуждены будут заключить со мной сепаратный мир. Мы останемся наедине с Россией и обескровим ее. История не простит мне, если я упушу этот момент.

Казалось, магнетическому красноречию Гитлера все равно, изливаться ли на многочисленные толпы на площадях или на нескольких человек в комнате.

Рундштедт тихонько вздохнул и перестал слушать. «Почему эти властители так многоглаголивы? — думал он. — Не от уверенности ли, что никто не посмеет их перебить?» Фельдмаршал вспомнил последнего германского императора. Право, Гитлер походит чем-то на Вильгельма II — хотя бы властолюбием, маниакальным самомнением и, уж конечно, велеречивостью. В ту пору, когда Рундштедт был молоденьким фендриком, какой-то солдат спросил его, что означают буквы I. R., неизменно сопровождающие имя императора. Вместо того чтобы объяснить, что это начальные буквы латинских слов «Imperator. Rex»¹, острый на язык Рундштедт сказал «Immer Redender»². Это ему стоило недели на гауптвахте.

Повелительным кивком Гитлер подозвал фельдмаршалов. Все трое склонились над оперативной картой, застилавшей огромный наполеоновский стол. Из мрака вынырнул адъютант по делам вооруженных сил, он же начальник управления личного состава, генерал пехоты Вильгельм Бургдорф, с лакейской прытью засветил над картой ослепительно яркую лампу. Зазмеились зеленые отроги Арденнских гор. Их пересекали синие стрелы грядущего наступления. Гитлер нацепил на нос очки и взял в руку указку.

— Перейдем к диспозиции. Мы будем прорывать фронт южнее Лютиха, на участке Монжуа — Эстернах — Живэ.

Указка фюрера грациозно порхала среди ущелий, меридианов, изотермических линий и горных потоков.

— На седьмой день операции мы прижмем их к Антверпену и создадим второй Дюнкерк. На этот раз я не пощажу их! Мы уничтожим четыре армии: Первую канадскую, Вторую английскую, Первую и Девятую американские!

Гитлер начал сыпать номерами частей и соединений немецких 5-й и 6-й танковых армий и даже именами их командиров. «У него недурная память», — подумал Рундштедт. Он вежливо кивал вслед за пулеметной скороговоркой Гитлера, а сам в это время думал: «Черчилль

¹ Император. Царь.

² Всегда говорящий (нем.).

назвал его «крававым недоноском»? Дорваться бы до Черчилля — уж он бы его вздернул. И хотя сейчас он надеется на сепаратный мир с Черчиллем, в каком-то отдаленном будущем он видит его в петле». Мысли эти никак не отражались на каменном лице Рундштедта. Когда он обращался к Гитлеру, видны были его старания казаться любезным.

Гитлер чуть повернул голову и крикнул через плечо:
— Йодль!

От темной стены отделился высокий худой генерал. Сдержанный, какой-то отчужденный, с надменно опущенными уголками рта, Альфред Йодль, штабная крыса, маскировал свою придворную льстивость наигранно-грубоватой солдатской прямоотой. Всегда чопорный, сейчас он выглядел нетерпеливым и даже раздраженным. Казалось, от тесного общения с Гитлером он приобрел некоторые его черты.

Рундштедт окинул его презрительным взглядом. Йодль старался не смотреть на него. Шесть лет прошло с того дня, когда Йодль — в ту пору заурядный артиллерийский майор — подбросил Гитлеру свой знаменитый донос на фрондировавших тогда генералов, в том числе на Рундштедта. За эти годы доносчик возвысился до звания генерал-полковника и в качестве начальника оперативного управления отдает приказы ему, фельдмаршалу Карлу Рудольфу Герду фон Рундштедту.

Йодль заговорил, тыча пальцем в карту:

— Правый фланг — Шестая танковая армия СС под командованием оберстгруппенфюрера Зеппа Дитриха. Центр — Пятая танковая армия под командованием генерала Гассо Эккарда фон Мантейфеля. И, наконец, левый фланг — Седьмая полевая армия под командованием генерала Бранденбергера. Шестая танковая армия СС после прорыва выходит на рубеж Антверпен — Маастрихт... — Тонкий палец Йодля прошелся по изящно изогнутой синей стреле. — Пятая танковая армия после прорыва выходит в район Брюсселя и Антверпена...

Рундштедт снова перестал слушать. Изредка до него доносился монотонный щебет Йодля:

— ...в первом эшелоне два танковых корпуса... для развития операции четыре дивизии... наступлению будет предшествовать операция «Гриф». Ее суть...

Гитлер резко остановил Йодля:

— Это план дезинформации. Он еще только разрабатывается.

«Значит, есть секреты и от нас», — подумал Рундштедт.

Услышав слово «Гриф», из мрака под стеной выдвинул свою лошадиную морду Эрнст Кальтенбруннер, шеф главного имперского управления безопасности, и искалочно посмотрел на Гитлера. Тот отмахнулся от него. Кальтенбруннер вздохнул и снова потонул во мраке. А ведь он поначалу участвовал в создании плана дезинформации. Но земляк Гитлера — австриец, он до сих пор говорил с венским акцентом. Это раздражало Гитлера, напоминало ему, что он, фюрер, не белокурый, голубоглазый, рослый нордический ариец, а черноволосый, черноглазый коротышка Шикльгрубер из австрийского захолустья Браунау, смахивающий скорее на еврея или, что еще хуже, на цыгана.

Впервые заговорил Рундштедт:

— Мой фюрер, этот план гениален. Но хватит ли у нас горючего?

Модель посмотрел на Рундштедта с некоторым подозрением: сочетать «гениален» с «горючим» — не кроется ли в этой лести насмешка? Но Гитлеру вопрос Рундштедта даже как будто понравился. По крайней мере, он остановил на нем свой горячечный взгляд с явным удовлетворением.

— Я обеспечил танки горючим на первые сто пятьдесят километров. А дальше мы возьмем горючее у американцев в Ставло. Там у них огромные склады. Вот здесь, юго-западнее Мальмеди.

Модель склонился над картой. Рундштедт сделал вид, что и он смотрит на карту.

— От Ставло, — вставил Йодль, — всего семьдесят пять километров до Льежа.

— А Льеж, — подхватил Гитлер с многозначительной улыбкой, — как известно, стоит на Маасе.

Улыбка вождя тотчас как в зеркале отразилась на лицах обоих фельдмаршалов и Йодля, скользнула к стене позади Гитлера, и там в тени почтительно засверкали оскалы придворных.

Внезапно Гитлер помрачнел. О, эти переходы фюрера от безоблачного неба к грозе!

— Сейчас мороз? — выкрикнул он. — Да! Мороз! И чтобы не заморозить радиаторы, свиньи водители гоняют моторы круглую ночь. Это еще можно бы понять.

Но эти подонки обогриваются за счет горючего!.. Я не потерплю этого, господа!

Странное чувство овладело фельдмаршалом Вальтером фон Моделем. Да, он смотрел на фюрера обожающими глазами. И Гитлер любил в нем этот взгляд, полный почти религиозной веры. Да, Модель верил в магическую непознаваемую силу фюрера. Это было, быть может, самое сильное чувство в натуре сухого пруссака Моделя. Но в то же время по природе своей он был сторонником *kleine Lösungen*¹. Его ужаснул размах предполагаемого удара в Арденнах.

— Я позволил бы себе предложить, — сказал он не очень уверенно, — для начала ограничиться уничтожением американского выступа у Ахена...

Он замолчал, увидев, как на низком лбу Гитлера под знаменитым его чубом собираются львиные складки, что предвещало припадок гнева. И этот возмущенный взгляд Йодля! И ропот из мрака у задней стены, похожий на отдаленный рокот приближающейся грозы...

Модель остро пожалел, что обмолвился об Ахене. Кто тянул его за язык! Его жизненным правилом было закрывать глаза на неприятное. Так он делал вид, что не знает, как зверствовала его 9-я армия, когда в сорок третьем году, отступая с «московского плацдарма», проводила «политику выжженной земли». Он старался не вспоминать о том, что был одним из тех, кто потерпел поражение в грандиозной битве под Курском...

Гитлер сдержался. Он метнул взгляд на Рундштедта, на его неподвижно вежливо-высокомерную маску. Что думает этот сгусток военных знаний? Он славится своим немногословием. Вот и сейчас он молчит. О эта старая редиска, этот мелочный, дотошный Рундштедт! Гитлер ненавидел его за вечную придирчивость, которая проступала, даже когда фельдмаршал молчит, во взгляде, в линии крепко сжатого рта. Но он знал, что Рундштедт к нему привязан всей кровью и плотью своего существа: противник его не пощадит — Рундштедт значится в списке военных преступников. Недаром после июльского покушения на фюрера Рундштедт прислал ему подобострастное поздравление с высокопарными проклятиями по адресу заговорщиков.

Однако его молчание взорвало фюрера. Гитлера

¹ Малые решения (нем.).

бесило, что профессиональные военные считают его дилетантом.

— Я требую вашего мнения, Рундштедт, — сказал он, сдерживая голос. — Вы тоже за малодушное, слюнявое предложение Моделя об Ахене?

Рундштедт покачал головой.

— В атаке на Ахен, — протянул он, как всегда словно с ленцой, — есть большой смысл, но я бы этим не ограничился. Под Ахеном, как вы справедливо указали, мой фюрер, мы легко разгромим Монтгомери. Затем выйдем к Маасу и овладеем Льежем. Сообразуясь с нашими скромными силами, мы...

Тут уже Гитлер не выдержал. Этот сановный говорок вывел его из себя. Он хватил кулаком по наполеоновскому столу:

— Я не хочу ничего слышать об этом! Я двину двадцать одну дивизию, и, кроме того, я даю две мои личные бригады — гренадерскую и охранную! Довольно!

Он выбежал из-за стола и стал перед фельдмаршалами. Они не смели двинуться, хотя он забрызгивал их слюной.

— Я не нуждаюсь в ваших советах! Я руковожу армией много лет, и я приобрел больше практического опыта, чем все эти господа из генерального штаба! Я... я... — Теперь он бегал по комнате, слегка волоча ногу, и кричал: — Я проштудировал Клаузевица, Мольтке, Шлиффена! Гнейзенау! И об этом у меня сведений больше, чем у всех вас!

Рундштедт прикрыл глаза. Он почувствовал, как забила жилка на правом виске. Во рту медный вкус. Ему тоже хотелось закатить истерику. Но здесь, в ставке верховного командования, право на истерику имел один Гитлер. Рундштедт отлично помнил, во что обошлась ему его реплика, после того как англо-американцы очистили от немцев полуостров Котантен. Вообще-то Рундштедт был изысканно (некоторые говорили — старомодно) вежлив. Сорвался он только однажды, вот именно в этот день — 1 июля. Тогда старый фельдмаршал с ослепительной ясностью увидел, что наступление союзников остановить нельзя. И на панический вопрос по прямому проводу начальника штаба, этого «паркетного генерала» Кейтеля: «Что делать?» — Рундштедт ответил: «Заклучайте мир, дураки!» В ту же ночь он был смещен и заменен фельдмаршалом Гюнтером фон Клюге. Рундштедт

счел это за благо. Он снова был восстановлен главнокомандующим всеми силами на Западе не далее как через три месяца — 4 сентября сорок четвертого года, после того как фельдмаршал Клюге был снят с этого поста и застрелился, предварительно написав Гитлеру почтительно-дерзкое письмо, где подхалимские объяснения в любви перемешивались с категорическими требованиями кончать эту безнадежную войну. Его самоубийство было объяснено поражением Клюге под Авраншем, но все знали, что, в сущности, это казнь за прикосновенность Клюге к покушению на Гитлера 20 июля сорок четвертого года.

— Мой фюрер! На звездах начертано, что Арденны станут для нас поворотом к победе! — Маленькое лицо Геббельса с низко и косо посаженными, как у обезьяны, ушами дышало восторгом.

Гитлер вдруг успокоился. Это произошло так внезапно, что Рундштедт подумал: «А не являются ли его истерики притворством?» Гитлер подошел к Моделю и положил левую руку ему на плечо. Он благоволил к этому маленькому пруссаку и даже простил ему поражение под Курском.

— Ты веришь мне?

Модель вздрогнул от этого обращения на «ты» — редчайший случай особой милости.

— Да, мой фюрер!

— Вера и воля — вот в чем наша сила.

— И в вашей гениальной интуиции, мой фюрер.

Гитлер задумчиво склонил голову.

— Государственный деятель, — сказал он, — должен уметь предвидеть задолго вперед. Слушай меня: не пройдет и года — мы будем победителями в этой войне.

— Да, мой фюрер! — воскликнул фельдмаршал с порывистостью юного лейтенанта.

Гитлер подошел к столу, взял папку и протянул Рундштедту.

— Вот план операции, — сказал он. — Я назвал ее «Wacht am Rhein»¹.

— Превосходное название! — воскликнул Геббельс.

Оба фельдмаршала звякнули шпорами и пошли к выходу. Когда они были в дверях, Гитлер окликнул их. Они вернулись обеспокоенные, Гитлер протянул руку:

¹ «Стража на Рейне» (нем.).

— Дайте-ка сюда.

Рундштедт, недоумевающая, вернул папку. Гитлер написал на ней готическим шрифтом: «Изменению не подлежит». И размахисто подписался.

Когда они покинули кабинет Гитлера, миновали все бронированные двери, прошли по узкому коридору между двух шеренг эсэсовцев и вырвались на свежий воздух, Рундштедт посмотрел на часы и проворчал:

— Что за варварская манера работать по ночам.

Модель сказал участливо:

— Могу предложить вам отличное снотворное.

Рундштедт покачал головой. Из снотворных он предпочитал алкоголь. Некоторое время они шли молча. Модель снял монокль и принялся вертеть его на шнуре вокруг пальца, что было у него признаком волнения. Потом сказал несколько вызывающим тоном:

— Сама идея наступать через Арденны смела и остроумна. Вы не можете отказать ей в находчивости, не правда ли?

Рундштедт нехотя разомкнул уста:

— Я считаю главным фронтом Восточный.

— Но после победы в Арденнах у нас останется один фронт, и мы справимся с ним быстро. Ведь наши беды в том, что мы в центре Европы и потому уязвимы со всех сторон.

— Главная беда наша в другом.

— В чем?

— В том, что мы должны получать указания от одного человека.

— Господин фон Рундштедт, я присягал фюреру.

— Бог мой, я тоже.

Больше между ними не было сказано ни слова. Только перед тем как сесть в свой «мерседес-бенц», Рундштедт, перед которым распахнул дверцу молоденький адъютант, его сын, сказал:

— Страх... Система держится страхом.

Модель сделал вид, что не слышит. Он отгонял от себя неприятные мысли. Обласканный Гитлером, он поспешил в свой штаб. Он верил в пророческий дар фюрера. «Не пройдет и года», — повторял он мысленно. И когда в штабе группы армий «Б», которой он командовал, его окружили офицеры во главе с начальником штаба генералом Кребсом, расспрашивая о свидании с Гитлером, он повторил им эти пророческие слова фюрера: «Не пройдет и года», не предвидя, что не пройдет

и полугода, как он, фельдмаршал фон Модель, попал с трехсоттысячным войском в окружение, пустит себе пулю в лоб, а еще через две недели покончит с собой и сам пророк.

Там же, в «Волчьем логове», и примерно в те же дни был затеян план «Гриф». Тайна стражайшая! В сущности, поначалу о нем знали только два человека: Гитлер и состоящий при нем для особых поручений оберштурмбанфюрер Отто Скорцени, иначе говоря, специальный агент фюрера. Ну, еще, может быть, отчасти Кальтенбруннер, который подбросил Гитлеру пару-другую идей насчет этого тонкого дела, но быстро был отстранен.

Отто Скорцени вымахал два метра без малого. Так что Гитлеру во время разговора с ним приходилось задирать голову. А Скорцени почтительно нависал над фюрером, сплошное «чего изволите, только прикажите — отца родного не моргнув зарежу».

Да вот беда: 20 октября, как раз когда Скорцени понадобился фюреру, он был в отпуске, предавался в Берлине сладкой жизни. Бомбежки сообщали его ночным наслаждениям особый острый привкус.

Конечно, адрес его был известен: отель «Адлон». Но офицер, посланный за ним на связном «Хейнкеле-111», не застал его там. Администратор посоветовал офицеру наведаться в ночной клуб «Фемина». Действительно, посланец нашел Скорцени в туалете клуба, где он сосредоточенно выбирал презервативы (отдавая предпочтение французским), которыми среди блистающих изразцов и аммиачного запаха этого заведения бойко торговал одноногий инвалид с железным крестом на груди.

— Скорцени, я знаю, только вам можно доверить это дело, и вы его выполните.

Верзила преданно щелкнул шпорами. На черном эсэсовском мундире его блистали рыцарский крест и италийский орден «Сто мушкетеров».

— То, что я вам скажу, — продолжал Гитлер, — является сверхсекретом. Кроме вас и меня... — Фюрер внезапно прервал свою речь. — Что у вас в планшете?

Он нажал кнопку на столе.

— Вошел гауптштурмфюрер в сопровождении трех эсэсовцев — руки к бедрам, щелкнули каблуками.

Конечно, Скорцени глубоко свой. Не он ли свергал

австрийского канцлера Дольфуса? Не он ли расправился с венгерским властителем Хорти? Не он ли, черт побери, похитил самого Бенито Муссолини 12 сентября сорок третьего года? Но после июльского покушения Гитлер не доверял собственной тени.

Скорцени вынул из планшета фотографию Гитлера, оправленную в серебряную рамку. Золотой каймой была обведена дарственная надпись: «Моему штурмбанфюреру Отто Скорцени в благодарность и на память о 12 сентября 1943 года. Адольф Гитлер».

— Я ношу ее всюду с собой, — сказал Скорцени строго. — У меня нет более дорогой вещи.

Фюрер благосклонно улыбнулся и кивнул эсэсовцам. Они вышли.

— Скорцени, слушайте меня внимательно, — сказал он. — Мы ударим по союзникам в Арденнах. Этот удар будет подобен грому с чистого неба.

Пауза. Быстрый взгляд на собеседника. Скорцени изобразил восхищение. Гитлер продолжал возбужденно:

— Я разорву их дерьмовые армии надвое и поочередно уничтожу их! Они считают, что с моей Германией покончено. Безглазые черви! Не они меня, а я их буду хоронить!

Трясущейся рукой он налил в стакан воду и долго пил. Потом снова:

— Скорцени, чего я хочу от вас? Вы должны внести смятение в их тылы. Вы переоденете вашу бригаду в американскую и английскую форму и снабдите их соответствующими документами. Конечно, вы подберете таких людей, которые отлично говорят по-английски. Понятно?

— Значит, я должен...

— Вы должны просочиться в расположение противника и захватить мосты через Маас.

«Это уже что-то другое», — подумал Скорцени.

— Вот здесь. Смотрите.

Указка Гитлера скользнула по карте и остановилась между Льежем и Намюром.

— Но этого мало. Вы должны внести в их тылы переполох. Панические слухи! Ложные приказы! Нарушение коммуникаций! При удаче пленение крупных офицеров. Словом, вы понимаете...

Он вдруг замолчал. Потом толкнул дверь в задней стене и крикнул:

— Гиммлер!

Вошел рейхсфюрер, которого за его спиной втихомолку называли «рейхсферфюрер»¹.

— Гиммлер, не придать ли нам бригаде Скорцени, которому я даю специальное задание, бригаду Дирлевангера?

Когда-то батальон, затем полк, наконец, бригада — эта часть, числившаяся в группе армий «Центр», состояла из преступников, осужденных за грабежи и убийства. Даже среди эсэсовцев они слыли кровавыми bestиями.

— Счастливая мысль, мой фюрер, — сказал Гиммлер.

Гитлер впери́л в него горящий взгляд.

— Нет, — сказал он. — Я передумал. Это преждевременно. С государственной точки зрения это неразумно. Ребята Дирлевангера не отличаются, — он усмехнулся, — сдержанностью. Их манеры (тут все захихикали) могли бы восстановить против Германии этого святошу Рузвельта и помешать сепаратному миру после предстоящей победы в Арденнах...

Скорцени расположил свой штаб в замке Фриденталь, вблизи Берлина. В целях конспирации он переименовал фамилию на Золяр. Для того чтобы отобрать в частях солдат и офицеров, говорящих по-английски, ему нужно было разрешение высшего военного начальства. Скорцени обратился к фельдмаршалу Рундштедту, не сомневаясь в его содействии. Он знал приказ Рундштедта по вверенным ему войскам, изданный совсем недавно, 21 сентября 1944 года: «Эта борьба за право быть или не быть немецкому народу не должна щадить культурные памятники и прочие культурные ценности...» Знал он и о том, что Рундштедт покорно выполняет приказ Гитлера о «выжженной земле», известный под кодовой кличкой «Приказ Нерона».

Поэтому Скорцени был поражен, когда Рундштедт ему отказал. В сущности, фельдмаршал вежливо выгнал его. Он считал всю эту операцию «Гриф» любительщиной, а участников ее обреченными. Кроме того, ему не нравилась вульгарная физиономия Скорцени. «Может быть, я потерял честь, но я не утратил вкуса», — подумал фельдмаршал.

Скорцени с нагловатой развязностью заявил, что в таком случае ему остается обратиться к фюреру. Рундштедт пожал плечами и ничего не ответил. Глядя вслед

¹ Имперский совратитель (нем.).

удаляющейся спине Скорцени, он думал: «Может быть, это зачтется в мою защиту, когда меня будут судить как военного преступника».

Скорцени не посмел жаловаться Гитлеру, а обратился к Кейтелю. Этот фельдмаршал, которого за спиной называли Лакейтель, тотчас выдал Скорцени соответствующее разрешение.

Скоро в тщательно охраняемом лагере на полигоне Графенвер под Нюрнбергом скопилось три с лишним тысячи солдат и офицеров, говорящих по-английски. Они составили специальную 150-ю бригаду.

Однако их английский язык был чисто школьным и сильно пахивал немецким акцентом. Тогда им дали учителей — военнопленных унтер-офицеров, англичан и американцев. Отчасти подкупом, отчасти угрозами, иногда обманом их заставили преподавать немцам жаргонные словечки, манеру обращения, повадки, ругательства, солдатские остроты и, конечно, произношение. Труднее всего было вытравить из немецких солдат их деревянную дисциплину и внушить им, например, что американские солдаты не вынимают рук из карманов даже при разговоре с офицерами. В них вдавливали, что американцы называют бензин не «petrol», а «gas». Их учили жевать резинку и свертывать самокрутки из табака «Carogal». Танкисты осваивали американские танки, шоферы — грузовики и транспортеры, а повара овладевали искусством готовить из американских продуктов.

Конечно, их переодели в английское и американское обмундирование и соответственно вооружили. Доллары и фунты стерлингов, которыми их снабдили, были фальшивыми, но почти неотличимыми от настоящих. Зато подлинной была ампула с цианистым калием, которую получил каждый диверсант. Для себя, конечно. Ну а что, если две группы диверсантов случайно столкнутся? Как они узнают, что это свои, а не настоящие американцы? Для этого были установлены опознавательные приметы: зрительная — вторая сверху расстегнутая пуговица кителя, слуховая — двойной стук пальцами по каске.

Официально предстоящая им операция получила кодовое название «Гриф». Но сами диверсанты предпочитали называть ее более привычным им бандитским словечком «гэнг»¹.

¹ Банда (англ.).

Шесть часов утра — наконец спать! По зимнему времени темно как ночью. К расprostертому на кровати Гитлеру подходит, мягко переваливаясь на слоновьих ногах, его лейб-медик Теодор Морелль. Брюхастый, лохматый, неряшливый толстяк — рубаха не первой свежести выбивается из брюк. Гитлер посмотрел на него с отвращением. Сам-то фюрер одевался всегда с иголочки, очень следил за собой, стараясь элегантно возместить незначительность наружности.

Но Морелль свой. По крайней мере, можно ему доверять. Он рядом с Гитлером с давних времен. Он из самых приближенных, как и лейб-фотограф Генрих Гоффман, который, собственно, и свел его с Мореллем, как и со своей лаборанткой Евой Браун. Пусть о Морелле говорят дурное, пусть чешут языки завистники, что до возвышения Гитлера его клиентуру составляли берлинские проститутки, что он был подпольным абортмахером. Что с того! Сейчас его волшебный шприц дарует Гитлеру бодрость, жизненный тонус, а главное — сон.

— Морелль, я буду спать?

— Вы будете спать, мой фюрер, как новорожденный младенец.

Гитлер отстранил руку Морелля со шприцем. Он боялся сновидений. А вдруг придет сон-жало, сон-приговор, сон-казнь?

— Морелль, я не хочу никаких снов!

— Мой фюрер, у вас будут только приятные сны.

Гитлер с подозрением посмотрел на мутно-зеленоватую жидкость, качавшуюся в стекле.

— Чего вы мне подмешали сюда?

— Немножко гашиша, мой фюрер, — сказал толстяк своим вкрадчивым голосом. — Безвредная доза. Она придаст вашим сновидениям легкость и очарование.

Это был полусон. Действительно, мысли Гитлера обратились на приятное. Он возвращался воображением к тем дням, когда был безвестным маленьким художником, а потом в войну вестовым при штабе Баварского полка. В отличие от многих других выскочек, он любил вспоминать о времени, когда был социальным ничтожеством. Это возвышало в собственных глазах. Вспомнилось, как Гинденбург в Нойдеке перед смертью — ему не забыть этого дня! — ранним утром 2 августа 1934 года

назвал его «ваше высочество»! А Крупп! Гитлеру сладостно было ворошить в полусонных видениях переданное ему на днях Гиммлером. Глава концерна доктор Густав Крупп фон Болен унд Гальбах сказал недавно там у себя, в своем королевстве, в Эссене: «Не пора ли нам вынуть из этого малого наши вклады?» — «Поздно, господин Густав Крупп фон Болен унд Гальбах! Нет, я не хочу ссориться с вами. И я недавно специальным декретом даже превратил ваши владения в наследственный майорат. Но вы поздно спохватились! Вы считали, что я ваше предприятие? Нет, руки коротки, господа! Теперь я народное предприятие. Да, в свое время корону мне вручили промышленные бароны. Но теперь содрать ее с меня вы уже не в силах».

Мозг, возбужденный гашишем ли или черт его знает еще чем, работал как бы взрывами. «Никто никогда за всю историю Германии не обладал такую властью, как я. Карл V? Фридрих II? Да нет, куда им! Может быть, только Лютер... и то...»

И вдруг взорвалось в черепе, казалось, лопнул виски: Сталин! И потянулась цепочка... Сталинград... Проклятый Паулюс пожалел свое вшивое тело и не застрелился!.. Рундштедт тоже из этого вонючего теста, он не застрелится, если... если... Но Гитлер не хотел признать себе, что Арденны — его последний шанс. Он зарывал эту мысль куда-то очень глубоко.

Он старался вытеснить мысль о «Страже на Рейне» мыслью о «Пасхальном яичке». Так — покуда про себя — назвал он операцию, которую еще никому не раскрывал и которая приведет к коренному перелому в ходе войны. Да, он преподнесет миру это пасхальное яичко, черт бы взял их всех вместе и каждого в отдельности, в первую голову, разумеется, Черчилля и Сталина! По этому плану предполагалось убийство Эйзенхауэра, немедленный мощный удар по Франции, а главное — вот что должно было потрясти весь мир! — обстрел Нью-Йорка ракетами дальнего действия. Да, милостивые государи, вы не ослышались. Именно Нью-Йорка! И как? А вот как.

Гитлер принялся переворачивать в полусонном мозгу это дивное «Пасхальное яичко». Специальная сеть тайных агентов — это могут быть молодчики из стаи Скорцени — скрытно установят на нью-йоркских крышах особые высокочувствительные ультракоротковолновые радиомаяки системы профессора Манфреда фон Арден-

не (какая символическая фамилия!). Они-то и наведут на американскую столицу ракеты дальнего действия «фау-3»...

А до этого? Да, что до этого?

...Судьба мне внушила тяжелые решения. Очень тяжелые. Но я избран их осуществить. Я, и никто другой. И германский народ меня поддержит. Да, народ ни перед чем не остановится, будь то новый сбор шерстяного трикотажа для фронта, будь то новый призыв в армию. Германскому народу повезло, что у него есть я!

Народ, народ... Что-то в этом слове раздражало Гитлера.

...Где же этот проклятый сон, обещанный Мореллем? Народ... Да, жить должен народ. Отдельная личность должна умереть в народе. Нельзя допускать, чтобы мои приказы критиковались. Сам народ не хочет иметь никакого права на критику. Иметь это право хотят смутьяны, копошащиеся в народе... Где же наконец этот сон? Почему он не приходит? А вместо него лезут в голову незваные мысли о смутьянах, об этом обер-лейтенанте авиации Шульце-Бойзене и его подпольной «Красной капелле». Правда, им всем поотрубили головы. Несчастье немецкого народа в том, что он слишком усердно развивает интеллект и слишком мало волю и веру.

...Вот откуда зараза! Зараза Сопротивления! Да, отсюда, да еще из этих дерьмовых Даний, Голландий, Греций! Эти занюханые страны с их опереточными королями могут существовать только потому, что крупные европейские державы никак не договорятся, каким образом их слопать. Я возьмусь за них. Я переселю народы. А те французишки, которые воротят морду, пусть выметаются в Виши... Переселение народов — признак величия верховного правителя. Например, Наполеона... Надо было перевезти из Парижа не только стол Наполеона, но и его гробницу... А впрочем, к чему? Все три Наполеона плохо кончили...

Мысли его то текли лениво, то пускались вскачь.

...Вокруг меня подонки, они воспитаны так: пусть другие приносят себя в жертву, а сами косят в сторону... Необходимые фронту двухсотсорок миллиметровые минометы, за которыми я уже месяцы гоняюсь, как черт за грешной душой, все еще не могут поступить в производство. Бесхребетные сволочи! Хуже, чем какая-нибудь коммунистическая свинья — у тех есть хоть какие-нибудь идеалы, за которые они борются... Если где-нибудь

в тылу я обнаружу хоть одного мужчину моложе шестидесяти лет, пусть молится богу перед смертью!..

Он приподнялся на кровати. Возбуждение спадало. Очень захотелось кофе с черным хлебцем пумперникель. Веки тяжелели. Ему казалось, что желанный сон накатывается на него. Чтоб не спугнуть, он снова принялся думать о приятном. Об Арденнах!

...Победа в Арденнах будет факелом для всего мира! Поручкой тому разработанный мной план операции «Wacht am Rhein». Льеж и Антверпен снова будут наши! А в дальнейшем... Да, да, это будет Париж...

Утрату Парижа он ощущал особенно болезненно. Казалось, что ему Париж? Он не смог взять Ленинград из-за, как он уверил себя, бездарности старого оболтуса фон Лееба. И переживал это как унижение. Он не овладел Москвой из-за — он тешил себя этой мыслью — коварного русского снега. И был вне себя от бешенства. Он упустил Сталинград из-за — он заставил себя верить в это — слабоволия этой собачьей свиньи Паулюса. И это был для него удар под ложечку.

Но мучительнее всего была потеря Парижа. Он без конца приказывал контратаковать его. Вернуть Париж! Но контратаковать было нечем. Тогда он отдал приказ уничтожить Париж! Не мне, так никому! Снести его с лица земли канонадой из крупнокалиберных мортир и фугасками с воздуха! Но и это не было выполнено. Поспешно отступавшие немцы заботились больше о спасении шкуры, чем об утолении мести фюрера. Они бежали так быстро, что не успели взорвать парижские мосты, к чему их обязывал его гневный приказ.

Да, Париж! Почему до сих пор утрата его — как заноза в сердце? Быть может, потому, что Париж — это престиж. Кто владеет Парижем, владеет миром. Когда Наполеон отдал Париж, он отдал все...

...Через Арденны — в Париж! Арденны — это ступенька к Парижу. Передо мною в Арденнах, в сущности, никого нет. Каких-то пять дивизий или, возможно, только четыре, а может быть, и три. Свежих сил там нет. Исключение, может быть, 12-я американская дивизия. Но еще не ясно, прибыла ли она в Арденны. Если даже и прибыла, то совсем недавно. Уж не говоря о том, что она необстрелянная, американцы вообще не способны к длительному боевому напряжению. Подобно фениксу из пепла вновь поднимется воля Германии!

На краю кровати сидел его старый товарищ Эрнст

Рем, убитый им еще в тридцать четвертом году в кровавую «ночь длинных ножей». На груди его запеклись раны. Рем улыбался ласково, прикивал к Гитлеру, ластился и струился, как поток. Гитлер попробовал оттолкнуть его, но рука увязла в студенистом теле Рема. Гитлер вскочил. Главное, не проронить ни слова. Ведь известно — призраки не могут заговорить первыми.

Держась одной рукой за стену, Гитлер пошел, шлепая босыми ногами. Он не смел крикнуть слуг все из того же страха заговорить первым и этим разомкнуть уста ему. Только бы добраться до двери!

Но возле двери уже стоял стройный смуглый однорукий красавец с черной повязкой на левом глазу. Штауффенберг! Тот самый. Клаус Шенк граф фон Штауффенберг. Начальник штаба армии резерва. Герой Африки, подложивший под него бомбу 20 июля. Расстрелянный по приказу Гитлера той же ночью 20 июля во дворе военного министерства при свете автомобильных фар, а потом для верности повешенный.

К тому же он не один. С ним еще два Клауса Штауффенберга, совершенно неотличимые от него, с такими же полковничьими погонами и тоже со струнными удавками на шее. А что удивительного — призрак может появляться одновременно в разных местах. *Nic et ubique*¹.

Все так же лукаво ластясь к Гитлеру, как и Рем, Штауффенберг снял со своей шеи струнную петлю и, изловчившись, набросил ее на шею Гитлера. Гитлер хотел поднять руки, чтобы сорвать ее, но два других Штауффенберга схватили его за руки. Он почувствовал, как струна врезается в шею. Ему не хватало воздуха. Хрустнул позвонок. Струна издала звук невыносимо тонкий, как и она сама. Три Штауффенберга, сдвигаясь темными телами все теснее, образовали вокруг Гитлера подобие бокса вроде тех, в какие запикивали смертников в гестапо.

И Гитлер, уже не думая, что этим он разговорит призраков, прохрипел:

— Линге... Кемпка... Бауэр... Битц...

В комнату вбежал Морелль в халате и шлепанцах.

— Что с вами, мой фюрер?

Гитлер лежал на полу посреди комнаты. Морелль

¹ Здесь и всюду (лат.).

перенес его на кровать. Вынув из кармана халата шприц и склянку с мутно-желтой жидкостью, он вкатил Гитлеру лошадиную дозу снотворного. Гитлер повалился на подушки и заснул слепым сном.

ПОЛЯК И ЕГО ПЕСНЯ

Вулворт стоял на перекрестке дорог с поднятой рукой. Ни одна машина не останавливалась. От унижения он чуть не плакал. Лечь перед машиной? Дать очередь из автомата? «Может быть, кто-нибудь так и сделал бы,— терзался Вулворт,— а я слизьяк, интеллигент, теткин выкормыш, и это в самом деле не война, а какой-то зимний горно-туристский курорт...»

Один грузовик все-таки притормозил. Из-под брезента высунулся парень и протянул сверху руку:

— Лейтенант, влезайте.

Он втащил Вулворта в машину.

— Я вас сразу узнал, лейтенант,— сказал он.— Мы же с вами вместе ехали в машине этого гробовщика. Вспомнили? Феликс Маньковский меня зовут.

В кузове пахло грубым табаком, чуть соусированным. Несколько человек мурлыкали однообразную песню. Кто-то невидимый крикнул:

— Продолжай, поляк! Гони дальше!

— На чем я остановился? — спросил Феликс.

— Привезли вас на аэродром... — сказал малый с нашивками сержанта.

Рыжий детина, сидевший на коленях у другого солдата, лениво спросил:

— А где этот собачий аэродром?

— Подождите, ребята, не все вместе. Аэродром, по моему, где-то на юго-востоке Англии, возле Портсмута, что ли. Мы торчали там дня три. Пока отправляли английских парашютистов. Их было целых две дивизии «красных дьяволов». Представляете?

— Почему красных дьяволов?

— Так они же в красных беретах.

— Как и наши,— заметил кто-то.

— Да, только у наших с черной полосой.

— Да что ты тянешь! — закричал рыжий.— Ты дело рассказывай!

Маньковский снял с пояса фляжку, встряхнул и со

вздохом прицепил обратно. Она была пуста. Потом продолжал:

— Они эти береты носили на одном ухе. Ребята — красота! Как на подбор. В общем, чуть ли не вся Первая воздушно-десантная армия. Думаете, на самолетах? Черта с два! На планерах! Напихают по тридцать парней в брюхо планеру — и с попутным ветерком! Там их была уйма, говорили — тысяча планеров. Картинка! А на четвертый день наконец погрузили нас, поляков. Было это, как сейчас помню, не то первого, не то второго сентября. Куда летим, мы не знали. Нас тоже было немало... — Он вдруг сказал по-польски с какой-то непонятной гордостью: — Самодзельна бригада спадохронова. — И тут же перевел: — Отдельная воздушно-десантная бригада. — Он повернулся к Вулворту и спросил: — Лейтенант, у вас хлебнуть не найдется?

Вулворт с готовностью протянул флягу.

Маньковский закинул голову ипил, булькая. Солдаты смотрели на него молчаливые, сосредоточенные, как в церкви на богослужении. Поляк отер рот и продолжал:

— По дороге нам сказали, что англичане должны были захватить какой-то Арнем, в Голландии, что ли, вообще в тылу у немцев. Операция по коду называлась почему-то «Market-garden», то есть «Огород». Но у них что-то не получалось. Влипли они в этот огород. И мы, стало быть, летели на выручку.

— Собачье дело, — сказал рыжий авторитетным тоном.

— В общем, когда мы плюхнулись на землю километрах в тридцати от фронта, оказалось, что этот глубокий немецкий тыл вовсе не такой пустынный, как рассчитывало начальство, а весь прошпигован швабами. И началось...

— Собачьи штабы наши... — сказал рыжий и сплюнул.

— Да, ребята, нас втянули в самую гущу швабов. Там стояла Десятая боевая танковая группа СС. Помоему, она ждала нас, птенчиков.

Рыжий вскочил с коленей товарища и заорал:

— А наша собачья разведка что же?

— А разведка это профукала!

Со всех сторон посыпались ругательства. Вулворт робко спросил:

— А английские парашютисты?

— Их расколошматили еще до нас. Тут еще погода

сделалась паршивая, и авиация не смогла ни черта нам подбросить. Не было чего жрать, да и не до жратвы было, честное слово! Швабы сдавили нас двумя танковыми корпусами СС и били как хотели.

Голос из угла:

— Сколько ж вас было там, поляков?

— Хватало... Три пехотных батальона, да артиллерия, да противотанковая часть, да связь...

Тот же насмешливый голос:

— И вы все, значит, сразу драпанули?

Маньковский нахмурился. Казалось, вот-вот взорвется. Вулворт взволновался и внутренне приготовился броситься Маньковскому на помощь. Но поляк, видимо, сдержал себя и ответил спокойно:

— Ты чем думаешь — головой или задницей? Куда драпать? Куда?! Задание наше было удерживать мосты через Рейн, пока не придет Монтгомери. Мы и держали. Гибли, но держали. Я сам слышал, как командир наш генерал Соснковский — я при нем был связистом — сказал: «Старик Монти не выдаст, старик Монти придет».

— Ну?

— Он не пришел. Наплевал на нас. Мы это поняли только через неделю, двадцать шестого сентября.

— Не пришел? — крикнул рыжий. Он гневно хлопнул себя по колену. — Конечно! — кричал он. — Кого больше всего на войне? Нас, мальчишек! Призывные возрасты! А мальчишки, известно, самый драчливый народ. А кто командует нами? Старики! Осторожные, медлительные, трусоватые, как и полагается старикам. Слушай, поляк, если бы там командовал не эта собачья рухлядь Монти, а молодой парень вроде нас с тобой, он бы пришел к вам на помощь и вы все были бы спасены.

— Не знаю, — сказал Феликс. — В конце концов мы — я имею в виду ту кучку англичан и поляков, что уцелели, — бросили этот проклятый Арнем и просочились кто как мог за нижний Рейн. Вот и все, ребята...

Маньковский замолчал и откинулся на борт грузовика. Глаза его были закрыты. С мучительным наслаждением он вспоминал Варшаву — ту, старую, довоенную. Круглый, как торт, костел святого Александра на маленькой уютной площади Трех Крестов. Сюда по воскресеньям мама и папа, принарядившись, водили его и братишку Игнация. Мама — черное шелковое платье, зонтик и белые митенки на руках. Платье празднично

шуршало. На лаковых башмаках папы прыгали солнечные зайчики. Он, Феликс, и братишка Игнаций в одинаковых костюмчиках, коротких штанах, как у сказочных принцев, белые крахмальные воротники с длинными концами. Кудри... Где он теперь-то, Игнаций? Жив ли? Они вместе обороняли Варшаву в тридцать девятом... Пустые бочки, плиты, вырванные из тротуаров, поваленные уличные фонари, хаос, называвшийся баррикадой... И мы, мальчишки, с пистолетами и охотничьими ружьями... Народ мальчишек... Варшаву защищали — он это хорошо знает — шестьдесят батальонов с четырьмястами пятьюдесятью орудиями.

А у немцев три армии! Ну хорошо, не три, а около трех — 3-я, 8-я и часть 10-й. А орудий и минометов до двух тысяч. Да двести самолетов с утра до ночи бомбили Варшаву. И ночью тоже... Так было тогда, в тридцать девятом. А сейчас, говорят, Варшавы и вовсе нет, она взорвана, сожжена, она — труп... Как они спорили с братом! Как он, Феликс, уговаривал брата в сорок первом уйти с ним на запад. «Нет, — уперся Игнаций, — я поляк, и мое место в Польше». — «Но ты сейчас не в Польше, ты у русских. Неужели ты простишь им пакт с Гитлером?» — «Они сейчас сами воюют с Гитлером»... Игнаций остался.

А он, Феликс, вместе с андерсовцами ушел в длинный путь — Иран, Палестина, Мальта, Англия... «Дошло ли мое письмо до отца? Я посылал его из Англии через Москву в Прагу-Варшавскую...» Кто же тот судья, который скажет, у кого правда — у него, Феликса, или у Игнация? Когда наконец кончится соперничество между братьями и кто из них станет решать судьбу Польши? Он, Феликс, с запада или брат Игнаций с востока? Кто скажет, какой будет Польша? А какой она должна быть? Ну уж, конечно, не такой, какой была. Но какой — этого, честно говоря, Феликс не знал... Вся штука в том, чтобы поляки наконец перестали быть народом обреченных. Но как? Как?.. Нет, не думать! «Я не хочу думать! Будь что будет. Все решится само собой». Феликс тихонько запел:

A gdzie matka tej dzeciny w kolebce...¹

Он почувствовал тяжесть на плече. Лейтенант Вулворт тихонько посапывал, опершись на Феликса щекой.

¹ А где мать того ребенка в колыбели... (пол.)

Что ему снится? Тетя Эдна, домашний громовержец, седая, румяная, с лорнеткой, болтающейся на могучем бюсте? Или первый лейтенант Осборн с желчным лицом и мушкетерскими усиками?

Феликс улыбнулся, глядя на пухлые по-детски щеки Вулворта, и продолжал негромко напевать под ритмичный рокот мотора:

Co to plynie po tej bystrej po rzecie?
Co to plynie po rzecie? ¹

ЛИНИЯ КОМЕТЫ

Летчик упал во что-то колючее, щекочущее и повис на стропах парашюта. Он попробовал в темноте нащупать ногой землю. Нога ни во что не упиралась. Тут только ему пришло в голову, не ранен ли он. Нет, как будто ничего не болит, кроме царапины на лице. Надо бы перерезать стропы. Но тогда он упадет на землю, а далеко ли до нее, он не знал. Фонарик он боялся засветить, чтобы не выдать себя. Где упал подбитый самолет, он тоже не соображал, но, наверно, далеко от него, иначе он увидел бы пламя. Упал где-то в этих проклятых Арденнских горах. Упал, как факел, вместе со штурманом и стрелком-радистом. Стрелка ранило в голову еще в кабине, когда в самолет вломились осколки двадцатимиллиметрового снаряда... А штурман... Летчик стиснул зубы, чтоб не застонать. Вдруг он услышал под собой негромкие голоса. Он вытянул из кобуры пистолет и дослал патрон в канал ствола. Пистолет при этом сухо щелкнул.

Внизу кто-то сказал по-английски со странным акцентом:

— Эй вы, не валяйте дурака, здесь свои. Вы англичанин? Прыгайте вниз, здесь невысоко и мягко, снег.

Летчик подумал и сказал:

— Откуда я знаю, что вы свои?

Голос ответил:

— Если бы мы были не свои, мы бы вас просто пристрелили.

Летчик нашел, что это резонно. Он вынул нож и принялся перерезать стропы.

¹ Что плывет по той быстрой по реке? Что плывет по реке? (пол.)

— Прыгаю.

Он рухнул в сугроб всем своим долговязым телом.

Ему помогли выкарабкаться. Теперь на снегу он смутно различал очертания фигур. Очевидно, их двое.

— Целы? — спросил тот же голос.

— Да.

— Тогда идем.

— А парашют? Они же его найдут.

— Весной. Когда сойдет снег. А сейчас они сидят спокойно в своих хорошо отапливаемых блиндажах.

Они пошли через лес гуськом, летчик посредине. Глаза его привыкли к темноте, теперь он увидел, что шедший впереди был огромен. Летчик и сам был высок. Но этот превосходил его по меньшей мере на две головы. А тот, что сзади, напротив, мал и быстро семенит, пока эти двое отмахивают свои саженные шаги.

Иногда тот, впереди, через голову летчика обменивался со своим товарищем несколькими словами на незнакомом языке. Летчик не выдержал и спросил:

— Это вы по-голландски?

— По-русски, — ответил передний.

— А... — сказал летчик удивленно. — Как вы сюда попали?

Высокий бросил через плечо:

— Нас спасла Комета.

— Не понимаю...

— Поймете, когда она спасет и вас.

От усталости и темноты, от невероятности происходящего с ним летчику все казалось ненастоящим. Но он не удивлялся, потому что во сне ведь не удивляются. Только когда проснешься, все виденное там вспоминается странным. С другой стороны, если сознаешь, что спишь, значит, не спишь.

— Меня зовут Реджинальд Мур, — сказал он голосом, который казался ему не своим. — А вас?

Шедший впереди буркнул:

— Нашел время знакомиться. Кличка моя Урс. Урс значит медведь. Помните роман Сенкевича «Камо грядеши»? Там тоже есть Урс, восставший раб. Я, если угодно, тоже восставший раб. Почему? Фамилия у меня самая простая — Смирнов.

— Смирнофф, — повторил Мур.

— Вот именно. И самая распространенная. Не люблю я ее. И не потому, что в России натыкаешься на нее на каждом шагу. А потому, что в ней есть отзвук чего-то

робкого, приниженного, смиренного, рабского. В этом имени слышится крепостное право. «Смирнов» — это согнутая спина, это свист кнута, это хрясь в морду, это «чего изволите?». Российский деспотизм вырос и расцвел на смирных, на смиренности народа...

Урс говорил, размахивая длинной рукой, и не оборачивался, словно обращался не к Муру, а к деревьям, толпившимся вокруг, иногда подбегавшим к самому краю тропинки как бы для того, чтобы лучше слышать человека.

— А русская революция? — сказал Мур.

— Да, революция, — подхватил Урс. — Народ — это электричество, это колоссальная дремлющая энергия. Она покорно служит повелителю, и вдруг — мятеж: гроза или просто короткое замыкание. Молния! Пожар! Вот и я ведь не просто раб, а восставший, Урс!

Мур оглянулся на того, кто сзади. Уже стало заметно светлее, и он увидел невысокого мужичка. Его детский носик кнопкой в сочетании с дремучей бородой, малым ростом и доброй улыбкой делали его похожим на сказочного гнома. Или, подумал Мур, на школьный бюст Сократа.

Урс сказал:

— А его кличка Финесс. Так его здесь прозвали за малые габариты. Финесс значит «тонкость». А для простоты я его называю Финик. И теперь все так зовут его...

«Так кажется мне это все или на самом деле?..» — думал Мур. Все в нем устало — ноги, веки, спина. Мысли заезжали одна в другую. Но это не было и бодрствованием. Мур явственно видел могучие лохматые ели, обступившие тропинку. А между елями вдруг появилось крыло самолета, но не закрывая их, а как бы пронзая. И внезапно отламывалось с такой легкостью, как если бы оно было картонным. И по крылу шагал Урс. Но это был настоящий Урс, он шагал перед ним и что-то говорил, говорил... Попросить остановиться, прилечь, отдохнуть? Муру почему-то стыдно было сделать это. Он тряхнул головой, напрягся и спросил голосом, который совсем стал чужим:

— А Комета? Это что?

Несмотря на то что Урс с живостью обернулся и снова заговорил, Мур ничего не услышал — сон навалился на него с такой силой, что он всем своим долговязым телом рухнул в снег.

Он очнулся гораздо позже и тогда узнал, что такое линия Кометы.

— Ну вот вы, Мур, в полном порядке, — сказал Урс. — И даже глазки масляные, когда вы на нее смотрите.

Женщина быстро двигалась по избе. У нее была удивительно ровная поступь. Она словно плыла, как конькобежцы или ангелы. Она приносила из кухни тарелки со снедью, дымящийся чугунок, бутылки с чем-то голубоватым, должно быть, самогоном. Она была немолода, и тем не менее Мур действительно не отводил от нее глаз. Уличенный в этом, он весело улыбнулся и подумал об Урсе: «Циник, грубоват, хитер, должно быть, храбр».

Урс разлил самогон по стаканам. Он поднял свой стакан, но не произнес ничего, только мотнул большой медвежьей головой. Мур выпил и закашлялся. Урс засмеялся:

— А мне ничего, луженое горло.

Маленький Финик тоже засмеялся. А женщина заговорила быстро, длинно и горячо.

— Что она, тоже русская? — спросил Мур.

— Она говорит по-фламандски.

— А что она сказала?

— Пустяки. Болтунья, голландская мельница.

Женщина подозрительно посмотрела на Урса. Сердито взмахнула полотенцем и уплыла своей ангельской поступью.

— Я уловил только одно слово, — сказал Мур.

— Какое?

— Комета. К чему это она?

Урс засмеялся:

— В свое время узнаешь.

Мур пожал плечами:

— Не знаю, вправе ли я спрашивать. Но меня интересует, как вы, русские, попали сюда. Если не хотите, можете не отвечать. Я не обижусь.

Урс снова засмеялся. Хорошее настроение, видимо, редко покидало его.

— Не ожидали? — сказал он. — Впервые видите русских? Никакого секрета в этом нет. Попали в плен. Отправили нас работать в шахты возле Линабурга. Бежали. Связались с Кометой. Проще простого!

— Опять Комета!

Вечером Урс привел плечистого малого. В рыжих волосах его пробивалась седина. А лицо молодое, веселое. Сильно вздернутый нос сообщал ему что-то клоунское. Он охотно улыбался, и тогда становилось видно, что на месте передних зубов у него темная впадина. Конечно, поэтому он пришепetyвал. Вообще-то он говорил по-английски не сказать чтоб очень бегло, частенько задумывался в поисках слова. Но понять его можно было.

— Английский у меня еще со школы, — заявил он. — Ну, а на войне какая практика?

Урс хлопнул его по плечу.

— Вот этот парень, — сказал он, — расскажет тебе о линии Кометы.

— Очень хорошо, — сказал Мур, с интересом вглядываясь в новопришедшего, — но прежде расскажите о себе.

— Фамилия моя Лейзеров, — заявил тот. — В сорок втором, когда немцы потянули от Изюмо-Барвенкова...

Мур поднял брови.

— Это недалеко от Воронежа.

Брови не опускались.

— Не знаете? Ну, от Харькова.

Мур с сожалением покачал головой.

— Фу ты, черт, — растерялся Лейзеров, — да он ни черта не знает, совсем темный. На Украине, понял?

Мур радостно закивал головой.

— Ага, дошло! Так вот под Изюмо-Барвенковым остатки нашей дивизии попали в плен. Какая-то сука донесла, что я еврей. Меня в Аушвиц, по-польски Освенцим. Слышали про такой лагерь? — Лейзеров спустил с одной руки куртку, а потом и рубаху. На обнаженной руке синела татуировка: 156099. — Это мой номер, немцы заклеямили. А на одежде они нашивали значки. Разные, кому что. Политическим, например, красный треугольник, педерастам — зеленый, проституткам — черный, священникам — фиолетовый. Нам, евреям, — шестиугольную звезду...

— О, я знаю! — воскликнул Мур. — Печать Соломона!

— У вас так это называется? Ну да, щит Давида. В общем, аккуратный народ немцы. Я уже думал, мне конец. Я узнал, что занесен в списки «Totwürdig», то есть «достойный смерти». Мне предстояло то, что немцы деликатно называли «Sonderbehandlung», то есть «осо-

бая обработка», а попросту удушение в газовой камере. Но я выкрутился: заявил, что я караим. Понятно? Ну, есть в России такое непонятное племя, оно не признает Талмуда, а верит только в Библию. Словом, я наплел им кучу всяких богословских историй и потребовал, чтобы они выяснили о караимах в своем чертовом центре. Они же, вы знаете, палачи, но буквоеды. Короче, дело дошло до самого Гитлера. А он не то спросонья был, не то ему моча в голову ударила. Короче, он разъяснил, что караимы — это арийцы. Меня переслали в лагерь в Люксембург, а оттуда я бежал вот к ним. Фу, аж горло пересохло.

Урс налил ему вина. Лейзеров выпил и отер губы.

— Ну, теперь слушайте про Комету. Линия Кометы действительно линия. Она тянется от бельгийских побережий до испанской границы. И дальше. Какая ее работа? Ее работа — выручать сбитых английских летчиков и возвращать их на родину. Ну, а бежавших из плена, конечно, в партизаны. Как это делается, тебя, конечно, интересует. Это уж наше дело. В общем, мы будем перебрасывать тебя с этапа на этап.

— А что это за этапы?

— Дома. Квартiry. Жилища бельгийских и французских хороших людей. И смелых, конечно. Врачи, учителя, рабочие. Рискуют жизнью, ведь линия Кометы идет по оккупированным местам, так сказать, сквозь немцев. И случаются провалы. Линия прерывается, приходится штопать.

Вмешался Урс:

— Так оно и было незадолго до высадки союзников. Попади ты тогда к нам, тебе пришлось бы торчать здесь целый месяц.

Урс натянул баранью белую куртку, нахлобучил на голову ушанку. Лейзеров тоже поднялся.

— Уходишь?

— Да, есть дело.

— Может, и мне с вами?

Урс покачал головой.

— Ты скоро уйдешь от нас. Тебе нельзя рисковать.

— Так как же было с Кометой? Вы же не договорили.

Лейзеров махнул рукой.

— А так, что мофы...

— Кто?

Все засмеялись.

— Это голландцы и бельгийцы так прозвали немцев. Ничего лестного в этой кличке нет. Так вот мофы зацапали целых три узла Кометы. Пока мы их заштопали! Ну, в общем, восстановилась Комета, и опять ребята покатились, как туристы, до самых Пиренеев.

Женщина сидела в углу на табурете. Сумеречная полумгла молодила ее. Она не сводила с Мура странно неподвижных глаз.

— До Пиренеев? А там?

— Что там! Чудак! Там тоже свои ребята, испанские антифашисты. Но не думай, что там можно свободно разгуливать по улицам Мадрида и засматриваться на хорошеньких испанок. Франкисты, или, как их там именуют, фалангисты, — словом, фашистская сволочь вмиг зацапает и сунет в Миранда-даль-Эбро, а этот концлагерь почище немецких. Нет, наши ребята тихонько, шито-крыто доставят тебя в португальский порт на английскую подлодку. А то просунут в Гибралтар. Там видно будет.

— Ну, это в случае удачи, — вмешался Урс, стоя уже в дверях. — Конечно, кой-кому посчастливилось попасть даже на самолет — и через несколько часов дома. Но это чертовски трудно, там очередь таких, как ты.

Мур пробормотал:

— Только радости, что жив остался. А как же в конце концов люди выкарабкиваются из Португалии?

— А так, что пароходом в Голландскую Вест-Индию.

Мур присвистнул и безнадежно махнул рукой. Урс рассердился.

— Ну вот, имей с ними дело, а! — сказал он, обращаясь к Лейзерову.

Тот улыбнулся и сказал мягко:

— Ничего страшного. Путь проторенный. Из Вест-Индии люди попадают в Соединенные Штаты. Оттуда в Канаду. В Канаде ты пристраиваешься к каравану судов, который идет в Англию. Видишь, как просто.

И Лейзеров захохотал жизнерадостно, заразительно. Даже Урс, нетерпеливо топтавший у дверей, не удержался от улыбки. Мур пожал плечами:

— Два раза через океан...

Урс сказал с насмешливою рассудительностью:

— Тоже неплохо. Пока ты будешь болтаться по океанам, война кончится.

Лейзеров усмехнулся:

— Есть еще один шанс. В португальском порту

устроиться матросом на торговое судно, которое идет в Швецию. Оттуда...

Урс перебил его:

— Швеция трясется над своим нейтралитетом, и парень может попасть за решетку.

— Консул его выручит,— успокоил Лейзеров.

Урс махнул рукой.

— Ну хорошо,— сказал Мур,— это был урок географии. А как же я все-таки попаду к своим?

Лейзеров опять засмеялся.

— Ты все смеешься! — рассердился Мур.

— Ты знаешь, Мур, у тебя такой досадливый и требовательный тон, будто ты пришел в туристское бюро, которое плохо работает.

— Нет, я... — пробормотал Мур смущенно.

Лейзеров посмотрел на Мура внимательно и сказал:

— Есть еще один путь. Не знаю, как ты к нему отнесешься... — Он взглянул на Урса. — Говорить?

Урс мотнул головой.

— Через линию фронта,— сказал Лейзеров. — На севере Франции, возле Кана, стоят англичане. Южнее американцы...

— Вот это, кажется, мне подходит,— сказал Мур.

— Не выйдет,— сказал Урс. — Сейчас идут большие передвижения войск с обеих сторон, и можно здорово влипнуть. Нет, оставим уж наш старый, испытанный путь — по этапам. Пошли, Лейзеров.

Лейзеров покосился на женщину, потом на Мура, чуть улыбнулся и вышел вместе с Урсом.

Вернулся Урс один и поздно. За столом сидели Финик и Мур. Между ними бутылка самогона, наполовину пустая. Женщина сидела рядом с Муром. Одной рукой он обнимал ее, другою, со стаканом, вздымал высоко и говорил:

— Черчилль? Э грейт мэн! ¹

Финик благодушно кивал головой. Женщина смотрела на Мура по-прежнему неотрывно. А он продолжал:

— Рузвельт? Э грейт мэн.

Урс подсел к столу и налил себе самогона. Мур снова поднял стакан и возгласил:

— Сталин? Э грейт мэн.

— А Гитлер? — вдруг спросил Финик.

— Гитлер? — переспросил Мур. — Гитлер — о!

¹ Большой человек! (англ.)

Он похлопал себя между ногами. Урс захохотал. Англичанин радостно присоединился к нему. Финик оставался мрачен.

Урс вдруг сделался серьезен, точно с него соскочил весь его хмель. Он сказал задумчиво, вертя в руке стакан:

— Хотел бы я знать, просыпается иногда в Гитлере нечто вроде совести? И вообще есть ли какое-нибудь нутро у этого диктатора, сокрушается ли он о горе, которое принес миллионам людей? А? Как ты думаешь, Мур?

И так как летчик не отвечал, Урс ответил сам себе:

— Нет, конечно. Не сокрушается. Во всяком случае, при дневном свете. Но, как все люди, он должен спать. Верно? И вот во сне, над которым он не властен...

— Не властен? — повторил Мур, заинтересовавшись разговором.

— Да! — грохнул кулаком по столу Урс.

Бутылка покачнулась. Женщина подхватила ее и сурдито посмотрела на Урса.

— Ну, поехали! Пью за погибель Гитлера! А ты что ж, Финик? Или тебе тост не по вкусу?

— Не, тост правильный. Дельный тост. Только ты скажи мне, кто нам заплатит за наши прошлые муки, когда Гитлер залез до Волги и Кавказа?

— А ты не вороши это. Сейчас не момент об этом трепаться. Сейчас у нас народный фронт. Объединение! Понял, дурья твоя голова?

— Это ты набрался занятных словечек у иностранцев, — хмуро пробормотал Финик.

— Да ты что! — рассердился Урс. — Какие иностранные словечки? Кто эту Комету тянет? Не я ли, русский? Я из северных, из архангельских. Чистая кровь.

— Слушай, Урс, — сказал Финик удивленно. — Чистая кровь? Это ты про что? А? Ты надрался. Мысленное ли дело, такое понес? Это из тебя сивуха рычит. — Он вдруг добавил на довольно чистом английском: — He is drunk, isn't he? ¹

Мур не отвечал. Положив голову на плечо женщины, он спал. Она смотрела на него с какой-то строгой нежностью.

¹ Он пьян, не правда ли?

Она лежала наверху, на чердаке. Мур разостлал на соломе свою бэттл-дресс¹. Они молча разделись. Она ежилась под щекочущими уколами соломы и тихонько посмеивалась. Он ткнул себя в обнаженную грудь и несколько раз повторил:

— Реджи! Реджи!

Она поняла и, положив его руку к себе на грудь, сказала:

— Вильгельмина...

Он вздрогнул от прикосновения к ее горячему телу и сказал прерывающимся голосом:

— Какое длинное имя...

Желание снова накатилось на него с непреодолимой силой. Тусклый свет лился сквозь маленькое чердачное окно. Он оторвал свои губы от ее губ, и стоявшие внизу, в комнате, снова услышали их голоса.

— А я думала, англичане рыжие, а ты смуглый.

Мур что-то пробормотал. Финик шепнул:

— Как же они разговаривают? Она же ни в зуб ногой по-английски, а он по-фламандски.

— Язык любви, — коротко ответил Урс. — Втюрилась баба.

— Так она ему в матери годится. Фу!

— Что делать! Истосковался...

— Неладно, — сказал Финик огорченно. — Ему что — баловство в дороге, а она по-серьезному.

— Ну уж по-серьезному.

— Думаешь, прикидывается? А в общем, наплевать. — Финик пожал плечами.

Урс откинул тяжелую голову и заговорил, глядя в потолок, как всегда, когда он размышлял вслух:

— Нет, это не притворство, это искренне. Но, конечно, и притворство тоже. Постой, не спеши осуждать ее за лицемерие. Это притворяется не она. Это в ней притворяется то, что хотело приманить Мура. Это военная хитрость великого Инстинкта. А она сама тут ни при чем. А когда Мур вырвется из ее плена, любовь повернется к нему своей черной стороной. И он увидит, что эта женщина совсем другая, некрасивая, старая, глупая, то есть такая, какая она и есть на самом деле.

Мур не попадал рукой в рукав, в бешенстве он натянул куртку с такой силой, что она затрещала. И ботинок сопротивлялся ноге, пуговица ни за что не хотела

¹ Походную форму.

влезать в петлю воротника. Мур со злостью оторвал ее. Он сердился на вещи. В глубине души он понимал, что, в сущности, сердится на самого себя, но не признавался себе в этом.

Неприятно покосился он на Вильгельмину. Она безмятежно спала, положив под голову голую руку. Даже в чердачном полусумраке было видно, что у нее счастливое выражение лица.

Урс и Фйник хмуро смотрели на Мура, пока он спускался по шаткой лестнице. Ему припомнилась фраза, которая полюбилась ему в какой-то книжке, и он крикнул с наигранным молодечеством:

— Простые развлечения — последнее прибежище сложных натур!

— А пошлячок ты все-таки, Мур, — проговорил по-русски Урс.

— Poshliatchok, — повторил Мур. — What is poshliatchok? ¹

— Ну, обыватель, мещанин.

— What is meschjanin? ²

Он с трудом втиснул это слово в свой английский рот. Труднее всего ему удалось это невозможное русское «щ».

— Филистайн, — перевел Урс.

— Думаешь? Это ужасно. Я не хотел бы стать мещанином.

— Ты еще молодой парень, — сказал Урс мягко. — Больше всего бойся омещаниванья. Из чего оно складывается? Из предпочтения материального духовному, из пренебрежения к людям. Именно отсюда и вырастает хамство деспотизма. Именно так родился и возмужал фашизм.

— Ты уверен в этом? — спросил Мур с сомнением.

— Уверен. Фашисты все-таки обыватели, мещане, бюргеры. Из мещан формируются убийцы. Говорю тебе, Мур, еще раз: самая страшная опасность, которая грозит юноше, это с годами омещаниться. Такая опасность может грозить и целому обществу.

— Но вам... — Мур обвел широким жестом Урса и Финика, — вам, русским, мне кажется, это не грозит. Вы преданы духовным идеалам.

— Да... Это, в общем так, пожалуй, — сказал Урс

¹ Что такое пошлячок? (англ.)

² Что такое мещанин? (англ.)

задумчиво. — Русские и немцы уж очень непохожи друг на друга. Все у них разное, нередко даже противоположное.

— Ваша великая революция...

— Революция — это великий катализатор душ. Хороших она делает еще лучше, плохих — еще хуже.

— А кого больше? По статистике?

— Да это и без статистики видно. Это...

— Это все мысли, — прервал его Мур нетерпеливо. — Меня не интересуют мысли. Меня интересуют факты.

Урс пожал плечами:

— Некоторые факты — производное от мыслей.

Но Мур упрямо повторял:

— С мыслями подождем до победы над фашистами.

Урс вздохнул и сказал Финику, который напряженно слушал их, не понимая, переводя свои косоватые глазки с одного на другого:

— Тяжело нам будет с этим парнем...

— Так ведь завтра мы дадим ему документ, немного разной валюты и пустим его по Комете, — сказал Финик.

Но так не случилось.

ОПЕРАЦИЯ

Вечером пришли Лейзеров и какой-то широкоплечий малый, по виду крестьянин, с торбой за плечами. Лицо его было затемнено опущенными полями порыжелой шляпы. Они долго о чем-то шептались с Урсом. Потом Лейзеров ушел, а тот, другой, остался. Когда он снял шляпу, стало ясно, что он не крестьянин и не малый, а человек средних лет. Черная борода красиво оттеняла матово-бледное лицо. Смущенно откашлявшись, Урс объявил Муру, что переход по линии Кометы временно откладывается.

— Почему? — вскричал Мур возмущенно.

Пришедший посмотрел на него с холодным удивлением. Урс неохотно сказал:

— В Америке немцы зацапали мельника, нашего человека, наш первый этап. Пока мы не разберемся во всем этом, не наметим новые лазы, тебе придется посидеть у нас.

Мур разъярился. Он говорил, что не хочет ждать, пускай его проведут через лесное бездорожье ночью, и вообще что это за организация, которая так легко

разваливается, и что надо быть полными кретинами, чтобы не сохранить потайные тропы, и он не намерен торчать в этих проклятых горах бесконечно.

Пришедший наблюдал его, потом сказал с непередаваемым презрением:

— Британское высокомерие.

Урс терпеливо объяснил Муру, что в условиях подпольной работы под носом у немцев опасно соваться в непроверенные места и что сегодня же ночью они предпримут операцию по освобождению арестованного мельника. А ему, Муру, подберут другой этап.

— Вообще немцы зашевелились, и мне это не нравится,— озабоченно добавил он по-русски, обращаясь к пришедшему.

Тот кивнул и сказал тоже по-русски с каким-то четким и певучим акцентом:

— Да, есть сведения, что их активность возросла. Надо бы сообщить...

Мур поутих. Он все ждал, что его познакомят с пришедшим. Но, поняв, что здесь не действуют правила хорошего тона, сам протянул руку и назвал себя. Тот ответил:

— Брандис.

Предки Брандиса, талмудисты, синагогальные служки, наградили его рассудительными интонациями. Он черен, с презрительной и страдальческой линией рта, с тугой, натянутой, как опаленной, кожей лица, словно за века скитаний по Европе из него еще не выветрилась жгучесть ханаанского солнца.

Даже годы мучений в фашистском лагере смерти не вытравили из Лейзера его розоватости, добродушия, округлости. Брандис сух и жилист. Кровавый фашистский антисемитизм не вернул Лейзера в еврейство. Он верен России, как растение верно своей почве.

Библейская цветистость и певучесть слышались в каждом слове Брандиса. Он пылок и расчетлив. По утрам он молился по ритуалу иудейской веры. Он не верил ни в бога, ни в черта. Но считал, что надо соблюдать религиозные обряды из соображений политических. Он питал уважение к религии.

Один из немногих уцелевших участников восстания варшавского гетто в 1943 году, он сражался за польское дело на баррикадах варшавского восстания 1944 года. После капитуляции повстанцев он бежал из немецкого плена и вот сейчас здесь, в Арденнских горах, был одним

из самых отчаянных макизоров, как называли себя арденнские партизаны. Математик по образованию, он хорошо знал артиллерийское дело. Но какая артиллерия у маки! Два паршивеньких миномета, отбитых у немцев. Впрочем, он знал и саперское дело — наводить мосты, а в случае надобности и взрывать их, минировать горные проходы, рыть подземные ходы, — в этом не было мастера, равного Брандису, на всем расстоянии от Сен-Вита до Бастони. Он был одинок, семья погибла в гетто, его уважали многие, а дружил он, пожалуй, только с Урсом.

На Мура он поглядывал неодобрительно. Он не доверял англичанам. Он знал об их притязаниях на Ближнем Востоке.

— Я слышал, что есть еврейский легион, он сражается в рядах британской армии где-то на Востоке, — сказал Мур тоном любезного собеседника, желая быть приятным Брандису. — В Англии нет антисемитизма. Расовая неприязнь противна натуре англичанина.

Брандис сказал жестко:

— У нас в гетто был палач. Когда умерла его канарейка, он сделал ей гробик и похоронил со слезами на глазах.

— Ну, это садист, это выродок, — сказал Мур, махнув рукой.

Брандис сказал глухо:

— Сколько же их, этих выродков, если им удалось засыпать Европу пеплом.

В комнату вошли Финик и Лейзеров.

— Ну что? — спросил Урс.

— Вышли из Америкона. Отделение автоматчиков... — сказал Финик.

— Ну а мельник? — нетерпеливо перебил его Урс.

— Гонят с собой.

— Фу, уже легче! Я боялся, что они забьют его до смерти.

— Может быть, это было бы лучше, — мрачно проговорил Брандис. — Из мертвого ничего не выудишь.

Урс поднял одну из половиц и извлек оттуда несколько гранат. Финик и Лейзеров рассовали их по карманам.

— Давид, получай свой паек, — сказал Лейзеров, протягивая ему гранату, — хватит агитировать англичанина.

Брандис сунул гранату в карман. Кивнув в сторону Лейзерова, он сказал с горечью:

— Вот видите, перед вами горе еврейского народа.

Он потерял национальность. Он забыл о том, что он еврей.

Лейзеров рассмеялся.

— Не потерял, а нашел. Нет, нет, ты меня не заманишь в Палестину. Хочешь создать там новое гетто?

Урс озабоченно посмотрел на часы:

— Сейчас двинем. Мы перехватим мельника, когда они будут переводить его через ручей.

Мур легонько коснулся плеча Урса.

— А мне гранаты?

Урс удивился:

— Ты-то здесь при чем?

— Я с вами.

Урс решительно замотал головой.

— Не могу же я сидеть без дела. Я солдат!

— Да. Но другого рода войск. Не нашего.

— Что за разница! Я пойду с вами.

Урс сказал мягко:

— Да пойми ты, чудак, я не могу рисковать твоей жизнью. Обойдемся без тебя.

Мур рявкнул зло:

— Не доверяешь?

— Слушай, Мур, возможно, не все из нас вернутся, понял?

— Я не боюсь.

— Не в этом дело. Мы обязаны возвращать английских летчиков на родину. Таков приказ.

Но Мур не отставал, просил, клянчил, даже угрожал. В конце концов Урс махнул рукой.

— Ладно, черт с тобой. Только от меня ни на шаг, понял?

Повеселевший Мур набил карманы гранатами, потом перезарядил пистолет. Он радовался, как мальчик, которого ребята приняли наконец в игру.

Из дому вышла Вильгельмина. В руках у нее был старенький фотоаппарат. Она наставила его на Мура. Он замахал руками.

— Нет, нет!

И нырнул за широкую спину Урса.

— Не обижайся,— сказал Урс,— ты уедешь, у нее останется память о тебе.

— Не в том дело,— сказал Мур досадливо,— у нас, летчиков, это считается плохой приметой. Если снялся перед вылетом, обязательно грохнешься.

— Видно, это международная примета,— сказал

Урс. — Наши летчики тоже не любят сниматься. Но ведь это перед вылетом.

— Но, может быть, я когда-нибудь все-таки буду летать.

— До этого так далеко, что дурная примета успеет выдохнуться, — засмеялся Урс и вытолкнул вперед Мура.

Вильгельмина щелкнула затвором.

Небольшой отряд тронулся. Уходя, Мур оглянулся. Вильгельмина послала ему воздушный поцелуй. Но Мур смотрел не на нее, а на жестяного петушка, который вертелся на трубе. Он, такой изящный, легкий, очень нравился Муру.

— Не передумал? — спросил Урс. — Еще не поздно вернуться.

— Нет.

— Мальчишка ты, и больше никто, — пробурчал Урс. — Мы идем, потому что это наш долг. А ты лезешь в пекло, как на бабу.

Мур молчал. Не мог же он признаться, что идет с ними потому, что считает, что операция как-то омоет его в собственных глазах. Он рассматривал предстоящую стычку как нравственную ванну или как отпущение грехов. «Кровь смывает все», — думал он. Вражеская кровь, конечно.

От этих мыслей ему стало легче. Он шел словно на веселую прогулку. Дубы и буки протягивали ему навстречу могучие лапы. Сквозь сплетение веток вдруг прорвался луч солнца, и сразу забронзовели чешуйчатые стволы сосен. Открылся кусок неба, немислимо синий. «Странно, — подумал Мур, глядя на него не отрываясь, — когда я летал, я не замечал неба. Я замечал только землю. Когда я опять начну летать, я обязательно... — Он прервал свои мысли: — Почему, собственно, когда? Не правильнее ли сказать «если»? «Если я опять начну летать, я обязательно посмотрю на небо...»

Привал сделали на небольшой полянке. Когда стемнело, к ним присоединилось еще несколько человек. Мур с интересом взгляделся в них, он надеялся найти соотечественника. Но двое из них были местные крестьяне — фламандцы, двое — французы. Пятый партизан оказался русским, совсем молодой парнишка, его звали Ловычин. Мур никак не мог выговорить это русское «ы»,

вбитое, как гвоздь, в самую середину фамилии. Фламандцы, Ян и Питер, развели костер. Один из французов, Амедей, вынул губную гармонику и приложил к губам. Урс погрозил ему пальцем, Амедей вздохнул и сунул гармонику в карман. Другой француз, Жан, высокий, худой, нервный, шагал по поляне. Дойдя до края, он резко поворачивался и шагал обратно. Урс неодобрительно смотрел на него. Видимо, это беспокойство перед операцией неприятно действовало на Урса. Но он ничего не сказал Жану.

Наконец они пошли. Снова погрузились в хвойное безмолвие леса. С ветвей падали снежные хлопья, стоняемые щелчками ветра. Погода переменилась. С неба валилось нечто, уже переставшее быть снегом, но еще не ставшее дождем. Брандис тихо чертыхнулся. Урс сказал:

— Ничего, это лучше. Суматоха в природе нам на руку.

Он приказал держаться поближе друг к другу, чтобы не разбрестись в темноте. Снег, который обычно виден даже ночью, потемнел от влаги и перестал отсвечивать.

Шли, шли, хлюпали по рыхлому снегу. Мур вдруг наткнулся на Брандиса. Тот шепнул:

— Стоп.

Урс пересчитал всех, тыча каждого в плечо, шепча при этом:

— Здесь будем ждать их.

— Долго? — спросил Мур.

— Они пойдут на рассвете.

Ветер и дождь смыли снег с ручья, и в рассветной полутьме он смутно синел между деревьями. Было тихо, и только слышались осторожные хлюпающие шаги немцев по некрепкому льду. Мур напрасно напрягал зрение, он видел неясное движение теней, не более того. Большим пальцем он нащупывал предохранитель пистолета. Урс запретил открывать огонь, боялись угодить в мельника.

Мур ощутил легкий зуд в чувствительном кусочке кожи между бровями. Ему было знакомо это нервное напряжение, оно собралось в переносице и в полутьме пыталось заменить зрение. Это было зрение слепых, радар, орган летучих мышей, реликт, остаток древнего чувства...

Внезапный грохот смял эти обрывки мыслей. Парти-

заны взорвали лед позади немцев, чтобы отрезать им путь к отступлению. Пошла трескотня из автоматов.

И вдруг заговорили птицы — свист, щебетанье. Мур не успел удивиться этому птичьему концерту посреди боя — чья-то мощная рука пригнула его к земле. Внезапно он понял: этот птичий посвист издавали пролетающие пули. Он ведь никогда не был в наземных стычках. А там, в небе, трассирующие пули были безголосыми, все заглушал рев мотора.

Наконец Брандис отпустил его.

— Где Урс? — спросил Мур, растирая замлевшую шею. — Он сказал: «Ни на шаг от меня», а сам исчез.

— Он пошел выручать мельника, боится, что немцы пристрелят его, — сказал Брандис в своей обычной спокойной манере, словно они безмятежно беседовали, сидя в уютных креслах где-нибудь в гостиной у камина. Потом прибавил: — А мне поручил быть возле тебя.

Мур вскочил и, прежде чем Брандис успел остановить его, побежал вперед, к ручью. Брандис побежал за ним, пригибаясь под пулями, шмыгавшими меж деревьев.

Мур прыгал с льдины на льдину. Он уже различал мощную фигуру Урса. А рядом с ним маленького бородастого крестьянина.

Он подбежал к Урсу. Два убитых немца валялись на льду, один вниз лицом, другой на правом боку. Урс сказал:

— Цел? Ну слава богу. Сегодня же пустим тебя по Комете.

— А где ребята? — спросил Брандис.

Урс махнул рукой в сторону леса.

— Побежали догонять мофов. А ты оставайся. Работы много. Надо его спрятать. — Он кивнул в сторону мельника. — Потом отведем Мура на этап, больше ему задерживаться нечего.

Радостное чувство нахлынуло на Мура. Он не думал о трудностях пути. Он видел конец его — Англию! И с нежностью посмотрел на Урса.

— Пойдем! — сказал он в счастливом нетерпении своем.

— Погоди, — сказал Урс, — нам надо прежде раздеть их.

Мур не понял. Урс указал кивком головы на трупы двух немцев, разметавшихся на льду.

— Противная работа, — продолжал Урс, — да что

поделаешь — нам нужны немецкие мундиры и документы.

— Я готов! Я могу! — с радостной охотой сказал Мур.

Он был преисполнен радости и любви к партизанам. Ему не удалось принять участия в этой стычке, его берегли, так он хоть чем-нибудь будет полезен этим замечательным людям.

Он нагнулся над одним из трупов и стал переворачивать его с бока на спину. Когда у немца выпросталась правая рука, он поднял ее и выстрелил в лицо Муру. Брандис молниеносно разрядил в немца его же автомат. Потом он и Урс кинулись к Муру.

Англичанин был мертв.

Стук в дверь не прекращался. В конце концов первый лейтенант Конвей, не вставая с кровати, с досадой отложил книгу и крикнул:

— Какого черта?

Из-за двери что-то неясно пробурчали.

Конвей пожал плечами, поудобнее расположил на кровати свое небольшое тело и снова взялся за книгу. В дверь продолжали стучать, но Конвей не обращал на это внимания.

Это был самый сладкий час посреди дня: отдых после ванны. «Джип» доставлял его из Спа домой за двадцать минут. Продолжая ощущать приятное изнеможение в теле, он тотчас бросался на кровать. А сегодня еще добавочное удовольствие: в Спа он раздобыл небольшую монографию о Кранахе и сейчас наслаждался изяществом издания и совершенством лейпцигской цветной печати.

Однако дверь под напором извне тряслась с такой силой, что Конвею пришлось встать. Он опустил босые ноги в шлепанцы и, чертыхаясь, поплелся к двери.

На пороге стоял высокий плечистый священник в длинной сутане. Когда он снял широкополую шляпу, Конвей рассмеялся.

— Входите, Урс, — сказал он. — Великолепный маскарад. Раз вы пришли, значит, что-то важное. И вообще я вам рад. Но вы же знаете, у меня строгий режим. Должен вам сказать, что боли в коленных суставах у меня усилились. И это хороший признак — здоро-

вая реакция организма на лечебное действие гидротации.

— Немцы зашевелились, Конвей. Потому я и пришел. Ребята доносят, что прибыла Пятая танковая армия и передвигают вперед артиллерию. А кроме того, есть данные, что прибыла и Шестая танковая армия СС.

Конвей махнул рукой.

— Вам, партизанам, вечно что-то мерещится, — сказал он устало. — Откуда им взять пополнение? С Восточного фронта? Ерунда! Гитлер влип на Востоке. Русские под Варшавой.

— А все-таки здесь что-то делается. Надо бы сообщить в штаб корпуса.

— Я удивляюсь вам, Урс. Вы старый опытный макизар и поддаетесь каким-то паническим слухам. До весны я вам гарантирую полное спокойствие. — Он засмеялся и добавил: — А для моих суставов мне больше и не нужно. — Потом сказал серьезно: — А весной мы и сами рванем.

Урс настаивал:

— Нет, они что-то затевают. Ребята видели самого командующего — как его? Фон Рундштедт! А он зря не придет.

— Ах, старый пес уже здесь? Ну, это лучший признак того, что все будет спокойно. Он сторонник стоячей обороны. Вообще неплохой мужик.

Урс нахмурился:

— Конвей, они все виноваты. Тот, кто не говорил «нет», тем самым говорил «да».

После ухода Урса Конвей зевнул и потянулся рукой к лежавшей на столе тетради. Дневники велись ночами, иногда шифром, иногда симпатическими чернилами. Их запаивали в железные банки, закапывали в землю, замуровывали в стены. Так во многом уцелела история войны. Так выжила правда.

Вот и Конвей считал, что грешно участнику столь грандиозной войны не отразить ее в своих повседневных записях. Но по лени своей он покуда так и не взялся за перо. А впечатления свои изливал в разговорах с кем попало. Неоценимое удобство представлял для этого лейтенант Вулворт по своей молчаливости и охоте слушать. Но он удрал на передний край.

Конвей вздохнул, полистал тетрадь, она была девственно чиста.

Все-таки — правда, не в тот же день и не на следующий, а послезавтра, в день приема ванны, — разумеется, перед процедурой, — Конвей завернул в штаб 1-й армии. Там, между прочим, показывая, что и сам не придает этому значения, он рассказал о разговоре с Урсом.

Полковник Бенджамен Диксон (или, как все его звали, Монк, то есть монах, и отнюдь не за монастырский образ жизни), начальник разведки 1-й армии, пожал плечами:

— Неужели вы думаете, что я полезу с этой чепухой к старику Трою Миддлу? Он меня высмеет, Том.

— Нет, спасибо, — сказал Конвей, отодвигая стакан, — я перед ванной никогда не пью. Я просто рассказал вам, чтобы вы видели, как мне трудно иметь дело с этой оравой неорганизованных неврастеников — маки. Представьте себе, они уверяют, что немцы пригнали в Арденны Шестую танковую армию СС, знаете, ту самую, которой командует оберстгруппенфюрер Зепп Дитрих.

— Пригнали, да, — сказал спокойно Диксон. — Из оперативного резерва.

Конвей поднял брови.

— Они сосредоточили ее, — продолжал Диксон, — в районе Кельна. И понятно почему: для отпора нашим войскам, когда мы прорвемся в Кельнскую равнину. Но вы же знаете, мы рванем только весной.

Прощаясь с Конвеем, полковник сказал:

— Вы выглядите, Том, гораздо лучше. Видно, ваши ванны пошли вам впрок. — И он повторил слова, которые обычно повторяли по всей тоненькой цепочке американских войск в Арденнах и которые звучали как заклинание: — А весной мы сами рванем...

ТЕХНИКА

Стоял густой туман. «Опель-адмирал» фельдмаршала Моделя с трудом пробирался по заснеженным горным дорогам. Некогда элегантная машина была, как лишаями, сейчас покрыта маскировочными пятнами. К задку приторочен безобразный железный баллон — газогенератор, наполненный деревянными чурками: мотор переведен на твердое топливо. Заботливый шофер навалил на крышу автомобиля еловых веток для камуфляжа, хотя день был явно нелетний. Чем больше густел туман, чем

больше ощущал фельдмаршал его студенистую плотность, тем больше он радовался. «Небо за нас!» — вспомнил он слова Гитлера и повторил их, когда прибыл на командный пункт 5-й танковой армии. Генерал Мантейфель, предупрежденный по телефону, уже ждал его. «Если только туман не рассеется», — мысленно ответил Мантейфель на бодрое восклицание Моделя, а вслух подтвердил:

— Фюрер взял небо в союзники.

— Молодой метеоролог, фюрер назвал его метеопророком, — сказал Модель, — предсказал длинную серию нелетных дней. Фюрер наградил его.

Мантейфель понимающе склонил скуластое, обветренное, тонкогубое лицо. Они следили не только друг за другом, но и за собой — не дай бог, вырвется лишнее слово.

Потом пошли в танковые роты. Скользили по наледи, кутались в плащи, перепоясанные широкими ремнями. Ветер налетал дикими порывами, сметал снег с деревьев — армия упряталась в лесах. Генералы окунали носы в меховые шалевые воротники. Аджютанты, шедшие позади, прикрывали лица тяжелыми портфелями, набитыми картами и схемами боевых участков.

По дороге Модель сказал:

— Повторяю, генерал: никаких перемен. Обращаю на это ваше особое внимание. Фюрер собственноручно начертал на операционном плане: «Изменению не подлежит». Ваш сосед справа, Шестая танковая армия Дитриха, обойдет Первую и Девятую американские армии, обрушится на Четвертую и отшвырнет ее за Маас.

— Стало быть, мне...

— Вы — на Намюр. Будете обеспечивать левый фланг Дитриха.

Как ни был осторожен Мантейфель, но тут не выдержал:

— Вспомогательное направление?

— Таков приказ, — холодно ответил фельдмаршал.

Мантейфель хотел сказать, что 6-я танковая армия — эсэсовская, а эсэсовцы прославились победами главным образом над мирным населением. Но сдержался. Но даже в молчании генерала Модель, очевидно, почувал протест и, быстро повернувшись к нему, сказал:

— Обе задачи равно существенны.

Невысокие, как боксеры в весе мухи, набычившись, стояли они друг против друга под мелким мокроватым

снегом, который сеял непрерывно. Мантейфель проговорил, не разжимая зубов, выдавливая каждое слово:

— Вы хорошо помните, господин фельдмаршал, состав моей армии? Три танковых дивизии и четыре пехотных?

— Вы забыли о мотобригаде.

— Да, бригада «Фюрербегляйт» из охраны фюрера. Но ведь она...

— Что она? — надменно осведомился Модель.

— О нет, я ничего плохого не хочу о ней сказать. Но ведь по функциям своим она преимущественно полицейская.

— Так что из этого следует?

— Да нет, ничего. Но вспомните, господин фельдмаршал, еще год назад танковые армии имели по семнадцать и даже по двадцать дивизий.

Модель вздохнул.

— Может быть, еще не поздно, — сказал он задумчиво, — перебросить с Восточного фронта...

— С Восточного? И вы это предлагаете, зная, что русские заседают на южном участке, а на севере они уже в пределах Восточной Пруссии!

— Я ничего не предлагаю, — несколько вызывающе сказал Модель. Потом примирительным тоном: — Здесь два решающих фактора за нас: внезапность удара и нелетная погода.

Они достигли расположения 47-го танкового корпуса. В тумане мелькали призрачные силуэты, неясно темнели громады танков и автомашин, полуврытые в землю. Все было похоже на гигантский театр теней. Группа танкистов хлопотала над кучей хвороста. Туман капельками оседал на их кожаных комбинезонах.

Мантейфель позвал:

— Капитан!

Штольберг подошел и откозырял со щегольством старого военного.

— Ваша часть укомплектована полностью? — спросил генерал.

— Так точно, господин генерал.

Штольберг хотел прибавить, что сегодня в его автоколонну пригнали семнадцатилетних курсантов и даже есть в пополнении несколько гимназистов из гитлерюгенда, ребятам по пятнадцать лет, но воздержался. Тем более что рядом с генералом стоял незнакомый офицер, видно, шишка из главного командования — ведь, вы-

езжая на передовую, они надевают одежду без знаков различия.

— Фаустпатронов достаточно? — отрывисто спросил незнакомый офицер.

— На вооружении батальонов по восемьдесят фаустпатронов, — отчеканил Штольберг.

Незнакомый офицер удовлетворенно мотнул головой. Внезапно налетел ветер, взметнул кучу мокрого снега, залепил глаза. Модель поплотнее запахнул плащ, при этом блеснуло на воротнике кителя серебро маршальских нашивок. Штольберг мгновенно смекнул, кто перед ним. Только он собрался почтительно осведомиться: «Разрешите быть свободным?» (в его положении лучше подальше от начальства) — как Модель спросил:

— Кострами обогреваетесь?

Штольберг не знал, что ответить — хорошо ли, что кострами, или плохо, — как Модель сам сказал:

— Разумно. Фюрер строжайше запретил расходовать горючее на обогрев моторов и людей.

Мантейфель счел момент подходящим для того, чтобы с одобрением отозваться о всеобъемлющей гениальности фюрера, который наряду с решением мировых проблем не забывает и о мелочах.

— Вы только подумайте, — сказал он, — фюрер подал идею немецким домашним хозяйкам ввиду временной нехватки съестных продуктов перейти на систему Eintopfküche¹.

«Серьезно он это или издевательски?» — подумал Штольберг, все еще стоявший навытяжку.

— Однако с кострами надо поосторожнее, чтобы не демаскироваться, — заметил Модель.

Мантейфель улыбнулся.

— Капитан, доложите о технике ваших костров, — сказал он.

— Мы жжем древесный уголь, он развивает жар, но не дает дыма.

— Превосходно! — воскликнул Модель, окончательно придя в хорошее настроение. — Надо этот опыт распространить на весь фронт.

Они пошли в расположение танкового полка. Адъютанты следовали за ними. Штольберг, посомневавшись, пошел следом за ними.

¹ Всю пищу в один горшок (нем.).

— Толковый офицер, — сказал фельдмаршал — Кто таков?

— Капитан Штольберг. Мне подали на него рапорт.

— А что такое?

— Дело на него заведено. Еще по Восточному фронту. Ввиду предстоящего наступления решено отложить разбор до конца операции.

Модель равнодушно кивнул.

Подбежал и рапортовал командир танкового полка, рыжий детина, каска с трудом держалась на его массивной голове.

— Танки у вас, я вижу, марки «Т-четыре», — сказал Модель.

Мантейфель развел руками.

— Есть некоторое количество «пантер» и «тигров», — рявкнул полковник.

— Ах так? — удовлетворенно сказал Модель.

Увидев подошедшего Штольберга, он посмотрел на него благосклонно и сказал:

— Добрая это машина, «тигр», не правда ли, капитан?

— Да... — неопределенно протянул Штольберг. В ответ на вопросительный взгляд фельдмаршала он прибавил: — Маневренности не хватает. — И после паузы: — И вооружения.

Модель нахмурился:

— Объясните.

Штольберг отчеканил уставным тоном:

— «Тигров» выпускают две фирмы — «Хеншель» и «Порше». «Тигр» фирмы «Порше» не имеет пулемета и поэтому не может вести ближнего боя. У нас на вооружении «тигры» марки «Порше».

Модель покосился на Мантейфеля. Тот молчал с непроницаемым видом. Наступила неловкая пауза. Дело в том, что год назад в битве на Курской дуге в армии Моделя было девяносто «тигров». И это были именно «тигры» марки «Порше»...

— Есть у нас и «королевские тигры», — поспешно вставил полковник. И с гордостью добавил: — Толщина лобовой брони — сто пятьдесят миллиметров.

— А скорость? — спросил Штольберг.

Полковник оглянулся и, увидев, что перед ним не более чем армейский капитан, не счел нужным ответить.

— Вы слышали вопрос? — строго спросил фельдмаршал.

Полковник неохотно сказал:

— Скорость тридцать четыре километра.— Но тут же с воодушевлением добавил: — Зато у «пантеры» — пятьдесят четыре! Скоростная самоходка! Не утонишь-ся!

Штольберг кашлянул. Модель покосился на него.

— Говорите! — приказал он.

— Разрешите доложить, — сказал Штольберг, — что из-за недостаточной защищенности системы смазки «пантера» быстро портится. Питание горючим неудовлетворительное. «Пантера» быстро воспламеняется. На Курской дуге во время операции «Цитадель» «пантеры» горели, как факелы.

Мантейфель торопливо вмешался:

— Капитан Штольберг, можете быть свободны.

И с опасением покосился на Моделя. Тот помрачнел и резко отвернулся. Он не выносил напоминаний об операции «Цитадель», где он со своими армиями 9-й и 2-й танковой потерпел такой постыдный крах.

АНГЕЛЫ НЕ ЛГУТ

— О чем задумался, старик? — крикнул совсем молоденький солдат.

Они грелись у бездымного костра. Рядом сидел его брат-близнец, совершенно неотличимый от него, такой же розовощекий, с такими же белыми ресницами. Их различали только по тому, что у одного был небольшой шрам над левой бровью.

Тот, кого называли стариком, молчал. Это был новобранец из фольксштурмистов. Он поднял лицо, иссеченное морщинами настолько глубокими, что туда с трудом проникала бритва и они заросли седоватой щетиной. Его мобилизовали совсем недавно, и из его слезящихся глаз еще не выпарилось удивление. Он дышал на пальцы, стараясь их согреть. Под каской он повязал шарф на манер подшлемника. Это не полагалось, но в густом морозном тумане обер-фельдфебель не заметит. Фольксштурмист посмотрел на близнецов и сказал:

— О чем я думаю? Да все о том же... Никак не могу понять: грешники мы или праведники, черт бы нас побрал!

Близнец со шрамом предостерегающе приложил палец ко рту, но было поздно. Лейтенант из роты пропа-

ганды, развешивавший на дереве плакат «Каждый немецкий солдат делает внешнюю политику!», тронул фолькштурмиста за плечо. Тот вскочил. Нижняя губа его отвисла. К ней приклеилась потухшая сигарета.

— Так ты не знаешь, кто ты такой? — спросил лейтенант. — Я тоже не знаю, кто ты такой. От тебя дурной запах. Не немецкий.

У лейтенанта подергивалась щека. Видимо, он страдал тиком. Близнец — тот, что со шрамом, — тотчас начал бессознательно подражать ему. Другой близнец подвинулся и собой прикрыл брата от лейтенанта.

— Господин лейтенант, у меня есть расовый паспорт.

Старик дрожащей рукой вытащил из кармана изрядно потрепанный паспорт. На его обложке значилось: «Только для людей немецкой крови. Обладание паспортом не разрешено людям смешанной крови. Издание НСДАП. Мюнхен».

Лейтенант полистал паспорт, вернул его фолькштурмисту, что-то проворчал и принялся прибивать под первым плакатом второй, с надписью: «Верить! Сражаться! Повиноваться!» Солдаты молча наблюдали. Когда лейтенант отдалился, старый фолькштурмист сказал:

— Я продрог. Сыро... Пойду за кипятком.

— Сиди, — сказал близнец со шрамом. И обратившись к брату: — Гельмут, принеси кипятку.

Гельмут послушно поднялся.

— Хорошо, Хорст, — сказал он и скрылся в гущине леса.

Рослый солдат, дремавший, прислонившись к дереву, вдруг очнулся и спросил, подмигнув:

— Он младший?

— Не в том дело, — сказал Хорст. Он коснулся пальцем шрама над бровью: — Это его работа.

— Ну? — заинтересовался рослый. Он толкнул своего соседа, тоже дремавшего рядом: — Слышишь, Иоганн? Библейская история: Авель и Каин.

И он захохотал во все горло. Когда он смолк, из лесного мрака донеслось эхо его хохота. Иоганн потянулся, встал — ладный паренек небольшого танкистского росточка, в танковые части подбирали невысоких. Сказал, зевнув:

— Кастетом двинул?

— Футбол, — сказал Хорст, оглядывая всех невин-

ными голубыми глазами.— Еще в детстве. Заехал бутсом. Мог глаз вышибить. Вот и казнится всю жизнь.

— Никак не могу проснуться, — сказал рослый солдат, зевая. Он стал стаскивать с себя шинель, потом китель, потом рубаху.

— Вилли, ты совсем одурел? — сказал Иоганн.

— Это не так глупо, воспаление легких ему обеспечено, — сказал фольксштурмист, понимающе улыбаясь.

— Что за радость? — не понял Хорст.

— Ловчится в госпиталь, — пояснил фольксштурмист.

— Ты там помалкивай, старое чучело! — отозвался Вилли. Он принялся растирать снегом свой безволосый торс.— Я этому научился в России, — говорил он, — от одного старичка, крестьянина, славный такой, просто жалко было его кончать.

— А зачем? — удивился Хорст.

— Ну а что поделаешь, — сказал Вилли, хлопывая ладошками свое покрасневшее тело.— Мы угоняли русских в Германию. Старик захромал, задерживал колонну. Пришлось истратить на него пулю. Он ничего, только перекрестился перед тем, как я сделал ему *ge-nickschuß*¹. Смирный... Так вот он надоумил меня растираться снегом. Это очень здорово.

Он стал натягивать на себя рубаху.

— Ты что, бреешь тело? — спросил Иоганн.

— Пошел ты! Я от природы такой гладкий.

— Может, ты баба? — ехидно сказал Иоганн.

Вилли расстегнул ширинку:

— А это у бабы есть?

Все помирили со смеху. Только на тоскливом лице фольксштурмиста появилась гримаса отвращения.

— А ты, старик, чего морду воротить! Да сними шарф с каски, он тебе не к лицу.

— Ах, что мне теперь к лицу... — пробормотал фольксштурмист.

— Как что? Саван! — крикнул Вилли.

Хохоча, он ушел с Иоганном, пообещав принести колбасу для всех.

Старик вздохнул:

— Когда-то наша армия была что надо... Никто не мог противостоять ей. Францию смяли в несколько дней.

¹ Выстрел в затылок (нем.).

В общем, вся Европа наклала в штаны. Да, так это было...

— Почему «было»? — искренне удивился Хорст.

— Потому, мой дорогой сосунок, что германская армия выродилась. — Он приподнял край шарфа и тронул седой висок: — Дошли до того, что стариков забривают. Ну, скажем, я еще смогу опереть ствол о бруствер и пнуть в американцев. А что толку, я тебя спрашиваю?

Он выкатил на Хорста слезящиеся глаза.

Хорст не знал, что ответить. Он искал взглядом брата. Но того не было. Старик ему нравился. Несмотря на его смешную и жалкую неприглядность, в нем было что-то умное и добродушное. Хорст сказал неуверенно:

— Фюреру нужны Арденны. Мы ему их доставим.

Старик махнул рукой.

— Он импровизатор, наш фюрер. Ты можешь это понять? Он тычется то в одну сторону, то в другую. Давит маленькие государства. Велика ли честь победить Данию или Норвегию?

— А Россию?

— Так ты же видишь, что его турнули из России. Вломился туда врасплох, как ночью к спящим. А когда русские очнулись, он вылетел, как пробка из бутылки шампанского. И с Францией та же история. И с Африкой. На кой черт она ему понадобилась! Теперь он опять прет на Францию. И опять получит по зубам. Только это будет для него конец... Но что с тобой? Ты плачешь, мальчик?

Хорст утер глаза.

— Нет, ничего... Я не имею против тебя зла, отец, ты говоришь от сердца. Но это немыслимо! Фюреру дано видеть, чего не видим мы, простые люди. Не надо рассуждать. Надо идти за ним — и мы придем к цели.

Фольксштурмист посмотрел на Хорста с сожалением:

— Было время, и я так думал. Но с годами я убедился, что, когда человек приобретает власть, он становится другим. Да, да! Я, между прочим, давно подозревал, что Гитлер — это между нами, конечно, — носил в себе семена ненормальности и раньше. А захватив власть, он раздулся в деспота. Но я тебе говорю, малыш, я убежден: деспотическое в нем жило с детства. И не возвысья он, а останься рядовым человеком, как мы с тобой, он угнетал бы членов своей семьи, или солдат

своего взвода, или подручных в своей лавчонке. Такой человек всегда находит наслаждение в унижении подвластных ему. Ты хочешь знать мое мнение? Я уверен, что во всяком честолюбии есть зародыш безумия. Приглядишься к нашим золотым фазанам — и ты увидишь...

Внезапно он замолчал и растерянно уставился во что-то за спиной Хорста. Хорст оглянулся. Под деревом стоял лейтенант из Propaganda Abteilung¹. Он сказал:

— Ну что же ты замолчал? Говори! «Приглядишься к нашим золотым фазанам — и ты увидишь...» Что увидишь?

— Нет... Я вовсе не думал... Вы меня не поняли... я...

— Марш со мной!

Фольксштурмист шагнул, но лейтенант остановил его:

— Нет, не ты. — Он кивнул Хорсту: — Ты!

Когда Гельмут вернулся с бидоном кипятка, он застал у костра одного фольксштурмиста.

— Где брат?

— Его увел этот, из пропаганды.

— Что-нибудь случилось?

— Не с ним. Со мной.

— Не понимаю.

— Черт меня дернул за язык... В общем, понимаешь, я разоткровенничался в разговоре с твоим братом. Ничего особенного. В тылу все чешут языки. В своей компании, конечно. Эта паскуда из отряда пропаганды незлышно подкрался. Но, очевидно, под самый конец нашего разговора... Но я уверен, твой братишка не подведет меня? Он такой славный, такой чистый...

— Мой брат ангел! Понимаешь?

— Ну да, я же говорю.

— Ты ничего не понимаешь: ангелы не лгут...

Через несколько часов 5-я армия перебазировалась. На извилистых арденнских дорогах трудно было определить направление. Но солдаты догадывались, что их передвигают поближе к исходным рубежам предстоящего наступления. Уже было светло, когда передовые части достигли опушки леса. Здесь танки остановились, чтобы

¹ Отряд пропаганды (нем.).

пропустить конную артиллерию. Копыта коней были окутаны соломой. Запрещено было разговаривать. Американские дозоры стояли недалеко, за грядой ближайших гор. Их иззубренные вершины четко вырисовывались на бледнеющем небе. Все же солдаты шепотком оживленно переговаривались и глазели на какое-то сооружение на самой опушке у выхода в узкое пологое дефиле. К этому месту медленно, на малых оборотах мотора приближался танк, на броне которого сидели близнецы. Гельмут схватил Хорста за руку и крикнул, пересиливая грохот танка:

— Не смотри туда! Отвернись!

Он обнял Хорста за плечи и с силой повернул его. Хорст повиновался. Почувствовав, что объятия Гельмута ослабели, он чуть повернулся и посмотрел...

Это была виселица. Даже шарфа не сняли с головы старого фольксштурмиста — видно, спешили. К груди его был прикреплен плакат с надписью «Он обманывал фюрера». Старик тихо покачивался под утренним ветерком. Гельмут со страхом смотрел на брата. Шрам над его бровью набух и покраснел, словно налился кровью.

ЧИСТОКРОВНЫЕ

Фельдмаршал Вальтер фон Модель был человек долга. Поэтому из 5-й танковой армии он отправился для инспекторского смотра в 6-ю танковую армию СС, сколь ни неприятно ему это было. Дело не только в том, что он терпеть не мог командующего армией оберстгруппенфюрера (а в переводе с эсэсовского на обычный немецкий — генерал-полковника) Иозефа Дитриха, да, именно Иозефа, а не Зеппа, как его звали в те времена, когда он был коридорным в меблирашках последнего разряда и мечтал о карьере мясника. «Ну так что? — уговаривал себя фельдмаршал. — Это еще не причина презирать его. Мюрат, прославленный наполеоновский маршал и даже впоследствии король неаполитанский, тоже был, кажется, чем-то вроде сына кабатчика...»

Но дело еще и в том — и, может быть, это главное, — что Модель в глубине души считал ошибкой сведение всех танковых частей СС в одну армию. Она ему казалась непрофессиональной в военном отношении, просто довольно беспорядочное скопище разудалых парней, нечто вроде партизанщины наыворот. Разумеется, он не

говорил этого вслух и лгал даже самому себе, уверяя, что идея Гитлера великолепна. Он знал, что фюрер жаждет увидеть превосходство эсэсовских частей над регулярными войсками. Отчасти поэтому он и расположил рядом с армией Мантейфеля армию Дитриха, да еще поручил ей главную роль в предстоящем наступлении.

Это и беспокоило Моделя. Штаб 6-й армии СС производил любительское впечатление. Притом он держался подчеркнуто самостоятельно, даже заносчиво. И это могло неблагоприятно повлиять на взаимодействие с соседней 5-й армией.

Фельдмаршал подавил в себе все личное и настроился исключительно на деловой лад, когда к нему стал приближаться, бодро переваливаясь на кривоватых ногах, помахивая короткими ручками, бочковатый, с фюрерскими усиками на смуглом широконосом лице оберстгруппенфюрер Зепп Дитрих. Ни рыцарский крест с дубовыми листьями, ни блеск всевозможных эмблем, значков и нашивок на ладно скроенном кителе не могли скрыть, на взгляд Моделя, поразительного сходства Дитриха с полупьяным барменом в захолустном трактире.

Он не рапортовал фельдмаршалу, такие мелочи считались излишними в частях СС. Он просто протянул руку и, приветствуя, засмеялся хрипловатым скачущим смехом.

Накануне Модель распорядился, чтобы разведуправление вверенной ему группы армий «Б» представило биографические данные о Дитрихе, и теперь он знал, что во время первой мировой войны Дитрих дослужился до чина фельдфебеля, с приходом Гитлера к власти был командиром лейб-штандарт дивизии СС (ах, как тешило фюрера это «лейб-штандарт»!), участвовал в присоединении Австрии — это считалось его боевой заслугой, хотя ни единого выстрела там не было сделано. Выстрелы звучали в другом случае: когда Зепп Дитрих во время «ночи длинных ножей» 30 июня тридцать четвертого года расстреливал по воле Гитлера своих партийных товарищей. Дитрих подавал команду «огонь!», прибавляя скороговоркой: «Так требует фюрер!» Характеристика, представленная управлением разведки, добавляла, что оберстгруппенфюрер Зепп Дитрих по личным качествам храбрый генерал, но в танковой стратегии невежда, тщеславен и неумеренно болтлив, недалек и склонен к особой форме любви.

Фельдмаршал осведомился, какова предполагаемая диспозиция частей в день наступления.

— Мы опрокинем эту дерьмовую Четвертую американскую армию и ее потроха выметем за Маас! — воскликнул Дитрих.

Модель поморщился. Дитрих грубо копировал фюрера, его манеру выражаться. Если бы захотеть составить словарь языка Гитлера, то, вероятно, выяснилось бы, что самые излюбленные изречения его, с одной стороны, «судьба», «величие», «раса», а с другой — «слюнявый», «сопливый», «заблеванный», «вонючий» и тому подобные словечки, удержавшиеся с того времени, когда он в чине ефрейтора был вестовым при штабе Баварского полка. Сейчас он применял их не только к людям, но и к целым странам.

Модель не смел даже в душе осуждать Гитлера. Сам фельдмаршал был склонен к возвышенному слогу, в какой он облакал свои приказы и обращения к солдатам. Его идеалом были знаменитые слова Наполеона, сказанные им в Египте у подножия пирамид: «Солдаты! На вас смотрят сорок веков!» Подсознательно он находил в себе что-то общее с императором французов, даже свой малый рост.

В сущности, Модель был не столько полководцем, сколько организатором, быстрым, толковым, распорядительным. И так как военное искусство есть по преимуществу искусство организации, то Модель преуспевал там, где, как, например, под Арнемом, ему удалось быстро и умело собрать из разных мелких резервных частей боеспособную силу и противопоставить ее неточным, разрозненным, попросту неумным действиям Монтгомери.

Но есть высшее, подлинное военное искусство, включающее в себя и искусство организации, но неизмеримо поднимающееся над ним, гениальная способность распоряжения большими войсковыми массами и крупными средствами боя — искусство большой стратегии. Им Модель не обладал. И, встречаясь с такой стратегией противника, неизменно терпел поражения.

Сейчас Модель предложил более точно определить участок предстоящего наступления. Дитрих, явно сучая, буркнул:

— Это не мое дело. Это по части Крамера.

Начальник штаба армии Крамер, долговязый мрачный генерал СС, сказал неохотно:

— Наша боевая задача простая: Маас. На фланги нам наплевать. В сороковом году, когда мы брали Францию и перли через эти самые Арденны, мы тоже плевали на фланги и победили.— И прежде чем Модель успел что-нибудь сказать, он поспешно добавил: — У нас личное распоряжение фюрера.

На это трудно было что-нибудь возразить. Модель знал, что Гитлер действительно настаивал на непрерывном движении вперед, пренебрегая флангами. Новостью для фельдмаршала было другое: оказывается, Гитлер непосредственно руководит эсэсовской армией, минуя командование группы армий «Б», то есть не считаясь и не интересуясь его, фельдмаршала Моделя, распоряжениями.

Дитрих поблескивал хитрыми веселыми глазами, явно наслаждаясь унижением фельдмаршала. Он прохрипел, как бы желая выручить Моделя из неловкого положения, но этим презрительным великодушием еще больше его унижая:

— Нам нужен лозунг, Модель. Дайте нам лозунг!

— На Антверпен! — бросил Модель.

— Можете считать, что Антверпен у меня в кармане, — ответил Дитрих со своим обычным хохотком.

Фельдмаршала продолжала мучить мысль: а что, если личные распоряжения Гитлера эсэсовской армии расходятся с общим планом наступления? Ведь это грозит таким крахом... Мысль эта ужаснула Моделя. Он сделал усилие, чтобы не выдать волнения и сохранить на лице бесстрашие. Как узнать? На прямой вопрос нечего ждать откровенного ответа. Надо схитрить, предпринять глубокий обход. Преодолевая брезгливость, Модель взял Дитриха под руку и сказал дружеским тоном:

— Лишь бы только удержалась нелетная погода, а тогда...

— Плевали мы на погоду!

— Ну, — сдерживая себя, сказал Модель, — вы же знаете, что американские истребители-бомбардировщики бронейными сорокамиллиметровыми снарядами подбивают наши танки.

— Вранье! — заорал Дитрих. — Бабы сплетни! Эти вшивые американцы умеют делать только лезвия для бритв да холодильники! Шестнадцатого мы выступаем, семнадцатого мы будем в Сен-Вите.— Он повернулся к подошедшему молодому офицеру: — Не так ли, Вай-

нерт? Вот он пойдет в авангарде. Я тебе дам, Теодор, тысячу отборных парней.

Модель облегченно вздохнул. Если только Дитрих не врет, это направление удара не расходится с общим оперативным планом.

Вайнерт, красивый, рослый обер-лейтенант, перетянутый поясом по узкой талии, стоял спиной к Моделю, не обращая на него никакого внимания. Формально он имел на это право, поскольку на плаще фельдмаршала не было знаков различия. Однако трудно было предположить, что он не знает в лицо командующего группой армий.

Дитрих крикнул притворно строгим голосом:

— Оберштурмфюрер Вайнерт, вы что, не видите, кто стоит сзади?

Вайнерт огрызнулся с видом всесильного фаворита:

— У меня сзади нет глаз.

— Зато у тебя есть сзади кое-что получше, — захохотал Дитрих и хлопнул оберштурмфюрера пониже спины.

Модель уже слышал, что в тесном кружке Зеппа Дитриха шлепок по заду был обычным приветствием, он также понял, что этот красивый оберштурмфюрер, очевидно, очередной «молодой друг» Дитриха. Модель только не предполагал, что этими противоестественными связями так открыто похваляются, как если бы статья сто семьдесят пятая, карающая за половые извращения, значилась в фашистском уголовном кодексе просто для приличия.

Вайнерт повернулся и откозырял.

— Бравый офицер, а? — сказал Дитрих. И добавил: — У офицеров моей армии чистая немецкая кровь документирована с тысяча семисотого года.

Фельдмаршал понимающе кивнул и спросил:

— Как у вас обстоит дело с горячим?

Дитрих разразился ругательствами в стиле ефрейторского словаря фюрера:

— Эти занюханые собачьи свиньи в ставке пересекретничали! Из-за хреновой военной тайны горячее заброшено к чертям восточнее Рейна!

Генерал Крамер добавил:

— Мы получили только тридцать процентов от требуемой нормы.

Дитрих вдруг хитро улыбнулся:

— Но я подкатился к этому старому чучелу Кейтелю. Недаром его называют начальником имперской

бензоколонки. И я у него выклянчил еще немножко. В общем, до американских складов хватит.

Модель отогнул рукав и, приставив к глазу монокль, посмотрел на часы.

— Уезжаете? — спросил Дитрих, неприязненно покосившись на монокль, который почему-то раздражал его. Но, вспомнив, что он, как хозяин этой армии, приневолен к гостеприимству, сказал с деланным радушием: — Может, хотите послушать наш зингерферейн? У нас тут такие певцы!

Модель вежливо отказался, сославшись на необходимость побывать на южном участке фронта, в 7-й полевой армии.

— Передайте мой привет старику Бранденбергеру. Они там запаршивели от бездействия. Ничего, скоро мы расшевелим всех вас!

Модель проглотил и это «вас».

ТЕОРЕМА ГЕДЕЛЯ

Воскресенье всякий, кто мог вырваться из Арденн, проводил обычно денек, а уж ночь-то во всяком случае, в Париже. Изобретали разные предлоги, клянчили увольнительные записки, а то и просто сматывались в самовольную отлучку, надеясь проскользнуть незаметно мимо всевидящих очей ребят с буквами Эм-Пи на белом шлеме. А! Что там! В конце концов, за самоволку в Париж стоит... Если Париж стоит обедни, так уж наверняка он стоит суток на губе.

Разумеется, для генерала Омара Н. Брэдли эта проблема не существовала. Иногда он прихватывал и субботу. В Париже всегда найдется дело: в Версальском дворце, этом, как его прозвали, последнем бомбоубежище Европы, — верховный штаб экспедиционных сил союзников.

Длинный, тощий, неразговорчивый, целыми днями шагал Омар Брэдли по апартаментам люкс в «Альфе», лучшем отеле в Люксембурге. Иногда ему хотелось, чтобы немцы ринулись в контрнаступление. «Пусть они наконец вылезут из своей арденнской норы!» Он уподоблял себя дорогостоящей машине, которая простаивает. Порой он прибавлял: «И ржавеет».

Вызвав к себе полковника О'Хейра, помощника начальника штаба по личному составу, генерал сказал

своим тихим монотонным голосом, поправляя очки в простой стальной оправе:

— Джозеф, я думаю, вам надо смотаться к Айку в Шеллбёрст по вопросу о пополнениях. Внушите ему наконец, черт возьми, что у нас здесь просто скандальная нехватка в живой силе.

Даже в разговоре со своими сотрудниками генерал Брэдли называл Версаль, просто чтобы не растренироваться, кодовой кличкой Шеллбёрст (что означает «разрыв снаряда»).

О'Хейр, массивный рыжий ирландец, в прошлом тренер футбольной команды, понимающе кивнул. Повинуясь приглашению генерала, он бережно опустил в хрупкое креслице грузное тело, словно литое... да нет, какое-то шишковатое, не литое, а скорее сколоченное из неровных стальных чурок, но так, что не разомкнешь. Он придал своему лицу озабоченное выражение, думая в то же время, что неплохо будет в Париже хоть немного отмякнуть от арденнской зимней оцепенелости. Тем более с его отличным знанием французского языка вплоть до жаргонных словечек. Не говоря о других развлечениях, которые нетрудно доставить себе даже в военном Париже, там, на площади Этуаль, под Триумфальной аркой, у самой могилы Неизвестного солдата первой мировой войны, а то рядом, под деревьями Елисейских полей, у спекулянтов, среди которых, к сожалению, попадаются и американские солдаты, можно раздобыть сигареты «Честерфильд» и «Кэмел», притом не пачку, а целый ящик, а также джин и виски и даже канистру розового «нелегального» бензина.

Но, помимо всего, этой поездки действительно требуется дело.

Наморщив по-деловому лоб, О'Хейр сказал:

— Собственно, Эйзенхауэр не хуже нас с вами знает, что роты не укомплектованы почти наполовину. Страшно подумать, что будет весной, когда начнутся бои, если мы не используем зимнее затишье. Но вы же знаете, генерал, в Вашингтоне гонят пополнения Макартуру на Тихий океан, хотя даже последнему дебилу ясно, что судьба войны должна решиться в Берлине, а не в Токио.

— Вот все это вы еще раз и вывалите Айку. Надо долбить в это место. Возможно, он пошлет вас с докладом в Вашингтон.— Заметив, что О'Хейр мнется, генерал спросил: — Что-нибудь еще?

— Прошу прощения, генерал, но я думаю, что, если

бы вы лично согласились вместе со мной смотаться в Верс... простите, в Шеллбёрст, шансы на успех значительно возросли бы.

Генерал Омар Н. Брэдли задумчиво потер свое продолговатое большеносое лицо и согласился.

На следующее утро генеральский «кадиллак» был подан к подъезду «Альфы». Брэдли сел сзади, с удовольствием ощущая тепло, исходившее от четырех угольных грелок, поставленных за сиденьем. Две вещи, как всегда, были при нем, ибо постоянство было его религией. Под мышкой небольшой томик вальтерскоттовского «Айвенго», который он не уставал перечитывать. На бедре в солдатской кобуре колыт одиннадцатимиллиметрового калибра, старомодная громадная пушка, которую генерал нацепил на себя впервые тридцать лет назад, когда был произведен в лейтенанты. Он питал нежную привязанность к этому кургузому пистолету, хотя вряд ли стрелял из него где-нибудь, кроме тира. Эти два признака свидетельствуют, что этот суровый и даже мрачноватый человек не был лишен некоторой душевной чувствительности.

О'Хейр втиснулся рядом с Брэдли, а генеральский адъютант капитан Честер Хенсон сел впереди. Из бокового кармана его шинели торчала свернутая в трубку довольно толстая тетрадка — это был дневник, с которым Хенсон не расставался ни на минуту.

Второй адъютант капитан Брегдон тоскливо смотрел вслед уезжающей машине.

Генерал безмятежно поглядывал по сторонам, ворочая седоватой, коротко, по-солдатски, остриженной головой, пока «кадиллак», мягко урча, катил по бульвару Свободы (еще недавно он назывался Адольф Гитлер бульвар), потом по длинному мосту, вознесшемуся над городом на высоких арках, наконец вырвался на обледенелое шоссе и, сбросив скорость, иногда буксуя, почти полз меж буковых лесов, амфитеатром всходящих на горы. А туман все густел, и Брэдли пожалел, что в этом молоке, разлитом в воздухе, плохо различим маленький старинный Динан, стоявший под горой над Маасом и всегда восхищавший генерала. Вздохнув, он раскрыл наугад толстенький томик «Айвенго». Это оказалась двадцать третья страница, конечно потому, что ее часто раскрывали, и генерал с удовольствием — в который раз! — прочел характеристику славного Седрика-Саксонца, который был его идеалом и которому он, воз-

можно, бессознательно подражал: «Казалось по выражению его, что он человек прямой, но резкий, темпераментный и вспыльчивый».

Туман слегка рассеялся, и стало видно, что они едут по узкой улице, прилепившейся к серой отвесной скале. Дома смутно отражались на льду Мааса. Мелькнула красная кирпичная ратуша, потом памятник жертвам первой мировой войны, запорошенный снегом, потом какая-то башня, похожая на шахматную ладью.

Хлопотун О'Хейр что-то бубнил насчет внеочередных пополнений, которые должны будут возместить предполагаемые потери во время предстоящего весеннего наступления американских войск. Но Брэдли почти не слушал, он не хотел терять ровного доброго настроения и отгородился от ужасающих мыслей о потерях, которые когда-то еще будут.

В этот самый день, 16 декабря, но на несколько часов раньше, а именно в пять часов пятнадцать минут утра, стало быть еще до рассвета, немцы ринулись в наступление на всех участках Арденнского фронта.

Гром артподготовки, конечно, не достигал «кадиллака» генерала Брэдли, уже миновавшего Намюр. Но, многократно повторенный горным эхом, он докатился до местечка Бар и разбудил первого лейтенанта Томаса А. Конвея. Вскоре гром затих, артподготовка была короткой, но первый лейтенант уже не мог уснуть, а гром приписал обвалу в горах. Повертевшись в постели, он в конце концов встал, умылся и вышел из дому.

Он с удовольствием вдохнул воздух, хоть и увлажненный туманом, а все же свежий и бодрящий. Подойдя к опушке леса, он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов по системе йогов. Потом протоптанной тропинкой пошел в лес. Улетучивалась досада на раннее пробуждение, лес, как всегда, успокаивал. «Почему лес, такой разрозненный, многообразный, — думалось Конвею, по мере того как он углублялся в чащу, — кажется единым существом? Как и море, к стати говоря. Ведь мы знаем, что в нем идет борьба, что он населен враждующими друг с другом жизнями. И все же мы воспринимаем лес как нечто единое, цельное. Не происходит ли это от врожденной потребности человека объединять, интегрировать? Искусству расчленять, анализировать, дифференцировать мы научаемся. А способность синтеза в нас

заложена. Поэтому дети такие талантливые художники...»

Мысли эти понравились Конвею, он счел их значительными и решил записать в дневник. Туман несколько рассеялся. Стало светлее. Лес переменился. Конвею показалось, что больше всего оживились сосны. Они задвигались, зашумели, просияли, как девушки под взглядами мужчин. А темные, угрюмые ели остались верны своей мрачности.

И эти наблюдения Конвей не без некоторого самодовольства решил занести в дневник. В умиротворенном, каком-то благостном настроении он вернулся домой. По лени своей за дневник он не взялся. Тем более что на столе лежала начатая листовка, заказанная Конвею управлением информации и просвещения 8-го корпуса 1-й армии еще две недели назад. Ему уже трижды напоминали о ней. Написана была покуда только одна начальная фраза: «Солдат! Государство израсходовало на тебя 30 тысяч долларов».

Вздыхнув, Конвей сел за стол и принялся писать: «Солдат! Ты должен возместить этот расход, а возместить можно уничтожением тех, на кого тебя направят...»

В это же примерно время по ту сторону фронта оберштурмбанфюрер Отто Скорцени, взгромоздившись на крышу «джипа» и пригибая туго натянутый тент своими слоновьими ногами в коротких сапогах, рывкал в рупор столпившимся вокруг него диверсантам, переодетым в английскую, а главным образом в американскую форму:

— Солдаты! Сейчас мы ворвемся в расположения противника! Они не подозревают об этом, они спят. Помните, что каждый из вас должен стать постоянно действующей машиной разрушения!

Действительно, спали все. Спал генерал Кортни Ходжес, командующий 1-й армией, накрывшись одеялом поверх головы. Спал, зарывшись в подушки, командующий 8-м корпусом генерал-майор Трой Миддлтон. Спали командиры дивизий, полков, рот, взводов и отделений. Спали семьдесят пять тысяч американских солдат от Эстернаха до Моншау. Спал набитый штабами городок. Спал под журчанье подземных источников и отдаленный гул канонады, доходившей сюда нежащим мурлыканьем.

А почему бы, собственно, не спать в такой ранний предрассветный час? Плохо другое: спали редкие дозоры, рассеянные по неровной линии переднего края.

Один из дозоров был выставлен 4-й пехотной дивизией. Именно в нее был определен первый лейтенант Лайонел Осборн. Офицеров во всем 8-м корпусе не хватало, и его сразу же послали в дозор. Настроение у него было препаршивое. Во-первых, ломило голову. Накануне он малость перебрал в компании ребят из штаба полка. Во-вторых, ему дали в дозор смехотворно мало солдат — семь человек, тогда как полагался полувзвод, то есть двадцать человек. Другой вопрос: а где их было взять в этой чертовски неукомплектованной и вообще разболтанной дивизии?

Осборн хмуро оглядел свою команду. Хорошо хоть сержант из ветеранов, да какой-то кислый, сразу же начал жаловаться на боль в ногах.

— Всегда мокрые носки, — говорил он Осборну доверительным тоном. — Я, наверно, схватил ревматизм. В Двадцать восьмой дивизии хороший хозяин, он завел специальные сушилки для носков. А в нашей Четвертой... — Сержант безнадежно махнул рукой.

Высокий очкарик тащил на плече легкий пулемет «томми». Стекла его очков были очень толстые. Он старался держаться поближе к Осборну. «Бойтся, что ли?» — подумал тот с некоторой брезгливостью. Впереди два солдата быстро, почти бегом несли базуку, длинное противотанковое реактивное ружье, — один за нос, другой за хвост. Тот, кто был у хвоста, обернулся и крикнул:

— Сержант, скажи спасибо, что ты не сороконожка!

Другой, что был у носа базуки, молодой негр, оглушительно захохотал.

— Потише, сынок, — сказал Осборн, поморщившись. — Мофы где-то рядом.

Он еще не привык к этому спокойному фронту, и ему чудился притаившийся противник за каждым пригорком. Высокий очкарик, оказавшийся обладателем густого баса, прогудел над ухом Осборна:

— Взгляните на эти горы — первозданная природа! Только духи здесь могут пройти.

Осборн покосился на очкарика. «Интеллектуал», — подумал он с презрением, огладил свои стреловидные усики и ничего не ответил.

Второй лейтенант, сдававший пост, тоже был явно из резервистов.

— Сдаю вам горный хребет Шне-Эйфель и предстоящую морозную ночь,— сказал он, смеясь всем своим мясистым лицом.

Убежище было вырублено в горе — глубокая полутемная пещера. Дневной свет проникал через дверное отверстие. Однако там был электрический свет, провод был протянут из Эльзенобарна. Вдоль стен стояли койки. Уголь лежал снаружи — большой холм, запорошенный снегом. Осборн проворчал, что это непорядок. Но сержант успокоил его:

— Угля это полезно, он лучше разгорается.

Действительно, пузатая железная печь вскоре раскалилась докрасна, и стало почти уютно. Свободные от нарядов солдаты сели вокруг печи. Один из них, тот самый шутник, который сосчитал насчет сороконожки, приблизил к Осборну лицо и каким-то интимным, почти заговорщическим тоном сказал:

— Ребята говорили, что тут, в горах, есть незамерзающая речушка, к ней кабаны ходят на водопой.

Осборн искоса посмотрел на него и спросил:

— Тебя как звать, сынок?

— Ричард Тибсон. Так вот, нет нежнее мяса, чем кабанчик, запеченный на костре в собственном жиру.

Осборн сказал довольно добродушно:

— А еще лучше камбала, фаршированная артишоками, под соусом из шампиньонов.— И прибавил устало: — Вот что, Дик, ты эти бредни насчет кабанов оставь. Я запрещаю отлучаться хотя бы на минуту.

Дик посмотрел на первого лейтенанта с горьким сожалением. Видимо, он искал в своем запасе остроумия что-нибудь такое, что могло бы сразить Осборна наповал. Но, так и не найдя, вздохнул и завалился спать. Осборн позавидовал ему. Головная боль по-прежнему торчала в черепе. Он кликнул сержанта и вышел наружу.

Морозный колючий туман. Солнце, чуть завернутое в тучи, упало где-то за спиной. Скучный свет лежал на безжизненных скалах. Осборн снял каску и вязаный подшлемник. Холод охватил голову. Ему показалось, что мучительный молоток в голове стал стучать реже. Какие странные горы! Вот эта, например, похожа на гигантского коленапоклоненного ангела, даже крылья мерещатся за его спиной. А вот та, с шарообразной вершиной,— ну вылитая старая баба в халате. А вот эта нависла над

дорогой — не дорога, скорей тропка, она вьется далеко вниз, пропадает между гор и снова взвивается вверх. В сущности, дозор охраняет выход из этого дефиле. От него идет арочный мост. Пожалуй, по нему — Осборн на глазок прикинул — танки могли бы двигаться даже по двое в ряду. Конечно, средние.

— Сержант!

— Слушаю, первый лейтенант.

— Мост заминирован?

Сержант удивился:

— А зачем? Наступать-то будем мы. И то весной. — Помолчав, он прибавил: — Посты расставлены. С вашего разрешения, я прилягу.

Щелкнув каблуками, он удалился.

Осборн подумал, что здесь и вправду можно отдохнуть. Как бывают на шумных столичных перекрестках «островки спасения», где пешеход может спокойно постоять, дожидаясь зеленого света, так этот арденнский участок фронта — тоже какой-то «островок спасения» посреди горящего мира.

Он почувствовал, что кто-то стал рядом. Ах, это все тот же очкарик!

— Тебя зовут, кажется, Коллинз?

— Зовите меня просто Майкл.

— Славно здесь, правда, Майкл?

— Как сказать...

— Ну и придира ты! Чего тебе тут недостает?

— Звезд.

— Звезд? Так ведь звезды — это бомбежки. Благословляй это низкое небо, этот туман. Ты студент?

— Да... А вы?

— Я музыкант.

Майкл посмотрел на Осборна с некоторым недоверием.

— Я первый раз в горах, — сказал Майкл. — И не предполагал, что здесь так спокойно и даже торжественно. Какой красивый мост! Он как будто летит над пропастью, правда? А эти горы похожи на хорал. Беззвучный хорал.

Сравнение понравилось Осборну. И даже польстило ему. Без сомнения, сказано во внимание к тому, что он музыкант. И совсем парню незачем знать, что он пикирует на контрабасе в кафешке на окраине Нью-Орлеана.

Вдруг Майкл схватил его за руку.

— Смотрите! Что это? Землетрясение?

Осборн засмеялся:

— Какой ты нервный! Это туман зашатался. Ветер! Ты давно в армии?

— Три месяца.

Осборн сочувственно посмотрел на Майкла — тощий, сутулый, с ненормально расширенными глазами, с узкими женственными запястьями рук.

— И как только тебя подмели в армию! Да еще в Европу, на фронт!

— Я настоял. Меня освобождали из-за глаз. Но я добился.

— Ну? Разинул рот на красивенькие плакаты, которые выпускают для дурачков? Или нарвался на патристическую бабу из Дамского комитета жен ветеранов? Среди них есть такие мастерицы охмурять, могут уговорить пастора пойти в мусорщики.

— Никто меня не уговаривал. Я ненавижу насилие. Фашизм — это религия насилия. Я хочу собственноручно свернуть шею фашизму! — И добавил смущенно, словно устыдившись своего возбужденного тона: — Или принять в этом участие.

— Филолог?

— Нет, математик.

— Так тебе прямая дорога в артиллерию. Подавай рапорт о перечислении. Все-таки у них там легче, чище, чем в нашей мусорной пехоте.

— Но артиллерия дальше от противника. Можно провоевать в артиллерии всю войну и не увидеть ни одного живого немца. А я хочу сшибиться с ними грудь с грудью.

— Странный ты парень, Майкл. Ну иди выспись, через два часа тебе заступать на пост.

Сумерки в горах короткие. Сразу стало темно, словно кто-то повернул вселенский выключатель.

Майкл побрел в убежище, откинул полог. Оттуда на секунду вырвался свет, шмыгнул по краю обрыва, и снова стало темно. Осборн решил пойти проверить посты. Он пошарил на груди, ища подвесной фонарик. Фонарика не было, — видно, остался в мешке на койке. Он пошел к убежищу. Оттуда доносился тихий разговор. Осборн остановился послушать. Два голоса перебивали друг друга.

— Нет, ты толком скажи, зачем ты сунулся в это дерьмо?

Осборн узнал голос Дика.

Другой:

— Я тебе говорил: моя религия — антифашизм.

Это, конечно, Майкл.

— Нет, ты брось завираться, не крути, давай по-честному: какого черта ты припер на войну?

— Есть такая теорема Гёделя. В математической логике. Я попробую популярно изложить тебе ее.

— Иди ты со своей логикой знаешь куда! Я не такой олух, как ты думаешь!

— Значит, так. Есть такие неполные системы, аксиоматические, ну, бесспорные, что ли, их нельзя ни доказать, ни опровергнуть. И все же они истинные.

— Слушай, Майкл, а ты, знаешь, малость косолапый. У тебя носки внутрь.

— Приходится прибегать к элементам, взятым извне, за пределами данной системы.

— А знаешь, почему ты так ходишь?

— Или просто верить в данную систему аксиоматически, не подпирая ее конструкцией аргументов. То, что я пошел на войну, одним может показаться глупым, а другим — святым делом. Ни обосновать, ни разбить этого нельзя. И все же не подлежит сомнению, что я прав, что пошел на войну.

— Объясню тебе, парень: у тебя задница не на месте, она у тебя подвешена слишком низко, будь я проклят!

Осборн не удержался от смеха. Он вошел в убежище. Дик разлегся на койке, а Майкл сидел рядом на корточках, долговязый ангел, и вместо крыльев помахивал длинными руками в слишком коротких рукавах. Осборн принялся шарить в своем мешке.

— Ищете что-нибудь, первый лейтенант? — спросил Дик.

— Да вот не найду своего фонарика.

— Черти утащили.

— Не валяй дурака, Дик.

— Нет, честное слово! Конечно, это делают бесенята.

Взрослый, уважающий себя черт никогда не опустится до кражи мелких вещей.

Майкл смотрел на Дика с восхищением. Осборн улыбнулся. Хорошо, что в их команде есть такой разбитый малый. Это несколько скрасит дозорную тяготину.

Так и не найдя фонарика, Осборн прилег на минутку, как он сказал себе, но незаметно для себя заснул крепчайшим сном.

Незадолго до рассвета Осборн вскочил: грохотали пушки. Он напялил каску и выбежал из убежища. Вслед за ним выбежал Майкл. Дул сильный пронзительный ветер. Спросонья Осборн забыл, что на дворе зима. Небо посветлело, мутно-серый свет стоял над горами. То, что Осборн увидел, так потрясло его, что он перестал чувствовать холод. Внизу по дороге к мосту ползли танки. Они были покрашены белой краской. Но в свете прожектора, который сержант засветил на крыше убежища, проглядывали белые кресты на их броне. В ту же минуту выстрел разбил прожектор.

Осборн нырнул в убежище, накиннул шинель и схватил гарант, самозарядную винтовку, с которой он не расставался.

— Надо подорвать мост! — крикнул он.

Но тут же понял, что уже не успеть.

— Наши идут! — радостно вскричал сержант.

Обгоняя танки, по мосту двигался «джип», набитый ребятами в американской форме. Сержант побежал вниз, к ним навстречу.

Из «джипа» выскочили двое и подошли к часовому. Это был негр. И тут Осборн с ужасом увидел, как один из прибывших американцев выстрелил негру в голову. Сержант остановился, не добежав до моста. Тотчас раздалась пулеметная очередь из «джипа». Сержант, вертясь, упал в пропасть.

— Что это? Измена? — крикнул Майкл.

— Скорей к телефону, надо предупредить.

Они вбежали в убежище. Осборн схватил телефонную трубку. Она была безжизненна. По-видимому, провод был перебит.

— Ну-ка давай отсюда быстро! — сказал Осборн. — Через несколько минут они будут здесь.

— Куда?

— В лес. А там посмотрим.

Они побежали в сторону от дороги. Танки грохотали уже совсем близко. Проваливаясь в снег, Осборн и Майкл забежали в глубокую лесистую расщелину.

— А, черт! — простонал Осборн.

— Вы ранены?

— У меня, видимо, открылась рана на ноге. И я остался там, в убежище, свой дневник.

— Я пойду за ним.

— Не смей! Черт с ним!

— Я перевяжу вам рану.

Майкл достал из нагрудного кармана индивидуальный пакет и прислушался.

— Вы слышите? Английская речь!

— Тише! Это диверсанты.

Осборн обнажил ногу. Его тряс озноб. А нога горела. Майкл забинтовал рану.

Вскоре голоса утихли, звуки моторов стали удаляться.

— Я выгляну, — сказал Майкл.

— Подожди.

Но Майкл, полусогнувшись, вышел из расщелины. Оставшись один, Осборн подумал: «Мальчишку подбьют». Он с трудом поднялся, чтобы пойти за Майклом, и скверно выругался, проклиная его. В это время тот вернулся.

— Они убрались, — сказал он.

— В какую сторону?

Майкл махнул рукой на запад.

— Боюсь спрашивать: как наши?

— Я никого не видел. Или убежали, или...

Он не закончил. Потом:

— Снизу идут танки. Много танков с пехотой на броне.

— Так... Все прокакали наши мудрецы...

— Я пойду.

— Куда?

— За вашим дневником.

— Сумасшедший!

— И за своей винтовкой. Не бойтесь. Я успею до их прихода.

И снова исчез.

Боль в ноге с такой силой пронзила Осборна, что он лишился сознания. Не совсем, наверно, потому что почувствовал, что ему суют в рот что-то холодное, зубы лягнули о стекло, потом обжигающая жидкость пролилась в горло и глубже. Он открыл глаза.

— Улизнул из-под самого их носа, — сказал Майкл. — Они там все перевернули, почему-то пожгли, забрали наши винтовки... — Он опустил голову и прошептал: — Я видел труп Дика...

Грохот танков не прекращался.

— Очевидно, только мы двое уцелели, — сказал Осборн.

— Надо бы его похоронить...

Осборн пожал плечами и тут же застонал от боли в ноге.

— Вот ваш дневник, — сказал Майкл. Он протянул полуобожженную тетрадь. — Она тлела, я потушил ее снегом.

— Да ну его! Стоило из-за него рисковать.

— Стоило, — сказал Майкл. — Дневник — это самое драгоценное. Это летопись души.

— Слушай, ты не мог бы говорить не так красиво? Майкл подумал. Потом сказал со вздохом:

— Нет, наверно, не мог бы.

Несмотря на тяжесть их положения, может быть даже безнадежность, Осборн усмехнулся — с такой навивной серьезностью это было сказано.

— Подождем, пока они уберутся, — сказал он.

— А потом?

— Попробуем пробраться к своим.

Они притаились в глубокой ложбинке, лежали на животах в снегу щека к щеке. Лежали долго. Танки шли и шли, и бронетранспортеры, набитые солдатами, и грузовики с понтонами, и бензовозы, и санитарные машины.

Осборн процедил сквозь зубы:

— Прямо просятся под бомбежку. Пара-другая «боингов» разнесла бы все это вдрызг...

Но мрачное небо висит почти над головами. Сильно сказано? Ну, над вершинами гор, во всяком случае. Да что там! Краями бурых лохматых туч оно цепляется за верхушки деревьев, особенно на горизонте, когда он вдруг на мгновение становится виден в каком-нибудь просвете между горами, — внезапный порыв морозного ветра раздирает туман, и блеснет, как обещанье счастья, ослепительная, недостижимо далекая полоска голубого неба.

Только к середине дня стало тихо. Полузамерзшие Осборн и Майкл выкарабкались из своей ямы. Их шатало. Они принялись махать руками и охлопывать друг друга.

— Сильнее! — кричал Осборн. — Ты слишком нежно меня колошматишь!

— Я боюсь, вам будет больно.

— Ничего, моя рана задубела на морозе. Бей!

Поначалу они не решились идти по дороге, а пробрались по крутым лесистым склонам, держась за деревья и с трудом выдирая ноги из снега. Это было мучительно трудно, особенно для Осборна, и в конце концов, плюнув на опасность, они вышли на дорогу. Они тащились, то

и дело оглядываясь. Но дорога была пуста: видно, вся немецкая сила укатила на запад.

Белизна ослепляла Майкла. Он пожаловался, что плохо видит. Осборн повел его за руку. А Майкл нес его гарант.

— Значит, мы сейчас в немецком тылу? Да? — спросил Майкл.

— Выходит, так, — проворчал Осборн. Он посмотрел на Майкла. — Как ты несешь винтовку? В нее набьется снег. Неси ее дулом вниз.

Майкл послушно перевернул гарант.

— Да, кстати, — сказал Осборн с насмешливым презрением, — что ж ты не сцепился с немцами? Ты же мечтал об этом.

Майкл молчал.

— Ты изменил своей религии — бороться с насил-ем. Ты вероотступник.

Он наслаждался растерянностью Майкла.

— А я тебе скажу: ты просто трус.

Майкл пробормотал:

— Знаете, я почему-то не почувствовал к ним нена-висти...

Осборн посмотрел на него с возмущением.

К полудню они дошли до скрещения дорог. Снег был грязно изжеван гусеницами танков. Тучи по-прежнему шатались тяжело и низко. Но лес выглядел сказочно. Голые буки, низкорослые кривобокие березы превратились в красавиц: каждая ветка, каждый сучок оторочен хрустально белым кружевом. Майкл смотрел с восхище-нием на эту ювелирную работу морозного тумана. Ос-борн ее не замечал. У него ныла нога, он страшно устал, его мушкетерские усики намокли и повисли, на лице про-ступила жесткая щетина, кое-где с сединой. Кроме того, он очень хотел есть и от этого ослабел, но не признавал-ся и старался не отставать от длинноногого Майкла.

Вдруг тот нагнулся и что-то поднял. Широкая дере-вянная стрела. Он стряхнул с нее снег. Оказалось, это дорожный указатель. На нем надпись: Бастонь.

— Мы, должно быть, совсем близко от наших, — сказал Майкл.

— Да, если их не выперли боши.

— Так, значит, нам надо пройти сквозь линию фронта?

— Да, но не это самое опасное.

— А что?

— Когда мы будем приближаться к своим, они с перепугу могут принять нас за бошей и подстрелить.

— То есть за переодетых диверсантов?

— Да.

Майкл пробормотал задумчиво:

— Я допускал, что меня убьют... Но чтоб это сделали свои же... Боже, как это глупо!

— А ты что, приехал ума набираться на войне?..

Некоторое время части 6-й и 5-й танковых армий шли бок о бок, сметая слабые американские дозоры. Потом они веером разошлись: Зепп Дитрих — на северо-запад, он разинул пасть на Льеж и Антверпен; Мантейфель — на запад, стремясь заглотить Брюссель; 7-я полевая армия Бранденберга перла на юго-запад, на Люксембург.

В авангарде 6-й армии шел отборный отряд эсэсовцев во главе с фаворитом Дитриха оберштурмфюрером Вайнертом. Одержимые мыслью продвинуться вперед как можно дальше и как можно скорее, они, овладев американскими оборонительными пунктами, не брали никого в плен, а, сберегая время, расстреливали американцев тут же на месте. Продвигались они по узким обрывистым дорогам с поразительной быстротой и в первые же несколько часов углубились в расположения противника не менее чем на двадцать километров. Но вдруг остановились. Перед ними бесновался незамерзающий горный поток, довольно широкий и весь в водоворотах. Странное и даже немного жуткое впечатление производило это холодное кипение воды среди оцепенелых снегов и льдов. Пришлось ждать, пока подойдут переправочные средства. Какая потеря времени!

Вайнерт в нетерпении шагал по берегу своей молодцеватой пружинистой походкой, колебля тело на длинных стеблевидных ногах, слегка поскальзывая на обледенелых камнях и нервно хлопая себя по сапогу резиновым хлыстом — шлагом.

Наконец порученцы, которых он беспрерывно посылал в тыл, доложили ему, что приближается колонна с инженерным имуществом, но саперы эти не свои, а соседа, то есть 5-й армии.

— Наплевать! — вскричал Вайнерт и приказал людям подготовиться к переправе.

Это была автоколонна капитана Франца Штольберга, груженная понтонно-мостовыми средствами. Капитан сидел в кабине головной машины. Иногда он сменял за рулем шофера, давая ему отдохнуть. Он и сам изнемог от усталости. Такой дьявольски трудной работы, как тут, в Арденнах, еще не было у Штольберга. Эти скользкие, как каток, дороги с проклятым наклоном в сторону обрыва! Эти неожиданные повороты почти под прямым углом, где приходилось отцеплять орудия и прицепы и лебедками перетаскивать через эти чертовы ловушки! А сзади в спину тычут наступающие части! А обгон на этих дорогах невозможен... «Нет, уж лучше польская слякоть», — угрюмо думал Штольберг. И вдруг всю его мрачность сдуло воспоминание о польской девчонке, об этой Ядзе, Ядзе-с-косичками, как ее на допросе упорно называл эта гнида гауптштурмфюрер Биттнер. И именно после этого допроса она неотступно стучится ему в голову — золотоволосая девчонка с гримасой загнанного зверька. А ведь он ее почти не видел, только какой-то миг, когда она пряталась в углу сарая, а там, в здании гестапо, поник, уронив лысую голову на стол, застреленный ею палач...

— Потрудитесь навести переправу как можно быстрее, — услышал он голос Вайнерта.

Вайнерт говорил отрывисто, повелительно. Штольберг слушал вежливо и, как показалось Вайнерту, почтительно наклонив голову. Они были примерно одного роста, Штольберг, пожалуй, пошире в плечах.

— Мне приказано, — сказал он мягко, — в первую голову обеспечивать переправу артиллерии.

— Ваша фамилия, должность? — так же отрывисто спросил Вайнерт, устремив на Штольберга красивые дерзкие глаза.

— Капитан Штольберг, начальник отдельной автоколонны Пятой танковой армии.

— Капитан Штольберг, в силу данных мне особых инструкций я приказываю вам немедленно навести переправу для моего отряда.

— Переправа будет наведена незамедлительно, — сказал Штольберг все так же учтиво, — но... по ней прежде всего пройдет артиллерия.

Собственно говоря, Штольберг мог, конечно, пропустить отряд Вайнерта первым. Но когда он увидел изнеженную и наглую морду Вайнерта, он пришел в ярость. И, как всегда в этом состоянии, заключил свою

ялость в оболочку мягкости и даже как бы смиренности. Поначалу Вайнерт был обманут этой почтительностью. Но вскоре сообразил, что Штольберг не только противоречит ему, но еще, пожалуй, и издевается над ним.

Поток глухо ревел. Понтонеры подтягивали свои огромные калошеобразные лодки к берегу. Вокруг Вайнерта стояли эсэсовцы, все как на подбор рослые ребята. Некоторые с недоброй усмешкой расстегивали кобуры и стаскивали с груди автоматы.

— Капитан, вы отдаете себе отчет в том, с кем разговариваете? — процедил Вайнерт.

Штольберг обернулся и что-то шепнул стоящему позади него артиллерийскому лейтенанту. Тот послушно кивнул и побежал к своим машинам. А через несколько минут артиллеристы установили у берега два полевых орудия. Быстро расчехлив стволы, они направили их на подобранный к берегу отряд Вайнерта. Все это они проделали проворно и, по-видимому, не без удовольствия. Прорвалась затаенная рознь между армейцами и привилегированной гитлеровской гвардией.

— У меня личный приказ фюрера! — уже не сдерживая голоса, кричал Вайнерт.

— Покажите, — по-прежнему мягко сказал Штольберг.

Артиллерийский лейтенант подошел к Штольбергу и, вытянувшись, доложил:

— Орудия заряжены картечью.

Вайнерт покосился на пушки, круто повернулся и бросил через плечо:

— Поторапливайтесь, капитан. Следом за артиллерией пойдем мы. Но на вас я подам рапорт.

Штольберг пожал плечами и сказал довольно равнодушно:

— Не советую. У вашего доноса нет будущности.

Услышав слово «донос», Вайнерт свирепо стеганул себя шлагом по сапогу и пошел прочь. Эсэсовцы терпеть не могли этого слова. Они придумывали для него столько вполне благопристойных псевдонимов: «заявление», «сообщение», «рапорт», «информация», «докладная записка».

А Штольберга угроза Вайнерта несколько не испугала. Ну еще один донос. Что это изменит в его судьбе? И пока мимо по понтонному мосту с грохотом проносились орудия, влекомые лошадьми, которых ездовые нещадно стегали, потому что лошади были реквизирова-

ны у голландских крестьян и не понимали немецких команд, Штольберг вспоминал, как он тогда остановил машину и выпустил из ящика от македонских сигарет ту золотоволосую крошку и она, серьезно глянув на него, со всех ног побежала в сторону леса графа Потоцкого, где, как известно, притаились хлопские батальоны.

ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Наконец лейтенант Вулворт добрался до места. Он пожал руку Маньковскому и тому рыжему парню и выпрыгнул из грузовика. Попал в сугроб, отряхнулся, засмеялся. Он был в прекрасном настроении. Все ему нравилось. И забористые словечки солдат, и дымно-сладковатая горечь дешевого табака, и крутые снежные тропинки, по которым он добирался до этого городка, и самое его название: Бастонь. В этом звуке есть что-то звонкое и воинственное. В радостно-возбужденном состоянии Вулворт не заметил некоторых странностей на улице. Она была забита грузовиками, крестьянскими возами, легковушками, даже танками. Один из них, видимо чрезвычайно спеша, попер на тротуар, и Вулворт вжался в стену. То есть, конечно, он замечал всю эту суету. Но не видел в ней ничего странного. Война! Он со вкусом вдыхал запах войны, запах этой сумятицы, эти крики, скрежеты, весь этот грозный и живописный хаос, каким ему представлялась война.

Немножко удивило его, что у входа в штаб 8-го корпуса не было часового. Оттуда выбежал сержант с огромной кипой папок в руках. Он наткнулся на Вулворта, не извинился, а еще и чертыхнулся. Вулворт хотел было призвать его к порядку, но потом подумал, что сержант мог в спешке из-за этой горы папок и не заметить, что перед ним офицер. В полутемном коридоре Вулворт тщательно вглядывался в лица встречаемых офицеров. Он знал, что его дядя работает в штабе корпуса, но не знал, в каком отделе. Он заглядывал то в одну, то в другую комнату и не решался ни к кому обратиться. У всех такой озабоченный вид. Никто не сидел на месте. Хлопали двери, шкафы раскрыты настежь, ящики столов выдвинуты. Было похоже, что штаб выворачивает свое канцелярское нутро. Никто не обращал внимания на Вулворта.

В крайней комнате было поспокойнее. Два офицера

молча выкладывали на столы кипы папок с документами. Потом нагибались, что-то брали из-под стола и засовывали в эти груды бумаг. Вглядевшись, Вулворт увидел, что это «что-то» — термитные гранаты. Офицеры были так заняты своим странным делом, что не заметили Вулворта. Он деликатно кашлянул. Один из офицеров, плечистый увалень, подняв голову и отбросив с глаз длинные белокурые волосы, спросил довольно сурово:

— Откуда вы взялись?

— Я ищу полковника Вулворта. И кроме того, не можете ли вы сказать мне, где базируется Шестая бронетанковая дивизия?

Офицер переглянулся с товарищем. Потом буркнул:

— Предъявите документы.

Вулворта поразил контраст между его вульгарной физиономией и этими золотистыми, почти дамскими кудрями, ниспадавшими до плеч и обрамлявшими его испытые черты.

С какой-то радостной услужливостью Вулворт показал свой офицерский билет и направление в часть.

— Однофамилец? — спросил офицер более мягко. — Или родственник полковника?

— Племянник, — несколько смущенно сказал Вулворт.

— Полковник три часа назад эвакуировался со штабным имуществом. Его перевели в верховный штаб. А что касается вашего направления, то вряд ли кто-нибудь сможет указать, куда занесло Шестую бронетанковую...

— Позвольте... как же это? Ведь есть дислокация...

Офицер внимательно оглядел Вулворта, его новенькую шинельку с начищенными пуговицами, сверкавшую лаком скрипучую кобуру и сказал:

— На войне, лейтенант, не все точно. На войне несколько иначе, чем на уроке каллиграфии в школе, из которой вы, по-видимому, недавно вылупились.

Другой офицер, постарше, с отвислыми усами, занимавшийся тем же, чем и сосед, то есть осторожным зарыванием термитных гранат в груды документов, сказал:

— Не разыгрывай паренька, Чарли. И не строй из себя старого окопного волка. Послушайте, Вулворт, ваш дядя действительно смазал пятки салом. И если вы жаждете его обнять и передать ему посылку от мамочки с теплыми носками и маисовой лепешкой, тогда валяйте в Нешато. Только побыстрее. Немцы уже в Троттоне. Это

рукой подать. А что касается Шестой бронетанковой, то сам Дуайт Эйзенхауэр не скажет, где она сейчас мотается, все так перепуталось, что не разберешь, где фронт, где тыл.

Вмешался белокурый увалень. Он сказал довольно вежливо, видимо хотел загладить прежний хамоватый тон:

— По последним сведениям, не ручаюсь за их точность, ваша дивизия, возможно, находится где-то между Бастонью и Сен-Витом и пытается отразить натиск Пятой армии Мантейфеля.

Сказав это, он полез рукой под стол, достал из ящика очередную термитную гранату и принялся устраивать ее в кипе бумаг. Заметив удивленный взгляд Вулворта, он сказал:

— Как только на гребне этих гор, которыми вы можете любоваться через окно, покажутся немцы, мы подожжем термитные гранаты, и вся секретная документация превратится в пепел.

— Что же это? Наступление?

— Смотри, мальчик попался из смысленых, — проворчал длинноволосый.

— Вот что, лейтенант, — сказал другой серьезно, — у ворот штаба стоит «студебеккер». Валяйте туда. Только побыстрее.

— А вы?

— А мы остаемся. Мы попробуем все-таки не отдавать Бастонь.

Вулворт ничего не ответил. Только как-то неуклюже потоптался на месте. Этот капитан с отвислыми усами и заостренным, несколько свернутым в сторону носом казался ему необыкновенно симпатичным и даже красивым.

А вот тот, второй, белокурый увалень, совсем ему не понравился. Что-то было в нем заносчивое, наплевательское. Но Вулворт старался расположиться по-доброму к нему, пребывая в том блаженно-восхищенном состоянии духа, из которого не выпадал с той самой минуты, когда нога его ступила на землю пылающей Европы. Тем более что на груди у белокурого, особенно когда он поворачивался, играл бликами и испускал маленькие вспышки орден «Пурпурное сердце», на который Вулворт то и дело искоса поглядывал.

— Побыстрее! — крикнул капитан. — Больше транспорта не будет.

— А м... можно,— робко, заикаясь, сказал Вулворт,— а можно мне тоже остаться?

Он снова покосился на «Пурпурное сердце», которое ослепительно подмигнуло ему своим сверкающим оком.

16 декабря первому лейтенанту Конвею не пришлось принять очередную ванну в Спа. Паника, охватившая этот город, была еще сильнее, чем в Бастони, вероятно потому, что в Спа много тыловых военных учреждений, а тыловики, как известно, обладают несравненно более чуткой нервной организацией, чем задубевшие в боях фронтовики. Прислуга разбежалась, подача воды в ванное заведение «Петр Великий» прекратилась. Раздосадованный, некупанный Конвей, ладонью прикрывая рот и нос, чтобы не застудить горло, поплелся в штаб 1-й армии узнавать новости. Он не застал его. Только вихрь бумаг — приказов, запросов, директив — летал по пустым комнатам. Впрочем, сержант-буфетчик еще копошился в шкафах бара, запикивая в контейнер навалом вина, тушенку, сигареты, сардины, яичный порошок, что попало. Он-то и сообщил Конвею, что штаб во главе с генералом Ходжесом укатил по направлению к Вервье.

Но уж если Ходжес, спокойный, уравновешенный, методичный...

Сержант-буфетчик добавил, что до Вервье отличное шоссе, не то что эти проклятые горные спирали, узкие как ловушка. Ведь в случае нападения с воздуха укрыться некуда. Что из того, что по обе стороны горных дорог густой лес, — там такая крутизна, что не вскарабкаешься. А превосходная магистраль на Вервье широка, и, кроме того, оттуда прямой путь на Льеж. Наш «студебеккер» идет туда не позже чем через час, потому что боши уже в Мальмеди, а ведь это рядом.

— Я видел у входа два «студебеккера», — заметил Конвей.

Сержант-буфетчик объяснил, что второй «студебеккер» идет с грузом боеприпасов совсем в другую сторону, в Бастонь...

Не дослушав, Конвей вышел на улицу. Он понимал, что надо спешить. Он горько пожалел в этот момент, что не выхлопотал себе увольнения из армии. С его ревматизмом и связями в штабе это не проблема. Но сейчас, когда завязывается сражение, это как-то не совсем удобно.

Поначалу он сел в «студебеккер», который направлялся в Вервье. Но краем уха он услышал, что немцы выбросили парашютный десант где-то в районе Шофонтонна. А это недалеко от шоссе на Вервье. Поэтому он пересел на тот грузовик, который вез боеприпасы в Бастонь. Однако оказалось, что место в кабине уже было занято двумя старшими офицерами. Ну что ж... Сняв заиндевшие на морозе очки, Конвей вскарабкался в кузов и принялся устраиваться в неудобном соседстве со взрывчатыми материалами. Все же это лучше, чем встреча с диверсантами! «Однако чертовски холодно! Бедные мои суставы! Нет, так воевать я не согласен...»

Конвей решил утеплиться. И пока шофер налаживал на колеса цепи, Конвей, дрожа как в ознобе, раскрыл свой чемодан. Наверху лежал незаконченный проект листовки, призывавший покончить с чудовищем нацизма, цветная копия Рафаэлевой «Сикстинской мадонны», толстый дневник, в который, впрочем, Конвей не занес еще ни строки, и несколько брошюр: Томас Конвей, «Ранние византийские иконы». Он запустил руку в глубину чемодана и выгреб оттуда длинные солдатские подштанники. «Да, этот русский партизан Урс предупредил, что немцы зашевелились... Ну что ж, я сообщил об этом в штаб. Но Диксон не придавал этому значения, даже высмеял меня...» Сидя на ящике со снарядами, натягивая безобразные кальсоны на тощие ноги, Конвей был уверен, что предупредил штаб о предстоящем ударе Рундштедта, но к его сигналам не прислушались. Да, это не случайная вылазка, а мощное контрнаступление! Только дурак этого не понимает!

Но хотя ни Дуайт Эйзенхауэр, ни Омар Брэдли, ни «монах» Диксон не были дураками — о нет! — они этого не поняли.

В тот вечер они играли в бридж. Игра втроем требует особого сосредоточения. Ветер шумел в деревьях, окружавших виллу в Сен-Жермен-Ан-Ле, штаб Эйзенхауэра. Стекла в морозных узорах. Вино подогрето. В огромном камине уютно потрескивают поленья. В углу сверкает украшенная елка. Над дверью — белой, с бронзовыми инкрустациями — свисают листья омелы. В соседней комнате сержант-буфетчик с двумя подручными солдатами накрывает длинный рождественский стол.

В тот момент, когда Эйзенхауэр задумался, собрав вокруг глаз крупные ласковые морщины, как бы ему отразить сложную каверзу этого хитреца Брэдли, в ком-

нату, неслышно ступая, вошел дежурный офицер. Сегодня им был молодой Дуглас Макартур-второй, лощеный, щеголеватый, похожий скорее на дипломата, чем на офицера-фронтовика. Быть может, это и не удивительно, если вспомнить, что всего два года назад он был третьим секретарем посольства в Лондоне. На левом плече его горел золотой меч и радуга на черном поле — эмблема сотрудников верховного штаба. С тех пор как этот молодой человек был пристроен при Эйзенхауэре, отцовское сердце главнокомандующего юго-западным районом Тихого океана генерала Макартира было спокойно за сына.

Макартур подошел к Диксону и что-то шепнул ему на ухо. Полковник, извинившись, тотчас вышел. Вернувшись, он сказал:

— Простите, генерал, но я полагаю, что должен вам это сказать. Трой Миддлтон звонил, что Рундштедт зашевелился.

Эйзенхауэр с минуту подумал и решительно метнул на стол карту. Потом спросил:

— Он сам звонил?

— Нет, из оперативного отдела. Передавали, что есть данные о прибытии на фронт Шестой танковой армии СС.

Эйзенхауэр сказал с ироническим недоумением:

— Воображение — хорошая вещь, но не в такой степени. Я надеюсь, Монк, вы объяснили им, что Шестая танковая армия СС находится в районе Кельна.

— Немцы все мечтают вернуть Ахен,— сказал Диксон.— Говорят, Гитлер поклялся...

— Шевелятся, вы говорите...— задумчиво проговорил Эйзенхауэр.— Очевидно, это то, что они называют «активная оборона».

— Я думаю,— сказал Диксон,— что немцы хотят захватить какую-нибудь высоту, чтобы преподнести рождественский подарок фюреру. В этом тоталитарном государстве есть такая рабская манера — делать подношения обожаемому фюреру за счет солдатской крови.

Омар Брэдли потер массивную челюсть, покачал головой и сказал негромким, словно застенчивым голосом:

— Take heed to yourself for the Devil is unchained¹.
Все вскинули на него глаза.

— Простите за цитату из «Айвенго»,— продолжал

¹ Берегитесь, дьявол спущен с цепи (англ.).

он, — но я думаю, что это не так просто. По-видимому, Рундштедт хочет остановить наступление Паттона в Сааре. Это отвлекающий удар.

Эйзенхауэр кивнул Макартуру:

— Дуг, позвоните от моего имени Монти: как у них там, на севере? — Потом к Диксону: — Дайте нам вашу карту, Монк, знаете, ту, на которой нанесены расположения Рундштедта.

Когда карта была принесена, ее положили на стол осторожно, чтобы не смешать игральные карты, и склонились над нею.

— Ну да, — сказал Эйзенхауэр, — у них на все Арденны четыре пехотных и две танковых дивизии...

— ...которые движутся на север, — добавил Диксон.

Карту сняли, они опять уселись за стол.

— Вряд ли с этим можно сделать что-нибудь серьезное, — сказал Эйзенхауэр.

— Вы говорите о дивизиях Рундштедта или о своих картах? — спросил Брэдли.

Эйзенхауэр рассмеялся.

— Вы же знаете, Брэд, вооруженные силы Соединенных Штатов могут высечь весь мир.

Вошел Макартур.

— Разрешите доложить? Фельдмаршал виконт Монтгомери шлет привет генералу Эйзенхауэру и информирует, что немцы перешли к обороне на всем участке.

— Очевидно, к активной обороне, — вставил Диксон.

Макартур продолжал:

— Фельдмаршал добавил, что Рундштедт не в состоянии наступать — у него нет для этого ни транспорта, ни горючего.

— Ни людей, — добавил Эйзенхауэр. Он задумался на мгновение и сказал: — А все же, Брэд, на всякий случай примем некоторые меры предосторожности. Уж очень у Миддлтона жидковатый фронт, весь в прорехах. Отправьте-ка ему Седьмую бронетанковую из Девятой армии, ну и, скажем, Десятую бронетанковую из Третьей армии.

— Из Третьей? Вы представляете себе, какой скандал мне учинит Готспер!

Эйзенхауэр удивился:

— Это еще кто? — Потом, поняв, рассмеялся: — Вы так называете Паттона?

Готспер — значит «горячая шпора». Так Шекспир в своей хронике «Генрих IV» называет за необуздан-

ность характера вождя феодалов Генри Перси. Конечно, Брэдли извлек это прозвище не из шекспировской хроники, а из своего излюбленного «Айвенго».

Эйзенхауэр поморщился.

— Мне надоела эта вечная возня с Джорджем Паттоном. Честное слово, я больше воюю с Паттоном, чем с Гитлером.

Все рассмеялись. Монк Диксон придал лицу небрежное выражение. Все насторожились: это предвещало острую реплику. У Диксона была репутация хорошего рассказчика, и он дорожил ею.

— Вы знаете, — сказал он, — как Гитлер отозвался о Паттоне? Мне передавал один пленный офицер: «Ах, Паттон, этот генерал-ковбой!» Но вот забавно: оказывается, Гитлер признался, что во всем мире он боится только двух людей: Сталина и Черчилля. Правда, к Черчиллю у него двойственное отношение. Дело в том, что Гитлер узнал, что Черчилль назвал его кровожадным подонком. Он взбесился и дал себе слово повесить Черчилля... — Диксон сделал паузу и закончил с тонкой улыбкой: — Конечно, в том случае, если он доберется до него.

Все захохотали пуще, но, взяв в руки карты, снова стали благоговейно-серьезны.

Игра продолжалась.

ХЛЕБ

Осборн старался сохранить воинский вид и не бросал каску, хотя с каждым шагом ему казалось, что она становится тяжелее. Он подвесил ее к поясу. И ногу не волочил, хотя она болела все сильнее. А главное, он старался не отставать от Майкла, это был для него вопрос самолюбия. Майкл шел легко, каким-то летучим шагом. Осборн поглядывал на него с хмурой завистью. Он даже иногда зажмуривал глаза, чтобы не так отчетливо видеть его. И тогда ему казалось, что Майкл парит над землей, длинный переросток со светлым детским лицом. Наконец Осборн не выдержал и предложил сделать привал.

Они сошли с дороги и принялись карабкаться в лес по обледенелому склону, иногда такому крутому и скользкому, что приходилось опускаться на четверень-

ки. Майкл обхватил Осборна и тащил за собой. Казалось, это для него не составляет труда.

Они остановились на маленькой поляне, окруженной мощными мрачными елями. Место это казалось им надежно защищенным от взглядов с дороги. Осборн бросил плащ на снег и рухнул. Майкл сел на пенек. Он положил на колени подобранную им деревянную стрелу с надписью «Бастонь». Достав из кармана огрызок карандаша и вырвав из записной книжки листок бумаги, он положил его на стрелу, аккуратно разгладил и принялся писать, склонив голову набок, как прилежный школьник.

— Что ты царапаешь там?

— Письмо маме.

— Какой добродетельный сыночек! Ты что думаешь, здесь, в лесу, развешаны почтовые ящики?

Майкл удивленно посмотрел на Осборна: что это он так злобно? Ответил не сразу:

— Главное — писать. Это труднее, чем отправить.

Майкл всегда брал некоторое время словно на обдумывание ответа. Он вертел его в голове, прежде чем выпустить на волю. Нетерпеливого Осборна это раздражало. Да и вообще он чувствовал, как в нем накапливается неприязнь к Майклу. Но он не признавался себе в этом. И был неприятно удивлен, когда Майкл поднял на него глаза и сказал:

— За что вы меня ненавидите?

— Ты с ума сошел!

Но в эту минуту он почувствовал, что действительно невзлюбил Майкла.

Он ненавидел Майкла за его «невыносимое благородство», за его «зловонную скромность», за тощую стеблевидную фигуру, и девичьи тонкие запястья, и изумленно-вопрошающий взгляд. Он ненавидел его, потому что смертельно устал, потому что мучительно ныла рана в ноге, потому что не знал, как пробраться к своим и от этого пал духом, потому что боялся наткнуться на диверсантов и потому что был страшно голоден, а за пазухой у него лежал кирпичик хлеба, и его мысли были направлены на это, и он злился на Майкла за то, что тот своим присутствием мешает ему съесть этот хлеб, и злился на себя за то, что не делится этим хлебом с Майклом.

Глядя на него, склонившегося над письмом, Осборн и сам почувствовал желание писать. Он вытащил из

мешка свою заветную тетрадь, спасенную Майклом из огня. Желание писать навалилось на него вдруг и с непреодолимой силой. Он стеснялся этого. От полуобгоревшего дневника дурно пахло. По мнению Осборна, от него разило немцами. Он уверил себя, что есть специфический немецкий запах. Он чуял его, когда они входили в освобожденные от немцев города, — смесь шнапса, кнастера и пота. Он полистал дневник в раздумье, и вдруг внезапное подозрение охватило его.

— Ты своими грязными лапами лазил в мой дневник! Ты читал его!

— Под пулями? — сказал Майкл с мягкой укоризной.

Осборну раскотелось писать. Майкл сложил письмо, сунул в конверт, провел языком по его краю и положил в карман.

— Меня что-то сон сморил. Вы не возражаете? — сказал он.

Осборн промолчал. Майкл нарвал еловых веток, улегся на них и мгновенно заснул.

Проснувшись, он увидел, что Осборн жует. Он подумал, что это чуингам¹, и собрался спросить, нет ли у него еще. Все-таки это как-то помогает заглушить ужасающее чувство голода. Но в этот момент он заметил, что Осборн вынимает из-за пазухи кусочки хлеба и запикивает их в рот. Майкл смежил веки, но не совсем, он мог наблюдать за Осборном. Сколько у него там было хлеба, непонятно, потому что он отламывал там, за пазухой, а наружу вынимал маленькими кусочками и быстро нес их в рот. Майкл закрыл глаза, чтобы Осборн не заметил, что он за ним наблюдает. Иногда он на секунду приоткрывал глаза — Осборн таскал и таскал из-за пазухи.

Майкл боялся пошевеливаться. Он не хотел этого видеть. Он не хотел дурно думать об Осборне. Он жалел его. Он не мог решить, так ли это хорошо, что в нем столь сильно развито чувство жалости. Как это странно! Там, в Штатах, у него была теоретическая ненависть к немцам. То есть к насилию. Ну и к немцам как носителям этого насилия. И вот он на войне, и другое, еще более мощное чувство постепенно пропитало все его существо: жалость. Он жалеет... Притом всех. Почему? И жертвы и насильников. И убитых и убийц. Почему, черт возьми? Это какое-то искривление души. «Осборн прав: я вероот-

¹ Жевательная резина (англ.).

ступник. Может быть, я просто трус? Не знаю. Не понимаю. Я не понимаю, что такое трусость, потому что точно так же я не понимаю, что такое храбрость. Но Осборн все-таки прав: я изменник. Я предал себя. Я должен пересилить свою жалость к немцам. Выжечь ее из себя. Я приехал, чтобы бороться с насилием. И я буду бороться».

ПЕТЛЯ

5-я танковая армия обошлась без артиллерийской подготовки. Генерал Мантейфель против этого. «Зачем? Мы только спугнем противника. Пусть этим занимается Шестая. Эсэсовцы любят треск, барабанный бой. Мы будем действовать втихомолку. Операция «Ночные убийцы»...»

В полной темноте (только снег неясно отсвечивал) и полном безмолвии (все, что могло звенеть и бряцать, от фляг на поясах до передков орудий, наглухо приторочено и задраено) по понтонному мосту штурмовые роты и ударные группы 5-й армии перешли реку Ур у местечка Дасбург. Здесь генерал Мантейфель положил быть своему командному пункту.

Слабые американские заставы в горных проходах были частью уничтожены, частью же панически бежали в городок Шенберг. Но на следующий день был взят и Шенберг. Очень милый городок, почти не поврежденный. Солдаты ворчали: их гнали вперед без передышки. Вперед, только вперед! Вилли, сидевший на броне танка вместе с Иоганном и обоими близнецами, говорил с горечью, несколько не хоронясь:

— Все слопают тыловики — и баб и трофеи.

Иоганн подхватил:

— И награды!

Близнецы молчали. Гельмут с беспокойством поглядывал на Хорста. Они тряслись на броне, стоя друг возле друга, похлопывали одинаковыми белыми ресницами, каждый был похож на другого, как на свое отражение в зеркале. Хорст что-то сказал, из-за шума моторов не расслышав, но Гельмут догадался. Он и Хорст так сроднились душевно, что угадывали мысли друг друга. Гельмут понял, что сказал Хорст.

— Я его предал, — сказал он.

На привале за обедом — а обед был славный, захва-

тели совершенно нетронутый американский продовольственный склад, даже шоколад там был! — Гельмут сказал:

— Зачем ты наговариваешь на себя? Ты здесь ни при чем. Ведь этот... ведь он...

Хорст сказал угрюмо:

— Да, да, мы даже не знаем, как его звали.

— Это не важно. У него был такой длинный язык. Он сам себя предал.

— Нет. Это я. Надо было лгать. Это я его сунул в петлю...

На обед пятнадцать минут. Ни секунды больше. Вперед! Только вперед! К Маасу! Ибо хотя фронт прорван — в нем колоссальная прореха шириной в восемьдесят километров — и американцы драпают, ослепленные ужасом, фюрер недоволен. Он ожидал, что сегодня, 17 декабря, обе армии, 5-я и 6-я СС, дорвутся до Мааса. Но до Мааса еще столько дела! Еще не взят этот проклятый Сен-Вит, этот городишко-паук, где сплелись пять шоссе и три железных дороги. Уже под его стенами сдались Мантейфелю семь тысяч окруженных американцев, а Сен-Вит всеми остриями своих церквей и башен торчит как заноза в горле наступления. Мантейфель жмет на него всей мощью своего правого фланга. «Но Дитрих! Дитрих! Где же левый фланг Шестой? Он ведь должен сомкнуться с правым флангом у Сен-Вита! Где же он? Ведь если Эйзенхауэр очнется — а это не может не произойти, и вся суть грандиозного немецкого блефа в том, чтобы перевалить через Маас, пока он не очнулся, — и поднапрет своим американско-англо-канадским множеством, страшно подумать, что станет с моим славным пятьдесят седьмым корпусом... Да и со всеми нами! Второй Сталинград! После Паулюса — Рундштедт!» Мантейфель даже вздрогнул при этой мысли. Связаться с Дитрихом не удавалось. Телефонная нить рвалась поминутно. Метели в горах сносили шесты с проводом. Вообще не было уверенности, что они существуют. Хаос панического отступления соответствовал хаосу победного наступления. Непогода разметывала и радиосвязь. К тому же Мантейфель подозревал, что Дитрих избегает разговора с ним. Очевидно, придется прибегнуть к классическому способу связи XIX века — через ординарцев, как во времена Наполеона.

Однако это не так просто. Человек, посланный к Дитриху, должен вести себя тонко, принимая во внимание

самодурство оберстgruppenфюрера. Это должен быть образованный, самостоятельный, ловкий, тактичный офицер, который сможет составить точное представление о положении 6-й армии, не выдавая в то же время Дитриху истинной цели своего поручения.

Мантейфель вспомнил об офицере, которого фельдмаршал Модель назвал толковым. Как его? Штольберг, кажется? Генерал послал за ним. Этого офицера тем удобнее послать в 6-ю армию, что не жаль, если с ним что-нибудь случится по дороге в этом логове эсэсовцев: все равно он неблагонадежный, на него уже заведено какое-то дело.

Генерал лично объяснил Штольбергу, в чем состоит его поручение. Конечно, устное. Никаких бумаг. Словесное послание от генерала оберстgruppenфюреру.

Штольберг слушал генерала с удовлетворением. Поручение было ему по душе. В его натуре отвращение к нацизму уживалось с преданностью своей 5-й армии.

Генерал повторил:

— Изложите мои претензии точно. Как у вас с памятью?

— Не жалуюсь.

— Главное, опишите положение с флангами, как оно есть. Не забудьте упомянуть о просчете с горючим. — Немного поколебавшись, он добавил: — Если в связи с этим зайдет речь о наших парашютистах, изложите не стесняясь нашу точку зрения: здесь они неприменимы. Есть вопросы?

— Никак нет, господин генерал, все ясно. Разрешите выполнять?

— С богом!.. Да, вот еще что... — Помявшись, генерал сказал: — Выражайтесь энергичнее, понятно. Не стесняйтесь в выражениях, там принят такой стиль, и это может подстегнуть их к действиям.

Он чуть улыбнулся, и Штольберг подумал, глядя на него: «Веселый аскет...»

Однако легко было наполеоновским офицерам на взмысленных конях, с прыгающей лядункой на боку, придерживая треуголку с развевающимся плюмажем, скакать по дымному полю сражения, пригнувшись к шее коня, чтоб не угодить под пушечное ядро, и единственное, что им грозило, это смерть. Подумаешь!

Другое дело пробираться на паршивеньком задыхающемся «оптеле», буксующем, несмотря на цепи, на укатанном снегу. Рокадных дорог здесь нет. А есть

путаный горный лабиринт со взорванными мостами, с нерасчищенными минными полями, с лесом, вдруг перебегающим дорогу, страшным в своем затаившемся безмолвии.

Тут Штольберг не выдерживал, сам брал баранку, чтобы занять себя делом, чтобы забыть, что он живая мишень, что он на мушке партизана, укрывшегося в лесу. Напряжением памяти Штольберг вызывал образ маленькой испуганной Ядзи-с-косичками, и тут же возникало бледное, с лиловыми подглазьями лицо Биттнера, которого он, возможно, встретит в 6-й армии СС, и тот может провалить его миссию, ибо дело об участии Штольберга в бегстве Ядзи отнюдь не закрыто, а только временно прикрито. Эти мысли помогали Штольбергу заглушить подленькое чувство страха, пока он гнул свое длинное тело над баранкой, мчась мимо сумрачного, недобро молчавшего леса.

ПОЩЕЧИНА

Девятнадцатого декабря передовые части 5-й армии достигли Живэ в двадцати километрах от Мааса. 6-я армия СС продолжала вести тяжелые бои у Монжуа. Отряд партизан под начальством Урса продвигался лесами в направлении к Бастони. Ночами они высылали разведку во встречные люксембургские местечки, и, если немецкий гарнизон был невелик, они завязывали с ним бой. Потом снова исчезали в лесу на вершинах и склонах гор, невидимые для воюющих сторон, которые сражались на дорогах и в городах. Но и здесь, в лесу, партизаны соблюдали осторожность и шли рассыпанным строем, мелкими группами, скользили меж деревьев, как тени, на коротких охотничьих лыжах в своих белых бараньих тулупчиках.

Они и в лесу избегали открытых мест, и если Амедей, Лейзеров и Финик, вопреки запрету, вышли на большую круглую поляну, то это потому, что они заметили лежащие в снегу два тела. Полузасыпанные снегом, они тесно прижались друг к другу щека к щеке. Их тормозили, растирали снегом. Потом подтащили к костру и влили каждому в рот изрядную порцию горячего чая с ромом. Первым открыл глаза Майкл. Увидев наклонившееся над ним бородатое курносое лицо Финика, он прошептал:

— Сократ...

Он все еще был во власти сладкого забытья, в которое впадают замерзающие.

Финик поднялся и сказал:

— Ну, этот в порядке.

Осборн все слышал. Но он предпочитал оставаться якобы в обморочном состоянии. Из предосторожности. А вдруг это переодетые диверсанты? Кроме того, он надеялся, что в него, может быть, вольют еще порцию этого восхитительного пойла.

Но если Осборн заподозрил в своих спасителях переодетых диверсантов, то такая же мысль пришла в голову Финику: а не являются ли эти два американца замаскированными эсэсовцами?

Подоспевший к этому времени Урс энергично замотал своей тяжелой головой.

— Порете чепуху, ребята. Диверсанты не сунутся в лес.

В конце концов все устроилось. Партизаны обещали доставить Осборна и Майкла в какую-нибудь американскую часть.

— Фронт не сплошной, — сказал Урс, — мы всегда найдем лазейку, чтобы проскользнуть на ту сторону.

Он внимательно присматривался к американцам. Он нашел, что Осборн с его желчным выражением лица и повелительными интонациями довольно шаблонный тип офицера из резервистов, заполучившего кроху власти, и она вскружила ему голову. «Не моего романа человек», — решил Урс и перестал интересоваться Осборном.

Другое дело Майкл. Урса поразило смещение в его лице... Лице? Да нет... В повадках? И не в этом... Юноша держался смиренно... Может быть, в детскости его взгляда или в его бесстрашии, доходившем до нелепости, было то смещение силы и беспомощности, которое так поразило Урса. То необщее, что было в Майкле, привлекло внимание и другого партизана, Давида Брандиса, ставшего, кстати, его взводным командиром.

Осборн обособился от партизан. Он позволял разговаривать с собой и даже снисходил до односложных ответов, но сам ни к кому не обращался, за исключением Урса, который все же был начальником отряда и вообще подавлял Осборна громадностью своей плоти, размахистостью жестов и громоподобностью рыка.

Майкл, напротив, быстро сошелся со всеми. Амедееу

он наиграл на губной гармонике несколько коротеньких американских зонгов. Другой француз, тощий, словно вымоченный в рассоле, нервный молчаливый Жан, преисполнился к Майклу доверием и рассказал на ломаном английском языке о своих тревогах за семью, оставшуюся в Париже. У мужичков Питера и Яна стал Майкл учиться фламандскому языку, а у Финика русскому. Но более всего он сошелся с сухим, жилистым Брандисом, который мог говорить часами настойчиво, иногда навязчиво, но умел и слушать, поглаживая свою красивую черную бороду, не скрывавшую страдальческой и презрительной линии его рта. Кроме того, Майкла и Брандиса связывало то, что они оба математики. Темы их разговоров были скачущие. Майкл мало терся в мире. В его жизни, еще такой короткой, не было резких граней, когда душа на изломе обнажается до дна. Не было и разительных встреч, не было еще даже любви. Были только комнатные бури духа. Большое и малое смешивалось в его мозгу хаотически. Однако он твердо знал: его ждут муки распятия, ибо он поставил своим жизненным правилом не брать, а отдавать.

У Брандиса же было что порассказать. Он поведал Майклу о судьбе русского журналиста Кольцова, которого он встречал в Испании, и другого журналиста, итальянца Курта Малапарте, с ним он тайно встречался в Кракове, где тот был принят в резиденции гауляйтера Франка, а он, Брандис, работал в подпольной группе Сопротивления. Он рассказал Майклу о борьбе варшавского гетто и о трагическом восстании Варшавы против нацистов, он дрался на баррикадах обеих этих битв. Но больше всего страсти Брандис вкладывал в свои рассуждения о судьбах еврейского народа. Это было его больное место, и в такие минуты он казался Майклу почти безумным со всеми своими муками и надеждами.

По мере того как партизанский отряд продвигался на юг, к нему приставали американские солдаты, уцелевшие во время разгрома горных застав и поражения у Сен-Вита. Их всех сгоняли под начало первого лейтенанта Осборна, который, казалось, был рад, что ему нашлось занятие. Первым делом он проверял, не переодетые ли диверсанты они. Он устраивал им экзамен по американскому быту: как называется остров, на котором стоит статуя Свободы? Кто такой Тарзан? Как зовут вице-президента? Он предлагал произносить слово «wreath» (венок) — сочетание w, r, th не под силу даже

хорошо знающим язык немцам. И т. п. Негров, конечно, он не проверял. Вот когда наконец пригодилась их кожа.

Постепенно в отряде Урса образовывался американский взвод. Странно, что Майкл не вошел в него. Осборн словно забыл о нем. Но Майкл понимал, что дело не в этом. Осборн вообще избегал обращаться к нему. Между ними возникло силовое поле, отшвыривавшее их друг от друга, но покуда незаметное для других. Было похоже, что между ними лежит что-то такое, чего они оба боятся коснуться, что-то вроде мины натяжного действия типа «прыгающей Бетти». Боже сохрани задеть хотя бы один из трех ее усиков, выступающих еле заметно из земли. Впрочем, Осборн не был уверен, догадывается ли Майкл, какая убийственная шрапнельная начинка кроется в их «прыгающей Бетти». А Майкл отгонял от себя саму мысль, будто Осборн догадывается, что ему, Майклу, известно нечто такое тягостное, унижительное, позорное, что... Словом, они избегали друг друга. Майкл числился во взводе Брандиса.

Получив под свое начало американских солдат, Осборн решил подтянуть их. Его не смущало, что тут были ребята из разных частей и различного рода оружия — помимо пехотинцев, связисты, саперы, артиллеристы и нестроевые — повара, санитары. Осборн наконец побрился. Казалось, вместе с грязной щетиной он сбросил с себя мрачную апатию и снова приобрел свой мушкетерский бравый вид.

На одном из привалов он построил американцев в две шеренги и обратился к ним с небольшой речью. Начал он отнюдь не резко, скорее покровительственно, как хозяин с работниками:

— Я хотел сказать вам вот что, люди. Вы потеряли воинский вид. Мы находимся в чужой среде. Партизаны не солдаты. Вы с них пример не берите.

Майкл, проходивший мимо, остановился и с удивлением слушал. Этих замашек он не знал за Осборном. «Он честолобив, оказывается, — подумал Майкл, прислушиваясь к начальническому ноткам в голосе первого лейтенанта. — И, как все честолобцы, он беспринципен...»

— Я не хочу видеть расстегнутых воротничков! — кричал Осборн. — Что за разгильдяйство! Ношение галстуков обязательно! А гамаш! Посмотрите на них! Шнурки волочатся по земле! Как черви! Безобразие!

Теперь уже не только Майкл, но и другие партизаны остановились и наблюдали это зрелище. Подошел и Урс.

Он слушал с явным интересом и чуть усмехался в свою саваофскую бороду. Осборна нисколько не смущала эта аудитория. Он распался все больше:

— Отныне всякого солдата, которого я увижу без каски, я буду штрафовать. Для первого раза на десять долларов.

Солдаты молчали. Одни были испуганы, другие подталкивали друг друга локтями и насмешливо улыбались. Правофланговый, красивый рослый малый, откровенно засмеялся.

Осборн вскипел.

— Фамилия? Армия? — крикнул он.

— Взводный сержант Нортон из Третьей армии.

Глаза его дерзко блестели. Он не скрывал улыбки.

— Здесь, в походных условиях, нет гауптвахты, — отрывисто проговорил Осборн. — Но при первой возможности трое суток тебе обеспечено. Не надейся, что забуду. — Он прибавил более мягко, впадая в отечески-назидательный тон: — Стидно, Нортон. Если бы командующий твоей армией генерал Паттон знал о твоём поведении...

— Стоп! — сказал Нортон. — Ныне Джордж Паттон уже не тот. На днях по приказу главнокомандующего генерал Паттон перед строем просил извинения у солдата. Да, сэр, у простого солдата.

Тут Урс внезапно расстался со своим олимпийским спокойствием и пробасил:

— Расскажи, парень.

Нортон ухмыльнулся.

— А что ж рассказывать, дело простое. Проштрафился — повинился. Мало что он генерал.

Ропот восхищения пробежал по строю солдат.

Урс настаивал:

— В чем проштрафился? Говори, сержант, не бойся.

Нортон ответил пренебрежительно:

— Чего мне бояться.

Вмешался Осборн. Он уже немного жалел, что не удержался от угрозы. Видно, она пришлась не по вкусу Урсу.

— Генерал Джордж Паттон, — сказал Осборн рассудительно, — герой Сицилии. Армия гордится им. Ну, иногда вырвется у него крепкое словечко. На то мы солдаты, черт возьми, а не монашки! Что ж, люди, может, нам выдать вместо карабинов сборники псалмов, а вместо касок напялить чепчики?

И он прибавил крепкое словечко. Солдатам эта присоленная реплика понравилась. Раздался одобрительный смех. Один Нортон оставался мрачным. Он сказал угрюмо:

— Да, большего сквернословия, чем генерал Джордж Паттон, в американской армии нет. Уж он такую похабщину откалывает! Недаром у нас говорят: ругается, как Паттон.

Осборн нахмурился.

— Генерал никогда не выражается зря. Всегда по делу... Недаром говорят, что он один из самых hardbitten генералов американской армии.

— Как вы говорите? — заинтересовался Урс.

— Да это словечко трудновато перевести, — сказал Осборн, — даже англичане его не совсем понимают.

— Почему? — возразил Урс. — Вот я понимаю. Загрубелый? Упорный? Крепкий в драке? Стойкий?

— Да, — неохотно согласился Осборн, — все это так, но и еще что-то неуловимо американское... — Вдруг он прервал себя и уставился на Нортон: — Смотрю я на тебя, сержант, и не пойму: ты как попал на север? Ведь Третья армия стоит далеко на юге, где-то в Эльзасе. Какого же черта ты болтаешься здесь? А? Можешь объяснить?

Нортон посмотрел на Осборна с явным сожалением.

— А вы что, не знаете, что из Третьей армии одна дивизия была брошена под Сен-Вит? Паттон был против этого, и он был прав, будь я проклят! Гунны нас там здорово помяли. Так вот я оттуда. А вот интересно, где были вы, сэр?

Осборн побагровел от негодования. Но не успел ничего сказать, потому что немедленно вмешался Урс:

— Бросьте препираться. Будете сводить счеты, когда вернетесь к своим. Так, значит, генерал Паттон извинился перед солдатом за то, что обложил его?

— Совсем не за это, — сказал Нортон. — А то ему извиняться по десять раз в день.

— За что же?

— За то, что он смазал солдатiku по роже. Да не один, а два раза. Справа и слева.

— Не верю! — закричал Осборн.

— Тсс, — утихомирил его Урс. И к Нортону: — А ну-ка расскажи подробнее, сержант, как было дело.

Нортон переступил с ноги на ногу.

— Не подумайте, я не против Джорджа Паттона, —

начал он.— Нам не так плохо с ним. Разве можно сравнить нашу жизнь с тем адом, который достался ребятам из Девятой армии Симпсона, попавшей в подчинение к Монтгомери. Да я лучше соглашусь чистить нужники в Третьей армии, чем быть вестовым в штабе самого Монти. Нигде нет таких потерь, как на этих дерьмовых дамбах на Роере. А почему? Потому что Монти прячет своих лайми за спинами наших ребят!

Нортон разгорячился. Он выступил из строя, кричал, размахивал руками. Все это явно не нравилось Осборну, но, глянув на одобрительно улыбавшегося Урса, он сдержал себя.

Нортон продолжал:

— Так я ничего плохого не хочу сказать о нашем старике Паттоне. Он, может быть, самый блестящий офицер американской армии. Скажу больше, я горжусь Джорджем. Ведь именно он, а не кто другой выпер гуннов из Сицилии. Я там был, сэр, у меня за Сицилию «Серебряная звезда». Правда, за последнее время Паттон стал слишком фасонистый. На рукоятку своего пистолета насадил жемчужины. А посмотрите на его машину — он намалевал на ней две огромных генеральских звезды, чтобы уже издали было видно, едет сам Джордж Паттон. Но все это мы ему прощали. Но мордобой? Нет, извините, сэр! Мы свободные американцы, и из того, что сейчас мы в этой провонявшей Европе, не следует, что с нами можно обращаться, как с какими-нибудь протухшими французешками или полячишками!

Теперь ропот послышался в толпе партизан, обступивших американский взвод. Урс поднял руку, призывая к тишине.

— Полегче, сержант, — сказал он. — Тут нет «французишек» и «полячишек», а есть французы и поляки. И они твои братья по оружию. Поэтому...

Урсу не дали договорить. К строю американцев подбежал худой нервный Жан. Впрочем, сейчас он был непривычно спокоен. Он сказал на довольно правильном английском языке, изредка только вкрапленная французские слова, тут же, впрочем, поправляя себя:

— Слушай, янки, мы, французы, тоже против мордобоя, но мы за честную драку. Скидывай шинельку, и померяйся с тобой. Ни один порядочный француз не отойдет в сторонку, когда его оскорбляют.

— И ни один поляк, — раздался чей-то голос из толпы партизан.

И, вслед за тем, раздвигая людей руками, вышел Брандис.

— Выбирай, — сказал он коротко.

Урс шагнул вперед. Громадная фигура его воздвиглась между ними как стена.

— Спокойно, ребята, — сказал он. — Не хватает только, чтобы мы передрались друг с другом. Но здесь затронут вопрос чести. Поэтому, Нортон, тебе придется выбирать: или драться, или извиниться и взять свои пошлые слова о французах и поляках обратно.

Нортон стоял молча. Тишина была такая, что слышно было шуршание ветра в верхушках елей. Наконец он сказал:

— Я никого не хотел обидеть... Сорвалось с языка... На войне язык грубеет... Если мой генерал не постеснялся извиниться, то не постесняюсь и я, его солдат. — И неожиданно добавил: — А теперь, если вам этого мало, стукнемся.

Он попытался обойти Урса, но всюду наткнулся на его руки, которые отодвигали его мягко, но неодолимо.

— Хватит, хватит, — повторял Урс, — все в порядке.

Он поискал глазами Осборна, чтобы тот увел свой взвод: страсти накалились, дух драки носился над полем. Но первого лейтенанта нигде не было видно.

Осборн ушел в лес. Он хотел побыть один. Все происшедшее взволновало его. Он остановился у толстого пня. Смел с него снег. Сел. Он уверил себя, что ему надо поразмышлять. Ибо решение уже было принято. Оно было принято в тот момент, когда он узнал, что генерал публично перед строем попросил прощения у солдата. Он, Осборн, закричал тогда: «Не верю!» Но он крикнул так оттого, что он не хотел в это верить, не хотел, чтобы так было, однако понимал, что это было именно так. Ему стало жаль Паттона. Он знал его. А солдата он не знал. Он всегда восхищался Паттоном. А солдат — это какая-то абстракция, что-то безликое. Поэтому он жалел именно Паттона — этот гордый человек, этот великолепный уникум, да — единственный в своем роде, унизились до извинения перед простым солдатом, которых миллионы. В этом тоже было что-то великолепное, что-то большое, может быть великое, недоступное заурядному человеку...

Да! Решение принято! Осборн вскочил и энергично зашагал обратно в лагерь.

Он там сразу наткнулся на Урса.

— Что у вас такой праздничный вид, Осборн?

— Какой? — удивился Осборн.

— Ну, какой-то радостный, ликующий, я бы даже сказал, просветленный.

Черт! Никогда не знаешь, серьезно ли говорит этот могучий чудак или шутит. Но действительно, с того момента, когда Осборн принял свое решение, его охватил прилив радости.

— Великолепный поступок Паттона, правда, Урс?

Урс улыбнулся и сказал:

— Человеческая глупость так же многообразна, как и человеческий ум.

И зашагал дальше, оставив Осборна в полном недоумении.

Осборн вернулся к себе в палатку. Чувства его были смутны. От радостного возбуждения не осталось и следа. Снова чугунная плита надвигалась на сердце. Осборн сделал то, что он делал в безвыходном положении: он заснул. Почти непроизвольно.

И снова этот сон... Его сны были главным образом запоздалым сведением счетов. От рассчитывался в них за обиды своей жизни. Он женился на женщине много старше его и с бурным прошлым. Он расправлялся с ее любовниками, и это было так ярко, как наяву.

Но последние ночи стала являться ему в снах другая картина, более современная, почти вчерашняя. Вставал перед ним Майкл, длинный, с детским суровым лицом, переросший ангел, и выхватывал у него из рук кусок хлеба, когда он собирался засунуть его себе в рот.

Осборн закричал и проснулся, он еще не понимал, во сне это или наяву.

Он вышел из палатки и пошел искать Майкла. Он нашел его на краю маленькой площадки. Рядом с ним Брандис. В руках у них хворостинки, они что-то чертили на снегу. Осборн прислушался к их разговору. Они спорили. Но понять ничего нельзя было. Брандис говорил с усмешкой:

— Одно из двух: если эта формула... — и он рисовал на снегу какие-то странные значки, — если она истина, то почему вы не можете вывести из формулы...

И снова чертил на снегу значки, такие странные, что Осборн принял их за арабские буквы.

Но из ответа Майкла, который тот выкрикнул почти яростно, Осборн понял, что значки эти — математические символы.

— Так пойми же, Брандис, что это и есть гениальная суть теоремы Гёделя! Да, формула...

Снова значки на снегу.

— ...невыводима из аксиомы...

Значки!

— ...но истинность ее очевидна, и она сама является аксиомой, и это неопровержимо...

— Почему?

— В стандартной интерпретации...

— Которая есть детский бред!

— Нет, она есть естественный акт мышления!

Осборн позвал Майкла. Тот нехотя пошел за ним.

— Мне надо с тобой поговорить. Хватит математики.

Майкл посмотрел на него и сказал строго:

— Математика — это язык, на котором бог разговаривает с людьми!

— Только редко кто его понимает, — буркнул Осборн.

Майкл плохо слушал его. Похоже, что мыслями он там, на снегу, среди своих странных значков.

Осборн оглянулся. Он хотел удостовериться, что их никто не слышит. У него был довольно смущенный вид. Он явно не знал, как изложить то, с чем он пришел к Майклу.

— Понимаешь... — начал он с трудом, пытаясь улыбкой скрыть смущение.

Майкл посмотрел на него более внимательно.

— Понимаешь, в человеке есть и то и се... Вот ты на меня сердишься...

— Я совсем не сержусь на вас, — сказал Майкл тоже почему-то смущенно.

Осборн как бы не слышал этого. Ему было бы легче сказать то, что он хотел, считая, что Майкл на него сердится.

— Вот ты на меня сердишься... И я знаю, за что... Ну... за хлеб... Ну, за хлеб, что я ел один...

Осборн боялся посмотреть на Майкла. Почему он молчит? Ах, да... Нужно еще пробормотать какие-то слова извинения и раскаяния... Он ждет их... Но разве он и так не понимает? Это жестоко с его стороны...

Не глядя на Майкла, Осборн подумал: «Хорошо... я скажу... мне это тяжело... но я скажу...»

Он не успел.

Майкл обнял его и поцеловал.

КРУПНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Уже темнело, когда капитан Штольберг добрался до перевала у Труа-Пон. Местность оправдывала свое название: один мост, арочный, выгнув спину как кошка, прыгал на север, другой почти под прямым углом косо сбегал на запад, обломки третьего валялись на дне оврага посреди горного ручья, где запруживая его, где делая бешено порожистым.

На развилке Штольберг приказал шоферу остановиться. Ветер, набитый морозными иглами, вырывался, свистя, из ущелья. Однако в его посвисте Штольбергу почуялось что-то недоброе. Он вслушался. Эге, дружище, да это гул недалекого боя! По-видимому, дралось немалое подразделение. Понаторевшее ухо Штольберга различило в этой дьявольской трескотне не только таканье крупнокалиберных пулеметов, но и мурлыканье ротных минометов и даже изредка гром дивизионных орудий. Горное эхо дробило и множило звуки, перекачивало с вершины на вершину, выворачивало наизнанку, превращало в подобие адского хохота, иногда — гигантского мяуканья.

Капитан Штольберг испытал глубокое удовлетворение оттого, что он не имел права вязываться в бой, поскольку был посланцем со специальным поручением от генерала Мантейфеля к оберстгруппенфюреру Дитриху. Надо полагать, и шофер почувствовал облегчение, когда капитан приказал двигаться на север, в обход невидимого боя.

Честное слово, можно было подумать, что в штабе Дитриха ждали Штольберга! Конечно, это невозможно, ведь нормальной связи сейчас нет. А то, что никакого удивления при виде Штольберга на лице Биттнера не выразилось, следует приписать исключительно профессиональной выдержке гауптштурмфюрера.

Зато Штольберг при виде Биттнера не удержался от шумного удивления даже с оттенком, представьте, некой радости, словно он вдруг забыл все то злое, что ему причинил этот человек, — так приятно было капитану увидеть знакомое лицо в этом мрачном воинском соединении.

Удивил Штольберга и сам штаб армии. Не только никакого оживления, свойственного армейским штабам в любой час суток во время наступления. Здесь царило

какое-то жуткое спокойствие, как в морге. Лежал какой-то офицер, растянувшись на скамье и накрывшись с головой шинелью, из-под которой доносился сочный храп. Дремал телефонист возле своего безмолвного аппарата. Только Биттнер бодрствовал: он был дежурным по штабу. Да и то сказать, подозрительное красное пятно на мятой щеке да растрепанные волосы наводили на мысль, что он только что кемарил на ковровом диване, стоявшем у стены. Не спали только два рослых эсэсовца, сидевшие по обе стороны двери, видимо, охранники.

— Обергруппенфюрер Дитрих? — спросил Штольберг, кивнув в их сторону. — Доложите, что к нему специальный порученец из Пятой танковой армии с личным посланием от генерала Мантейфеля.

Биттнер покачал головой.

— Здесь начальник штаба генерал Крамер. Партайгеноссе Дитрих у себя. И до утра вы его не увидите.

— Тогда хоть к генералу Крамеру.

— Это бесполезно. К тому же он спит.

Биттнер растолкал спавшего на скамье офицера. Тот вскочил, белокурый, розовощекий, похожий на девушку, и устремил на Биттнера вопрошающий взгляд.

— Останешься за меня, Курт, — сказал Биттнер. — Я пойду устрою капитана на ночевку.

В это время раздвинулись брезентовые полотнища, свисавшие над дверью на манер портьер, и между ними просунулось бугристое, с отвислыми щеками, бульдожье лицо генерал-полковника Зеппа Дитриха. Глаза его уставились на Штольберга.

— Откуда этот тип? — прохрипел он.

Биттнер и Курт с удивлением переглянулись. Это были первые слова, которые оберстгруппенфюрер произнес за последние два дня. После тяжелых неудачных боев за Мальмеди он замкнулся в мрачном молчании.

Штольберг щелкнул каблуками и отбарабанил:

— Капитан Штольберг из Пятой танковой. Прибыл из штаба генерала Мантейфеля для установления связи.

Дитрих молчал. Он не сводил со Штольберга глаз, красных, словно от бессонницы или после переноя. Молчание это начинало беспокоить Штольберга. Чтобы забыть его, он заговорил приподнятым тоном, рядясь под бодрого, молодцеватого офицера непобедимой гитлеровской армии:

— Следовал к вам через Мальмеди, видел там следы ваших мощных ударов. И далее через Ставло, захолуу-

стная деревушка, замерзший ручей, гигантские склады американского горючего...

И неожиданно, но не меняя бодрого тона:

— ...к которым вы, к сожалению, опоздали.

Резким движением Дитрих распахнул брезентовые портьеры и вышел наружу, коротконогий, брюхастый, с угрожающим боксерским наклоном широких плеч.

— Ты ему объяснил? — спросил он Биттнера.

Биттнер повернулся к Штольбергу.

— У вас неточная информация. Была выброшена в тылу противника штурмовая парашютная группа у Высокого Венна под командованием фон дер Хейдте. Парашютисты...

Дитрих его перебил. Слова с натугой продирались сквозь его жирное пропитое горло:

— Эти вонючие десантники!..

— Так точно! — все так же молодцевато отчеканил Штольберг. — Но и ваши танки не сумели прорвать передний край противника и поддержать парашютистов.

Дитрих с некоторым недоумением посмотрел на Штольберга. Этот капитан, в общем, понравился ему своим бравым видом. Простоват, но, видать, отличный строевик. Надо будет переманить его от Мантейфеля к нам в армию, будет ладный эсэсовец.

— Ты понимаешь, капитан, — сказал он доверительно, — это Мальмеди напичкано такой дрянью! Немцы! Но я бы их всех перевешал. Их же отхватили от Германии после первой мировой войны и присоединили к Бельгии, потому что эти сволочи забыли, что они немцы, и не захотели вернуться к Германии. Я бы их, сколько их там есть — двадцать или тридцать тысяч, — я бы их перевешал. Специально задержался бы ради этого на денек.

Штольберг никогда до этого не видел генерал-полковника Зеппа Дитриха. Сейчас он разглядывал его почти с научным интересом, как безупречное воплощение фашистского безумия. Капитан не чувствовал никакого страха перед ним. Он сказал, вспомнив наставления Мантейфеля и поддельваясь под стиль генерал-полковника:

— И вы поперли на Сен-Вит и четыре дня там канючили и не могли выбить этих сопляков — Седьмую бронетанковую бригаду американцев?

— Да, — подтвердил Дитрих, — вот уж поистине мир

не видел таких сопляков, как американцы. Лавочники! Им подтяжками торговать, а не воевать. Но Монтгомери еще больший сопьяк, чем они!

«Зачем я сюда приехал... — устало подумал Штольберг. — Ведь это чудовище ничем не проймешь. Кроме того, его армия просто не профессиональная. Надо его вывести из себя, надо его взорвать».

— Ваше наступление, — сказал он, — захлебнулось еще восемнадцатого декабря. И вы своим левым флангом не обеспечили наш правый, из-за чего он отступил.

Дитрих хватил кулаком по столу.

— Какой дурак напел это Мантейфелю?! Мне фюрер лично сказал: «Вперед, только вперед, не обращая внимания на фланги!»

Штольберг тоже невольно повысил голос:

— Вы сейчас прете без всякой подготовки и предварительной разработки. Вы уперлись лбом в американцев, которые подтянули с севера свежие дивизии. Фюрер делал ставку на вас. Но сейчас главная роль в наступлении перешла к нашей армии, к Пятой. Она уже достигла Мааса.

— Врешь! — крикнул Дитрих.

Штольберг снова испытывал двойственное чувство: с одной стороны, он был рад поражению Гитлера, с другой — он гордился успехами своей родной Пятой армии.

— Да, — упрямо повторил он, — к Пятой. Ведь по плану фюрера «Wacht am Rhein» именно вы, оберстгруппенфюрер, должны были на седьмой день наступления, то есть двадцать первого декабря, выйти к Антверпену. А вы все еще копошились в горах...

Неизвестно, что еще натворил бы он в своем раздражении, если бы голос его не был заглушен Дитрихом:

— Убрать это дерьмо!

Штольберг оглянулся, чтобы увидеть, к кому относятся эти слова. Охранники уже были возле него. Биттнер остановил их:

— Я сам его уберу.

И обратившись к еще не исчезнувшей спине Дитриха:

— С вашего разрешения, оберстгруппенфюрер, я сам займусь капитаном.

Дитрих откинул портьеру и скрылся в кабинете.

Штольберг думал, шагая в темноте за Биттнером: «Я ему для чего-то нужен, и он не хочет ни с кем делить меня...»

Биттнер кинул на койку серое солдатское одеяло и твердую диванную подушку.

— К сожалению, не могу вам предложить ничего лучшего, Штольберг.

Штольберг решил помалкивать. Зная за собой невоздержанность в речи, излишнюю откровенность, неумение хитрить, он решил не ввязываться в разговор. А завтра чуть свет пуститься в обратный путь, ибо он считал свою миссию выполненной. Положение ясное: 5-й армии нечего надеяться на помощь 6-й. Это эсэсовское сборище даже не заслуживает названия регулярной армии, хотя оно щедро снабжено техникой. Теперь Штольберг был озабочен только одним: как ему ускользнуть от подозрительной заботливости Биттнера.

Тот между тем поставил на стол две зажженных свечи, бутылку вина, стаканы и широким жестом радужного хозяина пригласил Штольберга за стол.

— Так еще можно жить, Штольберг, а? — сказал он, заговорщицки улыбаясь. И, сделавшись серьезным, вздохнув, сказал: — Что такое жизнь, мой дорогой? Задумывались ли вы над этим?

«Внимание! Он настроен философски. Жди неожиданного удара в пах», — подумал Штольберг и ничего не ответил, а только состроил неопределенно-задумчивую мину.

Видимо, Биттнер счел это достаточным ответом и продолжал:

— В сущности, жизнь — это сумма поглощений и выделений. Нет, нет, Штольберг! (Хотя тот и не помышлял возражать.) Нет, я не материалист. Я — верующий.

Штольберг не выдержал и пробурчал:

— Верующий циник...

Биттнер посмотрел на Штольберга с мягким укором:

— У вас нет бога, Штольберг.

— А у вас? — спросил Штольберг.

— Я католик.

— А! Значит, у вас, — сказал Штольберг запальчиво (может быть, этому способствовало пахучее, чуть сладкое вино, которое они неспешно потягивали), — значит, у вас, Биттнер, *наружный бог*.

— Что это значит? — удивился Биттнер. — Это какое-то новое теологическое понятие.

Штольберг сказал с жаром, забыв о своем похвальном намерении не втягиваться в разговор:

— Тот, у кого нет бога внутри себя, создает себе бога

вне себя. И на этого *наружного бога* все валит. Очень удобно!

Биттнер секунду молчал, пристально вглядываясь в Штольберга, словно видел его в первый раз, потом рассмеялся:

— Остроумно, черт возьми! — Он отхлебнул вина и сказал ласково: — Как это все-таки здорово, Штольберг, что два мыслящих человека могут обмениваться идеями даже посреди этой кровавой суматохи.

Штольберг и сам почувствовал, что ему доставляет удовольствие это интеллектуальное фехтование. Он даже несколько расположился к Биттнеру и сейчас взирал на него не без приязни: «Плут, но не глуп, подловат, но не бездарен...» И тут же ему стало противно и стыдно. «Как кошка, которую почесывают за ушами», — подумал он о себе и сказал резко:

— Пора спать.

Он задул свечу и разлегся на койке спиной к хозяину, сунув под голову диванную подушку, твердую, как ружейный приклад.

Биттнер со свечой в руке склонился над ним.

— Ну, ну, Штольберг, — сказал он. — Не дуйтесь на меня. Вы считаете меня представителем власти. А между тем я в первую голову представитель самого себя. Э, да вы уже спите...

Он пошел в соседнюю комнату, держа свечу перед собой. И бивший снизу свет резкостью теней и бликов делал его лицо как бы скульптурным — с лиловыми подглазьями, фюрерскими усиками и двумя глубокими складками жестокости, шедшими от углов рта к журавлиной шее.

Штольберг лежал в темноте с открытыми глазами. Он старался дышать глубоко и мерно, так, как, по его мнению, дышат спящие. Он ждал. Он заметил, что Биттнер оставил приоткрытой дверь в свою комнату. Вот наконец Биттнер затушил свою свечу. Потом послышалось его ровное похрапывание. Штольберг подождал еще немножко, потом вынул из кармана танкистский фонарик «даймон» и включил зеленый свет. Потом полез за пазуху и достал тоненькую тетрадь, девственно чистую, еще не начатую. Основной дневник хранился в чемодане, который остался в его автомашине. Бесшумно присел он за стол и принялся писать. Писал торопливо, короткими фразами, иногда сокращая слова или оставляя для скорости одни согласные буквы.

ИЗ ДНЕВНИКА КАПИТАНА ШТОЛЬБЕРГА

23 дек. В ставке ком-щого 6-й. Обстановочка! 2 эш-лна: в I — 67-й арм. корп. и 1-й танк. корп., во II — 2-й танк. корп. По моим наблюд., эшлны перепутались. Бардак! Чтоб не забыть: по дороге сюда обогнул бой — группа обер-л-нта Вайнерта, я с ним недавно сцепился у моста — против партзн. — численность не выясн. Вайнерту придан 1-й баталь. из нашей 5-й. Не завидую нашим ребятам, влипшим в СС. В ставке круп. разг. с Дитр. Харктр правтля разлваается по стрне. При Вилг. 2-м были в моде закр. кверху усы. Теперь — кустики под носом. Коварство и угодливость. Чванство. Культ силы. Бездств. мысли. Грмния развр. дктурой и отсут. глсности. Кмплкс неполноц. — могуч. двигатель крьеризма. Его два телохрнитля: беспринципность и жажда нжвы. Зепп Дтрх — удешевл. изд. Гит...»

Глаза слипались. Перо выпало из рук. Штольберг гримасничал, чтобы отогнать сон. Но веки тяжелели и сладкая истома все больше разливалась по телу. Незаметно для себя он заснул тут же за столом.

Вдруг он ощутил нечто вроде толчка в голову, точно кто-то щелкнул по лбу, но изнутри, из глубины его существа. Он открыл глаза. Над ним стоял Биттнер. Штольберг быстро захлопнул тетрадь. Биттнер улыбнулся и сказал:

— Так, значит, Дитрих — это удешевленное издание Гитлера? А вы знаете, фюреру может понравиться это выражение. И возможно, он обратит на вас свое благосклонное внимание.

Биттнер присел на край койки и, держа в руке свечку, продолжал:

— Конечно, фюрер — сверхчеловек, не правда ли, Штольберг? Но сверхчеловек иногда решает быть просто человеком. Он спускается с блистающих ледяных вершин власти, и вот он среди нас, и по жилам его побежало человеческое тепло, он такой же обыкновенный, такой же рядовой, как все мы. На время, конечно.

Капля с оплывающей свечи упала на руку Штольберга. Он не шевельнулся, притворяясь спящим. Тихий голос Биттнера и вправду действовал на него убаюкивающе.

Когда Биттнер наконец ушел, Штольберг заказал себе проснуться в пять утра. Физиологические часы его

действовали безотказно: он проснулся затемно. Прислушался. Из комнаты Биттнера деликатное мерное похрапывание. Сквозь обледенелые окна стал пробиваться рассвет, заполняя комнату сумеречным мерцанием. Штольберг встал, на цыпочках подошел к дверям. Они оказались заперты, ключа нет...

Штольберг подошел к окну. Как удачно, что первый этаж! Стараясь не делать шума, он принялся отворять окно.

— Воздушка захотелось, Штольберг? — раздался голос позади.

«Как он, однако, тихо ступает», — подумал с досадой Штольберг.

— Мне пора, Биттнер.

— Так ведь часовой снаружи все равно не выпустит вас.

— Почему?

— Разве вы не понимаете, что вы находитесь под арестом? Покуда домашним.

STRASTOTERPIETS

Бой, гул которого Штольберг накануне слышал, пробираясь в эсэсовскую армию, к вечеру стал стихать, а ночью и вовсе прекратился.

Оберштурмфюрер Теодор Вайнерт объявил это своей победой. Он хотел уверить в этом не только своих солдат, но и самого себя.

Его группа вместе с батальоном, приданным из 5-й армии, насчитывала около тысячи человек.

Неудачи преследовали оберштурмфюрера. Начать с того, что он не умел определиться на местности и, в общем, не знал, где находится. После того как его группу изрядно пощипали в районе Вьельсальма, он подумал, не взорвать ли ему свои танки и самоходки и пешком пробираться обратно в Монжуа. Сейчас он кружил среди каких-то неопознанных гор. Он был растерян и озлоблен. В этом состоянии озлобления он приказал расстрелять группу пленных американцев, которых он таскал в своем обозе как живые трофеи. Он распорядился, чтобы эту экзекуцию произвел взвод из батальона 5-й армии. Робкие возражения лейтенанта Гефтена, заменившего убитого командира батальона, он встре-

тил истерической руганью, столь принятой в эсэсовской среде:

— Бойтесь, чтоб ваши чистюли не замарались? Кто вы такие, в конце концов, черт побери? Солдаты великой Германии или портовые девки из притонов на улице Репербан?! Еще одно слово возражения, лейтенант, и я вас арестую за неповиновение в боевой обстановке!

Гефтен смирился. Он помог Вайнерту сориентироваться по карте, удивляясь в душе его невежеству:

— Мы находимся на территории великого герцогства Люксембург. Юго-восточнее пункта Труа-Пон. Река, которая под нами, это Сальм.

— Я так и думал, — важно проговорил Вайнерт. — Стало быть, Бастонь...

Он сделал вид, что ищет пункт на карте, в которой он ничего не понимал, — какие-то цветные загогулины, от которых рябит в глазах.

— Бастонь? — позволил себе удивиться лейтенант.

— Да, нам надо в Бастонь.

И, наклонившись к Гефтену, шепотом, словно сообщая ему важную тайну, сказал:

— Там сосредоточиваются наши обе армии...

Ребята из 5-й армии держались особняком, не якшались с эсэсовцами. Не все, впрочем. Например, Вилли то и дело сматывался в расположение 6-й. Приносил оттуда новости:

— Ну, ребята, теперь уже недолго ждать, когда появится «вува». Там в Шестой толкуют, что это может быть со дня на день.

«Вувой» называли *вундерваффе*, то есть «чудесное оружие», обещанное Гитлером и долженствовавшее принести Германии мгновенную победу.

Солдаты молча слушали, иные с мрачным недоверием, другие, как, например, ближайший друг Вилли, маленький танкист Иоганн, — да, в общем, и не только он, а большинство, — с радостной надеждой. Чем больше Германия терпела поражений на фронтах, тем более они цеплялись за сладостную легенду о «вуве».

— Ну, а как у них там насчет жратвы? — осведомился Иоганн.

— У них паек будь здоров! — говорил Вилли.

Однако скоро все сравнялось. К пронзительной морозной сырости, к волчьему вою слепящих метелей со снежными обвалами прибавилось недоедание.

Давно уже не было горячей пищи. Да и консервы кончились. Последние дни только и было что печенье да шнапс.

Приуныл и этот жуткий весельчак Вилли. Он ворчал и все приставал к близнецам, которых считал наиболее образованными во взводе:

— Ну и загнали же нас в эти чертовы горы! Где мы, ты понимаешь? В какой стране, я вас спрашиваю? Что это — Бельгия? Голландия? А может, Люксембург? Государства, с позволения сказать, как заплаты на заднице, плюнуть некуда, крохотные, как вши. То ли дело Россия! Помните, ребята? Прешь, прешь, и краю не видно! А какие куры, какие поросята! А девки какие, а?

Расстрел американцев был назначен на раннее утро. Выдалось оно безветренным. Солдаты с беспокойством поглядывали на небо: не развиднелось бы! Налетят — от нас один кровавый паштет останется. Но все было хмуро. А главное, партизаны не проявляли признаков жизни. Разведка не обнаружила их поблизости. Во всяком случае, было тихо. «Подозрительно тихо, — как сказал Иоганн. — Ой, не нравится мне это, ребята, партизаны здесь как дома, им известна каждая тропа». Но, в общем, оберштурмфюрер решил, что партизаны ушли. Он самолично обозрел местность в полевой бинокль. Безлюдно, бело, безмолвно. Он снял сторожевое охранение, он хотел, чтобы все присутствовали на зрелище расстрела. Он считал, что соучастие в кровавом деле закаляет людей.

Вскоре вся группа выстроилась вокруг площадки над обрывом. Привели пленных и выстроили в одну шеренгу спиной к обрыву. Против них тоже шеренгой стал взвод из 5-й армии, вооруженный автоматами. Почему-то с раздражавшей людей педантичностью лейтенант Гефтен принялся выстраивать их по ранжиру. А впрочем, может быть, просто для того, чтобы оттянуть время. Близнецы, как самые высокие, оказались на правом фланге. Хорст шепнул Гельмуту:

— Мы не будем стрелять...

Гельмут ничего не ответил. Но когда лейтенант поравнялся с ними, он сказал шепотом, почти не шевеля губами:

— Пожалуйста, освободите Хорста от этого.

Лейтенант ответил так же тихо:

— Не дури. Это нас скомпрометирует в глазах оберштурмфюрера. А может быть, даже погубит.

Вайнерт, который стоял в некотором отдалении, крикнул:

— Разговоры в строю!

Потом он скомандовал:

— Положить автоматы к ногам!

Хорст вздохнул с облегчением. Значит, все это игра! Инсценировка! Все сняли с груди автоматы и положили их к ногам.

В это время эсэсовский унтер, или как там его — шарфюрер, подкатил на салазках новенькие автоматы и принялся раздавать их. «Зачем?» — недоумевал Хорст, принимая оружие, еще жирное от смазки.

Вайнерт прошелся вдоль шеренги своей пружинистой походкой, похлопывая шлагом по сапогу.

— Будете стрелять из новых автоматов, — сказал он. — Предупреждаю: каналы стволов чисты. После экзекуции будет проверка. Проверю собственноручно.

Отошел. Вилли подмигнул и прошептал:

— Собственноручно.

Хорст понял: если кто-нибудь уклонится от стрельбы, чистый канал ствола его выдаст.

Он шепнул брату:

— А все-таки я не буду стрелять.

— Если ты не будешь стрелять, — шепнул в ответ Гельмут, — так и я не буду. И тогда мы оба пропали...

Хорст старался не смотреть на американцев. И все-таки против воли с мучительной напряженностью вглядывался в них. Вот довольно пожилой, с серебристой щетиной на лице. Он удивительно спокоен, этот американец. Он, наверное, не верит, что мы будем стрелять, он считает все это комедией, блефом, попугают и отпустят.

Рядом юноша с повязкой на голове, с широко раскрытыми глазами. — невозможно поверить в свою смерть. Взгляд юноши столкнулся со взглядом Хорста. «Не буду стрелять...» — еще раз подумал он. В это время раздалась команда, и палец Хорста произвольно нажал на спусковой крючок.

Он увидел, как юноша схватился за живот и упал.

Они все упали. Один из них скатился в обрыв и побежал, оставляя кровавые следы. Тотчас за ним ринулся Вайнерт и на бегу стрелял по нему, как если бы этот

американец был просто живностью, чем-то движущимся, трепещущим, что надо сделать неподвижным.

Вернувшись, Вайнерт сделал, как предупреждал: перенюхал все автоматы и удовлетворенно кивнул головой.

Гельмут тревожно поглядывал на брата. Хорст делал все, что другие, — грыз галеты, чистил оружие, строил укрепление из льда и бревен. Но появилась странная машинальность в его движениях. Он молчал. Спрашивали — он отвечал односложно. Не обращались к нему, он сам ни с кем не заговаривал. И Гельмут обрадовался, когда Хорст вдруг заговорил. То, что он сказал, ужаснуло брата.

— Убежим, — сказал Хорст.

Гельмут испуганно оглянулся.

— Ты с ума сошел! Куда?

— К партизанам. Они тут, в лесах. Доберемся до них.

Он умоляюще посмотрел на брата.

— Но ведь если ты будешь у партизан, — сказал Гельмут, — тебе тоже придется убивать. На этот раз — немцев, своих братьев по крови!

Хорст посмотрел на Гельмута с сожалением.

— Братьев? Разве эти убийцы мне братья?

— Но я твой брат!

— Ты уйдешь со мной.

Гельмут покачал головой.

— Нет, я не хочу стать дезертиром. Это бесчестно. Я присягал на верность фюреру.

— Ты все еще веришь ему?

— А если и не верю? Все равно я присягал. Присяга есть присяга.

Хорст помолчал. Потом сказал:

— Рухнула моя вера, рухнула моя присяга...

Он потер шрамик над бровью, там начинало зудить, когда Хорст волновался.

Первые выстрелы раздались около полудня. Вайнерт метался по всей площадке, не понимая, откуда стреляют. Вскоре показались цепи партизан, редкие, но отовсюду. Кроме юго-западной стороны. Слишком уж крут был здесь склон горы.

Лейтенант Гефтен принялся устанавливать круговую оборону. Вайнерт бегал за ним и повторял его распоряжения. Ему казалось, что командует именно он. Короткоствольные противотанковые пушки, курносо

торчавшие из снеговых укрытий, стали прямой наводкой бить по наступающим цепям. Партизаны отвечали из минометов. Снежная пыль носилась в воздухе как туман, застилая видимость.

Вилли ругался:

— На кой черт мы таскали все эти пушки и базуки, если у партизан нет танков!

Он схватил пригоршню снега и обтер покрытое копотью лицо.

Иоганн лежал рядом и строчил из пулемета. Гильзы валились на снег. Ему вспомнилось, как в тылу на учениях надо было отчитываться за каждый отстрелянный патрон и как люди дрожали от страха, что вдруг затеряется какая-нибудь гильза. Он подумал, как мало давали солдатам эти полевые учения для настоящих боев вроде этого.

Хорст подносил снаряды. Все-таки он не стрелял. Но он понимал, что жлет самому себе. «Да, я не убиваю, но я помогаю убивать...»

Вайнерт решил покинуть поле боя. Отличный предлог: затребовать подкреплений из Сен-Вита. Известно, как скупы на это наши военачальники. «Но если кто-нибудь и может вырвать у Дитриха подкрепления, так это я».

Он распорядился подвести бронетранспортер к юго-западной оконечности. С этой стороны обрывалось полукружье наступающих. Крутизна казалась непреодолимой. Конечно, это отчаянное решение, но Вайнерт уверил себя, что он действительно отправляется за подкреплением, что это главная и единственная цель, ради которой он покидает поле боя. Он считал, что бронетранспортер сумеет на большой скорости проскочить по крутому склону, что сама скорость придаст ему равновесие и не позволит опрокинуться.

Чтобы отвлечь внимание партизан от юго-западного прохода, Вайнерт приказал провести вылазку на северной стороне. На это ложное нападение он направил два взвода из батальона 5-й армии, зная, что жертвует ими, ибо передние шеренги нападающих будут наверняка скошены шквальным огнем партизан. Повезло Вилли и Иоганну: их как танкистов Вайнерт забрал с собой в бронетранспортер на случай, если забарахлят гусеницы.

Первый взвод весь полег. Но второй, наступавший следом, сумел ворваться в расположения партизан. За-

вязался рукопашный бой со взводом Брандиса. Стороны так перемешались, что ни немецкая артиллерия, ни минометы партизан не могли вмешаться в схватку. Стреляли почти в упор из автоматов, дрались прикладами, кинжалами.

Майкл не стрелял. Когда он увидел, что рядом с ним упал Жан с развороченным черепом, он содрогнулся. Он не хотел участвовать в этом. В то же время он не хотел оставаться позади, чтобы не подумали, что он трус. Всю силу своей натуры он сосредоточил на том, чтобы воздержаться от того, что он называл насилием.

Он пробрался вперед и лег за снежным бруствером, который сам нарыл. Он закрыл глаза, чтобы не видеть, как люди убивают друг друга. Но тут же открыл их, чтобы не подумали, что он притворяется мертвым. Рядом с ним оказался Амедей. Он навел автомат на немца, убившего Жана. Автомат чихнул и отказал. Амедей ругнулся и бросил его на землю.

— Возьми мой, — сказал Майкл.

— А ты?

Майклу не хотелось признаваться, что он все равно решил не стрелять. Он вынул из кармана маленький трофейный «вальтер».

— С меня хватит и этого.

Амедей взял автомат и побежал за немцем. Ужас объял Майкла, когда он увидел, как Амедей окатил немца длинной очередью, которая почти перерезала его пополам. Майкл закрыл глаза и стиснул зубы. Он машинально сжимал в руке свой игрушечный «вальтер». Он до сих пор не выпустил из него ни одной пули. Он не ощущал страха. Только — отвращение и желание, чтобы все скорее кончилось. Кто-то потряс его за плечо. Он оглянулся. Это был Брандис. Он прокричал Майклу на ухо:

— Убивай — или тебя убьют!

В это время перед Майклом внезапно вырос немец. Может быть, потому что Майкл лежал, он показался ему огромным, грузно нависающим, широкоплечим малым с большим бледным лицом, со шрамом над бровью. Майкл вскочил и, не помня себя от страха, выпустил в немца обойму из своего «вальтера». Немец рухнул.

Между тем бронетранспортер с Вайнертом благополучно ускользнул. Увидев это, лейтенант Гефтен приказал выкинуть белый флаг.

Немцы сдавались. Эсэсовцы поспешно сдирали с петлиц эмблемы — две маленькие молнии.

Урс приказал никого не трогать и отрядил часть своей группы, чтобы отвести пленных в партизанский район высоко в горах, недоступный для противника.

Партизаны с трудом оторвали Гельмута от тела его брата.

— Вы не знаете, кого вы убили! — кричал он. — Он святой! Он шел в бой без оружия! Вы убили ангела!

Осборн взял Майкла за руку и сказал снисходительно:

— Ты ловко уложил твоего боша. Для такого растяпы, как ты, это прогресс.

— Сожалею об этом, — сказал Майкл, вырывая руку.

— Брось дуться на меня. И не кривляйся. Ложь тебе не к лицу.

Майкл вспыхнул. Он с трудом подавил в себе желание ударить Осборна. Слезы подступили к его глазам.

— Я не лгу. Я считаю, что ложь и насилие — сестры. Ибо что такое ложь, если не насилие над правдой.

Он резко повернулся и зашагал вдаль.

Осборн, раздосадованный, сказал Урсу, который стоял невдалеке и покуривал трубку, с интересом наблюдая эту сцену между американцами:

— Отправь парня с пленными. Ему нечего делать тут с нами. Он не боец.

— Он боец, — сказал Урс. — Но не в этом суть. Он страстотерпец.

Это слово Урс сказал по-русски.

— *Strastoterpiets?* — повторил с трудом Осборн. — Что это значит?

— Боюсь, что в английском языке нет равнозначного понятия. Мученик, что ли... Да нет, не то. Мученик может быть и жертвой насильников. А страстотерпец — это добровольный мученик. Ради идеи. Это человек, принявший на себя страдания для блага близких.

— Добровольный мученик? Что ж, значит, мучения доставляют ему своеобразное наслаждение? Я слышал о таких. Мы их называем мазохисты. Попросту психи.

— О нет! Страстотерпец не испытывает наслаждения. Ему так же больно и тяжело, как любому другому страдающему человеку. Но он идет на эти страдания ради спасения других. Он преодолевает страх перед физическими муками своей духовной силой. Понимаешь?

- Откровенно говоря, нет.
— Так... Что ж, может быть, это наше, чисто русское понятие...
— Да при чем тут русские! Майкл — американец. Урс огладил бороду и сказал задумчиво:
— Это только подтверждает мое старое убеждение, что русские и американцы похожи друг на друга.

СУМАТОХА СРЕДИ ПОВАРОВ

Каждое утро, только проснувшись, приподняв над подушкой отекавшее лицо с набухшими подглазьями, Гитлер прежде всего осведомлялся:

— Бастонь взята?

Всей силой своего существа он жаждал услышать: «Да! Взята!» Сам того не сознавая, он посылал Йодлю мысленный приказ: «Да! Взята!»

Йодль отвечал, виновато разводя руками — хотя вся его вина в том, что он вынужден сказать фюреру: «Еще нет...» — и уже вследствие этого одного принять на себя часть его гнева.

С помощью хлопотавших вокруг него камердинера Линге и врача Морелля, впрыснувшего ему утреннюю порцию допингового настоя, Гитлер одевался, умывался, брился, не переставая обсуждать положения с Бастонью. Этот люксембургский городок сделался его пунктиком, как два года назад — Сталинград.

— Окружение закончено?

— Почти, мой фюрер.

— «Почти» на войне не бывает, Йодль. Бастонь должна быть блокирована немедленно. Надо захлестнуть американцев этой петлей. Они народ малохольный, быстро выдохнутся и капитулируют. Достаточно ли у Мантейфеля сил для полной осады?

Пока в Йодле боролись царедворец и генштабист и он раздумывал, что в данной ситуации выгоднее ответить, Гитлер сказал:

— Надо поменять местами Пятую и Шестую армии. Зепп Дитрих со своими парнями давно бы вырвался в Бастонь.

Йодля ужаснула эта мысль. Он воскликнул:

— Я узнаю в этом полководческий гений фюрера! Мой долг при этом предупредить, что в данный момент передислоцирование армий не лишено риска.

— Пожалуй,— неохотно согласился Гитлер.— Но кое-что мы можем сделать: например, дадим Мантейфелю две танковые дивизии из Шестой армии. Подготовьте приказ.

Принесли кофе. Кофейник, сахарница и все прочее оставалось на подносе. Но чашка с дымящимся кофе была поставлена прямо на сверкавший лаком стол, и притом, как любил Гитлер, точно на круглый след от тех чашек кофе, который вкушал еще Наполеон. Гитлер распорядился этот исторический след не затирать лаком.

Информацию о 5-й армии Йодль приберег на сладкое.

— После взятия Уффализа,— доложил он,— части Пятой армии быстро продвигаются к переправам на Маасе, и сейчас передовой отряд Второй танковой дивизии находится в пяти километрах от Динана.

— Ну а как на это реагирует старый копун Монтгомери? — спросил Гитлер, улыбаясь.

— Фельдмаршал Монтгомери... — сказал Йодль.

Йодль не подхватил эпитета, которым Гитлер сопровождал имя Монтгомери, вовсе не из корректности, а потому, что неприличные словечки являлись здесь, в ставке, привилегией одного фюрера. Он считал их проявлением сильной личности. Он вычитал где-то у Сегюра или Стендаля, что и Наполеон не чуждался крепких выражений. Во всяком случае, необузданная натура Гитлера испытывала от этого удовлетворение.

— ...фельдмаршал Монтгомери,— сказал Йодль,— как показывают пленные, так напуган нашим наступлением, что решил отходить к Дюнкерку, заслонившись Тридцатым армейским корпусом по реке Маас.

Гитлер засмеялся и в добром настроении распорядился начать прием.

— Кто там сегодня?

— Фельдмаршал Рундштедт и генерал-полковник Гудериан,— ответил адъютант генерал Бургдорф.

— Гудериана.

Бургдорф подавил удивление, вызванное этим нарушением субординации, скользнул к дверям мягкими, кошачьими адъютантскими шажками и через минуту ввел генерала Гудериана.

Все еще под влиянием утешительных известий об успехах 5-й армии, Гитлер приветствовал Гудериана с удивившей того теплотой. Фюрер не очень жаловал этого ершистого генерала. Карьера его была полна резких скачков. Командующий 2-й танковой армией Гуде-

риан был смещен после поражения в России. Фюрер заткнул его в резерв чинов, отсюда выудил на должность генерал-инспектора танковых войск, где он мог пригодиться как опытный специалист. А в 1944 году, после покушения на Гитлера 20 июля, когда выяснилось, что в заговоре замешаны высшие чины армии, такие, как генерал-фельдмаршал Роммель, генерал-фельдмаршал фон Витцлебен, генерал-полковник Бек и ряд других, Гудериан, как непричастный к заговору, после кровавой расправы с заговорщиками был назначен начальником генерального штаба.

— Ну, Гудериан, вы уже знаете, что наши кони пьют воду в Маасе?

— Да, мой фюрер, это замечательно... Мы будем молиться о том, чтобы тактический успех оказался стратегическим.

Гитлер нахмурился. Эта скользкая формулировка ему не понравилась. Он потерял желание разговаривать с Гудерианом. Но он знал, что не так-то легко от него отделаться: Гудериан славится своим поистине выдающимся упрямством.

— На Восточном фронте по-прежнему спокойно, — проговорил Гитлер отрывисто.

Это был не вопрос, это было утверждение. Оспаривать утверждение Гитлера считалось бестактностью, притом небезопасной.

— Да, спокойно, — сказал Гудериан. И после небольшой паузы: — Пока.

Гитлер поднял брови.

— Я хочу сказать, мой фюрер, что инициатива находится в руках русских.

— То есть?

— На Восточном фронте будет спокойно, пока этого хотят русские.

Гудериан сознавал, что он занес ногу над пропастью. Однако для этого он прибыл в ставку. У него было предчувствие катастрофы на Восточном фронте. Он знал, что здесь, в ставке, огрубляют факты и прилаживают действительность к своим желаниям. Он хотел добиться переброски войск на восток. Черт с ними, с американцами и англичанами! В конце концов, с ними можно договориться.

Гитлер встал из-за стола, прошелся по комнате, резко остановился против Гудериана. Это были признаки приближающейся бури.

— Неужели вы не понимаете, Гудериан, что раньше весны русские не тронутся!

— Мой фюрер, у меня, — сказал Гудериан, вынимая из портфеля бумаги, — есть неопровержимые доказательства, добытые разведкой, что русские готовят новое наступление. Я считаю неизбежным переброску танковых дивизий Пятой и Шестой армий в кратчайший...

Гитлер не дал ему закончить.

— Кто вам наплел этот вздор? — закричал он. — Русские блефуют! Это величайшая афера со времен Чингисхана! Жуков — мастер дезинформации. Вы попались, как карась, на его наживу. Я не дам отсюда ни одного танка!

Он вернулся за стол и сказал, внезапно, как всегда, переходя от возбуждения к ледяному спокойствию:

— Я вас не задерживаю.

Когда Гудериан был возле дверей, Гитлер сказал:

— Разрешаю взять в Венгрию один танковый корпус из-под Варшавы.

Гудериан звякнул шпорами и вышел, не посмея возразить, что перебрасывать войска из Польши в Венгрию все равно что переносить заплату с одной дыры на другую.

Вошел Йодль и положил перед Гитлером бумагу.

— Мой фюрер, это приказ о переброске двух танковых дивизий из Шестой армии СС под Бастонь.

Гитлер, не читая, размахисто подписал.

— Что у вас еще? — спросил он, указывая на вторую бумагу в руках Йодля.

— Приказ о велосипедистах, мой фюрер.

Гитлер оживился и пробежал глазами приказ:

«Я продолжаю встречать солдат на велосипедах, которые, когда приветствуют господ офицеров, не держат ног сомкнутыми...»

(Одновременно с принятием крупных решений Гитлер вмешивался и в мелкие дела масштаба полка или даже роты или просто семейной жизни граждан. Он и здесь старался подражать Наполеону, о котором он вычитал у Сегюра, что Наполеон в пылающей Москве просматривал присланный ему с курьером из Парижа на его утверждение репертуар театра «Комеди франсез» и вносил свои поправки, которые немедленно отправлял с курьером через всю Европу обратно в Париж. Эту повадку совать свой нос куда попало Гитлер называл «Всеобъемлющий ум!»)

«...Это явное нарушение приказа о чинопочитании, — продолжал он читать, — во всех тех случаях, когда велосипедист едет свободным ходом и не в гору. На нарушителей приказываю налагать строжайшее дисциплинарное взыскание».

Снова жирно и с удовольствием подписал.

Вошел Рундштедт. Семидесятилетний фельдмаршал держался прямо и был легок в движении, как юный курсант.

Гитлер пошел к нему навстречу с протянутой рукой. Сведения об успехах 5-й армии все еще держали его в радостно-приподнятом настроении.

— Извините, что задержал вас. Когда на плечах вся империя, маленькие отклонения от аккуратности простительны, не правда ли?

Рундштедт склонил голову.

— Мне уже доложили о продвижении Мантейфеля, — сказал он. — Случилось то, от чего я предостерегал. Предвидел это и генерал-фельдмаршал Модель, но не посмел сказать вам.

Гитлер подумал с отвращением: «Эта старая ворона опять пришла каркать», — но внешне оставался спокоен.

— Продолжайте, господин генерал-фельдмаршал, — сказал он.

— Наше наступление в Арденнах, вместо того чтобы разлиться широким веером, вытянулось уродливой червеобразной кишкой. Сейчас в основание этой кишки уже начинают вгрызаться с юга Паттон и с севера Монтгомери, в подчинение которому сейчас придали Первую и Девятую американские армии.

— Так это хорошо! — вскричал Гитлер. — Чем больше эта вонючая маразматическая развалина получит подкреплений, тем грандиознее будет его разгром. Ведь он вопиющая бездарность! Ему не армиями командовать, а сидеть в халате и шлепанцах у камина и вынимать кузи из носа!

Рундштедт покачал головой.

— Монтгомери доставил нам много неприятностей в Африке.

— Ах, не говорите мне об Эль-Аламейне! Удар в спину нам нанесли не люди, а климат.

Рундштедт знал, что Гитлер приравнивает африканский зной к русскому морозу и этим стихиям, а не противнику приписывает поражение немецких армий. Знал и поддакивал в этом Гитлеру. Но сейчас старый

фельдмаршал считал положение слишком серьезным, быть может гибельным для армии и империи, и старался своими старческими руками эту катастрофу задержать.

Гитлер между тем распространялся насчет безобразий в тылу.

— У нас всякая шваль ходит закутанная в мехах. А на фронте мои солдаты мерзнут в своих шинельках. Вызовите ко мне Лея! — крикнул он Йодлю. — Это он развел бардак со сбором теплых вещей для фронта. Я заставлю его лично сдирать шерстяные подштанники с разжиревших баб!

— А кроме того, мой фюрер, — продолжал Рундштедт, — мне не нравится подозрительное спокойствие на Восточном фронте. Мой опыт мне говорит, что это — затишье перед бурей. Да не только мой опыт. Того же мнения и генерал Гудериан, а он сейчас, быть может, наш самый лучший оперативный ум...

Гитлер поднял голову и пристально посмотрел на Рундштедта.

— Вы что, сговорились с Гудерианом? — сказал он тихо.

Рундштедт побледнел. «Сговорились» — это пахло виселицей.

Но прежде чем он успел проговорить что-нибудь, Гитлер сказал:

— Я вас не задерживаю.

О эта арденнская кишка, выступающая далеко на северо-запад! Она так уязвима с флангов, и именно об этом Рундштедт попытался предупредить Гитлера. Предупреждал, а все-таки продолжал тянуть кишку все дальше, все глубже на северо-запад... Почему? Ведь он считал это наступление обреченным на провал. Да, но... Они же были связаны одной веревочкой — он и Гитлер. А вдруг выйдет? А? Чудо? А может быть, этот бесноватый сотворит чудо? А? И Рундштедт тянул и тянул арденнский аппендикс все дальше, все глубже на северо-запад...

Танки Мантейфеля действительно стояли у ворот Динана, маленького прелестного городка, который так нравился Брэдли.

Сам Брэдли находился на своем командном пункте в столице великого герцогства Люксембургского — городе Люксембурге. Окна гостиницы «Арлон», где он теперь жил, были крестообразно оклеены бумажными полосами, чтобы не лопаться от обстрела. Немецкие

снаряды уже достигали центра. Церковь напротив командного пункта была сегодня разворочена прицельной стрельбой из гаубиц. По-видимому, метили в «Арлон». Брэдли стоял у окна и задумчиво смотрел на распотрошенный храм. Он был расстроен, но, как это ни странно, не успехами противника, а тем, что 1-я и 9-я армии были отняты у него и переданы Монтгомери. Брэдли уподоблял Монтгомери одному из персонажей «Айвенго», а именно Ательстану, родовитому, но вялому, мелкощеславному, нерешительному типу. Его, Брэдли, 2-я группа армий теперь, в сущности, состоит из одной 3-й армии. Хороша «группа»!

И все работники его штаба были возмущены этой переброской и, нисколько не скрываясь, вслух осуждали Эйзенхауэра. Впрочем, они решили пренебречь этим приказом и по-прежнему считали 1-ю и 9-ю армии состоящими в подчинении Брэдли. Да и в самих этих армиях так считали. Честер Хенсон, адъютант Брэдли, прямо писал об этом в своем дневнике.

ИЗ ДНЕВНИКА ПОДПОЛКОВНИКА Ч.-Б. ХЕНСОНА

«20 декабря. Старик, конечно, в ярости. Из-под него выдернули стул. Что он может с одной 3-й армией Паттона. Да и к тому же с Джорджем Паттоном подчас еще труднее справиться, чем с немцами. Кстати, армия Паттона замусорена черт знает кем! По штатному расписанию ему полагается 801 офицер. На деле у него там до четырех с половиной тысяч офицеров. Это большей частью бизнесмены в погонах, налетевшие на запах жареного в Германии, начиная от совладельца банкирского дома «Диллон и К°» и кончая этим стервятником менеджером похоронного бюро Корнелиусом Ли.

Мы все считаем, что Айк дал маху. Запаниковал, попросту говоря. Ах, немцы под Динаном! Ах, немцы всего в тридцати километрах от Льежа! Ну и перекинул к Монтгомери две наших кровных армии. Конечно, ор был страшный. Брэдли кричал: «В конце концов, кто воюет, черт побери? Мы, которые на европейском театре имеем пятьдесят дивизий, или англичане со своими пятнадцатью?!»

Англичане, конечно, задрали нос: потребовали, чтобы вообще передать Монти командование всеми сухо-

путными силами союзных войск. Передают как факт, что сам Монтгомери сказал, что этого требует не только целесообразность военной обстановки, но и прямое указание в Евангелии от Иоанна, где Христос в главе 10-й говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора; и тех надлежит мне привести: и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Это было бы просто комично, если бы Айк не запутался и до того потерял голову, что запросил Вашингтон. Вообще он шлет за океан Маршаллу, пользуясь особыми, словно бы родственными с ним отношениями, почти как между отцом и сыном, срочные депеши ежедневно, а то и два раза в день. Маршалл, у которого, благодарение всевышнему, голова на плечах, телеграфировал в ответ: «Ни при каких обстоятельствах не делайте никаких уступок англичанам, пошлите их к черту». Так в телеграмме и сказано. Молодец!

Вчера Айк созвал совещание в Вердене, в штабе 12-й группы войск. Он приехал из Версаля в бронированной автомашине. Ну, это его дело. Но вообще развели конспирацию не дай бог! Страшно бояться диверсантов, которые рвут связь на дорогах, сбивают дорожные указатели, режут часовых. Ну и тому подобные детские номерочки.

В общем, собрались мы в нетопленной казарме, набилось нас в этом чулане до черта. Айк склонялся к тому, чтобы остановиться на прочных рубежах, например реках. Но, к счастью, это отвергли, решили наступать главным образом благодаря настояниям Брэдли и Паттона.

20 дек. Мне поручают доставить Монтгомери его новые полномочия и кстати выяснить причины его неуместной медлительности. Отвертеться не удалось. Выехал на север кружным путем в обход Арденн, диверсанты по-прежнему сильно шалят на дорогах.

Англичане называют Монти: «Наш главный». Обожают его. По-моему, главным образом за то, что он не посылает их в бой. Генерал-майор Френсис де Гинган, щеголь, состоящий у него начальником штаба, довольно откровенно выразился об этом после второго стакана доброго шотландского виски с кусочками льда, достать который сейчас, конечно, не проблема. «Великая заслуга старика Монти,— сказал он,— это то, что он бережет английскую кровь. В конце концов, сколько нас на нашем небольшом острове? А вы, Чарли, гигантская

страна, в которой до черта напихано народа, притом какого? Всяких там черных, да мексиканцев, да филиппинцев, и прочих не-разбери-каких. А у нас каждый солдат — чистопородный англичанин...»

Ну, я ему, конечно, не спустил! «Вы понимаете, Фредди, что вы расист?» Крупный был разговор. Он ерзал, как камбала на сковороде. Так или иначе, он повел меня в конце концов к «нашему главному», как они его все здесь называют.

Оказалось, что Монти — невысокий старичок с петушиным задиром головы и высоким, почти бабьим голосом. Я увидел его первый раз, когда он стоял перед строем солдат и вопил: «Наши войска самые лучшие, и с божьей помощью мы победим!» Но для того, чтобы победить, подумал я, нужно как минимум сражаться.

Эту мысль я выразил — конечно, в соответствующей дипломатической форме — при первом же свидании с Монти. Состоялось оно на оперативной летучке в комфортабельном прицепе Монти, убранном коврами. Перед началом Монти заявил: «Даю на откашливание две минуты, потом запрещаю кашлять». Поднялось усиленное прочищение носоглоток. Я вытащил портсигар. Меня схватили за руку: «В присутствии фельдмаршала не курят!» Разбирали какие-то мелкие вопросы о снабжении, действительно никто не сморкался и не кашлял.

Летучка кончилась довольно поздно. А так как Монтгомери ложился спать рано, я потребовал довольно настойчиво, чтобы он принял меня немедленно, ибо не собирался здесь задерживаться и хотел сегодня же ночью выехать обратно.

Приняли. Думаю, хмурый вид фельдмаршала объяснялся именно этим нарушением его обычного распорядка. Он сидел против меня в стареньком свитере с дырками на плечах от погон, в грубых вельветовых брюках. Не снимал своего знаменитого черного берета, который ему вовсе не полагался по форме. Но Монти кокетлив, этим же объясняются его необычно толстые подошвы: чтоб казаться выше ростом. Конечно, ни сигар, ни стакана джина, ни даже чашечки кофе. Впрочем, потом сержант с чопорной физиономией породистого дворецкого принес два стакана слабого чая. Монти — убежденный чаепийца.

Я передал ему приказ Айка о переходе двух армий в 21-ю группу. Не читая, он сложил его вдвое, вынул из кармана толстую Библию и сунул туда приказ. Де Гин-

ган уже говорил мне, что Монти не расстается с Библией, как Брэдли с «Айвенго». Я не осуждаю его, это дело вкуса.

Я приступил к самой деликатной части моей миссии. Я сказал, что в Верховном штабе союзных войск в Версале удивлены тем, что 21-я группа армий не делает попыток сдержать хотя бы на своем участке натиск Рундштедта.

Монти бесстрастно выслушал меня. Только пощипывал свою правую щеку — признак волнения. Ответ был довольно туманный. Он сказал, слегка гнуся, как всегда, что основная черта его — фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери — это решительность, любовь к дисциплине и нетерпимость к бестолковым советам.

Последняя «черта» явно метила в меня. Я, должен признаться, рассердился и преподнес ему пилюльку, напомнив, конечно в форме комплимента, о блестящем деле при Кане, который фельдмаршал целый месяц не мог взять даже при мощной поддержке авиации дальнего действия и загубил там британский танковый корпус, подставив под убийственный огонь 88-миллиметровых орудий. Когда он наконец сподобился взять Кан, он получил от Сталина телеграмму: «Поздравляю с блистательной победой при Кане». Можно быть о дядюшке Джо какого угодно мнения, но нельзя отрицать, что в данном случае он проявил высокоразвитое чувство юмора.

Монти проглотил пилюлю, немного сник и стал лопотать что-то о Клаузевице.

Я не замедлил тут же процитировать Клаузевица: «Бой — это платеж наличными».

Мне не хотелось упоминать о провале операции Монтгомери под Арнемом. Мне стало скучно, надоело пикироваться, я понял, что добиться от него обещания наступать я не смогу, и решил, вернувшись, посоветовать нашим, чтобы они обратились к Черчиллю, пусть он убедит Монти запрячь коней и помчаться вперед.

Когда я вернулся к себе, я узнал, что Айк запросил помощи у России. Очевидно, вопросы престижа отступают на задний план, когда тебя бьют.

Конечно, Айк сделал это кружным путем, через Вашингтон. Он отправил телеграмму в Объединенный совет начальников штабов, то есть Маршаллу:

«Если русские намереваются предпринять решительное наступление в этом или в следующем месяце,

знание этого факта имеет для меня исключительно важное значение. Я бы перестроил все мои планы соответственно с этим. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы добиться такой координации?»

Что до старика Брэдли, то он, конечно, не преминул мне воткнуть:

— Знаете, Чарли, из вас дипломат, как из дерьма. Только что мне донесли, что Монтгомери отдал приказ отступать от Сен-Вита...

Ну а при чем тут я? Старик у ничего не стоит обидеть человека походя, между прочим. Охаял меня, а сам развалился в кресле, вынул из кармана толстенную книгу, уткнулся в нее и забыл обо мне. Это, конечно, «Айвенго».

Злость еще бродила во мне, и я сказал:

— И что вы находите в Вальтере Скотте? Он каждого мажет одной краской: Ательстан — обжора, Седрик — праведник, Брин — злодей. И так все у него. Все — однозначны.

Старик посмотрел на меня и сказал:

— Это ничего, я сам однозначен.

Хотелось мне спросить: «Какой же знак у вас, генерал?» И тут же, не дожидаясь его ответа, добавить: «Упорство — это, конечно, добродетель, до тех пор пока она не вырождается в упрямство».

Только я собирался воткнуть ему это, как он поднял голову, и меня поразил его вид — словно он был одержим какой-то неотвязной мыслью. Вдруг он рванул к столу и принялся быстро писать. Я смотрел через его плечо.

«Командующему 1-й армией генералу Ходжесу. Хотя вы уже не находитесь под моим командованием, все же я считаю нужным сообщить, что, по моему мнению, дальнейшее оставление территории на северной стороне арденнского выступа будет чревато серьезными последствиями. Омар Брэдли».

— Вот, — сказал он, — отвезите это Ходжесу. И расскажите ему все о Монтгомери.

Значит, опять в дорогу...»

БАСТОНЬ-1

Сердце Арденн Бастонь как магнит манила к себе обе сражающиеся армии.

С севера с поразительной быстротой, одолевая леси-

стые кряжи и горные реки, устремился к ней партизанский отряд. Урс миновал не задерживаясь населенные пункты, он почти не делал привалов. Закаленные в длительных переходах, партизаны не чувствовали усталости. Осборн изнемог. В конце концов его устроили в обозе. Он лежал на мешках с продовольствием в телеге, упряженной двумя мулами. Он до того ослабел, а может быть, разленился, что не смахивал крупинки мерзлой мороси, сверкавшие в его мушкетерских усиках. Иногда он беспокойно искал глазами Майкла. Он хотел, чтобы тот подошел к нему. Что-то тревожное, какая-то тягостная муть по-прежнему лежала между ними. Но Майкл шагал впереди на своих длинных циркулеобразных ногах, он втянулся в поход и тоже почти не чувствовал усталости. Урс, чтобы подать пример партизанам, отказался от верхового коня, который полагался ему как командиру. Несмотря на свой грузный вес, он шагал посреди отряда.

С запада к Бастони мчалась из-под Реймса из резерва главного командования 101-я воздушно-десантная дивизия. Командовал ею генерал-майор Маколифф, американизированный шотландец, отличавшийся от своих древних соотечественников на редкость порывистым и эксцентричным характером, за который его втихомолку прозвали Nut, что означает иногда «чудак», а в более выразительных случаях «сумасброд». Дивизия находилась еще довольно далеко от Бастони, но продвигалась быстро, потому что была погружена в десятитонные грузовики. В одном из них сидел юный лейтенант Вулворт. Он был пьян. Вчера американцы наткнулись на группу немецких диверсантов. Распознав их, несмотря на американско-английскую маскировку, десантники тут же их расстреляли. Во взвод, отряженный для казни, был назначен и Вулворт. Картина расстрела безоружных потрясла его. На сетчатке его глаз все время извивался в предсмертных корчах молодой солдат, которого он приканчивал из своего кольта. Так и не добив его, Вулворт застал и пошатнулся. Маньковский подхватил его. Птицепольское лицо Феликса светилось сочувствием. Он не раз видел это состояние у молодых солдат, когда в них впервые вползает война. Он выпросил у рыжего десантника полбутылки джина для Вулворта, пообещав вернуть ему в Бастони. «Черт с тобой, — не очень охотно согласился рыжий, — мальчишка и вправду расстроен после этой собачьей операции, пусть глот-

нет как следует». Действительно, после джина омерзительная дурнота пропала и Вулворт даже начал бахваляться: «А ловко мы это их скovyрнули», — хотя немец не хотел убираться с его сетчатки, но, правда, стал сильно бледнеть.

С востока к Бастони продиралась сквозь грязь на узких дорогах (неожиданное и короткое, но сильное потепление!) немецкая 2-я танковая учебная дивизия 47-го танкового корпуса. Она шла от Дасбурга, от командного пункта генерала Мантейфеля, который благословил дивизию на взятие Бастони. На третий день, 18 декабря, в девять часов утра дивизия успешно форсировала реку Клерф. Командир дивизии генерал-лейтенант Фриц Байерлейн полагал в тот же день достигнуть Бастони. «Я иду следом за вами, — сказал командир корпуса коротконогий красномордый генерал Гейнрих фон Лютвиц. — Бастонь должна быть взята, иначе она остается гнойником на линии наших коммуникаций. Я приведу Двадцать шестую народногренадерскую дивизию. Но рассчитываю, что вы справитесь и сами». Байерлейн был опытным генералом. В 1941 году он воевал в России, где был помощником самого Гудериана. В 1942-м — в Африке, где был начальником штаба у самого «лиса пустыни» Роммеля, в 1943-м — в Италии, где был начальником штаба 1-й армии у самого фельдмаршала Кессельринга. Все эти кампании заканчивались поражением немцев, и генерал Байерлейн винил в этом Россию, которая в двух последних случаях предпринимала совершенно неуместные, на его взгляд, наступления и оттягивала на себя значительную часть немецких сил. Теперешнюю свою задачу — взятие Бастони — Фриц Байерлейн считал нетрудной. Однако в тот день его дивизия не дошла до Бастони... Снова ударил мороз, снег налипал на катки гусениц, истаивал и снова замерзал. Дивизия продвигалась с ужасающей медлительностью — за три часа менее километра. К вечеру удалось достигнуть только дрянного люксембургского местечка Нидер-Вампах. На следующий день притащили в штаб какого-то бельгийца, который клялся, что видел неподалеку от Бастони не менее сотни американских танков и бронемашин.

В половине шестого утра в полной тьме, которая усугублялась туманом, дивизия двинулась дальше. Головной танк подорвался на mine. Из всего экипажа уцелел только маленький танкист Йоганн, благополучно

ускользнувший от партизан в бронетранспортере Вайнерта и вернувшийся в свою родную 5-ю армию. Гибель танка вызвала задержку, пришлось расчищать минное поле. Окоченевшие трупы, твердые, как бревна, Leichen-Kommando¹ побросала в обозные машины, с тем чтобы пристойно похоронить их в Бастони, в овладении которой никто не сомневался.

Только на следующий день немцы увидели издали шпиль собора святого Петра. Когда они придвинулись ближе, их встретил жестокий огонь. Под стенами стояла американская 101-я воздушно-десантная дивизия. Завязался бой.

Даже на старых, обстрелянных солдат немецкие завывающие мины действовали угнетающе. Вулворт поначалу не понял, откуда этот грозный томительный гул, нарастающий непрерывно, как будто само это свинцовое небо опускалось, чтобы своей тяжестью расплющить всех внизу. Потом посыпались осколки. Вулворт вжался в снег, он еле сдерживал желание бежать. После налета этих «воющих истериков», как их называли ветераны, обрушился огневой артиллерийский вал. Вулворт терпел. Он привыкал. Самый страх имеет свой предел. И в аду, оказывается, можно жить. И все же, когда показались танки, он снова ощутил гибельное чувство, словно что-то обрывалось в нем, внутри него, где-то за грудной костью, и катилось вниз, холодное и дрожащее. Он подумал: «Может быть, я мочусь в штаны?»

Если бы он знал, как трудно приходилось танкам, возможно, ему стало бы легче. Танки двигались тесной колонной, самая узость дороги лишала их свободы маневрирования. Иоганн, обычно такой сдержанный, ругался, сидя в башне танка. Он ничего не видел, кроме белой дороги и черных тел, исчезавших, когда он к ним приближался. Он думал, что американцы прячутся в щели и оттуда будут подрывать его. Но десантники были плохо вооружены. У них не было ни гранат, ни противотанковых мин, ни базук, ни даже бутылок с горючей смесью, и танки легко смяли передние ряды американцев. Вулворту повезло, его послали с истребительной группой для уничтожения автоматчиков, залегших по обе стороны дороги и даже на опушках леса, спускавшегося по склонам. Борьба с ними была похожа на охоту.

Истребители ползком подкрадывались к месту, где

¹ Похоронная команда (нем.).

засел автоматчик. Притаившись, истребители — небольшая группа, всего три человека: Вулворт, Маньковский и рыжий десантник (Вулворт до сих пор не дознался его имени), — ждали, пока автоматчик откроет огонь и обнаружит себя. Они не брали его в плен, они обычно кончали его на месте бесшумно кинжалами. На Вулворта эти убийства уже не действовали, потому что это же борьба в бою с противником вооруженным, а главным образом потому, что сознание его притупилось. Он огрубел. Насилие становилось чем-то привычным.

Когда Вулворт вернулся к Бастони, бой уже затих. Он увидел, что за спинами сражающихся саперы и жители города успели вырыть рвы и волчьи ямы, установить надолбы, рогатки, засеять дорогу минами. Правда, саперы ворчали, не хватает колючей проволоки, мало мешков для земли и мин, в общем, маловато.

Вулворт чувствовал непобедимую усталость. Кроме того, в нем родилось необычное новое и странное ощущение: он чувствовал, что взрослеет. Это, конечно, было приобретением мужества, рассудительности, спокойного достоинства. Но и потерей — душевной свежести, стыдливости и той наивной восторженности, которая так украшает юных. Это не ускользнуло от взгляда Маньковского, он с удовлетворением подумал: «Парень покрывается корочкой».

Вулворт и Маньковский (с особого разрешения начальства) устроились в небольшой брошенной квартире. Окна ее выходили на старинные арочные ворота Порт-де-Трев. Под аркой непрерывно сновали солдаты, монахини в высоких чепцах, санитарные машины, велосипедисты, девушки и юноши, бежавшие из окрестных деревень, некоторые вели коней под уздцы. Маленькая Бастонь, узел пяти дорог, трещала под напором переполнившего ее народа.

В тот же день под вечер у арки Вулворт наткнулся на офицера, извинился, откозырял, пошел дальше. Вдруг обернулся: это бледное удлиненное лицо, насмешливый лягушачий рот, высокий лоб под сдвинутой на затылок каской показались ему знакомыми.

— Конвей! — воскликнул он.

Офицер оглянулся, растянул рот в улыбку:

— Если меня не подводит память, это малютка Вулворт, племянник тети Эдны, «стандартные цены пять и десять центов». Рад вас видеть, старина. Давно в этой дыре? — И не дождавшись ответа: — А я прибыл по-

завчера и здесь ставлю точку. Баста! Я остаюсь. Я устал бегать по Арденнам, как борзая за несуществующим зайцем. Где вы устроились? — И снова не дождавшись ответа: — Идите ко мне, у меня великолепный бункер. Тепло, комфортабельно и полная гарантия... — Он не договорил и предостерегающе поднял палец, прислушиваясь к недалекому артиллерийскому выстрелу. Спустя несколько секунд где-то тоже не очень далеко ухнул разрыв. Конвей закончил: — И полная гарантия от этих игрушек.

Бункер оказался подвалом в трехэтажном доме. Койка, покрытая толстым пледом. На столе полевой телефонный аппарат в кожаном футляре. В углу самозарядка-браунинг. Со стены глядит строго и милостиво Сикстинская мадонна с хмурым младенцем на руках. Полка с книгами, преимущественно сине-желтые экземпляры «Ранних византийских икон»; сочинения Томаса А. Конвея. В другом углу шкафчик. Конвей вынул оттуда бутылку виски, два пластмассовых стаканчика, электрический чайник. Наполнил его водой из крана, включил чайник в розетку. Налил виски в стаканчики.

— За встречу! — сказал он приветливо.

Он действительно был рад Вулворту. Разговорщик по складу натуры, Конвей нуждался в резервуаре для своих словесных водопадов. Ему нужны были чьи-нибудь уши. Все равно чьи.

— Устроились недурно, — сказал Вулворт, хлебнув виски.

Конвей махнул рукой.

— Я в отчаянии. Все у меня сорвано. Я не закончил курс ванн в Спа. И вообще полетел к черту весь мой режим. Я должен лежать днем не менее двух часов со слегка приподнятыми ногами. Я и лежал в грузовике по дороге сюда. Но на чем? На боеприпасах! Представляете себе, как чувствовали себя мои суставы?!

Вулворт смеялся. Он никогда не знал, говорит Конвей серьезно или ваяет дурака. Откуда такая изнеженность в боевом офицере? Ведь он разведчик. Наверно, разведчикам так и полагается — болтать с посторонними всякую чушь и — ни слова о своей таинственной работе.

Вулворт, конечно, не удержался и начал рассказывать, как он расправлялся с диверсантами и как охотился за автоматчиками. Посреди этого рассказа он

вдруг заметил устремленный на него насмешливый и чуть брезгливый взгляд Конвея.

— Война — это война... — пробормотал он, не зная, что сказать.

— Что меня в вас восхищает, Вулворт, — сказал Конвей, раскуривая трубку, — это то, что вы ни на секунду не задумываетесь перед тем, как изречь оригинальную мысль. Но я готов с вами согласиться: война — это война, а не заповедник генералов, куда посторонним вход запрещен. Войну выигрывает пехотинец в башмаках, облепленных грязью, а не полководцы, разъезжающие по тылу в роскошных лимузинах. Немцы здесь, в Арденнах, бросились в наступление на заре шестнадцатого декабря, а Айк раскумекал это только к вечеру восемнадцатого. Когда немецкие парашютисты захватили деревушку Живэ, фельдмаршал Монтгомери до того запаниковал, что перенес штаб своей Двадцать первой группы армий чуть ли не в Брюссель. Что такое паника, я видел собственными глазами в Спа, когда мы с перепугу сожгли сто двадцать четыре тысячи галлонов горючего, вместо того чтобы его спокойно вывезти. Говорю вам — у нас перепроизводство генералов! Отсюда неразбериха. Слишком много поваров суетится вокруг одной плиты.

Вулворт откашлялся. Речи эти показались ему кощунственными. Подумайте, Конвей замахнулся на самого Эйзенхауэра!

— Но ведь война начинается с разведки, — сказал Вулворт, мрачно глядя на Конвея.

Кажется, слова эти попали в больное место Конвея. Его даже передернуло. Он вспомнил то утро, когда к нему пробрался этот партизан Урс в одежде священника и предупредил о подозрительных передвижениях немцев. И он, Конвей, пошел с этими сведениями к главе войсковой разведки Монку Диксону, и тот не придал значения этим сведениям.

— Вулворт, мой мальчик, разведчики тоже люди, — сказал Конвей мягко. — И лучшие из них отнюдь не те, которых муштруют на «ферме» возле Вашингтона или в Пенсильванской, Вирджинской и других специальных школах управления стратегической службы. Разведчиком нужно родиться. Можно сделать человека образованным, но нельзя сделать его талантливым. Клянусь вам, Вулворт, что я сигнализировал командованию накануне выступления, но мой сигнал презрели.

— А вы настаивали? — все так же сурово сказал Вулворт.

«Эге, мальчуган может быть безжалостным! Чему-чему, а этому война его научила».

Конвей счел уместным переменить тему. Он пустил клуб дыма к потолку и сказал несколько в нос, как всегда, когда впадал в назидательный тон:

— Человек не властен над прошлым. Он еле справляется с будущим. А настоящего вообще не существует: оно мгновенно превращается в прошлое. Мы здесь, в Бастони, знаем одно: она наша и она должна остаться нашей. Конечно, война — капризная дама, иногда она повелевает отступать даже победителям. Но сейчас не тот случай. Немцы хотят взять Бастонь. Уже по этому одному мы не имеем права отдавать ее. Оказывается, этот маленький городок им очень нужен. Вы догадываетесь почему? Очень просто: по трем основаниям. Слушайте внимательно, этих истин вы не услышите ни от кого другого. Во-первых, Бастонь, покуда она наша, срывает немцам подвоз снабжения, ибо она — скрещение пяти дорог. Во-вторых, Бастонь мешает их продвижению на запад, а захватив ее, Мантейфель обеспечил бы себе свободу действий на левом фланге. В-третьих, Бастонь приковывает значительные их силы.

Конвей помолчал, отхлебнув из стакана, глянул на Вулворта — ему понравился ошеломленный вид юноши — и прибавил:

— Есть еще одно основание. Быть может, оно самое главное. Скажу вам его по секрету. — Он театрально оглянулся и проговорил показным шепотом, хотя, разумеется, никого, кроме них, в бункере не было: — Борьба за Бастонь есть борьба за сохранение престижа.

Он откинулся на спинку стула, довольный эффектом, произведенным на совершенно подавленного Вулворта, и сказал уже обычным, прозаическим, то есть несколько не приподнятым, тоном:

— Мы будем драться за Бастонь, и — я вам предсказываю это — драться жестоко. Быть может, Бастонь и есть та кость, которой Гитлер подавится. Так и скажите вашим солдатам, Вулворт. Подготовьте их психологически к осаде, то есть к голоду, к эпидемиям к припадкам отчаяния, к самопожертвованию, к жестокой дисциплине блокады.

Вулворт слушал как зачарованный. Глаза его блестяли. Упоминание о дисциплине взволновало его.

— Наш солдат так недисциплинирован! — почти крикнул он. — Вы не поверите, Конвей, они иногда даже не отдают честь офицерам!

— Не придирайтесь к солдату, — сказал Конвей, с удовольствием прислушиваясь к своей плавно текущей речи, — да, американский солдат недисциплинирован. Его привычка к демократическим свободам несовместима с машинообразностью, нерассуждаемостью, субординацией и прочими качествами, характерными для германского или японского солдата. Это независимое поведение, эта потребность в жизненных удобствах, даже в известном комфорте делает нашего солдата в гарнизонной службе весьма недисциплинированным. Однако в бою он преображается. Когда он видит, что для того, чтобы выжить, надо победить, он побеждает, Вулворт.

К 21 декабря окружение Бастони было почти закончено. 26 декабря 2-я танковая дивизия СС, присланная оберстгруппенфюрером Зеппом Дитрихом, учебная танковая дивизия 5-й армии и примаршировавшая к Бастони с востока бригада из личной охраны Гитлера «Фюрербеглейт» — молодцеватые парни один к одному, хоть сейчас на парад, к чему, кстати сказать, они более привыкли, чем к осаде городов, хотя и были сейчас щедро оснащены боевой техникой, — все эти войска прочно обложили город почти со всех сторон. Полоса пастбищ шириной километров около восьми между Шаном и Сеншаном оставалась еще не занятой. Но, очевидно, и ей предстояло вскорости быть занятой, поскольку к Бастони направлялись форсированным маршем еще две дивизии.

Однако, покуда кольцо еще не совсем замкнулось, Урс решил через этот свободный коридор просунуть в Бастонь тех американцев, которые были в его отряде, в том числе, разумеется, Осборна и Майкла.

Пошли цепочкой. Конечно, ночью. В полном молчании. Впереди на изрядном расстоянии от группы шли дозорные — Брандис и Финик. Они изредка тихо перекликались. Туман притушивал голоса и шаги. Иногда они останавливались, поджидая отряд. Потом опять отдалялись от него, тщательно прислушиваясь к окружающей местности, почти вынюхивая ее. Позади отряда в замыкающем дозоре шли оба фламандца, Питер и Ян, тоже вслушиваясь в черно-серую туманную муть, обли-

павшую их отовсюду. Стояла мертвая тишина. Изредка только чавкали сапоги в истаявшем снегу и проносилось тихое, как вздох, ругательство.

Урс шел посреди отряда. Он решил лично сдать американцев. А кроме того, он рассчитывал, что, может быть, ему удастся раздобыть какие-нибудь надежные сведения о положении на фронте. Все так перемешалось, потеряна связь с разведкой, неизвестно, где штабы и какие задачи стоят сейчас перед партизанами в этой новой обстановке.

Он надеялся, что они войдут в город до рассвета. Ведь нынче светает поздно, в восемь часов. Это будет трудный момент: без сомнения, там стоят сторожевые заставы, они могут, не узнав своих, обстрелять их.

Урс не мог не поверить своим дозорным, когда они доложили ему, что никакой заставы нет и вход в город в этом месте свободен. Возмущенный, он сам поспешил к этому месту.

— Гостеприимно... — пробормотал он сквозь зубы.

Действительно пусто... Несколько стреноженных коней загребали копытами снег и с хрустом жевали прошлогоднюю жухлую траву.

— Вояки, так и так их мать, — повторил Урс.

Финик качал головой.

Как же это немцы проморгали...

Урс огрызнулся:

— Потому что немцы воюют грамотно и не могут представить себе такого военного невежества.

Он расположил свой отряд на этом участке, растянув его тонкой линией. Сам же поспешил в штаб дивизии.

Затруднение состояло в том, что он в штабе никого не знал, кроме Конвея, с которым был связан конспиративно. Но благодаря духу беспечности, который царил здесь, Урсу не составило труда узнать его домашний адрес.

Урс застал его дома. Конвей говорил по телефону. Он приветливо помахал рукой и продолжал говорить:

— Видите ли, с горючим у нас дело дрянь... Как я вспомню о тысячах галлонов, брошенных в Ставло... Нет, дух нашего солдата очень высок, но одним духом не продержишься, если нет боеприпасов... Что?.. Я понимаю, снабдят по воздуху... Конечно, конечно, и это...

Обязательно!.. И побольше... Потому что костлявая рука голода...

Урс больше не мог выдержать. Он вскочил и положил на телефон свою лапу с крупными ногтями, раздавшими-ся более в ширину, чем в длину. Разговор, естественно, прервался.

— Как вы можете говорить о таких вещах кле-ром?! — загремел он. — Что ни слово...

— ...то выдача военной тайны, — сказал Конвей, растянув губы в привычной усмешке. — Но, дорогой мой, вы свой. Вы даже не представляете себе, Урс, как глубоко вы проверены.

— Да разве я о себе? Какой же вы, к черту, разведчик, если не знаете, что в нейтральной зоне у немцев сидят подслушиватели со специальными аппаратами и перехватывают телефонные разговоры. Вообще, что за бардак у вас в штабе! Вы оставили открытыми ворота в город! Что это — кретинизм или предательство?!

Урс рассказал о неохраняемом участке к югу от города.

— Вам все смешки, Конвей! — сказал он с гневом.

— Но это действительно забавно, Урс, что немцы не вошли. Вы знаете почему? Это напоминает детскую игру «в какой руке камешек?». Вы рассуждаете так: в прошлый раз я клал его в правую руку, — значит, логично сейчас положить его в левую. Но противник тоже так рассуждает. И я оставляю его в правой и выигрываю.

— Да, — устало сказал Урс, — но в нашем случае не было прошлого раза.

Мало кто знал, что командующий 3-й армией генерал-лейтенант Джордж Паттон, такой резкий, вспыльчивый, часто грубый, обладал натурой чувствительной, даже сентиментальной, как девушка. Во всяком случае, сознание, что гарнизон осажденной Бастони терпит муки голода, причиняло ему страдания. Именно гарнизон. Это нечто конкретное. Свое. Родное, как семья. А жители? Да, конечно, им тоже не сладко. Но это абстракция. Население. Понятие географическое. Так или иначе, генерал Паттон мучился от невозможности облегчить страдания осажденного города и проклинал нелетную погоду. Метеорологи боялись показаться ему на глаза,

ибо по несдержанности генерал способен был обвинить их в том, что тучи такие низкие, а снегопад такой густой, а ветер такой пронзительный.

В конце концов генерал вызвал главного капеллана армии, пожилого, всеми уважаемого пастора в чине подполковника.

— Послушайте, — сказал он, — вы там молитесь черт знает о чем, вместо того чтобы выклянуть у бога хорошую погоду. Я приказываю вам, чтобы во всех вверенных мне соединениях, частях и подразделениях отныне включили в молитвы требование о ниспослании нам летной погоды.

Священнослужитель слушал эту речь генерала с чувством, близким к ужасу. Он сдерживал себя, памятуя, что всякое выражение раздражительности уже есть грех. Он ограничился тем, что сказал сухо:

— Можно ли приказывать богу...

Паттон резко повернулся на каблуках, отшвырнул сигару и сказал металлическим голосом:

— У кого вы, черт возьми, в подчинении? У меня или у бога? Вы офицер Третьей армии. Идите и выполняйте приказ.

В тот же день солдатам и офицерам 3-й армии был роздан текст молитвы, свежееотпечатанный в армейской типографии и утвержденный генералом Паттоном:

«Господи, боже наш! Даруй нам в милости твоей хорошую погоду для битвы, чтобы сокрушить жестокость и злобу наших врагов. Аминь!»

И что вы думаете! За два дня до рождества проклюнулось солнце, робкое, правда, какое-то, завуалированное кисейными облаками. Все же и такого его было достаточно, чтобы из 3-й армии вылетели самолеты и принялись сбрасывать в Бастонь мешки с консервами, медикаментами, яичным порошком и боеприпасами. Однако самолеты держались на большой высоте, и большая часть грузов попала к немцам. Тут уж ни бог, ни сам генерал Паттон ничего не могли сделать.

Между тем атаки следовали одна за другой. С востока в Бастонь прорывалась учебная танковая дивизия, состоящая из отборных солдат 47-го корпуса 5-й армии. Она была как таран по укреплениям, наскоро возведенным защитниками Бастони. Первую их линию немцам вскоре удалось преодолеть. Генерал-майор Энтони Маколифф, этот, как его прозвали люксембуржцы, смешав француз-

ский и английский, *les heros des nuts*¹, направил против немцев половину имевшихся у него танков. Он приказал намалевать на каждом четыре буквы: АААВ. Отправляясь на позиции, танкисты охотно объясняли любопытным их значение: *Anything. Anytime. Anywhere. Bar nothing*². Им удалось задержать немцев.

Остальные танки Маколифф направил на запад от города. Здесь немцы тоже пробивали укрепления непрерывными атаками. Это был как бы второй конец воображаемой оси, долженствовавшей пронзить Бастонь. Однако и здесь дальше первой линии укреплений немцам продвинуться не удалось.

Генерал Байерлейн, командовавший учебной дивизией, взвесил шансы. По данным разведки, в Бастони и вокруг нее потери американцев достигли по меньшей мере трех тысяч человек убитыми и ранеными. Голод в городе, как доносили лазутчики, дошел до крайних пределов, резали лошадей, но и их уже почти не было в этой конской столице. Начинался голодный тиф. Генерал Байерлейн решил, что плод созрел и вот-вот упадет, пора подставлять руки. И он направил к Маколиффу парламентаря с предложением капитулировать. Генерал Мантейфель в своих записках весьма сдержанно пишет: «Наше требование о капитуляции было отклонено».

Ответ генерала Маколиффа был более живописным. Внимательно прочитав предложение капитулировать, генерал Маколифф надел очки и старательно начертил на нем каллиграфическим почерком: «*Капитульруйтесь к едреной матери!*»

Жаль, что эта жизнерадостная резолюция не сохранилась. Она заняла бы почетное место в библиотеке конгресса в Капитолии в Вашингтоне среди важнейших исторических документов эпохи.

Бедный Байерлейн! И тут ему не повезло! Однако этих невезений набирается столько, что впору усомниться в его качествах полководца. Вот и здесь он ошибся в главном: в оценке сил противника. И этим ввел в заблуждение своего командующего армией. Генерал Мантейфель считал, что Бастонь не только «сердце Арденн». Этот маленький бельгийский городок стал сердцем обороны американских войск. И здесь его наметанный глаз не ошибся. Но он ошибся в другом. Этот опытейший

¹ Герой сумасбродов.

² Все. Всегда. Везде. Нет преград (англ.).

генерал не подозревал, что упустил момент овладеть Бастонью почти без боя. Вот тут-то, сам того не желая, выдернул из-под него стул генерал-лейтенант Фриц Байерлейн. Во время боя за городок Новиль, что к северо-востоку от Бастони, он принял слабые дозоры противника за крупные силы. Таково было неистовство в бою одного из небольших подразделений американской 10-й бронетанковой дивизии, что Байерлейн послал Мантейфелью донесение, что учебная танковая дивизия попадает в невыгодное (он еле удержался, чтобы не написать «гибельное») положение и он вынужден отступить. Не проверив действительной обстановки на месте, Мантейфель нисколько не усомнился в правильности действий своего лучшего командира своей лучшей дивизии.

Справедливость требует сказать, что обе стороны преувеличивали силы друг друга. Первый лейтенант Конвей признавал, что здесь есть промах американской разведки, совпавший с подобным же промахом немецкой разведки. «И мы и немцы,— писал он в своей статье «Бедный заблудший ангел», помещенной уже после войны в парижском издании «Геральд трибюн»,— смотрели друг на друга расширенными от ужаса глазами. Мы были уверены, что бросившиеся в это безумное наступление немецкие войска глубоко эшелонированы и имеют большую глубину оперативного построения, тогда как это была тонкая ниточка, которую ничто не стоило прорвать. А немцы полагали, что перед ними мощные американские соединения, богато оснащенные техникой, тогда как в тот момент это были разрозненные подразделения, мечущиеся в панике, к тому же плохо вооруженные».

Конвей и Осборн встретились во время вылазки у брошенной фермы «Старый вепрь». Название это сохранилось на сквозной ажурной вывеске, которая болталась на одном гвозде над воротами.

Высотка, на которой стояла ферма, господствовала над местностью и была приманкой для обеих сторон. Большой скотный двор окружен буками, посаженными так тесно, что они образовали почти стену. Здесь Конвей установил противотанковое орудие и, когда был убит первый номер, сам заменил его. «Все-таки я артиллерист»,— сказал он. Собственно, по этим жеманным интонациям Осборн, уже встречавший Конвея в городе,

узнал его, ибо лицо Конвея было испачкано копотью до неузнаваемости.

После того как американцы отразили одну за другой три атаки, наступило затишье. Вообще-то говоря, можно было возвращаться в Бастонь. И командовавший небольшим отрядом пехоты первый лейтенант Осборн собрался поначалу именно так поступить. Но потом передумал.

— Разумнее это сделать, когда стемнеет, — объяснил он Конвею, — возвращаться надо по открытой местности. И хотя мы в белых халатах, они всех нас расколошматят, как бутылки в тире.

Осборн знал, что, как только они покинут ферму, немцы займут ее. Отсюда открывался обширный вид на восточную часть города. По мнению Осборна, ферму следовало удержать в своих руках. Конвей был согласен с этим. Но генерал Маколифф приказал всем участникам вылазок обязательно к ночи возвращаться в город.

— Приказ есть приказ, — сказал Осборн в ответ на предложение Конвея «поправить» генерала и не уходить с фермы.

Не стреляли. Осборн присел на брошенную автопокрышку с грузовика и с наслаждением оперся уставшей спиной о стену полуразрушенного сарая. Это был отдых. Мыслями он вернулся к довоенному покою. Нет, нет! Военная служба нравилась Осборну. Он уже решил, что после войны останется в армии. Никакие страсти не сравнятся с наслаждением командовать и подчиняться. Да, он останется в армии. Если, конечно его оставят. И если его не убьют. Но сейчас, сидя на этой старой шине, расслабившись, он предался уютным воспоминаниям о мирной жизни. Он не давал себе труда упорядочивать их. Он плыл по течению. Большое место в них занимал душ... Ласковые прикосновения этого благословенного домашнего дождя из низкого кафельного неба... Девушки... Преимущественно высокие блондинки, с которыми он встречался обычно после работы в кафе, очередная она с правой стороны, в левой руке контрабас в чехле, с длинной извилистой царпиной на деке, он все собирался залакировать ее, да так и не успел... Дыни... он обожал дыни, обычно перед обедом он отправлял в рот влажный пахучий розовый ломоть...

В это время немцы открыли огонь из учетверенного миномета. Осборн упал, обливаясь кровью. Миномет замолчал так же внезапно. Очевидно, просто пробовали вновь прибывшее оружие.

В госпитале в Бастони, лежа на койке, Осборн догадывался, что не выкрутится. Он считал, что это самая большая глупость в его жизни. Его лицо сделалось совсем маленьким, как у ребенка. Мушкетерские усики и эспаньолка выделялась на нем нелепыми запятыми. Собирались сделать переливание крови, но он увидел на банке ярлык: «Цветная кровь» — и отказался от переливания. «Какое счастье,— сказал он,— что я умираю в католическом городе...»

Он потребовал к себе патера. Но в армии не оказалось католического священника. «Есть дьяконисса», — сказали ему. «Баба? Ни за что!» От услуг лютеранского капеллана он отказался. «Позовите поляка», — сказал он. Позвали Феликса Маньковского. Осборн ему исповедался. Он признался в постыдном грехе: уже коснеющим голосом он рассказал Феликсу, как он в свое время не поделился хлебом с Майклом. Маньковский знал ритуальные слова, сопровождающие отпущение грехов... «Absolvo te...¹» — сказал он срывающимся голосом.

На погребении произошел неприятный инцидент, несколько нарушивший привычное благообразие похорон. К гробу подошел пожилой джентльмен в куртке с кенгуровым воротником и заявил, что может организовать захоронение останков первого лейтенанта Лайонела Осборна у него на родине, то есть в Штатах. Маньковский и Вулворт узнали его: это был Корнелиус Ли, представитель «Симетри элайнс», объединения компаний, эксплуатирующих кладбища. Мистер Ли вежливо, но настойчиво допытывался у окружающих, есть ли у Осборна родственники в США и насколько они состоятельны. Ибо, как выяснилось из дальнейшего разговора, перевозка останков производится за счет родственников.

Мистер Ли тут же заметил, что последние бои значительно расширяют деятельность «Симетри элайнс», и не без самодовольства добавил: это общество настолько влиятельно, что провалило в конгрессе законопроект о создании новых национальных кладбищ для бесплатного погребения погибших воинов. Дальнейшие рассуждения мистера Корнелиуса Ли были прерваны Майклом, который взял его за кенгуровый воротник и, наподдав сзади коленом, швырнул довольно далеко от лакомых останков первого лейтенанта Лайонела Осборна.

¹ Отпускаю тебе (лат.).

Конвею понравился этот поступок. Он пригласил Майкла к себе в бункер. Ему вообще понравился этот тощий юноша с приподнятыми бровями мечтателя и плечами боксера. Он уже слышал о нем кое-что. Главный капеллан армии подполковник Френкленд рассказал, что недавно к нему явился Майкл и покаялся:

— Я убил ангела.

И рассказал о стычке на дороге, где он застрелил одного из близнецов, а тот, оказывается, был не кем иным, как ангелом в мундире немецкого солдата.

Капеллан принялся утешать его. А потом, устав от собственных банальных поучений, признался:

— А что я могу тебе сказать, парень? С одной стороны, я проповедую вам всем: «Люби ближнего, как самого себя». А с другой — я же призываю вас: «Убивайте немцев». Значит, приходится говорить, что немцы не люди, а черти. Но вот ты убил не черта, а ангела...

Майкл зачастил к Конвею. Его привлекал открытый — иногда до цинизма — ум Конвея. Да и Конвей устраивали беседы с Майклом более, чем с Вулвортом. Нельзя отрицать: Вулворт великолепно молчит, это имеет свои удобства для такого говоруна, как Конвей. Но уж очень он примитивен, этот молоденький лейтенант из семьи мелкорозничных магнатов. А Конвей любит примитивы только в искусстве, главным образом церковном. А его словесные пиршества нуждаются в острой приправе — возбуждающих репликах собеседника.

В последнее же время в повадках Вулворта, еще недавно такого нежного, такого, сказал бы Конвей, трогательно нежного юноши, появилось что-то грубо-солдафонское, особенно когда он, закинув на стол ноги в грязных ботсах и потребовав хриплым «фронтным» голосом выставить джин, начинает нести хвастливую околесицу о своих подвигах на передовой.

Другое дело нервный, почти истерический рассказ Майкла о том, как он убил ангела. До сих пор это продолжало мучить Майкла. Конвей жалел его и утешал по своему способу, который называл «метод каленой кочерги». Он пошел в атаку на идеализм Майкла:

— Конечно, ограниченному, ну, скажем просто туповатому воображению идеалиста нет ничего удобнее, чем придумать боженку. Ход мыслей при этом примитивный. Вопрос: откуда все взялось? Ответ: хозяин создал. И сравните эту наивность с силой и смелостью воображения материалиста, который постиг извечность мира, его

безначалие! Какая свобода духа нужна, чтобы примириться с этой идеей!

Майкл слушал очень серьезно. Потом чуть улыбнулся и сказал:

— Вы забываете одну очень простую вещь, Конвей.

— Какую?

— Хозяин, как вы его назвали, или бог, как говорят все, или Разумная Сила, как выражаются некоторые философы, или что-то другое — условно, — но с наибольшим приближением к сути обозначим его словом Создатель, — что он тоже извечен и безначален...

Разговор этот и другие, подобные ему, шли под разрывы снарядов, которыми осаждающие засыпали город. В пылу споров Конвей и Майкл не слышали их.

Однако скоро Конвей лишился своего лучшего собеседника. Нет, нет, он не убит! Другое.

Однажды Майкл проходил мимо Порт-де-Трев. Немцы беспорядочно стреляли по городу из орудий. Люди разбегались, прятались под арки домов, Майкл даже не прибавлял шага. Он рассуждал так: «Это чудовище, Гитлер, хочет, чтобы я переменялся, чтобы я стал мельче, ничтожнее самого себя. Но он этого не дожидается, я останусь самим собой». И он не прибавлял шага.

Случилось ему как-то увидеть посреди улицы скопление женщин. Он видел только их спины. Некоторые — в элегантных меховых шубках. Сидя на корточках, женщины копошились в чем-то лежавшем на мостовой и не обращали внимания на разрывы снарядов.

В стороне стояла девчонка в старенькой накидке, из которой выбивались клочья ваты. Съежившись от холода, она топталась на месте в своих грубых мужицких сапогах и попеременно дышала то на одну, то на другую руку в продранных рукавичках.

Изредка она посматривала на группу женщин посреди мостовой, и на ее лице, замерзшем и чем-то испачканном, появлялись отвращение и жалость.

Когда Майкл приблизился, он увидел, над чем склонились женщины: над трупом павшей лошади. Они вырезали из него куски мяса и набивали им сумки. Теперь никто в Бастони не ходил без сумки. А вдруг удастся набрести на что-нибудь съестное, на сброшенную с самолета пачку сала или, как вот сейчас, на падаль.

Замухрышка в накидке бросила взгляд на Майкла. Он поразил юношу. Это был монашеский взгляд испод-

любя, горячий и стыдливый. Майкл остановился. Неожиданно для себя он проговорил церемонно:

— Can I help you? ¹

И тут же спохватился, что обращается к ней по-английски. От смущения, конечно. Но почему он смущился? Неужели этот взгляд?.. Девчонка пожалала плечами и, к удивлению Майкла, ответила ему тоже по-английски:

— No... Unless... if you could... ² — и тут же перешла на какую-то беглую смесь французского и старонемецкого, которая была для нее явно привычнее: — ...оторвать мою подругу от этого...

Она не докончила.

— Как зовут твою подругу? — спросил Майкл, оправившись от непонятого смущения, сердясь на себя из-за него и перейдя на немецкий.

Но замарашка уже передумала:

— А в общем, черт с ней. Она голодна.

— А ты? — невольно спросил Майкл и полез к себе в карман.

Там у него болталось несколько кусочков сахара.

— Но это каннибализм!

Майкл подумал, что он не понял ее. Ее странное наречие отдаленно напоминало немецкий. И в нем, как золотые крупинки в песке, мелькали французские слова. Майкл вгляделся в девчонку. Глядя на ее замерзшее и чем-то испачканное лицо, он увидел, что она старше, чем показалось ему прежде. Но вот снова этот не дающий ему покоя монашеский взгляд исподлобья!

— Каннибализм, — сказал он, — это поедание себе подобных.

Он готов был поклясться, что девушка посмотрела на него с презрением.

— Кони подобны людям, — сказала она. — Иногда они даже лучше людей.

Внезапное подозрение осенило Майкла. Он спросил строго:

— Ты немка?

— Что это вам пришло в голову? — удивилась она. И прибавила с некоторой надменностью: — Я люксембурганка.

¹ Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? (англ.)

² Нет... Если бы только вы могли... (англ.)

— Но ваш язык...— сказал он, не заметив, что перешел на «вы».

А когда заметил, смутился и не то чтобы рассердился, но остался недоволен собой.

И она, казалось, рассердилась.

— Какое вам дело до моего языка! — сказала она довольно грубо. — Это наш язык — мозельфренкин.

Все еще сердясь на себя, Майкл сказал сурово:

— Люксембуржцы служат в немецкой армии.

Она вспыхнула:

— Вы что, с луны свалились! Вы что, не знаете, что их туда загнали силой? Им приказано быть немцами. Но при первой возможности они сдаются вам.

Майкл уже привык к ее языку. О чем, однако, говорить? А расставаться с ней почему-то не хотелось.

— Я — Майкл Коллинз, — сказал он и протянул руку.

Она коснулась ее кончиками пальцев, которые выглядывали из дырок меховой рукавички. Он заметил: ногти обломанные, нечистые.

— Мари Шульц, — сказала она.

«Имя французское, фамилия немецкая», — машинально отметил он в уме.

— Нет, я больше не могу ее ждать, — сказала Мари, беспокойно оглядываясь, — у меня дома Джильда не кормленая.

— Джильда? — повторил Майкл. — У вас есть...

Он остановился, не решаясь сказать «дочь». Мысль о том, что у нее есть ребенок, была почему-то ему неприятна. Но, может быть, сестренка? А может, старуха мать, которую эта бесцеремонная девушка называет по имени?

Мари расхохоталась. И сразу стала другой, как будто смех привел в движение какие-то скрытые механизмы ее лица. Оно стало добрым, но и лукавым, оно осветилось изнутри нежностью, оно стало каким-то умно-ласковым. Майкл не мог отвести от нее глаз.

— Это моя кобыла, — сказала Мари. — Конечно, она еще почти ребенок. Двухлетка.

Она вдруг задумалась на мгновение (о эта поразительная смена выражений на ее испачканном лице!), глядя на Майкла, но словно не видя его, просто задумавшись, уперев взгляд во что-то перед собой.

— Послушайте, — сказала она нерешительно.

Потом вдруг решила, доверчиво положила на его

руку свою и сказала серьезно, даже каким-то деловым тоном:

— Вы можете достать мне корм для Джильды?

— Ну... — сказал он, — может быть... А что это? Овес? Видите ли, у нас в армии нет лошадей.

Ему ужасно хотелось помочь ей.

— Можно просто хлеб, — сказала она нетерпеливо.

Он обрадовался:

— О, это можно!

Но, вспомнив, как скуден блокадный паек, пробормотал:

— Может быть...

Он жаждал снова увидеть этот взгляд исподлобья. Но она, не посмотрев на него, кивнула и ушла. И как-то сразу исчезла в толпе, вечно сновавшей у Порт-де-Трев.

Тут только он сообразил, что не знает, где она живет.

Он кинулся за ней, но она как в землю провалилась.

«Подруга!» — вспомнил он.

Но когда он прибежал обратно, никого не было, один только обглоданный скелет лошади с желтыми крутыми ребрами и разметанной гривой над костяным оскалом морды.

Блокада Бастони разомкнулась так же неожиданно, как началась. В те же рождественские дни, точнее — 26 декабря, части 4-й бронетанковой дивизии 3-й армии прорвали в одном месте немецкое кольцо и вошли в город.

Еще накануне генерал Маколифф говорил озабоченно:

— Больше всего меня беспокоит юг. Там стоят не эти наспех сколоченные дивизии Дитриха и Мантейфеля, а испытанная в боях Седьмая армия Брандербегера. Если она вздумает рвануть в город, я ни за что не ручаюсь.

Как бы в подтверждение теории Конвея: «В какой руке камешек?» — прорыв произошел на юге.

Через эту приотворившуюся калитку в блокаде успел ускользнуть из города небольшой отряд Урса. Перед уходом Урс тепло попрощался с Конвеем.

— Завидую вам, Урс, — сказал Конвей со вздохом, — вы вырываетесь, как говорится, на оперативный простор. А мне еще торчать в этой зловонной дыре. Конечно, мы герои. Целую неделю мы отбивали наш осажденный городок. Но вы знаете, чего нам это стоило: свыше трех

тысяч убитых и раненых. И потом, не скрою от вас, Урс, у нас уже появились первые признаки деморализации, упадок духа, мародерство, насилия... Что удивительно-го: семь дней полной блокады...

Урс стремительно поднялся. Казалось, он сейчас обрушится на Конвея всей своей разгневанной громадой. Но он сдержал себя и сказал только:

— Ленинград был в блокаде почти девятьсот дней...

Прорыв армии Паттона еще не означал, что осада с Бастони снята. В ней только была приоткрыта форточка. Все же даже через этот глазок в камере заключенного повеяло ветром освобождения. Стало возможным в одну сторону вывозить раненых, в другую ввозить продовольствие.

Итак, осада, хоть и прорубленная в одном месте, продолжалась непрерывными атаками и жестоким обстрелом. Бессмысленность и бесцельность ее были очевидны. Но такова воля фюрера и его окружения, в первую голову генерал-полковника Альфреда Йодля и генерал-фельдмаршала Моделя.

Эта затянувшаяся осада и неуспех 6-й армии СС, увязнувшей в безуспешных боях на севере Арденн, и недостижимость Мааса — все это нервировало Гитлера, но он верил в магию своего красноречия и счел наступающий Новый год вполне подходящим поводом для очередного словоизвержения. 28 декабря он созвал у себя в «Орлином гнезде» всю командную верхушку арденнского войска вплоть до командира дивизий.

Йодль, Бургдорф и другие приближенные к Гитлеру лица, видевшие его ежедневно, уже не замечали перемен в его наружности. Но армейские офицеры со страхом наблюдали его одутловатое, отечное лицо, трясущиеся руки, дергающуюся ногу.

— Противник ничего не обнаружил! — кричал он. — Полное отсутствие вражеской разведки из-за явного зазнайства противника! Эти люди не сочли необходимым посмотреть, что делается вокруг. Они даже не верили в возможность нового наступления. Может быть, этому соответствовало и убеждение, что лично меня уже нет в живых или что я, по меньшей мере, болен раком, что не в состоянии ни жить, ни пить...

Гитлер демонстративно отхлебнул из стоявшего перед ним стакана. По залу пробежал почтительный смехок.

— ...так что ожидать от меня чего-либо опасного не

приходится. Новогодняя ночь в истории Германии всегда сулила немцам военные успехи. Когда мы возьмем Бастонь и форсируем Маас, мы рванем на север и увлечем с собой в наступление всю нашу грозную для противника армию!..

Когда Гитлер делал паузу, чтобы откашляться или глотнуть воды, в зале воцарялась тишина. Командующий 6-й армией СС оберстгруппенфюрер Зепп Дитрих сидел в первом ряду с выражением восхищенного волнения на бугристом лице. Он только что получил сильный нагоняй от фюрера за бездарное топтание 6-й армии у Мальмеди. Не дотянули до этой вонючей бельгийской деревушки Ставло каких-нибудь полтора километра, а там два с половиной миллиона галлонов горючего. Оберстгруппенфюрер униженно каялся, клялся, что искупит свою вину тем, что перережет тонкую, проложенную Паттоном нитку коридора, связывающего Бастонь с его армией. Йодль поймал оберстгруппенфюрера на слове, тут же была принесена карта и начерчен на ней путь наступления на коридор через Лютрбуа с форсированием незамерзающей реки Урт.

— Моя Первая танковая дивизия как секирой перерубит эту дерьмовую, полную американского кала кишку! — кричал Дитрих.

Но этого верноподданнического сквернословия было Дитриху мало. Он намеревался взять слово немедленно после Гитлера для выражения своего восторженного поклонения фюреру. Он был уверен, что опередит командующего 5-й армией Мантейфеля. Единственное, что могло помешать оберстгруппенфюреру, это выступление генерал-фельдмаршала Рундштедта. Но Дитрих надеялся, что престарелый полководец не выступит, он так инертен в последнее время...

Дитрих ошибся. Только стихла овация, как поднялся Рундштедт и, выпрямив свой стройный стан (поговаривали, что он носит корсет), заговорил:

— Мой фюрер! От имени собравшихся здесь командиров я хотел бы выразить твердую уверенность, что мы сделаем все, чтобы обеспечить успех...

Гитлер благостно улыбнулся.

— Никто лучше нас не знает, — продолжал генерал-фельдмаршал, — какие ошибки были допущены во время предыдущих операций. Мы извлечем из них необходимый урок.

Дитрих поежился. Гитлер сдвинул брови...

Уже уходя, перед тем как сесть в свой «оппель-адмирал», генерал Мантейфель подошел к оберстгруппенфюреру Дитриху и с деланной дружелюбной улыбкой (он терпеть не мог этого выскочку Дитриха) сказал, что до сих пор не получил от глубокоуважаемого оберстгруппенфюрера ответа на свое послание, которое направил со специальным порученцем в чине капитана.

Оберстгруппенфюрер, изобразив полное недоумение на своем шишковатом лице, ответил, что никакого капитана он не видел, высказал уверенность, что капитан подстрелен по дороге «этими проходимцами, именующими себя партизанами», и осведомился, о чем, собственно говоря, было послание.

— О, сейчас военная обстановка так переменилась, что это уже не имеет значения, — сказал генерал, махнув перчаткой и на секунду слегка огорчившись печальным концом чем-то когда-то понравившегося ему офицера.

Преобладающим чувством Конвея во время вылазки из Бастони было удивление: каким образом немцы оказались здесь, у этого уединенного домика с конической шиферной крышей? Ведь еще совсем недавно, просто только что, ну от силы минут пятнадцать назад, он говорил стоявшему перед ним Вулворту:

— Смотрите, какие наши разрывы сочные!

Вулворт позавидовал Конвею и восхитился им: только профессионал мог сказать о разрывах «сочные».

Отсюда, с этого чердака, нависавшего над окружающей долиной, глаз хватал довольно далеко. Конвей, спокойный, приятно оживленный, словно он сидел в ложе театра, озирает в полевой бинокль местность и отдавал артиллерийские команды, которые тотчас подхватывал и кричал в телефон связист, сидевший рядом на ящике из-под галет. Орудие ухало, и через мгновение там, вдали, вставал черный дым, и еще через секунду оттуда приходил смягченный расстоянием гром, и Вулворт почтительно соглашался, что разрыв действительно сочный!

Он никак не мог выбрать момент, чтобы сказать Конвею, что надо бы его командный пункт перевести куда-нибудь в другое место, потому что со стороны немцев какое-то подозрительное шевеление за этой стеной из сплетенных буков. И не орудийный грохот мешал ему сказать это, а опасение, что вдруг он ошибается

и никакой опасности в этом шевелении нет, и тогда он выставит себя в смешном виде в глазах этой язвы — Конвея.

Немцы ворвались неожиданно, стреляя беспрерывно из автоматов. Отсюда, из чердачного окна, было видно, как они окружают оружейную прислугу. Вулворт ринулся вниз и запоздало пожалел об этом, потому что сверху удобно было обстреливать немцев. Он командовал группой охраны, и его люди уже ввязались в бой. Да нет, все равно сверху стрелять уже нельзя было, дрались рукопашную, стрелять сподручно только очень хорошему стрелку типа снайпера. Конвей считал себя таковым, он остался наверху и методически слал пули, укрывшись за балкой, стоя на подпиравшей крышу. Но патроны кончились, и, отшвырнув бесполезную винтовку, он сбежал вниз. Только теперь по эмблемам на петлицах солдат — маленьким молниям — он увидел, что перед ним эсэсовцы.

Здесь, в Бастони, Конвей по необходимости вернулся к своей первоначальной военной специальности артиллериста. Но как разведчик, коим он стал впоследствии, он знал, каким скоплением чудовищ были эти части, известные под кличкой «войска СС». Знал по сведениям, стекавшимся в разведку, что эсэсовцы расстреливают пленных, что удушают в газовых камерах всех поголовно евреев, да и своих же немцев из числа политически нежелательных, что они уничтожают тысячи русских, украинцев, поляков, чехов как расово неполноценных. Знал все это, но как-то отвлеченно, умозрительно, и все это вызывало в нем не более чем удивление, что народ Луки Кранаха и Мемлинга, создавший «Фауста» и «Тангейзера», мог выделить из себя эту ораву истязателей, — да, знакомясь с этими сведениями, он испытывал удивление и, пожалуй, нечто вроде брезгливого негодования.

Но сейчас, увидев эсэсовцев перед собой, лицом к лицу, представив их победы над безоружными, их изымательства над беззащитными, Конвей почувствовал, как передернулось все его существо. Ведь именно эти ребята Зеппа Дитриха расстреляли на днях триста сорок американских пленных...

Эсэсовец уже навалился на него, высокий, плечистый, лицо гладкое, юношески красивое, неприятно оскаленные зубы. Конвей почувствовал, что ненависть заполняет его до краев. Он успел схватить ствол автома-

та, который немец наводил на него, и с силой отбил его вверх. Автомат выплюнул в потолок серию пуль и умолк. Не выпуская автомата, Конвей подпрыгнул и сразу резко опустился на корточки. От сотрясения с эсэсовца слетела каска с кокардой Totenkopf. Автомат оказался в руках у Конвея. Он замахнулся и прикладом хватил немца по голове. Тот рухнул. В этот момент Конвей почувствовал боль в спине. Он успел сообразить, что его пырнули сзади штыком или кинжалом. Он потерял сознание.

Впоследствии, уже лежа в госпитале в Бастони, Конвей узнал, что немцы овладели домом. Но это несколько не повлияло на положение города. Эсэсовцам Дитриха не удалось прорвать коридор, пробитый Паттоном.

Все это Конвею рассказал Вулворт. Сам Вулворт вышел из стычки без единой царапины. Он был как замороженный. Пули избегали его. Он досадовал. Он ничего не имел против того, чтобы его ранило. Не для того, чтобы улепетнуть с фронта, боже сохрани! Он и раненый, конечно, остался бы в строю. Но «Пурпурное сердце»! Он так жаждал получить этот орден! А его давали только за ранение. Даже за такое легкое, как у Конвея.

БАСТОНЬ-II

Совсем недалеко от Мааса, между Маршем и Рошфором, 2-я танковая дивизия СС, переданная из 6-й армии в 5-ю, и 47-я фольксгренадерская пехотная дивизия уперлись в 7-й американский корпус и не смогли пробиться дальше. Перешли к обороне. Это была вершина немецкого выступа в Арденнах, ее пик. А до Мааса (о этот недостижимый Маас!) рукой подать.

Для того чтобы возбудить угасающий наступательных дух, в дивизии были отправлены фотографии фельдмаршала Рундштедта с его собственноручной подписью для раздачи в виде боевых наград особо отличившимся солдатам. Одна из таких фотографий досталась танкисту Иоганну.

— Можешь не завидовать, — сказал Иоганн своему приятелю, безволосому Вилли, — хотел ее использовать, да уж очень она жесткая, только задницу оцарапал.

В этот день ударил сильный мороз с метелью,

обещанной теплой одежды из тыла в дивизию не прислали. Не подвезли ни нового стрелкового оружия вместо устаревших датских винтовок, которыми были частично вооружены фольксгренадеры. Разъяренный командир дивизии отправил в пропаганда-штабфель¹ язвительную бумагу:

«Никаких заявок на присылку нам изображений фельдмаршала Рундштедта дивизия не делала. Дивизия не думает, что такие награды могли побудить пехоту драться лучше. Войска можно заставить драться лучше только путем создания лучших боевых условий. По мнению командира дивизии, выбор этого типа награды неудачен».

Между тем километрах в тридцати восточнее Рошфора в направлении на Уффализ генерал Паттон начал вгрызаться в основание немецкого клина в Арденнах. На какое-то время Уффализ, унылое захолустье с отвратительными булыжными мостовыми, со старенькой задыхающейся лесопилкой на дне оврага и кособокими домишками, натканными вдоль льежского шоссе, вынырнул из мрака неизвестности и сосредоточил на себе напряженное внимание Версаля, Лондона и Вашингтона. Снежные метели, узкие обледенелые дороги в горах, над которыми к тому же низко стлался густой туман, конечно, затрудняли продвижение американцев.

Конвей, однако, находил еще одну причину этой медлительности.

— Вы понимаете, — говорил он в непривычном для себя возбуждении, — у наших генералов не хватает стратегического воображения.

Он говорил это Вулворту, который слушал его с почтительным одобрением.

Что касается Конвея, то, даже увлеченный, как сейчас, разговором, он не забывал представлять себя самого таким, каким его видит этот загрубелый юнец Вулворт. Нет сомнения: сильным, мудрым, всезнающим. Такого именно и играл в его присутствии Конвей почти бессознательно, в глубине души при этом полагая о себе, что он слабый, ленивый, эгоистичный человек. Но так ли это? По крайней мере, здесь, в Бастони, где он командовал батареей, он показал себя, особенно в контратаках за стенами города, где обстановка, как известно, не очень располагает к самоанализу, опытным и бесстрашным

¹ Отдел пропаганды.

командиром. На груди его сияло новенькое «Пурпурное сердце», полученное им за ранение, от которого он, в общем, уже оправился, хотя повязку со спины, по совету врача, еще не снимал.

— Операция на окружение напрашивается сама собой, — продолжал Конвей, — и мы будем величайшими дураками, если не захлопнем за немцами дверь на восток.

— Если бы вместо Айка командовал Паттон... — вставил Вулворт хриплым голосом.

Ему нравилось, что он охрип, он даже специально для этого неумеренно хлестал виски, от которого его уже поташнивало, но он считал, что хрипота дополняет тот образ старого забубенного фронтовика, который он на себя напускал.

Конвей безнадежно махнул рукой.

— Вы идеализируете наших генералов, мой мальчик. Лучший из них Омар Брэдли. Но и он глубоко невежествен, хотя был в молодости школьным учителем, или, может быть, именно поэтому. Что из того, что он не расстается с «Айвенго» как с неким патентом на интеллигентность. Если бы Брэдли читал Стендаля, он бы знал, что его излюбленный Вальтер Скотт был подхалим и блюдолиз. На банкете в Эдинбурге в честь Георга Четвертого он благоговейно похитил бокал, из которого пил король. А что касается Джорджа Паттона, то энергии его хватает на то, чтобы дать затрещину солдату или шокировать конгресс заявлением, что разница между нацистами и антинацистами в Германии примерно такая же, как между демократами и республиканцами в Соединенных Штатах. Но на большой полет оперативной мысли он не способен. Говорю вам, мой мальчик, ваш Паттон преувеличивает силу немцев, даже битых.

Вулворт вскочил и зашагал по комнате, громко стуча сапогами, грязными, как и полагается фронтовика, не вылезавшему из окопов, где под ногами солдат девственно белый снег мгновенно превращался в болотную слякоть.

— Слушайте, Конвей, у меня идея! — прохрипел он.

— С чего бы это? — насмешливо удивился Конвей.

— Нет, я серьезно. Давайте подадим докладную записку в Верховный штаб экспедиционных сил.

— О чем, мой мальчик?

— Об окружении немецких войск, прорвавшихся в Арденны. Проект: «Арденнские Канны...» Нет, я серь-

езно говорю. Конечно, с картами, со схемами, с подсчетом вооруженных сил... Нет, не смейтесь! Мы подадим прямо в штаб, нам не надо по команде. Да, прямо Беделу Смиту, мой дядя, полковник Вулворт, его правая рука...

Несколько возбужденный джином, Вулворт был необычайно красноречив. Он приводил десятки доводов. Один из них в конце концов подействовал на Конвея.

— Война — это цепь случайностей. Толчок, который вам кажется ничтожным, может изменить течение событий. Наполеон одержал бы победу при Ватерлоо, если бы маршал Груши не опоздал со своей армией. Если бы Жоффр не догадался в тысяча девятьсот четырнадцатом году использовать парижские такси для перевозки войск в битве на Марне, Франция была бы побеждена в самом начале войны. Если наш план окружения пройдет, это может быть концом войны.

Конвей задумался. Потом сказал нерешительно:

— Да и у меня есть рука в Верховном штабе. Я могу действовать через Монка Диксона...

Вулворт понял, что он победил. Он раскрыл свою полевую сумку и вынул оттуда небольшой футляр.

— Что это?

— Готовальня. Нам ведь придется чертить план операции и схемы боевых действий. А это масштабная линейка...

Не следует думать, что замысел такой естественный и такой соблазнительный, окружить немецкий клин, вдававшийся в расположение союзных войск, родился только у одного юного офицера. Он приходил в голову разным людям в американских войсках, правда мельчая по мере того, как подымался вверх по иерархической лестнице. Но все-таки и на самом верху он тревожил воображение одного из самых способных, но ныне обессиленных генералов — Омара Брэдли.

Он видел смысл наступления 3-й армии генерала Паттона не только в том, чтобы прорвать осаду Бастони — это частная задача, и она может быть решена попутно. Главное же движение армии должно быть направлено с юга в основание немецкого выступа. Но при этом обязательно сопряжено с одновременным движением туда же с севера, где стояли бездействуя 2-я английская и 1-я канадская армии, а также 1-я и 9-я американские армии, на днях — увы! — отнятые у генерала Брэдли и переподчиненные фельдмаршалу Монтгомери.

Охваченный этой мыслью, которая приобрела силу

одержимости, Брэдли позвонил из люксембургского отеля в Версаль Эйзенхауэру. Того не оказалось на месте. Взволнованный до крайности, Брэдли потребовал к телефону начальника штаба Смита.

Генерал-лейтенант Уолтер Бедел Смит, как всегда спокойный и корректный, взял трубку. Он вздрогнул, услышав яростный голос Брэдли:

— Какого черта, Бедел, вы не можете заставить Монти начать наступление на север? Противник скоро начнет откатываться назад, если не сегодня ночью, то наверняка завтра!

Генерал Смит вздохнул. Ох эти полевые генералы! Сколько бы глупостей они натворили, если бы не благоразумие и зоркость Верховного штаба! Особенно эта парочка — Брэдли и Паттон, пылкие как лейтенанты, только что выпорхнувшие из Вест-Пойнта. Такая близорукость! Стоять в непосредственной — грудь в грудь — близости к немцам и недоучитывать их силы!

Стараясь говорить как можно спокойнее, генерал Смит медленно, членораздельно, как школьнику, втолковывал Брэдли:

— О, нет, Брэд, вы ошибаетесь. Немцы через двое суток форсируют Маас. Они...

Тут Брэдли не выдержал. Он рывкнул в трубку:

— Катитесь вы к такой-то матери!..

И швырнул трубку на стол с такой силой, что она треснула. Конечно, связист немедленно заменил ее новой.

В ту же ночь, вопреки унылому прогнозу генерала Бедела Смита, немцы начали отступление с вершины своего выступа. Уж они-то не хуже старого опытного генерала Брэдли и юного сосунка-офицера Вулворта понимали, что им грозит окружение. Правда, они рассчитывали на нерасторопность фельдмаршала Монтгомери. И здесь не прогадали. Только 3 января, то есть через неделю, фельдмаршал раскачался двинуть с севера на Уффализ в основание немецкого клина 1-ю армию, эту рабочую лошадь американского войска, в прошлом году возглавившую вторжение в Нормандию. Командовал ею по-прежнему генерал Кортни Ходжес, однокурсник Паттона по Вест-Пойнту, но в отличие от него хладнокровный, уравновешенный и словно распространявший на всю 1-ю армию свой спокойный, методический нрав. К 1-й армии Монтгомери придал одну английскую бригаду, что, конечно, по сравнению с десятью

дивизиями Ходжеса носило чисто символический характер.

Это породило недовольство, и не только в рядах американских войск, оно перелилось за океан и вызвало бурю негодования в американских газетах, что, в свою очередь, явилось причиной запроса в английском парламенте и вынудило министра обороны Уинстона Черчилля выступить с парламентской трибуны и заявить о решающей роли американских войск.

Что касается Эйзенхауэра, то он заявил корреспондентам с иронически-скучающей миной:

— По правде говоря, меня нисколько не пугало арденнское наступление Рундштедта до тех пор, пока я не прочел о нем в нью-йоркских газетах возбужденные статьи некоторых журналистов с пылким воображением.

Эта изящная острота имела успех, ее, смеясь, повторяли в кругах конгресса, пока не узнали об американских потерях в Арденнах: 59 тысяч человек, из них 6700 убитых...

И только один человек не то чтобы одобрял действия фельдмаршала Монтгомери, но, во всяком случае, отозвался о них сочувственно — рядовой Майкл Коллинз:

— Я понимаю старика Монти, у него сердце обливается кровью при виде каждого убитого английского солдата.

Вулворт посмотрел на Майкла с негодованием:

— Да вы знаете, что на каждого убитого английского солдата приходится от тридцати до сорока убитых американцев!

— Знаю.

Майкл подошел к столу и налил себе кофе. Он чувствовал себя у Конвея как дома.

— Знаю, — повторил он, — и нахожу это вполне естественным, если только можно вообще считать убийство естественным. Ведь нас, американцев, в несколько раз больше.

Конвей с улыбкой наблюдал их перепалку.

Вулворт задышался от возмущения:

— Но ведь англичане тут, в Европе, у себя дома. Их жены и дети, их семейные очаги тут же у них за спиной. А мы приперли бог знает откуда, из-за океана, чтобы защищать их закопченные каминные и подстриженные газоны вокруг двухэтажных домиков. Я уважаю русских за то, что они защищают сами себя. А мы умираем за

чужую землю, за чужую жизнь, за чужую свободу! И они, англичане, хладнокровно смотрят на это, скрестив руки на груди, во главе с этим хитрым стариком в клоунском берете и с маршальским жезлом в руке, который ему подарили не знаю уж за какие заслуги, только не за военные.

Конвей захлопал в ладоши.

— Bravo, мой мальчик! Я аплодирую энергии ваших выражений. Это почти талантливо. Джин идет вам явно на пользу. Но справедливости ради и потому, что этот святой Майкл не даст мне соврать, скажу, что вы не совсем правы в отношении Монтгомери. Он все-таки опытный полководец, и, в конце концов, там, в Африке, это именно он вставил перо в задницу этому прославленному лису пустыни фельдмаршалу Роммелю.

Но Вулворт не успокоился. Он с ненавистью смотрел на Майкла, безмятежно прихлебывающего кофе. Вулворт с наслаждением поставил бы его по стойке «смирно» и погонял бы по всем правилам казарменной муштры. «Как вы разговариваете с офицером! Налево, кругом, марш! Доложите вашему отделенному командиру, что я приказал арестовать вас на трое суток». Но он стеснялся Конвея и ограничился тем, что глотнул джина и прохрипел сквозь зубы:

— Коллинз, я не вижу в вас ни капли патриотизма.

— Вулворт, — сказал Майкл, с грустью вглядываясь в него, — я пошел на войну добровольцем. Я хотел бороться с фашистским насилием. И я считаю, что я это делал, когда убивал немцев. Однажды я столкнулся с ними лицом к лицу, и я увидел, что они такие же люди, как мы. И я, еще не зная этого, убил лучшего из них. После этого я понял, что против насилия надо бороться не насилием, а убеждением. Надо открыть этим ослепленным людям глаза.

— Так... — сказал Вулворт.

Лицо его приняло жесткое, решительное выражение. Он обратился к Конвею:

— Я еду в Верховный штаб и отвезу наш проект.

Он похлопал по объемистой полевой сумке, свисавшей с плеча.

— Как вы едете?

— Полковник Вулворт прислал за мной «джип».

— Будьте осторожны, мой мальчик. По дорогам бродят диверсанты. И они, в отличие от нашего друга, действуют не убеждениями, а автоматами.

Он обвел смеющимся взглядом Майкла и Вулворта. Майкл ответил ему улыбкой. Вулворт сохранял на лице упрямое выражение.

— На дорогу? — спросил Конвей, кивнув в сторону стола.

Вулворт молча подошел к столу, налил виски и, не разбавив, залпом выпил. Потом крепко пожал руку Конвею и, не попрощавшись с Майклом, вышел.

У штаба коменданта города его уже ждал «джип».

Шофер дремал за баранкой. Рядом на сиденье лежал автомат Вулворта. Он снял его и сел, положив автомат на колени. Вдруг вскочил, точно вспомнив что-то или придя к окончательному решению, бросил шоферу: «Я сейчас», — и вошел в комендатуру.

Здесь, даже не присев, а стоя, склонившись над столом, он написал рапорт о непатриотичном поведении солдата 1-го разряда 101-й дивизии Майкла Коллинза, запечатал в конверт и, надписав: «Генералу Маколиффу», отдал дежурному.

После чего сел в «джип», прямой, как штык, с раскрасневшимися щеками, и все с тем же выражением жесткой решительности на юношеском лице покатиł по коридору, пробитому в Бастонь 3-й армией.

Уже вечерело, когда Майкл вышел от Конвея. Он направился в казарму 101-й дивизии. Он мог бы еще задержаться у Конвея: увольнительная записка была выписана до десяти часов вечера. Сержант Нортон, взводный командир Майкла, питал к нему слабость и делал ему всякие поблажки. Но Майкл не хотел плутать в темных покореженных улицах Бастони и ушел от Конвея еще засветло.

Собственно, это были зимние сумерки, час, который всегда (о незапамятное мирное время!) наполнял Майкла томной и сладкой нежностью. Люди сновали по улицам с особой настороженной суетливостью, ведь каждую минуту мог начаться обстрел города. Но Майклу казалось невозможным, чтобы этот томительно-сладкий час был прерван убийствами. В эту минуту он увидел Мари. Он сразу узнал ее, хотя ничего общего в ней не было с замарашкой, какой она была тогда, в первый раз. Сейчас на ней был клетчатый короткий плащ, широкая, тоже короткая юбка, берет, сапожки со шпорами, почти элегантно. И не совсем обыкновенно — особенно шпоры.

Да еще хлыст в руке; собственно, кисть руки была свободна, хлыст висел на петле на запястье. В Бастони, конской столице, никто не считал такой наряд эксцентричным.

Майкл обрадовался. Он так обрадовался, что даже удивился себе: с чего это я так?

Он готов был поклясться, что и она обрадовалась. Она порозовела. Или в этот час все было розово кругом, снежные сугробы, которых никто не убирал, стены домов с щербинками от осколков, небо, — впрочем, все больше смуглевшее и окрашенное на одном из склонов заревом далеких пожаров.

Они не успели ничего сказать друг другу. Начался обстрел. Немцы вывесили над городом осветительные ракеты, их называли в армии «люстры». Они действительно были не только ослепительно светлы, но и нарядно роскошны, как те люстры, что висят в дворцовых и театральных залах. Посветив несколько минут, они гасли — зажигались новые.

Снаряды рвались неподалеку. И всё приближались. По-видимому, немцы стреляли с высоты «Рыжий вепрь», которой они в конце концов овладели. Майклу показалось, что он и Мари попали в «вилку»: первый снаряд был с перелетом, второй с недолетом, третий будет по ним. Конечно, не только по ним, а по тому дому, возле которого они стояли. Вероятно, наводчик принял его за административное здание, хотя это просто школа. Майкл схватил Мари за руку, чтобы оттащить ее. Она вырвалась и крикнула: «Вы с ума сошли!» — когда снаряд бухнул рядом с ними. Майкл все-таки успел швырнуть ее на землю и сам упал.

Она осталась недвижима. Он испугался.

— Ранена?

Он поднял ее на руки. Она обвила руками его шею. Он отнес ее под арку ближайшего дома. Там осторожно положил ее на деревянную приступочку. Она не отпустила его шею. Он сказал:

— Чудачка, у тебя все в порядке.

Она разжала руки медленно, словно нехотя, как будто руки были какими-то отдельными от нее существами и, опускаясь, неспешно скользили по шее, по плечам Майкла. Глаза ее были закрыты, и в то же время можно было разобрать сквозь грязь, хлынувшую из-под осколков снаряда и запятнавшую ее лицо, что она чуть-чуть, кончиками губ, улыбается, нежно и доверчиво.

Наконец она открыла глаза, и тут они оба смутились и отвернулись. Она сгребла горсть снега и принялась оттирать грязь с лица.

Однако здесь нельзя было оставаться. В убежище?

Майкл не доверял этим хрупким подвалам, где могло пришибить балкой или завалить рухнувшими стенами.

Он взял ее за руку.

— Побежали!

— Куда?

Он повлек ее на север. В этой части города находились амбары с горючим. Немцы их не обстреливали. Они надеялись захватить их. Несмотря на то что блокада Бастони была в одном месте пробита, немцы не отходили от города. Они не только обстреливали, но и время от времени атаковали его, обычно одновременно с востока и с запада. Они стремились захватить его во что бы то ни стало. Таков был безоговорочный приказ Гитлера.

Только что фюрер принял в своем кабинете генерала Рейнгарда Гелена, начальника разведки ОКХ¹. Генерал надеялся открыть глаза Гитлеру. В руках у него поразительные сведения. Он рассчитывал, что они подействуют отрезвляюще на фюрера. Дело шло о жизни или смерти фашистской Германии. Он допускал, что первой реакцией Гитлера будет приступ гнева. Генерал готовился встретить его грудью. В дальнейшем — он считал — он убедит фюрера.

Гелен сообщил, что, по данным вверенного ему управления, русские собираются наступать на фронте от Балтики до Балкан. Одобренный молчанием Гитлера, он привел цифры предстоящего русского наступления 225 дивизий и 22 бронетанковых корпусов. Соотношение русской пехоты к немецкой 11 к 1, бронетанковых войск — 7 к 1, артиллерии и авиации — 20 к 1.

Вот тут Гитлер прервал свое молчание. Он сказал голосом, не предвещавшим ничего хорошего:

— Какой сопляк подготовил эти вздорные цифры? Кто бы он ни был, его надо отправить в сумасшедший дом!

Гелену в сумасшедший дом не хотелось, и он забормотал, что и у немецкой разведки, конечно, могут быть свои просчеты, которые не ускользают от проница-

¹ ОКХ — главное командование сухопутных войск.

тельного взора фюрера. А в то же время в памяти присмиревшего генерала лукаво и уж совсем непрошено шмыгнуло воспоминание об одном замечании фюрера, оброненном им накануне войны: «Из всех людей на свете я боюсь только двух: Сталина и Черчилля». Но, конечно, Гелен тут же затушил, затоптал, замуровал это нахальное воспоминание и, по-солдатски вытягиваясь и щелкая каблуками, поспешил ретироваться из кабинета прежде, чем фюрер вспомнит о своем обещании насчет сумасшедшего дома.

Генерал Гелен не знал истинной причины дурного настроения Гитлера. Незадолго до его посещения генерал-полковник Альфред Йодль, правая рука Гитлера, его опора в ставке, безропотный исполнитель его стратегии, сказал, уставившись в пол:

— Мой фюрер, мы должны смотреть правде в глаза. Мы не можем прорваться к Маасу.

Да, Гитлер знал это. Йодль придержал это сообщение, не желая быть дурным вестником. Действительно, почему именно он должен попасть под гневную руку фюрера, а не генерал Мантейфель со своей 5-й армией, которая обессилела за несколько километров от Мааса, и не оберстгруппенфюрер Дитрих со своей 6-й армией СС, которая безнадежно застряла где-то у Мальмеди и Сен-Вита? Да, почему не они, быть может, истинные виновники неуспеха, а он, Йодль, штабной отшельник, рыцарь чернил и двухкилометровых карт? Почему из него делают мальчика для битья?

Битья на этот раз не было. Но на ком-нибудь Гитлер должен был сорвать свой бессильный гнев. Взгляд его упал на овчарку. Блонди дремала, положив большую голову на лапы. Гитлер пнул ее ногой в бок. Собака поднялась и зарычала, шерсть на ее загривке вздыбилась. Гитлер попятился за огромный наполеоновский стол.

— Йодль! Мы нанесем союзникам удар в другом месте. Там, где они ожидают его меньше всего: в Эльзасе.

— Счастливая мысль, мой фюрер, — пробормотал Йодль.

— Да, — повторил Гитлер увлеченно, — мы перенесем удар с Арденн на Эльзас и верхний Рейн. А потом вернемся и форсируем Маас. Но для этого мне нужна Бастонь. Вы слышите, Йодль? Когда мы возьмем Бастонь, мы двинемся на север и увлечем за собой в на-

ступление увязшую Шестую армию СС. Передайте мой приказ Мантейфелю: овладеть Бастонью во что бы то ни стало!

Йодль молча склонил голову.

— Разработайте эльзасскую операцию, Йодль. Учтите: наша цель — уничтожение вражеских сил. Вопрос о захвате территории сейчас не стоит. Повторяю: цель — уничтожить живую силу противника. Ударом на Бастонь мы сковываем армию Паттона, а Седьмую американскую армию в Северном Эльзасе мы уничтожаем.

Йодль делал заметки в своем блокноте.

Этот новый план через некоторое время был объявлен на широком совещании в ставке. Присутствовали фельдмаршалы Рундштедт, Модель, а также командиры дивизий, корпусов и начальники их штабов. К тому времени Йодль подготовил карты и объяснительные записки. План был выслушан в молчании. Гитлер ждал возражений. Их не было. Это безмолвие не понравилось фюреру, даже испугало его. Чтобы спровоцировать возражения, он заявил, что Мааса не удалось достигнуть из-за плохих дорог, нехватки горючего и отсутствия переправ. Он подумал и прибавил уже раздраженно:

— А также из-за того, что наши войска тащили на себе слишком много трофейного барахла!

Возражений опять не последовало. В таком же единодушном молчании было принято предложение фельдмаршала Моделя: разъяснить войскам через пропаганда-штаффель, что отступление в Арденнах временное и что оно вызвано стратегическими соображениями.

Оставшись наедине с оберстгруппенфюрером Дитрихом, Гитлер сказал ему:

— Зепп, тебя следовало бы разжаловать.

Дитрих склонил голову, насколько ему позволяла короткая шея, и сказал:

— Мой фюрер, я готов пойти в войска простым эсэсманом и служить вам, как служил до сих пор.

Гитлер улыбнулся:

— Ну, ну, Зепп, до этого не дошло. Ты временно передашь Мантейфелю две твои танковые дивизии. Они ему нужны для взятия этой дерьмовой Бастони и удара на Эльзас. В Эльзасе нас поддержит немецкое население.

Оберстгруппенфюрер вспомнил про немцев из Мальмеди с их прискорбным отсутствием немецкого духа, но промолчал. Гитлер любил разговаривать с Дитрихом:

никаких возражений. В последнее время фюрер чувствовал их даже в Моделе, хотя тот молчал, соглашался, но протест проступал сквозь поры.

Только расставшись с Мари, Майкл почувствовал, что ему совершенно необходимо встретиться с ней, и притом как можно скорее. Ночью он вдруг проснулся от нестерпимого желания увидеть ее. Удивительнее всего для него самого было то, что он почувствовал, что она ему дорога. И все в ней ему дорого, все видимое, что можно взять в руки и прижать к себе или просто увидеть, например ее маленькие руки с обломанными ногтями, и смелый взгляд серых глаз, и женственный изгиб спины. Но также и то, что только чувствовалось в ней, — милосердие, живость ума, отвага и что-то еще, что он не мог определить, но ощущал как близкое себе. Он сказал себе: «Декарт сказал: «Уточняйте понятие, и вы избавите мир от заблуждений». Следуя этой аксиоме, я должен признать, что я влюблен».

А Мари? Тут все было несколько сложнее. Она хотела влюбить в себя Майкла. Пусть потеряет голову, пусть ходит за ней своей нескладной походкой как тень, пусть не сводит с нее глаз, застекленных очками, пусть тянет к ней свои длинные руки. А когда он окончательно влюбится и скажет ей об этом, она с независимым видом ответит ему, что он совсем ей не нравится. Это был эффектный план, но, к сожалению, он рухнул, когда Мари обнаружила, что и руки Майкла, и глаза его, и нескладная походка, и все в нем ей бесконечно дорого.

Как все в этом городе, стиснутом отовсюду войсками противника, любовь их развивалась быстро. Уже на седьмой день они поссорились. Разговор шел о будущем. Конечно, они оба уедут в Штаты. Любовь их была так сильна, что они не представляли себе, что кто-нибудь из них может быть убит.

— Джильду мы возьмем с собой.

Он улыбнулся ее наивности. Но даже и в ее наивности он находил прелесть.

— Мы полетим, — возразил он мягко, — а для лошадей в самолете нет места.

Мари не соглашалась:

— Но почему же? Джильда небольшая.

— Да, но неизвестно, как она поведет себя в самолете. Вдруг начнет брыкаться. Это опасно.

— О, она смиренная, и я все время буду с ней.

Он говорил со снисходительностью взрослого, обращающегося к ребенку.

— Нет, дорогая, к сожалению, Джильду не пустят в самолет.

Она задумалась. Она искала выход.

— Майкл! Мы поедем пароходом!

— Но, милая, Джильду и на пароход не возьмут.

Она сразу нашла новый выход:

— Тогда мы останемся в Люксембурге.

Он помрачнел:

— Я вижу, ты любишь Джильду больше, чем меня.

Она вспыхнула, освободилась от его объятий, вскочила.

— Я поняла тебя, Майкл! Ты хочешь, чтобы я лежала на пороге твоего дома в Штатах как половик и ты бы вытирал об меня ноги!

Она ушла. Он не пошел за ней. Он смотрел на ее удаляющуюся спину и с горечью и удивлением. Впервые он обнаружил в этом нежном создании строптивость. И повелительность. И все равно любил ее.

ДЛЯ ПРИМЕРА

Назавтра Майкл не пришел к Мари. Ей было немножко жалко его, она так резко разговаривала с ним накануне. Но она не хотела поддаваться расслабляющему чувству жалости, она считала себя правой. Майкл не пришел и на следующий день. Она по-прежнему приписывала это их ссоре. Из самолюбия (оборотная сторона любви!) она не хотела делать первый шаг к примирению. Но когда и на третий день его не было, Мари забеспокоилась. «Его могли ранить...» О худшем она не смела думать. Она бродила по городу, не зная, как отыскать его. Она не знала номера его части, ни даже рода его оружия. Она набрела на длинный дощатый барак — солдатский клуб Красного Креста. У входа рядом с плакатом «Сегодня «Красотка из Клондайка» с участием Бетти Грейбл», сидя на табуретке, дремал часовой, поставив карабин между ног. Мари показалось, что у него доброе лицо. Поначалу он никак не мог взять в толк, что ей нужно, — она говорила на таком странном языке. Но имя, которое она то и дело повторяла, — Майкл Коллинз — наконец вразумило его.

— Так это, пожалуй, тот парень, о котором оглашено в приказе по гарнизону. Так он арестован. А черт его знает за какие проделки! Его судить будут... Ну, не горюй! Может, утешимся с тобой, а?

Процесс был назначен на полдень. Ровно в двенадцать часов дня немцы начинали обедать, и не было силы, которая могла бы оторвать их от овсяной похлебки, приправленной маргарином, и толстого ломтя хлеба, обильно смазанного эрзац-маслом, плюс порция желтоватого шнапса, полученного путем электролитического перегона из сосновых чурбаков.

Для суда был отведен самый большой зал в городе. В одном конце возвели помост для судей, сторон и обвиняемого, здесь установили микрофон. Другой конец зала отгородили канатом для солдатни. Несколько скамей было поставлено для офицеров.

В ставке дали санкцию на публичный процесс, это сочли полезным для поддержания воинского духа в освобожденном городе. Из Верховного штаба прибыли на автомобиле «линкольн-континенталь» назначенный главным судьей полковник Вулворт из отдела личного состава и административных вопросов и прокурор, молодой военный юрист капитан Ричард Браун. Прибыла также в качестве секретаря суда лучшая стенографистка штаба — старший сержант Нелли Кельвин. Труднее было найти защитника для обвиняемого в таком тяжком преступлении: отказ сражаться в боевой обстановке и распространение антипатриотических взглядов. Подсудимый считался обреченным, и никому из юристов не хотелось компрометировать себя защитой явно безнадежного дела. Однако законное судопроизводство даже в военно-полевом суде предусматривало участие в состязательном процессе двух сторон. Затруднение неожиданно устранилось, когда первый лейтенант Томас Конвей вызвался выступить в качестве защитника.

Главный судья полковник Вулворт занял свое место за столом на помосте. Он снял пилотку и подшлемник и разгладил седоватые волосы, аккуратно расчесанные на прямой пробор. Он никогда не носил фуражку, а только пилотку (зимой прибавлял к ней подшлемник) для придания себе молодежавого вида. Он так и выглядел — благообразным молодежавым офицером, довольно бравым

на вид. Конвей отлично знал его и считал, что это еще не самая плохая фигура в качестве главного судьи.

— Что вам сказать о полковнике Вулворте? — говорил Конвей накануне своему подзащитному. — Великий Кулинар, состряпавший это блюдо, положил в него всего понемножку, но поспешил на соль и переложил сахара. Получилось варево, вполне приличное на вид, но совершенно безвкусное. Преснятина!

Два других судьи были молодые военные юристы, обрадованные тем, что наконец им нашлась работа по специальности. Один служил в химических войсках и ставил (очень редко!) дымовые завесы, другой работал карикатуристом во фронтовой газете «Stars and Stripes»¹. Появление на помосте секретаря суда старшего сержанта Нелли Кельвин вызвало оживление в публике, поскольку китель с трудом сходился на ее пышной фигуре. Полковник Вулворт возгласил:

— Обвиняемый Коллинз, вы признаете себя виновным?

Майкл встал. Он был без пояса. Отсутствие этой, казалось бы, ничтожной подробности военного костюма сразу придало ему какой-то опущенный, не воинский и подозрительный вид.

Он ответил:

— Нет, не признаю.

— Значит, вы отрицаете предъявленные вам обвинения?

— Нет, не отрицаю.

Полковник Вулворт в некотором недоумении потер свои угловатые ладони.

— Вы противоречите сами себе.

— Нисколько. Я признаю самый факт существования обвинения. Но я отрицаю факт существования вины.

Полковник нахмурился. Его предупредили, что обвиняемый — трудный субъект, из той новой американской молодежи, которая склонна к умничанью и обсмеивает все на свете. На всякий случай он сказал строго:

— Обвиняемый, старайтесь взвешивать свои слова. С каких пор у вас это началось?

— Простите, сэр, что именно?

— Ну, вот эти преступные антивоенные взгляды?

— С тех пор как я убил ангела.

¹ «Звезды и полосы» (англ.).

Наступило молчание. Только в дальнем углу зала из публики донесся восхищенный возглас:

— Во дает!

Судья поспешно сказал:

— Садитесь, обвиняемый.

Он вспомнил, что по этому делу назначена врачебная экспертиза для обследования степени вменяемости подсудимого. Он вызвал экспертов. Вошли два военных врача. Один из них доложил:

— В результате обследования психического статуса подсудимого экспертиза пришла к единодушному заключению, что подсудимый совершенно вменяем.

Поднялся Конвей.

— Ваша честь, я заявляю отвод данной медицинской экспертизе как неквалифицированной; один из экспертов — хирург, другой — врач по венерическим болезням. Я прошу суд назначить авторитетную экспертизу, для чего необходимо пригласить специалистов, то есть психиатров и невропатологов.

Прокурор Браун поднял руку.

— Я протестую! Уж не предполагает ли представитель защиты, что мы будем выписывать специалистов из-за океана?

— Придется, если мы не найдем их здесь, — сказал Конвей серьезно. — Ведь не забудьте, что здесь решается вопрос о жизни и смерти моего подзащитного.

Полковник, пошептавшись с двумя другими судьями, объявил:

— Протест прокурора принят. Подсудимый признан вменяемым и, следовательно, полностью отвечающим за свои поступки.

И он добавил:

— Введите свидетеля.

Перед судом предстал молодой Вулворт.

«Конечно, — писал впоследствии Конвей на страницах парижского издания «Геральд трибюн», где он уже по окончании войны рассказал обо всем этом странном и жутком процессе в наделавшей шуму статье «Бедный заблудший ангел», — конечно, я мог потребовать отвода главного судьи полковника Вулворта, поскольку он и свидетель лейтенант Вулворт находились в родственных отношениях, но я понимал, что мой протест будет отклонен, и предпочел оставить это обстоятельство в запасе как повод для обжалования приговора в высшей инстанции. Я не учел только одного: молниеносной быстроты,

с какой приводятся в исполнение приговоры военно-полевого суда».

Что касается Майкла, то на лице его при виде этого свидетеля изобразилось огорчение — не за себя, конечно. За него, за лейтенанта Вулворта. К чести главного судьи надо сказать, что на время допроса его племянника он передал председательствование одному из рядом сидящих судей, карикатуристу из газеты «Stars and Stripes», а сам несколько отсел от стола и, благожелательно наклонив голову, наблюдал течение процесса.

Майор-карикатурист, присосанившись, спросил лейтенанта Вулворта:

— Свидетель, вам приходилось встречаться с подсудимым Коллинзом?

— Да, сэр.

Лейтенант отвечал четко, уверенно, нисколько не колеблясь, и весь вид его, гордо поднятая голова, смелый открытый взгляд, который он упирал в судей, в прокурора, даже в Конвея, во всех, только почему-то не в подсудимого рядового Коллинза, — все это сливалось в образ настоящего воина, честяги, на таких, черт побери, держится армия! — не то что этот унылый очкарик, этот долговязый интеллектуал, который сидит между двух конвоиров со спокойным, даже скучающим видом, словно он в парикмахерской дожидается очереди побриться.

Карикатурист продолжал, купаясь в юридическом блаженстве:

— Вам приходилось, свидетель, слышать антипатриотические речи подсудимого?

— К сожалению, сэр.

— Не можете ли вы припомнить, что он говорил, кроме того, что вы приводите в своем заявлении, поданном по начальству?

Полковник Вулворт досадливо хрустнул пальцами. Ах, карикатурист, карикатурист, что же ты наделал! Ты же выдал молодого Вулворта, ты публично расколол доносчика! Даже там, за канатом, пошел гул: так вот кто наклепал на парня... вот этот офицерик... информатор, сука!..

Лейтенант как будто не придавал этому значения. Но что-то в нем определенно слиняло. По-прежнему гордый задир головы, но это уже только оболочка, внутри все смято и подленько дрожит. Он не ожидал этого удара в спину, да к тому же еще от своих. Он пробормотал:

— Не припомню... Это было давно...

Сзади, из-за каната, из солдатской массы:

— А ты помочись себе в карман, может, припомнишь.

Главный судья быстро вмешался, отпустил свидетеля и дал слово прокурору.

Речь представителя обвинения была краткой. Он квалифицировал действия обвиняемого, во-первых, как дезертирство с поля боя и, во-вторых, как государственную измену. Эта преступная деятельность, подчеркнул прокурор, тем более возмутительна, что она протекала в условиях героической обороны города армией и населением от осаждающих их гуннов.

Речь прокурора текла гладко, она к тому же была нисколько не кровожадной. Он даже выразил некоторое сожаление по поводу заблуждений подсудимого, к несчастью принявших такую острую форму, которая исключает всякую возможность снисхождения... Да, речь капитана Брауна текла на редкость плавно, почти певуче. Один раз только он запнулся, когда распространялся насчет воинской присяги. Он заколебался между двумя ее определениями — *military oath* и *war vow* — и на секунду затих, мысленно оценивая вескость каждого из них. В это мгновенье затишья из солдатской массы раздался зычный голос сержанта Нортон:

— Чего заткнулся? Толкай дальше, лошадиная задница!

Главный судья тут же призвал публику к порядку, пригрозил, что в случае повторения недостойного шума очистит зал от буйных элементов, а в крайнем случае вообще удалит всю публику, и отрядил к канату патруль военной полиции. Четыре Эм-Пи, все негры, стояли у каната, грозно поблескивая белками глаз из-под низко надвинутых касок.

Прокурор продолжал речь. Но уже в ней не было прежнего блеска. После приведенного выше поощрительного выкрика из публики представитель обвинения как-то сник и заключительную часть своей речи промямлил без всякого энтузиазма, в том числе требование о вынесении подсудимому смертного приговора. Часть публики все же услышала это требование и подняла шум, унять который патруль военной полиции был не в силах, тем более что эти четыре Эм-Пи сами стучали о пол прикладами карабинов и кричали вместе со всеми:

— Позор!..

*Речь представителя защиты первого лейтенанта
Томаса А. Конвея, М. А.¹*

(Стенографическая запись)

«К о н в е й. Ваша честь! Господа судьи! Я пересмотрел все наши кодексы и уложения, а также специальные решения, и нигде я не нашел закона или хотя бы судебного прецедента, разрешающего подвергать судебному преследованию ангела.

П р о к у р о р к а п и т а н Б р а у н. Ваша честь, я протестую!

Г л а в н ы й с у д ь я п о л к о в н и к В у л в о р т. Протест принят. Представитель защиты, потрудитесь в дальнейшем обходиться в судебном разбирательстве без обращения к потусторонним силам.

К о н в е й. Я не могу согласиться с протестом уважаемого представителя обвинения по той простой причине, что он меня неправильно понял. Этот вопрос чисто терминологический. Никакого обращения к мистике в моих словах, как и в моих помыслах, нет. Я вовсе не хотел сказать, что мой подзащитный является пришельцем из небесных сфер. Если в этом есть хоть тень сомнения, защита не возражает против образования специальной экспертизы для обследования анатомического строения тела моего подзащитного, чтобы убедиться, что ни малейшего признака ангельских крыльев на нем нет и, наоборот, есть все, что полагается иметь земному стандартному мужчине.

Шум в публике, смех. Возглас: «Пусть покажет!»

Г л а в н ы й с у д ь я. Прошу немедленно прекратить шум! Первый лейтенант Конвей, продолжайте!

К о н в е й. Благодарю вас, ваша честь. Таким образом, употребленный мной термин «ангел» надо понимать в переносном смысле, в поэтическом, философском и, главным образом, психологическом. Под термином «ангел» я разумею то светлое, то возвышенное, то подлинно человеческое, что живет в душе каждого человека. Разве когда вы подаете милостыню бедняку, в вас не просыпается ангел? Вся вина моего подзащитного в том, что в нем ангел никогда не засыпал. Никакая война не спо-

¹ М. А. (Master of Arts) — магистр искусств (англ.).

собствует смягчению нравов. Наоборот, сражающийся мир сейчас до того озверел, что не только люди, но, как мы видим, даже и ангелы стали убивать друг друга...

П р о к у р о р. Протестую! Ваша честь, уж не думает ли достопочтенный представитель защиты, а вместе с ним его подзащитный, что это «светлое, возвышенное, подлинно человеческое» живет также и в душе палачей Майданека и Освенцима, в душе изверга Гитлера и его подручных?

З а щ и т н и к. Нет, я этого не думаю и смею утверждать, что мой подзащитный тоже этого не думает.

П р о к у р о р. Для окончательного разрешения сомнений ходатайствую о том, чтобы суд задал этот вопрос подсудимому Майклу Коллинзу.

Судьи совещаются.

Г л а в н ы й с у д ь я. Суд постановил удовлетворить ходатайство обвинения. Подсудимый Коллинз, вы слышали вопрос обвинения? Вы можете ответить на него?

П о д с у д и м ы й. Да, сэр. Я противник насилия. Но я не задумываясь разрядил бы винтовку в любого человека, который на моих глазах производил бы насилие над беззащитным человеком!

Шум в публике. Голос оттуда: «Парень, бери винтовку и жарь на фронт! Покажи этим ублюдкам, на что ты способен!»

Г л а в н ы й с у д ь я. Старшина, угомоните крикунов.

Военная полиция удаляет из зала нескольких человек.

Г л а в н ы й с у д ь я. Капитан Браун, вас удовлетворяет ответ подсудимого?

П р о к у р о р. Не вполне, ваша честь. В нем есть что-то ускользающее от прямого ответа на прямой вопрос. Разрешите поставить вопрос иначе.

Г л а в н ы й с у д ь я. Разрешаю.

П р о к у р о р. Считает ли подсудимый, а также глубокоуважаемый представитель защиты, что то, что он обозначил термином «ангел», то есть, очевидно, божественное начало, другими словами, некое нравственное чувство, есть и в профессиональном убийце?

П о д с у д и м ы й М а й к л К о л л и н з. Безусловно, есть. Только оно затоптано уродливой жизнью. Но оно есть в нем в дремлющем состоянии. Задача заключается в том, чтобы пробудить его. Я и старался сделать это, ибо мы граждане свободной страны и мы вольны

высказывать свои взгляды, как бы они ни разнились от взглядов джентльменов за судейским столом.

Шум в публике. Выкрики: «Правильно, парень!.. Выплюнь кляп изо рта им в морду!.. Скажи им всю правду, как она есть!.. Да здравствует ангел!..»

Главный судья. Объявляю перерыв на тридцать минут».

В перерыве прокурор подошел к Конвею.

— Слушайте, Том, — сказал он, — я думаю, что в конце концов он действительно психопат.

— Откажитесь от обвинения, Дик. Скажите, что вы не можете обвинять ненормального. И дело с концом. Это лучший выход из положения.

— Вы понимаете, что я не могу этого сделать, потому что есть официальная медицинская экспертиза.

— Неквалифицированная!

— Неважно. Суд не пойдет на создание новой экспертизы. Единственно, что может спасти этого чудака, это признание своей вины. Он пойдет на это?

— Боюсь, что нет.

— Ну, значит, он действительно псих.

Конвей вздохнул и сказал:

— Да, так называется мера его честности...

Капитан Браун пристально посмотрел на Конвея:

— Том, вы понимаете, что они его не пощадят. Они это сделают «для примера». Все-таки попробуйте поговорить с ним...

Майкл сидел на табурете, спустив руки между коленей, глядя в дощатый пол помоста. Он думал о том, что он скажет в своем последнем слове, если, конечно, оно будет ему дано. Он расскажет, как он пришел к своим убеждениям. А стоит ли? Стоит ли выворачивать душу перед людьми другого сознания? Разве это пройдет их? Конечно, таких, как капитан Браун или полковник Вулворт и оба майора обок него, не пройдет. Но молодого Вулворта... Майкл вспомнил, какое у него стало жалкое, растерянное лицо, когда открылось, что он доносчик. Майклу снова стало жалко его, и он подумал, что Вулворт, наверное, раскаивается сейчас в своем поступке, и ради таких, как он, в которых еще не до конца умерла душевная чуткость, стоит сказать то, что Майклу хотелось сказать в последнем слове, если ему его дадут, конечно. А может быть, даже удастся расше-

велить глубинное, ангельское и в самом главном суде. «Кажется, он добрый», — думал Майкл, вглядываясь в симпатичное бесхарактерное лицо полковника Вулворта.

В этот момент полковник повернулся, чтобы скрыть зевок, и взгляды главного судьи и подсудимого встретились. Полковник мгновенно отвернулся. «Он явно испугался меня. Почему?» — недоумевал Майкл

Мысли Майкла были прерваны подошедшим Конвеем. Конвоиры преградили ему путь. Но полковник Вулворт милостивым жестом допустил его к Майклу. Никто не может сказать, черт побери, что в процессе, где председательствует полковник Вулворт, не соблюдаются нормы судопроизводства. Защитник, господа, может в любое время общаться со своим подзащитным!

— Майкл, — сказал Конвей, — слушайте меня внимательно. Вам дадут последнее слово. Могут не дать? Ну, этого я добьюсь во всяком случае. Не вздумайте там настаивать на ваших миролюбивых идеях. Погребите их на дне своей души. Оставьте это до лучших времен. Перестаньте быть ангелом хоть на время. Признайте свою вину. Ну, не резко, а, так сказать, на тормозах: я, мол, увидел, что ошибался, я пересмотрю свои позиции. Словом, мягко, как вы умеете.

— Нет, я не умею, Конвей. Я не хочу уметь.

— Майкл! Опомнитесь! Тут не шутят!

— Конвей, подумайте, что вы мне предлагаете! Это — бесстыдство!

— Майкл, не губите себя.

— Я не могу предать себя.

— Вы помните, какого приговора требовал прокурор?

— Да.

— Ну хорошо, Майкл, вы вольны распоряжаться собой. Но зачем вы губите Мари?

— Она здесь?

— Вот она, за канатом, справа.

Майкл увидел ее. Маленькое заплаканное лицо. Он закрыл глаза от внезапной боли. Жалость и любовь наполнили его.

— Конвей, зачем она пришла?.. Я все время отгонял мысли о ней, чтоб не ослабеть.

— Слушайте, через четверть часа кончится перерыв. Обдумайте хорошенько, что я вам сказал. Не губите

Мари. Ведь вы нарушаете свои же убеждения — вы убьете беззащитное создание: она вас не переживет.

Но звонок главного судьи раздался раньше. Он спешил. Он боялся, что немцы доконают свои маргариновые бутерброды и примутся за обстрел города. Пока судьи и стороны рассаживались, а публика вновь заполняла свой загон, Майкл собирал мысли для последнего слова.

Он вспомнил того, близнеца, в которого он выпустил обойму. Мальчик пал сразу. Какое у него было успокоенное лицо! Смерть не обезобразила его. Наоборот! Оно было прекрасно своей добротой. Слово смерти принесла ему радость. Майкл чувствовал, что он мог бы полюбить его. Второй близнец склонился над убитым братом, прижал к нему лицо, искаженное горем и все же очень похожее на того и в то же время заурадное, без ангельского света в нем.

*Последнее слово подсудимого, солдата первого разряда
Майкла Ч. Коллинза*

(Стенографическая запись)

«Не знаю, известно ли джентльменам за судейским столом, что я был освобожден от призыва на военную службу из-за плохого зрения. Но я добивался, чтобы меня взяли в армию добровольцем. И я добился. Я это сделал потому, что хотел лично участвовать в борьбе с той формой насилия, которая называется фашизмом. Сейчас я не могу без стыда вспомнить об этом, но я воевал, как все. Тогда мне казалось, что каждый убитый мной немец приближает избавление мира от ужасов насилия. Так это продолжалось некоторое время. Но постепенно сомнения стали одолевать меня. «Неужели можно убийством пресечь убийства?» — спрашивал я себя. Я продолжал ходить в бой, но старался не стрелять, если только не вынуждала меня к этому необходимость самосохранения. И вот однажды случилось нечто такое, что окончательно отвратило меня от убийств. Случилось, что в рукопашной стычке, испугавшись за себя, я застрелил одного немецкого солдата, который, как тут же выяснилось, совершенно не покушался на мою жизнь. И я услышал возглас другого — потом оказалось, что это его брат-близнец: «Что вы сделали! Он шел в бой без

оружия! Вы убили ангела!..» Взятый в плен, этот солдат рассказал мне, что его брат, убитый мной, ни в кого не стрелял, что он не хотел марать свою душу убийством, что он считал, что люди могут договориться друг с другом мирно, не прибегая к насилию, одной силой убеждения. Тогда я понял, что война — это наибольшая гнусность, какая возможна на земле, и она порождает другие гнусности, и что мир вступил в эпоху убийств...»

На этом стенограмма обрывается. Конвей в упомянутой статье «Бедный заблудший ангел», помещенной в 1946 году в парижском издании «Геральд трибюн», пишет, что начавшийся артиллерийский обстрел встревожил главного судью, хотя нисколько не повлиял на публику за канатом, там ни один человек не тронулся с места. Конвей приводит еще одну фразу Майкла. Он посмотрел в публику, нашел глазами заплаканное жалкое лицо Мари и, обращаясь к суду, сказал глухим голосом: «Конечно, я виноват... с вашей точки зрения...»

Вряд ли судьи, как свидетельствует Конвей, обратили внимание на эти слова, которые при желании можно было счесть, по мнению Конвея, за признание своей вины. В обстановке все усиливающегося обстрела полковник Вулворт пробормотал приговор. Мало до кого из публики дошел его задыхающийся голос, к тому же то и дело заглушаемый уже довольно близкими разрывами снарядов. По крайней мере, еще два дня спустя солдаты спрашивали друг друга: «Так что они сделали в конце концов с тем парнем, который так лихо обделал всю эту судейскую шпану?»

В той же статье Конвей пишет, что полковник Вулворт нисколько не кровожаден, как и те две марионетки, что сидели по обе стороны его. «Дело не в них, — продолжал Конвей, — дело в автоматизме военно-бюрократической машины. С той же аккуратностью, с какой автомат, куда вы опустили монету, выбрасывает вам пачку сигарет или бутылку кока-колы, военно-бюрократическая машина, куда Майкл опустил свои ангельские антивоенные взгляды, выбросила ему смерть».

Приговор был приведен в исполнение через полтора часа после вынесения, на обрывистом берегу речонки Вамм. Тело кое-как зарыли, а вернее, забросали снегом там же в овраге.

Раз в день Штольберга выпускали погулять. Разумеется, с конвоиром. Каждый раз это был другой эсэсман. Разговаривать им, по-видимому, было запрещено. Может быть, им внушили, что Штольберг крупный преступник. Во всяком случае, попытки Штольберга завести разговор не удавались. На его слова эсэсманы не откликались. Штольберг злился. Он возненавидел своих безмолвных стражей. Как-то ему попался конвоир-коротышка. Длинноногий Штольберг намеренно делал огромные шаги. Коротенький солдат еле поспевал за ним, задыхался, потел. Штольберг насмешливо оглядывался и встречал горящие злобой глаза. Вечером Биттнер сказал ему:

— Я понимаю, вам скучно. Но это довольно опасный вид развлечения. Солдат может принять вашу быструю походку за попытку к бегству и всадить вам пулю в затылок.

«Я ему для чего-то нужен живым, — подумал Штольберг. — Иначе он давно расправился бы со мной посредством Genickschuß. Это ведь у них излюбленный метод расправы».

Ровно через полчаса прогулки конвоир отрывисто брякал: «Обратно!» — и Штольберг уныло возвращался в опостылевшую ему квартиру Биттнера. Ведь арест был домашний. Пока...

Ему принесли его чемодан из автомашины. Все было цело, даже дневник. Штольберг не сомневался, что его прочли. Но никаких последствий. Пока...

Биттнер переменялся. Уже не было деланно приятельских бесед вечерами за бутылкой мозельвейна. Бледное лицо гауптштурмфюрера было холодно, даже надменно. На раздраженный вопрос Штольберга: «Долго ли я буду торчать здесь?» — Биттнер ответил вопросом:

— Почему вы спрашиваете об этом меня?

— Ведь вы мой тюремщик!

Биттнер провел мизинцем по своим фюрерским усикам и сказал скучающим голосом:

— Я не тюремщик, я следователь. Следствие по вашему делу продолжается.

— Мне надо послать отчет генералу Мантейфелю. Ведь он должен знать, куда девался его специальный курьер!

— Уже сделано, — ответил Биттнер коротко.

Генералу было совсем не до Штольберга. Он и забыл о незначительном капитане, которого он послал в 6-ю армию, когда положение на фронте было другим. Сейчас все круто переменялось. Убедившись в безуспешности арденнского наступления, Гитлер приказал ударить на прилегающий с юга к Арденнам Эльзас.

31 декабря в 23 часа, за час до Нового года, началось это новое наступление — из Битша на Пфальцбург и с Кольмарского плацдарма (то есть уже по ту сторону Рейна) на Сабернский проход в Вогезах. А тот, кто владеет Сабернским проходом, владеет Страсбургом, черт побери! «Ах, опять эти горы! В печенке они у нас, будь они прокляты», — ворчали солдаты, подталкивая буксующие машины. Но эти же горы укрывали передвижения немецких войск.

Кодовое название новой операции — «Северный ветер». Мощное вторжение в Эльзас, неожиданное, как ураганный порыв ветра! И когда — в новогоднюю ночь! Праздничная ночь как элемент гениальной стратегии фюрера. Небось эти сопливенькие американские генералишки благодушествуют за бокалами с шампанским, поскольку «вдову Клико» они временно оттыпали у нас. Вот мы им и врежем! Давай, Гиммлер!

Теперь, когда у Гитлера стало не хватать людей для пополнения убыли, ни горючего для его некогда всесильных танков, ни самих танков, когда его империя стала потрескивать на востоке и на западе, он начал искать спасения в *шоковой* стратегии — скажем, наступать в праздничную ночь, чтобы застать противника врасплох, или спускаться на противника свору переодетых диверсантов, превращая войну в какой-то дьявольский маскарад, или заменить в руководстве армии профессиональных военных своими подручными, в данном случае Гиммлером.

Что ж, эта тактика мелких укусов поначалу имела успех. За первые три дня немцы продвинулись в Эльзасе примерно на тридцать километров, перерезали дороги на Мец и Нанси. Только пятнадцать километров отделяли их от Сабернского прохода. Захватив его, немцы заперли бы в котле всю 7-ю американскую армию. И так, вместо того чтобы самим быть окруженными в Арденнах, немцы готовили — притом с поразительной быстротой — котел для американцев. В Страсбурге паника.

— О да, мой фюрер! — воскликнул Гиммлер, приняв

на себя командование войсками на верхнем Рейне. — Мы отберем у них весь Эльзас!

Гиммлер всегда считал себя выдающимся полководцем, которому только недоставало случая доказать это. Первым делом он приказал снять часть войск с Кольмарского плацдарма и перебросить их на север. Узнав об этом, фельдмаршал Рундштедт пришел в ужас и, изменив своему обычному хладнокровию, помчался к Гитлеру. Тот его не принял.

Произведя разные переброски в переподчиненных ему войсках и растопырив их по всему фронту, Гиммлер стал ждать победного результата. Но оказалось, что одерживать победы на полях сражений — это далеко не то же самое, что затискивать беззащитных евреев в газовые камеры.

Однако поначалу «Северный ветер» дул исправно. Рейн севернее Страсбурга немцам удалось форсировать. Таким образом, был захвачен еще один плацдарм, куда Гиммлер немедленно перебросил 10-ю танковую дивизию СС, отдавая, как и Гитлер, эсэсовским частям явное предпочтение.

Во всяком случае, в Шеллбёрсте, то есть в Верховном штабе экспедиционных сил союзников, «Северный ветер» вызвал ряд сквознячков. Хлопали двери, встревоженные оперативники бегали по комнатам, и Дуайт Эйзенхауэр распорядился подготовить приказ об отходе 7-й армии. При этом Страсбург оказывался обнаженным, и немцы, конечно, не преминули бы его взять (тем более без боя!). Эйзенхауэр заранее санкционировал это. Его, как и премьер-министра Англии Уинстона Черчилля, бывшего в то время в штабе, это несколько не взволновало. Действительно, что им, в конце концов, Страсбург! Еще к Парижу они могли питать некоторое почтение. А что Страсбург, что какой-нибудь Сен-Вит — им это все едино. Не американские же они и не английские.

Взволновался один только французский представитель при штабе и немедленно известил де Голля.

Де Голль прибыл тотчас. Он отказался сесть, поэтому все стояли. В свои пятьдесят четыре года седой, неправдоподобно высокий, он недобрал только восьми сантиметров до двух метров. Маленькая голова его возвышалась над всеми. Он говорил, чеканя каждое слово:

— Боши держали Страсбург пять лет...

В голосе его, от природы гортанном, в минуты волнения появлялось нечто вроде орлиного клекота.

— Мы взяли Страсбург месяц назад, — мягко перебил его Эйзенхауэр.

— Его взяла моя Первая французская армия. И что же, вас хватило только на один месяц, чтобы удержать его.

Эйзенхауэр счел эти слова по меньшей мере некорректными, если не оскорбительными.

— Генерал де Голль, между нами говоря, — сказал он холодно, — ваша армия не более чем символ.

Де Голль чуть пошатнулся. Это был недозволенный удар. Ниже пояса. Да, в этой войне французской армии нечем похвастать. И все же...

— Вы забыли, — сказал де Голль надменно, — что в сорок втором году не американцы и не англичане, а французы героически отражали атаки африканского корпуса Роммеля.

Черчилль многозначительно кашлянул. Покосившись на него, Эйзенхауэр увидел, что он смотрит на него неодобрительно. Американец рассердился.

— Генерал, — сказал он иронически, — в нашем послужном списке тоже значатся кое-какие победы.

И, переменив тон на серьезный, добавил:

— Для вас Страсбург вопрос престижа, а для...

Де Голль снова не дал ему закончить.

— Да, престижа, — сказал он, подчеркивая каждое слово взмахами длинной руки, — но не только. Вы понимаете, на что вы обрекаете жителей Страсбурга, которые с таким энтузиазмом сплотились вокруг своих освободителей!

— Это война... — сказал Эйзенхауэр. — Донкихотство тут неуместно.

Он подумал, глядя на грустное большеносое лицо этого великана, что он в самом деле смахивает на рыцаря печального образа.

— Значит, у меня свои представления о войне, — сказал де Голль. И повысив голос: — Генерал Эйзенхауэр, от имени Франции я требую, чтобы Страсбург не был сдан!

Слово «требую» окончательно взорвало Эйзенхауэра. Он скользнул взглядом по двум скромным звездочкам бригадного генерала на рукаве де Голля и сказал:

— По общему стратегическому плану это невозможно.

Де Голль молчал несколько секунд.

— В таком случае, — сказал он, — французы са-

ми будут оборонять Страсбург силами моей Первой армии.

Гнев все еще кипел в Эйзенхауэре. Такое пренебрежение к его словам, да еще в присутствии Черчилля, с интересом наблюдавшего эту сцену, попыхивая сигарой, такое возмутительное пренебрежение, и со стороны кого — со стороны правителя без страны, генерала без войска!

Между тем де Голль казался совершенно спокойным. Волнение его выражалось, может быть, лишь в том, что он непрерывно дымил, закуривая одну сигарету за другой. Он как бы курил одну сигарету, бесконечно длинную, как он сам.

— Предупреждаю вас, генерал, — сказал Эйзенхауэр, грозно нахмурившись, — что если Первая французская армия не подчинится моим приказам, я сниму ее со снабжения.

— Вы не сделаете этого!

— Я это сделаю. Она не будет получать ни боеприпасов, ни снаряжения, ни продовольствия.

— Что ж... Франция создана ударами меча. Она будет сражаться даже голыми руками.

Эйзенхауэр вздохнул. Гнев его остыл. К досаде его начал примешиваться оттенок восхищения. «Это какая-то Жанна д'Арк в штанах», — подумал он.

— Слушайте, генерал, — заговорил он примирительно, — смотрите, как действую я. Гибко! Когда нужно, уступаю, но потом беру свое. Больше гибкости, генерал.

Де Голль пожал широкими плечами.

— Вам легко говорить о гибкости, — сказал он. — Под вами могучая опора — Америка! Огромная страна, нетронутый материк. А что подо мной? Растерзанная страна, ничтожная армия. Нет, генерал Эйзенхауэр, гибкость не для меня. Я слишком слаб, чтобы позволить себе такую роскошь.

Провожая де Голля, Эйзенхауэр взял его под руку и сказал ласково:

— Мы расстаемся друзьями, не правда ли?

Де Голль глянул на него с высоты своего башенного роста и позволил себе впервые за время их разговора улыбнуться. Он понял, что выиграл игру.

— Друзьями? — повторил он. — Люди могут иметь друзей. Государственные деятели — никогда.

Вернувшись в штаб, Эйзенхауэр отменил приказ об

отступлении 7-й армии. Страсбург остался французским.

Все же положение было серьезным. Немцы в Эльзасе. Бастонь осаждена. Правда, Паттон со своей 3-й армией продвигался в глубь Арденн и наконец достиг Уффализа. И чертовски медлительный Монтомери навстречу ему продвигается туда же с 1-й американской армией.

Но ведь это уже отыгранная карта. Черчилль, правда, еще не расстался с эффектной мыслью окружить арденнскую группировку. Оставшись наедине с Эйзенхауэром, он сказал:

— Черепаха слишком сильно выдвинула вперед голову. Почему бы ее не отсечь?

Эйзенхауэр пожал плечами:

— Если черепахе не поддать в зад, она нас заглотает.

Черчилль рассмеялся:

— На поле боя неумеренный аппетит ведет к катастрофе.

— Загнать немцев в окружение мы не могли бы. Откровенно говоря, с нашими силами мы и не пытались. Хотя такой план был нам представлен.

— Не Брэдли ли его разработал?

— Нет. Два молодых офицера.

— Похвальная инициатива.

— Безусловно. Но нам пришлось объявить им выговор за непрошенные и неуместные советы командованию. Мы предпочитаем не окружать немцев, а выжимать их.

Вздохнув, Эйзенхауэр добавил:

— Только бросив на чашу весов самую тяжелую гирию, можно сейчас добиться перевеса в нашу пользу.

Черчилль, прищурившись своими пронизательными, несколько заплаканными глазками, смотрел на Эйзенхауэра. Он понял, что хотел сказать этим генерал. Но его удивила иносказательная манера выражаться, отнюдь не свойственная Эйзенхауэру. Черчилль подумал, что это является признаком крайней тревоги, почти губительной неуверенности в своих силах и нежелания сказать это открыто. Черчилль пошел напрямик.

— Вы имеете в виду русских? — спросил он.

Эйзенхауэр опять ответил не прямо:

— Усилия наших офицеров связи в Москве узнать, собираются ли русские что-либо сделать, чтобы облегчить наше положение, потерпели неудачу.

— Отправьте в Москву специального посланца, причем обязательно высокопоставленного.

— Я это сделал. Я отправил своего заместителя, сэра Артура Теддера.

— Ну и что?

— Он до сих пор торчит в Каире. К сожалению, плохая погода властна даже над главным маршалом авиации.

Черчилль без труда разгадал в полушутливом, казалось бы, тоне Эйзенхауэра скрытую просьбу.

— Я полагаю, — сказал англичанин, — Сталин сообщит мне, если я спрошу его. Попытаться мне? — Огладив свою мясистую щеку и лукаво глянув на генерала, Черчилль добавил: — Разумеется, я это сделаю деликатно, без лобовых приемов.

Эйзенхауэр одарил его одной из самых обаятельных своих улыбок, которых у него был богатый выбор.

В тот же день через всю Европу в Москву полетело:

«ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ
г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

...Я только что вернулся, посетив по отдельности штаб генерала Эйзенхауэра и штаб фельдмаршала Монтгомери. Битва в Бельгии носит весьма тяжелый характер, но считают, что мы являемся хозяевами положения. Отвлекающее наступление, которое немцы предпринимают в Эльзасе, также причиняет трудности в отношениях с французами и имеет тенденцию сковать американские силы. Я по-прежнему остаюсь при том мнении, что численность и вооружение союзных армий, включая военновоздушные силы, заставят фон Рундштедта пожалеть о своей смелой и хорошо организованной попытке расколоть наш фронт... Я отвечаю взаимностью на Ваши сердечные пожелания к Новому году».

К вечеру этого дня немецкие части вошли в Винген и Хагенау. Двинулись они также с Кольмарского плацдарма. Они легко преодолевали слабые инженерные сооружения американцев, у которых всюду почему-то фатально не хватало надолб, противотанковых мин, проволочных спиралей Бруно, даже мешков для земли.

Между тем из Москвы не было ответа, и на следующий день Черчилль решил отправить второе послание в Москву и на этот раз откровенно, без обиняков обрисовать тяжелое положение на Западном фронте. Черчилль набрасывал свое послание в присутствии Эйзенхауэра,

изредка спрашивая его совета. Вверху бланка уже заранее было отпечатано, как и на предыдущем послании:

«ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ
г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ».

Черчилль писал своим энергичным почерком: «На Западе идут тяжелые бои...»

— Очень тяжелые, — добавил Эйзенхауэр.

«...очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Приходится защищать очень широкий фронт...»

Эйзенхауэр остановил его:

— Вы могли бы связать это с началом войны Гитлера с Россией. Эта аналогия тут уместна.

— Стоит ли? — усомнился Черчилль. — Воспоминания о поражениях не принадлежат к числу самых отрядных.

Эйзенхауэр настаивал:

— Просто для соблюдения равновесия.

— Ну что ж, — не очень охотно согласился Черчилль и вставил:

«Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт...»

Черчилль вопросительно посмотрел на Эйзенхауэра.

— Это хорошо, — одобрил Эйзенхауэр, — тон верный.

— Да, но все-таки в России было несколько иное положение, — возразил Черчилль и приписал:

«...после временной потери инициативы».

— Теперь, генерал, — продолжал Черчилль, — я прямо упомяну вас. «Генералу Эйзенхауэру очень желательно...»

Эйзенхауэр добавил:

— Тогда уж вставьте и «необходимо».

«...желательно и необходимо, — писал Черчилль, — знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях...»

Черчилль прервал письмо:

— Где сейчас Теддер?

— В Каире.

«Согласно полученному сообщению, — продолжал писать Черчилль, — наш эмиссар главный маршал авиа-

ции Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по Вашей вине...»

— Я это не совсем понимаю,— сказал Эйзенхауэр.

— Я тоже,— нетерпеливо сказал Черчилль,— но это хорошо звучит.

И продолжал, склонившись над бумагой:

«...Если он еще не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы...»

— Но почему обязательно Вислы?

— Потому что они собираются брать Варшаву. А впрочем, можно шире поставить вопрос.

И Черчилль добавил:

«...или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, желаете упомянуть...»

Черчилль откинулся на спинку кресла с удовлетворенным видом.

— Он ответит? — спросил Эйзенхауэр.— Ведь он очень подозрителен.

— Я вам признаюсь, Эйзенхауэр, с тех пор как я соединил в своем лице премьер-министра, первого лорда казначейства и министра обороны, я тоже фактически диктатор Англии и я тоже стал подозрителен, как дядя Джо.

— Что ж,— задумчиво сказал Эйзенхауэр,— это естественно. Сталин вправе опасаться, что эти сведения как-нибудь просочатся к противнику.

— Совершенно верно. Поэтому мы добавим: «...Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука...»

— Не понимаю, при чем тут сэр Алан,— сказал Эйзенхауэр недовольно.

— Если вы возражаете против Алана Брука, я отказываюсь посылать эту телеграмму. Начальник английского генерального штаба должен иметь эту информацию.

Эйзенхауэр промолчал. Черчилль сердито хмыкнул и продолжал:

«...фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне...»

Эйзенхауэр взял телеграмму.

— Я сам отнесу ее шифровальщику.

— Подождите, — сказал Черчилль, — положение слишком серьезно. Достаточно ли это явствует из нашего послания?

Эйзенхауэр молчал. Потом он сказал:

— Мне не хотелось бы изображать наше положение слишком уж...

Он замаялся. Черчилль подхватил:

— Катастрофичным? Мы не будем прибегать к этому паническому слову, хотя, может быть, оно... Мы скажем иначе, но достаточно выразительно.

Черчилль взял листок из рук генерала и приписал в конце:

«...Я считаю дело срочным».

Он снова откинулся на спинку кресла, утомленно прикрыл глаза рукой и сказал:

— Теперь будем ждать.

Ждать пришлось недолго. Наутро летчик принес в Шеллбёрст пакет, который ему три часа назад вручили в советском посольстве в Лондоне, где московские послания расшифровывались и переводились на английский язык:

«ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА
И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Получил вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года.

К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву.

Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев во всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам.

7 января 1945 года».

Послание это, несмотря на грифы «лично» и «строго секретно», было немедленно доведено до сведения осажденного гарнизона Бастони. И оно подняло дух солдат гораздо больше, чем виски и джин, доставлявшиеся через коридор, пробитый 3-й армией.

Конечно, подготовка к грандиозному русскому наступлению не могла остаться совершенно скрытой от немецкой разведки. Крайне встревоженный генерал Гудериан примчался 9 января в «Орлиное гнездо».

— Нет никакого сомнения, — заявил он, — что русские ударят по нас на очень широком пространстве. А наш Восточный фронт — мой долг сказать вам это, мой фюрер, — не более чем карточный домик.

— Я уже говорил и повторяю вам это, Гудериан...

Если Гитлер не устроил сцену в своем обычном стиле, то лишь потому, что он пребывал в благодушном настроении по причине успешного продвижения в Эльзасе. Тут же сидел тщедушный человек в очках и недобро смотрел на Гудериана. Это был Гиммлер, душа эльзасского наступления.

— ...повторяю вам, Гудериан: русское наступление — гигантский блеф.

Подведя Гудериана к карте, Гитлер стал объяснять ему, как искусно 89-й армейский корпус овладел тремя деревушками на Рейне. Гудериан слушал с почтительным вниманием, думая в то же время: «Почему, когда над фюрером нависает реальная угроза, он в своем ослеплении считает ее блефом?»

Это было 9 января.

А через три дня, 12 января, автор был разбужен непрерывным гулом, тяжелым, как отдаленный рокот землетрясения. Он вышел и стал на обочине шоссе, ведущего из Калушина в Варшаву (тогда еще немецкую) и наблюдал, потрясенный и восхищенный, бесконечную громаду войск, двигавшихся на запад. Действительно, погода была, как упоминал Сталин в послании к Черчиллю, нелетная. Грузные, набухшие влагой тучи так низко ходили над польской землей, что местами сливались с густым туманом, который клубился на шоссе и придавал фантастические очертания танкам, самоходным орудиям, гаубицам, «катушам», грузовикам с бойцами и даже самим бойцам, выглядывавшим из-под брезентовых навесов.

Конечно, автор не мог знать далеко идущей цели этого грандиозного движения армии, как не знал и того,

что примерно в эти же дни такое же движение на запад происходило на всем Восточном фронте от Балтийского моря до Балкан. Автор видел только каплю гигантского, стихийного, как сама природа, движения. Но и эта капля потрясла его.

Того же 12 января Гитлер примчался из «Орлиного гнезда» в Берлин, в подземелье имперской канцелярии, забыв об эльзасских деревушках. Он наконец поверил в русское наступление. Забегая вперед, скажем, что больше он из своего имперского бункера не выезжал и там же через три с лишним месяца, убоявшись суда, убежал в смерть.

Все в тот же незабываемый день 12 января Гитлер приказал Рундштедту перебросить 5-ю и 6-ю армии на восток. Он не знал, что Рундштедт приступил к этому по собственному почину еще три дня назад после разговора с Гудерианом. Все это делалось, разумеется, скрытно. То, что не могли срочно увезти, например осадные орудия, уничтожали предназначенными для этого мешками со взрывчаткой, которые почему-то называли «пакеты фюрера». Наблюдая это зрелище, Штольберг сказал Биттнеру:

— Машина для разрушения умирает и призывает маму...

Они сидели в купе классного вагона — Штольберг, Биттнер и два эсэсмана из числа тех, что сторожили Штольберга в квартире Биттнера. Штольберг насмешливо приветствовал их как старых знакомых. Они боязливо покосились на Биттнера и не ответили. Очевидно, запрет общаться с арестованным продолжал действовать. Но говорить вслух никто пока не догадался запретить Штольбергу. И он сказал, глядя в окно:

— А от вашей Шестой армии осталась одна тень.

— Но довольно густая, — проворчал Биттнер.

Действительно, сколько хватал глаз, видны были длинные колонны танков, штурмовых орудий, бронетранспортеров.

— Так куда же мы с вами, Биттнер?

— В Польшу, — коротко ответил гауптштурмфюрер.

— Ага! Разозлился, стало быть, наконец русский медведь...

Биттнер молчал. Но Штольбергу и так все было ясно: «Домашний арест перенесен на колеса. Дело о содействии побегу Ядзи-с-косичками продолжается. Теперь следствие перебрасывается, так сказать, на место пре-

ступления. Очевидно, рассчитывают, что там найдутся улики достаточно веские, чтобы сунуть меня в петлю. Может быть, даже очная ставка? Неужели ее схватили?..»

ПОСРЕДИ НОЧИ

Биттнер всюду таскал за собой Штольберга. Начать с того, что 6-я танковая армия СС, в эшелонах которой они ехали на восток, прибыла совсем не в Польшу, как предполагал Биттнер, а в Венгрию. Через несколько дней они увидели серые воды Балатона. Штольберг подозревал, что Биттнер из каких-то соображений сохранил ему с самого начала. Армия сразу включилась в бои за Будапешт. Биттнер раздобыл трофейный полугрузовичок «додж — три четверти». Он сам сидел за рулем. Штольберг и конвоиры расположились в кузове. Штольберг решил сбежать при первом удобном случае, как только они углубятся в Польшу.

Они пробирались по узким польским дорогам между отступающими войсками. На привалах офицеры из пропаганда-штаффель возглашали — кто возбужденно выкрикивая, кто вещая твердым и мужественным голосом, а кто монотонно бубня канцелярским напевом: «Солдаты! Отступление временное. Оно вызвано стратегическими соображениями...» Солдаты молча слушали, и по их неподвижным лицам нельзя было понять, что они думают, может быть, уже не верят, а может быть, просто устали от войны и им стало все равно, наступают они или отступают.

«Додж» остановился в небольшом польском городке. Здесь Биттнер узнал, что русские заняли Варшаву и Краков и движутся сквозь Польшу к Германии. Биттнер запер Штольберга в сарае.

Посреди ночи он разбудил Штольберга и вывел его на тихую спящую улицу. Спросонья Штольберг с трудом соображал, где он и что с ним происходит. Пахло свежесты от только что выпавшего снега. В вышине мурлычут самолеты. Штольберг по звуку определил: «Русские...» Почему-то в их журчании не было ничего грозного. Так мирно все кругом...

«Сейчас меня застрелят...» — Штольберг вздрогнул, когда Биттнер взял его под руку.

— Ну что, Штольберг?

В голосе Биттнера было притворное дружелюбие.

— Вы хотели бы, чтобы я вас освободил? Да? Или, может быть, вы задумали убежать? И именно здесь, в Польше? К вашим польским друзьям? Может быть, к Ядзе-с-косичками? Увы, Штольберг! — Биттнер вздохнул сокрушенно. — Я ничего не делаю наполовину. Ваше дело будет мной доследовано до конца, несмотря ни на что.

Штольбергу стало легко. Нет, его не собираются кончать. Во всяком случае, не сейчас. Он сказал:

— Несмотря на то, что Германия проигрывает войну?

— Ах, вы на это рассчитываете? Вас вдохновило зрелище временно отступающих войск? Да, Германия сейчас отдает пространство, но она уничтожает живую силу противника. — И добавил: — Германский тигр отступает, чтобы сделать новый прыжок.

Он толкнул Штольберга в машину и сел за руль. Машина рванулась с такой силой, что Штольберг и конвоиры стукнулись лбами.

Польша бежала под их колесами со стремительной быстротой. Через несколько дней, точнее, 23 января русские войска достигли границы Германии. Биттнер гнал машину, почти не останавливаясь.

В начале февраля ночью они въехали в Берлин. Мокрый снег. Берлин не бомбили. Штольберг пристально вглядывался сквозь оконце в город. Трудно было понять, где они. Иногда ему казалось, что они на Франквуртераллее под обгоревшими деревьями. Внезапно они сворачивали и кружили меж кирпичных холмов, среди поваленных зданий и переплетений рухнувших балок.

— Куда мы едем? — спросил он Биттнера.

Гауптштурмфюрер не ответил. Он был трезв и мрачен. Штольберг отвернулся от окошка. Зрелище разрушенного Берлина причиняло ему боль.

Они остановились перед массивным зданием крепостного вида. Штольберг сразу узнал его: тюрьма Плетцензее. Он подумал: «Конец». Он знал, что отсюда не выходят, отсюда выносят. Но он так устал, что ему сейчас было все равно, что с ним будет. Страшное напряжение последних дней сменилось бесчувствием. Он не ощущал себя. Ему казалось, что это не он шествует по коридору рядом с Биттнером, а кто-то другой, кого он видел как бы со стороны. Равнодушным взглядом скользил он по стенам, машинально искал на них следы

запекшейся крови. Но белые кафельные стены сверкали лабораторной чистотой.

Они вошли в канцелярию. Биттнер положил на стол папку, о чем-то пошептался с эсэсовцем, сидевшим за столом. Штольберг только расслышал:

— Приговор будет доставлен дополнительно.

«Ага,— подумал Штольберг,— значит, не сегодня...»

На прощанье Биттнер сказал Штольбергу:

— События складываются так, что ваше дело не может быть доследовано до конца с достаточной детальностью. В то же время нет никакого сомнения, что обвинение предъявлено вам совершенно правильно. В этих случаях приговор может быть вынесен на основании косвенных улик и внутреннего убеждения судей...

ФЕВРАЛЬ — АПРЕЛЬ

Тринадцатого февраля, после полуторамесячных боев, советские войска взяли Будапешт. В середине марта разбили немцев у Балатона. В середине апреля вошли в Вену, в конце — сомкнулись на Эльбе с американскими войсками.

Но еще до этого Биттнер узнал новость, которая его потрясла: Вальтера Моделя не стало. Этот маленький расторопный фельдмаршал, любимец Гитлера, покончил с собой. Из-за чего? Из-за краха империи? Германия погибла? Но ведь не может погибнуть стомиллионная нация? Значит, не из-за этого... Из-за чего же? Может быть, из-за страха возмездия?..

Биттнер отшвыривал от себя эту мысль, но она упорно возвращалась...

«Почему он не сдался американцам? — рассуждал Биттнер. — Да, он мог сдаться союзникам, перед которыми у него руки чисты, если не считать расстрелов американских и английских военнопленных молодцами Скорцени...»

Биттнер сидел в пустом кабинете брошенного комендантского управления. Все бежали еще вчера, когда стала слышна отдаленная канонада. Все! За исключением его вестового солдата — эсэсман остается преданным до конца. Она и сейчас слышна, эта глухая канонада, русские еще далеко, еще есть время...

Для чего?

Вот в этом весь вопрос...

Биттнер достал из ящика початую бутылку джина. Он задумчиво посмотрел на нее. Может быть, на дне ее ответ на этот вопрос... Он налил полный стакан, но медлил пить. Эта назойливая мысль мучительно застряла в сознании, *список военных преступников*. Русские могли вытребовать Моделя у союзников, потому что он значится в списке военных преступников. Притом на одном из первых мест.

Биттнер отлично знает, когда это началось: еще в сорок третьем году. Модель, тогда генерал-полковник, отступал со своей 9-й армией от «московского плацдарма», как они называли эти места, то есть от района к западу от Москвы...

...Ах, как четко работает голова! Как немилосердна память! Биттнер хлебнул джина.

...словом, от Вязьмы, от Гжатска — они еще смеялись в своей компании над этим варварским сочетанием букв — проводили там «политику пустыни», разрушали города, а деревни просто сжигали, население... вот в этом вся штука — население...

Население! Гибли города и деревни — так на то война! Но люди! Тут, конечно, дело дрянь, потому что у русских данные о расстрелах, повешенных, угонах в рабство... И не очень далеко от фельдмаршала в этом списке военных преступников он, Биттнер.

Конечно, это можно оспорить. Жестокость? Да. Но она введена в систему, разбита на параграфы, приобрела форму инструкции. Да и само выражение «военный преступник» — такого юридического термина нет. Опротестовать!.. Но перед кем?..

Он снова хлебнул джина. И еще. Он знает, как это происходит, когда шею захлестывает петля. Он рванул себя за воротник, полетели крючки, какая она скользкая, ах да! Ведь ее мылят. Он скинул китель и швырнул его в угол. Выпустил живот поверх ремня. Все равно душно...

Рывком, резко, как все, что он сейчас делал, выдвинул ящик стола. Там лежал пистолет. Он как-то косо посмотрел на него и зажмурился. «Но все-таки (он призвал себе на помощь весь свой цинизм) свой пистолет лучше, чем петля карателя».

Его восхитило собственное хладнокровие. «*В такую минуту у меня хватает мужества острить*».

Да! Пора кончать. Все дела устроены: письма сожжены, четыре пары белья (из них одна неношенная) отосла-

ны матери, смертный приговор Штольбергу отослан в тюрьму Плетцензее, золотой нацистский значок передан в надежные руки. «Я уйду из жизни как рыцарь. Для меня это вопрос чести...»

Он поднял стакан и медленно выпил до дна. Он хотел довести сознание до такого состояния затмения, чтоб ему стало все равно, что с ним будет. Тогда он найдет в себе силы совершить над собой то, что он собирался.

«Нет, не годится... Это состояние безразличия лишит меня желанья действовать. А между тем то, что я собираюсь сделать с собой, есть действие... А впрочем, какое же это действие... Ничтожное движение пальца...»

И он влил в себя стакан джина. Теперь он единственная неподвижная точка в мире. Все вокруг вертится... Но он не пьянел.

И вдруг ему стало безумно жаль себя: «А почему? Да, почему я должен лишать Германию себя? Что? Это не согласуется с вопросом чести?»

И тут же мозг-подхалим услужливо подсказывает:

«Но есть *другая*, высшая честь: быть полезным родине! Да! Притаиться! Прикинуться! Действовать исподтишка, пока не придет момент!»

Он знал, что он лжет, что все это притворство, игра, но не хватало мужества признаться себе в этом, потому что был трус.

Канонада внезапно стала оглушительной, потом она прекратилась, и сразу — совсем близко автоматные очереди.

В комнату вбежал вестовой.

— В городе русские! — крикнул он и исчез.

Биттнер метнулся за ним к дверям. Выстрел за дверью заставил его отпрянуть.

Он схватил бутылку и выпил все, что там было.

Посмертная записка гауптштурмфюрера Биттнера

«Идите вы все к черту... и пусть все идет к черту...»

ПОЧТИ СЕГОДНЯ

Как Ядзя могла узнать Штольберга в этой толпе, хлынувшей из поезда, если она видела его более двадцати лет назад в течение нескольких минут, когда он влек ее из сарая и потом торопливо усаживал, почти втискивал в ящик из-под сигарет? А когда через полтора часа

выпускал ее оттуда и ссаживал из грузовика, уже было сумеречно, и он только указал ей на темнеющий вдали лес и шепнул: «Беги!» Как она могла бы узнать его сейчас, отличить именно его в сутолоке вокзала среди других пожилых мужчин, дельцов, туристов, пенсионеров, торговцев, ученых, поездных воров, обладающих, как известно, особенно благородной наружностью?

И все же она узнала его.

Они сидели на балконе ее дома, и под ними шумела и сияла Варшава. Разговор у них получился какой-то прыгающий, и посреди этой радостной возбужденной сбивчивости они не могли прийти в себя от изумления, что видят друг друга, и считали это чудом.

— Неужели вы нас до сих пор не любите?

— Кого «вас»?

— Видите ли, дорогая Ядзя, я заметил еще в вагоне со стороны ваших земляков... Ну, выразимся так: несколько настороженное отношение к немцам.

Ядзя поиграла пальцами по столу.

— Ну, прямо скажем, некоторые основания для этого есть.

— Были!

— Знаете что, не будем углубляться в национальную психологию. Это материя довольно скользкая.

Ядзя засмеялась. Она выглядела молодо. Да она и не старая, сорока еще нет. Солнце, пронзая легкий туман, плывущий над Варшавой, золотило ее косы. Она все еще не расставалась с ними, она обернула их вокруг головы как корону.

— Ну,— сказала она, смеясь,— вас, например, я люблю.

— Спасибо. Но я ставлю вопрос широко. А Томаса Манна вы любите?

— Люблю.

— Так вот Томас Манн — он, конечно, самый большой немец нашего века и самый упорный борец с фашизмом — сказал: «Если ты родился немцем, значит, ты волей-неволей связан с немецкой судьбой...»

— Это совершенно естественно.

— Подождите, я не кончил. «...связан с немецкой судьбой и с немецкой виной». А вот я считаю, Ядзя, что не может быть у народа круговой поруки! Что ж, значит, выходит по Манну, что я не немец?

— Милый Штольберг, вы забыли, что я вам сказала тогда: «Вы больше немец, чем все они, взятые вместе»

— Когда вы мне это сказали?

— Ну, тогда, на дороге, когда вы меня вытряхнули из ящика.

— Я видел, что вы шевелите губами, но я просто не расслышал. И моторы так шумели. К тому же я спешил.

— Да и я с трудом говорила. Я страшно волновалась!

— Еще бы! Они ведь пронюхали, что вы были в одном из ящиков.

Ядзя всплеснула руками.

— Неужели? Значит, вы меня ссадили вовремя! Между прочим, еще и потому вовремя, что я чуть не задохнулась в том ящике. Если бы я там не провертела дырку...

Штольберг махнул рукой.

— Ох эта дырка! Когда моя автоколонна прибыла к месту назначения, там уже ждали ее гестаповцы, и они осмотрели каждый ящик. Они допросили всех шоферов. Ну, и, натурально, на меня как на начальника колонны завели дело. И эта ваша дырка сыграла не последнюю роль: она была тем, что мой следователь гауптштурмфюрер Биттнер назвал косвенной уликой.

— Что с ним стало, не знаете?

— Мне говорили, что он пустил себе пулю в лоб, когда фашизм рухнул. Но незадолго до этого он послал мой смертный приговор в Берлин, в тюрьму, где я был заключен. Меня уже собирались вздернуть. Да не успели. Русские меня освободили.

Ядзя на мгновение прикрыла глаза, как бы что-то вспоминая.

— А вы знаете, что вы едва не погибли гораздо раньше?

Штольберг посмотрел на нее с недоумением.

Она засмеялась.

— Два слова, которые вы тогда сказали, спасли вас от верной смерти.

— Когда?

— Когда вы вошли в тот сарай, где я спряталась.

Штольберг сказал несколько смущенно:

— Боже мой! Если бы вы знали, зачем я зашел туда. При даме сказать неудобно...

— Зачем бы вы ни зашли, вы тотчас об этом забыли: вы увидели меня.

— Да, вы сидели, скорчившись, в темном углу...

Ядзя неторопливо мотнула головой: не мешайте, мол!

Брови ее были грозно сведены, но глаза светились нежностью.

— Когда я увидела вас — темный силуэт офицера на светлом фоне открывшейся двери, я вскинула пистолет и прицелилась. В это время вы сказали... Вы помните, что вы сказали?

— Разве я что-то сказал? По-моему, я выглянул за дверь, увидел, что переулок безлюден, поманил вас, ну, и усадил в ящик.

— Но до этого вы сказали... В этом все дело! Я услышала в ваших словах и в вашем голосе столько доброты, что опустила руку с пистолетом.


— Но что же я такое сказал?

— Вы сказали: «Бедный ребенок...»



ДВА БОЙЦА

Повесть





Аркадия Дзюбина я услышал прежде, чем увидел. Это было в лесу. Я лежал под деревом. Немцы крыли из артиллерии. Пальба была ураганная и неточная. Все-таки голову поднять не хотелось. Грохот стоял адский. Он проникал, казалось, не только в уши, но и в глаза, в рот, в нос.

Часам к двум огонь вдруг прекратился. Какая тишина! И я замечаю, что листва на деревьях нежная-нежная, как всегда в сентябре под Ленинградом. Летают золотые жуки с тихим ворчаньем. В воздухе марево от жары, и солнце сквозь него кажется туманным и серебряным. И на всем покоится мягкий свет. На фронте обычно не замечаешь природу. Но эта красота без спросу лезла в душу.

В эту минуту я услышал пронзительный голос:

— Фрицы потопали обедать.

Другой голос, густой окающий бас:

— Сейчас ихни-то самолеты вылетят.

Первый:

— Чудак! В небе тоже обеденный перерыв. Ангелы и демоны тоже должны покушать.

Я насторожился. От этого голоса на меня повеяло чем-то бесконечно знакомым. Эти смягченные шипящие и гортанные, это полное пренебрежение к звуку «ы», этот шикарный «апашский» прононс — так говорят только в Одессе.

Я оглянулся и увидел двух бойцов. Они сидели на земле и набивали патронами диски ручного пулемета. Один был долговязый, с тонкими усиками на бледном лице. Маленькие глазки его смотрели насмешливо и надменно. Другой был огромен, прямо гигант. Своими тяжелыми руками он с неожиданной ловкостью производил те точные, аккуратные движения, какие необходимы для заряжения пулеметных магазинов. В грубом лице его было что-то детское.

— Очень рад познакомиться, — с южной учтивостью приветствовал меня долговязый. — Сидайте, пожалуйста, будьте как дома. А это мой второй номер, Александр Свинцов, более известный под кличкой «Саша-с-Урал-маша». Будьте знакомы.

Саша-с-Уралмаша пробормотал что-то невнятное.

— Смелей, смелей, Саша, дай дяде ручку. Вы его извините, пожалуйста, он очень робкий, он только с немцами смелый. Саша, дружок, расскажи человеку, как ты притопал верхом на немце.

Бойцы, лежавшие там и сям в траве, засмеялись. Гигант покраснел и буркнул:

— Трепаться-то брось...

— А шё такое? Это же интересно. Ну хорошо, скромность украшает юношей. Так, понимаете, мы как-то видим — из лесу чешет гитлеровский офицер. Прямо галопом, как призовой жеребец. А верхом на нем не кто иной, как Саша-с-Уралмаша. Возле штабного блиндажа Саша спрыгивает и докладывает командиру: так и так, «зацапал живьем офицера». А офицер стоит рядом, и сопит, и прямо весь в мыле. Правда, ребята?

Ребята смеялись. Саша-с-Уралмаша кидал по сторонам умоляющие взгляды. Мне стало жаль его.

— Так вы думаете, немцы сейчас обедают? — сказал я, чтобы переменить разговор.

Но долговязый неумолимо продолжал:

— А командир, значит, говорит: «А шё ж это вы, говорит, верхом на нем приехали?» А наш Саша отвечает: «А это для того, товарищ командир, шёб он не сбежал по дороге». Вот умник! Министерская голова ни за копейку пропадает.

Бойцы заливались хохотом. На войне любят смех. Он облегчает тяготы фронтовой жизни. Молоденький шустрый артиллерист подскочил к Саше и тряс его за плечо.

— Экий ты пень, Сашка! — кричал он. — Знаешь что, отчисляйся к нам в дивизион, будешь у нас ребят потешать заместо циркового клоуна, честное слово!

Саша молчал. На большом лице его бродила мучительная улыбка.

— А ну, убери с него руку, — коротко сказал долговязый.

И так как артиллерист смотрел на него не понимая, долговязый пояснил:

— Это я тебе говорю, артиллерист: скидывай с парня свою лапку. Ясно?

И своими немигающими глазками он уставился в артиллериста с такой твердостью, что тот смущенно пробормотал:

— Будто ясно, — и отступил.

— Так его, Дзюбин! — закричали в траве. — Под натиском пехоты артиллерия в панике бежала, бросая материальную часть.

— Ну, ну! — закричал артиллерист, хорохорясь. — Ты, Дзюбин, не очень... А то, знаешь... как бы мы с тобой не стукнулись.

— Пожалуйста, — сказал Дзюбин гостеприимно, — пройдем в кусты на парочку слов. Там я с тобой поговорю по-одесски.

— Подумаешь! — сказал артиллерист. — Видали мы ваших одесских.

Дзюбин вскочил. Его длинное тощее тело разогнулось с такой стремительностью, словно в нем не было костей.

В это время принесли почту. Разговоры прекратились. Бойцы лежали в траве и читали письма под вялое уханье артиллерии.

— Дзюбин Аркадий, тебе письмо! — крикнул кто-то.

Но Дзюбин не слушал. Он подошел к артиллеристу и сказал со зловещим спокойствием:

— Вот что, дружочек, ты мне Одессу не трогай. Ясно? Если я еще услышу такую вещь, так я из тебя сделаю бефстроганов. На месте. Не отходя от кассы.

Он яростно скрипнул зубами, и артиллерист, не говоря ни слова, исчез.

Дзюбин взял письмо и спустился в свой блиндажик. Через минуту мы услышали его голос:

— Вы слышите? Фугаска упала прямо посерединке Дерibasовской улицы! Это же одна такая шикарная улица на весь Союз, наша Дерибабушка! Ай-ай-ай! Слышите, они разбили памятник Пушкину на бульваре Фельдмана... Кошмар подумать, что вытворяют эти фашистские жабы!..

Долго еще гремел у себя в блиндаже Дзюбин. Саша-с-Уралмаша сунулся было с утешениями, но Аркадий напустился на него:

— Шё ты сравниваешь? Ну шё ты сравниваешь? Шё ты вообще видел в своей жизни, ты, деревенщина!..

Аркадий вошел в раж. Он припомнил Саше все его ошибки, все задержки пулемета, все неточности в корректировке огня. Заодно гиганту досталось и за его медлительность, молчаливость, за его тяжеловесное глупокомыслие — все, что так раздражало пылкий, нетерпеливый нрав одессита.

Из землянки пулеметчиков доносились скрипучие крики Дзюбина:

— Почему это мне так не везет? У людей вторые номера как вторые номера. А у меня какая-то медуза, прости господи, заместо человека. Молчи, не возражай, не действуй мне на печенку!..

Саша только тихо сопел под этими стрелами южного красноречия. Особенно оскорбляло его непонятное слово «медуза». Ярость гиганта разгоралась медленно. Аркадий знал ее признаки. Увидев, что глаза Сашины начали темнеть, а руки сжимаются в кулаки, Аркадий вынул из вещевого мешка мандолину. Это была настоящая итальянская мандолина, сработанная в Одессе старым чехом Драгошем. Трудно понять, как Аркадий ухитрился пронести этот хрупкий инструмент сквозь огонь военных передряг. Но он таскал ее в мешке по всем фронтам, как кусок своей любимой Одессы, и ухаживал за ней не меньше, чем за своим пулеметом.

Вывув мандолину, он взял шикарный аккорд и запел своим резким, но верным голосом:

Надену шляпу я,
Вабегу по трапу я,
Махну в Анапу я,
Там жизнь легка...

И глаза гиганта постепенно светлели, а грубое лицо его становилось мечтательным и трогательно нежным.

А Дзюбин все пел одну песню за другой. О кочегарах: «Товарищ, не в силах я вахты держать...» О любовных муках некоего благородного вора: «...и слезы катятся, братишечка, в тумане по исхудалому моему лицу...» И, наконец, свой коронный номер — песню о портовых грузчиках, из которых он сам происходил:

Грубое лицо у меня впереди,
Грубая спина у меня позади
И нежное сердце в груди...

Мандолина звенела. Скрипучий голос Аркадия звучал по-необычному мягко и мелодично. Казалось, что в этих песнях изливается вся его душа, нежная, печальная, мечтательная.

Но тот не знал Аркадия Дзюбина, кто не видел его в бою.

2

Он лежит на земле среди картофельной ботвы. Он широко раскинул ноги носками наружу, как и полагается наводчику, левая рука под прикладом пулемета, правая на спусковом крючке. Маленький круглый глаз не мигая смотрит в прорезь прицела. Временами он поворачивает лицо, бледное, с задорными усиками, в сторону лейтенанта Рудого, ожидая команды. Но нет команды стрелять.

Чуть позади и чуть правее распластал на земле свое огромное тело Саша-с-Уралмаша. Инструмент и запасные стволы у него под руками. Он приготовился подавать магазины, наблюдать, советовать, как и полагается второму номеру. Но нет команды стрелять.

Я следую с этим взводом четвертый день. Сейчас мы все лежим в поле. Впереди золотая пыль солнечного заката. В ней чернеют неясными пятнами избы и палисадники. Это деревня Р. Нам приказано взять ее к восемнадцати ноль-ноль. Я дважды поднимался и помогал раненым отползти назад, в рощицу. Сейчас восемнадцать двадцать.

Вначале я понимал отсутствие движения как особый тонкий замысел лейтенанта Рудого, как хитроумный маневр, который должен привести к внезапной и эффект-

ной победе, вроде того, как это происходит в картине «Чапаев».

Но вот, я слышу, уже второй раз телефонируют из штаба батальона и спрашивают — до каких, собственно, пор мы собираемся лежать? Еще несколько раненых уползают в рожицу. Рудой нервничает. И я понимаю, почему мы не можем двинуться вперед. Нам мешает огонь немецких автоматчиков. Мы не можем пробиться сквозь этот низкий и хлесткий огонь.

Аркадий вглядывается куда-то в даль. Я неуверенно поглядываю на других бойцов.

Потом Аркадий обернулся к Саше и ткнул пальцем вправо, в какую-то кучу, темневшую вдаль.

— Шёб я пропал,— проскрипел он,— если в этой соломе не сидят минимум две жабы с автоматами.

— Какая ж то солома, то сено,— с презрением сказал Саша.

— Это особой роли не играет,— сказал Аркадий и пополз вперед, придерживая пулемет.

Гигант смотрел ему вслед с явным волнением.

Тощее змеевидное тело Аркадия ловко извивается между неровностями почвы. Иногда оно пропадает за холмиками и буграми. Потом появляется снова. Вот он замер, прильнул к земле, сливается с ней. Глаза устают смотреть на него. Перестаешь понимать: Дзюбин это или кочка? Но нет, кочка двинулась. Саша отвернулся, он не мог смотреть. Он только изредка спрашивает:

— Ползет?

— Виден.

— Виден?

— Ползет.

А потом вдруг сосед сказал:

— Больше не виден.

И действительно, Аркадий пропал. Люди посмотрели друг на друга с значительным видом,— знаете этот взгляд, когда все понятно без слов?

Саша приподнялся, забыв о пулях, визжавших над головой.

— Да вот же Аркадий! — крикнул Саша.

И верно! Это его долговязая фигура у самого стога. На фоне заката все так четко. Мы видим, Аркадий делает два резких движения рукой.

— Гранаты бросил! — задыхаясь, шепнул Саша.

Два взрыва! Черный столб дыма закрывает солнце. Стог горит. Из него выбегают три силуэта в коротких

куртках с автоматами в руках. Аркадий припадает к пулемету. Очередь, молниеносная, мастерская, — и немцы валятся.

Рудой ведет нас вперед, и мы бежим к деревне, стреляя, и связисты бегут за нами, пригнувшись, размазывая катушки.

Скоро околица. Новый шквал огня. Мы залегли. Огонь хлещет из-под домов. Немцы подрылились туда, у них там, оказывается, блиндажи. С чердаков они стреляют тоже. Появился Аркадий. Лицо его в копоти. Рукавом он стирает пот и еще больше размазывает грязь по лицу. Только глаза блестят чисто и весело. Саша ползет к нему. Аркадий устраивает свой пулемет на гребне воронки от снаряда.

— Что не взял меня давеча? — сурово говорит Саша и располагается рядом с ним.

Аркадий не отвечает. Он ушел в работу. Он стреляет с такой же страстью, как и поет или ссорится. Дуло его пулемета некоторое время подрагивает, как нос легавой на стойке. Аркадий словно вынюхивает цель. И вдруг дает очередь. Полуобгорелая изба слева смолкает.

А Аркадий уже на новом месте, у остатков плетня, когда-то, видимо, огораживавшего поле. Мгновенно втыкает он сошки пулемета в землю и снова строчит. При этом он крикает и что-то бормочет сквозь стиснутые зубы. И если прислушаться, то можно разобрать:

— Вот тебе за Дерибабушку, зараза. Вот тебе за памятник Пушкину... На, кушай...

Саша лежит рядом и басит:

— Два пальца вправо... Так. Точно.

К плетню тем временем подползает с новыми дисками подносчик патронов Галанин, ленинградский студент из добровольцев. На юном лице его изумление: «Где Аркадий?»

А Аркадий с Сашей опять на новом месте, у кучи бревен. Он поминутно меняет позиции. Он стреляет то короткими очередями, то длинными, то одиночными выстрелами. Он находит цель по вспышкам, почти незаметным сейчас, при дневном свете, по едва уловимым шевелениям за углами домов, по слишком желтому цвету травы, маскировавшей бойницы и давно засохшей, а иногда просто по звуку. Найдя цель, он вламывается в нее своим огнем с быстротой почти непостижимой. Каждая его очередь поджигает дом, прошибает укрытие, настигает перебегающих немцев, валит их, косит, каж-

дую очередь он сопровождает своим яростным бормотанием про какие-то улицы, бульвары, морские купальни, ресторанчики, про дорогие его одесскому сердцу скалы Ланжерона и белые акации Пале-Рояля.

Внезапно с другого края деревни взлетает ракета. Она рассыпается в вечеряющем воздухе белым огнем. Задравши головы, мы смотрим на нее. И в ту же минуту мы слышим пальбу и крики «ура». То пошел в атаку другой наш взвод, обошедший деревню с тыла. Его повел политрук Масальский.

И вдруг скрипучий крик:

— За мной!

И мы видим — встал Дзюбин. Он пошел вперед, насмешливо и грозно поглядывая по сторонам и выставив перед собой пулемет, притороченный ремнями к туловищу. Рядом шагает своим медвежьим шагом Саша-с-Уралмаша, держа в одной руке винтовку, а в другой свое маленькое хозяйство второго номера — коробку с запасными магазинами и сумку с инструментом.

— Вперед... — попытался снова крикнуть Аркадий, но вместо ожидаемого могучего крика из его груди вырвался жалкий писк. От большого усилия он сорвал голос.

Он тогда поворачивается к Саше и гневно хрипит:

— Давай голос!

И тот мощным, каким-то девственным басом закричал, перекрывая пальбу:

— Вперед! За родину!

И ринулся вперед. Все — за ним. Аркадий тоже. Все же он успел повернуться, насмешливо подмигнуть мне в сторону Саши и прохрипеть:

— Ничего голосок у мальчика, а?

А Саша был далеко впереди. Винтовку свою он схватил за конец ствола, и, действуя ею, как дубиной, замешался в толпу немцев. Долго была видна его гигантская фигура. А потом он исчез в сутолоке боя.

3

Уже стемнело, когда мы взяли деревню. Остатки немцев отошли к дачной местности П., где у них был сильный оборонительный узел.

На маленькой круглой площади происходит встреча с политруком Масальским, который брал деревню с ты-

ла. Это рослый краснолицый атлет с оглушительным голосом, настоящий воин по наружности и повадкам. До войны он был доцентом кафедры истории искусств. Он уговаривается с лейтенантом Рудым о ночлеге для бойцов и о расстановке сторожевого охранения.

Мы бродили по улицам, с любопытством осматривая следы пребывания немцев. Мало изб сохранилось здесь. Среди обгорелых развалин торчали, как журавлиные шеи, длинные голые дымоходы. Станным образом уцелело двухэтажное здание сельсовета.

Возле него стояла целенькая немецкая штабная машина. Она была размалевана для маскировки в желтое и черное. За рулем в позе спящего человека сидел убитый шофер. На рукаве его белая свастика и пониже крылатое колесо.

От крыши сельсовета поперек улицы висело длинное белое полотнище. На нем было крупно написано: «Langsam fahren. Ohne Signalen!»¹

На перекрестке стоял дорожный знак — стрелка с надписью: «Nach Leningrad». К стене сельсовета была прикреплена листовка с лубочным изображением солдата на берегу реки и надписью: «Германский зольдат на реке Вольга».

Мы заглянули в сельсовет. Пол был закидан полуобгорелыми бумагами и расстрелянными гильзами. На подоконнике валялся подбитый крупнокалиберный пулемет. В углу на сенниках лежали два трупа — босая девушка в разорванном платье, с окровавленной головой и гитлеровец без куртки, вверх спиной, между его лопатками торчал кухонный нож. Мы постояли над ними, стараясь разгадать, какая драма разыгралась здесь незадолго до нашего прихода.

Из второго эшелона примчался старшина на полуторке. Мы сгрузили с нее термосы с обедом. Полуторка спешила обратно в тыл. Мы положили на нее немецкие шинели, минометы, винтовки и прочее трофейное добро. Туда же поместили четырех пленных. С ними сел Галанин, наш подносчик патронов. В свободное время он работал переводчиком. Я попросил его завезти на полевою почтовую станцию маленькую корреспонденцию, которую я только что набросал. Ребята тоже надавали ему писем. Их набрался целый мешок, после боя много пишут.

¹ Ехать медленно! Без сигналов! (нем.)

Немцы опасливо поглядывали на нас. Галанин перегнулся через борт машины. В полумраке белесой северной ночи весело сверкнули его зубы. Он сказал нам, кивнув в сторону пленных:

— Трусят! Ай, как же они трусят! Все время спрашивают меня: «А нас не убьют? Мы все скажем, пусть только нас не убивают».

И он засмеялся своим счастливым, молодым смехом. Было тихо кругом, свежо, хорошо пахло.

Из темноты раздался сердитый хрип Аркадия:

— Шё ты смеешься, Галанин? Какие тут могут быть смешочки? Эти жабы понаделали таких гадостей, шё это в мире не видано. Они это понимают. Оттого они чересчур волнуются, когда попадают к нам.

— Нет, почему ж, Дзюбин, — сказал Галанин назидательным тоном, — нельзя так огулом. И среди гитлеровцев, без сомнения, есть приличные ребята.

— Ты эти номерочки оставь, студент, — сказал Аркадий свистящим от ярости шепотом. — Это тебе не университет. Я что-то пока не заметил среди гитлеровцев приличных ребят. Возьмем, например, финских фашистов, этих... как их, шюцкоровцы, что ли? Тоже не ай-ай-ай. Тоже порядочные дешевки и жабы. Но все-таки в них есть какое-то самолюбствие. А эти? Солдаты дерьмовые, без танков ни на шаг. Сами вшивые, пьяные, в голове одно — набить кишки на шермака, шё-нибудь стянуть, занять где-нибудь девочку. Ни один из них не пропустит случая шё-нибудь поломать, шё-нибудь пожечь, кого-нибудь повесить, и причем желательно за ноги, шёб помучить. Так это люди?

Он помолчал и прибавил с угрюмой злобой одессита:

— Может, одни только румынские фашисты еще хуже за их...

Успокоившись немного, он сказал:

— А шё, ребята, никто не видел этого раззяву Сашу?

— Не волнуйся, Дзюбин, — сказал санитар Гладышев, — среди убитых его нет.

— Кто волнуется? — огрызнулся Аркадий. — Я волнуюсь не о нем, я волнуюсь об том, шёб он почистил пулемет.

Мы пошли на ночевку в темный еловый лес за деревней. Поспать, поспать! — вот от чего мы никогда не могли отказаться. Мы растянулись на мягкой толстой хвое. Едва прильнули мы щеками к изголовьям — ран-

цам, каскам, противогазам, — как тотчас впали в длинный и крепкий, как в детстве, сон.

Один Аркадий не спал. Он бродил меж деревьев, склонялся над бойцами и пускал им в лицо луч своего фонарика. А если кто просыпался, Аркадий спрашивал:

— Извиняюсь, вы, часом, не видели моего дурня?

Он вышел на опушку леса и стал здесь, опершись на пулемет и беспокойно вглядываясь в даль своими маленькими повелительными глазками. Плащ-палатка, эта защитная мантия, скульптурными складками ниспадала вокруг его длинного, тощего тела. Так простоял он всю ночь. А утром появился Саша.

— Живой! — с возмущением сказал Аркадий. — Где ты пропадал всю ночь? Почему бросил грязный пулемет?

Гигант робко сказал:

— А меня увезли к командиру.

— К какому командиру? Шё, ты не можешь говорить быстрее?

— К командиру полка.

— Майору Чернову?

— М-гм.

— Зачем?

— А он хотел меня видеть.

— Зачем? За-чем? Ты понимаешь русский язык?

— А он мне сказал: «Молодец, товарищ Свинцов, хорошо дрался, грамотно дрался».

— А шё ты такое сделал?

— А я поклат немножко фашистов в рукопашной.

— Сколько?

— А я семерых поклат.

Аркадий молча смотрел на Сашу.

Саша виновато переминался на своих слоновых ногах, бормоча:

— Пулемет-то я сейчас почищу, так уж вышло, понимаешь...

— Не, кроме шуток, семь штук?! — закричал Аркадий, и его худое надменное лицо расплылось в довольной улыбке. — Вот это да! Вот это спасибо! Поддержал марку пулеметного расчета.

И своей длинной тонкой рукой он крепко потряс тяжелую Сашину руку. Гигант покраснел от радости. Похвала друга была для него, пожалуй, не менее дорога, чем боевая медаль, к которой он был представлен за это дело.

На следующий день, когда отражали контратаку, Аркадия и Сашу постигла неприятность. Снаряд разорвался возле них. Они окликнули друг друга:

— Жив?

— Жив?

Потом они поднялись, стряхивая с себя землю, и разом вскрикнули в гневном изумлении: кругом валялись исковерканные остатки пулемета, их дорогого «примуса», как они его называли.

Запасного пулемета в этот момент под рукой не оказалось. Надо было ждать, пока доставят новый из тылового склада. А пока что лейтенант Рудой приказал Аркадию взять винтовку.

— Дожил до старости лет, — горько сказал Аркадий

А к ночи, пошептавшись о чем-то с лейтенантом, он исчез.

Теперь для Саши наступило время тревожиться и не спать всю ночь, и в тоскливом волнении бродить по лесу, разыскивая Аркадия, а может быть, его бездыханное тело.

Но час Аркадия Дзюбина еще не пробил.

На рассвете он появился. Вид у него был измученный, но довольный. За спиной висел немецкий ручной пулемет. Он стал было рассказывать Саше о своих ночных похождениях. Но рассказ плохо давался Аркадию. Он падал от усталости. Вскоре он пошел в землянку и лег спать.

А Саша разостлал под деревом кусок брезента и положил на него пулемет. Собралась кучка бойцов, с интересом приглядываясь к незнакомому оружию.

— Не нравится мне этот примус, чудной какой-то, — пробормотал Саша.

Тем не менее он ловко и быстро разобрал его. Отсутствие инструмента не мешало ему. Он отвернул ствол голыми пальцами, которые, казалось, были не менее крепки, чем сталь пулемета.

— А як же Аркадий достав цей кулемет? — спросил Окулита, наводчик из другого пулеметного расчета. В голосе его была профессиональная зависть.

— Спроси его, — холодно сказал гигант.

Он был обижен тем, что Аркадий не взял его ночью с собой.

Он придвинул к себе банку со щелочью и опустил в нее конец ствола. Потом навертел на шомпол аккуратную подушечку из пакли, осторожно ввел ее в канал

ствола и принялся водить шомполом взад-вперед, с удовлетворением прислушиваясь к аппетитному чавканью, какое издавала мокрая пакля, снуя по стволу.

Потом он поднял ствол и заглянул в него одним глазом, как в подзорную трубу.

— Я б тому немцу дал четыре наряда за небрежное хранение оружия, — сердито сказал он.

Из землянки вылез Аркадий. Он спал не более часа, но был свеж и весел. На губах его играла обычная насмешливая и слегка надменная улыбка. Он с удовольствием подставил лицо под еще не жаркое солнце. В руках у него была консервная банка, и он то и дело запускал в рот ломти сочного жирного мяса. Самодовольно улыбаясь, он посмотрел на пулемет.

— Дэ ж тоби, Аркадий, высторчило цей кулемет? — спросил Окулита.

— Личный подарок генерал-фельдмаршала фон Леба, — сказал Аркадий, зевнув.

— Я ж тэбэ справди пытаю.

— Ну как такие вещи достаются, дружочек? Одним солдатом в фашистской армии меньше, одним пулеметом в Красной Армии больше. Конечно, до нашего примуса ему далеко. Но зато дорог как память.

— Что меня не взял с собой? — сурово сказал Саша.

— Тебя?

Аркадий посмотрел на Сашу с веселым озорством. Гигант беспокойно заерзал, предчувствуя недоброе. И действительно, Аркадий продолжал, повысив голос, чтобы привлечь к себе внимание:

— Тебя? Шёб ты мне своим сопеньем разбудил всю фашистскую армию? Саша, дружочек, Расскажи человеку, как ты один раз поднял на ноги целую германскую дивизию СС.

— Трепаться-то брось, — сказал Саша, покраснев.

Но Аркадий, у которого всегда была в запасе какая-нибудь издевательская история о Саше, продолжал:

— Сашенька наш где-то в бою достал трофейный маузер. Знаете, такой здоровецкий, как пушка. И красивый, никелированный, с какой-то немецкой надписью. Шикарная вещь. Ему сколько раз меняться предлагали. Но Саша ни в жисть не хотел расстаться со своим маузером. Только ему никак не удавалось из него стрелнуть. Он же в атаку идет без оружия, он клепает фашистов кулаками. Сами видите, мальчик здоровый.

Кругом засмеялись. Санитар Гладышев, мужчина серьезный, обстоятельный, сказал неодобрительно:

— Ну, пошел гвоздить своего дружка.

Саша пригнулся к Аркадию и сказал угрожающе:

— Говорю, трепаться-то брось!

Аркадий, не слушая, продолжал:

— Ну так вот, как-то на нашем участке было затишье, и Саша решил попробовать свою пушку. Он потопал куда-то далеко в лес. Там он, значит, сорвал беленький цветочек, нежненький такой, ромашка чи шё, и прицепил его к дереву заместо мишени. Ну хорошо. Сам отошел шагов на тридцать, нагнул свою умную голову, прицелился и пальнул. А у маузера, знаете, звук здоровый, как у хорошей морской шестнадцатидюймовки, честное слово. А Саша пальнул еще раз и еще раз. Все не мог в свою ромашечку попасть. И вдруг с левого фланга как жажнули немецкие минометы — они в полукилометре стояли. А за минометами как вдарили пулеметы. А немецкая полковая артиллерия услышала этот шум и тоже давай крыть. Даже, кажется, авиация вылетела и бомбила. И все по этой ромашке и по Саше. Они, наверное, подумали на Сашин маузер, шё это мы артподготовку повели перед наступлением. Так Саша еле живой из лесу притопал. И сейчас же давай менять маузер. Ну конечно, цена на него после такого случая здорово упала. Шё вам говорить! Саша отдал свою пушку за пятьдесят граммов махорки. И знаете, шё я вам скажу? Он сделал хорошее дело. Так, на вид, маузер был ничего. Но если покопаться, так у него недоставало самой главной части.

Аркадий интригуяще замолчал, ожидая вопроса. Но никто не решался спросить, зная каверзную манеру Аркадия ошарашивать ехидным ответом.

Не выдержал сам Саша.

— Что выдумываешь? — сказал он. — Маузер-то был в полном порядке. Кака така главна часть в нем недоставала?

— Кака? — сказал Аркадий, торжествующе блеснув глазами. — А какая главная часть каждого оружия? Главная составная часть каждого оружия, дружок, — это голова его владельца. Вот этого твоему маузеру и не хватало.

Как всегда, поднялся хохот. Аркадий, смеясь, глянул на Сашу, ожидая увидеть то беспомощное и растерянное выражение, которое он так любил вызывать на грубом и милом лице своего друга.

Но, против обыкновения, Саша-с-Уралмаша оставался спокоен. Он отложил в сторону собранный и смазанный пулемет, основательно оперся своей широкой спиной на ствол сосны и посмотрел на Аркадия даже с некоторым вызовом.

— Вот, ребята, — сказал Саша, — Аркадий-то про меня байки рассказывает. А пускай он вам лучше свои-то сапоги покажет.

Аркадий быстро подобрал ноги. Однако все успели заметить, что он обут не в обычные свои яловые сапоги, а в старые ботинки с обмотками.

— Видали? — сказал Саша. — Аркадий, расскажи, желанный, человеку, — в каком это месте ты свои сапоги-то посеял? Не хочешь? Да я сам, пожалуй, расскажу.

— Шё ты людям голову морочишь! — вскричал раздосадованный Аркадий. — Людям через час в бой идти.

— Давай, Сашка! Рассказывай! Вали! Крой! — закричали со всех сторон.

— Вчерась ночью Аркадий пулемет, видали, притащил. Это он немецкого часового тюкнул втихую. Ну и задал стрелача. А немцы хватились — и за ним в погоню. А он от них сиганул куды-то влево. И чувствует — идти не может. Кто-сь его за ноги держит. И молчит. Он того финкой пыряет. И финку обратно не взять. Тот финку хватает и держит. И ноги держит. И молчит. Что за нечистая сила! «Ну, — думает Аркадий, — вот я его сейчас!» И лопатой его — жах! А он лопату хватает и держит. И финку держит. И обе ноги Аркадия держит. И молчит. Тут Аркадий, на что храбрый воин, взвыл с перепугу-то, да как рванется — и чуть ноги из зада не вырвал, ей-богу!

— О-го-го! — хохотали кругом. — Ну и что?

— Вырвался и побежал. Только чувствует — бежать-то легко-легко. Смотрит себе на ноги — ноги-то босые. Сапоги у того остались. У молчаливого.

— А кто ж то был?

— Болото! Это Аркадий с болотом всю ночь резался. А болото молчало. Оно, брат, хитрое.

Бойцы покатывались со смеху. Громче всех смеялся Саша. Видимо, он был очень доволен, что сумел поддеть Аркадия. В конце концов и Аркадий махнул рукой и расхохотался.

Долго катился по лесу, вспугивая белок и птиц,

крепкий, солдатский смех, такой раскатистый, такой неудержимо веселый, словно всем этим людям не предстояло через какой-нибудь час идти в жестокий бой, откуда многим из них (и они знали это) не суждено было вернуться живыми.

4

Мне пришлось уехать в другие части Ленинградского фронта, и я надолго потерял из виду Аркадия и Сашу.

Пришел октябрь, пришли с ним туманы. Они не принесли облегчения. Напротив, немцы избегали летных дней, они не любили встречаться с нашими истребителями. А в тумане им легче удавалось прошмыгнуть к Ленинграду и среди дня набросать бомб.

В тот день, когда я снова встретил Аркадия и Сашу, погода выдалась на редкость хорошая. Солнце, ясное бледно-голубое небо, видимость километров на двадцать. И все же немцы прилетели. Но то был особенный день.

Аркадий и Саша, гремя подкованными сапогами, шагали по улице Желябова.

Внезапно заревели гудки, над городом пронесся трескучий и хриплый вой воздушной тревоги. Улицы опустели. Остановились трамваи. Город стал похож на кинокартину в тот момент, когда она рвется и неподвижно застывает на экране.

Высоко в небе кто-то невидимый быстро чертил белые пушистые полосы. Там, на страшной высоте, реяли над Ленинградом фашистские самолеты. Раздались первые разрывы зениток.

Оба фронтовика не спеша шагали по пустынной улице, с хладнокровным любопытством оглядываясь по сторонам. Они были в касках, широкие штyki висели у них на поясе, сапоги были покрыты рыжей пылью фронта. Они прибыли с передовых. В те дни на это требовалось не более часа времени.

Мы поздоровались, и Аркадий сказал:

— Ну шё вы скажете на этот шум? А мы приехали за боеприпасами. Так пока они грузятся, мы решили сходить в универмаг. Ребята просили кое-что привезти, лезвия для бритвы, знаки различия, подворотнички и прочее. Мне лично нужны струны на мандолину. Между прочим, вы не забыли, какое сегодня число? Сегодня...

В эту минуту раздался оглушительный взрыв. Зазвенели стекла. Нас хлестнула воздушная волна. Мы вскочили в подворотню. Недалеко за домами поднялся багровый столб дыма. Раздались еще три взрыва. Под ногами качнулась земля.

— Четверку положили, жабы, — пробормотал Аркадий.

Он посмотрел на меня со значительным видом и сказал:

— Так сегодня мы имеем пятнадцатое октября...

Неистово грохотали зенитки. Железный дождь осколков стучал по крышам. Да, это была работа для ушей! Тонко и прерывисто звенели в вышине немецкие самолеты. Изредка слышалось глухое уханье падающих бомб. Со стороны залива мощно рывкала морская артиллерия. Сквозь этот грохот доносилась отдаленная пальба фронтовых орудий.

В этот день — пятнадцатого октября сорок первого года — генерал фон Лееб поклялся взять наконец Ленинград. Правда, он передвигал этот срок трижды. Но никогда еще фашистские полчища не подходили к городу так близко.

Двадцать германских дивизий рвались к Ленинграду отовсюду. Это были лучшие полки, старые вояки, полкорителы Норвегии, Франции, Крита. Впереди шли отборнейшие из отборных — эсэсовские отряды с мертвыми головами на рукавах и с жаждой убийства в сердцах. Ничто в Европе до сих пор не могло противостоять им. Они уже видели смутные очертания города.

Да! Видение города стояло перед ними, видение богатого, прекрасного города. Сотни танков грохотали по всем дорогам, ведущим к Ленинграду.

Город напрягся в героическом усилии. Рабочие, служащие, штатские люди, официанты ресторанов, счетоводы, регистраторы жилищных отделов влились в отряды народного ополчения. В трамвае они прибывали на фронт и, вооруженные бутылками с горючим, кидались навстречу танкам.

Балтийские моряки сошли с кораблей в окопы. Они шли в атаку во весь рост, забрасывая немцев гранатами и поощряя друг друга лихим морским свистом. И эсэсовские полки, носившие пышные названия — «Великая Германия», «Север», «Адольф Гитлер», — попятились перед этим неслышанным натиском.

К западу от города бился латышский полк. Латыши дрались стойко, верные своей национальной традиции не отступать, еще более молчаливые, чем всегда. Летчики кидались в неравные бои, каждый из них насчитывал по нескольку сбитых самолетов. Зенитки работали без смены, и весь Ленинград повторял имя лейтенанта Петюнина, маленького, веснушчатого, с простуженным голосом, — он сбил в течение дня семь «юнкерсов», одного за другим.

Всеми этими частями командовал в те дни генерал Федюнинский, герой Халхин-Гола. Плотный, чернотусый, со смелыми, насмешливыми глазами, он поспевал всюду, где кипел бой. Судьба хранила его. Несколько раз снаряды взрывались на том месте, где минуту назад был он. Этот невиданный бой достиг наибольшего напряжения к середине дня пятнадцатого октября, когда Аркадий и Саша вышли из универмага, нагруженные покупками.

Машина их еще не была готова. Они прошлись по городу. Саша раза два звонил кому-то по автомату. «Есть у меня тут землячок один, — сказал он удивленному Аркадию, — да вот дома его все нет...»

У Финляндского вокзала они увидели памятник. Он был обложен мешками с песком. Милиционер объяснил фронтовикам, что это памятник Ленину. Ильич стоит на броневике и, простерши руку, держит речь к народу.

Друзья постояли возле памятника, стараясь вообразить его очертания.

Аркадий сказал задумчиво:

— А все-таки хорошо, что Ильич укрыт от осколков.

— Хорошо, — согласился Саша.

— А все-таки жаль, что он нам не виден.

— Жаль, — подтвердил Саша.

Они помолчали, и Саша сказал, запинаясь:

— Слышь, Аркадий, что думается мне. Думается мне: Ильичу-то глянулось бы, как мы бьемся за его город. Право!

Он замолчал, боясь насмешек Аркадия, который не выносил никаких чувствительных разговоров.

Аркадий молчал. А потом он сказал, скрипнув зубами, как он это делал в минуту сильных переживаний:

— Раньше, Сашка, я страдал, шё воюю не под Одессой. А теперь страшно нравится, шё я не даю этим жабам войти в город Ильича.

Они пошли дальше, и Саша снова побежал к автомату.

Аркадий решил проверить эту таинственную историю. Он подкрался к телефону и прислушался.

Саша с трудом втиснул себя в будку. Он растерянно мямл трубку в огромном кулаке и орал:

— А где же она?.. А в той артели есть телефон?.. А когда она вернется?

Непрекращающийся гул артиллерии мешал ему слушать.

Он вышел, и Аркадий немедленно заявил ему:

— А твой землячок, оказывается, в юбке?

Саша смущенно засмеялся и вынужден был признаться, что у него есть здесь знакомая, как он выразился, «барышня», по имени Тася, и что он с ней познакомился месяц назад, когда приезжал в Смольный для получения своей боевой награды из рук члена Военного совета фронта.

Они достигли Невского и здесь поглазели на «Окна ТАСС» в витрине Гастронома № 1. Постояли, качая головой, у огромной воронки возле Александринского театра. Почитали расклеенное на домах объявление Ленисполкома, которое предписывало всем магазинам, парикмахерским и столовым во время воздушной тревоги не прекращать работы.

Потом они подошли к кафе «Астория». Обычно в это время здесь стояло много людей в очереди на обед. Сейчас из-за тревоги очередь разбрелась по соседним убежищам и по блиндажам, вырытым в сквере напротив «Астории». Друзья зашли в кафе.

Здесь было много народу. Свободные столики были только возле окон, где обычно избегали садиться во время тревоги. Аркадий и Саша сели у окна и огляделись. На столиках мягко светили лампы под шелковыми колпаками. Высокие окна снаружи были наглухо забраны досками, а изнутри завешены тяжелыми портьерами, и пулеметчикам казалось, что здесь необыкновенно уютно. Они попросили обедать, и заведующая из уважения к их фронтовому виду поставила им по бутылке пива.

Грохот зениток иногда удалялся, становясь еле слышным. И тогда бойче начинала звенеть посуда, громче звучали разговоры и смех. То вдруг огонь зениток приближался, и тогда все в кафе стихало, прислушиваясь.

Сквозь стены пробились жужжание мотора, тонкое, настойчивое. Зенитки загрохотали сильно и часто. Видимо, палили с соседних крыш. Потом раздался свист, тот тонкий, воющий, умопомрачительный свист, с каким бомба, падая, раздирает воздух. Он нарастал секунду, две, три... Где-то разбилась тарелка, упал стул.

И потом — страшный грохот, словно расколосось небо. Дом качнулся. По полу пробежала волна. Все сбежали в убежище. В кафе, кроме Аркадия и Саши, остались два лейтенанта, громко и наперебой вспоминая какое-то дело под Кингисеппом, пожилой актер, уплетавший свой суп с азартом изголодавшегося человека, да капитан-связист, который тщетно пытался заказать обед. Заведующая несколько нервничала и плохо его слушала. Пользуясь ее подавленностью, Аркадий раздобыл еще пару бутылок пива.

Поев, друзья закурили. Аркадий, разомлевший от пива, нежно бормотал:

— Нас с тобой, Саша, ничего не берет. Ни снаряд, ни пуля, ни мина, ни бомба. Тьфу, тьфу, шёб не сглазить. А жаль будет после войны расставаться. Я к тебе очень привык, Саша.

— И я к тебе, Аркаша, — с чувством сказал гигант.

— А зачем нам расставаться? — воскликнул Аркадий. — Разве черноморский грузчик и рабочий с Уралмаша не могут жить вместе? У нас в Одессе, знаешь, если дружат, так дружат до отказа.

Саша слушал с восхищением. Бесконечные рассказы Аркадия привели к тому, что у Саши сложилось представление об Одессе как о сказочной стране, где под вечно голубым небом, среди благоухания цветов живет великодушное, счастливое и богатырское племя одесситов.

— Так смотри же, возьми меня после войны в Одессу, — сказал Саша.

— Будь спокоен, — сказал Аркадий. — Я из тебя сделаю классного пулеметчика? Так я из тебя сделаю классного грузчика.

Он хлопнул гиганта по плечу и пошел к телефону позвонить насчет машины.

Из артсклада ответили, что машина тронется не раньше двадцати четырех ноль-ноль.

Друзья задумались, как бы им убить время до полуночи.

— А шё, если нам потопать до твоей знакомой девушки? — предположил Аркадий. — Или она встретит нас мордой об стол?

Саша обиженно возразил, что девушка его приглашала и что он ей, по-видимому, не противен.

— Смотрите на него! — с восхищением воскликнул Аркадий. — У него есть девчонка! Она в него безумно влюблена. И он это скрывал.

Когда они вышли на улицу, тревога кончилась. Трамваи зажигали свои синие огни. На вечеряющем небе рисовался шпиль Петропавловской крепости, затянутый в защитный чехол. Улицы были полны народа, шли служащие из учреждений, школьники из вечерних смен. На перекрестках девушки-милиционеры регулировали фонариками уличное движение. Пятнадцатое октября кончалось, и Аркадий, толкнув Сашу под локоть, сказал, насмешливо сощурившись:

— Ну, Саша, шё-то я не замечаю в Ленинграде генерал-фельдмаршала фон Лееба, а?

5

Недалеко от зоопарка друзья вышли из трамвая. Саша остановился у большого дома и сказал:

— Это, думается, здесь.

Они поднялись на шестой этаж по темной лестнице, не подметавшейся, видимо, с начала войны.

Дверь открыла им маленькая большеглазая девушка.

— Это она, — шепнул Саша своим громоподобным шепотом.

Девушка удивленно взглянула на него.

— Вам кого? — спросила она.

Саша смущенно закашлялся.

— Здравствуйте, Тася, — сказал он.

Девушка пожала худенькими плечами.

— А вы, простите, кто? — снова спросила она.

— Ты не ошибся? — сказал Аркадий.

— Нет, это она, — ответил Саша.

Девушка недоуменно переводила свои большие светлые глаза с одного пулеметчика на другого.

— Вы — Тася, — решительно сказал Аркадий, — а он Саша. Вы же его знаете. Саша-с-Уралмаша. Он мне про вас уши прожужжал. И, я вижу, стоило жужжать.

Шё ж вы нас держите в дверях? Мы специально с фронта приехали, шёб вас повидать.

Тася засмеялась и смахнула со лба белокурую прядь.

— Ну что ж, — сказала она, — заходите, раз вы уж здесь.

Они пошли по длинному полутемному коридору, освещенному синей маскировочной лампочкой.

Саша плелся сзади, повесив голову. Она его забыла! Она забыла те блаженные пять минут на задней площадке трамвая, когда он передал ей билет, а она кивнула головой и сказала: «Спасибо». А потом сошла, посмотрев на него, только на него из всех, кто был в вагоне, и он поднял оброненную ею открытку и потом опустил ее в ящик, но предварительно заучил наизусть ее телефон и адрес ее квартиры, той самой, по которой они сейчас шествуют — он сзади, а она и Аркадий впереди, весело разговаривая и смеясь. Как забывчивы девушки!

Тасина комната оказалась маленькой, но уютной. Друзья осторожно уселись на узенькой тахте. На стене висели фотографии немолодой женщины и девочки лет двенадцати. У обеих были такие же большие светлые глаза, как и у Таси. Был там также портрет М. И. Калинина и копия с картины «Расстрел 26 комиссаров».

«Приличная девушка», — одобрительно подумал Аркадий.

На столе лежали раскрытая тетрадка, циркуль и учебник по геометрии.

«Интеллигентная девушка», — с уважением подумал Аркадий.

Он учтиво осведомился, чем занимается Тася.

Она рассказала, что работает в артели по изготовлению металлической галантереи, брошей, пряжек и пр.

Она сняла с полки маленького скачущего оленя из отполированной стали.

— Это моя работа, — сказала она, нагнув набок голову и любуясь оленем, — называется: клипс. Надевают это на хорошее платье, знаете, в театр или в гости.

Аркадий шумно восхитился:

— Блеск! Высокий класс, кто понимает! Для дам высшего полета! А, Саша?

— Дак кому это сейчас в голове, — простодушно сказал Саша.

Аркадий посмотрел на Сашу с горьким сожалением

и, повернувшись к Тасе, выразительно развел руками: мол, что с него возьмешь, не понимает, пеня!

Но Тасю, казалось, короткое замечание Саши задело за живое.

Поколебавшись, она сказала:

— Сейчас, конечно, мы делаем другое... Мы сейчас точим оболочки для ручных гранат.

Аркадий свистнул с значительным видом: вот, мол, вы какими важными делами занимаетесь!

— А семья ваша, извиняюсь, тут же? — осведомился он, все так же учтиво тараща глаза на Тасю.

— Эвакуировалась мама с сестренкой, — сказала Тася грустно.

Аркадий сочувственно покачал головой.

— И вам надо уезжать, Тася.

— Уехать из Ленинграда? Нет, что вы, что вы! — вознегодовала девушка.

Она нетерпеливо смахнула русые волосы, напозавшие ей на глаза, и посмотрела на Сашу.

Он не отводил от нее глаз. И столько было в них неприкрытого любования, что Тася покраснела, отвернулась и принялась убирать со стола тетради и книги.

— Науками занимаетесь? — почтительно заметил вежливый Аркадий.

— Закрылась наша вечерняя школа, — огорченно сказала Тася.

— Ц-ц-ц! — соболезнующе зацокал языком Аркадий.

— Я ведь до восьмого дошла, — с гордостью добавила Тася.

— Что вы говорите?! — воскликнул Аркадий с таким восхищенным изумлением, словно Тася сообщила ему, что она избрана действительным членом Академии наук.

— Вот, чтобы не забыть, сама прохожу, — сказала она смущенно и уселась под окном.

Аккуратный вид комнаты портила фанера, вставленная в окно вместо стекол.

— Сегодня вылетели, — сказала Тася, — фугаска упала совсем рядом, в зоопарке. Говорят, убило слона.

Из коридора доносились голоса, скрипы дверей, топот детских ножек, бренчанье кастрюль, кто-то играл на фортепьяно. На друзей повеяло полузабытым за

время войны милым теплом домовитости. На минуту им взгрустнулось...

Но меланхолия не была в характере Аркадия Дзюбина. Он тряхнул головой и вскричал, насмешливо блеснув глазами:

— Я вас спрашиваю: так нужно было тому слону уезжать в Ленинград из своей родной Австралии чи Патагонии, где ему жилось, наверное, довольно недурно?

Тася засмеялась. Она оказалась хохотушкой. Живописные остроты Аркадия смешили ее до упаду. Она включила электрический чайник и выложила на стол несколько тоненьких ломтиков хлеба. Поколебавшись немного, она прибавила к ним три кусочка сахара из своего скудного ленинградского пайка. Она с некоторой гордостью посмотрела на стол — он ей показался пышным.

— Угощение просто царское, — вежливо ввернул Аркадий.

— Кушайте, кушайте, — сказала Тася, — вы приехали с фронта, вам надо подкормиться.

«Добрая девушка», — подумал Аркадий. Он подмигнул Саше, и они принялись извлекать из своих объемистых карманов жестянки с консервами, галеты, сырки в серебряных бумажках и прочие дары богатого и щедрого фронта.

Аркадий говорил не умолкая. Он говорил о Саше. Он снова рассказал историю о маузере, и о том, как Саша приехал верхом на фашисте, и много других. Но теперь он рассказывал все это, не издеваясь над Сашей, а, напротив, выставляя его храбрым, благородным и проницательным человеком.

Но Тасю интересовал не столько герой этих историй, сколько их рассказчик. Так, по крайней мере, казалось Саше Свинцову. Действительно, она смотрела на Аркадия во все глаза. Сногшибательные остроты Аркадия, черные стрелы его усиков, его одесская, несколько старомодная галантность и даже его черноморское произношение, певучее и намеренно небрежное, поражали ее. Она никогда не видела таких людей. И чем красноречивее распространялся Аркадий о достоинствах Саши, тем с большим восхищением смотрела Тася на Аркадия, посасывая горьковатый и необыкновенно вкусный шоколад, выложенный солдатами на стол.

Вдруг зашипел репродуктор. Девушка со страхом уставилась в его черную тарелку. И репродуктор проскандировал торжественным насморчным голо-сом:

«Граждане, воздушная тревога...»

А с улицы сквозь фанеру уже пробивался жалобный вой гудков.

— Господи, — вскричала Тася с тоской, — десятый раз сегодня! Что это за день такой!

Она пошла к дверям.

— Куда вы? — сказал Аркадий.

— В убежище.

— Смысл?

— Вы забыли, что мы на шестом этаже?

— Самый безопасный этаж.

— Знаете, мне не до шуток.

— Я вам серьезно говорю. Бомбы взрываются в самом низу. А верхние пять этажей они протыкают, как пирог. Поверьте мне: в чем, в чем, а в бомбах я немножко разбираюсь. Саша, скажи же девушке словечко, шё ты сидишь, как жених!

Аркадий взял Тасину руку, и, нежно поглаживая ее, продолжал молоть всякий смешной вздор. Тася улыбнулась, ей стало спокойно, хотя она продолжала вздрагивать при каждом выстреле зениток.

Она сказала, отняв руку и взглянув на Сашу:

— Знаете, у нас в квартире живет один старичок. Он, между прочим, никогда не спускается в убежище. Он профессор математики. Так он вычислил, что Ленинград занимает около ста квадратных километров. Потом он подсчитал, сколько места на этой площади занимает его тело. И в общем у него получилось, по теории вероятностей, что есть только одна десятиллионная часть возможности, чтобы бомба попала именно в него. И он никогда не спускается в убежище.

— Молодец! — сказал Аркадий.

Страшный грохот потряс дом.

— Нет, нет! — закричала Тася. — Я не могу!

И она выбежала.

— Мы вас проводим, — галантно сказал Аркадий.

В убежище было много народу. Некоторые спали, растянувшись на скамьях, а то просто на полу. Двое сонных мужчин и одна девушка играли в домино. Девушка бойко стучала костяшками с видом бывалой посетительницы убежища. В углу плакал бледный ребе-

нок на руках у матери. Маленький старичок в золотых очках пробирался, осторожно ступая между спящими.

— Профессор! — окликнула его удивленная Тася. — Вы здесь? Ведь вы же говорили, что по теории вероятностей...

— Мало ли что я говорил, — ворчливо перебил ее старик. — На весь Ленинград был один слон, и его сегодня разбомбило. Какие уж тут, матушка, теории...

Он махнул рукой и пошел дальше.

Аркадий, Саша и Тася пробрались в дальний угол.

Здесь был свободный краешек скамейки. Тихо сопе-ли мокрые водопроводные трубы. С улицы изредка доносилось заглушенное уханье, иногда вздрагивали стены. Тася уселась. Аркадий скомандовал:

— Саша, сидай.

И сел сам рядом с Тасей. И сразу принялся болтать, пересыпая речь остротами и анекдотами. Саша стоял рядом, неловко переминаясь с ноги на ногу.

Тася то и дело всплескивала руками и восклицала:

— Ой, не могу!.. Подумайте, надо же!.. Да ну вас!

И заливалась таким звонким, веселым смехом, что ей самой становилось стыдно. («В таком месте смеяться!») Она зажимала рот рукой. Но смех прорывался сквозь пальцы и, ударившись о низкие бетонные своды, гулко разносился по подвалу. И далеко по углам люди, заслышав его, хоть и не видя, кто смеется, улыбались и становились бодрее, словно глотнули свежего воздуха.

— Ой, а где же Саша? — хватилась Тася.

Она с беспокойством огляделась по сторонам. Но гигантской фигуры Саши нигде не было видно.

— Пропал ребенок, нашедшего просят считать своим, — проговорил Аркадий, скорчив шутовскую гримасу.

Тася нехотя улыбнулась. Аркадий начал рассказывать историю о некоем внезапно скончавшемся зубном враче, на свежую могилу которого родственники временно положили табличку, снятую с его дверей.

— И вот, понимаете, Тасенька, топают по кладбищу одна старушенция и видит на могилке: «Зубной врач Н. Н. Абрамов, прием от двух до семи». Представляете? Но слушайте, что было дальше. Старушенцию аж за-трясло...

— Все-таки я не понимаю, — прервала его Тася, — куда мог деваться Саша? Неужели он ушел?

Аркадий, обиженный тем, что его оборвали на самом эффектном месте, ответил раздосадованно:

— Шё, вы Сашу не знаете? Медведь с его зимней спячкой ребенок перед ним! Ночью, днем у нашего Сашеньки одна думка: добраться до чего-нибудь горизонтального и покемарить минуток шестьсот. Если хотите его видеть, пошуйте где-нибудь под скамьями.

Разделавшись таким образом со своим лучшим другом, Аркадий повел рассказ дальше:

— Так я, значит, продолжаю за тую старушенцию. Как увидела она на могилке: «прием от двух до семи»...

Тася слушала его рассеянно.

Где же был Саша?

Когда Аркадий сел рядом с Тасей и они принялись болтать, сблизив головы и смеясь, гигант постоял немного над ними, шумно вздохнул и незаметно для них вышел во двор.

Ночь была ясная. По небу ходили лучи прожекторов. Где-то недалеко горело, стена дома была розовой. Саша с наслаждением вдохнул чистый воздух и закурил папиросу. По двору скитались молодые парнишки в асбестовых капюшонах — бойцы противопожарной охраны. Близко зажужжал самолет. Саша тревожно вслушался. Привычным ухом он распознал звук «юнкерса-88». По крыше что-то часто застучало.

Один из парнишек авторитетно сказал:

— Спикировал. Пулеметом кроет.

— Какой там к черту пулемет! — закричал Саша. — Он к вам на крышу зажигалок набросал.

Он подбежал к пожарной лестнице и быстро вскарабкался наверх. Там занималось ослепительное пламя.

Крыша была покатая, по краю шел заборчик. Саша перемахнул через него и пошел на пламя. Чтобы не упасть, он широко расставил ноги и сильно наклонял вперед свой тяжелый торс. Иногда он касался кровли руками. Наконец добрался он до пламени. Двое парнишек, пытаясь, засыпали его песком. Саша взял у одного из них лопату.

— У меня-то дело, пожалуй, побыстрее пойдет, — пробормотал он.

И действительно, он загребал с одного маху столько песку, что через несколько секунд огонь погас.

Он побежал к другому очагу. Здесь дело было посерьезнее. Железо крыши прогорело, занимались стропила. Маленькая немолодая женщина суетилась вокруг пожара. Она попыталась залить его водой. У нее не было сил удержать тяжелый шланг, и она то и дело опускала его. Дыра на крыше ширилась. Обнажилась большая деревянная балка. Она дымилась.

— Сейчас проломит потолок. Ой, что будет! — кричала женщина.

Саша сорвал с женщины асбестовый капюшон и напялил его себе на руки. Он подвел руки под балку и сильно рванул ее. Балка скрипнула и подалась. Гигант поднял это пылающее бревно и швырнул его вниз, на улицу. Женщина, подняв голову, с восхищением смотрела на Сашу. Он казался ей сказочным богатырем.

— Иди, мать, вниз! — крикнул ей Саша. — Не ровен час сметет тебя воздушной волной.

Он побежал по крыше. Он действовал лопатой и ломом, а иногда просто руками и потушил еще несколько пожаров. Он тушил их с той силой и рассчитанной ловкостью, с какой делал всякую физическую работу.

Потом он спустился во двор. Здесь он тщательно почистил гимнастерку и брюки. Под краном он вымыл руки, лицо и причесался.

Несколько ребят из противопожарной охраны подошли к нему и спросили его имя.

— А зачем вам?

— Мы хотим объявить вам благодарность в приказе.

— Обойдется, — сказал Саша и побрел в убежище.

Здесь все спали. Спала Тася, прислонившись к сырой стене. Дремал Аркадий, свесив голову на грудь.

Саша потряс его за плечо. Аркадий открыл глаза.

— Где ты был? — спросил он, зевая.

— Погулял.

— А! — сказал Аркадий.

Он посмотрел на часы и забеспокоился:

— А наши игрушки уже, наверное, кончают грузить.

Пошли.

Он встал и посмотрел на Тасю.

— Пусть спит, — тихо сказал Саша.

Аркадий выгреб из кармана остатки конфет и положил их девушке на колени.

Ровно в двадцать четыре ноль-ноль друзья подошли к артскладу. Место в кабине занял воентехник второго ранга, сопровождавший груз. Аркадий и Саша сели наверху, на ящики с боеприпасами. Меня они устроили на почетном месте — под стенкой кабины, где ветер задувал не так сильно.

Мы ехали молча, глядя вдаль, на зарево пожара, бушевавшего на западе, в стороне Ораниенбаума. Поближе, в городе, пылал лесной склад. Пожар освещал нам путь. Артиллерия была не умолкая. С неба спускалась осветительная ракета на парашютике. Она горела нестерпимо ярко. Со всех сторон на нее накинудись зенитные пулеметы. Они прочерчивали ночь цветным пунктиром. Ракета потухла.

У заставы нас задержало нагромождение надолб. Мы медленно проехали по узкому коленчатому проходу, оставленному для машин.

Саша сказал:

— Она тебе глянулась.

— Кто? Таська твоя? Да я этого добра...

Аркадий усмехнулся и пренебрежительно махнул рукой.

Мы обогнали часть, идущую на фронт. Бойцы оглядывались на нас. Они шли по обочинам дороги.

— И ты ей глянулся,— сказал Саша.

— Я? Здрате пожалуйста!

Аркадий чувствовал себя немного виноватым. По обычаю рыцарской дружбы, господствовавшим в Одессе, он не имел права приударить за чужой девушкой. Кроме того, он видел, что гигант страдает, и ему захотелось утешить его.

Мы въехали в какую-то дачную местность. Канонада становилась глуше, пожары отдалились, от них остались только розовые отсветы на небе. Стало темней, и машина двигалась все медленнее.

— А она здорово влипла в тебя, Сашка,— сказал Аркадий,— она меня все расспрашивала, кто ты, да шё ты, просто надоела.

— Трепаться-то брось,— неуверенно сказал Саша.

— А шё такое? Ты красивый из себя парень.

— Какой же я красивый! — слабо сопротивлялся Саша.

— Ты?!

Аркадий принялся с азартом доказывать Саше, что он очень красив.

— У тебя же представительная фигура. На такой шее, как у тебя, готова повиснуть любая девушка. Во всем взводе нет парня красивше, как ты.

Аркадий не переставал говорить. Он ругал Сашу за то, что тот якобы холоден с Тасей.

— Очень красиво, да? Завлек девушку и бросил.

Он говорил с Сашей то нежно, как мать говорит с заболевшим ребенком, то прикидывался ревнивым и клялся, что больше никогда не пойдет с Сашей к девушкам.

— Шёб я пропал! Это же немыслимое дело — иметь успех рядом с тобой.

Кое-как ему удалось затянуть рану на пострадавшемся сердце гиганта.

Слегка запинаясь от стеснительности, Саша прошептал:

— Да разве я что говорю? Я сам вижу: таких-то девушек на белом свете одна-две — и обчелся. А уж какая красивая! Подумай, Аркадий, кабы не война, дак я ее и не встретил бы. Вот уж правда, кому — война, а кому — мать родна.

Гигант засмеялся тихим, счастливым смехом.

Мы проезжали мимо полуразрушенных дач, мимо заколоченных павильонов, мимо маленьких лодочных пристаней. Пахло морем. Справа был Финский залив. В темной дали его вспыхивали и гасли огни. То кронштадтские бастионы стреляли по ордам фон Лееба, обложившим Ленинград.

А Саша продолжал шептать. Темнота сделала его смелым. Впервые он раскрывал перед другом свою нежную, застенчивую душу:

— А уж как-то я люблю ее! Никому про то не скажу, ей не скажу, тебе одному говорю. Полюбил я ее враз и так сильно, так сильно, как в сейчасной жизни, наверно, уж никто и не любит. Знаешь, как я ее люблю? Почти что как тебя. Вот! Не пойму только, за что она меня-то полюбила? Верно, она тебе сказывала, ты с ней много говорил. Дак скажи мне — за что я ей так сильноглянулся? А? Чо молчишь-то?

Саша наклонился к Аркадию и заглянул ему в лицо.

Положив голову на ящик с ручными гранатами, Аркадий сладко спал.

Гигант тяжело вздохнул, скинул с себя плащ-палатку и заботливо укрыл Аркадия.

6

Машина вдруг остановилась. Было очень темно, только артиллерийские зарницы вспыхивали на небе. Мы услышали, как открылась дверь кабины, и потом — голос воентехника:

— А что, товарищи, кто-нибудь из вас знает точно, где штаб дивизии?

Аркадий мгновенно проснулся и ответил:

— Так я же давно удивляюсь на вас, куда мы едем, товарищ воентехник второго ранга. Штаб дивизии в больнице Фореля, в бывшем сумасшедшем доме.

— Вспомнили! — с досадой возразил воентехник. — Штаб еще вчера оттуда съехал.

Аркадий тихонько свистнул.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал он, — на один день нельзя смотаться с передовых, шёб шё-нибудь не случилось.

— Что же нам делать? — беспокоился воентехник.

Он немного нервничал. Он редко выезжал на фронт, и в эту грозную ночь осажденный и простреливаемый Ленинград казался ему отсюда тихой обителью. Он сложил руки коробочкой и закурил папиросу.

— Не курить! — раздался рядом голос.

Воентехник бросил папиросу и затоптал ее ногой.

— Пропуск! — сказал тот же голос.

Воентехник шепнул:

— Затвор.

— Ваши документы!

Зажегся синий фонарик, и мы увидели бойца с повязкой на руке и самозарядной винтовкой за плечом. Это был один из тех «маяков», которых выставляют части, квартирующие вдоль дорог. «Маяк» внимательно разглядывал наши удостоверения.

— Шё вы так долго копаетесь? — сказал Аркадий. — Шё, вы не видите: «Гуляй лихо»?

И он ткнул пальцем в буквы «Г. Л.», отштампованные на наших удостоверениях. Этот штамп ставили

в штабе фронта. Буквы означали «Город Ленинград». Но в армии их называли не иначе, как «Гуляй лихо». Они давали право на хождение круглые сутки где угодно. Увидев всемогущее «Гуляй лихо», «маяк» вернул нам удостоверения и откозырнул.

Оказалось, что штаб дивизии находится рядом. «Маяк» привел нас к большому дому. Здесь помещалась школа, которая так и не открылась после летних каникул. Мы спустились в подвал. Воентехник побежал сдавать боеприпасы, сказав нам, что мы свободны. Мы зашли в оперативный отдел, чтобы узнать, где сейчас расположен наш полк.

В отделе работали два командира. Здесь стояли парты, на стене висели слепок головы Зевса и два автомата.

Начальник отдела, высокий юноша с серьезным краснощеким лицом, с петлицами старшего лейтенанта, сказал нам, что полк находится в районе юго-восточнее Урицка.

— Нам, товарищ начальник, — сказал Аркадий, — в первый взвод четвертой...

— С полком уже два часа нет никакой связи, — с досадой перебил его начальник. — Товарищ Васильев, ориентируйте их по карте и наметьте им приблизительный маршрут, пускай добираются.

Васильев был его помощник, тоже старший лейтенант, но немолодой, в очках, видимо из запаса. Он сидел рядом, под висячей лампочкой, и вычерчивал схему с обстановкой. За школьной партией он был похож на прилежного ученика. Он поднял на нас усталые глаза, потянулся и поправил большой трофейный «вальтер», висевший у него на боку.

— Я очень извиняюсь, товарищ начоперотдела, — обратился к начальнику Аркадий, — но это не может быть, шёб наш полк отступил.

— Почему?

— Потому что им командует майор Чернов.

Краснощекий начальник посмотрел на Аркадия, на его худое воинственное лицо и улыбнулся, но ничего не ответил.

— Ну-с, — сказал Васильев, водя карандашом по карте, — сюда не суйтесь, эта дорога оседлана противником, эта тоже... Не знаю, может быть, вам двинуться с востока, через деревню Кашкино... Но здесь тоже обстановка не выяснена.

Дверь распахнулась, и в комнату вбежал молоденький младший лейтенант.

— Для поручений при комдиве, — шепнул мне Аркадий, бывавший в штабе и раньше.

— От Чернова есть что-нибудь? — спросил младший лейтенант. Юное лицо его от возбуждения покраснелось.

— Ничего нет, — хмуро ответил начальник.

— Полковник приказал немедленно установить личную связь с Черновым! — пылко выкрикнул молоденький «для поручений» и исчез.

Начальник посмотрел на Васильева.

— Ну, видно, мне не спать третью ночь, — сказал Васильев и встал из-за парты.

— Придется, Григорий Иванович, — отозвался начальник, — кого попало к Чернову не отправишь.

— А на чем я поеду? — спросил Васильев, зевая.

Начальник посмотрел на Аркадия.

— Вы на чем приехали?

— На пятитонке с боеприпасами, товарищ начальник. Но она остается здесь.

— Поедешь, Григорий Иванович, на полуторке. Думаю, что вам есть смысл держать курс все-таки на Кашкино. И... будь осторожен.

— Охрану даешь?

— Так вот с тобой поедут эти три товарища. Ребята brave, — улыбнулся начальник.

— Они без винтовок, — сказал Васильев, — и один из них вообще корреспондент.

— Большое спасибо, не беспокойтесь, пожалуйста, — сказал Аркадий светским тоном, — у нас есть гранаты. А за корреспондента не волнуйтесь, он бывал в переделках.

Снова открылась дверь, и вошел лейтенант в красноармейской шинели, с автоматом за спиной. Он громко сказал:

— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться. Лейтенант Часиков, офицер связи, прибыл от майора Чернова.

— Наконец-то! — воскликнул начальник. — Ну, что у вас там, товарищ Часиков? Где вы?

— Юго-восточнее Кашкино. Разрешите доложить?

— Одну минуту. Вот что, товарищи, выйдите в коридор и подождите там.

Мы трое пошли к дверям.

— Полк отступает? — обратился начальник к лейтенанту.

Ответа мы не услышали, так как были уже в коридоре.

Нам пришлось простоять здесь довольно долго в ожидании отъезда. Офицера связи вызвали к комдиву для доклада. Потом туда понесли груды карт. Потом к комдиву вызвали старшего лейтенанта Васильева, и он то ропливо проследовал по коридору, расправляя на ходу гимнастерку и потирая рукой свое усталое лицо, словно пытаясь расправить и его. Потом писали какую-то длинную бумагу, и «для поручений» носился по коридору, как маленькая буря, хлопая дверями.

Так что, когда мы уселись в пикап офицера связи, ночь уже кончалась.

Васильев поехал с нами. Часиков предложил ему сесть в кабину. Старший лейтенант отказался.

— Нет, знаете, в кабине тепло, и я там усну. А дорога беспокойная, надо наблюдать, — сказал он, влез в кузов, свирепо сдвинул брови и мгновенно заснул.

Начало светать, и пикапчик пошел довольно быстро. Но он часто останавливался, и офицер связи выходил и расспрашивал об обстановке встречных «маяков» и связистов. Потом места стали безлюдными. Дорога была изрядно побита бомбежкой. Виднелись совсем свежие воронки. Со столбов свисали провода, оборванные или перерезанные пулеметными очередями. Аркадий хмуро наблюдал эти грозные перемены и значительно взглядывал на Сашу. Саша качал головой.

Нас обстреляли неожиданно на развилке дорог. Мы прыгнули с машины и залегли в водосточной канаве. По счастью, она была довольно глубока. Стреляли из-за группы деревьев по ту сторону дороги, метров за двести от нее. Позади нас была открытая местность, ни одного кустика, только большой противотанковый ров шел далеко в обе стороны. Немцы стреляли из автоматов.

— Лейтенант! — сказал Васильев.

Он лежал рядом со мной. В глазах его, казалось, еще не совсем исчезла дремота.

Офицер связи, лежавший через три человека от меня, повернул голову.

— Лейтенант, вы останетесь здесь с двумя человеками и будете прикрывать меня огнем.

— А вы куда? — спросил Часиков.

— А я с двумя другими попробую обойти их справа. А то, знаете, это длинная канитель, и кончится тем, что они разобьют нашу машину.

Он пригнул голову: над нами со свистом пронеслась очередь пуль.

— Со мной пойдете вы и вы, — сказал Васильев и кивнул Саше и мне.

— Разрешите и мне, — сказал Аркадий.

— Почему?

— Потому что я и он, — Аркадий кивнул в сторону Саши, — всегда вместе.

— Хорошо. Тогда вы, — Васильев кивнул мне и водителю, — останетесь здесь. Ну, пошли за мной и делай как я. Гранаты есть?

— Есть, — сказали Аркадий и Саша.

Они поползли вслед за Васильевым и соскользнули в противотанковый ров.

Лейтенант открыл отчаянную стрельбу из автомата. Шофер стрелял из своей трехлинейки. У меня был только наган, и я просто лежал и смотрел. А потом перестал смотреть и плотно прижался к земле, потому что немцы начали очень сильно стрелять. Прошло не знаю сколько времени, и вдруг там, за группой деревьев, затрещал автомат. А потом — глухое уханье гранат. Над нами перестали свистеть пули, и я поднял голову. Гранаты взрывались часто, между деревьями вспыхивало пламя. Мы слышали крики и увидели, как несколько немцев побежали из-за деревьев куда-то налево.

— Скорей в машину! — крикнул офицер связи.

Мы прыгнули в машину и понеслись наперерез немцам. Мы мчались без дороги, лейтенант сеял из автомата, а я стрелял из винтовки шофера и что-то орал. Не знаю, попал ли я в кого-нибудь, потому что машина здорово прыгала на ухабах.

Из пятерых гитлеровцев только один остался цел. Васильев спас ему жизнь, схватив Сашу за руку. Лейтенант обшарил карманы убитых и вынул их бумаги. Васильев торопил его. Мы бросили трофейное оружие в кузов и втолкнули туда пленного. Это был эсэсовец. Шофер погнал машину. Пленный упорно отказывался сесть.

— Оставьте его, у него медвежья болезнь, — устало сказал Васильев Аркадию.

Действительно, у нашего немца сзади были мокрые

штаны. Всю дорогу он ехал, стоя на коленях. Васильев вскоре заснул, привалившись головой ко мне на плечо.

— Боевой старикан! — сказал Аркадий, кивнув в сторону Васильева. — Штабной, а лихой.

Он вынул свой наган и принялся выколачивать из него пустые гильзы.

— А офицер связи какой молодец! — возбужденно сказал я, испытывая, как все после боя, непреодолимое желание говорить.

Перебивая друг друга, мы принялись рассказывать подробности стычки. Офицер связи перелез из кабины в кузов и вмешался в разговор; даже шофер временами просовывал голову сквозь разбитое окно и вставлял какие-то замечания. Эсэсовец, качаясь на коленях, вопросительно обводил нас глазами. Он оправился от страха и временами довольно улыбался, должно быть, радуясь тому, что остался жив. На его молодое лицо вернулась гримаска, угодливая и нахальная, видимо составляющая обычное его выражение.

Он с глупой фамильярностью хлопнул Аркадия по колену и жестом показал, что хочет курить.

Аркадий с интересом взглянул на него.

— Шё мы цацкаемся с этой жабой? — сказал Аркадий и задумчиво посмотрел на свой наган.

Саша положил свою тяжелую руку Аркадию на плечо.

— Пленного не трогать.

— Ты уральский христосик, — сказал Аркадий сквозь стиснутые зубы, — всех тебе жаль. Сказано: смерть фашистским захватчикам!

— Так то в бою, — сказал Саша, — а про пленных того не сказано.

— Да пусти ты меня! — крикнул Аркадий, тщетно пытаясь скинуть медвежью Сашину лапу. — А гитлеровцы могут жечь живьем наших пленных бойцов?!

— Они звери, а мы люди, — сказал Саша.

Васильев открыл глаза и строго сказал Аркадию:

— Спрячьте оружие.

— Du, Soldat, verstehst du mich? ¹ — сказал Аркадий, засунув наган в кобуру. Как большинство портовых рабочих, он умел кое-как сказать несколько слов на разных языках. — Du bist Schweinehund, nicht wahr? ²

¹ Солдат, ты понимаешь меня?

² Ты — собачья свинья, не правда ли?

— О ja¹, — поспешно согласился пленный.

— Du, du... sie alle Faschisten, sie sind... — Аркадию не хватало слов. — Sie sind sehr kleine Menschen, verfluchte, dreckische...²

— О ja, ja!³ — охотно подтверждал фашист.

— Тьфу! — плюнул Аркадий. — Я его крою последними словами, а он соглашается. Просто за человека обидно, когда видишь фашистов. Я не понимаю — где ж тот народ, великий немецкий народ, который мы всегда уважали? А?

— Их эта гадина Гитлер обработал, — ответил Часиков.

— Как мог он это сделать? — с силой сказал Аркадий. — Особенно такое ничтожество, как Гитлер? Нет, я этого не пойму. Сколько ни думаю, я этого не пойму. И никто мне этого не может объяснить.

Он махнул рукой и отвернулся.

Мы ехали в молчании по дороге среди лесов. Всем стало немного грустно. Мы смотрели на гитлеровца и, подобно Аркадию, старались по грубым и ничтожным чертам его лица понять — что же заставило бесчисленные орды этих жалких и кровожадных людей наброситься на нашу землю, разорять и безобразить ее? И каждый из нас повторил в эту минуту в сердце своем призыв родины истребить всех фашистских оккупантов, всех до одного! Ничего, мы справимся с этим зверьем, как люди, как сильные, свободные люди.

Аркадий вынул из кармана свой щегольской портсигар и угостил всех папиросами. Эсэсовца тоже.

7

Офицер связи остановил машину у покосившегося верстового столба с замазанной цифрой.

— Валяйте напрямик, через лес, — сказал он нам, — и вы попадете точно к себе в батальон. Он сейчас во втором эшелоне. Так шагов тысячи полторы. Все время на северо-северо-восток. Конечно, вы можете поехать с нами в штаб полка, но оттуда вам придется дать порядочного крюка.

¹ О да.

² Ты, ты... вы все фашисты, вы очень ничтожные люди, проклятые, гадкие...

³ О да, да!

— Спасибо, товарищ лейтенант,— сказал Аркадий,— мы потопаем прямо.

Мы крепко пожали руки Часикову и шоферу (Васильев спал) и углубились в лес. Мы шли гуськом с интервалом шагов пятьдесят, впереди Аркадий, позади Саша, я в середине.

Было еще серо, но птицы уже запевали. Они долго не улетали в этом году,— осень выдалась необычайно теплой.

В лесу было тихо, и мы без приключений добрались до батальона. Нам повезло: отсюда шел попутный связной броневичок в четвертую роту, и через полчаса мы вскарабкались на красные глинистые холмы, поросшие могучими соснами. Здесь расположился первый взвод.

— Саша, мы дома! Чувствуешь? — сказал Аркадий и хлопнул гиганта по спине.

Саша радостно улыбнулся. Да, это был их родной дом! Что из того, что рота переменила позиции и отошла из деревни в лес! Для солдата дом — это не место, а товарищи, вместе с которыми ешь, спишь, дерешься, помираешь. Люди окружили Аркадия и Сашу. Галанин снял с плеча пулемет и передал Саше. Саша открыл затвор и сказал огорченно:

— Запакостили... Гляди, канал-то ствола как отхожее место. Зачем таскали мой примус-то в бой? Чо, своих мало?

— А ты соображаешь, что тут вчера было? — со злостью ответил Галанин.

— Оставь его, Саша,— пренебрежительно сказал Аркадий,— видишь, студент в расстроенных чувствах. Никак не может привыкнуть, шё на войне стреляют.

Саша, ворча, принялся чистить пулемет.

Аркадий с торжественным видом выгрузил из карманов свои ленинградские покупки и крикнул:

— Галанин!

— Я! — отозвался студент.

— Получай бритвы.

— Спасибо,— буркнул Галанин.

— Шапошников!

Молчание. Потом чей-то голос:

— Убит вчера.

— Шапиро! — выкрикнул Аркадий как ни в чем не бывало.

— В госпитале. Ранен вчера.

Аркадий нахмурился. Потом не очень уверенным голосом:

— Кожевников!

Кожевников протянул руку и получил свои подворотнички.

— Тарасовский!

— Убит вчера.

Аркадий замолчал. Потом он сказал:

— Видать, вчера горячо было?

— Да. Баня...

Аркадий помотал головой.

— Так. Тут, значит, люди потели, а мы с тобой, Саша, в убежище с девчонкой прохлаждались.

— У тебя девчата завелись, Аркадий? — спросил кто-то.

— У меня? Куды мне! Это у нашего красавчика Саши невеста в Ленинграде.

— Да ну? — закричали в траве. — Хороша девушка?

Саша, сидя за пулеметом, застенчиво улыбнулся.

— Ничего. Все на месте. Только... — Аркадий кинул лукавый взгляд на Сашу и очень смешно, в лицах, изобразил, как Саша всю дорогу хвастал своей невестой, а когда они пришли к ней, она его не узнала, и Саша якобы бил себя кулаками в грудь и кричал: «Это я! Это же я, ваш Саша-с-Уралмаша!»

— Ну, в общем, я вижу — Сашина невеста на него нуль внимания, в общем, тот случай...

— Трепать-то брось, — прервал его Саша.

В тихом голосе гиганта было что-то такое, что заставило Аркадия на секунду замолчать. Но рассказ получался как будто забавный, кое-кто засмеялся, и Аркадию жаль было расстаться с успехом.

Он продолжал в своем обычном тоне издевательских рассказов о Саше. Но странно: чем больше Аркадий изощрялся в придумывании смешных и унижающих Сашу подробностей, тем, чувствовал он, слушатели все больше охладевали к его рассказу. Некоторые вставали и уходили.

Он закончил рассказ среди молчания. Гладышев презрительно плюнул и отошел. В общем, провал.

Аркадий надменно пожал плечами и кинул как бы случайный взгляд в сторону Саши. Отлично вычищенный и смазанный пулемет стоял под деревом, но самого Саши не было. Аркадий искал его глазами. Он увидел

Сашу вдали. Своим тяжелым, развалистым шагом гигант удалялся в лес. Голова его и плечи были опущены, что-то скорбное почудилось Аркадию во всей его фигуре, и ему захотелось броситься вслед за Сашей и сказать ему что-нибудь сердечное, товарищеское.

Но кругом стояли люди, и Аркадий засвистал «Махну в Анапу я» и дружески подхватил под руку Галанина, который во всей роте был самым восторженным его поклонником.

Галанин сказал:

— Прости меня, милый, что я вмешиваюсь... но на твоём месте я пошел бы и извинился перед Сашей.

— Иди ты со своими советами знаешь куда? — гневно закричал Аркадий.

Он оттолкнул студента и спустился в землянку для пулеметчиков.

Здесь он вынул из вещевого мешка мандолину и заботливо обтер ее куском замши, который хранил специально для этого. Он натянул на мандолину новые струны, привезенные из Ленинграда. Потом он вынул из кармана маленький камертон и ударил им о край нары, и земляная дыра наполнилась широким, вибрирующим и сладким звуком «la». Аркадий тщательно настроил мандолину. Все время при этом на его лице сохранялось сердитое и вызывающее выражение. Потом он ударил по струнам черепаховой косточкой и запел.

Никогда еще не пел он так хорошо. Откуда брались в его скрипучем голосе эта мягкость и завлекательность? Бойцы кучками скапливались возле землянки и слушали. Он пел о друзьях и о девушках, о дальних странствиях и о прекрасной Одессе. Он пел грустные и залихватские песни портовых грузчиков. «Грубая спина у меня позади, грубое лицо у меня впереди, и нежное сердце в груди...» Казалось, он призывал кого-то и умолял о чем-то, и вслед за ним повторяла эти мольбы мандолина своим дрожащим, детским, серебряным голосом.

Саша вышел из лесу. Проходя мимо землянки, он остановился. Бойцы посмотрели на него. Гигант насутился и пошел прочь не останавливаясь, словно звуки мандолины гнали его все дальше и дальше. Он разыскал среди деревьев палатку политрука Масальского и попросил разрешения войти.

Масальский высунул свою красную физиономию и воскликнул:

— А, товарищ Свинцов! Входите, родной, садитесь. Ну, что у вас?

Они говорили долго. Масальский изумленно восклицал и что-то горячо доказывал Саше. А Саша в ответ упрямо бубнил, и в конце концов Масальский сказал:

— Ну ладно, пусть будет по-вашему, но я огорчен, право, огорчен.

Поевши, люди легли спать, чтобы отдохнуть после вчерашнего боя. День прошел тихо, ни артиллерии, ни самолетов. Но всем — от командующего фронтом до последнего коновода в обозе — было ясно, что с рассветом фон Лееб повторит вчерашний натиск на Ленинград. Но где пройдет линия главного удара? Может быть, через нас?

Перед закатом дневальные разбудили людей. Ночью роте предстояло выдвинуться вперед. Отделенные командиры вскрыли ящики с боеприпасами. Началась раздача гранат, патронов. Прибыли саперы. Лейтенант Рудой отправил их вперед для устройства окопов и заграждений. Он сам вычертил на бумажке профиль окопа и попросил командира саперов сделать окоп по этому рисунку.

— Да вы не беспокойтесь, сделаем по-хозяйски, — сказал молоденький саперный лейтенант в пилотке, лихо заломленной на ухо, и сунул чертежик в карман. — Ну, так мы пошли. В случае чего, мы там маленько пощиплем фрицев.

— Ни в коем случае! Я вам запрещаю обнаруживать себя, — вскричал лейтенант Рудой.

Он с беспокойством посмотрел вслед удалявшимся саперам. Этот удалой лейтенант напомнил Рудому его самого, каким он был всего полтора месяца назад. И вскоре, не выдержав, Рудой побежал на передний край проверить, как там обстоит дело у саперов. Кстати, он захватил с собой отряд истребителей танков, чтобы заблаговременно расположить их в нужных местах.

Вообще хлопот было по горло, как всегда перед крупной операцией. Особенно когда начали прибывать пополнения. И поэтому никто в первом взводе не обратил внимания на необыкновенные перемены, произошедшие в составе пулеметных расчетов. К Аркадию явился боец Четвертаков и заявил, что он назначен вторым номером вместо бойца Свинцова.

— Ты? — сказал изумленный Аркадий. — А шё такое с Сашей?

— А он зачислен вторым номером на пулемет Окулиты, — сказал Четвертаков и добавил: — Согласно личной просьбе. Где пулемет-то? Как у вас диски? Не заедают?

Аркадий молча смотрел на Четвертакова. Казалось, от изумления он лишился дара речи. Наконец он вымолвил:

— Такое нахальство...

— Чего? — сказал Четвертаков.

Лицо Аркадия приняло обычное свое насмешливое и слегка надменное выражение.

— Дружочек Четвертаков, — сказал он, — возьми примус, вон он, в углу, и, будь другом, проверь его. Этот раззява Свинцов мог оставить его грязным. И вообще ему навоз таскать, а не на пулемете работать.

Вот и все о том, как разошлась дружба, самая крепкая во всей роте.

Саша не сказал и этого. Молча копался он в пулеметном хозяйстве Окулиты.

Любопытный Окулита приставал к нему с вопросами:

— А шо ж такое зрбилось промеж вас? Двох таких корешков, як ты и Дзюбин, а?

— Щелочи у тебя маловато, — сказал Саша и принялся надраивать пулемет, и без того сиявший чистотой.

* * *

Пополнения прибывали маленькими партиями, но беспрерывно. Тут были и военные моряки из Балтфлота, посматривавшие несколько покровительственно на пехоту, и свои ребята, вернувшиеся из госпиталей, и ленинградские курсанты, и кадровики из сибирских и уральских частей. Весь этот народ надо было довооружить, накормить, проинструктировать, распределить по подразделениям.

Политрук Масальский совсем сбился с ног. У него не хватало агитаторов для политбесед с новоприбывшими, хотя он мобилизовал для этого всех мало-мальски толковых ребят в роте. Отряд балтийцев уже полчаса дожидался беседчика. Моряки сидели под соснами на шинелях, которые они только что получили. Некоторые

пришивали к рукаву эмблемы якоря, чтобы все-таки как-нибудь сохранить свою морскую особенность среди серошинельной армейской массы.

Взгляд политрука упал на Аркадия, который стоял подле своей землянки, с независимым видом покуривая папироску и наблюдая предбоевую сутолоку. Аркадий вытянулся и откозырнул, щеголяя выправкой бывалого служаки.

Масальский продолжал молча созерцать Аркадия, упершись в него изучающим взглядом, и Аркадий уже начал обиженно поднимать брови.

— А что,— сказал наконец Масальский задумчиво,— разве такой развитой товарищ, как, например, товарищ Дзюбин, не мог бы провести беседу с товарищами красноармейцами?

— Я?

Польщенный Аркадий откашлялся.

— Будьте покойны, товарищ политрук. Шё-шё, а поговорить я умею. Какая тэма? Передача боевого опыта? Полный порядок. Не пройдет и пяти минут, люди у меня будут лежать от восторга.

Масальский сам представил Аркадия морякам:

— Перед вами, товарищи, один из лучших бойцов подразделения, отличник Ленинградского фронта, награжденный медалью «За отвагу». Он поделится с вами своим богатым боевым опытом и расскажет вам о приемах и уловках коварного врага...

Краснофлотцы с уважением посматривали на худую воинственную фигуру Аркадия. Аркадий приосанился. Он любил чувствовать себя в центре внимания.

— Балтийские морячки нам хорошо известны,— начал он,— я сам черноморец, я знаю, шё значит для моряка драться на суше. Вы видите по мне, получается как будто ничего.

Одобрительный гул пробежал по рядам балтийцев. Успокоенный политрук отошел. У него была куча дел. Аркадий продолжал говорить. Он решил расширить рамки своей темы. В голове у него вертелись обрывки из слышанных им в разное время бесчисленных докладов. Надо же, черт побери, раскрыть браточкам глаза на международное положение. Позади балтийцев Аркадий увидел несколько ребят из своего взвода. Что ж, тем лучше. Пусть ребята убедятся, что Аркадий Дзюбин способен не только на трепотню о Саше-с-Уралмаша, но и на солидные доклады по вопросам мировой политики.

Политрук Масальский меж тем бегал по своим делам. Надо было проверить обеспечение предстоящего боя пищей и боеприпасами. Надо было организовать раздачу листовок. Надо было помочь ротным разведчикам, пыхтевшим над выпуском «Боевого листка». Кроме того, отсекар ротной организации Шувалов привлек Масальского к рассмотрению кучи заявлений о приеме в партию, они массами поступали перед боем. В это же время прибыли из политотдела дивизии партбилеты, и обязательно надо было позаботиться, чтобы новые члены партии получили их накануне боя. С этой маленькой красной книжечкой в кармашке у сердца они будут драться с удвоенным пылом.

За всеми этими хлопотами прошло немало времени. Поспешая по одному такому делу из взвода во взвод, политрук вдруг услышал громовой раскат хохота. Он глянул и увидел балтийцев, а посреди них отчаянно жестикулирующего Аркадия Дзюбина. Масальский удивился: как, до сих пор продолжается беседа?

Над лесом кружил «хейнкель-126», старый немецкий разведчик. Иногда он становился на крыло, видимо, фотографировал. Никто из моряков не поднимал головы — так сильно были они увлечены речью Аркадия. Зенитки молчали, чтобы не обнаружить расположения полка.

Масальский приблизился и услышал скрипучий голос Аркадия:

— ...Два слова за эту дешевку Антонеску. Если сварить из него похлебку, так я не знаю, браточки, или найдется такая голодная собака, которая не побрезгает ее жрать: стошнит. Теперь от рассмотрения политики сателлитов перейдем к тому, что держит пальму первенства во всем этом дерьме, к пресловутому Адольфу Гитлеру. Этот кровавый выродок утверждает, шё он строит новый порядок в Европе. Гитлер строит, а? А шё он вообще может строить? Подумаешь, строитель...

Масальский поспешно прервал этот «доклад» под тем предлогом, что Аркадий устал.

Аркадий был несколько обижен. В душе он считал, что Масальский завидует ему.

— Хорошо, хорошо, — пробормотал Аркадий про себя, — вы еще будете просить Аркадия Дзюбина, шёб он осветил людям международную обстановку. Но нет, нема дураков! Теперь я знаю только свой примус — и больше ничего.

Высоко задрав свою петушиную голову, Аркадий проследовал мимо ребят своего взвода. Среди них стоял Саша. Аркадий кинул на него как бы случайный взгляд и тотчас отвернулся. Гигант смотрел на него презрительно и насмешливо.

8

Глубокой ночью мы двинулись. Курить и разговаривать было запрещено. Шли гуськом, смутно различая фигуру идущего впереди. Подтянутое оружие и котелки не бряцали. Полковые пушки двигались с нами. Они остановились у подножия холма. Никогда я не видел, чтобы артиллерия располагалась так близко от вражеских позиций.

В темноте мы вышли на открытое место и спустились в окопы. Пулеметчики разошлись по своим укрытиям.

Казалось, ночь не кончится никогда. Она была какая-то очень большая и очень прочная. Наверху были звезды, а внизу копошились мы. Было совсем тихо.

В четыре часа рассвело. В четыре тридцать ударила немецкая артиллерия. Мир заполнился грохотом. Толстые накаты блиндажей покуда сопротивлялись разрывам. На этот ужасающий обстрел мы отвечали полным молчанием.

Приоткрылась дверь убежища, позади нее мелькнули тени. Я выглянул за дверь. По ходу сообщений пробежали санитары с носилками, связные, проходил лейтенант Рудой.

Вместе с санитарями и ранеными я пробрался назад, в лесок, чтобы покурить. Под обстрелом не курится. Между деревьев был устроен пункт первой помощи. Снаряды сюда не достигали. Неподалеку лежали ребята из ротного патронного пункта и курили. Вдруг они поднялись и откозырнули. Через лес шел высокий, ловко сложенный майор. Это был командир полка Чернов. На груди сияла Золотая Звезда Героя. Длинные пшеничные чапаевские усы украшали его лицо. Он любил Чапаева и старался ему подражать даже в наружности.

Майора сопровождали несколько командиров, среди них лейтенант Монастырский, сосед наш, командир пятой роты. У него был несколько расстроенный вид.

Майор остановил раненого, которого под руки вели два бойца. Третий боец шел позади и поддерживал раненого со спины.

— Куда вы? — сказал Чернов.

— Раненого вынесли с поля боя, товарищ майор, — бойко сказал один из бойцов, — доставляем его на пункт.

— Марш назад в окопы! — закричал майор. — И чтоб у меня этого не было. Пятнадцать здоровых жеребцов одного раненого тащат!

Бойцы исчезли, а раненый пробормотал:

— Я не просил их, товарищ майор, — и отправился на медпункт.

— Не ваши ли это люди, лейтенант? — спросил Чернов.

— Мои, — ответил Монастырский.

— Так, так, — сказал Чернов. — И раненых у вас многовато, лейтенант Монастырский. Чем я это объясняю? Я объясняю это тем, что вы невнимательно, небрежно отнеслись к устройству укрытий. А?

Монастырский мрачно молчал.

— Ладно, — сказал Чернов, — посмотрим, как обстоит дело у Рудого.

Встревоженный Рудой уже бежал навстречу Чернову. По ходам сообщений прошли на передний край. Немецкая артиллерия била с нарастающей силой. Но командиры не обращали на нее внимания. Они были заняты делом.

Чернов внимательно осмотрел окопы.

— Видите, — сказал он Монастырскому, указывая на пустой окоп, — запасная ячейка. У вас, когда вы захотите сманеврировать огнем, бойцу придется под обстрелом заниматься землекопством, вместо того чтобы отражать атаку. А здесь — уже готово.

Чернов похвалил просторную нишу, выдолбленную в передней стенке окопа. Лейтенант Монастырский отошел за спины других командиров. Но Чернов вытащил его за руку вперед.

— Смотрите, Монастырский, вы небось таких вещей и не видели?

И Чернов указал на небольшую стремянку, прилаженную к стенке окопа, по которой можно было быстро выбежать и атаковать врага.

Монастырский хмуро сказал:

— У меня жердей не было, товарищ майор, я давал требование, но...

— Жердей, жердей! — передразнил его Чернов. — А у тебя жердей хватало, Рудой?

— Не всюду, товарищ майор.

— И что ты сделал?

— Так мы выемки для ног понаделали.

— Слышите, Монастырский? Ну ладно. Так я вижу, что мне здесь делать нечего. Спасибо тебе, Рудой.

Рудой покраснел от удовольствия. Не всякий день удостоишься похвалы от самого майора Чернова.

Чернов быстро прошел по окопам, заглянул в кое-какие блиндажи. Все старые бойцы знали его по боям на Лужском и Новгородском направлениях, а некоторые еще по финской кампании сорокового года. И Чернов знал их в лицо и по именам.

Сейчас, проходя, он на секунду задерживался возле некоторых бойцов.

— Здорóво, Оловянников! Дышишь?

— А что мне, товарищ майор! — широко улыбаясь, отвечал Оловянников.

— Толстов, привет! Ну как, под Волкоярви было полегче?

Раздался страшный грохот. Снаряд разорвался рядом. Посыпалась земля. Люди прынули к стенам, другие присели. А Чернов стоял и нетерпеливо кричал:

— Что? Что? Не слышу!

Толстов стер землю с лица и прокричал:

— Куда немцу до финна, товарищ майор!

Чернов удовлетворенно мотнул головой и пошел дальше.

Он увидел Аркадия и подошел к нему. Аркадий всегда был его любимцем. Он протянул пулеметчику руку, и тот с достоинством пожал ее.

— А где ж твой второй номер, Дзюбин? — спросил Чернов, взглянув на незнакомого ему Четвертакова.

— Вы спрашиваете, товарищ майор, за Сашу-с-Уралмаша?

— Вот, вот, — засмеялся майор. — Я надеюсь, с ним ничего плохого?

— Все в порядке, товарищ майор. Просто мы с ним разошлись, как в море корабли.

— Ах, вот что, — сказал Чернов и остро глянул на Аркадия. — Хочешь, помирю?

— Кто ж откажется от такого свата, товарищ майор? — сказал Аркадий.

Чернов рассмеялся и пошел дальше.

Несколько дольше Чернов задержался у группы молодых бойцов, только прибывших из запасного полка, еще не обстрелянных.

— Ну что, ребятки, страшновато? — сказал он, весело блестя прекрасными зубами из-под длинных пшеничных усов.

Бойцы заулыбались.

— Да нет, не очень, товарищ майор, — сказал один из них. — Оказывается, привыкнуть можно.

— Да уж привыкать некогда, — сказал майор, отогнув рукав и посмотрев на часы, — минут через десять артподготовка, видимо, кончится. А тогда что будет?

— Ихние танки на нас пойдут, — несмело сказал кто-то.

— Правильно, ихние танки пойдут на нас, — с удовлетворением повторил Чернов и, согнув свое гибкое тело, присел у стены на корточки. — Нет, я вижу, вы ребята соображающие.

От всего существа майора Чернова веяло таким спокойствием и силой, что молодые бойцы сразу приободрились. Приунывшие повеселели, а струхнувшие почувствовали, что они, собственно, ничего не боятся, и самые танки, атаки которых они прежде ждали с трепетом, теперь им не так уж страшны.

А Чернов уже рассказывал, как надо бороться с танками.

— Достаточно тебе залезть в канаву, чтоб тебя не было видно, и ты уже сильнее танка. Он тебя не видит, а как подойдет близко и заметит, он уже не может поразить тебя. А ты можешь поджечь машину. Смелый и умный боец сильнее танка, — сказал Чернов, взмахнув своей сильной и нервной рукой.

Он встал.

— Говорят, ребята, я похож на Чапаева, — сказал он, погладив усы. — Это, конечно, не так.

— Похож, похож! — кричали отовсюду.

— Ну, не знаю, похож ли, — сказал Чернов, — но я очень люблю Чапаева, а больше всего я люблю его любимую поговорку: «Врешь, не возьмешь».

Он поднял кулак и погрозил им в сторону немецких позиций. Лицо его сделалось жестким.

— Не возьмет, товарищ майор! — кричали бойцы, с восторгом глядя на Чернова и совсем не слыша в этот момент грохота артиллерийских разрывов.

Чернов побыл еще немного в четвертой роте, потом направился в шестую. Проходя мимо Аркадия, он крикнул ему, не останавливаясь:

— Свинцов не хочет мириться, и, кажется, он прав. Аркадий побагровел от ярости.

— Шё ты скажешь на этого Сашку! — воскликнул он, обращаясь к Четвертакову. — Мало того, шё он передо мной фасон ломает, так он еще наклепал на меня майору Чернову. Хорошо, хорошо, Сашенька, ты еще будешь у меня валяться в ногах. Сколько я сделал для этого Сашки, Четвертаков, я же из него человека сделал... Да ты слушай, когда тебе говорят!..

Он взял Четвертакова за шиворот и вытащил его из угла. Но только он его выпустил, как Четвертаков снова бросился в свой угол, потому что в это время немецкие штурмовики на бреющем полете проходили над нашими позициями и поливали их из пулеметов. И все живое, что было в окопах, забилося в ниши, в углы, прильнуло к стенам.

И только Аркадий шагал на длинных своих ногах взад и вперед по крохотному пространству блиндажа и выкрикивал свои яростные жалобы. Гордость в этом человеке была сильнее всех чувств, сильнее самого инстинкта жизни.

А через пять минут началась атака.

Лейтенант Рудой встретил ее спокойно. Он был уверен, что отразит ее. У него были даже приготовлены кое-какие сюрпризы для немцев.

Однако атака началась непонятно.

Шесть немецких танков выбежали цепочкой на наш правый фланг. Метрах в трехстах от него они резко, под прямым углом, повернули налево и пошли параллельно нашему переднему краю. Они шли очень быстро, с правильными интервалами, пыль клубилась за ними. Потом они повернули и ушли к себе. Они не сделали ни одного выстрела. Это было похоже на парад.

Лейтенант Рудой ломал себе голову над тем, что означает этот странный маневр. Начальник артиллерии высказал предположение, что танки хотели вызвать на себя огонь и тем обнаружить наши огневые точки. Так ли это? Главное — понимать все действия противника. В тот момент, когда перестаешь понимать противника, можешь считать себя побежденным. А немцы славились тем, что часто применяли всякие новые трюки и маневры. Пришлось остановиться на предположении нач-

арта как на самом правдоподобном. И все же Рудой ощущал какое-то глухое беспокойство.

Первую атаку удалось отразить. Однако пехоту сильно потрепал пулеметный огонь. Рудой был удручен не только тем, что погибли бойцы его роты, много дорогих ему людей. Он был удручен и тем, что в чем-то ошибся как командир. Откуда взялся этот губительный пулеметный огонь, когда, казалось, все огневые точки противника были так точно засечены? Что скажет Чернов? Рудому казалось, что он слышит спокойный презрительный голос Чернова: «Нет, слишком рано я похвалил тебя, Рудой». Каким-то смутным чутьем Рудой связывал свои потери со странным пробегом немецких танков перед атакой.

Он решил понаблюдать противника вплотную. Возможно, что немцы повторят этот пробег перед своей второй атакой. Захватив с собой телефониста, Рудой выдвинулся далеко вперед.

Все было как в прошлый раз. Снова вышли шесть танков. Рудой впился глазами в них. И он увидел: на всем ходу с танков спрыгивали солдаты с пулеметами в руках. Плюхнувшись наземь, они оставались лежать, где упали, и дожидались своей пехоты. Густая пыль скрывала их от наших ротных наблюдателей.

Рудой посмотрел вслед танкам даже с некоторым восхищением. «Хитро придумали, вору!» Он немедленно передал в роту дистанцию, ориентиры, и тотчас лучшие пулеметчики во главе с Аркадием открыли точный прицельный огонь по залегшим в пыли немецким пулеметчикам. Вскоре фашисты были перебиты. Вторая атака была отражена легко.

Немцы пошли в третью.

Они решили проломить нашу оборону. Они решили дорваться до Ленинграда сегодня и любыми средствами. Они бросили на наш участок сорок танков. Увидев эту густую, ревушую, бронированную массу, стремительно надвигающуюся на нас, Рудой удовлетворенно потер руки. Наступило время для его сюрприза.

Немецкие машины были пропущены за линию окопов без выстрела, даже истребители танков не трогали их. Вся пехота наша бросилась в контратаку на немецкую. А танки были встречены пушками. Это были те самые наши легкие полевые пушки, которые так близко были подтянуты к переднему краю и до сих пор так

упорно молчали. Они дождались своей минуты. Они стреляли в упор, прямой наводкой с дистанции в триста, а то и в двести метров. Здесь не было промахов. Каждый снаряд ломал, коверкал, поджигал немецкие танки. Взрывались бензиновые баки. Поле покрылось пожарами. Трудно представить себе, до чего легко горели эти стальные машины. Больше половины их было уничтожено. Остальные бежали.

Но сюрпризы лейтенанта Рудого на этом не кончились.

Пока по фронту кипел бой, два небольших хорошо вооруженных отряда скрыто пробрались во фланги немецкого расположения. Это был первый, еще робкий провозвестник нашей наступательной тактики, которой впоследствии предстояло так широко развернуться. Одним из отрядов командовал сам Рудой.

Ему удалось завладеть высотой Огурец на левом фланге. Кругом простирались равнины, покрытые немецкими обозами и складами, и отряд принялся крошить их жестоким минометным и пулеметным огнем. Собравшись с силами, гитлеровцы пошли в атаку на Огурец. Некоторое время все внимание их было привлечено к этой высоте, и второй отряд под командой политрука Масальского глубоко обошел немцев с правого фланга и забрался в их тыл. Отряд Масальского, по плану лейтенанта Рудого, должен был соединиться с ним на высоте Огурец.

Такова была эта маленькая, но по времени одна из первых с нашей стороны операция на окружение. Оказалось, что немцы бегут, увидев себя окруженными. Оказалось, что они подвержены панике. И сдаются в плен, особенно когда их отрывают от техники, словно они не люди, а не более чем часть, и притом не самая главная, своих многочисленных танков и мотоциклов.

Отряд Масальского шел по тылам. Он разгромил несколько штабов, захватил и уничтожил много пушек, пулеметов и другого оружия и имущества. Он двигался по большой дуге, конец которой упирался в высоту Огурец.

Но так увлекательно было громить фашистов в самой гуще их расположения, что отряд сильно задержался против того времени, в которое ему было назначено выйти к высоте.

В составе отряда были два тяжелых танка «КВ». На броне одного из них устроился Аркадий. Эта удалая,

дерзкая операция была ему по душе. Он действовал у пулемета один. Четвертакова он прогнал от себя, придравшись к тому, что тот легко ранен в плечо. К чести Четвертакова надо сказать, что он хотел остаться в строю.

— Иди, иди, — сказал Аркадий, — иди на медпункт, зализывай рану. Чем такой второй номер, как ты, так лучше совсем без него. Вообще от вторых номеров у меня одно только горе.

Между тем отряд Рудого бился на высоте. Он поредел. Немцы теснили его отовсюду. Убит был санитар Гладышев, упросивший лейтенанта взять его с собой. Пали старые бойцы Толстов и Оловянных. Осколком снаряда снесло голову Окулите. С пулеметом управлялся один Свинцов. А Масальский со своим отрядом все не приходил.

Вскоре замолк последний пулемет. Рудой подумал, что произошла задержка и Свинцов не может справиться. Подхватив здоровой рукой раненую, лейтенант пополз к пулемету.

Саша повернул голову и сказал:

— Патроны-то все, товарищ лейтенант.

— Возьмите у бойцов из подсумков.

— Все уже взято.

— Что ж, будем отбиваться гранатами, — сказал Рудой.

И на головы подползавших немцев посыпались гранаты. Гитлеровцы отхлынули.

«Скоро можно будет стрелять из нагана, — подумал лейтенант, — да, из нагана... в себя...»

Они находились на самой вершине холма. Холм был гранитный, множество валунов и камней валялось на нем. Лейтенант взял увесистый камень и, сильно размахнувшись, швырнул его в группу нападавших. Оттуда раздался крик.

Бойцы подхватили камни и начали отбиваться ими. Саша выворачивал огромные мшистые валуны и обрушивал их вниз. Это было, как обвал. Гитлеровцы снова отхлынули.

Так держалась эта горстка бойцов, пока не подоспел наконец Масальский со своим отрядом и двумя танками. Немцы побежали.

И по всему Ленинградскому фронту в этот день они либо отступали, либо не сумели продвинуться вперед. Город был спасен. Никогда больше фашисты

не смогли повторить удар такой силы. Они зарылись в землю вокруг Ленинграда и перешли к позиционной войне.

9

Не сумев взять Ленинград силой, фон Лееб задумал взять его измором.

Немцы продолжали бомбить город. Когда бомба падала в Неву, мальчуганы бросались в холодную воду и вылавливали оглушенную рыбу.

Хлебный паек был уменьшен до 125 граммов в день. Воробей считался лакомством. Но никто не роптал.

Играли театры. Ходили трамваи. Композитор Шостакович, вернувшись с дежурства на крыше, писал свою «Седьмую симфонию» — о героизме рядовых людей Ленинграда. Когда завывали гудки воздушной тревоги, он ставил среди нот буквы «В. Т.», надевал каску и шел на пост.

Тася похудела еще больше. В глазах ее появилась томность, свойственная голодающим. Однажды, вернувшись домой, она нашла у себя сверток.

— Какой-то боец принес его, — сказали соседи.

В свертке оказались две килограммовые банки с мясными консервами, большой кусок масла, пачка сахару и галеты. Под галетами лежала записка:

«Милая Тася! Шамайте на здоровье. Ваш Александр Свинцов, помощник наводчика с ручного пулемета».

— Ах! — вскрикнула Тася. — Ну что же он не дождал меня!

Посылки стали прибывать довольно регулярно, раз в десять — двенадцать дней.

Обычно их приносил дворник или посыльный из «Астории». При каждой посылке обязательно было письмо.

С каждым разом письма становились все длиннее, Свинцов оказался красноречивым. Он писал о боях и о длинных звездных ночах, рассказывал содержание фильмов, вставлял стихи и намекал на свою любовь.

Тасю до слез трогала его заботливость. Ее сердило, что он не пишет номера своей полевой почты — и она не может ответить ему.

«Видно, его друг имеет на него сильное влияние», — думала она, встречая в Сашиных письмах остроты в бесшабашном стиле Аркадия Дзюбина и невольно смеясь над ними.

«А ведь тогда, — удивлялась она, — Саша был такой тихий, молчаливый...»

Она объясняла это его застенчивостью, и черта эта казалась ей в Саше необыкновенной, милой.

* * *

Так прошло больше месяца. Началась зима. Красная Армия перешла в наступление. Снова пришлось мне увидеть Аркадия и Сашу.

Как много переменилось за это время! Вместо травы на лугах лежал снег. Вместо осенних отступлений — великое зимнее наступление. И только одно оставалось неизменным: ссора Аркадия и Саши. Казалось, в роте никто уже и не помнит о том, что они когда-то были друзьями.

К вечеру двенадцатого декабря мы вышибли немцев из деревни Ровное. На околице мы увидели трупы трех расстрелянных детей, двух мальчиков и одной девочки, лет десяти или одиннадцати. По случайности лицо девочки осталось нетронутым, по лбу ее разметались светлые волосики. Мы стояли вокруг мертвых детей и молчали. О чем было говорить?

Аркадий крикнул Галанину, который проходил вместе со Свинцовым:

— Эй, студент, ты как-то говорил, шё фрицы хорошие люди?

— Во-первых, я не говорил так, а во-вторых...

— Ступай сюда, Галанин, и посмотри, шё тут понаделали твои хорошие люди.

Они подошли. Саша долго молча смотрел на чистое лицо девочки, на худенькое полуголое тельце ее, изрешеченное пулями. Глаза его потемнели, а руки непроизвольно сжались в страшные кулаки. Он поднял голову и встретился взглядом с Аркадием.

У Аркадия в лице что-то дрогнуло. Казалось, недоставало малого, чтоб он бросился к Саше в объятия, — одного Сашиного слова или одного его движения. Но слово не было произнесено, движение не было сделано, лицо гиганта приняло упрямое и презрительное выраже-

ние. И бывшие друзья молча разошлись в разные стороны.

Раздатчики кликнули людей. Бойцы пошли ужинать. Предстоял ночной бой.

* * *

После того дня Тася перестала получать посылки. Она очень волновалась. Ей приходила в голову грустная мысль, что Саша полюбил другую девушку. Это так легко, ведь он видел Тасю только один раз и она почти не говорила с ним. А потом ей приходило в голову, что он убит, и она плакала и перечитывала его письма.

И вдруг она встретила его.

Саша слонялся по задам Гостиного двора, со скучающим видом рассматривая витрины, которые остались не зашитыми в песок и дерево.

— Саша! — крикнула она, повисла на его руке и заплакала.

Гигант с удивлением посмотрел на Тасю. Он не сразу узнал ее — так сильно она похудела.

— Тася... — наконец прошептал он и покраснел.

Они шли по городу. Тася беспрерывно говорила. Ей так много надо было ему сказать! Она рассказывала ему, что по-прежнему вытачивает оболочки гранат и, кроме того, стала донором и часто думала о нем, о Саше.

— А ваши посылки, — сказала она, — вы не думайте, что я их одна ем. Их ест вся квартира.

— Мои посылки? — сказал Саша, удивленно захлопав глазами.

— Я их всегда так ждала, но не из-за продуктов, не думайте, а из-за писем, из-за ваших чудных писем. Я ношу их всегда с собой. Потому что, знаете, уйдешь, а вдруг в это время в квартиру — прямое попадание!

— Письма-то покажите, — коротко сказал Саша.

Тася вынула из сумочки пачку писем.

Гигант развернул их и до крови закусил губу: он узнал руку Аркадия.

* * *

Немцы отступили так быстро, что один дот они оставили невзорванным. А к двум часам дня к ним подошло подкрепление, и они бросились в контратаку. Мы немного отошли и укрепились.

Рудой назначил в дот четырех человек: Дзюбина, Четвертакова, Галанина и Зильбермана. Зильберман только что пришел в роту, тихий, молчаливый парнишка.

— До вечера продержитесь? — спросил Рудой.

— В таком домике? — сказал Аркадий, с удовольствием оглядывая бетонные своды дота. — Хоть до нового года, товарищ старший лейтенант.

Рудой был недавно произведен в новое звание. Аркадий тоже. Он был сейчас младшим сержантом.

В доте были запасены боеприпасы и продукты. Телефон работал хорошо. Его поручили Зильберману.

— Четвертаков, у меня до тебя просьба, — сказал Аркадий, — сбегай до этого красавца Сашки Свинцова — я же с ним в контрах — и возьми у него парочку моих запасных стволов. Они у него гниют уже два месяца. А мне — я же чувствую — они сегодня пригодятся.

— Свинцов в Ленинград уехал, — сказал Четвертаков. — с политруком Масальским в интендантское управление...

— В командировочку, — едко сказал Аркадий.

Часов до трех все шло сравнительно благополучно. Фашисты наступали волнами. Аркадий и Галанин огнем пулеметов рассеивали их.

Скоро немцы обнаружили дот. Они накрыли его артиллерийским огнем. Дот тяжело ухал под разрывами. Гитлеровцы не могли подойти к нему.

— Живей работай, Галанин! — кричал Аркадий, нажимая на спусковой крючок. — Это тебе не университет!

Несколько тяжелых снарядов упало на дот, осыпался бетон. Аркадий вышел из-под обломков, отряхиваясь, и сказал, покачивая головой:

— Жарко...

Но в общем все шло неплохо. Бетонный домик был слеплен на славу, и артиллерия ничего не могла с ним сделать.

Тогда немцы пошли в атаку на самый дот. Аркадий подпускал их на близкое расстояние и внезапно ошпаривал длинными очередями. Фашисты не выдерживали огня и разбегались, оставляя трупы.

Аркадий оглянулся на товарищей. Лицо его с задорными усиками дышало какой-то веселой яростью.

— Чистая работа! — вскричал он. — Представляете, как эти жабы злятся?

Около четырех часов товарищи по очереди закусили в одном из уголков дота. Запищал телефон. Рудой справлялся, как дела.

— Все в порядке, товарищ старший лейтенант, — сказал Зильберман своим чистым, звонким голосом.

Через несколько минут был убит Четвертаков. Случилось то, чего Аркадий опасался больше всего: немцы нащупали амбразуру. Друзья быстро заложили ее всем, что было под руками, — обломками бетона, полушубками. На всякий случай держались подальше от этой амбразуры. Минут через десять влетела зажигательная нуля. Она попала в ящик с гранатами и взорвала его. Осколками был убит Зильберман. Он покатился на пол, не выпуская из рук телефона. Ходики, висевшие на стене, продолжали тикать. На них было десять минут пятого. Надо было продержаться еще хоть час.

Аркадий стрелял, не отрываясь от пулемета. Телефон не разбился, и Галанин сообщил в роту, что патроны скоро кончатся.

На другом конце провода стоял Рудой.

— Высылаю боеприпасы и смену, — сказал он.

Но бойцы, посланные в дот, не дошли до него. Немцы оседлали дорогу минометами и артиллерийским огнем.

Еще через пять минут запищал телефон. Рудой схватил трубку.

— Говорит Дзюбин, — услышал он хриплый голос, — патронов осталось от силы на полчаса. Галанин убит...

Голос его оборвался, затрещал пулемет. Видимо, Аркадий бросился от телефона к пулемету. Рудой нервно посмотрел на часы. С минуты на минуту в тыл немцам должна была ударить шестая рота. Только бы она не запоздала!

Показались два вражеских бомбардировщика. Они по очереди спикировали на дот и сбросили бомбы. Поднялись огромные столбы земли и дыма. Цепи гитлеровской пехоты побежали на дот. Они были не далее как в двухстах метрах от него. Дот молчал.

— Не додержался, — пробормотал Рудой, — еще бы немножечко...

В эту минуту из дота заговорил пулемет. Дот жил, он работал! С наблюдательного пункта было видно, как фашисты снова отхлынули от него.

Связист протянул Рудому трубку.

— Из дота, — сказал он.

— Дзюбин, милый, жив? — закричал Рудой в трубку.

— Дышаю пока что, товарищ старший лейтенант, — ответил хриплый усталый голос, — патроны кончаются.

— Продержись минуток пять — десять! Сможешь?

— Постараюсь, товарищ старший лейтенант. А шё, там нет поблизости этого красавца Сашки Свинцова? Я бы с ним попрощался на всякий пожарный случай, черт с ним... Я, конечно, извиняюсь, товарищ старший...

Он не закончил. Связь оборвалась.

* * *

Саша прочел письма, вернул их Тасе и резко сказал:

— До свиданья.

— Куда вы? — изумилась Тася.

— Надо мне, дело есть, — торопливо сказал гигант.

Он посмотрел на Тасю, вдруг нагнулся, поцеловал ее в губы и быстро ушел.

В окружном интендантском управлении он нашел политрука Масальского и попросил разрешения немедленно вернуться в часть.

— Очень нужно, зря не просил бы, товарищ политрук, право.

Масальский внимательно посмотрел на его взволнованное лицо.

— Ну, поезжайте, милый, коли так подошло. Но как вы доберетесь?

— С попутными машинами! — крикнул Саша, уже отойдя.

Он вышел на дорогу. И редкая машина не останавливалась, завидев громадную Сашину фигуру с высоко поднятой рукой. Никто не ехал прямо в Сашину роту, и гигант переходил с машины на машину.

Он сам не знал, почему он так спешит. Он чувствовал только, что ему надо сейчас же, немедленно увидеть Аркадия, сказать ему: «Прощаешь меня? А я-то никого так не люблю, как тебя, одну только Тасю...»

Сердце гиганта было переполнено нежностью и счастьем. Но он знал, как неверна жизнь человека на

войне, и он не останавливаясь мчался туда, на передний край, сменяя полуторку на броневик, прыгая с танкетки на обозную подводку.

Когда он прибыл в четвертую роту, дот еще жил. Он стрелял, но все реже и реже. Только когда фашисты подползали слишком уж близко, он огрызался короткими очередями. Немцы предпочитали обстреливать его издали.

— Я пройду туда,— сказал Саша.

Рудой молча указал ему на дорогу. Снаряды и мины рвались на ней беспрестанно. Самый дот покосился. Бетонная шапка его сдвинулась как бы набекрень.

— Пройти можно,— упрямо сказал Саша.

Рудой кивнул головой. Гигант навьючил на себя боеприпасы и пополз. Затаив дыхание, Рудой следил за ним. Саша доползал до воронки, отлеживался там и полз дальше.

А с другой стороны полз немецкий солдат. Он тоже полз медленно, соскальзывая в воронки, его распластанное тело почти не отрывалось от земли. По-видимому, это был не менее ловкий и храбрый человек, чем Свинцов. Он полз к доту, чтобы заткнуть гранатой его огнедышащий рот.

И вдруг заговорили сразу несколько пулеметов. Рудой просиял от радости. То подошла долгожданная шестая рота и ударила немцам в тыл. Рудой приказал пустить ракету, и все три его взвода поднялись и пошли в атаку.

А навстречу им шагал Саша. На руках у него лежал Аркадий. Гигант бережно нес его. Длинные руки и ноги Аркадия бессильно свешивались. Бледное лицо с задорными усиками было окровавлено.

Саша донес Аркадия до большого дерева и здесь положил его на снег. Потом он скинул с себя полущубок и осторожно подsunул его под Аркадия. Он попытался прощупать пульс Аркадия и не нашел его.

— Умер...— прошептал он, и по грубому лицу его покатались скупые слезы, вероятно первые в его жизни.

Солнце садилось. Невдалеке трещали пулеметы. Мимо дерева прогнали группу немцев, только что захваченных в плен.

— Кто умер, кто? — слабым голосом вдруг сказал Аркадий и открыл глаза.

Саша вскрикнул от радости.

Он взял Аркадия за руку и крепко пожал ее. И он ощутил ответное пожатие, но такое слабое, что у Саши защемило сердце.

Аркадий повел вокруг себя глазами. Затуманенный взгляд его упал на пленных фашистов, проходивших мимо.

— Нет, — прошептал он, — эти жабы не дождутся, шёб Аркадий Дзюбин умер.

Он слегка приподнялся и тотчас упал на подставленные Сашей руки.

Но даже страшная боль от раны в голове не могла сломить этого человека. И улыбка, насмешливая и слегка надменная, непобедимая дзюбинская улыбка сияла на его окровавленном лице.

1941



РАССКАЗЫ



-

1

1

1

1

ДЕЛО ПОД КАРТАМЫШЕВОМ

1

Весной 1916 года Н-ская дивизия стояла у Картамышева на германском фронте. Дивизия была не из лучших. Обмундирование на людях — худое. Обижали довольствием. Каптенармусы подобрались вороватые. Часто портились винтовки из-за нехватки ружейного масла и шомпольных накладок.

В штабе дивизии этому не придавали значения. Там главное полагали в боевом духе солдата, и действительно русские солдаты дрались стойко. Большинство же бед происходило оттого, что начальник дивизии генерал-майор Добрынин оказался плохим командиром.

Много лет он был инспектором классов в военном училище и главными воинскими доблестями привык считать хорошую выправку и канцелярский порядок. В дивизии Добрынина называли «Вонючий старик». Наступать он не любил, так же как и отступать, потому что это нарушало порядок. Расположение сбивалось, части перемешивались. Придя в дивизию, Добрынин досаждал солдатам дурацкими выдумками, вроде того, чтобы они в окопах раздевались на ночь и при этом

подштанники выкладывали перед собой аккуратными четырехугольниками.

Окружавшие генерала штабные офицеры были под стать ему. Он и подбирал их по признаку спокойствия характера. Он терпеть не мог споров, резких действий, никакой работы для ума и воли.

Что же касается до боевых и распорядительных офицеров, рассеянных по четырем полкам дивизии, то они не имели на штаб никакого влияния. Во всей армии существовала старинная рознь между штабными и окопными.

Отчаявшись завести на фронте школьные порядки, генерал махнул рукой на дивизию. Он не выходил из своей квартиры в бывшем поповском домике при картамышевской церкви и все писал письма влиятельным петроградским родичам, умоляя исхлопотать ему отчисление из действующей армии. И в конце концов генералу было обещано после первого же успешного дела устроить ему перевод на покойное место в солидном тыловом штабе.

Итак, остановка за малым: нужна победа. Добрынин решил двинуть дивизию в наступление. Собственно, он не имел на это права. Однако всегда можно было оправдаться, назвав атаку вылазкой. Правда и то, что никакой надобности в атаке сейчас не было. Она была генералу даже неприятна, как всякое действие, к тому же кровавое. Но дело шло к пасхе, на пасху всегда награждали орденами и производством по службе, и генерал не хотел пропустить случая.

Он заперся в кабинете и заставил себя произвести некоторые мысленные расчеты. В четырех полках его дивизии было примерно пятнадцать тысяч человек. Для того чтобы храбрость войск выглядела высокой, следовало добиться не менее тридцати процентов убыли состава. Если пустить в дело половину дивизии, это дало бы около тысячи убитых и раненых.

Получив эту цифру, Вонючий старик несколько расстроился. Тысяча смертей и калечий. Сколько вдов и сирот, какое горе для невест! Но что поделаешь? В конце концов это война. Его сосед по участку, этот пролаза генерал-майор Навроцкий, показывал пятнадцать и даже шестнадцать процентов, а ведь он пришел на фронт армейским подполковником, дерьмо этакое! Все дело в умелой организации атаки. А генерал Деникин доходит до двадцати. Он гремел на всю армию, его дивизию

называли «Железной»; для солдата нет ничего страшней, чем угроза перевести его в «Железную».

При мысли о генералах-конкурентах, постоянно его обгоняющих, Добрынин озлобился. Довольно в самом деле разыгрывать из себя институтку. Этак всю войну проканючишь в начальниках дивизии. Генерал в волнении прошелся по комнате. Расчеты еще не кончены. Помимо убыли состава, следовало исчислить и количество героев. Мысленно прикинув, Добрынин решил быть щедрым. Да, здесь тоже не следует скупиться. Нужен размах. Шестьдесят, нет, семьдесят, нет, семьдесят пять солдатских и офицерских «Георгиев». Вместе с тысячью павших это прозвучит солидно.

Генерал повеселел. Он даже растрогался. Он стал думать о том, сколько радости принесут солдатам маленькие серебряные крестики. Что касается тринадцати процентов смерти, Добрынин считал их вполне обеспеченными как плохим состоянием вооружения, так и всем известной стойкостью русских солдат. И больше об этих тринадцати процентах генерал не стал думать.

В ту же ночь был подписан приказ об атаке. Она назначалась на следующий день. Приказ сообщили полковым и батальонным командирам. Младшему офицерству и солдатам решено было открыть его перед самой атакой — ввиду плохого настроения солдат. Приближалась пора посевов, и люди тосковали по дому.

2

С утра шел дождь. К полудню прояснилось. Вышло бледное солнце. Пригретая земля пахла. В воздухе, в цвете неба появилась какая-то нежность. Неужели придет весна?

Тихон Великанов, немолодой солдат из ратников, сидевший у бруствера, отколупнул кусочек земли. Он промял ее между пальцами. Она ему понравилась. Он сказал соседу:

— Богатая земля.

Сосед ответил:

— И удобрение богатое.

Ленивым жестом сосед указал вперед, в поле.

Тихон глянул в бойницу: посреди поля на проволоке висели трупы. Нынче ночью охотники вышли, чтобы

разрезать проволоку, были накрыты неприятельскими прожекторами и расстреляны из пулеметов.

Тихон отвернулся. Шутка ему не понравилась.

Тихон и сам был шутником, но в другом роде — в добродушном. У него была репутация ротного балагура. В каждой роте есть свой лучший танцор, лучший гармонист и лучший шутник. В окопах веселятся, как всюду. Лицо Тихона с крошечным носом и высоко поднятыми бровями содержало в себе нечто забавное. Всегда на нем была гримаса веселого удивления. Тихон умел талантливо представлять из себя дурачка. Когда он только пришел в полк, его в самом деле считали дурачком. Но вскоре, во время ротных занятий по штыковому бою, товарищи раскусили, что Тихон — человек не простой.

Занятия происходили на плацу. Там стояли чучела, грубо воспроизводившие очертание человеческого тела. Фельдфебель Негреев вызвал Тихона.

— Смотри, Великанов, это есть твой враг. Ты должен его заколоть. Вот таким манером.

Негреев вскинул винтовку, кровожадно выкатил глаза и, сделав три чистых балетных выпада, всадил штык в чучело. Посыпались опилки. Прием длился несколько минут.

Тиша сказал:

— А враг согласится ждать, покуда я его убью? Уговор есть?

В рядах заулыбались.

Негреев крикнул:

— Не рассуждай! Коли!

Тиша кольнул.

— Сердись больше! Помни, что перед тобой враг. Сердись!

Фельдфебель отошел к другим солдатам.

Оставшись наедине с чучелом, Тиша взялся за дело добросовестно. Он бил чучело по соломенному пузу, колот его, рвал руками, дубасил прикладом.

Рота хохотала.

Когда фельдфебель вернулся к Тихону, на земле лежала кучка деревянного хлама и опилок — все, что осталось от прибора для обучения штыковому бою.

Тихон с достоинством доложил:

— Господин фельдфебель! Убил врага. Не встанет.

Он получил за это два наряда вне очереди и репутацию хитрейшего мужика в роте.

Его сосед, который так дурно сострил об удобрении, был вольноопределяющийся Георгий Соломонов, огромный красивый детина, первый силач полка. Непонятно, что соединило двух столь разных людей. Только в окопах завязывались такие необыкновенные дружбы. Соломонов кончил два факультета — философский в Сорбонне и юридический в Одессе. Жадность этого человека к наукам, острота его ума, редкостное трудолюбие заставляли ждать от него больших дел. Все в нем было крупным. Он не успел сдать государственные экзамены, когда его призвали на войну.

Образование давало Соломонову право стать офицером, но как еврею ему было это недоступно. Это уязвляло его гордость. Он совершал чудеса храбрости, надеясь таким образом заслужить чин. Слава о его подвигах дошла до штаба армии. Его наградили двумя крестами и дали ему нашивки ефрейтора. Большого он не достиг. Он озлобился. Он впал в мрачное безразличие и целыми днями писал письма к жене, которую обожал.

Соломонов не сомневался, что там, где развитию его способностей не будет поставлено предела, он быстро достигнет высших степеней, доступных военному человеку. Он нашел, что именно военное дело было его истинным призванием, но не в качестве солдата, мокнущего на дне окопа, а стратега, решающего судьбы войны. Один Тихон знал всю глубину его сумасшедшего честолюбия. Вши, сырость, жидкий суп — мелкие солдатские заботы не донимали Соломонова. Но он выходил из себя, наблюдая действия штаба дивизии, такие мелкие и бескрылые.

Сейчас Соломонов сидел на дне окопа, поставив винтовку между коленями и лениво переругиваясь с Тихоном. Речь шла о том, чтобы им обоим после войны зажить вместе.

— Ты переедешь в город, — говорил Соломонов своим властным, нетерпеливым голосом, — поселишься рядом со мной. Дело найдется.

Он убрал свои длинные ноги, чтобы дать пройти прапорщику Врублевскому, который мотался взад и вперед по траншее, нервно прислушиваясь к противоположному вою мелкокалиберных снарядов.

Прапорщик Врублевский, новый ротный командир, только несколько дней назад пришел на передовую. Это — хмурый и неразговорчивый юноша. Лицо у него маленькое, бледное. Глаза он всегда устремляет в землю,

как бы впадая в задумчивость, но на самом деле избегая смотреть собеседнику в глаза. И ко всему — кислое выражение лица, словно у него постоянно болит живот.

Однако все бы это ничего, если бы не его вчерашнее поведение в блиндаже.

3

Вчера немцы стреляли из тяжелых орудий. Попадания у них были не очень точными. Возможно, орудия поизносились и прицелы обманывали. Так или иначе — было больше шума, чем дела. Все-таки с непривычки было страшновато, тем более что стреляли они довольно долго и некоторые снаряды разрывались в неприятной близости от блиндажей.

А когда пошли в ход двадцатиодносантиметровые, стало совсем неважно. Кто-то закричал. Но это не мог быть раненый: осколки не залетали в укрытие. Он закричал просто потому, что нервы не выдержали. Длинным, как бы женским криком. Все неодобрительно оглянулись. И так паршиво, а тут еще орут. Это был новобранец. Он замолчал и с виноватой улыбкой озирался на товарищей.

Другой новобранец застыл у стены, как камень. Он не двигается. Он избегает шевельнуть даже пальцем, даже веком. Это было его колдовство. Он считает, что неподвижность приносит ему счастье и потому только он остается цел.

У многих было свое колдовство. Одни что-то шептали. Другие крестились. Соломонов в опасные минуты сжимал в руке фотографию жены. Не то чтобы он верил, что это его спасет. Это не было колдовство. Он как бы обнимал жену. Он хотел, чтобы в момент смерти жена была в его объятиях.

Простейшим колдовством было — ругаться. После каждого разрыва однообразно и крепко материться. В это верили.

У Тихона не было колдовства. Его ясный, насмешливый ум отрицал колдовство. Тихон не показывал признаков волнения. Может быть, в душе он волновался. Но у него были свои представления о приличии. Он считал, что пожилому мужику, как он, волноваться не к лицу. О, если бы он был помоложе. Он тоже позволил бы себе разок-другой взвизгнуть. Это помогает.

Сейчас он стоял снокойный и даже важный и только в очень опасные минуты слегка бледнел и тотчас озорно улыбался.

Так вело себя большинство солдат. Они переживали. Ничего не поделаешь. Когда-нибудь обстрел кончится, как кончается дождь и все на свете. Переждем.

Офицерам было легче. Они знали, что на них смотрят солдаты. Это помогало держаться. «Я их отец. Я их учитель». Здесь было немножко игры, и это подстегивало, как вино.

Увы! Прапорщик Врублевский не оказалса на высоте положения. Он вздрагивал. Он не мог удержаться. Он злился на себя за это. Ему было стыдно перед солдатами. А потом он и стыдиться перестал. Он только вздрагивал — и больше ничего. Чтобы не смущать Врублевского, люди на него не смотрели. Один Соломонов бросал на прапорщика презрительные взгляды. Офицер называется! В конце концов вольноопределяющийся не выдержал и подошел к прапорщику.

— Перестаньте трястись, — прошептал он, — неловко перед солдатами.

Но Врублевского нельзя было остановить. Он ничего не слушал. Он хотел только вздрагивать — и больше ничего. Он нашел свое колдовство.

Да, вчерашняя передряга не украсила прапорщика Врублевского в глазах солдат. Все же кое-чему она его научила. По крайней мере он перестал таскать на себе все эти дурацкие побрякушки, которые молодые офицеры так любят цеплять на себя, выходя из своих трехмесячных школ прапорщиков, все эти эмалированные брелоки в виде погончиков да тупые железные кортики, производившие большое впечатление на девиц в глубоком тылу.

4

Сейчас Врублевский шагает взад и вперед по окопу. Вдруг он останавливается и кричит:

— Почему вы не стреляете?

Люди молчат и насмешливо переглядываются. Никто не отвечает, потому что вопрос ни к кому определенно не обращен. А на вопросы, не обращенные ни к кому, никто отвечать не обязан. Словом, сделано по-штатски.

Прапорщик снова кричит (он, оказывается, еще и крикун!):

— Фельдфебель, почему люди не стреляют?

Встал фельдфебель Негреев, плечистый старик, полный меланхолической ласковости. Два года он проторчал в запасных полках, занимаясь ротным хозяйством и подготовкой новобранцев к войне, на которой сам никогда не был. В конце концов он попался на каких-то грязных махинациях с сахаром и был отправлен на фронт. Здесь он попробовал цукать солдат и требовал от них точного исполнения всех мелких обрядов строевого устава. Окопники быстро отучили Негреева от тыловых замашек. Когда фельдфебель соседней роты получил при загадочных обстоятельствах пулю в затылок, Негреев, как неглупый человек, сделал правильный вывод из этого «несчастливого случая». Это был пример мгновенного и коренного перерождения человека. Негреев сделался кротким и справедливым начальником.

Он приложил руку к козырьку и сказал извиняющимся голосом:

— Патронов нет, ваше благородие...

Люди с любопытством посмотрели на прапорщика. Они были почти благодарны ему за маленькое бесплатное развлечение, которое он доставлял им.

Прапорщик нахмурился и крикнул:

— Связист, соедини меня со штабом дивизии!

Связист склонился над своим деревянным ящиком и глухо забормотал.

Прапорщик опять завел свою мотню. Он шатался взад и вперед по траншее, спотыкаясь о ноги солдат.

Тихон спросил Соломонова:

— Почему он все ходит?

Соломонов пожал плечами:

— Нервничает человек. Из дрейфунов.

И он опять вернулся к своей любимой теме — о том, как они заживут вместе после войны.

— А что я буду делать в городе? — сказал Тиша. — Мне в городе делать нечего. Я — человек деревенский.

— Ну так знаешь что? — сказал Соломонов. — Я поселюсь в деревне.

— А что ты будешь делать в деревне?

Соломонов решительно не знал, что он будет делать в деревне.

Тиша положил руку на колено Соломонову и заглянул в его строгие голубые глаза.

— Это мы сейчас с тобой из одного котелка хлебаем, — сказал он, — а вернемся по домам, забудем друг

друга, как не видали. Там мы с тобой, брат, в разных дивизиях состоим.

Помолчав немного, он добавил:

— А все же я буду вспоминать тебя, Егор.

Но Соломонов заупрямился. Он ни за что не хотел согласиться с тем, что после войны он и Тихон расстанутся.

Тиша вздохнул и поднялся. Он взял котелок и сказал, что идет за обедом.

— Нынче моя очередь, — сказал он и ушел.

Рановато еще было идти за обедом, но Тихону надоело слушать фантазии Соломонова.

«Добрый малый, — думал он, пробираясь в ходах сообщения, — за товарища отдаст жизнь, а в общем малохольный, как все *они*».

Под словом «они» Тиша разумел *городских, господ, непростых*. Тиша не отрицал за *ними* некоторых достоинств — ума, образованности, деликатности, но при всем том считал, что все *они* страдают странным пороком чудачества, что делало их в глазах Тиши существами неполноценными, глуповатыми, как бы не совсем людьми. Самый темный и нищий деревенский парень обладал в глазах Тиши перед любым из *них* преимуществом здравомыслия. Взять вот Соломонова... Тиша любил его. Два года они не расставались, пили из одной баклаги, спали под одной шинелью, в атаках держались всегда рядом, штык к штыку, и не раз спасали друг другу жизнь. Иногда Тиша забывал, что Соломонов не *деревенский*. Его простые повадки, физическая сила, здравость его суждений делали Соломонова в глазах Тиши совсем *своим*.

Но изредка — и всякий раз непонятно почему — в глазах Соломонова вдруг вспыхивал безумный огонь непрактичности, он лез на рожон, дерзил начальству, или вдруг вскакивал на бруствер и сидел там под дождем неприятельских пуль, или впадал в надменную молчаливость, которая длилась по нескольку дней, или ни с того ни с сего отдавал свои новые английские сапоги какому-то незнакомому солдату из чужой роты в обмен на его старые ботинки.

«Эх, — думал Тиша, подходя к укрытию, где стояли походные кухни, — если бы он не был барин, какой бы это был человек!»

Связист поднял голову над своим ящичком и сказал голосом, полным ложной грусти:

— Штаб не отвечает, ваше благородие. Должно быть, повреждение линии.

— Ищи штаб! — закричал Врублевский.

Соломонов искоса посмотрел на прапорщика. Взгляд этот взорвал Врублевского. Он подбежал к Соломонову. Строго говоря, Соломонов не смеялся. Черты его были неподвижны. И все же где-то в глубине его худого красивого лица сквозила насмешка, черт его знает в чем: может быть, в некоторой прищуренности глаз или в легкой дрожи ноздрей.

— Вольноопределяющийся Соломонов, — крикнул прапорщик, — извольте не смеяться!

Соломонов встал. Он приложил руку к козырьку и в упор смотрел на Врублевского.

Врублевский был в исступлении. Дрожащей рукой он копошился в кобуре. Казалось, сейчас произойдет что-то ужасное. Но под спокойным, чуть презрительным взглядом Соломонова он все более охладевал и в конце концов сказал плачущим голосом:

— Вы думаете, что если вы кончили университет, то вы умнее всех?

Солдаты переглянулись. Всем стало неловко. Нет, опять сделано по-штатски.

В это время связист радостно воскликнул:

— Есть штаб, ваше благородие!

Врублевский схватил трубку.

— Говорит Иркутск... Да... У нас нет патронов. Пришлите нам патронов... Да что вы, оглохли?.. Вам русским языком говорят: нет патронов... Ну вас к черту! Поставьте к телефону кого-нибудь потолковей... Что?.. Извините, господин капитан, я не знал, что это вы. Но все равно, это не меняет дела, у нас нет патронов... Что?.. Почему не нужны?.. Ничего не понимаю...

И, отдав связисту трубку, прапорщик мрачно устался в землю. Скучное лицо его стало еще скучнее.

Соломонов все понял. И когда Тихон вернулся с обедом, вольноопределяющийся сообщил ему:

— Будет атака.

Тихон не поверил.

— Разведки не было, — сказал он, — проволока не сбита.

Они принялись за суп. В нем оказалось необычно много мяса.

— Двойной рацион, — сказал Соломонов, — перед атакой.

Но Тихон не хотел соглашаться. Обилие мяса привело его в благодушное настроение. Все рисовалось ему в хорошем свете. Он болтал:

— Надо иметь понятие, дружок. Почему атаки не будет? Потому что у нас такой силы нет. На все надо иметь понятие.

Соломонов плюнул. Его раздражало это упрямство.

После обеда фельдфебель Негреев крикнул:

— Выходи получать водку!

Тихон смущенно отвернулся, но Соломонов схватил его за плечи и повернул к себе.

— Будешь спорить? — сказал он. — Эх ты, Ванька безголовый!

Тиша молча копался в вещевом мешке. Ему было досадно, что он оказался неправым. О самой атаке Тиша не думал. Немало их было на его двухлетнем солдатском веку. Ничего, сходило до сих пор. Он достал из мешка баклагу и побежал в блиндаж.

Соломонов разлегся на земле. Подложив под голову могучие руки, он мечтал. Он не пил и не курил, не путался с женщинами в прифронтовых городках, не дулся в карты с офицерами, как другие вольноопределяющиеся. Теперь, когда храбрость его больше не имела цели, вся сила его характера уходила в мечты.

«Да, я вижу тебя. Совершенно ясно. Боже, какие хорошие и красивые глаза! Ни одна фотография не похожа на тебя, потому что у тебя очень подвижное лицо. Подойди ближе. Еще ближе. Твои волосы щекочут мой висок. Это лучше всего. Приложи свою щеку к моей. Так. Она холодней, чем моя. Ты всегда была чуть прохладней меня. Мы видим одно. Как хорошо. Ты гладишь меня по голове. Еще. Еще. Отодвинься, я не вижу тебя, оттого что ты близко. Теперь вижу. Нет, и по отдельности все в тебе хорошо. Вот это. И это. И это...»

Тем временем Тихон прибежал в блиндаж. Там было полно солдат. Теснота страшная, все сбились в кучу, но каждый знал, за кем стоит. В дальнем углу горела свеч-

ка, неясно освещая мокрые стены. Испарения, махорочный дым, запах немых тел — не продохнуть.

— А что, братцы, — испуганно спросил Тиша, — еще не кончилась водка?

И он принялся протискиваться в толпу.

Высокий солдат с грубым лицом, на котором вовсе не росли волосы, схватил Тишу за плечо:

— Куда лезешь? Становись, как люди, в затылок.

— Не бойся, Мишутка, — пробормотал Тиша, все протискиваясь, — я вперед тебя не пойду, мне только посмотреть.

Благодаря своей юркости он скоро достиг передних рядов и здесь остановился, внимательно и беспокожно глядя перед собой.

На ящиках из-под галет стояла четвертная бутыль.

Несколько пустых валялось рядом на земле. Каптенармус Назаркин — из бывших лавочников — отмеривал солдатам по полстакана водки. Некоторые сливали ее в манерку, но большинство тут же выпивало и, крикнув, пробиралось к выходу.

Бутыль была грязна, и в тусклом свете невозможно было разглядеть уровень жидкости. По этому поводу среди солдат царило большое волнение.

— Не хватит. Вот увидишь, не хватит.

— Нет, нынче, я слышал, много запасено.

— Пускай они отдадут мне долг за прошлые разы.

— Слышь, Назаркин, отдашь?

— Может, тебе, — сказал каптенармус, не поднимая лица, чистого, с подкрученными маленькими усиками, — может, тебе шампанским отдать?

В толпе засмеялись.

— Нет, каптер, — сказал Тихон ласково, — ты так не говори, водки должно хватить, она отпущена по ведомости.

Но каптенармус последний раз нагнул бутыль и крикнул:

— Баста! Вся. Расходись, ребята!

— Ну вот... — сказал кто-то и вздохнул.

— Опрокинь бутыль! — крикнули в толпе.

Назаркин пожал плечами.

— Ей-богу, какой народ подозрительный...

Он опрокинул бутыль вниз горлом да еще встряхнул ее. Она была пуста.

— Постой! погоди! — крикнул Тихон.

Он выхватил бутыль из рук каптенармуса и внима-

тельно осмотрел ее со стороны дна. Даже пальцем ощупал.

— Ага,— сказал он удовлетворенно, словно нашел то, что искал.

Солдаты окружили Тихона.

— А что ты там видишь, земляк?

— А вот что.

Тиша показал: посреди дна была вырезана аккуратная дырочка.

Солдаты удивленно молчали.

— А теперь гляньте сюда.

В ящике, на котором стояла бутылка, тоже была дырочка.

Тиша приподнял ящик. Под ним оказался бидон, полный водкой. Она натекала сюда через оба эти отверстия.

— Вот она где,— сказал кто-то с бесконечным удивлением.

Все молчали, пораженные. Назаркин испуганно озирался.

— Видали? — сказал Тиша своим ласковым голосом. — Видали, братцы, как мужиков облапошивают?

Тут всех прорвало. Солдаты закричали враз, перебивая друг друга и напирая на капитанармуса:

— К командиру его!

— Зачем к командиру? Сами решим.

— Он небось с командиром в доле.

— Одна шайка!

— Последнее отымают, водку.

— Они эту водку немцам продают.

— Продают нас, братцы!

В задних рядах бушевал Мишутка. Он никак не мог пробраться вперед.

— Пусти меня,— кричал он,— я его прикладом!

— Ишь ты, умный какой — пусти его. Я сам его прикладом.

Назаркин упал на колени. Он прикрыл свое чистое лицо руками, защищая его от ударов.

Поднявшись на носки, Мишутка вопил сзади:

— Сапогами его, сапогами, вору! —

И вдруг бабье лицо его сморщилось, он заплакал.

— Чего ты реवेशь, дура? — изумился кто-то.

— Обидно,— сказал Мишутка, нисколько не стыдясь своих слез и размазывая их по щекам грязной варежкой. — Помирать идем, а тебя свои же грабят.

И, снова приподнявшись на носки, он заорал страшным голосом:

— Бей его! Насмерть бей!

Сгрудившись над каптенармусом, солдаты били его кто кулаком, кто шомполом. Не устояв на коленях, Назаркин упал навзничь. Он уже не кричал и не шевелился.

— Кончен... — сказал кто-то.

В блиндаже стало тихо. Все бросились к выходу. Не глядя друг на друга, солдаты разбежались по заводам.

Каптенармус застонал и поднял окровавленную голову. Блиндаж был пуст. Держась за стенку, каптенармус поднялся и заковылял в угол. Здесь стоял забытый всеми бидон с водкой. Назаркин взял его, сунул под полу изодранной шинели и, хромая, вышел.

Кое-как доплелся он до хода сообщения. Здесь ждал его взволнованный Негреев. Каптенармус отдал ему бидон и упал. Фельдфебель вызвал санитаров с носилками и приказал отправить Назаркина в лазарет.

7

Когда солдаты вернулись в окоп и, взяв винтовки, стали у бруствера, прапорщик Врублевский произнес краткую речь. Маленькое лицо его сложилось в значительную гримасу. Он помахивал рукой в слишком длинном рукаве.

— Ребята! — сказал он. — Мы пойдем сейчас в атаку. Помните, что смерть на поле брани почётна! Да, черт возьми! Враг не должен увидеть ваших спин. Нет, будьте к нему все время лицом. Немец не выносит русских лиц. Он бежит от них, как черт от крестного знамения. Ну, а если кто поведет себя недостойно, уж не посетуйте, ребята, уж с таким я управлюсь по-свойски. Я горяч.

Соломонов нашел эту речь глупой и развязной, однако в ней не было признаков трусости. Вольноопределяющийся с неудовольствием признал это.

Действительно, Врублевский был до странности спокоен. Воображение у него было вялое, и, не ходив никогда в атаку, он не представлял себе, что она такое. Другое дело — орудийный обстрел, грохот, разрывы. А сейчас так тихо. И эта тишина, предшествующая атаке, успокаивала Врублевского.

Напротив, солдаты были до крайности возбуждены. История с кражей водки раздражила их. Туманные угрозы прапорщика озлобили их еще больше. Оглядываясь, Тиша видел повсюду недобрые, угрюмые лица. Некоторые отставляли винтовки, словно не предстояла атака. Мишутка, напротив, положил винтовку на колено и смотрел на прапорщика с угрожающей пристальностью.

Все это взволновало Тишу. Ему захотелось развеселить ребят. Как признанный весельчак роты, он считал себя обязанным сделать это. К тому же он просто не выносил хмурых лиц. Как нарочно, в голову не приходило ничего забавного. Однако времени не было. Еще ничего не придумав, надеясь, что вдохновение вывезет, он крикнул смелым голосом:

— Ваше благородие, разрешите обратиться!

Врублевский остановился.

— Ваше благородие, я не могу пойти в атаку. Уж вы без меня как-нибудь.

Все насторожились. У Тиши было то деланно-серьезное выражение лица, которое предвещало уморительную шутку. Некоторые начали улыбаться: «Что-то наш Тиша отколет?»

— Что ты врешь? — сказал прапорщик.

Тиша задрал ногу и отчаянно вертел ею.

— Смотрите, ваше благородие, мы к немцам в гости собираемся, а у меня сапоги не чищены. Неудобно как-то — все-таки иностранцы. Пожалуй, не пустят к себе.

Солдаты смеялись. Нелепое предположение это рассмешило их. Посыпались шуточки. Никто уже не смотрел на Врублевского. Все подобрали. Огромный Мишутка хохотал до слез.

Прапорщик покраснел. Ему показалось, что смеются над ним. Он почувствовал себя униженным и злобно смотрел на Тихона. Черт возьми, это не вольноопределяющийся, этого мужичонку он сотрет в порошок.

— Послушай, ты... — сказал он.

Кто-то коснулся его руки и шепнул:

— Оставьте его.

Прапорщик обернулся. Это был Соломонов. Опять этот тип! Нет, это уж слишком!

— Ага, ты поддерживаешь его! — сказал прапорщик.

— Неужели вы не понимаете, — по-прежнему тихо сказал Соломонов, — что он сейчас спас вам жизнь?

Врублевский выругался. Он был так разозлен, что не чувствовал обычной робости перед Соломоновым.

— Я... — сказал он срывающимся от ненависти голосом, — я вас обоих сейчас арестую.

Соломонов оглянулся и, убедившись, что никто на них не смотрит, сказал тихо, но явственно:

— Дурак!

Потом он вернулся на свое место под стенкой окопа и, опершись на винтовку, невозмутимо уставился вдаль. Кругом шумели и смеялись солдаты, они окружали Тишу, который продолжал потешать их.

Прапорщик чуть не заплакал от ярости. «Что это такое? В конце концов я здесь начальник... Я имею право застрелить солдата за неповиновение...»

Но тут в соседней траншее раздался длинный, пронзительный свист. Потом — крики «ура» и топот. Там пошли в атаку.

Солдаты приумолкли и сделались серьезными. Они затягивали потуже пояса, осматривали штыки, некоторые крестились, другие почему-то прокашливались, как перед речью, иные, полураскрыв рот и не дыша, ждали сигнала.

Врублевский выхватил свисток и поднес его к губам. И тут он почувствовал, что свистнуть он не может: ему вдруг сделалось страшно.

Топот бегущих ног, крики «ура», выстрелы, неясный и грозный гул атаки, доносящийся сверху, с поля, — все это потрясло прапорщика. Он держал свисток у губ и не мог дунуть в него. У него не хватало сил для этого ничтожного движения ртом.

Солдаты оглядывались на прапорщика. Ожидание становилось невыносимым. Тиша повторял про себя, сам того не замечая:

— Ну... Ну... Ну...

А Врублевский все не свистел. Тогда, не в силах больше терпеть, Тиша выхватил у Врублевского свисток и сам засвистел. Потом он крикнул:

— Ура! — и, держа в одной руке винтовку, а в другой маленький грязный мешочек, с которым никогда не расставался, выскочил на бруствер и побежал вперед.

Солдаты повалили за ним.

Рядом с Тишей бежал Соломонов длинным легким шагом стайера. Они всегда держались вместе.

Справа и слева по всему пространству кочковатого поля бежали солдаты.

Далеко впереди заблестело множество тусклых бликов. Это играло солнце на стальных касках немцев, выбежавших навстречу.

Соломонов повернул голову, ища прапорщика. Его нигде не было. Соломонов остановился. Потом он повернулся и пошел обратно. Не заметив этого, Тиша продолжал бежать вперед.

Скоро Соломонов дошел до окопов и заглянул внутрь. Так и есть: прапорщик Врублевский сидел на дне траншеи, закрыв голову руками.

Соломонов прыгнул вниз.

Он тронул прапорщика за плечо.

— Идите, — сказал Соломонов тихо.

— Я не могу, — сказал Врублевский, не поднимая лица, — мне плохо.

— Идите, — повторил Соломонов и, схватив прапорщика за ворот, вытащил его наверх.

Врублевский неловко побежал вперед. Он жмурился. Дрожащей рукой он пытался и не мог расстегнуть кобурку. Он не догадался подоткнуть шинель и путался в ее длинных полах. Часто он останавливался.

— Нет, ты пойдешь! — кричал Соломонов и тумаками гнал его вперед.

8

Солдаты пробежали порядочное расстояние, когда Тихон заметил, что Соломонова рядом с ним нет. Он остановился и беспокойно поглядел вокруг себя. И вдруг увидел.

Соломонов бежал, но не обычным своим длинным и легким атлетическим шагом, а как-то неловко, качаясь и загребая руками. На ходу он отирал кровь с лица. Потом упал.

Тиша подбежал к нему и опустился на колени. Их цепь ушла вперед. Они были одни на широкой ржавой полосе земли. Садилось солнце. Земля дышала сырой весенней ласковостью. Издалека доносились крики, там столкнулись стороны.

Тиша вынул индивидуальный пакет и разорвал его. Ватой он отер кровь, которая беспрерывно заливала лицо Соломонова. Под его густыми спутанными волосами Тиша нащупал рану, круглую и такую маленькую, словно ее сделала не ружейная пуля. Тиша стал бинто-

вать всю голову сплошь ловкими движениями старого солдата, который не раз оказывал эту услугу товарищам. Но вдруг, не кончив бинтовать, он поспешно выпростал руку Соломонова из-под шинели и нащупал пульс.

— Егор, — забормотал он, — что же ты, а? Егорушка!

Вольноопределяющийся молчал. Его большое тело не шевелилось. Из разжатого кулака вывалилась фотография. На ней была изображена молодая женщина с веселым милым лицом. Соломонов умер, как хотел: сжимая в объятьях жену.

Тиша не поднимался с колен. Ему было так горько, как никогда в жизни. Много народу помирает на фронте, но всегда кажется, что любимый человек бессмертен. От земли шла пронзительная тревожная нежность. Вокруг свистали пули. Тиша не замечал их. Потом он очнулся и вскочил. Им овладел припадок неудержимого гнева, который иногда охватывает солдат на фронте. Он посмотрел вокруг себя бешеными глазами. Он хотел мстить, и притом немедленно. Кому? Он не знал.

Цепь стрелков возвращалась. Немцы сильно нажимали. Атака была произведена без подготовки, и теперь оказалось, что немцев на этом участке много больше, чем русских.

Когда Тиша увидел совсем близко от себя угольно-серые нерусские шинели, он отцепил от пояса шанцевую лопату и бросился на немцев. Как многие старые солдаты, он предпочитал биться лопатой: она не застревала в теле, как штык.

Тихона окружили три немецких солдата. Не в добрую минуту попались они ему под руку. Двоих он уложил мгновенно. Третий бежал. Тихон догнал его и рассек ему голову.

Отовсюду набегали немцы. Но Тихон был уже не один, на выручку прибежали товарищи. Бились так тесно, что стрелять невозможно было. Иногда не хватало места для замаха руки.

Постепенно здесь образовался центр боя. Он рос во все стороны. Все больше людей всасывалось в этот водоворот убийств. Яростный натиск русских, как электрический ток, от Тиши через соседей по цепям распространился на всю линию боя: уже угадывалась победа. В рукопашной схватке дерутся скорее нервами, чем оружием: кто дольше устоит перед желанием убежать назад.

Немцы не выдержали первыми. Их толпы дрогнули,

попятиться. Скорей назад, в окопы, под прикрытие брустверов! Русские хлынули вслед за немцами с силой воздуха, втянутого разреженным пространством. Вся эта куча людей, сшибаясь и падая, катилась по полю. Одни искали спасения в бегстве, другие — в победе.

Немцы попрыгали в окопы. Русские было устремились за ними, но из траншеи заговорил пулемет. Передние ряды русских были скошены, задние бросились на землю. Подняться невозможно было, смертоносный дождь хлестал низко над землей.

Тогда из задних рядов ползком начал пробираться вперед Тихон. Он расталкивал лежащих, бормоча:

— Отодвинься, милый, дайте-ка пройти, братцы.

Выбравшись вперед, он развязал свой неразлучный мешочек. Там лежали краюха хлеба, несколько серых солдатских конвертов, ружейная отвертка, портрет красавицы, вырванный из журнала «Солнце России», а под всем этим — маленькие ручные гранаты, известные под названием «лимонок». Давно уже не снабжали ими солдат, но запасливый Тихон сберег несколько до лучших времен.

Изловчившись, он швырнул гранату в окоп. Сейчас же — другую и третью. Из земли вырвались дым и пламя. Пулемет умолк. Русские вскочили и бросились в траншеи.

9

Тихон вбежал в немецкий блиндаж.

— Сдавайся! — крикнул он, замахиваясь последней «лимонкой».

Немецкий офицер, стоявший в углу, выстрелил из парабеллума. Тишу ожгло где-то недалеко от подбородка. Он швырнул гранату и выскочил вон. Офицер бросился плашмя на землю. Дым и грохот заполнили подземелье.

Тиша вернулся в блиндаж. Офицер стоял, поднимая руки и дрожа. Вбежали несколько солдат.

— Смотрите, какую птицу поймал! Чур, моя! — сказал Тиша.

— Птица жирная, — сказал Мишутка, — тебе за нее крест выйдет.

Тиша качнул головой. Он давно хотел получить крест. Мишутка оглядывал блиндаж. Хоть и поковеркан-

ный гранатой, он имел вид аккуратный и благоустроенный. По углам — койки с опрятными одеялами, с потолка свисала керосиновая лампа, даже граммофон стоял на столе.

— Самостоятельно живут люди, — сказал Мишутка с уважением, — красивше, чем у нас в деревне.

В блиндаж вбежал Врублевский. У него был растерянный вид.

— Чьи вы, чьи вы? — беспорядочно спрашивал он, размахивая наганом.

— Да мы ваши, — грубо сказал Мишутка. — Не узнаете? Наган-то уберите.

Врублевский вздрогнул и успокоился.

— А это кто? — спросил он. — Офицер?

Он подошел к офицеру, откозырнул и сказал на ломаном немецком языке:

— Ире вафен!

Офицер отдал ему револьвер.

— Коммен, — сказал прапорщик.

Оба они пошли к выходу.

— Ваше благородие, — крикнул Тиша, — пленный-то мой!

— Молчи, дурак, — сказал Врублевский и вышел вместе с немцем.

Солдаты переглянулись.

— Да ты не огорчайся, Тихон, — сказал Мишутка, — тебе и без того крест выйдет за сегодняшнюю атаку.

И он ободряюще хлопнул Тихона по плечу.

Тихон болезненно вскрикнул и опустился на землю. Бледность покрыла его лицо. Сквозь рубашку на плече проступило кровавое пятно. Он был ранен, но, разгоряченный боем, только сейчас почувствовал боль.

Товарищи положили Тишу на шинель и вынесли наружу.

Бой кончился. Немцы укрылись в третью и четвертую линии окопов. Русские оттянули войска назад. Не было смысла оставаться, так как завоеванная позиция не имела связи с соседними частями и опасным мешком выпирала из линии фронта.

Все же генерал Добрынин был доволен результатом боя. Как-никак это была победа с трофеями и пленными. На обратном пути русские попали под сильный огонь артиллерии и потеряли много убитыми и ранеными, что еще больше сообщило действиям с нашей стороны характер крупного и успешного дела.

Особенно доволен был Вонючий старик тем переломом в атаке, который произошел после того, как обезумевший от горя Тиша бросился в бой. В своем рапорте генерал представил этот момент как придуманную им тонкую стратегическую хитрость.

«Ложным отступлением,— доносил он в штаб армии,— мы выманили противника из его хорошо укрепленных позиций и внезапной диверсией с обоих флангов опрокинули и смяли его...»

Кроме того, генерал представил к награждению многих офицеров, особо отмечая случаи выдающейся храбрости, вроде подвига прапорщика Врублевского, собственноручно захватившего в плен командира неприятельской роты.

Что касается солдат, то здесь генерал для простоты приказал наградить крестами всех раненых. Однако оказалось, что раненых много больше, чем крестов. Тогда, стремясь к беспристрастию, генерал приказал наградить каждого третьего раненого, следуя тому порядку, в котором они лежали в лазарете.

Для этой цели был отряжен капитан Бровцев из штаба дивизии.

Капитан отправился в лазарет в сопровождении солдата, который нес большой ящик с крестами.

10

Тишу положили в крайней палате полевого госпиталя. Сестра милосердия перебинтовала ему плечо. Пуля прошла навывлет, не задев кости. О такой ране можно было только мечтать. Близость женщины волновала Тишу. Он старался не смотреть на сестру. Она поправила на нем одеяло и посоветовала заснуть.

— Ты один у нас легкий,— сказала она,— вся палата тяжелая.

Тиша улегся поудобней. Он вспомнил о Соломонове, но без горечи. Тише было хорошо сейчас. Покой, чистота, безопасность, сытный ужин, близкая награда. Это было почти совершенное счастье.

Для полноты его не хватало только табаку. У кого бы попросить? Все спят. Тиша посмотрел на соседнюю койку.

Там лежал человек с забинтованной головой. Тиша заглянул ему в лицо. Черные усики, закрытые глаза.

«Где ж это я видел его?» — подумал Тиша. Нога человека тоже перевязана. Видно, она в лубке.

Тиша завернулся с головой в одеяло и тотчас крепко заснул.

Утром его снова перевязали. В палате было скучно. Тяжело раненные не разговаривали. Они или стонали, или забывались в полусне, или им было вообще не до разговоров. Сосед Тихона все время спал.

Тише очень хотелось курить. Кроме того, ему нужно было оправиться. Он стеснялся сестры и не пользовался судном. Она разрешила ему выйти. Он накинул шинель и вышел во двор.

Шел дождь, от немощенной земли поднималась свежесть. Приятно было вдохнуть воздух, не пропитанный йодоформом. В клозете Тиша разжился у ребят табачком. Вновь прибывшие рассказали ему новости: началась переброска частей на Юго-Западный фронт, летом, говорят, будут давать отпуска на полевые работы. Вонючий старик переведен с повышением в Петроград, прапорщик Врублевский тоже куда-то отчислился по собственной просьбе.

В общем Тиша провел здесь уютные полчаса, никуда не спеша, покуривая и болтая о том о сем.

Капитан Бровцев тем временем быстро продвигался сквозь палаты, раздавая кресты каждому третьему. Поручение это было ему неприятно, и он спешил поскорей закончить его.

Войдя в последнюю палату, капитан отсчитал третью от дверей койку и остановился возле нее.

— Тут никого нет, ваше благородие, — сказал солдат, сопровождавший капитана.

— Он вышел по нужде, — сказала сестра, — он сейчас придет.

— В конце концов это все равно, — сказал капитан, — они все герои.

Он перешел к соседней койке. Солдат растолкал Тишина соседа. Тот проснулся и, увидев офицера, привстал, морщась от боли в поврежденной ноге.

— Фамилия? — сказал капитан. — Какой части?

— Двести восемьдесят первого стрелкового полка, шестнадцатой роты, рядовой Назаркин, ваше благородие, — сказал солдат.

В палату вошел Тиша. Удивленный, он остановился. Да, это был их каптенармус. Здорово ж они тогда его помяли.

— Доблестный солдат Назаркин,— забормотал капитан формулу награждения,— твой геройский подвиг известен всей армии, благодарное отечество восхищается тобой, поздравляю тебя с награждением почетной боевой наградой — Георгиевским крестом четвертой степени.

Солдат пришил к груди каптенармуса серебряный крестик.

— Ваше благородие,— крикнул Тиша,— нельзя его награждать. Это мы его сами покалечили. Он водку казенную крадет.

Капитан с недоумением оглянулся.

— Послушайте, сестра,— сказал он,— что он там такое плетет?

— Бредит, ваше благородие,— быстро сказал Назаркин.— Его бы убрать отсюда. Просто нет сил выдержать. Тронулся, должно быть.

В сильном возбуждении Тиша подбежал к каптенармусу. От волнения Тиша не мог связно говорить. У него вырывались отдельные слова. Он махал руками и пытался сорвать крест с груди Назаркина.

По знаку капитана два санитары схватили Тишу за руки.

Привлеченный шумом, в палату вошел врач. Это был студент третьего курса, недавно мобилизованный ввиду нехватки врачей.

— Сумасшедший? — спросил его капитан.

Юный врач посмотрел на Тишу, который бился в руках санитаров.

— Да,— сказал он, стараясь говорить уверенным голосом,— довольно типичный случай психопатической реакции, возникший, по-видимому, экзогенным путем. Я бы его изолировал.

— Перевести в психиатрическое отделение,— распорядился капитан,— проверить, не симулянт ли.

Тишу потащили в нервную палату. Еще некоторое время он бушевал, а потом присмирел и сделался грустным.

Вскоре его перевели на испытание в тыловой сумасшедший дом. Здесь было много солдат, кормили хорошо, работы никакой. Когда в палату входил офицер, солдаты громко ругали его и швыряли в него сапогами. Как сумасшедшим, им все сходило.

Комиссия врачей признала Тихона совершенно нормальным и постановила предать его суду за попытку симуляции психического заболевания.

Военно-полевой суд приговорил Тишу к смертной казни. Наказание было заменено отправкой на фронт.

Тиша вернулся в окопы родного двести восемьдесят первого полка. Снова начал он ходить в разведки, дрался в атаках и лежал, зарывшись в землю, во время орудийных обстрелов.

В минуты затишья он с удовольствием рассказывал солдатам о своем пребывании в сумасшедшем доме, которое он считал одним из лучших периодов своей жизни.

1939

МАДОННА ПРИДОРОЖНАЯ

...Мадонна и регулировщица
Стоят, друг другу не мешая...

Евг. Долматовский

1

Милостью войны мы были заброшены в С., уездный польский городок.

Впрочем, по тем временам, когда Речь Посполитая простиралась не далее Вислы и столицей был Люблин, маленький грязный С. возвысился в ранг крупного центра.

Низкое небо почти всегда серое и все в драных юрких тучах; меланхолический звон колоколов в костелах; дряхлые извозчики в долгополых камзолах с оловянными пуговицами, восседающие на высоких облучках со своими длинными цирковыми бичами и угреватыми носами пропойц; дикие порывы ветра, прилетающего с мерзлых побережий Вислы, чтобы долго жалобно стонать в остовах разбомбленных домов; мелочные лавки под вывесками «Космос», «Новый Вавилон» и витрины, набитые московскими папиросами, засохшей немецкой ваксой и миниатюрными распятиями из пластмассы; полковые оркестры Войска Польского, раздирающие сумерки своими медными воплями; облупленные стены ратуши, не штукатуренные с 1939 года и заклеенные пылками воззваниями Крайовой Рады Народовой о переделе помещицкой земли; булыжные мостовые все в соломе с крестьянских телег и в масляных пятнах от

ЗИСов и «доджей», мчащихся на фронт; по воскресеньям традиционные «променады» модниц в туфлях на пробковых подошвах, в конусообразных либо грибовидных шляпках, и рядом местные фаты в охотничьих куртках, непомерно суженных в талии, с чаплинскими усиками, тростями, двусмысленными улыбками в спину марширующих жолнеров дивизии имени Домбровского; Анна-Луиза Стронг, американская журналистка, шагающая сквозь этот польский медвежий угол, — седая, восторженная, все видевшая, — восклицала: «Польша — это как Испания в гражданскую войну: Люблин — Валенсия, Прага — Мадрид. Но здесь...» — и она, словно недоумевающая, разводила руками, — таков С. зимой 1944 года.

Комендант определил нас — меня и майора Д. — на постой к пану Адаму Борковскому, местному колбасному королю. Дом его стоял на окраине. Глядя в окно, мы видели зады города, обширный луг, запорошенный непрочным польским снегом, деревеньку на косогорах, коз, пасущихся среди глинистых луж, череду телеграфных столбов, убегающих к фронту, к Висле.

У самых ворот дома сходились три дороги: на Люблин, на Брест и на Варшаву, тогда еще занятую немцами.

На развилке этого шумного скрещения высилось — ростом с гвардейского знаменосца — каменное изваяние Мадонны. Это была богиня дорог — *Madonna Viatoria*, покровительница путников, всемилостивейшая мать перекрестков. Неведомый скульптор сложил ее грубые ноздреватые черты в томную, немного скорбную улыбку. Здесь не совершалось пышных литургий, кардинал-епископ не почтил Мадонну своим высоким посещением. Это было уличное божество, излюбленное бродячими торговцами, водовозами, холодными сапожниками, трубочистами, карманными ворами, предпочитавшими у ног этой плебейской богоматери замаливать свои ежедневные заблуждения.

Благодно склонив голову, увенчанную митрой и слегка выщербленную осколками стокилограммовой фугаски, простонародная богиня с приязнью взирала на маленьких школьников, наскоро по дороге в гимназию возносивших моления о ниспослании им достойных баллов по каллиграфии и арифметике; на батраков, волочивших на двор к пану Борковскому из Пшесмышков, из самой Вульки-Вишневской раскормленных бо-

ровов; на недоучившихся студентов-теологов, спешивших в Люблин на вновь открытый богословский факультет в своих коричневых сутанах, забрызганных дорожной грязью, и белоснежных жабо, накрахмаленных до стекловидности; на щеголеватых паненок, совершавших коммерческие паломничества из Праги Варшавской в С. для обмена мануфактуры на продукты и возлагавших к подножию пресвятой девы красиво сплетенные венки из подорожника.

Все эти путники совали золотые люблинского демократического правительства в объемистую кружку, прикрепленную к каменному плащу Мадонны. Каждый вечер кружку опорожнял причетник капеллы князей Чарторыхжских, филиалом которой было это божество дорог. У ног ее вечно теплилась неугасимая лампада. С наступлением темноты милициант, сняв конфедератку и осения себя крестным знамением, накрывал лампаду синим колпаком, согласно правилам о затемнении.

Возле Мадонны был пост военно-автомобильной дороги. Здесь, ловко распоряжаясь густым, путаным движением, стояли регулировщицы славной 15-й ВАД¹, чаще всего — ефрейтор Татьяна Сапожкова, рослая московская девушка с торчащими и красными, как спелые яблоки, щеками. На мощной груди ефрейтора сверкали севастопольская и сталинградская медали и метростроевский значок. Из-под пилотки пышно выбивались огненные кудри. Иногда ночью, когда иссякал ее электрический фонарик, ефрейтор склонялась к подножию Мадонны и в свете неугасимой лампады проверяла путевые листы фронтовых шоферов, запятнанные автолом и кровью.

Так они стояли рядом, эти две повелительницы дорог: одна — в широкой каменной мантии, другая — в брезентовой армейской накидке. Однажды я обратил внимание майора Д. на это забавное сходство, и оно дало ему повод написать одно из изящнейших своих стихотворений.

Двухэтажный дом пана Адама Борковского был заселен разросшейся его семьей. Гордые своим богатством, Борковские причисляли себя к высшей «магнатерии» города. Пан Адам, гений рода, был низенький плотный господин с черными клочками бровей и усов на круглом, вечно улыбающемся лице. Улыбка — из рода

¹ ВАД — военно-автомобильная дорога.

японских: напряженная спазма вежливости, создающая выражение благодушия, за которым, как мы думали, скрывались расчетливость, сентиментальность, вероломство. Догадки наши отчасти подтверждались слухами о происхождении богатства пана Борковского. Дом его до немецкой оккупации населяли евреи.

В дверных рамах еще зияли дырки от вырванных «мезуз» — миниатюрных свитков с молитвой, играющих у евреев роль священных и даже магических образов, чье назначение — не допускать в дом злых духов.

Теперь всюду были развешаны и расставлены маленькие яшмовые распятия, скульптурные или гравированные изображения остробрамской и ченстоховской богоматерей, весь малый реквизит польского католицизма. В остальном обстановка дома, с ее плюшевыми скатертями, пухлыми банкетками, множеством вязаных салфеточек и литографированными видами генуэзского кладбища, сохраняла стойкий мешанский характер, неизменный под всеми широтами.

Благосостояние колбасного короля значительно возросло, как это ни странно, в годы войны — за счет тех сбережений, которые доверяли ему евреи, угоняемые в гетто. Немногие из этих несчастных уцелели, спасшись бегством или вызволенные быстротой, с какой наши танкисты врываются в немецкие пределы. Эти чудесно спасенные люди приходили к пану Адаму Борковскому за своими деньгами.

Сквозь тонкий простенок, отделявший нас от хозяйских апартаментов, мы слышали яростные разговоры. Ругательства мешались с мольбами. Потом из окна мы видели плачущих людей, которые медленно удалялись, осыпая наш дом библейскими проклятиями. Пан Адам стоял в воротах, отшучиваясь.

2

Супруги Борковские равномерно поделили между собой торговлю и промышленность. В то время как пан Адам до глубокой ночи возился на своей фабричке, скользя среди предсмертных поросячьих визгов, пани Геновефа, засучив рукава на полных мускулистых руках и пылая румянцем азарта, торговала в собственном магазине фирмы, помещавшемся в центре города, непо-

далеку от памятника маршалу Пилсудскому, увенчанному парящим бетонным орлом.

Старшая дочь, пани Ирэна, когда-то училась в университете и даже была не чужда литературным интересам. По крайней мере, целую зиму она усиленно посещала одно варшавское кафе, где собирались известные писатели и журналисты. Избрав удачно расположенный столик, здесь можно было довольно явственно разглядеть черты лица поэта Т., а напрягши слух, услышать один из сногшибательных парадоксов фельетониста С. Перекроив с помощью столичных парикмахеров свое худосочное веснушчатое существо наподобие стандартной американской кинозвезды и выйдя замуж, пани Ирэна успокоилась. Сейчас она проводила дни, лежа на диване и штудирюя хронику светской жизни в довоенных иллюстрированных журналах.

Иногда из-за стены доносились до нас подмывающие звуки мазурки: «В каждом хлопе польска душа...» Это означало, что с фронта приехал в командировку за медикаментами доктор Ян Копач, муж пани Ирэны, долговязый, шумный малый, типичный крестьянский парень. В веселье его чувствовалось что-то неуверенное. Его мать была батрачкой на Виленщине, и о родителях доктора Копача было не принято говорить в доме Борковских. Выпив две рюмочки «монополевой», доктор тотчас хмелел и, постучав к нам в комнату, доверительным шепотом долго и нудно каялся «советским товажишам» в том, что он продал свою «душу польского хлопа» за сытную жизнь в зятях колбасного короля.

Пан Адам имел обыкновение повторять, что он несчастлив в сыновьях. Младший, Ричард, долго казался кротким, послушным мальчиком, но с некоторого времени он начал огорчать родителей. Точнее — с того момента, когда советские войска освободили С. Благородный восторг, охвативший тогда польский народ, увлек Ричарда в ряды дивизии имени Костюшко, перешедшей вместе с Красной Армией через Буг.

Посоветовавшись с женой, пан Адам съездил в Люблин, захватив с собой чемодан, набитый ассигнациями и копчеными свиньями «бочеками». Здесь ему удалось устроить сына шофером при каком-то интендантском «пулковнике». Однако Ричарду скоро надоело безопасное снование по шумным люблинским улицам, и он перевелся на фронт. Он стал одним из наиболее смелых

разведчиков своей роты и окончательно расстроил старого отца, вступив в социалистическую партию.

Старший сын, Фабьюш, «наследный принц», давно считался погибшим. Портрет его висел в бывшей детской: узкое лицо с высоким чистым лбом, глаза, смотревшие куда-то вдаль фанатично, застенчиво, грустно, смелый и нежный очерк юношеского рта.

Нам рассказали историю Фабьюша. Война застала его в Варшаве. Не раздумывая, он пошел на баррикады. Тщетно, как и многие миллионы поляков, ждал он торжественно обещанной английской помощи. Она не пришла. Фабьюш попал в плен. Немцы отправили его в освенцимский застенок. Раздав невероятные взятки немецким чиновникам и польским ренегатам, пан Адам получил возможность пробраться в район Освенцима. Здесь он узнал, что Фабьюш переведен в Бухенвальд, потом в Маутхаузен, оттуда еще куда-то, и след его затерялся в бесчисленных лагерях уничтожения, рассеянных на территории генерал-губернаторства, Варте-ланда и Старого рейха. С тех пор в течение пяти лет в церкви святого Станислава в С. еженедельно служили заупокойную мессу по Фабьюше. Пан Адам никогда не снимал с рукава траурного крепа, даже когда колот свиней на маленькой бойне при своей фабрике.

Однако история Фабьюша на этом не кончилась. Нам суждено было узнать ее продолжение, ибо Фабьюш был жив и вернулся в С.

3

Бывшую детскую сейчас временно занимали постовые 15-й ВАД. Старшая поста, ефрейтор Саложкова, содержала помещение в образцовом порядке, считая это щепетильнейшим вопросом чести для советских бойцов за границей. Ни одна из подробностей хозяйской обстановки не была тронута с места. Только над койками повисли автоматы, да на стене ефрейтор прикрепила портрет Ленина, а в углу аккуратно воздвиглась пирамидка гимнастических гирь, с которыми каждое утро упражнялась эта юная атлетка.

Пан Борковский был доволен тем, что в его доме живут военные. Ночи в С. были беспокойны. Беспорядочная стрельба вдруг возникала на улицах. Страшный стук сотрясал ворота. Дрожащими руками колбасный

король приоткрывал их. В щели показывались ствол винчестера и сублильное лицо с чаплинскими усиками. Баритон, полный угрозы и алкоголя, объявлял:

— Мы — летучий отряд Народовых Сил Збройных из Армии Крайова. Вот расписка в получении от пана Борковского пяти тысяч злотых. Прошу крупными купюрами, чтобы не задерживаться счетом. Торопимся...

Наутро миллионер плакался нам:

— В сущности, я вношу два налога: один официальный — правительству в Люблине, другой негласный — правительству в Лондоне. Полный балаган, проше пана...

В те времена небольшая банда, именовавшая себя «дивизией Армии Крайовой», кочевала в лесах вокруг Мендзыжеца и Бялы-Подляской, этой Мекки «аковцев». Выстрелы из-за угла и ночные шантажи составляли военную тактику этой «дивизии». При случае бандиты не отказывались от того, чтобы подколоть какого-нибудь профсоюзного активиста или демократически настроенного ксендза, имевшего неосторожность возвращаться поздно ночью от постели умирающего. О каждой такой «специальной акции» они в торжественных выражениях сообщали по тайному радиопередатчику в Лондон.

Иногда, перед тем как ложиться спать, мы с майором Д. совершали, моциона ради, ночную прогулку по улицам С. Мы шествовали сквозь мрак нерусского города, обсуждая полученный на фронте номер московской «Литературной газеты». Голоса наши громко звучали в пустынных улицах. Рецензия на областной альманах, вышедший в Тамбове, возбуждала спор между нами. Мы горячились, перебивая друг друга и размахивая руками, в которых на всякий случай были зажаты пистолеты. Ветер с Вислы свистел в руинах. Где-то в трущобах Пулавской улицы трещала стрельба. Смутные тени скользили в подворотнях. Солдаты польской комендатуры гнались за диверсантами. Приятно освеженные литературной дискуссией, мы возвращались домой.

На фронте тогда было затишье. Уже несколько месяцев он неподвижно стоял на Висле. Помпезно был отпразднован ежегодный День артиллериста. Казалось, вся энергия фронта ушла на подготовку выставки армейских художников в деревянных бараках Минска-Мазовецкого. Некоторые офорты и акварели сделали бы честь любой европейской галерее. Усилия эти не пропали даром: немцы начали склоняться к мысли, что русские

перешли к позиционной войне, уверившись в неприступности немецкой обороны. Маршал Георгий Жуков, командующий фронтом, подкреплял это убеждение противника искусными приемами дезинформации. Одновременно со свойственной ему беспощадной обстоятельностью он готовил свой страшный январский удар.

Ложные передвижения наших частей, намеренно плохо скрытые, вконец запутали гитлеровскую разведку.

Тем временем развернулась наконец зима. Она ударила крепко, почти по-русски. Висла покрылась прочным льдом. Снега завалили два маленьких плацдарма, два «пятачка» за Вислой, вырванные нами в гуще немецкой обороны. На одном из них, возле Пулавы, слепой январской ночью вдруг появился Фабьюш.

Вместе с двумя русскими летчиками он бежал из лагеря смерти. Двигаясь ночами, они прошли через Бранденбург. Им удалось проползти сквозь линию фронта. Увидев бледное лицо Фабьюша, услышав негладкую его речь, разведчики наши сочли его «психом». Возможно, что мучения, которые молодой поляк перенес в фашистских застенках, несколько затемнили его разум. Фабьюша направили в деревню З., где стояли тогда части 2-й Польской армии.

Здесь нашелся у него знакомый: Ежи Зволинский, полковой ксендз, молодой жизнерадостный парень, в прошлом правый хавбек футбольной команды «Полония» и к тому же родной брат Зоси Зволинской, о которой ходили слухи, что она нареченная Фабьюша.

Ежи уложил приятеля на своей койке. Однако через час он поднял его, сообщив с многочисленными извинениями, что их часть получила приказ двинуться вперед. Это было 13 января 1945 года.

Фабьюш тотчас заявил о своем желании вступить в армию. Но врачи, созванные Зволинским, нашли Фабьюша слишком слабым для этого. Сошлись на том, что он отдохнет несколько дней в отцовском доме.

— Ты догонишь нас по дороге в Берлин, — сказал жизнерадостный ксендз.

Фабьюшу выправили документы и усадили его в кузов ЗИСа, который вез старые автопокрышки в тыл, на восток. Техник-лейтенант из жалости к больному юноше уступил ему место в кабине.

К концу дня ЗИС докарабкался до Калушина. Здесь Фабьюшу пришлось выйти: машина дальше не шла.

Юноша стал на краю Варшавского шоссе. Движение было большое. Однако все — на запад, на фронт. Простояв с полчаса и порядком продрогнув, Фабьюш зашел в караулку дорожной комендатуры. Дежурный старшина, молодой парень с лукавым и озабоченным лицом, решительно покачал головой.

— Сконд плетешься? — пробормотал он на фантастической смеси русского и польского и, глянув на документы Фабьюша, прибавил: — На С. не бендзе машин. Сам видишь — вшиско на Вислу.

И он засмеялся счастливым смехом.

Фабьюш двинулся пешком. В конце концов до С. не более тридцати километров. И не может быть, чтобы по дороге не случилось попутной машины. Такое бойкое шоссе!

Фабьюш чувствовал себя довольно бодро. Им овладел припадок того странного возбуждения, какое иногда приходит посреди большой усталости и является одним из выражений ее. Без конца воображал он, как войдет в родной дом. Навстречу идет отец, — привычная деликатная улыбка; и тем учтивым тоном, который не изменяет папочке даже в разговоре с попрошайками: «Я приношу пану путнику свои наиглубочайшие извинения, однако я ничего не могу...» — но, не закончив, вскрикнет: «Дева пресвятая, царица польская... Это Фабьюш!» И на крик этот сбегутся все — и мамуся, и Ирэна, и этот мальчуган Ричард, доктор Ян, тетя Казимира, батраки из бойни; смех, слезы, горячая ванна с сосновыми шариками, бессвязные счастливые речи, чистое белье, молебен, заливной поросенок, сладостный сон в тепле родного дома...

Услаждая себя такими мечтами, Фабьюш шагал, наклонив лохматую голову против ветра. Ветер был какой-то несуразный: то бросался в лицо, то в спину, то в бок. Так или иначе, не оставлял в покое. По сторонам в поле кувыркались снежные смерчи. Фабьюш боялся, что если он остановится, то замерзнет. И он шел не останавливаясь. Ноги холодны и тверды, как лед, а голова пылала.

Тут случилась неприятность: развалились ботинки, которые вчера под Пулавой подарил Фабьюшу какой-то сердобольный русский солдат. Начало здорово припекать подошвы. Но Фабьюш не терял бодрости. Все же он шагает по родной земле. И все вокруг — и ветер, и мерзлый снег под ногами, и синий темнеющий воздух,

и толстые вороны под низким небом, — все это Польша, своя, свободная.

Спустилась ночь. Машин на шоссе стало еще больше. Иногда вспыхивали фары, и на секунду становились видны режущий блеск ледяной дороги и суматоха снежинок.

Машины шли в два, а то и в три ряда. Они шли плотными колоннами. И все туда, на запад. Фабьюш свернул за обочину и шел по щиколотку в снегу. Иногда он падал, потом поднимался и шел опять на С., на восток. Слышны были голоса солдат из-под брезентовых навесов, гудки сигналов, рев моторов, похожий на нетерпеливое ржание коней. Если бы Фабьюш не был сейчас таким усталым, почти безумным от усталости, он задумался бы над тем, что означает этот могучий ночной поток, и, может быть, пылкость натуры увлекла бы и его на запад.

Но воспаленная голова ни о чем сейчас не могла думать, кроме одного: не останавливаться. Остановка — это смерть. И он шел, кровь сочилась из разбитых ступней и тут же затвердевала красными льдинками, они больно стягивали кожу.

Иногда ему казалось, что он идет уже много дней по этому длинному снегу вдоль бесконечных жарких фыркающих машин. А то вдруг ему казалось, что он только что вышел и что у него еще много сил и ему нисколько не больно, и в этот момент он замечал, что он не идет, а лежит, сладко разметавшись на снежном пуховике. И он поднимался и шел дальше.

Вдруг он пугался: ему казалось, что идет не он, а идут только машины навстречу, а он стоит на месте. Он долго тщательно вглядывался в свои ноги и наконец убеждался, что они движутся. Он просто не ощущал их движения. Все еще не веря себе, он оглядывался назад и видел следы, свежие следы, которые он оставлял на снегу. Он успокаивался и шел дальше — на восток, домой.

4

Наконец его остановил патруль. Это были польские солдаты. Пока один проверял документы Фабьюша, другой поддерживал его, чтобы он не упал.

— Ты замерзнешь, приятель, зайди к нам в сторожку, обогрейся. Спрашиваешь, далеко ли до С.? Вот он, — сказал солдат и поднял шлагбаум.

— Я спасен... — прошептал Фабьюш.

Он был у отцовского дома. Мысль об этом возбудила в нем силы. Он потряс ворота. Старое железо ответило дружелюбным лязгом. Он долго стучал. Во дворе слышался визг. Очевидно, отец колот свиней, он любил заниматься этим по ночам. Потом залаял пес.

— Топси, Топси! — позвал его Фабьюш.

Ему казалось, что он кричит в полный голос, на самом деле он только шептал. Он снова принялся стучать. Это было трудно, руки не слушались его. Приходилось отдыхать, набирать силы, потом снова стучать.

Наконец во дворе послышались шаги. И Фабьюш услышал голос — мягкий, басистый, с вежливыми роко-таньями.

Фабьюш заплакал от радости. Вспухшим языком своим он изобразил слова:

— Папуня, это я, твой Фабьюш...

Но вместо слов из его замерзшего горла выкатился безобразный хрип.

Отец, там, за воротами, вежливо откашлялся и деликатно проворчал, что еще вчера он имел удовольствие внести известную сумму на патриотические нужды, в чем у него есть форменная расписка, и что для финансовых переговоров панам террористам лучше приходить в трезвом виде, и что, во всяком случае, завтра днем они договорятся, и что сейчас он желает панам террористам доброй ночи и низко им кланяется. И возможно, что он действительно, там, во мраке за воротами, низко поклонился. Потом послышались его шаги и удаляющееся утчивое покашливание.

Фабьюш долго бился в ворота. Он понял, что погибает. Он собрал последние силы и побрел на другую сторону улицы. Там стоял дом его богатой незамужней тетки пани Казимиры Борковской. Издавна известно было, что она проводит ночи в молитвах. У нее в доме была своя часовня и постоянно жил какой-нибудь капеллан, очередной ее духовник, обычно не очень старый.

Тут Фабьюшу не пришлось долго стучать: отозвались с чудесной быстротой. Калитка, правда, не отворилась, но два голоса, мужской и женский, запели в подъезде: «Pod Twoja obrone...»¹ — с ангельской чистотой и сладостью. Фабьюш впал в бешенство, он тряс ворота,

¹ «Под твою защиту...» — польская молитва.

хрипел, стонал, ругался. В ответ он получал «Pod Twoja obrone...» — и ничего, кроме этого.

Он потащился по улице и принялся стучать подряд во все ворота без разбора. Тут всё жили родственники и друзья. Вот дом пана Ловеико, отцовского компаньона. Вот этот — окруженный садом — принадлежит пану Пенксна, сияющему старичку с румяным детским лицом посреди аккуратной серебряной бородки, владельцу магазина церковной утвари, где всегда так сладостно пахло сухим кипарисом. А вот дом капитана Марцинека, старого легионера, и по обеим сторонам дверей все те же два алебастровых льва с замасленными спинами, оттого что на них вечно садились верхом школьники, а пан капитан высовывал в форточку свое красное лицо с длинными отвислыми старопольскими усами и скверно ругался, и от него школьники научились гадким уличным словам. А вот дом пана Зволинского, в младшую дочь его Зосю когда-то Фабьюш был влюблен и признался ей в этом на новогоднем балу в гимназии сестер-урсулинок. А дальше шли дома Бжезинских, Сеньковских, Скибинских, Тачальских. В большинстве домов никто не отзывался на стук Фабьюша. В иных его уверяли из-за ворот, что какие-то деньги будут внесены кому-то завтра. Кое-где угрожали спустить на него псов...

5

Ветер унялся. И снег перестал падать. И даже луна вышла на небо. И все вокруг колдовски заблестело. Вдруг Фабьюш увидел необыкновенное зрелище, которого никто во всей Европе не видел уже пять лет: посреди ночи ярко засветились окна в большом доме неподалеку. Сияющие прямоугольники лёгки на снегу. И даже музыка послышалась — флейта и скрипки, неясная, нежная мелодия.

Безумная догадка озарила юношу: кончилась война, немцы сдались! И здесь дают бал в честь окончания войны. Фабьюш обвел глазами улицу. Прочие дома были темны. Видно, там еще ничего не знали.

Он пошел к светлому дому. В слабости своей он иногда падал на снег, грязный снег, изжеванный фронтowymi машинами, потом вставал и упрямо шел к празднично сверкавшему дому.

Но когда он дошел до середины мостовой, свет

в окнах вдруг пропал. Перед Фабьюшем стояла темная закопченная руина с пробоинами в стенах. Ах, это все луна натворила! Через сорванную крышу она налила дом до краев своим волшебным блеском. И музыки не стало, только ветер метался, воя между осыпавшимися стенами. Фабьюш обернулся на луну и дрожащей рукой погрозил ей. Она прынула в облака, повалил снег, стало мутно.

И все же в этом мраке Фабьюш увидел фигуру. Она неподвижно стояла над ним, чернея на фоне неба, которое даже в самую темную ночь остается хоть немного более светлым, чем земля. Что-то знакомое почудилось Фабьюшу в очертаниях фигуры: покатые плечи, чуть склоненная голова, потоки тяжелых складок вокруг просторного тела. Фабьюш узнал ее: Мадонна! *Madonna Viatorum*, покровительница путников, благостная мать перекрестков!

С детства Фабьюш привык видеть ее на этом месте. Доброе божество когда-то благоволило к нему. Он без труда выпрашивал у нее победы в уличных драках и щедрые подарки от родителей к именинам или в сочельник. Она охотно покрывала его мальчишеские грехи — кражу колбасы с отцовской фабрики, ловкие выстрелы из духового ружья, удачно пробивающие стекла в квартирах соседей.

Позднее, выросши, Фабьюш пренебрегал Мадонной. Все же, может быть, она не забыла его? Вот ведь не погиб он в пути, не подкосила его в боях фашистская пуля, не засек немецкий бич в застенках, и он добрался-таки до родного города. Но тут, видно, кончилось покровительство всемогущей. Достигнув отцовского дома, он умирает на его пороге. Остекленевшая грудь его с трудом захватывает воздух.

Он подтянулся к подножию Девы. Он припал головой к ее ступням и принялся молиться. Это не была заученная молитва из трепника. Нет, он молился своими словами, как в детстве, когда он веровал горячо.

— Помнишь ли меня, пресвятая? Это я, твой Фабьюш. Видишь, я вернулся. Они меня не узнали. Но ты меня узнала. Они не пустили меня к себе, в свое тепло. Но ты можешь согреть меня огнем небесным. *Salvum fac Fabium!*¹ А если не нужно, чтобы я жил, так я умру здесь, у твоих святых ног. Прости меня, царица. Мне

¹ Спаси Фабьюша! (лат.)

нечего принести тебе. У меня нет цветов. У меня нет денег. Я приношу тебе единственное, что я имею: свою жизнь. Ее осталось у меня очень мало, крошечный кусочек. Бери его...

Так лепетал он, припав губами к ногам Мадонны Придорожной, по обычаю путников, отбывающих в дальние странствия.

И вдруг он почувствовал, что ноги богоматери дрогнули. Да, они шевельнулись, словно пытаются освободиться из объятий Фабьюша. В суеверном страхе он поднял голову.

И он увидел чудо: статуя медленно склонялась к нему. Благоговейный ужас объял Фабьюша. «Не умер ли я?..» Но все кругом было так обыкновенно. Не может быть, чтобы в том мире был такой же грязный снег на дороге, и воздух так же вонял бензином, и из дома напротив доносился поросячий визг. «Нет, я жив!..» Слезы восторга выкатились из глаз Фабьюша и тут же окаменели на ресницах двумя сосульками.

А чудо длилось. Мадонна распахнула свою каменную мантию, и Фабьюш почувствовал, как две руки, полные неземной силы, подняли его и легко понесли. Ему казалось, что он летит над миром. Ворота отцовского дома открылись перед статуей, словно она имела ключ к ним.

Фабьюш увидел себя в просторной комнате. Оглядевшись, он узнал свою бывшую детскую. Изваяние двигалось плавно, словно не касаясь пола. Диковинно было видеть Мадонну среди заурядных предметов домашней обстановки, табуретов, умывальных тазов. Богиня была как живая, казалось, кровь струилась под тонкой кожей ее лица. И только золотистый нимб вокруг головы напоминал о ее святости. Еще несколько существ витало вокруг нее — очевидно, сонм ангелов, спустившихся с неба, чтобы составить ее серафическую свиту. Мелодичными голосами божества переговаривались на языке, которого Фабьюш не понимал, и он счел это естественным — откуда же ему, смертному, было понимать речь небожителей?

Проснувшись на следующий день, юноша увидел вокруг себя всю семью. Доктор Ян Копач, значительно сморщившись, отсчитывал пульс Фабьюшу. Комната была полна родственниками и друзьями. Все с трепетом ждали его пробуждения. Никто не понимал, как он попал сюда. И некого было спросить об этом, потому что регулировщицы 15-й ВАД, обитавшие в этой комнате,

поздно ночью внезапно выехали на фронт, даже не успев известить хозяев дома. Это был незабвенный день 14 января 1945 года, когда весь Первый Белорусский фронт двинулся в великое наступление сквозь Польшу на Одер.

Увидев, что Фабьюш открыл глаза, пан Адам залился слезами. Все бросились к изголовью юноши. Голос его был слаб, он рассказывал свою эпопею. Когда Фабьюш упомянул о красноармейце, подарившем ему ботинки, колбасный король воскликнул, что закажет молебен во здравие добросердечного русского незнакомца. Описание того, что Фабьюш тщетно бился в ворота, вызвало в аудитории новые потоки слез.

— Старый я болван! — восклицал пан Адам и бил себя в грудь. — Но скажи мне, сынечку коханий: кто же отворил тебе ворота?

Лицо Фабьюша дрогнуло. В комнате воцарилась тишина.

— Она... — прошептал наконец Фабьюш и простер руку, указывая в окно.

Все посмотрели в окно и увидели на перекрестке статую Мадонны Придорожной. Она была такая, как всегда. Снег сахарно сверкал на ее милостиво склоненной голове, и безгрешные птицы, перебирая ножками, оставляли на ней крестообразные следы. И только то в Мадонне было новое, что она была одна: впервые за много дней рядом с ней не стояла краснощекая ефрейтор Сапожкова в своей брезентовой мантии, деловито размахивая сигнальными флажками.

И Фабьюш рассказал пораженной семье о явленном ему чуде. Несколько секунд в комнате стояло благоговейное молчание. Потом слушателями овладел род религиозного экстаза. Пан Адам заявил, что чудо сотворилось в семье Борковских не случайно, а в воздаяние за добродетели, из которых наиболее высокими являются патриотизм ее членов и коммерческая честность фирмы. Пани Казимира воскликнула, что она доведет о совершившемся до сведения святого престола. Спутник ее, рослый капеллан, выразил убеждение, что римская курия, несомненно, признает подлинность чуда ради славы господней, спасения душ и вящего процветания веры. Старенький пан Пенксна поклялся, что закажет искуснейшим резчикам С. миниатюрные изображения Мадонны Придорожной из слоновой кости, крупную партию которой он приберегал до лучших времен.

Один только доктор Ян Копач оставался безмолвным. Потом, откашлявшись, он пробормотал:

— А мне сдается, панове, что я мог бы объяснить все это более, так сказать...

Но под пристальным взглядом колбасного короля доктор сразу увял и замолк. Потом, выйдя в столовую, он хватил две рюмки «монополевой» и побежал на второй этаж, где обитали мы с майором Д., чтоб излить «советским товажишам» свой скептицизм вольнодумца.

Однако он не застал нас. Мы тоже ушли ночью с наступающей армией.

Семнадцатого января на броне самоходки мы пересекли лед Вислы и вошли в освобожденную Варшаву. На Саксонской площади, взобравшись на груды кирпичей, стояла ефрейтор Сапожкова и с привычной легкостью распорядилась густым, путаным движением. Мы видели ее на всем пути наступления — и в Лодзи, и в Кутно, и в горящей Познани. А позднее, весной — за Одером, среди немыслимых руин Кюстрина, во Франкфурте, Ландсберге, Мальцдорфе. И, наконец, в последний раз она мелькнула 2 мая в Берлине.

Со свойственной ей мощной статуарностью ефрейтор высилась на площади Александрплац, и сотни немцев, толпясь на тротуарах, не уставали почтительно глазеть на повелительные взмахи ее могучих рук, которыми она ловко рассылала потоки фронтовых машин вдоль разбомбленных улиц германской столицы — в то время как за сотни километров оттуда, под низким и вечно серым небом, кучка обывателей, окружив Мадонну Придорожную, прославляла чудо, явленное семье добродетельного колбасного фабриканта.

1945

ПОЕЗДКА В ЦЕРБСТ

Мы приехали в Цербст поздно. Низкое солнце облило все желтой краской, анилиново-яркой, словно изготовленной на заводах «Фарбениндустри». Блестела асфальтовая мостовая, надраенная машинами до синевы и магнакально подметаемая жителями трижды в день, что бы ни случилось — бомбежка, солнечное затмение, капитуляция Германии. Из палисадников торчали березы, коренастые, толстобокие, каких у нас не увидишь. На

небе — ни облачка. Оно было такое чистенькое, словно и его хозяйки ежедневно споласкивали мыльной водой и терли наждаком. Какая тоска на чужбине!

И даже разрушенные дома, которых здесь оказалось очень много, обляпанные этим дьявольски желтым лаком, имели такой вид, словно они не разрушены, а построены художниками Уфа-фильм для очередного кинобрёда вроде: «Германия — пастух народов», созерцая который немцы вывихивали себе челюсти в могучих зевках.

— Напоминает ли вам что-нибудь это слово «Цербст»? — спросил я своего спутника, капитана Савельева.

Он повернул ко мне свое курносое рязанское лицо, прокопченное в пыли бранденбургских проселков, и сказал:

— Свист.

Я засмеялся, глядя на него.

— Немцы, пожалуй, примут вас за сенегальского офицера из французской армии.

— Не думайте, что вы белее меня, — проворчал он.

Мы ехали от самого Берлина в открытом «виллисе», и пыль пробила нас насквозь. Ее скрип чувствовался в кишках.

— Здесь родилась, — сказал я назидательно, — российская императрица Екатерина Великая, в девичестве принцесса Ангальт-Цербстская. Савельев, это чудесный вклад в вашу коллекцию.

— Меняю всех императриц, начиная от царицы Савской и кончая королевой Мадагаскарской, на шайку с горячей водой, — сказал Савельев.

Я вздохнул. Мы мечтали о воде, как пьяница о водке, но было мало шансов найти здесь баню. Цербст до вчерашнего дня был занят союзными войсками, и не далее чем сегодня утром американцы передали его Красной Армии согласно плану размежевания Германии.

Нам удалось сполоснуть лицо под рукомойником на дворе у военного коменданта, который прибыл незадолго до нас и только еще устраивался.

Когда мы вышли на улицу, Котя, мой шофер, сказал мне хриплым доверительным шепотом:

— Товарищ майор, я тут кое-что разведал. Так вы идите погуляйте, а через часок приходите вон в ту чудацкую башню. Баня будет.

— Котя, хвастовство портит юношей, пробурчал Савельев.

— Савельев, готовьте мыло,— сказал я.

Котя признательно кашлянул, откозырял и нырнул в какую-то руину в тевтонском стиле, до того безобразную, что даже разрушения не могли прибавить ей уродливости. Котя был человек молчаливый, не пошоферски застенчивый и чрезвычайно деловитый. У него была слабость: он любил проявлять могущество. В скитаниях наших я никогда не спрашивал Котю, откуда вдруг у нас к обеду фазан и где он добыл среди горящих лесов Померании четыре новых баллона на машину. Он все равно не ответил бы. Он не любил раскрывать технику. Ему нравилось слыть чудотворцем. Кроме того, Котя имел обыкновение самые невинные вещи сообщать многозначительным шепотом, панически расширяя глаза и даже озираясь по сторонам — не подслушивают ли его, отчего такие его фразы, как «кажись, мне пора побриться» или «товарищ майор, вам принести белье из стирки», приобретали таинственное и даже зловещее значение.

Мы с капитаном пошли по городу. Встречные жители кланялись нам с умильными улыбками, от которых у нас начинали ныть зубы. Не люди, а марципаны!

Пройдя небольшой старинный парк, весь изрытый щелями, мы увидели дворец Екатерины и остановились, удивленные.

Все справочники, включая новейшие, описывали замок князей Цербстских как отлично сохранившийся. Путеводитель Бедекера издания 1943 года¹ подчеркивал, что «замок отремонтирован во время войны и в последние годы обогатился новыми экспонатами в стиле эпохи». Они-то меня и интересовали. Я сильно подозревал, что «новые экспонаты в стиле эпохи» сперты агентами вора-эстета Альфреда Розенберга из екатерининских дворцов Детского села и Петергофа.

Но попробуй-ка, сунься в Цербстский дворец! Он был разбит на совесть и по многим признакам совсем недавно.

— Руина в стиле рококо,— мрачно резюмировал

¹ В а е д е к е р К. Grassdeutschland für Bahn und Auto, 3 Aufl. Leipzig, 1943, с предисловием рейхсминистра Розенберга: «...и маленький благоухающий Цербст, посреди которого высится дворец Екатерины Великой как цитадель германизма, призванного пасти народы мира...»

Савельев, — однако я не понимаю, чья это все-таки работа.

— Вы же видите, был бой.

— С кем?

— С американцами. С кем же еще?

— Но американцы-то с кем дрались? Ведь здесь не было немецких частей, уж я-то знаю.

Савельев был офицером армейского разведотдела. Как все разведчики, он гораздо лучше знал армию противника, нежели свою. У него в голове была как бы картотека с бесчисленными номерами немецких частей, путями их передвижений, цифрами их потерь и пополнений. Он знал имена офицеров их частей, их характеры, семейное положение и карьеры. Притом он никогда ничего не записывал, остерегаясь бумаги и чернил. Но его атлетическая память удерживала в себе сотни разнообразных сведений, содержимых в строгом порядке.

Нельзя было и думать о том, чтобы пройти во дворец. Уцелевшие колонны держались на честном слове. Каждую минуту мог обрушиться на голову балкон или мраморный торс музы, повисший на железном стержне, как на нерве.

Сад позади дворца тоже был изуродован. Бомбы переделали самую топографию местности. Появились долины и высоты, не показанные на карте. Речонка Нуте изменила свое русло. Три смежные воронки от полутонных фугасок соединились и образовали большое озеро, не лишенное поэтичности.

Савельев, обычно такой разговорчивый, хмуро молчал. Он был угнетен этим скандальным пробелом в своей картотеке.

Из каменного хлама подле дворца я выудил голландскую Библию шестнадцатого века, пару дамских резиновых бот с клеймом «Красный богатырь» и портрет Екатерины II — старинная гравюра, отпечатанная в Петербурге. По-видимому, все это было из числа «новых экспонатов в стиле эпохи».

Савельев насмешливо покосился на мои находки. Он пренебрегал «сувенирами», на которые набрасывались все мы: железными крестами, камнями со стен рейхстага, осколками снаряда, который «чуть меня не убил», и перьями, которыми фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал капитуляцию Германии (этих перьев насчитывалось уже штук сорок, и Савельев предлагал созвать

конференцию их владельцев с участием Кейтеля, чтобы установить, которое же из них подлинное).

Сам Савельев собирал другое: оригинальные жизненные случаи, курьезные и острые положения, необыкновенные ситуации. В его коллекции вы могли найти рассказ о смертельной схватке на дне Днепра двух водолазов — немецкого и нашего, о «гвоздемете» — орудии, изобретенном одесскими трамвайными рабочими и стрелявшем по румынам болтами, винтами, шпалентами и прочей металлической рванью, и много других историй в том же диковинном роде.

В свободные минуты Савельев приготавливал из них маленькие новеллы — разумеется, устные, питая отвращение к письменным занятиям, и рассказывал их очень вкусно своим ворчливым выразительным баском.

Все же однажды он попробовал, уступая нашим настояниям, записать свои увлекательные истории. Получилась бледная и скучная размазня. Не так велико расстояние между бумагой и пишущим: сантиметров пятнадцать, не более. Однако вся прелесть савельевских рассказов, весь их огонь, изящество, глубина, остроумие пропадали на этом крошечном перегоне, таком, оказывается, труднопроходимом. Вероятно, искусство Савельева опиралось на какие-то качества, ненужные писателю, паузы или мимику, быть может — жесты, впрочем очень скупые.

— Ну вот, — сказал я, — то, что вам нужно. Родина русской императрицы, куда пришли советские люди... Превосходное положение...

— Я понимаю, — кисло сказал Савельев, — но это не для меня. Уж я и так всячески настраиваю себя на романтический лад. Вот здесь она родилась, эта маленькая провинциальная принцесса. Вот эта зеленая стена стояла у нее перед глазами. Принцесса томилась. Она была умна, честолюбива и прелестна. Вокруг — затхлая атмосфера захудалого княжеского дворца. Церемонный этикет, а чулки приходилось самой штопать как для развития домашних добродетелей, так и потому, что их было всего три пары. И вдруг — замужество. Из крохотного княжества — в необъятную варварскую Россию. Но Петербург оказался красивейшим городом Европы. Супруг — император и немец. А кроме того, пьяница, дурак, развратник и дебошир. Немецкий хулиган на русском престоле. Потом...

Савельев сделал паузу. И большое складчатое лицо

его, вдохновенно передернувшись, вдруг сложилось на секунду в неподражаемую гримасу: в ней было шутовство, безалаберность и даже грязные поры пьяницы, — вся неуверенная клоунская царственность Петра Третьего.

— ...Потом, — мгновенно приведя в порядок обширные и послушные механизмы своего лица, став обыденным, продолжал Савельев, — влюбленные офицеры, интриги и деньги Лондона, дворцовый заговор, хулигана — по черепу! И маленькая провинциалка — властительница империи. В течение полувека мир полон шумом ее славы: гений Суворова, дружба с Вольтером, покорение Крыма. И где-то далеко на западе — родина, утка, высидевшая лебедя, крошечный Цербст, о котором императрица не вспомнила ни разу за всю свою долгую блестящую жизнь. И вот через двести лет в девятнадцать часов ноль-ноль минут появились первые русские в Цербсте, советские офицеры.

— Хорошо! — сказал я.

— Не для меня, — сказал Савельев, — для шаблонного исторического романа, каких стало выпекаться что-то очень много к разным юбилейным датам. Для меня это не хлеб. Пойдемте лучше в город.

Мы пошли по главной улице, набитой магазинами. Вывески — огромные, магазины — с гулькин нос. Но все — люкс. Цирюльня — люкс, пивнушка — люкс, чистильщик сапог — люкс. И всюду при виде нас: «Господа! В нашем городе родилась ваша великая императрица!..»

Нельзя было выпить стакан дрянного лимонада в буфете или прикурить у прохожего, чтобы не услышать этой фразы, произносимой с какой-то гнусавой торжественностью.

И всюду в витринах — портреты Екатерины, кое-где даже убранные красными лентами. По-видимому, Цербст действительно считал Екатерину своей основной специальностью.

— Мы, знаете, не то что какой-нибудь Магдебург, — сказал нам владелец бондарного заведения (тоже люкс), — или Виттенбург, или Дессау.

— А что? — спросили мы неблагоразумно.

— Здесь родилась Катрин ди Гроссе...

Фу ты черт! Положительно, городишко воображал себя поставщиком императоров.

— Я полагаю, — продолжал бондарь-люкс, — что,

как земляк Екатерины Великой, я могу рассчитывать на особое внимание со стороны советского командования.

— А именно? — заинтересовался Савельев.

— В смысле повышенной нормы выдачи жиров, круп...

— Конечно, — заверил его Савельев, — при одном только условии: если вы докажете, что вы лично вырастили для русского престола Екатерину Великую...

Мы зашли в пивную промочить горло. Владелец приветствовал нас придворным поклоном.

— Господа! — начал он, пыжась от гордости. — В этом городе родилась...

— Знаю, знаю! — закричал Савельев. — Царица-матушка, кайзерин-мутерхен. Мне надоело слышать о Екатерине. Расскажите лучше что-нибудь об Адольфе.

Усталые, мы вернулись к башне. Из бойниц тевтонского уродца весело вырывался пар. Я торжественно посмотрел на Савельева.

Здесь помещалась прачечная, брошенная несколько дней назад ее скрывшимся владельцем, видным местным нацистом. Это была грязная лачуга, полная пауков и мокриц.

Но тут стояла печь с вмазанным в нее котлом. Три гитлеровца вымыли закопченные стены, натаскали из брошенных квартир ванны и тазы, пристроили полати для любителей попариться, и банька вышла на славу.

Это было огромное наслаждение — погрузить в ванну измученное, пропыленное тело.

Мы лежали в теплой воде, закрыв глаза и чувствуя, как разминаются натруженные солдатские кости.

Савельеву досталась ванна не по росту, и оттуда попеременно вылазили то его лицо, то длинные донкихотские ноги. Вскоре вода показалась мне недостаточно горячей, и я крикнул:

— Bitte, etwas warmes Wasser! ¹

— Сию минуту-с! — отозвался один из гитлеровцев на чистом русском языке.

Савельев и я удивленно посмотрели на него. Это был немолодой человек с седоватой щетинкой на подбородке, но крепкий и проворно шмыгавший по бане на своих коротких ногах.

— Откуда вы знаете по-русски? — спросил я.

— А я жил до тысяча девятьсот двадцать второго

¹ Теплой воды, пожалуйста! (нем.)

года в России, — сказал он, подливая воду в ванну. — Не горячо-с?

— Ничего, — сказал я и подумал: «Наверно, из немецких колонистов».

Савельев встал и принялся мыться, сладострастно ухая.

— Кем же вы были в России? — пробурчал он.

— Профессором Томского университета, господин капитан. Я — доктор исторических наук, Клаус Фосс, к вашим услугам...

Вот так банщик!

Котя оделся и прохрипел мне на ухо:

— Иду на питательный пункт сообразить насчет обеда.

И удалился с видом заговорщика.

Савельев смахнул с лица мыло, чтобы лучше разглядеть странного немца. Двое других, молодые парни, сидели на корточках под стеной и сосали по очереди один окурок, равнодушные к разговору, которого они не понимали.

— Как же вы уехали из России? — спросил Савельев.

— В тысяча девятьсот двадцать втором году была объявлена репатриация. Я, как немец, уехал в Германию.

— И ваша научная специальность?

— Римская и греческая литература и история. Прикажете спинку потереть?

В проницательных, слегка скошенных глазках Савельева уже вспыхнул задумчивый и лукавый блеск, как всегда, когда он наталкивался на необычайное положение.

«Нет, это в самом деле необыкновенно, — подумал я. — А не врет ли он?»

И, мобилизовав остатки своего классического образования, я воскликнул:

«Aurea prima sata est, aetas quae vindice nullo,
«Sponte sua sine lege fidem rectumque colebat...»¹

«Poena metusque aberant. Nec verba menacio fixo,
Aere legebantur...»² —

¹ Первым посеян был век золотой, не знавший возмездия, Сам соблюдавший всегда без законов и правду и верность... (Овидий. *Метаморфозы*, кн. 1.)

² Не было страха тогда, ни кар, и слов не читали Грозных на бронзе... (Овидий. *Метаморфозы*, кн. 1.)

подхватил профессор Фосс, — Овидий, «Метаморфозы»-с.

Нет, видимо, не врет. Он скандировал правильно, соблюдая зияния, и усечения, и прочее.

— Разрешите мне, в свою очередь, задать вопрос? — попросил ученый-пленный и, получив согласие, сказал: — Жив ли мой старый учитель — академик Жебелев? Ведь я кончил Петроградский университет.

Действительно, в его речи пробивался изящный и чистый ленинградский говорок. При этом фразы его отличались некоторой книжностью, сделанностью, той мертвенной правильностью, с какой обычно говорят по-русски иностранцы.

— Жебелев умер, — сказал я.

— Сергей Александрович умер? Ай-ай-ай... Европейское имя... Скорблю. А профессор Орбели Иосиф Абгарович?

— Орбели здравствует.

— Душевно рад. Ликую, — сказал доктор исторических наук, переходя ко мне и принимаясь за мою спину.

— Что вы, профессор Фосс, не надо, — сказал я.

— Нет, почему же, — сказал Фосс, пытаясь с видом заправского банщика пошлепать меня по пояснице в то время, как я от него увертывался. — По свидетельству Аппиана, повторенному Гастоном Буассье в его труде «Новые археологические прогулки», знатные патриции в период Августова века, собираясь в термах, никогда не отказывали себе в благодетельном массаже. Это древний обычай, уходящий корнями...

— Так то Августов век и патриции.

— Помилуйте, — сказал профессор, — намылить спинку советскому офицеру для меня удовольствие-с.

Но я отстранил его и вышел из ванны.

Савельев уже обтерся. Не одеваясь, он сел на табуретку, заложив ногу на ногу, и со вкусом закурил. Голый, с длинными скрещенными конечностями, со взглядом, пронзительным и насмешливым, он был похож на Мефистофеля. Узкие глаза его остановились на Фоссе с веселым любопытством.

— Итак, профессор, — сказал он, — в конце концов вы оказались в армии?

Фосс сокрушенно покачал головой.

— Да, последний этап в моем куррикулюм вите¹.

¹ Жизнеописания (лат.).

— Как же, однако, вас забрили в солдаты? Ведь вы, по-видимому, на государственной службе...

— Ординарный профессор Имперского Познанского университета-с. Меня взяли в армию в марте этого года по второй тотальной мобилизации.

— Профессоров, по-моему, не брали...

— Это было сделано не совсем по букве закона,— сказал латинист с горячностью,— со мной поступили отчасти не по правилам. Все произошло из-за сражения при Каннах. Если господа офицеры не спешат, я мог бы рассказать...

— Расскажите,— сказал Савельев и протянул немцам портсигар, к которому они прильнули с глухим благодарным ворчаньем.

— Как я вам уже докладывал, господа офицеры,— продолжал профессор,— я читал курсы античной истории и литературы. Надо вам знать, что роль нумидийской конницы во время Пунических войн была темой моей кандидатской диссертации еще в Петроградском университете. Словом, Канны — мой конек. И на кафедре Познанского университета я всегда посвящал этой теме не менее двух полуторачасовых лекций. Так повторялось из года в год. А нынешней зимой я был вызван к господину ректору, который заявил мне, что я излишне модернизирую сражение при Каннах и что, например, уподобление карфагенских слонов современным танкам по меньшей мере бестактно. Когда же я принялся возражать, он довольно резко оборвал меня, сказавши, что сражение при Каннах такая же неудобная тема, как Грюнвальдское сражение, или бой на Чудском озере, или битва под Кунерсдорфом, и предложил мне исключить эту тему из моего курса.

Точно помню дату этого разговора: семнадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года. В этот день русские войска взяли Варшаву. Не уловив связи между этими двумя сражениями, столь взаимно отдаленными во времени и пространстве, и не усматривая в Ганнибале врага германской идеи, подобно Друзу или Германику, я счел это гонение на великого карфагенянина несправедливым и обжаловал действия ректора гаулейтеру провинции Вартеланд господину Артуру Грейзеру.

Этот последний не только не поддержал меня, а в раздраженном тоне заявил, что штудирование Канн в настоящих условиях есть не что иное, как оппозиционный намек на «котлы», в которые беспрерывно попадает

германская армия на остфронте начиная с тысяча девятьсот сорок третьего года.

Господин гаулейтер распорядился лишить меня кафедры античных дисциплин и предложил мне читать курс расовой теории. Это было двадцать восьмого января, когда русские вторглись в Померанию. «Германии не нужны латинисты!» — гневно кричал господин Грейзер. Подумайте, господа офицеры: Германии, которая дала миру великих Нибура, Момзена, Винкельмана!

Я не успокоился и, попросив трехдневный отпуск под предлогом эвакуации семьи в южные районы Баварии, съездил в Берлин и добился личного приема у самого имперского министра господина Иозефа Геббельса, который некогда отнесся ко мне и не без благосклонности, отозвавшись с похвалой о моем историко-политическом эссе: «Макиавелли как предшественник Муссолини», напечатанном в «Politik und Wissenschaft»¹.

Я уповал на просвещенность доктора Геббельса, поощренный тем, что излюбленным риторическим приемом его статей и речей было обращение к аналогиям из мира классической древности. Господин рейхсминистр принял меня в своем подземном кабинете под новой Имперской канцелярией. Я изложил ему свое дело. И вот он — столь часто уподоблявший Гитлера Аллариху, Роммеля — Сципиону Африканскому Младшему, а себя самого — Катону Старшему и еще совсем недавно еравнивавший нынешнюю войну со Второй Пунической, — услышав мою жалобу, вскочил на стол в характерном для него движении гнева и крикнул: «Померанская свинья! Дармоед! На виселицу его!»

Я упал без чувств и очнулся только лежащим на тротуаре Герман-Герингштрассе, куда меня вынесли эсэсовцы личной охраны господина имперского министра. Здесь мне объявили, покуда я поднимался и стряхивал пыль с сюртука, что доктор Геббельс, во внимание к моему возрасту и былым заслугам, милостиво разрешает мне вступить в армию в качестве солдата, чтобы кровью искупить измену германским идеалам.

Я заикнулся было — и это был мой ultima ratio², — что я уже согласен читать курс расовой теории, но мне дали подзатыльник и отвезли на Варшавский вокзал. В арестантском вагоне, вместе со схваченными дезерти-

¹ «Политика и наука» (нем.).

² Последний довод (лат.).

рами и проворовавшимися интендантами, я был доставлен в Познань. Не правда ли, сюжет, достойный Светония?

В вагоне я прочел последний номер газеты «Дашварце Кор»¹, из которого я уразумел причину несколько повышенной нервозности господина рейхсминистра: в этот день, первого февраля, русские перешли через Одер. Но, по справедливости, господа офицеры, была ли в этом моя вина? Скорее — господина имперского министра... Могу повторить вслед за Назоном, которого вы так любите, господин майор, и в судьбе которого я обнаруживаю печальное сходство с моей: «Perdiderunt cum meo duo crimina — carmen et error...»²

В Познани меня тотчас зачислили в качестве солдата в только сформированный полк фольксгренадирен...

— Номер тысяча восемьдесят три, — вставил Савельев, — трехбатальонного состава, на вооружении батальона до восьмидесяти фауст-патронов, командир полка майор фон Гроденау.

Отставной латинист с удивлением посмотрел на Савельева и сказал:

— Совершенно верно.

— И вы участвовали в бою под Шнайдемюль четырнадцатого февраля, где ваш полк потерял три четверти своего состава...

— Нет, господин капитан, — воскликнул профессор, — мне повезло! Я не был в губительном сражении под Шнайдемюль, где я вряд ли остался бы жив. Мне сразу удалось попасть в состав специального отряда, посланного на смену гарнизона города Цербст, где я сейчас имею высокую честь разговаривать с вами. Отрядом командовал обер-лейтенант Кошке...

— Вот здесь начинается то, чего я не знаю, — пробормотал Савельев. — Стало быть, профессор, вы принимали участие в боях за Цербст? Вы дрались с американцами?

— О нет, господин капитан! Никаких боев за Цербст не было.

— Ничего не понимаю, — сказал Савельев. — Почему же Цербст так разрушен? Американцы не стали бы зря тратить бомбы на эту дыру, в которой нет военных объектов.

¹ «Черный корпус» (нем.).

² Сгинут вместе со мной два преступления — стихи и ошибка... (Овидий).

— О, это целая история, — сказал Фосс. — Если господам офицерам угодно, я могу поведать ее.

— Поведайте, — сказал Савельев, окончательно придя в хорошее настроение.

— Видите ли, сначала все шло хорошо, при благоприятнейших ауспигиях. Одновременно со мной был взят в армию господин Кошке...

Савельев поморщился.

— Опять этот Кошке! Вы можете рассказать толково про бой за Цербст? Если вы так же бессвязно излагали вашим студентам битву при Каннах, я понимаю Геббельса, который выгнал вас из университета.

— Но, господин капитан, — умоляюще сказал профессор, — все дело в господине Кошке! Позвольте, я расскажу по порядку.

— Ну, давайте, — пробурчал Савельев.

— Господин Кошке — это почтенный мебельный торговец, человек в летах, как и я. Как и я, он и не помышлял о том, чтобы служить в армии. Но вторая тотальная мобилизация не щадила никого, и в нашем полку фольксгренадеров наряду с криминальным элементом оказалось много солидных людей. В отличие от меня, господин Кошке сразу получил звание обер-лейтенанта, хотя он никогда до того не держал оружия в руках. Но у него могущественные связи: сестра его жены не кто иная, как экономка в доме господина министра Штрейхера, имперского хранителя здоровья и расовой чистоты...

— Ближе к делу, — сказал Савельев нетерпеливо, — вы опять уклоняетесь.

И я понял, почему увлекательные новеллы моего приятеля так худосочны на бумаге. Записывая их, он пренебрегает подробностями. На бумаге остаются только кости сюжета, без мяса образов, без крови эпитетов, без румянца деталей — всего, что в устном изложении Савельев восполняет фиоритурами голоса и игрой лица.

— Слушаю, господин капитан, — покорно сказал профессор. — Небольшой наш отряд (в нем было всего тридцать человек, и, смею сказать, все познанские нотабли), проследовав через Швибус, Франкфурт, Берлин и Виттенберг, прибыл в Цербст, чтобы сменить тамошний гарнизон. Это был так называемый Цербстский батальон полуинвалидов войны — беспалые, хромые, сердечники, одноглазые, тугоухие, психопаты и застарев-

лые венерики. Они образовывали взводы и отделения по признаку болезни...

Я с недоверием посмотрел на профессора.

Но Савельев подтверждающе кивнул головой и сказал:

— Да, немцы иногда так делали. Они находили в этом организационное удобство. Мне приходилось допрашивать пленных из роты, которую составляли больные исключительно язвой двенадцатиперстной кишки.

Ободренный этой поддержкой, профессор продолжал:

— Эти инвалиды были старыми, опытными фронтовиками, и с нашим приездом им предстояло отправиться на фронт. По моему предложению мы устроили им почетные проводы. Все выстроились на площади перед так называемым дворцом Екатерины, который был тогда еще цел. Местный зингерферейн с большим чувством исполнил патриотические песни. А я по поручению командования, то есть господина обер-лейтенанта Кошке, произнес напутственное слово, взяв за образец речь Демосфена: «Надгробное слово афинянам, павшим при Хероне».

Без ложной скромности скажу, что импровизация удалась мне. Многие, особенно дамы, прослезились в тот трогательный момент, когда, возвысив голос, я напомнил о долге немца перед фюрером и Великогерманией. К сожалению, инвалиды не совсем прониклись сознанием высокой чести, выпавшей на их долю, и прерывали мою речь неуместными возгласами вроде: «Швайнегунде! Устроили шибунг!»¹ Когда мы вас увидим наконец на фронте, боровы брюхатые!» — что вынудило меня отправить вслед уезжающим донесение командующему группой войск «Висла» господину рейхсминистру Гимmlеру, ставя его в известность о наличии оппозиционных настроений и недостатке германского духа в цербстском батальоне полуинвалидов.

За исключением же этого инцидента, жизнь наша в армии протекала безмятежно. Мы несли нетрудную караульную службу и терпеливо ждали конца войны, который, как я понимал, не за горами. Война обходила этот городок стороной. Ваши почтенные вооруженные силы наступали с северо-востока, метя на Берлин.

¹ Свиньи собачьи! Устроили спекуляцию! (нем.)

Мы понимали, что Цербсту предназначено быть завоеванным англо-американскими войсками, что не вызывало особого протеста со стороны большинства солдат нашего отряда, надеявшихся возобновить свои старые деловые связи с английскими и американскими фирмами, чьих представителей они рассчитывали встретить в наступающих полчищах противника.

В ожидании этих событий я освежал свои познания в английском языке, читая в подлиннике «Кентерберийские рассказы» Чосера и роман Берроуза «Приключения Тарзана в Нью-Йорке»... Не сомневаюсь, что все кончилось бы безболезненно, если бы не рискованная привычка, усвоенная нашим начальником, господином обер-лейтенантом Кошке, и сыгравшая роковую роль в судьбе Цербста.

Очутившись в армии, господин Кошке пристрастился к вину. Побуждения его были похвальные: вино для него служило средством вызывать в себе германскую доблесть. А для того чтобы не допускать ее ослабления, он пил всегда. Только по утрам, проснувшись, он бывал трезв. И в эту минуту обычно взгляд его падал на ящик с фауст-патронами, стоявший в углу его комнаты. Он содрогался. Услышав жужжанье нашего старого связного самолета «Аист», он бежал в подземный бункер. Даже собственные ноги, затянутые в высокие сапоги со шпорами, ужасали его. Он хватал бутылку брандвейна и осушал ее. У него не было переходных стадий. Из бездны трусости он без проволочек взлетал на вершину доблести. В этом состоянии *furoris teutonici*¹, описанном еще Тацитом в его «*De moribus germanorum*»², он выгонял цербстских граждан на постройку редутов. И пока обыватели, натирая мозоли, копались в земле, господин Кошке расхаживал по свеженасыпанному валу и, размахивая саблей, извлеченной из музея Екатерины, кричал: «Немцы! Сердца ваши полны верностью и любовью к порядку!..», «Через жертвы — к победе!..», «Немцы, уничтожим сатанинские силы врага!..» — и тому подобные лозунги из циркулярных воззваний доктора Геббельса, которые каждую пятницу прибывали во все провинциальные ортсгруппы NSDAP³. Между тем не-

¹ Тевтонской ярости (лат.).

² «О нравах германцев» (лат.).

³ Национал-социалистская (фашистская) партия.

приятельские войска, без боев продвигаясь сквозь Браншвейг и Саксонию, подошли к Цербсту...

— Девятая американская армия под командованием генерал-лейтенанта Симпсона, — ввернул Савельев.

— Совершенно верно, господин капитан. Мы провели бессонную ночь. Однако все было тихо. По-видимому, американцы спали, не уклоняясь и во время войны от следования разумным гигиеническим правилам. Из всех нас спал только господин Кошке, усыпленный брандвейном, приемы которого он удвоил, узнав о приближении войск противника.

Едва рассвело, бургомистр Цербста, господин фон Шлеппен, владелец крупнейший в Ангальтской провинции пуговичной фабрики, разбудил Кошке. Господин фон Шлеппен объявил, что необходимо сейчас же выехать навстречу американцам с предложением о капитуляции города Цербста, предотвратив таким образом ненужные жертвы среди мирного населения.

Господин обер-лейтенант с разумностью, отличавшей его в утренние часы, немедленно согласился с бургомистром.

— Поезжайте, дорогой фон Шлеппен, и спешите, пока они не начали... — господин Кошке слегка вздрогнул и добавил: — стрелять. Вполне полагаюсь на ваш дипломатический такт.

— Считал бы, что и вам надо поехать, — сказал бургомистр.

Но господин обер-лейтенант возразил, что ему ехать неприлично ввиду незначительности его отряда, вынул из-под подушки флягу и приложился к ней.

Захватив белые флаги, двух горнистов и меня в качестве переводчика, господин бургомистр выехал в неприятельский лагерь. Вскоре мы наткнулись на американский патруль...

— Два слова о вашем настроении в тот момент, — сказал Савельев, — душевная боль, скорбь патриота, оскорбленное национальное самолюбие и тому подобное? Быть может, кто-нибудь из вас плакал?

— Нет... мы не плакали, — сказал Фосс своим рассудительным голосом. — Я отвлекся приготовлениями к предстоящей мне роли драгомана и мысленно повторял спряжения неправильных английских глаголов. У господина бургомистра горечь поражения несколько умерялась упованиями на предстоящее расширение операций по сбыту пуговиц... Увидев американцев, господин бур-

гомистр, согласно постановлениям Гаагской конференции тысяча девятьсот седьмого года о законах и обычаях ведения сухопутной войны, взмахнул белыми флагами, а горнисты затрубили в свои рожки.

В этот момент действительно гражданская скорбь коснулась нас своим траурным крылом. Мы понимали, что сейчас мы станем участниками великой исторической сцены, подобной Компьену, полной трагизма, но и не лишенной мрачной величественности. Во всяком случае мы готовились держать себя с достоинством. Господин фон Шлеппен шепнул мне:

— Если они попробуют унижать честь Германии, я уйду, подобно тому как граф Брокдорф-Ранцау в тысяча девятьсот восемнадцатом году удалился из зала Версаля...

Американцы — их было там четыре солдата — сидели на земле и играли в карты. Один из них сказал:

— Боб, проводи этих слюнтявых фрицев к начальнику. Джек сыграет за тебя.

— А черта лысого не хочешь? — язвительно сказал Боб. — Я вижу тебя насквозь, Том; ты хочешь в мое отсутствие поправить свои дела. Я для тебя слишком сильный партнер...

— Заткнись ты, курносый бульдог! — сказал Том. — Я уже три раза водил фрицев, а ты только один. Ты, видно, приехал в Европу набирать жир, а не воевать...

Между ними завязалась перебранка. Несколько раз они вскакивали, подуськиваемые товарищами, засучивали рукава, но потом садились обратно.

В конце концов тот, которого звали Джек, сказал нам:

— Вот что, ребята, идите к начальнику сами. Вы, фрицы, любите, чтобы вас за уздечку водили, как слепых мулов. Вы же видите, мы заняты. Ну-ка, топайте попровней, сукино отродье!

Он любезно указал нам дорогу, и вскоре мы добрались до палатки начальника. Но права римская мудрость: «*Festina lente*»¹. Мы зря спешили. Начальник еще спал. Возле палатки скопилось много немцев, дожидаясь его пробуждения.

— Кто последний? — осведомился господин фон Шлеппен.

¹ Поспешай медленно (лат.).

Отозвался пожилой господин в канотье и дымчатых очках.

— Придется ждать, — молвил господин фон Шлеппен, опускаясь на скамью подле него, и философски добавил: — Ничего не поделаешь, мы живем в эпоху очередей...

Часа через два мы услышали шум в палатке. Начальник проснулся. Потом он брился и завтракал. Наконец он вышел к нам. Это был молодой первый лейтенант.

— Всё парламентары? — сказал он, зевнув. — Капитулируете? Безоговорочно? Откуда?

Послышались возгласы:

— Из Швейдница!

— Из Бёрлица!

— Из Гретенганухена!

— Из Цербста!

— Ладно, — сказал господин первый лейтенант, — подходите в порядке очереди к писарю и подписывайте свои капитуляции. Только не толкайтесь и не галдите. Майор еще спит.

Рядом со складным столом сидел штабной сержант. У него были приготовлены бланки о безоговорочной капитуляции, и видимо, отпечатанные в полевой типографии. Для названия города и даты были оставлены пробелы.

Господину фон Шлеппен и мне понравилась аккуратность этой процедуры и то, что в ней не было ничего унижительного для германского достоинства. Не правда ли?

Когда наступила наша очередь подписывать, господин писарь сердито спросил:

— А где ваш представитель от армии? Что вы, порядка не знаете? Первый раз капитулируете?

Действительно, все прочие делегации имели в своем составе военного представителя.

— Господин писарь! — взволнованно сказал бургомистр. — У нас с армией полная согласованность, и вообще весь наш гарнизон — тридцать человек...

Но желчный штабной сержант ничего не хотел слышать, и мы не знали, что нам делать, как вдруг появился запыхавшийся обер-лейтенант господин Кошке. Лицо его было красно, он шумно сопел, длинная сабля, волочась по земле, громко стучала.

— Вот наш представитель от вооруженных сил

Цербста! — обрадованно воскликнул господин бургомистр.

— Ну, валяйте, — буркнул писарь, — подмахивайте вашу капитуляцию.

— Никакой капитуляции! — заорал господин Кошке. — Шлеппен, я повешу вас как изменника! Цербст будет сражаться! Мы уничтожим ваши сатанинские...

— Ладно, будем сражаться, — прервал его первый лейтенант, зевнув.

Я приблизился к господину Кошке. По красноте его лица и аромату брандвейна я понял, что он абсолютно пьян.

Писарь заворчал:

— Только бумажку мне испортили. Первый лейтенант, пусть они подпишут капитуляцию. Этак на них бланков не напасешься.

— Не задерживайте их, Браун, — сказал первый лейтенант, — иначе они не успеют написать свои завещания.

Услышав это, господин фон Шлеппен вздрогнул, а наш начальник снова заорал:

— Германия не боится никого, кроме бога! Присылайте вашу пехоту — мои славные гренадеры испепелят ее!

— Вы не увидите нашей пехоты, — холодно сказал господин первый лейтенант. — Недостает только, чтобы какой-нибудь надрызгавшийся фанатик выстрелил в спину нашему солдату. Жизнь одного американца мне дороже, чем весь ваш вонючий город. Убирайтесь!

Мы поняли, что дипломатические переговоры прерваны, и удалились... Что вам сказать? Первый лейтенант оказался прав: мы не увидели американских солдат. Мы увидели американские самолеты. Они появились над городом в два часа дня, как божья гроза, а может быть, как посланцы дьявола. Они бомбили нас сорок пять минут. Результаты перед вами. Половина Цербста лежит во прахе. В том числе — знаменитый дворец Екатерины Великой. Несколько сот человек было убито. Кровь смешалась с пылью. Видимо, грехи мои невелики. Господу было угодно, чтобы я уцелел и рассказал вам эту историю завоевания Цербста, достойную пера Полибия... Acta est fabula¹.

¹ Повесть закончена (лат.).

— А что случилось с вашим Кошке? — спросил Савельев.

— Господин обер-лейтенант при первых же разрывах бомб сразу протрезвел. Он бросился в бункер под цейхгаузом, самое надежное убежище в городе, но смерть настигла его и там...

— Прямое попадание?

— Нет... Он не пал от руки неприятеля. Карающий бог наслал на него более мучительную смерть... Его убили разъяренные жители Цербста.

— История что надо, — пробормотал Савельев.

Лицо его выражало явное удовлетворение.

— Вы видите, я был прав, — сказал я, — как раз для вашей коллекции.

— Теперь, пожалуй, — сказал Савельев, — одна Екатерина — без Кошке — меня не устраивала, точно так же, как не устроил бы меня один Кошке без Екатерины, но вместе совсем другой разговор... Да, кстати, Фосс, вы, как историк, должны знать: когда родилась Екатерина Великая и когда она покинула Цербст?

— Софья-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, — ответил профессор, — принявшая в православии имя Екатерины, соизволила родиться в ночь на двадцать первое апреля тысяча семьсот двадцать девятого года. Но не здесь.

— Как не здесь? Это что — не тот Цербст?

— Тот самый, господин капитан. Цербст в Германии один. Но место подлинного рождения императрицы Екатерины Великой — город Штеттин, где отец ее величества был командиром полка, имея казенную квартиру из трех комнат. Пятнадцати лет императрица была увезена в Петербург и в Цербсте была только один раз в возрасте одиннадцати лет — и то не более четырех с половиной суток.

— Ничего не понимаю, — проворчал несколько растерянный Савельев. — А Екатерининский дворец? А музей, ей посвященный? А портреты во всех витринах? Что же это — миф, легенда?

— Господин капитан, это не легенда. Это — коммерция. Жителям Цербста было интересно изобрести родину Екатерины Великой в Цербсте. Это привлекало сюда туристов и было не последней статьей дохода в муниципальном бюджете. Контрольной комиссии держав-победительниц, мое скромное мнение, надлежало бы это учесть. Дессау промышляет мылом и самолетами, Швей-

дни — глиняными изделиями, а Цербст двести лет торгует Екатериной Великой не считая производства десятичных весов для взвешивания крупного рогатого скота...

Мы с Савельевым посмотрели друг на друга и расколотались. Профессор смотрел на нас с вежливым недоумением.

— Может быть, вам, господа офицеры, пригодятся, — сказал он обеспокоенно, — некоторые исторические сведения о Цербсте? Цербст — первоначально Цирвисти — упоминается еще в тысяча седьмом году. Происхождение его — славянское. В тысяча двести пятьдесят третьем году он был отдан в ленное владение маркграфу бранденбургскому. В тысяча триста седьмом году...

Мы встали и пошли к выходу. Профессор семенил за нами, восклицая: — С легким паром! — и непрерывно кланяясь.

Выходя, мы столкнулись с каким-то пожилым толстяком, шествовавшим по улице с видом фланера. Он вежливо приподнял цилиндр и пошел дальше в парк. Профессор Фосс дружески кивнул ему и шепнул нам:

— Это господин фон Шлеппен, последний бургомистр Цербста.

На прощание профессор попросил у нас «русише сигареттен» и обрывки «Комсомольской правды», в которую было завернуто мое белье.

— Почитаю этим ребятам, что делается на белом свете, — сказал он, кивнув в сторону своих товарищей, по-прежнему сидевших безмятежно на корточках под стеной.

Один из «ребят», молодой верзила крестьянского типа, вдруг вытянулся предо мной и что-то прокричал. Я не понял его, он говорил на каком-то наречии, тягучем и полным носовых звуков, как говорят на севере Германии.

— Что он сказал?

— Он спросил на своем грубом арголштинских мужиков: будет ли наказан тот, кто причинил немцам столько несчастий? Он имеет в виду Гитлера, — пояснил профессор, снисходительно улыбаясь...

Мы вышли на улицу. Еще не было темно, комендантский час еще не наступил, и жители гуляли по парку, степенно прыгая через лужи. Только что прошел дождь. Небо блестело, как эмалированное. Выкатились первые

звезды, сияя пуговичным блеском. Бургомистр, опершись об акацию, мечтательно уставился на них. Акация посылала в воздух мыльный запах. Грубо желтел закат. Земля источала сырость, воздух казался потным. Теплый ветерок скребся в листве с жестяным шумом. Тоска на чужбине!

1945

ПРЕДВЕСТИЕ ИСТИНЫ

Предвестие истины коснулось меня.

И. Бабель

Все это случилось в ту пору, когда с нашего большого каштана начали падать круглые желтые плоды, утыканые шипами.

Но не они привлекали нас.

Мы собирали палые листья, длинные, с иззубренными краями. Мы скручивали из них подобия сигар. Дым обжигал горло, мы сплевывали горькую слюну и сквернословили, как старые развратники. Старшему из нас, Володе Громаковскому, было девять лет.

Однажды мимо нас прошел статный старик в сюртуке и шелковой ермолке. Володя и Вячик в момент смылись. Я оцепенел. Сигара торчала у меня изо рта и дымила, как пожар.

Старик с рассеянной ласковостью погладил меня по голове и прошел в дом. Я понял, что я погиб. Это был мой дедушка Симон, гордость и горе нашей семьи.

Меня никогда не наказывали. Но есть пытки страшнее, чем лишение сладкого, даже чем розги. В нашей семье справлялись иронией. Мне казалось, что я уже слышу беспощадную интонацию, с какой мама скажет:

— Ребенок с папироской, что старичок с соской.

Я взмолился богу о том, чтобы то, что только что случилось, вдруг как бы не было. Я молился так, как наставлял меня дедушка Симон: бубнящим голосом и мерно раскачиваясь телом. Никто ведь лучше дедушки не знал, как обращаться к богу. Я молился необузданно, яростно. Я верил в эту минуту, что богу под силу изменить не только будущее, но и прошлое.

А небо тем временем смуглело, потом полиловело,

потом кто-то шваркнул по нему россыпью Млечного Пути. И я понял, что сейчас ничего не получится, потому что какое же чудо возможно в темноте? И я поплелся домой.

Но чудо все-таки было мне явлено. Прошное оказалось обратимым. Очевидно, бог лишил дедушку Симона памяти. А маму — обоняния. Потому что она поцеловала меня и даже не учуяла, что от меня разит куревом.

Дедушка задумчиво посмотрел на меня и сказал:

— Мальчика на это время надо отправить на Лиман.

Мать обняла меня и сказала:

— Тогда уеду и я.

— Боже мой, что она говорит! — вскричал отец. — Кто же будет за ней ухаживать?

— Мама, — спросил я, — что случилось?

— Приезжает из Варшавы дедушкина мама, твоя прабабушка.

— О! — вскричал я обрадованно. — Я никуда не поеду. Я хочу ее видеть. Я хочу, чтоб она рассказала мне о прадедушке!

— Боже тебя сохрани! — вскричал отец испуганно. — Чтоб я не слышал ни одного звука о прадедушке!

— Почему? — удивился я.

Отец беспомощно посмотрел на дедушку Симона. Тот степенно огладил свою красивую серебряную бороду и сказал:

— Твоя прабабушка очень старенькая. И она не любит, когда говорят о покойниках.

Дети всегда чувствуют, когда взрослые врут. Я промолчал, но твердо решил расспросить прабабушку о ее муже.

Я никогда не видел его и знал о нем только по героическим семейным легендам.

Звали его Зуся. Это сюсюкающее, словно бы женское, скорее даже детское имя никак не вязалось с богатырским обликом прадеда. Он был человеком огромной телесной силы, которой он, впрочем, немного стыдился, ибо был скромным и не хотел выделяться среди людей.

Он работал стеклодувом на одном из заводов Нечаева-Мальцева, — работа, требующая не силы, но чувства меры, то есть искусства.

Однажды он гулял по берегу реки Болвы с Ханной, самой красивой девушкой в Людинове. Она была маленькая, хрупкая, любила игру ума и ученость. Могучие мышцы Зуси она не ставила ни во что. И все же что-то

непреодолимое влекло ее к этому застенчивому силачу.

Внезапно они услышали за собой топот и крики. Они оглянулись. С храпящих конских морд летела пена. Кучер откинулся назад, почти лег на спину, но не мог сдерживать тройку. В коляске металась и кричала люди. Еще немного, и кони сверзятся с крутого берега в реку.

Вот тут Зуся и совершил свой знаменитый подвиг. Одной рукой он обнял дуб, а другой поймал коней за постромки. Как рассказывал дедушка, «он припечатал тройку на месте». Чудесно спасенные люди бросились обнимать Зуся. Это был не кто иной, как сам Нечаев-Мальцев, его жена и дети.

Узнав, что его спаситель — рабочий стекольного завода, Нечаев-Мальцев тут же произвел его в управляющие заводом.

Рассказ, с моей точки зрения, страдал некоторыми неясностями. Сколько детей было в коляске? Занимался ли до этого прадедуска Зуся гимнастикой? Ел ли он по утрам манную кашу? Совершал ли прадедуска и в дальнейшем еще какие-нибудь подвиги? Какой рукой он ухватился за дуб и какой за коней? Все это я надеялся выяснить у прабабушки Ханны, единственной живой свидетельницы подвига.

— А еще ты у нее обязательно узнай: борьбой он занимался или нет? — сказал Володя Громаковский, когда мы на следующий день собрались, как всегда, под большим каштаном.

В цирке тогда проходил чемпионат французской борьбы. Афишные столбы в городе были заклеены яркими плакатами с изображением могучих полуголых дядек, извивавшихся на ковре в красивых схватках.

— И какого он был роста, обязательно узнай, — потребовал маленький Вячик Шипов.

Слухи о предстоящем приезде прабабушки разошлись по всему двору.

К маме пришла пани Божена, пожилая полька из флигеля, что в саду. Странная болезнь поразила ее: у нее разрастался нос. Он ширился, пух, он постепенно завладевал лицом — огромный, лиловый, словно пересаженный с клоунской маски. Ничто ей не помогало. В отчаянии пани Божена прибегла к знахарскому средству. Я, Володя и Вячик ловили для нее крыс. Их салом она мазала свой хобот. Но он не переставал расти.

— Чи не може пани прабабця пшивешть з Варшавы цось до моего носа?

Пришел и другой сосед, рыжий хмурый еврей Нёма Нагубник. Он недавно покинул веру своих предков и перешел в секту адвентистов седьмого дня. Они собирались на втором этаже трактира «Калуга», что у Привоза. Оттуда через открытые окна вылетали их хоровые молитвы, полные благочестивых завываний. Нёма Нагубник всегда находился в состоянии мрачного экстаза.

— Я знаю, — нервно заговорил он, — ваша родственница очень старая. Но молю вас, скажите ей, что она тоже увидит второе пришествие Христа, ибо он может явиться ежеминутно.

И он передал для прабабушки адвентистскую газету «Маслина» с передовой статьей о низвержении сатаны в бездну.

В семье нашей воцарилась тревожная суматоха. Для прабабушки отвели самую большую комнату, спальню моих родителей. К ней примыкала терраса, выходящая в сад. Из комнаты вынесли зеркало («она боится смотреть на себя»), мягкую мебель («она терпеть не может пыли»), репродукцию микеланджеловского «Давида с пращой» («голый мужчина да еще без фигового листка может рассердить ее»), керосиновую лампу («она не любит этих новомодных штук»). В продолговатый металлический таз насыпали песок и в него воткнули семь восковых свечей.

Была дана телеграмма в Петербург двум моим дядьям, Самуилу и Давиду, служившим один в Волынском, другой в Павловском гвардии полках. Решено было перед приходом прабабушки созвать семейный совет с участием дедушки Симона, его пятерых детей и ближайших друзей дома.

Семейный совет собрался в полуопустошенной спальне. И эта разоренность усугубляла тревожное настроение. Пришли все — дедушка, его четыре сына, дочь с мужем, суфлером драматического театра, и двое друзей дома, Саша Вайль и Владимир Лорин-Левиди.

Я проскользнул в комнату и забился в угол. Никто не обращал на меня внимания.

Вайль подмигнул мне. Мы дружили. Я сделал ему знак: «Не выдавайте меня!» Он понимающе кивнул. Это был высокий, очень худой человек с развинченными конечностями и маленькой доброй головкой. Он держал на Привозе рундук. Я не знал, что такое «рундук». Мне казалось, что это, вероятно, нечто вроде сундука, набитого всякой всячиной. Должно быть, воображал я, раскры-

тый рундук стоит на обочине тротуара, и тощий, всегда возбужденный Саша Вайль и его толстая низенькая жена Настя торгуют поношенным платьем и надтреснутой посудой. Вайль уверял, что он потомок французского офицера, сдавшегося в плен казакам в 1812 году и оставшегося в России. В доказательство Вайль приводил свою фамилию. Когда его предка впоследствии спрашивали, как он попал в Россию, бывший наполеоновский офицер, по словам Вайля, отвечал на ломаном русском языке: «Меня завоевайль». Постепенно это слово превратилось в фамилию.

Лорин-Левиди, как всегда, был в сюртуке и в пенсне в черной черепаховой оправе, от которого шла широкая черная же лента к шелковому лацкану сюртука. Его густые с рыжеватым отливом волосы стояли ежиком. Большое, гладко выбритое лицо с крупными актерскими складками дышало достоинством и значительностью. Он оставил сцену, когда стал глохнуть. Как все глухие, он представлял большое удобство для общества, потому что можно было не стесняясь говорить о нем вслух. На сцене его видел только однажды мой отец. Лорин-Левиди играл роль доктора. Роль состояла из двух слов. Доктор подходил к постели умирающей героини, осматривал ее и после драматической паузы заявлял гробовым голосом: «Наука бессильна». По словам отца, который сам был чтецом-любителем, впечатление от этой реплики было сильное. В публике некоторые всхлипывали.

Во главе стола сидел дедушка. Я любовался им. Как он красив со своими ясными голубыми глазами и серебряной бородой! Как почтительно все внимают его словам! На голове у него шелковая черная ермолка, которую он не снимает никогда. А пальто и зонтик он оставил в прихожей. На этот зонтик с гнутой деревянной ручкой я всегда смотрел с любопытством. Дело в том, что дедушка был почетным прихожанином хасидской синагоги. Я долго не знал, что такое «хасид». Но вот однажды я услышал разговор между папой и дядей Филиппом. Взрослые уверены, что детей не интересуют их разговоры. Какое заблуждение! Дети всегда страстно вслушиваются в речи взрослых, за исключением, конечно, тех случаев, когда эти речи обращены к детям. Отец сказал:

— Убей меня бог, если я знаю, что такое хасиды.

Дядя Филипп сказал, посмеиваясь (он всегда посмеивается):

— Так спроси у меня. Это еврей-пьянчуги. По

праздникам, какая бы ни была погода, они выходят на улицу не иначе чем с зонтиками. Почему с зонтиками? В зонтиках у них бутылки с вином. Они останавливаются где-нибудь в подъезде и жлекают прямо из бутылок. А потом поют свои босяцкие песни. Ну вот, ты мне не веришь. Я видел собственными глазами.

После этого я несколько раз пробирался в прихожую и щупал дедушкин зонтик. Но он всегда был пуст. И я тоже не поверил дяде Филиппу.

По правую руку от дедушки сидел папа. В ту пору он начинал полнеть, но был очень подвижен и с легкостью носил свое тучнеющее тело. Округлостью лица, маленькими усиками и быстрым, живым и властным взглядом он походил на портрет писателя Бальзака. От Бальзака он отличался тем, что был блондином.

Папа был борец за справедливость, за порядок. Его религией было милосердие. Услышав где бы то ни было детский плач, он бросал все и мчался на голос ребенка. Через мгновение слышался его гневный крик: «Мерзавцы! Перестаньте мучить ребенка!»

Когда папа возвращался из своих поездок по стране, долго еще нашу квартиру продолжал заливать поток писем, в которых начальники станций, полицейские надзиратели, владельцы ресторанов и парикмахерских, управляющие гостиницами, почтовые чиновники, редакторы газет извещали моего отца, что ямы на мостовой засыпаны, прием телеграмм упорядочен, извозчик, избивавший лошадь, оштрафован, уборная на станции расширена на два очка и т. п.

На моей памяти папа был солидным служащим торговой фирмы. Но он охотно вспоминал о своем прошлом рабочего. Он был, как и прадедушка Зуся, стеклодувом. До сих пор он хранил выдувальную трубку, железную, с мундштуком и деревянной обоймицей. Иногда он вынимал ее из шкафа и смотрел на нее, как ветеран смотрит на старое боевое оружие.

— Теперь все другое, машины Фурко, всякие автоматы, — говорил он. — А в мое время брал я ком, выдувал халяву, раскалывал ее горячим железом и — в печь. Там она становилась листом. Мы выдували и винные бокалы, и бутылки...

Все это он рассказывал, когда мы с ним оставались наедине.

А на людях он был, что называется, душа общества, остряк, балагур, декламатор. Посреди почтительного

молчания окружающих он читал наизусть и с необыкновенным воодушевлением «Мцыри» и «Венгерский граф». Сам Лорин-Левиди удостоивал его снисходительной похвалы. Единственно, что вызывало у отца беспокойство, это когда мама — в самых патетических местах — вдруг вставала и с лицом, покрасневшим от усилий сдерживать смех, быстро выходила из комнаты.

По левую руку от дедушки сидел следующий по старшинству сын — томный, ласковый, холодный Филипп. Даже наружностью он отличался от всех нас — длиннорукий, длинноногий, длинношей, с продолговатым лицом. Однако в этой удлинённости была соразмерность и изящество. Вся сумма легкомыслия, которая была отпущена нашей разветвленной семье, собралась в одном Филиппе. Может быть, поэтому он был самым счастливым из всех нас. Но это было недоброе счастье эгоиста. Правда, были минуты, когда дядя Филипп становился серьезным и задумчивым: когда он брал в руки скрипку или садился за пианино. Он никогда не учился музыке, но любой музыкальный инструмент в его руках становился послушным. Однако, отложив его, дядя Филипп забывал о нем с такой же легкостью, с какой он изменял женщинам, покидал друзей и бросал своих детей.

Сейчас, сидя рядом с дедушкой, дядя Филипп то и дело нетерпеливо поглядывал на часы. Наконец он не выдержал. В то время, когда дедушка развивал картину торжественной встречи своей матери, где каждому было строго определено его место и поведение, Филипп вдруг перебил его:

— Зачем столько церемоний? Кто-нибудь из нас возьмет ландо на дутиках и благополучно доставит бабушку франко-Спиридоновская.

Дедушка покосился на сына, огладил бороду и сказал:

— В «Мишне», в трактате «Синедрион», в главе первой «Процессы гражданские», в параграфе третьем сказано: «Нижеследующие не могут быть судьями и свидетелями: разводящие голубей, промышляющие плодами субботнего года, ростовщики и...»

Дедушка остановился, посмотрел в упор на дядю Филиппа и закончил подчеркнуто:

— «...и играющие в азартные игры».

Сказав это, дедушка отвернулся от сына и продолжал свою речь о протоколе приема прабабушки. А дядя

Филипп досадливо пощипал свои черные усики, но все-таки не решился встать и уйти в Коммерческий клуб, где уже, наверное, его ждали за карточным столом беспутный сын местного прокурора Джибели и красавец и щеголь Бершадский, выдававший себя за клептомана, а также очередная пара помещиков, развлекавшихся после продажи урожая. В своей среде Коммерческий клуб так и назывался: учреждение по обыгрыванию херсонских и елисаветградских помещиков.

Двое младших братьев, гвардейцы Самуил и Давид, растерянно переглядывались. Военная служба приучила их к повиновению начальству, и робкий мятеж Филиппа их ужаснул.

Старший из солдат, Самуил, занимал место по правую руку от папы. Все мужчины за столом сидели с покрытыми головами, как в синагоге. На Самуиле была барашковая круглая кубанка с двуглавым орлом и кокардой. Черный однобортный китель, охваченный кушаком с медной пряжкой, спускался почти до колен. Черные шаровары с напуском были заправлены в высокие сапоги. Такова была форма, введенная в армии Александром III. Единственную вольность позволил себе Самуил — слегка заломить шапку на правое ухо. Маленькие черные усики, подкрученные кверху, не закрывали полного красивого рта. Во всем облике Самуила была лихость, бравасть, прямота. Русский солдат!

Он и был такой — прямой, brave, веселый, щедрый. Одно омрачало эту простую душу: зависть к Давиду. Младший по возрасту Давид был старшим по чину. Он носил на погонах ефрейторские лычки.

Это был нежный сахарный блондин, петербургский гвардейский солдатик, изящный, щеголеватый.

Через несколько лет Давид вернется с японской войны грязный, обросший бородой, в огромной маньчжурской папахе и с георгиевской ленточкой на вылинявшей гимнастерке. А Самуил всю войну проболтается где-то в тылах. И тогда я впервые пойму, что хрупкость и храбрость не спорят друг с другом.

Но это случится через несколько лет. А пока нас окружал безмятежный стоячий покой начала века. О том, что в нем уже созревали зерна тысяча девятьсот пятого года, никто в нашей суматошливой семье не подозревал.

Самая младшая из детей Симона, тетя Маня, сидела на другом конце стола. Непоседа, она вертелась на стуле

и поводила хорошенькой головкой, нетерпеливо поглядывая на братьев. Ей было скучно. В дверях уже несколько раз показывалась молоденькая сестра моей матери, тетя Полина. Она делала тете Мане знаки, означавшие, что в соседней комнате ждут их студент Дракохруст, писатель Кармен и фельетонист Мускаблит, с которыми обе красавицы отчаянно флиртовали. Тетя Маня делала жалобную гримаску.

Единственным человеком, который позволял себе пренебрегать Семейным Советом, была моя мать. Вот и сейчас она сидела на террасе и предавалась своему излюбленному занятию: читала. У нее нежное сердце и ум, склонный к насмешливой созерцательности. Читая сентиментальные романы Ауэрбаха и Шпильгагена, она забывала обо всем на свете. Отчаянный вопль случайно забредшего в кухню отца: «Сонинька, кипит!» — пробуждал ее к жизни. С неудовольствием отрывалась она от немецких романов в твердых красных переплетах и с ленивой грацией шла к плите.

Рядом с тетей Маней сидел ее муж, суфлер драматического театра Саша Галицкий. Разразился скандал, когда она вдруг вышла замуж за этого собутыльника ее братьев. Они не понимали, чем пленил ее этот поживший мужчина с лысиной во всю голову и с резкими морщинами на лице. Но мы, дети, обожали дядю Галицкого.

По воскресеньям он собирал всю нашу ватагу, двух своих ребят, меня, обеих дочек дяди Филиппа и моих дружков Вячика и Володю. У Соборной площади мы усаживались в огромный высокий омнибус — «трам-карету», влекомую двумя лошадьми. Трам-карета с оглушительным грохотом (за что ее называли «трам-тарарам-карета») мчалась через весь город и привозила нас на Ланжерон к берегу моря. Здесь дядя Галицкий катал нас на лодке, строил с нами песчаные городки и, раскинув на влажном песке свои длинные конечности, рассказывал нам всякие забавные истории. Он держался с нами как равный, и мы числили его в своем лагере, в детском. Все остальные мои дядья были взрослые, всеведущие, успокоенные. Только в дяде Галицком сохранилось что-то неусмирное, ищущее. В отличие от взрослых мы-то понимали, почему семнадцатилетняя тетя Маня могла полюбить тридцативосьмилетнего дядю Галицкого.

Сейчас он сидел молча рядом с нею и, чтоб не терять

даром времени, набивал табаком гильзы, орудуя маленькой медной трубкой и длинной деревянной палочкой.

Неожиданно заговорил Вайль:

— Вы хотите послушать меня, Симон Зусьевич? Так я вам скажу. Что ваша мамочка будет иметь перед глазами здесь, на вашей Спиридоновской улице? Чахоточный садик и пискатых детей? Фе! Ей нужно снять дорогой номер в «Лондонской гостинице» на Николаевском бульваре, с душем, бидэ и видом на море, рядом с дворцом командующего войсками графа Мусина-Пушкина. И еще большой вопрос, для кого это будет честь — для бабушки Ханны или для командующего войсками!

Поднялся шум. Заговорили все враз, перекрикивая друг друга. Даже глухой трагик Лорин-Левиди, осведомившись у соседей, о чем идет речь, повернул к дедушке черно-рыжий стог своей головы и тем же хорошо поставленным загробным голосом, каким он произносил свою знаменитую реплику: «Наука бессильна», — отчетливо:

— Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя...

Напрасно дедушка пытался утихомирить их. Доносились только отдельные слова его:

— ...и сказал рабби Иегуда... горе тому, кто говорит дереву: «Встань»...

Никто его не слушал. Все против него! Даже корректный ефрейтор Давид сказал:

— И ради этого нас отпустили с маневров в Царском Селе...

А дядя Филипп, услышав про рабби Иегуду, отчетливо произнес:

— А мушьль-кабак!¹

Дедушка прикрыл глаза и провел рукой по лбу с выражением бессилия. Жалость и гнев накатились на меня. Я выбежал из своего угла и дико завизжал. Все замолчали и посмотрели на меня. А я топал ногами и кричал:

— Не смейте обижать дедушку! Не трогайте моего дедушку!

Уже прошло три дня, а я все еще ничего не узнал о подвиге прадедушки Зуси.

— Что ты, значит, так ее дрефишь? — сказал Володя

¹ Чепуха (евр.).

презрительно, когда мы собрались под большим каштаном.

— Я ее совсем не дрефлю! — горячо уверял я. — Просто целый день у нее народ, невозможно подойти.

— Бреши побольше! Все вы там ее дрефите.

И вправду: бесстрашный боец за справедливость, гроза почтовых чиновников и ночных сторожей — мой папа, оба гвардейца, степенный Давид и бравый Самуил, и даже отчужденный скептический бонвиван и игрок Филипп превратились в испуганных мальчишек, которыми прабабушка Ханна, маленькая сухонькая старушка в парике, помыкала как хотела.

Однажды у ворот остановился щегольской выезд. Оттуда вышел тучный старик в сюртуке с шелковыми отворотами, с цилиндром на голове. У него были выпуклые глаза и роскошная черная борода завитками, сквозь которую краснели сочные губы лакомки. Вьющаяся борода клином и волоокость делали его похожим на ассирийцев, как они изображались на древних барельефах рядом со своими быками.

Это был казенный раввин Крепс. Почетному гостю предложили чай. Раввин вежливо полюбовался крепким настоем и сказал, что такой восхитительный напиток следует пить с сахаром вприкуску, дабы не лишиться себя наслаждения его ароматом.

Вскоре у кресла прабабушки завязался богословский спор между раввином Крепсом и дедушкой Симоном. Они обрушивали друг на друга глыбы цитат из Галахи, Гемары, Вавилонского и Палестинского талмудов.

В конце концов казенный раввин отер вспотевшее лицо платком и сказал, обращаясь к прабабушке:

— Нет в городе более ученого еврея, чем ваш сын, мадам. Это он, а не я, должен занимать место казенного раввина. Но поскольку это место уже занято мной, то я предлагаю реб Симону стать моим помощником. Имейте в виду, что нас иногда вызывает к себе сам господин градоначальник граф Шувалов для разрешения тонких вопросов, возникающих среди населения в связи с делами о разводах, банкротствах и распределении мест на городских рынках. И тут ученость реб Симона будет очень к месту.

Прабабушка расцвела от гордости. Она вопросительно посмотрела на сына.

Он нахмурился, подумал и сказал:

— Род Наси назначил судьей невежду. И сказал Наси рабби Иегуда: «Стань возле судьи и подсказывай ему». Тот стал и подсказывал. Но судья не мог повторить. И сказал рабби Иегуда: «Какая польза говорить безмолвному камню: «Пробудись»? Научится ли камень чему-нибудь? Вот судья, который увешан золотом и убран серебром. Но духа в нем нет никакого». Так, мосье Крепс, сказано в талмуде Вавилонском, в трактате «Синедрион», в главе первой «О тяжбах гражданских».

Казенный раввин Крепс был человек светский. Он притворился, что не понял намека. Допив чай, он поставил стакан вверх доньшком и положил на него оставшийся кусочек сахара в знак того, что больше не хочет чаю. Потом поцеловал прабабушке руку и удалился, увесисто ступая, квадратный, клинобродый, похожий одновременно на ассирийца и на его быка.

Однажды к прабабушке прорвался адвентист седьмого дня Нёма Нагубник. Но прежде чем он открыл рот, дедушка Симон взял его за предплечье и, сильно сдавив, вывел адвентиста из комнаты. Очевидно, какая-то частица отцовской крепости передалась дедушке Симону.

Приходили родственники со стороны мамы. Яблоники, Ярославские, Столяровы, троюродные братья, внучатые племянницы, оторвавшиеся семейные ветви, всплывавшие только в дни похорон и свадеб.

Пришел среди них легендарный Евстафий Зильберман, вернувшийся недавно из Индии, всесветный бродяга, метавшийся, подобно сказочному Вениамину Третьему, по всему миру в поисках счастливой страны. Прибыв в Тимбукту, в Харбин, в Тристан-да-Кунью, все равно куда, Евстафий немедленно разворачивал там производство черного медового пряника с орехами, известного под маркой «Лейках». Это давало ему возможность существовать в то время, пока он исследовал край в поисках счастья.

Скиталец оказался низеньким толстяком на куцых ножках, с кроткой и вежливой улыбкой на щекастом лице.

— Ну что, Евстафий, жизнь в Индии тоже не сахар? — спросила прабабушка, снисходительно улыбаясь.

Безумие блеснуло в маленьких глазках Зильбермана.

Он наклонился к прабабушке и сказал страстным шепотом:

— Есть Ледовитый океан. И есть на том океане полуостров Таймыр. И живет на том полуострове племя эскинцев. И говорят, что они не знают болезней, ни зависти, ни измен, ни мордобоя.

Прабабушка подняла голову:

— А смерть они знают?

Путешественник с сожалением развел руками. Так далеко он не заходил в своих исканиях.

Внуков и невесток прабабушка не считала достойными для себя собеседниками. Сына она ставила так высоко, что стеснялась при нем пускаться в длинные рассуждения, боясь показаться глупой. И вышло так, что ни с кем она так много не разговаривала, как со мной. Может быть, она просто думала вслух, не опасаясь, что я ее пойму, как иногда поверяют свои сокровенные мысли кошке. Постепенно, на удивление всей семье, эта властная и нетерпимая старуха привязалась ко мне. «Птичка» — называла она меня. Однако выведать у нее что-нибудь о героическом подвиге прадедушки Зуси мне пока не удавалось.

— Чем тут гордиться? Силу имеет каждый бугай, — с неудовольствием говорила она. — Разве тебе не хотелось бы, Птичка, стать таким талмуд-хухемом¹, как твой дед?

Прабабушка не понимала, что меня с одинаковой силой влекли к себе и божественная ученость дедушки Симона, и богатырские мышцы прадедушки Зуси.

Этот разговор происходил в то время, когда дедушка, как и каждое утро, вышел на террасу молиться. Он накинул на себя ритуальную полосатую мантию, а ко лбу и к обнаженной левой руке приторочил маленькие кожаные кубики со священными текстами. Предполагалось, что священные слова через сердце и мозг впитываются в самую душу молящегося. Стоя в углу лицом к востоку, дедушка мерно раскачивался и однообразным распевом невнятно проборматывал молитвы. Солнце, подымаясь над садом, окружало дедушку сияющим ореолом.

Прабабушка смотрела на сына с обожанием и со

¹ Ученый богослов (*евр.*).

скорбью. Я сидел у изножья ее кровати. Губы прабабушки беззвучно шевелились. Женщинам молиться не положено, и поэтому она произносила слова молитв в уме. Так она мысленно проговорила весь набор утренних молитв, за исключением той, в которой молящийся возносит богу благодарность за то, что он не создал его женщиной.

А скорбь прабабушки происходила оттого, что никто из ее четырех внуков не молился. Они покорно исполняли малейшие прихоти ее. Но никто из них — ни мой веселый бурный отец, ни кутила Филипп, ни оба гвардейца — не хотел выполнять странные обряды, установленные древним пастушеским племенем в жарких азиатских пустынях.

— Сын мой, — сказала прабабушка, когда дедушка Симон снял с себя оружие верующего и упрятал его в бархатный мешочек. — Сын мой, ты ученый человек. Но, мыслится мне, ты иногда забываешь, что ты старший в роде. Твои сыновья распустились. Вспомни, что ты глава семьи.

Дедушка Симон огладил свою бороду, как всегда в минуту раздумья, и ответил:

— В Книге Судей сказано: «И обратились деревья к масличному дереву и сказали ему: «Царствуй над нами». И ответила им Маслина: «Не брошу я забот о моем масле, приятном людям и богу, ради того, чтобы надеть на себя корону».

Сказав это, дедушка поцеловал матери ее сухую руку и с достоинством удалился.

Прабабушка посмотрела ему вслед с умилением. Потом вздохнула и прошептала:

— Масло... Знаю я это его масло...

Некоторое время она сидела молча, откинувшись на подушки. Потом я почувствовал, как ее рука опустилась на мою голову.

— Какая у тебя круглая головка... — сказала она нежно.

— Но все-таки постарайся вспомнить, прабабушка, — сказал я настойчиво, — сколько детей сидело в коляске, когда лошади понесли?

— Нечаев-Мальцев ехал из Дятькова, из своего имения, — сказала прабабушка, мечтательно глядя в потолок. — Он был в генеральской форме. Очень красивой. Он же был кавалергардом и адъютантом принца Ольденбургского. Он был большой умница. Интеллигентный

человек! Он сам строил свои заводы. Не только стекольные. Механические. И железоваренные...

Я нетерпеливо перебил прабабушку:

— Ты мне лучше скажи, прабабушка, какой рукой прадедущка Зуся схватился за дуб, а какой за коней? Это же важно! Вспомни! Ну, что тебе стоит?

— Он любил Зусю,— задумчиво говорила прабабушка.— Он все прощал ему. Все глупости, которые Зуся делал на заводе по своему невежеству, все его поблажки рабочим. После смерти Зуси заводом управляла я.

Тут прабабушка остановилась. На лице ее появилась лукавая усмешка, и она сказала:

— Сказать правду, так и при жизни Зуси управляла, собственно говоря, я.

Она вздохнула.

— У меня мужской ум, Птичка, а мужской ум для женщины грех.

Она зажгла свечу и принялась растапливать над ней палочку красного сургуча. Давно уже никто не запечатывал писем сургучом. И тут я впервые увидел прабабушкину печать.

Она прозрачная, из чистого, как слеза, хрустала с маленькой граненой головкой. И в головке этой цветы. Да, там, внутри этого остекленевшего родника, цвел, не увядая, прелестный маленький луг из красных, синих и желтых цветов. Когда прабабушка наклоняла печать, казалось, что цветы колышутся, что они всплывают из какой-то холодной и чистой глубины.

Увидев, с каким восхищением я смотрю на хрустальную печать, прабабушка сказала:

— А теперь, Птичка, смотри, что получается.

Она прижала печать к мягкому сургучу, и на нем оттиснулась по кругу фамилия прабабушки. А в середине круга — начальная буква ее имени Х, похожая на два скрещенных флага. А в самом низу — лучи встающего солнца.

Я протянул руку к чудесной печати.

Но прабабушка покачала головой:

— Нет, Птичка, не дай бог, ты разобьешь ее. А для меня дороже ничего нет. Это мне подарили рабочие. Мне, а не Зусе. Не огорчайся, Птичка, когда-нибудь печать будет твоя. После моей смерти ее получит самый младший из моих внуков, Давид. А после его смерти — ты. И всегда надо завещать ее самым младшим, чтобы она подольше жила в нашем роду...

— Так ты опять ничего не узнал про прадедушку Зусю? — спросил Вячик.

Я больше не мог уклоняться от рассказа. И я храбро соврал:

— А вот узнал. Он схватил коней правой рукой, а дуб — левой. Потому что иначе он вырвал бы дуб с корнем. Во какая у него сила в правой руке!

Ребята обомлели. Володя робко спросил:

— А борьбой он занимался? Приемы знал?

— Фига, занимался! Кто с ним пойдет бороться, когда он всех клал на первой секунде.

— Даже Збышко Цыганевича?

— Даже Збышко Цыганевича. И Ивана Кашеева. И Заикина.

— Шик! — восхищенно воскликнул Володя. — А про гимнастику узнавал?

— Про гимнастику? — Я на мгновение задумался. — Еще бы! Он знаешь как тренировался? Переносил холмы с места на место.

— Холмы?

— Да! Там у них куча холмов. Так прадедушка Зуся передвигал их с места на место. Потом, конечно, он их ставил обратно.

Ребята были подавлены. Вячик сказал несмело:

— А как насчет манной каши?

Судьба моих товарищей была в моих руках. Скажи я, что прадедушка ел по утрам манную кашу — всё! Они станут самоотверженно забивать в себя ненавистную кашу. Но я был хорошим товарищем, и я сказал небрежно:

— Вот еще! Очень нужна ему эта дрянь.

Володя и Вячик облегченно вздохнули.

— А что я видел у прабабушки! — сказал я.

И я им рассказал про хрустальную печать.

— Ври побольше! Таких вещей не бывает, — заявил Володя.

Оба они только что ни на секунду не усомнились в правдивости моих бессовестных выдумок о прадедушке Зусе. А сейчас ни за что не хотели поверить чистой правде про хрустальную печать.

Уже гораздо позже, через много лет, когда я стал взрослым, я не раз убеждался, с какой охотой люди поддаются грубой лжи и как трудно подчас раскрыть им глаза на истинную картину жизни.

Взбешенный, едва ли не доведенный до слез ослиным

упрямством Володи и Вячика, я сказал, что покажу им печать. Я выпрошу ее на время у прабабушки. А если она откажет мне, я украду ее!

В тот же день, сидя на маленькой скамеечке у ног прабабушки, я сказал:

— Покажи мне, пожалуйста, еще раз твою хрустальную печать.

Прабабушка покачала головой:

— Это не игрушка. Один раз только я выпустила ее из рук. Когда твой дедушка Симон подрос, я передала ему завод и печать. Это была моя ошибка. Твой дед разорил нас. Я не виню его. Есть разные люди. Есть люди дела, а есть люди мысли. К тому же эта женщина... Не хочу о ней дурно говорить... Ну, словом, эта шлюха обобрала его... Ты еще ребенок. Ты сейчас еще не можешь этого понять. Это даже хорошо, Птичка. Если бы ты понимал, я и не рассказала бы тебе этого. Но ты все запомнишь и когда-нибудь поймешь...

Напрасно взрослые думают, что детям недоступны страсти, терзающие их, — любовь, ревность, честолюбие и даже вожделие. Иногда папа и мама отправлялись с друзьями в ночной ресторан. Случалось, не с кем было меня оставить дома, и меня брали с собой. Считалось, что сальности, которые выкрикивали с эстрады полуголые певички, и весь кабацкий разгул кафешантана мне так же непонятен, как высшая математика. Взрослые ошибались так же, как сейчас прабабушка, рассказывая мне о своем сыне.

Но в тот момент я не очень интересовался этим рассказом. Хрустальная печать стояла недалеко от меня на маленьком столике у кровати. Я не мог отвести глаз от нее. Прабабушка не смотрела на меня. Взгляд ее был устремлен в потолок. Она думала вслух. Я быстро схватил печать и положил ее в карман. Я прижимал ее рукой, чтобы она случайно не выскользнула. Я чувствовал ее холод и тяжесть. Прабабушка повернулась ко мне. Я испугался. Но она ничего не заметила.

— Помни, Птичка, — сказала она, — твой дедушка Симон большой человек. Он...

Прабабушка приблизила губы к моему уху и прошептала:

— Он почти святой...

Мне стало стыдно. Мне казалось, что печать впивается мне в руку. Я что-то пробормотал и выбежал из комнаты.

Взрослые не подозревают, что детям тоже нужны деньги, потому что у них есть свои расходы.

В самом деле, все дети что-нибудь собирают. Мы, например, собирали марки, старые монеты, абрикосовые косточки и папиросные коробочки. Немалых денег стоили нам пистоны и мороженое. Из абрикосовых косточек мы делали отличные свистки. Для этого надо тереть косточку с обеих сторон на мокром камне, пока на ней не образуются две дырочки. Иголкой мы выковыривали мякоть и впускали в пустую косточку маленький шарик, его можно сделать из дерева или из пробки. Получается превосходный свисток, пронзительный и тревожный, как у городского.

Деньги нужны также на приобретение хлебного кваса, резины для рогаток, конфет-лимонок, ломтей кокосового ореха в уличных ларьках. Да мало ли еще для чего!

Утром я прибежал под большой каштан, торжествуя — размахивая хрустальной печатью.

Володя еще издали крикнул:

— Скорее! Есть работенка!

Вячик взял печать, небрежно повертел ее. От нее тотчас же пошли оранжевые, зеленые и фиолетовые лучи, точно маленький цветочный луг, заключенный в ее головке, сам испускал это радужное сияние.

Не знаю, как это случилось, но только Вячик вырвал печать. Я поднял ее и к ужасу своему увидел, что от ее хрустальной головки отломился кусочек.

— Велика важность! — сказал Вячик. — Она даже не заметит. Повернешь другой стороной.

Я вскоре забыл об этом огорчении, потому что нам срочно надо было приступить к работе. Ее раздобыл Вячик. Он был самым практичным из нас. Это ему принадлежала деловая идея — отлавливать крыс для пани Божены.

Отец Вячика, угрюмый хромец с толстыми черными усами, работал на ювелирной фабрике Иосифа Фраже. Время от времени там требовались насекомые — стрекозы, жуки, бабочки, как образцы для брошек и других украшений. Мы получали от пяти до пятнадцати копеек за насекомое в зависимости от его красоты. Однажды мы

получили за бабочку Кавалер Махаон целых сорок копеек.

Мы хорошо освоили технику этой работы. Отловив насекомое, мы умерщвляли его в блюдце с водкой и, просушив, накалывали булавкой в чистый коробок от спичек или папирос. Главная трудность была в добыче водки. Детям не продавали ее. Надо действовать через взрослых.

Мы кинули жребий. Вышло идти за водкой мне. Деньги выдал мне Вячик. Они всегда у него водились, и он обычно авансировал наши предприятия. Нехотя поплелся я на Тираспольскую улицу в монопольку, как тогда называли казенные винные лавки. Возле монопольки, как всегда, валялось несколько мертвецки пьяных мужиков. Я долго стоял в нерешительности и наконец обратился к пожилой женщине в платочке, скроив жалобную мину:

— Тетенька, знаете, у сестрички распухли железки, и ей нужно сделать согревающий компресс, так меня послали за водкой.

Через несколько минут я мчался домой, сжимая в руке шкалик.

У меня был в саду тайник в дупле старой акации. Я осторожно спустил туда шкалик и прикрыл сверху листьями. Едва я это сделал, как услышал, что меня зовут.

Дома был переполох: искали хрустальную печать. Прабабушка бушевала:

— Это не дом! Это кабак! Ноги моей больше здесь не будет!..

Я опустил руку в карман. Да, она там, холодная, гладкая, прелестная даже на ощупь.

Мне вдруг показалось, что она становится страшно тяжелой и вот-вот прорвет карман и с грохотом вывалится на пол.

Я бросал косые воровские взгляды на свою левую штанину, мне чудилось, что хрустальная печать начинает испускать сияние, и лучи ее пробиваются сквозь ткань штанов и заполняют комнату — синие, желтые, розовые, красные.

Когда ко мне кто-нибудь приближался, я быстро отходил в сторону. Мне казалось, что хрустальная печать живое существо, что вдруг она заговорит из меня своим чистым родниковым голоском.

Я выскользнул из комнаты и побежал в сад. Там я прошел к моему тайнику, вынул печать из кармана и осторожно опустил ее в дупло. Она тихо звякнула

и улеглась. Я облегченно вздохнул. Ночью — решил — я выну ее и положу возле прабабушки.

Тут чья-то рука легла мне на плечо. Я поднял голову. Это был дедушка Симон.

— Бог видит каждое твое деяние, он слышит каждое твое слово, он читает каждую твою мысль, — сказал он.

— Только мою, дедушка? — спросил я дрожа.

— И мою, и твою, и всех людей на свете.

— Как же он может знать все про всех?

— Он может знать все про всех, потому что он повсюду.

— Как же он может быть повсюду?

— А воздух повсюду? А небо повсюду? Он как воздух, как небо.

С этими словами дедушка Симон всунул свою длинную руку в дупло и вытащил оттуда хрустальную печать. А вслед за тем — шкалик, на который он устался с удивлением.

Я заплакал.

— Дедушка, я взял ее на минутку, мальчики не верили, так я хотел им показать...

— Допустим, — сказал дедушка серьезно.

Он нахмурился и сказал:

— Что вы курите, я знаю. Но что вы водку пьете...

— Дедушка, мы не пьем!

И я рассказал, зачем нам нужна водка.

Дедушка покачал головой.

— То, что живет, пусть живет. Почему нельзя никого убивать? Потому что во всем живущем есть частица бога. Спрашивается: а в бабочке? Отвечается: да, и в бабочке, и в цветке, и в облаке, и в самом убийце...

Дедушка долго говорил мне о боге, о его всеведении и вездесущности. Я чувствовал, что стою перед богом, как голый. Но это не утрашало меня. Сознание, что огромный, могущественный бог среди своих бесчисленных хлопот не упускает из виду и мое малое существо, наполняло меня гордостью. При этом я не мог отделаться и от ощущения, что в этой осведомленности бога и постоянной его слежке за мной есть что-то стеснительное. Но я гнал от себя это ощущение, как греховное.

Убедившись, что я успокоился, дедушка Симон опустил хрустальную печать и шкалик в карманы куртки, взял меня за руку, и мы пошли в дом.

Он шагал, как всегда, твердо, уверенно, высоко подняв голову, а я снизу поглядывал на него с робким

обожанием, и мне радостно было ощущать, как тонет моя рука в его большой сильной ладони.

Войдя в комнату, дедушка вынул из светильника зажженную свечу, легко опустился на колени и заглянул под кровать. Когда он поднялся, в руке у него была хрустальная печать.

— Симон, ты моложе своих сыновей! — вскричала прабабушка с торжеством. — Твои глаза острее, чем у молодых, твоя спина гибче, чем у девушек. А твоя голова мудрее...

Она вдруг замолчала. Лицо ее омрачилось. Она увидела, что печать повреждена.

— Это не больше, чем царапина, — сказал дедушка, — и нужно, чтоб она была.

— Зачем? — удивилась прабабушка.

— Могла печать разбиться? Могла. Разбилась она? Нет, не разбилась. Спрашивается: почему? Отвечается: потому что бог этого не допустил. Почему же он этого не допустил? Потому что его воля была оставить печать целой. А чтоб не исчезла память о его милосердии, печать помечена царапиной...

Я никак не мог выбрать время, чтобы улизнуть из дому. Мне ведь нужно было раздобыть водку взамен той, которую забрал у меня дедушка. Я уже выпросил накануне у мамы деньги якобы на покупку марок.

С утра меня одели в нарядный костюмчик — серая блуза с широким белым отложным воротником, короткие серые штаны, заправленные в черные чулки. Не только я — все приоделись и во главе с прабабушкой отправились в синагогу.

Почти все еврейские праздники печальны. Это памятники несчастий — преследований, изгнаний, сожжений на костре. Молитвы — смесь стенаний, угроз и надежд. Но сегодня праздник радости — Симхас-Тора, древний праздник жатвы, единственное уцелевшее воспоминание о легендарной сельской жизни в Палестине. Сегодня потомки древних землепашцев, все эти портные, странствующие приказчики, дантисты, лудильщики, присяжные поверенные, грузчики, менялы, чеботари, аптекари, мясники, попрошайки, часовые мастера, биржевики и биндюжники веселятся, одаряют друг друга цветами. Сегодня, единственный раз в году, женщинам позволено войти на мужскую половину синагоги.

Мы все — и папа, и мама, и все дядья, и их жены — сидим на почетных скамьях впереди.

Все ждут торжественного момента.

И вот два седобородых старца подходят к стене и распахивают золоченые дверцы Ковчега Завета. Бережно вынимают они оттуда большой свиток в бархатном чехле. Это Библия. Она написана от руки на пергаменте. Сейчас ее торжественно пронесут среди народа. И нести ее должен, по обычаю, самый благочестивый, самый добродетельный прихожанин, наиболее почитаемый за святость своей жизни. Затаив дыхание все ждут, на кого падет эта честь.

И вот мы видим: Священную Книгу несет не кто иной, как мой дедушка Симон.

Какое это торжество для всех нас! По лицу прабабушки текут слезы гордости и умиления. Я вижу — и отец прикладывает платок к глазам. Дядьки-гвардейцы стоят навтыжку, как по команде «смирно». Даже дядя Филипп непривычно серьезен.

Люди тянутся к Библии. Наиболее напористым удается поцеловать край ее бархатного чехла, другим — только коснуться его рукой и после этого поцеловать свои пальцы. А некоторые, я вижу, прикасаются губами к одежде дедушки Симона, как к святыне.

Я очень волновался, что к приходу Володи и Вячика я не успею раздобыть водку. Но когда мы вернулись домой, я с облегчением увидел, что под большим каштаном их еще нет.

В саду тихо. Небо сияет. В воздухе плавают осенние нити. Вдруг я замер. Прямо передо мной на веточке сирени сидит, трепеща слюдяными радужными крылышками, большая стрекоза. А совсем рядом на спинку скамьи опустилась бабочка с черными полированными крыльями. Я сразу увидел ее: это был великолепный и редкий Адмирал. Первая мысль моя — ринуться в комнату за сачком. Но тут же я вспомнил: «То, что живет, пусть живет...»

Стрекоза нахально уставилась на меня своими выпуклыми, как у раввина Крепса, глазами, словно говоря: «А что, слабо тебе взять меня?» И Адмирал, словно поджидая меня, застыл, неподвижно простерев свои лаковые крылышки, испещренные белыми крапинками.

И я понял: это бог посылает мне испытание. Так нет же, пускай Володя и Вячик, если хотят, продолжают свою жизнь убийц. А сам я никогда больше никого не буду убивать.

Кинув скорбный взгляд на стрекозу и красавца Адмирала, я побежал в монопольку.

По дороге я завернул в пассаж на Дерibasовской улице, чтобы полюбоваться большими аквариумами в окнах рыбного магазина. Когда я наконец отвел глаза от золотистых жирных карпов и горбатеньких, отливающих латуню карасей, я увидел дедушку Симона.

Я не сразу узнал его. В нем появилась какая-то странность. Как будто это он и в то же время не он. Черты лица его все те же. Но они словно бы сместились. Глаза заволоклись серебристым блеском. Поры на лице как будто раздвинулись, и кожа стала словно бы губчатой. Рядом с ним стояли двое. Я знал их. Они иногда заходили к дедушке и вместе с ним уходили, как все полагали, предаваться толкованию священных книг. Один — маленький, юркий старичок Листвойб, с лицом как бы застывшим на пороге смеха. Другой — нестарый еще, дюжий малый, скотобоец Липа Бандеровер, — шея его так могуча, что мешает ему держать голову прямо.

У всех троих в руках черные зонтики. И тут я увидел, как дедушка Симон нырнул в свой зонтик и вынул оттуда шкалик. Ловким движением сильной ладони он ударил в дно бутылки. Водка мгновенно вспенилась, и пробка вылетела. Дедушка опрокинул бутылку себе в рот и долго, булькая, пил. То же сделали Листвойб и Бандеровер.

Проходившая мимо пожилая женщина сказала:

— Что вы делаете, старики! Побойтесь бога!

Листвойб вежливо засмеялся и сказал:

— А зачем мне его бояться? Не я у бога на службе, а он у меня.

Я подбежал к дедушке и дернул его за рукав:

— Дедушка! Милый дедушка! Идем отсюда! Идем домой!

Дедушка удивленно посмотрел на меня. Потом он сказал странным качающимся голосом:

— Что такое человек?

Листвойб и Бандеровер завопили:

— Слушайте, евреи! Слушайте!

Дедушка пошатнулся и сказал:

— Человек — это лестница. Верхняя его ступенька — о!

Он показал на небо.

Вокруг нас собирались люди. Я потянул дедушку за руку. Но сдвинуть его с места у меня не было сил.

— А нижняя ступенька — о! — сказал дедушка, показывая на землю.

— Ц-ц-ц! — восторженно зацокали Листвойб и Бандеровер.

— Спрашивается: где же я сейчас? — продолжал дедушка. — Отвечается: сейчас я на нижней ступеньке. Но завтра я подымусь на верхнюю, и голова моя достигнет неба.

Я посмотрел на небо. Оно стояло надо мной, далекое и безмолвное. Только что оно кишело ангелами, колесницами, пророками, арфами, серафимами, душами праведников. Оно было полно суеты и блеска, как Дерibasовская в субботу вечером. А сейчас оно вымерло, обезлюдело, вернее, обезбожело.

Дедушка еще что-то говорил. Но я не слушал. Я понял: дедушка знает, что небо пустое. Зачем же он молится пустоте?

Вот об этом я и спросил его на следующее утро, когда он кончил молиться.

Он рассердился и сказал:

— Ты еще ребенок. Ты еще не можешь понять этого. Вечная отговорка взрослых, когда их ловят на вранье!

Мне стало горько. Это была первая смерть в моей жизни: смерть бога.

А в то же время, как это ни странно, я почувствовал и некоторое облегчение: все-таки я избавился от назойливой слезки этого Вездесущего Соглядата, который непрерывно подглядывает и подслушивает нас, но, между прочим, и пальцем не шевельнет, чтобы хоть разочек помочь нам.

Я убежал в сад. Я стыдился своих мучительных детских слез, но не мог удержать их. Я еще не знал тогда, что свобода требует жертв, иногда смерти.

Через несколько дней мы провожали прабабушку. Она долго не выпускала меня из своих объятий. В конце концов мне стало скучно в этом сухом щемящем кольце старушечьих рук. Я задыхался в плотном облаке камфары и свечного чада. Я вырвался и убежал. Вслед мне неслись сердитые крики старших.

Но я, не оглядываясь, бежал в сад, сияющий, сказочный, золотой и зеленый, туда, туда, в солнечный сад моего детства.

АРМЕНИЯ! АРМЕНИЯ!

Я вошел в Армению через ворота живописи. То, что в натуре не совпадало с полотнами Мартироса Сарьяна, Арутюна Галенца, Минаса Аветисяна, я отвергал как ересь. Так было, пока я не приехал в Гарни.

Александр Гумбольдт называл Армению центром тяжести античного мира, так как она стояла на равном расстоянии от всех культурных стран древности.

Гарни — плоскогорье, на котором стройно белел, нависая над оврагом, античный храм. За девятнадцать веков, прошедших со дня его рождения, от него остались руины. Я бродил среди разъятых частей прекрасного — поверженных колонн, голубоватых базальтовых глыб, обломков статуй, плафонов, плит с изображением атлантов.

Это языческое капище видело многое. Оно меняло религию, обращалось в христианство и снова, под влиянием царя Трдата III, впадало в эллинистическое идолопоклонство. Только после того, как означенный царь, по словам предания, был превращен в кабана, он одумался, сообразив, надо полагать, что все-таки приятнее быть человеком, хоть и христианином, чем язычником, но кабаном.

Этот клочок земли излучает видения Рима. Но, в сущности, маленькая свободолюбивая Армения никогда не была пленницей цезарей. Тацит писал: «Мы только призрачно завладеваем Арменией...» Армянский царь Артаваз II, сын Тиграна Великого, сочинял греческие трагедии. Это было в те дни, когда туда вторгались римские интервенты. Их вел Марк Лициний Красс, по прозвищу Богатый. Он был крупнейшим финансистом Рима, нажившимся на присвоении конфискованного имущества репрессированных во время переворота Суллы, к которому он примкнул. Плутарх описывает его конец. Во время пира, который давал драматург и царь Артаваз, «трагический актер Ясон из Тралл, — пишет Плутарх, — декламировал из «Вакханок» Еврипида... В то время, как ему рукоплескали, в залу вошел Силлак, пал ниц перед царем и затем бросил на середину залы голову Красса... Таков, говорят, был конец, которым, словно трагедия, завершился ход Красса».

Разбросанные руины храма похожи на гигантски увеличенную игру «Конструктор». Сходство усиливается благодаря тому, что этот античный «Конструктор»

сейчас монтируют. Скоро армянский Парфенон возникнет среди гор, окруженный двадцатью четырьмя колоннами ростом с четырехэтажный дом. К нему поведет лестница с девятью крупными базальтовыми ступенями. Это будет поразительное зрелище — классическая Эллада среди хаоса гор, желто-охристых вблизи и нежно голубеющих по мере того, как они уходят вдаль. Это будет другая Армения, греко-римская, не тронутая кистью замечательных ереванских художников. Сейчас здесь трудятся каменотесы и резчики, к которым с таким вниманием приглядывался Василий Гроссман, оставивший незабываемые записки «Добро вам» о современной Армении.

Гроссман приземлял свои высокие мысли об Армении. Он опасался показаться высокопарным и велеречивым. Он прорезал свое волнение бытовым просторечием. Пример:

«А овца, которую хотел пригласить переводчик (так Гроссман называл себя. — *Л. С.*), прижалась к ослику, ища у него покровительства и защиты. Было в этом что-то непередаваемо трогательное — овца инстинктивно чувствует, что протянутая к ней рука человека несет смерть, и вот она хотела уберечься от смерти, искала у четвероногого ослика защиты от той руки, что создала сталь и термоядерное оружие».

Как бы устыдившись собственного глубокомыслия, Гроссман тут же приглушает свой философический накат:

«В тот же день приезжий (то есть он же, Гроссман. — *Л. С.*) купил в сельмаге кусок детского мыла, зубную пасту, сердечные капли».

Гроссман знал цену слова. «Слово — это целый мир», — сказал армянский классик Туманян. Этот мир Гроссман принес в ту работу, ради которой он приехал в Армению. Может показаться несерьезным и даже отчасти самоуничижительным аттестование себя в третьем лице «переводчиком», тогда как за Василием Гроссманом уже были широко известные книги «Глюкауф», «Степан Кольчугин», «За правое дело». Чего ради он взвалил на себя работу переводчика, это разговор особый. Но, взвалив, он отнесся к ней честно. В процессе перевода романа Р. Кочара «Дети большого дома» переводчик и автор подружились. «Кочар очень мил, внимателен, — пишет Гроссман в одном из писем к жене, — все стремится показать мне интересные памятники и

места». Все же в записках своих Гроссман остерегся выводить Р. Кочара под его собственным именем, очевидно для того, чтобы не ограничивать меткость характеристик. Переводчик называет автора Мартиросян.

Записки Гроссмана об Армении «Добро вам» могли бы называться «Объяснение в любви к Армении». Нравилась ли ему его работа переводчика? Гроссман всегда Гроссман, даже тогда, когда он мучился от неосуществленного желания, такого страстного и такого — скажу — естественного: быть самим собой. «...мечтаю о том, — пишет он жене, — как закончу работу и отдохну в тишине, буду снова самим собой, а не переводчиком. И в другом письме: «...люблю быть самим собой, как бы это ни было тяжело и сложно».

Он достиг этого на страницах «Добро вам». Описывая свои первые минуты в Ереване (да в общем и далее в Армении), Василий Гроссман выпустил из себя демона образности. Никогда еще он не писал так живописно, так метафорично. Он приблизился в фактуре последних страниц своей жизни к Олеше, к Катаеву.

Читая опубликованные письма Василия Семеновича из Армении, нетрудно заметить, что восхищение страной иногда окрашивается грустью. А ведь в Армении ему нравилось все: и люди, и природа, и искусство, и обычаи, — словом, все! За одним исключением: его переводческой работы. Он сам называет ее в своих письмах «костоломной». Это и отозвалось в его письмах грустью и горечью.

Странно, что Гроссман не упоминает о дороге на Гегард, упоительно красивой. Горы то сближаются, чтобы раздавить путника, то с неожиданной любезностью вдруг великодушно распахиваются, открывая луга, поймы, равнины. Самое поразительное в горных вершинах Армении — та легкость и охота, с какой они превращаются в подобия воздушных шаров, нежно плывущих в небе. А между тем дикость их неопровержима. Это — окаменевший ураган, застывший мятеж природы. Застывший ли? Он звучит, этот бунт. Я сам был свидетелем того, как из ущелья вдруг вырвался ветер метафор, ударил меня в лицо, едва не сбил с ног. Я понял в ту минуту стилистические истоки «Добро вам».

Армения — страна многоярусная. Рыжие пропасти, циклопическое изыщество гигантских хаотических нагромождений, которые словно соревнуются в том, чтобы превзойти друг друга причудливостью форм... И все, как

когда-то писал о местах этих О. Мандельштам, «окрашено охрою хриплой».

Построение Гегардского пещерного монастыря пред-полагает в неведомых средневековых строителях не только талант, но и специальные познания. Впрочем, почему «неведомых»? В пещерной церкви Авазан на одной из стен сохранилось имя строителя, вырубленное в камне: Галдзак. Да, конечно, он строил наверняка: малейший просчет — и гора, в которой выдолблен храм, села бы на головы строителей. Так пусть не говорят мне об инженерных чудесах, якобы творимых верой. Верующий невежда не мог бы создать этот архитектурный шедевр. Невозможно сомневаться, что Галдзак обладал необходимыми познаниями в математике, в сопротивлении материалов. Замечательные древние сооружения рождены не мистическим трансом, а строгим и точным расчетом талантливых и опытных строителей.

Гегард значит — копьё. Да, есть в этих древних храмах что-то воинственное, грубое, крепостное. И — крестьянское. «Плечья осьмигранными дышишь мужицких бычачьих церквей» (О. Мандельштам). Предание говорит, что этими горами владеют *вишаны*. Слово это означает — дракон. В случае необходимости, разъясняет предание, они принимали образ людей. Следовательно, иные цари и полководцы были на самом деле неопознанными драконами.

Мы пришли к Джотто. Так все называют Геворга Григорьяна. Хотя, на мой взгляд, уж если давать ему прозвище из инвентаря Ренессанса, так скорее Эль Греко, которого, кстати, Григорьян любит и на которого походит гаммой темных тонов, драматизмом сюжетов и удлинённостью изображений.

На полотнах армянского Джотто никакого пленэра, так щедро разлитого в работах многих армянских художников, подсказанного, вероятно, самим цветом Армении и нет-нет, а начинающего кой у кого принимать несколько навязчивый характер. Своими работами Геворг Джотто показал, сколько сияния таится в темной гамме красок.

Он не похож ни на кого из своих современников. Разве только на Руо. Небольшая комната Джотто (она же мастерская) завалена его картинами. К сожалению,

они плохо (и в этом не вина художника) расходятся по музеям, они здесь почти все, эти странные, волнующие композиции, такие, например, как «Клавиатура и ласточка» или многочисленные портреты композитора Комитаса, написанные словно бы и не красками, а скорбью и гневом. Жесткая кисть Джотто становится неожиданно мягкой, когда он пишет жену. Начиная с шестидесятых годов, он вводит в свои портреты руки, в изображении которых он достигает острой выразительности. Но в общем длинный путь этого старого художника удивительно целен. По-видимому, его коренная артистическая добродетель — верность себе. Впрочем, прощаясь со мной, он сказал:

— Когда я был молодым, я писал как старик. Сейчас я пишу как взбудораженный юноша...

Вечером мы пошли в кино. Огромный амфитеатр. Крыша — звездное ереванское небо. Фильм С. Параджанова «Цвет граната» очень талантливый. И очень армянский. Может быть, даже иногда слишком армянский. Он настаивает на своем национальном своеобразии с таким упорством, что где-то порой сбивается с пути к общечеловеческому. А ведь в искусстве только то и общечеловечно, что подлинно национально. Иначе оно рискует впасть в провинциализм, то есть в узость и незначительность. «Цвет граната» рассказывает о судьбе, о возвышении, о нераздельной любви и трагическом конце знаменитого поэта XVIII века Саят-Новы.

Фильм этот не перестает поражать вас на всем своем протяжении. Вы восхищаетесь тщательностью режиссерской работы, ее неистощимой изобретательностью. С уважением думаешь о том, сколько труда было положено на создание этих бесчисленных ловких и никогда друг друга не повторяющих комбинаций красивых людей и красивых вещей. Словом, я любовался фильмом Параджанова. И нисколько не волновался. А ведь — трагедия. Трагедия загубленной жизни поэта. Трагедия любви. Трагедия огромного таланта. Холодность моя, возможно, происходила еще и оттого, что исполнители, — чьи костюмы великолепны, телодвижения безупречны, — сохраняют на лицах полное бесстрашие. Это не артисты, а, волею режиссера, фигуранты. Словом, я не волновался. Я только любовался. Не кара ли это, которая постигает художника за отсутствие страсти, попросту за

удаление в эстетство? Страсть и музейность — две вещи несовместные. Поэзия не экспонат, и на любовь не навесишь инвентарный жетончик.

В двадцатых годах прошлого столетия шла русско-персидская война. 1 октября 1827 года, через два года после восстания декабристов, генерал Паскевич штурмом взял Эривань. Группа офицеров своими силами разыграла «Горе от ума». Лизу, Софью и прочие женские роли исполняли молоденькие солдаты. Все это происходило во Дворце Сардаров.

Сейчас там на базальтовой стене висит памятная доска. Я списал ее строки:

«Здесь в 1827 году в присутствии автора впервые была представлена бессмертная комедия великого русского писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Постановку осуществили офицеры-любители из Эриванского Карабинерского 7-го полка, участвовавшего во взятии Эриванской крепости».

«Читал я, — пишет Василий Гроссман, — как гордилась армянская интеллигенция тем, что в Ереване раньше, чем в Петербурге и Москве, была поставлена комедия Грибоедова».

Действительно, в Москве она была поставлена позже, в тридцатых годах. Играли не любители, а великие артисты — Щепкин, Мочалов, Ленский и другие. Но у офицеров 7-го Карабинерского полка при всей их профессиональной неумелости было неотъемлемое преимущество: они изображали свою современность. Для них время действия комедии Грибоедова был «век нынешний», тогда как московская постановка воссоздавала уже «век минувший». Но, как тонко замечает Иван Александрович Гончаров в своем знаменитом критическом этюде «Милльон терзаний»: «...пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угодничать и «награждение брать и весело пожить», пока сплетни, безделье, пустота будут господствовать не как пороки, а как страсти общественной жизни, — до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе черты Фамусовых, Молчалиных и других...»

Иногда кажется, что народность таланта армян объясняется их происхождением: это крестьяне. Еще и сейчас почти половина населения Армении проживает

в селах (из каждых ста — сорок четыре). О ком ни спрашиваешь, следует ответ: он из такой-то деревни (иногда зарубежной). Как часто исток одаренности исходит от земли! Мысли эти приходят в голову, когда соприкасаешься с портретной живописью Акопа Овнатаяна. Давно уже нет в живых этого художника. Но купцы, градоправители, генералы, мещане, чиновники, их жены, обвешанные драгоценностями, выписанными с ювелирной кропотливостью, живы на его полотнах.

За любым портретом Акопа Овнатаяна вы видите и душу, и время, и личность, и эпоху. По таким портретам можно изучать историю общества. В то же время каждый рассказывает о какой-либо сокровенной страсти, первенствующей в душе его модели, — о надменности (А. Саркисян), романтичности (Акимян), мудрости (Нерсес Аштаракечи), нежности (Назелли Орбелян), любви (Ананян).

Шесть поколений Овнатаянцев на протяжении двух столетий были художниками. Род их прервался на Акопе. Это был пик наследственной талантливости. Гены одаренности, накапливаясь, достигли в Акопе Овнатаяне вершины, и на нем же эта артистическая династия исчерпала себя, свою творческую силу.

Почему-то все называют этого художника просто по имени: Минас. Хотя, конечно, у него есть и фамилия: Аветисян.

Природа Армении радостна. Но и сурова. На полотнах Минаса краски Армении приобретают новое качество. Когда я смотрю на картину, которая называется «У порога», — огненно-желтая фигура крестьянки выглядывает из коричневого мрака приоткрытой двери дома, — я вижу не только пылкую природу Армении, но и застенчивость крестьянской души, ее скрытую силу в облике скромности, ее единство с сущностью страны.

В замечательном автопортрете Минас изобразил себя не с традиционной виноградной гроздью в руках, а с бурой, запыленной колючкой, репьем или чертополохом. Он борется с чувствительностью, с красотью. Перед нами на портрете и есть борец, рыцарь, подвижник, а может быть, пахарь. В картине «Посвящение» художник изобразил на кресте самого себя. По бокам — родители, старые крестьяне. Нет здесь ни страдания, ни мучительства, свойственного этой теме. Наоборот —

жизненность, душевная теплота. Как заметил один из созерцателей картины: «Ну что ж, все-таки распяты добился кой-чего в жизни...» Я не успел спросить, кого он имел в виду: Христа или Минаса? И самого художника я не мог спросить, потому что он в те дни был в Москве, на своей персональной выставке.

Покидая мастерскую Минаса, мы еще раз увидели Ереван сквозь проемы лестничной клетки. Мы спускаемся с шестого этажа, и на каждой площадке перед нами встает гора, обнимающая город. На склонах ее уже зажигаются вечерние огни. Пейзаж становится другим не только в стремительно блекнущем свете неба, но и в изменяющемся ракурсе. По мере того как мы спускались, гора на горизонте росла. Наконец, в самом низу, ее заслонили одноэтажные глинобитные домишки, посреди которых растрепанные хозяйки жарили на мангалах шашлыки.

Поначалу мы не понимали, по какому случаю столько людей всегда толпится на площади Ленина, у гостиницы «Армения». Нам объяснили: в Ереван приезжают зарубежные армяне. Местные жители (в большинстве пожилые люди) расспрашивают приезжих о судьбе своих родичей и земляков, уехавших некогда в США, в Эфиопию, во Францию, в Сирию, в Аргентину, в Ливан, в Болгарию, в Канаду. Это рассеяние армян по миру пошло после печально знаменитой резни, которую турки учинили в 1915 году.

На той же площади Ленина, только с противоположной стороны, в Историческом музее мы рассматривали древнюю повозку, найденную на осушенной территории озера Севан. Это первобытное сооружение держится на четырех огромных деревянных дисках, исполнявших роль колес. Мы взирали на повозку почтительно. К этому обязывал ее возраст: XIII век до нашей эры! Тысяча триста лет, да еще прихватите нашу эру. Итого колымаге около трех тысяч трехсот лет. Ничего себе!

Рядом с нами стоял пожилой армянин. Я вспомнил: вчера я видел его в одной харчевне в Эчмиадзине. Их было трое за столиком, три седых мальчика: краснощекий толстяк, тощий старец с изможденным и страстным лицом библейского пророка и вот этот наш сегодняшний сосед — спокойной, уравновешенной наружности.

Сейчас он покосился на нас и сказал, качая головой:

— Ну и ну... Тринадцатый век...

Потом неожиданно:

— Точно в такой телеге мы бежали пятьдесят лет тому назад... нет, уже больше, пятьдесят пять, перед самой резней...

— Откуда?

— Мы жили у озера Ван. Мы бежали в Эчмиадзин. Там я живу до сих пор. Мальчиком я был тогда. Мне сейчас шестьдесят четыре...

— А вы, простите, кто?

— Шофер я. Казарьян моя фамилия.

Мы все снова посмотрели на трехтысячелетнюю телегу.

— Запрягли в нее буйвола, — сказал он, — и — в Россию. Крепкая телега. В нашей деревне у всех такие были.

В апреле 1915 года было уничтожено около двух миллионов армян — третья часть народа. В Эчмиадзине скопилось много беженцев. Великий армянский поэт Ованес Туманян пришел к ним на помощь. Вспоминают, что он «спешил от одного места к другому, из палатки в палатку, от одной группы к другой, от одного умирающего к другому». Левон Ахвердян рассказывает о таком случае из этой деятельности Туманяна:

«Однажды в проливной дождь он насильно открыл двери строящихся новых Патриарших покоев, которые были до той поры неприкосновенны. Беженцы забились внутрь. Католикос возмутился, как посмел поэт позволить себе такое, — «ведь перед ним Католикос всех армян...» Говорят, Туманян на это ответил: «Но с вами говорит Поэт всех армян».

Все человекоубийственные преступления, все массовые резни, геноциды и погромы похожи друг на друга. Известна отвратительная по своему цинизму формулировка инициатора армянской резни султана Абдул-Гамида: «Мы покончим с армянским вопросом, только покончив с армянами». Это почти совпадает с не менее зверской формулировкой Гитлера об «окончательном решении еврейского вопроса». Недаром, вынося это «решение», Гитлер в качестве оправдывающего примера привел эту ужасающую резню армян. «Кто помнит сейчас, — сказал он, — что турки вырезали армян?»

Убийцы надеются, что у человечества короткая память.

Напрасно!

Умирают люди, но память живет.

Мы поднимаемся вверх по широкой дороге. Мы идем к вещественному доказательству непреходящей памяти человечества. Дорога замощена большими, слегка шероховатыми плитами, по этой зернистой поверхности легко ступать. Далеко внизу ущелье. На дне его течет Раздан. Через ущелье перекинут мост.

Люблю мосты! В них есть что-то отважное, победное. Вот и этот, красавец и смельчак, огромной дугой скрепил оба края ущелья. А поверху дуги с безупречной геометрической красотой идет касательная моста.

По обе стороны дороги раскинулся молодой парк. Я продолжаю подниматься по этому лесистому холму. Постепенно из-за гребня показывается край обелиска. И вот мы уже видим его целиком, во весь его сорокаметровый рост. А рядом — подобие шатра. Он образован двенадцатью огромными гранитными пилонами. Они склоняют свои вершины над бронзовой чашей, в которой горит вечный огонь. Звучит музыка, источник ее не виден, она кажется порождением самого пламени, рвущегося из бронзовой чаши, — музыка, щемящая сердце, печальная и торжественная. Если у народа было горе, всегда найдется певец этого горя. Им стал композитор Комитас.

Я выхожу из шатра, я у подножья обелиска. Всем своим устремленным в небо легким телом он как-то сразу перечеркивает настроение. В этой взлетающей игле есть мощь и радость. Уже позже я узнаю, что в этом и есть цель обелиска, ибо он — знак возрождения Армении.

Отсюда хорошо виден Ереван — город, который называют розовым, хотя он, в сущности, многоцветный, так как туф, из которого он выстроен, не только розовый, но и оранжевый, и коричневый, и сиреневый, и серый, и желтый. А горы вокруг добавляют в этот пейзаж от своей голубизны, нежной дымчатости и серебряного мерцания горных вершин.

Сад в доме Арутюна Галенца сохраняет тот же вид, какой он имел при жизни художника. Среди деревьев стоят вещи, которые он любил: большая амфора, древний камень с орнаментом, так называемый «хачкар», которому добрая тысяча лет. Из травы выглядывает скульптурная голова, как если бы ее обладатель стоял по горло в земле.

Картины Галенца быстро расходились по рукам. Он не дорожил своими работами, он легко дарил их. Написав картину, он быстро забывал о ней. Это был Моцарт в живописи. Все же некоторое количество полотен еще сохранилось в его доме благодаря заботливости Армине, его жены и ученицы. Поднявшись на второй этаж, в мастерскую покойного художника, вы можете любоваться его могучей, смелой и свободной кистью.

Когда Галенц приехал из Сирии, он был принят в Ереване, как и все репатрианты, с расprostертыми объятьями. Выставка его произведений произвела впечатление исключительное. Галенцу была присуждена высшая награда — он стал лауреатом государственной премии республики. Диплом о присуждении сейчас висит в мастерской. Галенц не успел увидеть его. Он умер на пороге своего дома. Ему было пятьдесят семь лет.

Искусство Галенца полно ума и мощи. Из каждой картины бьет свет радости. Сопоставляя контрастные цвета, он на своем языке рассказывает нам о том, как прекрасно жить, просто жить. Когда смотришь картины Галенца, повышается жизненный тонус. Заразительная сила его искусства не только в цветовой энергии его красок, но и в неопровержимо убедительной композиции. Вспомним хотя бы портрет балерины Майи Плисецкой — изображение пересекает пространство холста по диагонали, и это усиливает впечатление устремленности, почти полета.

Если портреты Галенца — раскрытие душевной сути человека, то его пейзажи, сделанные в необычайной интенсивности желтого и голубого цветов, — портреты страны.

Поначалу кажется странным и неожиданным, что у этого художника радости были, по всеобщему свидетельству, печальные глаза. Глубинную грусть во взгляде этого жизнерадостного человека замечали почти все знавшие его. Раиса Мессер называет глаза Галенца «затаенно-страдальческими». Левон Мкртчян находит в его облике «что-то праздничное и что-то трагическое». Мартирос Сергеевич Сарьян говорил о «печальных глазах» Галенца, о том, что он «в себе носил страдания целого поколения народа, пережившего 1915 год». В то же время Сарьян отмечает, что картины Галенца «захватывают свежестью, чистотой, радостью и добротой».

Как сочетались в одной душе печаль и радость?

Сарьян объясняет это тем, что Галенц «воплотил в себе жизнеутверждающий дух родного народа».

Это так, конечно. А кроме того, самое обладание талантом дает ощущение радости, рождая в художнике уверенность в своей силе и правоте. Знаменитые слова Маяковского о том, что он наступает на горло собственной песне, сами по себе мощный образ, — то есть они-то и есть та самая песня, которую невозможно задуть, ибо акт самозадушения превращается талантом художника в произведение искусства. Так свою скорбь гений Галенца переработал в радость.

Я еду в Цахкадзор. Слово это значит — Долина цветов. Я покидаю горы. Вместе с ними уходит спокойствие. Как это ни странно, но горы, эта затвердевшая смятенность земли, почему-то производят успокоительное действие. Я родился в равнинной степи и очень люблю ее. Но когда я там, я неспокоен. Ее ровная бесконечность рождает какое-то томление. Она непостижима в своей монотонности, она зовет разгадать себя, тайну своей беспредельности. Может быть, потому я и люблю степь. Она, как море, однообразна и изменчива.

А горы — это плоско. Это нечто раз навсегда данное. Не отсюда ли ощущение покоя? Или от их прочности? Прочности, говорите? А землетрясение? Но пока его нет, в него ведь не веришь, как не веришь в свою смерть.

Впрочем, когда я стоял над кратером Везувия, у меня было другое ощущение. Везувий молчал. Полупьяный итальянец в капитанской фуражке с позументом, называвший себя «комендантом Везувия», зажег газету и бросил ее в кратер. Оттуда выбухнули клубы белого дыма. Я невольно отшатнулся. Мне послышалось из темной пасти вулкана угрожающее ворчанье.

В Помпеях вспомнилось другое. Мучительство. Но не природы, а людей. Когда я увидел посреди этого уникального музея античной жизни фигуру человека, дошедшую до нас из глубины веков и скрюченную в нестерпимом страдании, я вспомнил войну, фашизм, Майданек, Освенцим. Остовы античных домов были похожи на остовы сожженных гитлеровцами домов в Орле, Гомеле, Варшаве, среди праха которой бродили мы с Гроссманом в день ее освобождения, 17 января 1945 года...

В Цахкадзоре я пошел к дому, где восемь лет назад

жил и работал Василий Семенович. Двухэтажное белое здание традиционно курортного типа. Так строили в тридцатых годах. Здесь разместился небольшой Дом творчества Союза писателей Армении. На веранде ободранный бильярд — тот самый, на котором любил играть Гроссман. Комнаты закрыты. На всем отпечаток запустения и грусти. Я внимательно вглядываюсь во все вокруг, силясь смотреть глазами Гроссмана. Да, я попробовал приобрести на время его слегка удивленный, чуть насмешливый испытующий взгляд. И — добрый. Это последнее, вероятно, труднее всего. Когда одному старику, который все время обращался к Гроссману по-армянски, заметили, что Василий Семенович не понимает, он рассердился и сказал: «Не может быть, чтобы человек с такими добрыми глазами не понимал по-армянски».

Меня уверяют, что здесь, в Цахкадзоре, ничего не переменилось с тех времен. В саду — грушевое дерево, старый граб, небольшой фонтан с водоемом, в котором плавают желтые листья осени. Под домом журчит ручей. («Ночью открываю окно, и слышно, шумит ручей...» — из письма Гроссмана к жене.) Неподалеку от дома древний храм, которому девятьсот лет. Об этом храме Василий Семенович как-то сказал Мери, дочери Р. Кочара:

— Вот так надо писать — как строили армянские зодчие: просто и чтоб внутри бог...

Мне очень хотелось повидать в Цахкадзоре безумного старика Андреаса, и кочегара Ивана, и его отца, старого молочанина, и, может быть, если удастся, испытать в разговоре с ними то высокое чувство, о котором Гроссман пишет в «Добро вам». Я отправился на их поиски. Уже нет ни Андреаса, ни Ивана, ни отца его, ни Карапет-аги, ни всех тех, с кем встречался здесь Василий Семенович. Но и те, что разбрелись кто куда, и те, что умерли, продолжают жить на страницах «Добро вам».

В Ереване Гроссман был почти одинок. Он сам свидетельствует об этом:

«Я прожил в Армении два месяца; почти половину этого срока я провел в Ереване. Я приехал в Ереван, зная писателя Мартиросяна и переводчицу Гортензию... и уехал из Еревана, будучи знаком с Мартиросяном, его семьей и переводчицей Гортензией» (так Гроссман называет А. Таронян. — Л. С.).

Почему так случилось? Мало сказать, что Василий

Семенович был человеком общительным: его жадность на новые знакомства, его страсть к познанию людей была поистине неисчерпаема. С другой стороны, общеизвестна и гостеприимная общительность армян. Что же образовало вокруг Гроссмана атмосферу одиночества? Сам он пишет об этом с ироническим разочарованием:

«А я-то полагал, что, подобно Платону, стану дарить своей беседой не только ереванских художников пера и кисти, но и ученых...»

Под этой иронией прощупывается тоска по людям. Я слышал два противоположных мнения. Кое-кто из «художников пера» убеждал меня, что Р. Кочар (он же, напоминая, Мартиросян из «Добро вам») отстранял Гроссмана в Ереване от новых знакомств. При этом Кочар окружил его всяческими заботами, дабы в этой золотой клетке ничто не отвлекало Гроссмана от работы над переводом его романа.

Иначе (и вопреки тому, что пишет сам Гроссман) говорила об этом дочь Р. Кочара, Мери, молодой востоковед, уверяя меня, что Василий Семенович сам не хотел никого видеть, сам избегал новых знакомств, сам не хотел выходить из узкого круга, очерченного Кочаром.

Я не оспариваю ни одного из этих утверждений. В каждом из них, возможно, есть своя правда. Но точно так же не подлежит сомнению и жажда Гроссмана общаться с людьми и широта его дружеских связей.

Безусловно, силовое поле, окружившее Гроссмана в Ереване, независимо от того, было ли оно возбуждено самим Гроссманом или другими, огорчало его. Он старался утешить себя, что так же одинок был здесь и Осип Мандельштам, поэзию которого Гроссман высоко ценил:

«Утешился я несколько тем, что спросил как-то у Мартиросяна о пребывании в Армении Мандельштама... Однако Мартиросян не помнил Мандельштама. Мартиросян по моей просьбе специально обзванивал некоторых поэтов старшего поколения — они не знали, что Мандельштам был в Армении. Мартиросян мне сказал, что смутно вспоминает худого носатого человека, видимо, весьма бедного: дважды Мартиросян угощал его ужином и вином; выпивши, носатый человек читал какие-то стихи, — по всем видимостям, это был Мандельштам».

Гроссману, несомненно, были известны и записки

О. Мандельштама «Путешествие в Армению» («Звезда», 1933, № 5). Одна глава там называется «Ашот Ованесьян». Я сейчас вспомнил об этом вот почему. Нынче летом стоял я с Левонем Мкртчяном в аллее одного из ереванских бульваров. Вдруг внимание мое привлек проходивший невдалеке человек. Чем? Что-то сильное и значительное было в его лице, не утратившем скульптурных очертаний, несмотря на преклонные годы. Стан его был прям, густые волосы, отброшенные назад, напоминали львиную гриву. Я подумал, не отрывая от него глаз: возраст обтесал это лицо, оно стало гороподобным. Безусловно, я видел этого человека впервые. И все же в нем было что-то до боли знакомое. Левон проследил за моим взглядом и вскричал:

— Это же академик Ованесьян! Помните, у Мандельштама?

Еще бы!

«...вошел пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой. Его Прометеева голова излучала дымчатый, пепельно-синий цвет, как сильнейшая кварцевая лампа... Черно-голубые, взбитые с выхвалю пряди его жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера».

— Познакомьте меня с ним! — взмолился я, увидев, что мой друг и академик Ованесьян разменялись поклонами.

После нескольких незначительных слов, входящих в обряд знакомства, я попросил академика с горячностью, которая, кажется, несколько его удивила, рассказать мне, что ему запомнилось о встрече с Мандельштамом.

По удивленно-вежливой улыбке академика Ованесьяна я понял, что эта встреча не запала ему в память.

Я подумал, глядя ему вслед, что разговор этот, присутствуй при нем Василий Гроссман, также принес бы ему некоторое утешение.

Прослышал я и о другом разговоре. Тоже в Ереване. О разговоре между двумя поэтами — Чаренцом и Мандельштамом. Выслушав стихи Мандельштама об Армении, Чаренц сказал:

— Понимаете ли вы, что из вас рвется книга?

Мандельштам удивился. Он и не заметил, что из него «рвется книга». Гроссману этого никто не говорил. Он сам заметил и написал жене из Еревана, что делает записи для будущей книги об Армении. Написал как-то смущенно, застенчиво. Может быть, не очень верил

в будущую книгу. Но Армения так могущественно подействовала на него, что он не мог не взяться за перо. Это случается почти с каждым писателем, там побывавшим.

Сегодня ясное небо, и уже с утра «выдавали» Арарат. Нам отпустили его не торгуясь, полностью, и Большой и Малый. Он ведь капризный. И неподкупный. Пушкинская улица прежде называлась Царской, потому что здесь останавливался царь Николай I в доме, который сохранился до сих пор. За время пребывания царя Арарат ни разу не выглянул из-за облаков. Можно было усомниться в его существовании. Так Николай и уехал, не повидав Арарата и сказав в некотором раздражении: «Но и Арарат не видел русского царя!» Как знать! Я думаю, что Арарат подсмотрел в щелочку меж облаками. Доставило ли это ему удовольствие — другой вопрос. Облака — это нечто вроде челяди Арарата. В любую минуту он может заслонить ими свою головоподобную вершину в модном седом парике. «Мне удалось увидеть служение облаков Арарату», — радостно сообщает Мандельштам, к которому Арарат отнесся благосклонно. Впрочем, Мандельштам уверял, что он «выработал в себе шестое «араратское» чувство: чувство притяжения горой». Словом, Арарат — достопримечательность Еревана, хотя он не значится в качестве таковой в путеводителях, но зато попал в герб Армянской ССР. На заре советской власти это даже вызвало протестующую ноту соседнего государства. Нарком иностранных дел Г. В. Чичерин незамедлительно ответил соседу, что вот ведь в его гербе наличествует изображение луны, которая, насколько известно, ему не принадлежит. На этом дипломатическая дискуссия закончилась.

В путеводителях есть другие полезные сведения. Например, что Ереван — ровесник Рима и Вавилона (что, впрочем, не мешает ему сохранять весьма юный вид и даже, что ни год, молодеть). Или, что из каждых ста жителей Еревана — сорок два ребенка и тринадцать стариков (остальные, по моим наблюдениям, художники). Что средняя продолжительность жизни женщин в Армении на шесть лет выше, чем у мужчин (не этим ли объясняется уверенная осанка прелестных ереванок?).

В щелях новых домов еще сохранились старые ереванские дворики, тупики, переулочки. В них есть особая южная прелесть. Такие дворики еще не вывелись

во многих городах полуденной Европы — в Венгрии, в Италии, да и у нас, в Тбилиси, например, или в Одессе, — с их наружными лестницами, тутовыми деревьями, стеклянными террасами, маленькими водоемами, с их жизнью наружу, с аппетитными запахами вареной кукурузы и дымящейся баранины, которые готовят тут же, во дворе. Всюду эти дворики исчезают, всюду их одинаковую, не очень опрятную, но все же милую уютность сметают новые высотные и тоже до ужаса одинаковые дома.

Я ехал по Армянскому нагорью в ту пору, когда на вершинах уже ложился снег. По дороге из Раздана в Ереван я увидел за обочиной стайку птиц, сидевших на щебневатой земле. Я удивился их неподвижности.

Приблизившись, я увидел, что это не птицы, а камни...

Мы, жители бесконечных ровных степей, с изумлением оглядывая вздыбленную Армению, спрашиваем: «Кто ж это навалил сюда столько камня!» Ничего, кроме камней и овец, пасущихся среди них. Вот и сейчас я вижу вдали, под горой, серую курчавую отару. Леонид Гурунц в своем отличном романе «Наш милый Шушикенд» уверяет, что овца — единственное животное, которое не узнает человека. Гурунц знает, он был пастухом.

Приблизившись, я увидел, что это не овцы, а камни...

Нет, больше вы меня не обманете, раздосадованно подумал я, обращаясь к камням, нет, нет, это не туши уснувших слонов, это туго обтянутые низкой изжелтасерой травой камни. Нет, нет, вы меня не проведете, это не суслики, приподнявшиеся у своих норок на задние лапки и с любопытством озирающие окрестность, — это нахохлившиеся камни. Ничего, кроме камня и колючих кустарников — барбариса, боярышника, шиповника. Становится скучно среди этой каменистой безжизненности! Слава те господи, наконец люди! Видимо, там идет общее собрание колхозников, — может быть, митинг по случаю сдачи урожая.

Приблизившись, я увидел, что это не люди, а камни...

И я сдался.

Камни оказались племенем, они подбирались к самому автомобилю, то рассыпались, то вновь собирались в толпы и что-то орали... Да, орали! Это слышал и Ман-

дельштам, он писал: «орущих камней государство». И Амо Сагян: «Мне в колыбели камни пели». Это о них было сказано: камни заговорили. О чем? О чем наконец заговорили камни?

Я остановил машину, вышел. Я стоял среди камней. Вслушивался в их молчаливый гул. Да, они говорили то громом обвалов, то скороговоркой перекатывающейся гальки, то шорохом песка под ногами, то окриками катящихся с гор валунов. Но кроме слов: «Я не могу молчать!» — я ничего не мог разобрать.

Когда мы вернулись в Ереван, я с облегчением вздохнул. Признаться, я устал от камней. Здесь они тоже есть, но прирученные, обтесанные, уложенные в дома, умеющие себя вести. Только в одном месте я увидел в основании дома глыбы дикого камня, как будто дом своей тяжестью выдавливал их из-под себя.

Это я видел на улице Барекаунтян, что означает дружба.

Прежде чем достигнуть знаменитого озера, мы проезжаем городок того же имени: Севан — смесь села, курорта и археологических раскопок. Одноэтажные глинобитные домики, современный отель, древности легендарного царства Урарту. Но вот и она, необъятная чаша, налитая голубизной. Мы едем по бывшему дну озера. Высоко на горе — белые столбики заброшенной дороги. Там двадцать лет назад был берег озера. Здесь много «бывшего», — например, остров, где стоит храм; за те же двадцать лет остров превратился в полуостров, ибо уровень воды в Севане снизился на семнадцать метров. Сейчас пробивают сквозь горы пятидесятикилометровый тоннель, по которому воды реки Арпы волются в Севан. Правда, прежнего не вернешь, полуостров не станет островом, уровень воды не подымется, но хоть по крайней мере перестанет снижаться.

За Севаном синеют Арегунийские горы. Их замечаешь не сразу, они — цвета неба, а значит и озера. В недрах одной из гор — она называется Зод — нашли золото. Какая богатая гора и какая богатая аллитерация!

Облака медленно покидают небо и садятся на горы. Они ползут все ниже и ниже. Вот они уже у подножья. И я увидел удивительное зрелище: облака коснулись озера и поплыли по нему. Теперь их называют туманом и уже забыли об их небесном происхождении. Но я готов

поклесться, что этот туман над озером не что иное, как облака, которые спарашютировали на вершины гор, оттуда сошли на воду и, похожие то на верблюда, то на замок, а то и на человека, зашагали по ней, как по тверди.

Озеро Севан, как это ни странно, не порадовало Гроссмана. Описание его в «Добро вам» отличается холодностью. Он и сам признается в этом: «Севан — одно из красивейших мест на земле». Но «...встреча с Севаном не вышла, не запала мне в душу». Почему? Зря Гроссман валит это то на свою пресыщенность изображениями Севана в искусстве, то на пресыщенность в первоначальном, самом прямом смысле этого слова, то есть на чревоугодие, на пиршество, которое развернуло перед ним армянское гостеприимство. Конечно, Василий Семенович не обращался в паническое бегство при виде рюмки водки, а тем более коньяка. И точность восприятия отнюдь не изменила ему на Севане. Все дело в душевной горечи, которая в последние годы жизни Гроссмана в общем не отпускала его. Он был тяжело болен и, возможно, догадывался об этом.

Василий Гроссман писал «Добро вам» с предельной искренностью, с самоотверженной отдачей душевных сил.

Средневековый армянский поэт, гениальный Нарекаци писал:

Не дай испытать мне муки родов и не родить.
Скорбеть и не плакать,
Мыслить и не стенать.
Покрыться тучами — и не пролиться дождем,
Идти и не дойти...

«Добро вам» впервые появилось в ереванском журнале «Литературная Армения» в 1965 году.

Не без волнения входил я в дом-музей Мартироса Сергеевича Сарьяна. Трехэтажный стеклянный цилиндр. Внутри его штопором взвизгивает лестница. Достигаем третьего этажа, отсюда начинается осмотр. Самого художника мы надеемся увидеть внизу, на первом этаже. Пожар сарьяновских красок пылает на всех этажах. Сарьян — художник солнца. Не только по огненному накалу своих красок, но и по всей своей ликующей сути. Не только в пейзажах, но и в портретах. Мне

ж почему-то дороже всего сарьяновская Анна Ахматова. Не широко известный живописный портрет, а сравнительно мало известный рисунок карандашом. В нем вся Анна Андреевна, ее душевное мужество, ее ум, ее горделивая скромность, ее высокое человеческое достоинство, ее поэтическое величие.

Как старых знакомых встречаем мы подлинники работ, известных по репродукциям, — автопортрет «Три возраста» и тройной портрет Лусик Сарьян. Необыкновенная смелость художника заключается в том, что в этих портретах он выводит живопись из границ пространства и сообщает ей протяженность во времени, как если бы она была не изобразительным искусством, а музыкой или литературой.

Внизу нас попросили немножко подождать. Мартироса Сергеевича пока донимали иностранные поклонники. Мы хотели удалиться, но нас, по просьбе художника, задержали.

Первое впечатление: Сарьян, несмотря на усталость от конвейера гостей, во всеоружии своих духовных сил. Гладко выбритое лицо его, иссеченное морщинами, светится добротой, умом и благожелательностью, слегка присоленной небольшой долей добродушного лукавства. Читает без очков. Мне приятно, что он нам это продемонстрировал на моей книге. Главным образом — на иллюстрациях к ней. Он одобрил их мастерство, а преувеличенная их условность не вызвала у него возражений. Это обрадовало мою спутницу. Сарьян посмотрел на нее, в глазах его, удивительно живых, мелькнула ирония, и он сказал:

— Вообще я про все говорю хорошо, потому что если что плохо, то зачем говорить об этом? Не поможешь...

Это уже целая философия примиренности. Я молчал. Я почему-то чувствовал себя в его обществе мальчишкой. А он, не отводя глаз от моей спутницы, вдруг спросил:

— Простите, вы по профессии не врач ли?

— Нет... — удивилась она. — А почему вы так подумали?

— Потому, — сказал он задумчиво, — что у вас взгляд полезный.

Он повторил настойчиво:

— Есть люди, у которых вредный взгляд, а у вас полезный.

Потом мы говорили о русских художниках. Он вспомнил своих учителей — Серова и Коровина.

Я хотел было сказать, что нахожу в нем больше Серова, чем Коровина. Но не решился.

Почему я чувствовал себя в его обществе таким мальчишкой? В конце концов, нас разделяют всего шестнадцать лет. Все дело, по-видимому, в возрасте. Если бы я встретился с Мартиросом Сергеевичем посредине жизни, между нами, конечно, лежали бы все те же шестнадцать лет. Но какая огромная качественная разница! Сорокалетний и пятидесятишестилетний в общем ровесники. И совсем другое дело — соотношение 73—89, здесь такая же пропасть, как между десятилетним и двадцатилетним. Иной уровень сознания. Отставая в детстве, мы нагоняем старших в зрелости и снова отстаем от них в старости.

Так, глядя на Сарьяна и слушая его речь, я видел перед собой великий покой мудрости, которой так недостает моей мечущейся, сумбурной семидесятитрехлетней молодости!

В маленькой мастерской Рубена Адаляна пахло свежим деревом. Куда ни помотришь, холсты в новеньких, только что сработанных рамах или просто пустые рамы, так сказать форма без содержания. Рубен (молодой, невысокий, ладно сложенный, молчаливый и быстрый, в спецовке — рабочий, а наряди его в кольчугу и латы — рыцарь) подтвердил, что уже два месяца он не работает как художник, а только делает рамы, чтобы в пристойном виде показать свои картины какой-то высокой комиссии. Строит рамы, конечно, сам, своими рабочими руками художника.

Я люблю этот момент, когда художник начинает поворачивать картины лицом к зрителю. Долго молча стояли они, рядами прислоненные к стене, обратив к вам свою серую холщовую изнанку. Но вот художник повернул их, и они заговорили, закричали, запели, застонали или принялись уговаривать вас длинной и не всегда убедительной речью.

Я прежде всего потребовал, чтобы Адалян показал мне своего «Кюня». Я знал его только по репродукциям. Тогда он очень понравился мне своей мощью, экспрессией движения, разрывающего неподвижность картины, удивительным соединением фантастичности и жизнен-

ности. Словом, я жаждал увидеть подлинник его в настоящих размерах, а главное — в цвете. Не вышло! В мастерской «Коня» не было. Художник показал мне одноцветную копию и только добавил, что в картине преобладает гамма пожара — красные, желтые, пламенные тона.

Зато я увидел в подлиннике «Быка», который прежде тоже остро заинтересовал меня в воспроизведении. Несомненно, это одна из сильнейших работ Адаляна. Картина проста. Бык, маленький, но мощный, стоит, угрожающе нагнув свою могучую шею, против огромного, не помещающегося в раме, мучительно однообразного здания, уходящего куда-то в бесконечность своими бездушными стандартными колоннами. Пусть говорят, что это символично, что это экспрессионизм, что это «фигуративная абстракция» и т. п. Не знаю и не хочу пускаться в искусствоведческий спор и перебрасываться специальной терминологией. Для меня бесспорно, что созерцание этой картины рождает много ассоциаций — о противостоянии природы и цивилизации, порядка и стихийности, свободы личности и бюрократического равнодушия. Показал Адалян также и свою «Хиросиму». Непонятно, почему эта яркая вещь не была принята в Москве на выставку. И в Ереване она попала на выставку не без труда, а в конце концов получила премию. Работа, безусловно, интересная, хотя должен сказать, что после того, как я видел на площади в Роттердаме знаменитую скульптуру Цадкина «Истерзанный город», все другие вещи этого плана мне кажутся вариантами цадкинского решения темы.

Адалян самый не армянский художник из всех, кого я здесь видел. Конечно, и в нем сильно национальное начало. Но в целом в его работе есть оттенок отказа, даже протеста против канонизирования примет Армении — солнечности, каменистости, охристо-желтоватой розоватости и т. п.

А потом пошли и вовсе непривычные вещи. Они шли сериями. Серия аппликаций. Серия словно бы городов. Серия словно бы рукописей. Слово бы горных обвалов. На голубом фоне сложный зигзаг, который я мысленно назвал «Приключения линии». Другой зигзаг — черный, который я, на этот раз вслух, назвал: «Черная молния» — и был удовлетворен, услышав, что картина так и называется.

Было много неожиданного. Щедрый художник!

Очень широкий. Очень искусный, иногда напоминающий изобретателя. А иногда я вспоминал замечательные слова Ованеса Туманяна: «Когда говорят, здесь есть вино, вы понимаете, что оно в сосуде. Но если скажут: здесь есть сосуд,— это ведь не означает, что в нем есть вино».

Уже уходя, в углу мастерской я заметил небольшую картину, до того не похожую по манере на работы Адаляна, что я принял ее за работу какого-то другого художника. Нет, это был Адалян, вполне реалистический портрет женщины, написанный рукой мастера в строго классическом стиле.

Когда великий Сарьян увидел эту картину, он сказал Адаляну:

— Ну, раз вы и так умеете, то вы вольны делать в искусстве все, что хотите...

Путешествуя по Армении, я в конце концов сказал себе: «Углубимся в историю, но не позволим ей овладеть нами». В Армении столько древностей, что возраст их постепенно перестает поражать воображение. Начинает казаться совершенно естественным, что Эчмиадзинский храм воздвигнут в 301 году. Ну и что ж, Арарат еще древней.

В Сардарабад нас влечет памятник. Нет, не древний. Совсем новый. Даже как будто еще не законченный. Однако если мы решили не позволить истории овладеть нами, то попробуем сами овладеть ею. Придя к этому благоразумному решению, я не смог выполнить его. Не существует ни одного описания Сардарабадской битвы. Героический подвиг армянского народа, совершенный не в темных глубинах средневековья, а пятьдесят лет назад, запечатлен не на бумаге, а в камне, не историками и поэтами, а ваятелями и зодчими. То немногое, что мне стало известно о Сардарабадской битве, я узнал из устных рассказов.

Араратская долина, через которую мы едем в Сардарабад,— это совсем другая Армения, не похожая на ту, что мы видели до сих пор. Огромная плоская равнина. Вся гористость стянулась в одно место: Большой Арарат неотступно сопутствует нам, шествуя по горизонту в сопровождении своего адъютанта — Малого Арарата, от которого его отделяет Сардар-булакская седловина.

Плодовые сады, распаханное поля, виноградники... Эта страна Ноя густо населена. Села почти смыкаются друг с другом. Дома из розового туфа, покрытые шифером. Много легковушек, мотоциклов. Тягачи влекут на парфюмерные фабрики грузовики, набитые геранью. Иногда попадаются белые солончаки, и рядом с яблонями и гранатами соседствуют тамариски и верблюжья колючка.

Сардарабад заявляет о себе издали грандиозными воротами, составленными из двух колоссальных быков, протянувших друг к другу массивные головы на мощных шеях. Они символизируют силу армянского народа, отразившего в 1918 году на этом холме нападение турецких орд. Против 53-тысячного войска интервентов бросились в бой 17 тысяч армян и русских. Из них 10 тысяч — солдаты бывшей царской армии, остальные — добровольцы из гражданского населения. Память о резне 1915 года была совсем свежа. В Эривани началась паника. Армянские бойцы стояли насмерть. Среди них было пятьсот священников-смертников в белых саванах, с крестом в одной руке и мечом в другой.

Защитники отбили натиск турецких интервентов и обратили их в бегство. Особенно отличился 5-й полк. В его честь на холме воздвигнуты пять огромных пирамид из красного туфа, увенчанных орлиными головами.

Покинув Сардарабадский холм, мы долго еще, оглядываясь, видели гигантских быков, и высокую звонницу с памятными колоколами, и полукруглую стену с барельефами, изображающими боевые эпизоды, и эту пятерку красных орлов, которые словно поводили своими царственными головами, провожая нас.

Но вот снова Араратская долина, и мы катим вдаль по дороге, обсаженной золотыми тополями.

Странствую — значит, живу.

1970

КАРМЕЛИНА

Конечно, после того как венецианские лодчонки, и рыбаки в неаполитанском порту, и лоточницы с площади Сан-Лоренцо во Флоренции, узнав, что мы — русские, воспылали к нам дружелюбием, меня не удивила та

простосердечная радость, с какой нас принимала у себя Кармелина.

Собственно, честь открытия Кармелины принадлежит не мне, а моей жене. Она не захотела поехать со мной во всемирную приманку туристов — Лазурный грот: море было в то утро не очень спокойное.

Итак, в то время как я, опустив руку за борт лодки, преспускал сквозь пальцы волшебную бирюзовую воду, Софа бродила по путаным улочкам Капри, наслаждаясь полным отсутствием автомобилей. Этот остров для них запретная зона. Да, впрочем, они и сами сюда не сунутся: им не развернуться в тесных каменистых ущельях, именуемых здесь улицами, а иногда даже и площадями.

Софа шла, то поднимаясь, то спускаясь по древним ступеням, соединяющим ярусы городка. Иногда, чтобы пропустить ослика с поклажей, она прижималась к каменному барьеру, нагретому солнцем и ограждавшему крутой склон, обсаженный виноградником. Но тут же отшатывалась, когда из трещины выскальзывала ящерица и, игриво взмахнув чешуйчатым хвостом, ныряла обратно в прохладную скважину. Софа шла мимо лавчонок с плоскими белыми крышами, мимо агав, тянувших к ней свои мясистые листья. Когда солнце, назойливое, как муха, уж слишком досаждало ей, она становилась в тени апельсиновых деревьев, аккуратно обмазанных внизу известкой, словно натянувших на ноги щегольские белые гетры.

Иногда Капри вдруг чем-то напоминал ей приморскую окраину Одессы — Большой Фонтан. Чем? Я думаю, каменистостью, уступчатостью сбегających к морю откосов, обилием глухих оград, поверх которых лезет вьющаяся «Изабелла», гроздь акаций и алюминиевые кроны олив, — словом, не туристской витринной нарядностью, а своей коренной рыбацкой и виноградарской сутью.

Тут-то и произошло знакомство с Кармелиной. Заурядный домишко. Но дверь необыкновенная: на ней висели картины, как бы выставленные для всеобщего обозрения. Софа рассматривала их с удивлением. Они были написаны так, как если бы художник вознесся с кистью и мольбертом в воздух и оттуда наблюдал землю. Одна картина изображала Капри весь, целиком, окруженный морем глубокого синего цвета. Другая —

крохотную каприйскую площадь короля Умберто I, которую все попросту называли Пьяцца. Казалось, картины сделаны ребенком, так они непосредственны и просты. Краски скупые, но сильные, и всюду огромное безоблачное небо.

Так она стояла и смотрела. Вдруг дверь открылась — и на мгновение стали видны стены, сплошь увешанные картинами. Вышла женщина, крупная, широколицая, лет сорока, в темном платье, совсем не элегантная, простонародная, даже какая-то старомодная. Это и была синьора Челентано, гораздо более известная — сейчас уже далеко за пределами Капри — просто под своим именем: Кармелина. Обе женщины быстро сошлись, несмотря на отсутствие общего языка, благодаря способности Софы мгновенно располагать к себе людей. Впрочем, нашлась и переводчица. Это была Анна-Мария Ромео. Когда Софа пообещала привести на следующий день меня, Анна-Мария Ромео оживилась и сказала:

— А ты не ревнивая? Я ведь очень люблю флирт.

Ах, как Анна-Мария готовилась к встрече со мной! Насурмила брови, подмазала губы, навела румянец на щеки. Она очень кокетлива. Этот вызывающий смешок! Эти зажигательные взгляды! И если ее нельзя назвать классической красавицей, то в каком-то смысле она героиня: ведь ей девяносто два года...

Много лет назад Анна-Мария была танцовщицей и выступала в Киеве. Это было на заре века. Я не стремился уточнить, на каких подмостках блистала она. По некоторым признакам я догадывался, что это не была академическая сцена Оперного театра. В ту пору существовали так называемые «кафешантаны», по-русски сказать — «поющие кафе», попросту помесь эстрады и ресторана. Там, разумеется, не только пели, а и танцевали. Польша поставляла в эти веселые заведения самых грациозных и элегантных хореографисток. Среди них была и Анна-Мария. Она тогда еще не была Ромео. Эта фамилия принадлежала стареющему итальянскому дипломату, возглавлявшему королевское консульство в Киеве. Он влюбился в Анну-Марию и женился на ней. Когда разразилась первая мировая война, супругам Ромео пришлось покинуть Россию, ибо Италия воевала на стороне Германии. Ромео был каприец

и увез жену к себе на родину, где благополучно и умер.

И вот передо мной Анна-Мария. Эпоха войн и революций не смогла вытравить из нее резвых ужимок кафешантанной дивы. Она порывисто хватала меня своей иссохшей ручкой, она жеманилась, и во взгляде ее слезящихся глазок было что-то манящее, обещающее. Это было забавно и немножко страшно. Однако в тот момент меня больше всего интересовали работы Кармелины.

Действительно, на одной из картин уместился весь Капри, маленький, скалистый, со своей знаменитой Пьяццой, и с утесом Тиберия, и с длинными пирсами, которые, как языки, высунулись далеко вперед и лизут смарагдово-синее Тирренское море. При этом тело острова выступает из волн, как крутая холка какого-то мощного зверя. Я вспомнил, что название его произошло от греческого слова «капрос», что означает кабан. Стало быть, изящное слово «Капри» — это, в сущности, Кабаний остров.

Другая картина — Пьяцца — в том же ракурсе. Треугольная композиция. Вершина треугольника задана природой: островерхая скала Тиберия. От нее два катета: левый — один из домов, окаймляющих Пьяццу, правый — собор святого Антония. Гипотенуза — нижний край картины. Все строго, очень похоже: тут и ночной клуб, и муниципалитет, и кафе, и полицейское управление, и магазины. И в то же время — наивно и нежно. И, конечно, фон — море, неподражаемая синева Неаполитанского залива. Никаких традиций, никакой преемственности, никакого подражания, ни даже влияния. Это совершенно самостоятельно, как Пиросмани, как Руссо. А ведь за спиной Кармелины страна, набитая мировыми шедеврами!

Еще когда мы только проезжали через Кампанью, приближаясь к Неаполю, внимание мое привлекли пейзажи на горизонте, отчетливо видные сквозь прозрачную дымку пространства. Пейзажи эти поразили меня сходством с традиционным фоном многих прославленных картин Ренессанса: волнообразные холмы, пинии и эта нежная дымка на горизонте. Я считал это чисто условной манерой, принятой в то время. Но там, в Кампаньи, я увидел, что то, что мне чудилось своего рода эстетическим этикетом, уклониться от которого художнику было

бы неудобно, на самом деле вполне реалистическое изображение природы Италии.

Я спросил Кармелину, нет ли среди ее картин Лазурного грота. Она презрительно пожала плечами и сказала, что малевать красивенькие пейзажики не в ее характере.

Вся солнечность мира, преломившись в текучей призме моря, входит в пещеру сказочно голубой. Но Кармелина не знала, что меня поразили не столько чары Лазурного грота, сколько орава лодочников, плясавших в своих скорлупках перед входом в прославленный грот. Он настолько узок, что проскользнуть в него может только маленькая лодка. Так образовался этот странный промысел. Они гарцуют тут, на волнах, с утра до вечера. Когда подходит катер с туристами, они слетаются к нему, как воробьи на корку хлеба, отпихивают друг друга, переругиваются, даже замахиваются веслами. Мы достались старику в линялой, заплатах блузе. Да и весь он был какой-то общипанный и до того жалкий, что мы тут же насовали ему в карман лир. Он пришел в совершенный восторг и в благодарность запел старческим, дребезжащим голосом старинную серенаду «О мой Сорренто!». Он топорщился при этом, вертел головкой и хрипло щебетал, еще больше в эту минуту похожий на изголодавшегося воробья. Остальные смотрели нам вслед, качаясь в своих лодчонках у входа в волшебную лазоревую пещеру.

Мне казалось, что такой образ Голубого грота вполне в духе работ Кармелины. Но моих познаний в итальянском языке не хватило, чтобы объяснить ей это. Не сумела втолковать это Кармелине и Анна-Мария Ромео на своей фантастической смеси из итальянского, русского и польского языков.

Кое-как мы разобрались, в том, откуда пошло искусство Кармелины. Они жили вчетвером в чужом сарае — она с мужем и двое ребят. Кармелина зарабатывала на жизнь стиркой, муж батрачил в садах. У нее была неотступная мечта: собственный домик. Пусть маленький, слеplенный из известняковых глыб, каменное ласточкино гнездо, но — свое, собственное. Однажды заболел Паскуале, ее мальчик. Во время болезни у него появился странный каприз: он требовал, чтобы мать купила картинку и развесила их над его кроватью. А денег в обрез. И однажды ночью, когда Паскуале уснул, Кармелина начала сама рисовать картинку, используя цветные ка-

рандаши и детский набор красок, которые она нашла среди игрушек сына. Когда мальчик проснулся и увидел картинки, он пришел в восторг. Это был подвиг материнской любви. Но не только. В эту ночь родился художник. Паскуале выздоровел, но Кармелина продолжала рисовать. Она стеснялась этой внезапно нахлынувшей на нее страсти изображать мир в красках. Соседи посмеивались над ней. Но она не в силах была отстать от этого. У нее был один поклонник: Паскуале. Он развесил мамины картины на дверях сарая. Кто-то прошел, заметил, восхитился. О картинах Кармелины заговорили. Нашелся меценат. И Кармелина стала «каприйским феноменом», как окрестила ее газета «Ла воче ди Наполи». Сама Кармелина говорит, что ее картины — «это искусство Провидения, которое использует мою руку, чтобы давать людям радость». Работы ее пошли за рубеж, даже за океан. Во время выставки работ Кармелины в Париже одна французская газета писала: «Кармелина подарила Парижу улыбку Капри». И постепенно, картина за картиной, камень за камнем, исполнилась мечта ее жизни — она переселилась в собственный дом. Она, правда, не очень респектабельная, эта каменная лачуга из трех комнат. Зато — собственная.

Во время этого рассказа прибежал, запыхавшись, муж Кармелины. Он спешил, боялся, что московские гости уйдут. Он не успел переодеться и остался в заношенной спецовке, со следами земли на башмаках и руках. Он радостно приветствовал нас, просил называть его Джованни и торжественно поставил на стол, рядом с принесенной нами «столичной», большую бутылку с вином. Вино это особое, из виноделия его зятя, не розовое, которым славится Капри, а темно-красное, почти черное, нежное и коварное, пьянящее незаметно и вдохновляюще.

Джованни оказался человеком радостным, открытым, таким же, как его жена. Он рассказал нам о себе все. Да, он не скрыл, что у него две профессии. Дело в том, что на Капри тесновато. Не хватает места не только живым, но и мертвым. А ведь растет население и то, и другое. Поэтому здесь хоронят в землю только на время. Загробная командировка в могилу длится семь лет. После этого покойника просят удалиться. А так как он сам уже не может этого сделать, ему помогает Джованни. Останки переселяют в стены, специально для этого возведенные, там их замуровывают.

Некоторое время за нашим столом не было слышно ничего, кроме приветственных тостов, звона стаканов и хруста раскусываемых огурцов, которые принес Джованни, ибо он не только могильщик, но и огородник. Итальянская пылкость и сознание, что мы сегодня расстаемся, разжигали костер нашей дружбы.

Пришли и ребята. Дочка, в противоположность матери, тоненькая, современных спортивных очертаний, замкнутая, изучающая английский язык и мечтающая сменить захолустный Капри на Рим или в крайнем случае — Милан.

Пришел и сын, тот самый Паскуале, каприз которого разбудил в матери талант и рвение художника. Это высокий худой парень. Черные нечесанные космы падают на лоб рассчитанными прядями. Черты лица крупные и мягкие, как у матери. Наша «столичная» имела у него такой стремительный успех, что отец отнял у него бутылку, сказав назидательно:

— Тебе петь сегодня.

Паскуале — шансонье. Он выступает в ночном клубе «Каприйский клан». Он подарил нам ноты своей песни «Мечта о любви». Слова и музыка Паскуале. Это томные, надрывные вопли о неразделенной любви, находящиеся в некотором противоречии с краснощекой, жизнерадостной физиономией певца. На Капри его уже знают, ноты выходят с его портретом. Мать гордится этим. Сам же Паскуале мечтает о славе всемирно известных «идолов», вроде Азнавура или Монтана, и ставит ни во что свою работу на подмостках, как он сам выражается, «самого провинциального кабака очень провинциального города довольно провинциальной страны».

Есть еще один член семьи, так сказать, неофициальный: Анна-Мария Ромео. Она говорит без умолку: то переводит энергично, хоть и не всегда успешно, то рассказывает о себе, не забывая в то же время распространять свои женские чары уже не только на меня, но и на Джованни и на Паскуале. Кармелину это приводит в восторг. Она смотрит на Анну-Марию с умилением, как на шаловливое, но прелестное дитя, и подмигивает нам, как бы говоря: «Какова! А?» Анна-Мария называет Кармелину, которая моложе ее лет на пятьдесят, «мама». Причина тут простая: Анну-Марию подкармливают в этом добром доме. Вообще-то она на иждивении монахинь из соседнего монастыря. Но милосердный паек

сестер кармелиток не очень-то густ. И вообще Анна-Мария терпеть их не может. Всему ее легкомысленному, ветреному существу претит молчаливая угрюмость божьего дома.

— Ничего, ничего, когда я разбогатею...— говорит Анна-Мария.

Она не заканчивает фразы. Наступает многозначительное молчание. Мы недоумеваем. Кармелина и Анна-Мария обмениваются взглядами. Повинуясь им, Кармелина подходит к комоду, выдвигает ящик и откуда-то из-под груды белья извлекает пачку бумаг, бережно завернутых в холстину.

Бумаги вручаются нам. Все столпились вокруг. Быть может, много лет ждали, когда же в эту каменную лачугу на гористой улочке маленького острова в Средиземном море забредет случайный путник из далекой России. И вот сегодня это чудо случилось.

Я разворачиваю большие листы. Плотные, зеленые, украшенные печатями и царскими вензелями, они брешат, как жестяные. Все же я листаю их осторожно, ибо они крошатся на сгибах, полуистлевших от времени. Действительно, текст русский. Из него явствует, что в 1901 году проживающий в городе Киеве господин Габриэль-Данте-Ромео застраховал в акционерном обществе «Саламандра» свою жизнь в пользу своей жены Анны-Марии в сумме 3000 рублей (прописью: три тысячи), в подтверждение чего ему выдан означенный страховой полис.

Я подымаю голову от бумаг. Все выжидающе смотрят на меня. Кармелина снова подмигивает нам, кивая в сторону Анны-Марии, как бы говоря: «Какова! А? Оказывается, она еще и богачка, наша красавица Анна-Мария!»

Я молча возвращаю документы. Вид у меня при этом приличествующий моменту — торжественно-скорбный, — такой, вероятно, как у Джованни, когда он переносит очередного покойника из земли в стену. Всем становится все понятно без слов. Джованни разочарованно вздыхает, принимает у меня семейную драгоценность и замуровывает ее в ящик с бельем. Анна-Мария робко взглядывает на Кармелину. Та ей ободряюще улыбается. Я понимаю, что она-то давно считает эту страховую реликвию не более чем игрушкой своей любимой девятиностодвухлетней девочки.

Мы прощаемся. Поцелуй. Обещания не забывать.

Писать. Прислать на Рождество картину. Может быть, приехать.

В конце переулочка мы оглядываемся и машем рукой. Кармелина еще стоит у порога, крупная, мясистая, не модная и в то же время какая-то детски-нежная, сама похожая — в рамке дверей — на картину своей доброй кисти.

1972

БЕЗУМНЫЙ ДРУГ ШЕКСПИРА

У мальчика был поклонник: отец.

Старичок Мочалов собирал вокруг себя детей: Павлушу, Васю, Платошу и Машу.

Он внимательно оглядывал ребят. От него пахло вином.

— Вы дети раба,— говорил он своим звучным и глубоким голосом трагика,— слышите? Вам нет другого пути, кроме сцены. Вы дети вольноотпущенника. В актеры! Все — в актеры!

Дети плакали. Один Павлуша оставался невозмутимым. Отец с восхищением смотрел на его тонкое твердое лицо.

Внезапным движением Степан Федорович привлекал Павлушу к себе на колени. Запах вина вызывал на подвижном лице мальчика гримасу отвращения. Она была необычайно выразительна.

— Так, так,— говорил отец, наблюдая мальчика,— опусти углы рта, наморщи лоб, напряги ноздри. Вообрази, что я труп, что я разлагаюсь. Превосходно! Ты будешь великим трагедистом. Жаль, фигурой не вышел. Авось выровняешься. Смотри!

Актер вынимал из кармана сюртука бумагу. На ней значилось: «Список людям, составляющим Московский театр».

— Читай!

Мальчик читал благозвучным голосом, самым тембром его сообщая благородство заурядным словам:

«На службу дирекции С. Ф. Мочалов вступил 15 марта 1806 года; был дворовым человеком тайного советника, действительного камергера и командора Николая Никитича Демидова; записан по пятой ревизии Московской губернии, Богородского уезда, при селе Сергиевском, отпущен вечно на волю...»

— Вечно! — прерывал его Степан Федорович, поднял руку пластическим жестом Роберта из славной трагедии «Разбойники».

Взгляд Мочалова падал на часы. Он вскакивал, накидывал плащ и бежал в театр, где в тот вечер давали «Семейство Старичковых» с ним самим в главной роли.

В уборной Степан Федорович быстро влазил в дражный царский кафтан и наносил грим резкими и грубыми штрихами. Он не придавал значения внешности. Он и роль свою знал нетвердо. Он надеялся на внезапный шквал вдохновения, который вынесет его на вершину успеха.

Выйдя на сцену, Мочалов вяло бормотал роль. Он ждал сильного места. Оно пришло. Он взмахнул руками и ринулся к рампе. Он изогнулся и стал шептать, путая слова, но шепотом свистящим и страстным, как бы идущим от сердца. Райку это понравилось. Захлопали.

Степан Федорович облегченно вздохнул. Прием подействовал. Когда-то этот страстный шепот не был приемом, а родился неожиданно в порыве воодушевления. Заметив, что в этом месте аплодируют, Мочалов стал повторять прием уже без всякого чувства и часто невпопад.

В антракте театралы собрались вокруг Жихарева, известного московского плута, взяточника и тонкого ценителя театра.

— Ну, каков Мочалов? — спросил Кokoшкин.

Жихарев пожал плечами. Его хитрое щекастое лицо с крючковатым носом приняло безразличное выражение.

— Что же, — сказал он, — малый видный, играет везде и нигде по крайней мере не портит.

— Мельница, — сказал Щеголин, изредка помещавший рецензии в «Драматическом журнале», — между большими монологами не делает пауз. Есть хорошие моменты, но нет никакого усердия в обработке роли.

— Но талантлив ли? — тревожно спрашивал Кokoшкин.

— Талант проглядывает, — сказал Аксаков, — но искусства, искусства мало!

— К тому же, — добавил Щеголин, — закрикивается. Выражая ужас, разевает ужасно рот и роет землю каблучками.

— Поверите ли, — жалобно сказал директор Майков, — для приобретения вольности в обращении и навыков к аристократическим манерам я заставлял его

прислуживать на своих балах и званых обедах с тарелками в руках за стульями почетнейших гостей. Ничего не перенимает!

И огорченный директор поклялся, что сделает Мочалову серьезный реприманд.

Он не успел.

Через несколько дней после этого разговора Наполеон занял Москву.

Степан Мочалов нагрузил две телеги семьей и скарбом и поехал в Костромскую губернию.

Дорога была утомительна. Посоветовавшись с женой, Степан Федорович решил попросить гостеприимства в подмосковной князя Долгорукова, известного покровителя изящных искусств.

Мочалова к князю не допустили, сказав, что он занят: сочиняет. О князе было известно, что он пишет подробнейший дневник, намереваясь в нем запечатлеть все значительные события века. Многие в разговоре с князем пыжились и умничали, надеясь попасть в его мемуары.

Мочалов подался в соседнюю деревню и приискал себе здесь квартиру.

А вечером к нему ворвалась шумная компания: приказчик, поп и староста. Ругаясь, они потребовали, чтобы Мочалов немедленно съехал с квартиры.

— Ты утаил, что ты актер! — кричал приказчик. — Сейчас же съезжай, дабы бог не покарал всю деревню за прием лицедея в свои ограды.

Степан Федорович, возмущившись, побежал к князю жаловаться.

Князь, томно улыбаясь, выслушал его и дозволил остаться до утра. Затем он проследовал к себе в кабинет и принялся вписывать в дневник впечатления дня. «Мочалов, — писал он, — трагически вопиял против невежества». На рукописи стояло заглавие: «Капище моего сердца».

Наутро Мочалов с семьей уехал, надеясь в Ярославле догнать труппу...

Чудесная перемена произошла со Степаном Федоровичем, когда в 1813 году он вернулся в освобожденную Москву.

Кокошкин обегал знакомых и сообщал своим сенсационным шепотком:

— Вы не узнаёте Степана Мочалова! Вы оставили его в двенадцатом году весьма плохим актером. Но у него

вдруг прорезался талант, и он сделался любимцем публики.

Аксаков не поверил и решил посмотреть Мочалова в пьесе «Гваделупский житель».

После первого акта он воскликнул:

— Да это чудо превращения!

Журнал «Аглая» поместил статью под названием «Господин Мочалов». Там было сказано:

«Он чувствует каждое слово, обдумывает каждое положение, увлекается происшествием и увлекает за собой зрителей в область правдоподобия, которая становится его областью».

Один Жихарев брезгливо морщил свое плутовское лицо и говорил:

— Прерывистая дикция... Ни одного стиха не произносит без того, чтобы не перевести дыхание...

Мочалова поздравили с успехом в печати, но он равнодушно ответил:

— Я не читал. Мы, актеры, ничего не читаем. Засорение головы...

И действительно, он не читал ничего. Эта закваска невежества надолго осталась в русском актерстве. Они водились своей компанией, чурались образованных людей, полагали силу артиста в «нутре», то есть в необъяснимом приливе вдохновения.

Эти черты Степан Федорович усердно прививал и любимому сыну своему Павлуше.

Он был уверен в актерской гениальности сына.

Однако в одном из свойственных ему припадков непоследовательности Степан Федорович вдруг определил сына в университет и почему-то на математический факультет. Математика представлялась Степану Федоровичу по полной своей непонятности для него вершиной наук.

И сам же вскоре стал подтрунивать над сыном.

— Равнобедренные треугольники, — говорил он, заглядывая к сыну в тетради, — может изучить всякий. А Шекспира — только гений. К чему тебе твоя математика? Публика заменяет актеру все университеты. Ведь ты будешь актером, да?

— Да! — твердо отвечал юноша.

Они надолго уединялись в кабинет отца и здесь разучивали роль Полиника в «Эдипе».

Степан Федорович затащил к себе Аксакова.

— Ну-ка, послушайте сына, Сергей Тимофеевич.

Аксаков слушал, не выдавая своих чувств.

— Ну, каково? — тая тревогу, спросил Степан Федорович, когда юный Мочалов кончил.

Аксаков молчал. На глазах у него были слезы.

— Какая бездна огня и чувства! — сказал он наконец. — Талант необыкновенный!

Он обнял Павлушу.

— Работай, — сказал он, — и ты станешь Тальмой.

Старик Мочалов пренебрежительно махнул рукой.

— Талант, чувство — вот главное, — сказал он. — А ремесло, науки актеру не нужны. Засорение головы. Юноша тихо сказал:

— Вчера я выступил из университета.

Аксаков вышел, сердито хлопнув дверью.

На 4 сентября был назначен дебют Павла Мочалова в роли Полиника. Ему было тогда шестнадцать лет.

Ночью с 4 на 5 сентября Степан и Павел Мочаловы вернулись домой поздно.

Громкими восклицаниями они подняли весь дом.

Вася и Платоша с робостью взирали на Павлушу, который бухнулся в кровать, не раздевшись. Лицо с несмытыми следами грима было бледно.

Отец ходил по комнате крупными шагами и кричал:

— Мать, где же ты? Скорей сюда!

Прибежала испуганная мать.

— Сымай сапоги сыну! — крикнул Степан Федорович. — Нечего, нечего! Твой сын гений! Гению служить почетно. Все на колени перед ним!

Павел Мочалов стал знаменитым сразу. Он был избавлен от тернистого пути медлительного восхождения к славе. Он стал славным в одну ночь. А после того как Павел сыграл в «Танкред», театральные журналы поместили восторженные статьи. Журнал «Благонамеренный» напечатал даже стихи, — честь, которой удоставались лишь наиболее знаменитые актеры:

«НА ИГРУ ГОСПОДИНА МОЧАЛОВА В ТРАГЕДИИ «ТАНКРЕД»

Мочалов! Сколь же ты прекрасною игрой
Умел изобразить Танкреда предо мной!
Твой дар, волшебный дар, зоилов преживет,

От славы гения завистник упадет.
Теки своим путем, талант не умирает,
Он блещет, как луна, над водной глубиной,
Того в потомстве лавр бессмертный увенчает,
Кто трогал здесь сердца волшебною игрой».

Юный трагик вдруг сделался московской сенсацией. Каждый новый спектакль упрочивал его славу. Отмечали пылкость его воображения, страстность чувствований, выразительность его красивого юного лица, магнетическую силу голоса, необыкновенно звучного.

Признавали его игру вдохновенной и мудрой.

Удивлялись, откуда в этом мальчике такое глубокое знание человеческого сердца. Прикрепили к нему кличку «Безумный друг Шекспира».

Сходились на том, что в лице Павла Мочалова нарождается перворазрядное светило российского, а может быть, и мирового театра.

Указывали, что будущему гению необходимо дать совершенное развитие. Ведь он так юн! И столько угроз таится для него в темноте и бесшабашности русского актерства!

В самой молниеносности его успеха видели препону его возвышению. Опасались, что неокрепшая натура юноши надломится под сладким гнетом славы.

Посреди шума этих похвал и предостережений Павел пребывал в состоянии некоего опьянения, которое не всегда было чисто духовным. Отец не препятствовал этому. Старый актер считал вино непременной принадлежностью таланта.

Павел быстро уверовал в свою гениальность.

Возможность изображать страсти, которых он не переживал, — любовь, ревность, честолюбие, месть, патриотизм, — восхищала его. Он чувствовал в себе для этого силу. Только для этого, больше ни для чего! Он не работал над ролями. Он как бы ощущал внутри своего существа постоянное присутствие некоей спиральной пружины. Он мысленно видел в себе этот жгут круглой и толстой стали, который лежал на дне его души неподвижно, когда он не играл, только слегка подрагивая от сдержанного напряжения.

Но едва он выходил на сцену, стальная спираль распрямлялась, и он взлетал на головокружительную вершину вдохновения. Ему было все равно, что играть, только бы слова были звучны и чувства чрезвычайны. А когда встречалось в роли место ему непонятное или

скучное, он проборматывал его невнятным голосом. С ребяческой простотой он все принимал или все отвергал. Это была школа его отца, если только можно назвать школой эту потрясающую смесь жадности, неразборчивости и огромного природного таланта. Он нисколько не заботился о цельности образа. И он никогда не любил книг. Засорение головы!

Среди новых друзей Павла Мочалова, которых образовалось такое множество, что он путал их имена, не было писателей, художников или просто людей просвещенных. Зато приятели его были все не дураки выпить, мелкие чиновники, купчики из Замоскворечья и вовсе темные люди, о профессии которых нельзя было сказать ничего определенного.

Некоторые из новых знакомых баловались стихами альбомного жанра. Павел тоже начал писать стихи. Они были невыносимо тусклы. Великий актер и ничтожный поэт уживались рядом в этой душе.

В «Литературной Кофейне» у Павла был свой столик. Здесь заседала вся его компания.

За стойкой стояла дочь хозяина, Наташа. Мочалов поглядывал на нее.

Павел много задолжал хозяину «Литературной Кофейни», Ивану Артемьевичу Бажанову. Вкладывать деньги в великий талант казалось Ивану Артемьевичу хорошим предприятием. Он посоветовал дочери быть с Мочаловым доброй и снисходительной, чтобы некоторой благосклонностью растопить сдержанность юного гения, застенчивого и в самом опьянении.

Но были среди поклонников Мочалова и истинные любители драматического театра. Они-то и встревожились. Стали опасаться за судьбу его таланта. В игре Мочалова не появлялось никаких признаков просвещенности, ни следа работы. Роли игрались им неровно. Гениальные порывы чередовались с вялой скороговоркой. Иные жесты ужасали своим неправдоподобием. Становилось все более ясным, что талант Мочалова требует тщательной отделки.

Однажды Павел развернул свежую книжку журнала «Благонамеренный». Небрежно перелистал он страницы с рассказами и стихами, нисколько его не интересовавшими, и с любопытством остановился на отделе «Смесь», где всегда можно было найти волнующие

сообщения о нищенке, оставившей после смерти миллионное состояние, упрятанное в старом тряпье, о курице, предсказавшей французскую революцию, о забавных приключениях всесветного мага графа Сен-Жермена.

Вдруг его лицо сделалось серьезным. Глаза беспокойно заблестали. Он увидел заметку под названием: «Письмо к издателю о г. Мочалове».

О нем? Да, о нем! Журнал — петербургский. Не скажется ли в статье исконное пренебрежение столичных знатоков к менее изощренному, но и более жизненному искусству театральной Москвы?

Прежде всего сообщалось «приятное известие о появлении на московской сцене нового трагического актера г. Мочалова, сына известного актера того же имени».

Павел облегченно вздохнул.

А далее шли строки еще более приятные:

«О счастливом таланте Мочалова отзываются с великой похвалой... Не только зрители-знатоки, но и сама любимица Мельпомены, г-жа Семенова, бывшая в Москве минувшей осенью, отдавала ему полную справедливость...»

Мочалов счастливо улыбнулся. Великая Семенова, в таланте которой Павел чувствовал столько схожего с собой! То же неистовство страсти! Такое же самозабвение! То же следование природе и небрежение правилами искусства!

Павел быстро пробежал глазами строки:

«...Такое выдающееся явление в жизни театра привлекло к себе особенное внимание истинных любителей драматического искусства, и некоторые из них согласились для окончательного образования г. Мочалова отправить его на свой счет в Париж...»

Павел пожал плечами.

«...Остается пожелать, — заключала статья, подписанная каким-то господином W, — чтобы поскорее исполнилось это намерение и чтобы г. Мочалов познакомился со славным Тальмой. Благодетели найдут награду в успехах г. Мочалова и в совершенстве его таланта...»

Павел отшвырнул журнал и подошел к окну. Он увидел серые заборы, немощеную улицу, по которой, важно огибая лужи, шагал петух. Покосившиеся фонари. Будочник в линялой шинели.

Да, уж лучше в Париж!

Московские любители театра сдержали слово. Мочалову была вручена изрядная сумма денег, собранная среди купцов и дворян. Одни считали, что талант Мочалова — выгодное помещение для свободного капитала. Другие расщедрились из московского патриотизма, желая иметь в Москве трагика, не уступающего петербургским. Третьи действительно радели о судьбе русского театра и бескорыстно хотели способствовать совершенствованию великого трагического таланта.

Провожать Павла в Париж собралось десятка полтора человек. То были ближайшие приятели его, отборные собутыльники, старинные завсегдатаи полупивных. Решено было проводить Мочалова до Черной Гязи, первой станции от Москвы. Несколько троек двинулось в путь. В карманы кибиток были положены объемистые корзины с шампанским.

Компания прежде всего отправилась в Троицкую Лавру помолиться перед отъездом. По дороге, в Мытищах, внимание друзей привлекла к себе соблазнительная прохлада мытищинского трактира.

— А что, господа, — воскликнул некто Дьяков, учитель каллиграфии, неистовый поклонник Мочалова, — не откупорить ли нам парочку бутылок, так сказать, для омовения организмов от пыли?

Остановились. Омовение от пыли затянулось до вечера. Глубокой ночью прибыли в Черную Гязь.

Отличный буфет и превосходные бильярды черногязского трактира не ускользнули от внимания компании. Корзины с шампанским, взятые из Москвы, были уже пусты. Между тем организмы снова основательно пропылились.

Пошли в ход парижские деньги Мочалова. На бильярде ему не везло. Продолжительные омовения лишили его руку надлежащей твердости. Он проигрывал значительные суммы. Парижские деньги обнаружили склонность таять с непостижимой быстротой. Мочалов находил детскую радость в том, чтобы поражать приятелей своей безграничной щедростью. Друзья в один голос прославляли героический размах его натуры.

Прошла неделя. В Москве встревожились отсутствием писем с дороги от уехавшего артиста. Кинулись по его следам.

Искать Мочалова пришлось недолго. На первой же остановке, в Черной Гязи, нашли юного трагика лежащим под бильярдом в бесчувственном состоянии и с

пустым кошельком. Его откачали холодной водой и привезли обратно в Москву.

Так кончилась поездка Мочалова в Париж для совершенствования в сценическом искусстве под руководством славного Тальмы.

Слух об этой поездке дошел до Петербурга. Столичные театралы посмеивались:

— Вот вам ваш доморощенный гений!..

Один молодой Пушкин не смеялся. Он только что был выпущен из лицея и зачислен по коллегии иностранных дел. Он бывал часто в театре. У него было там постоянное кресло, притом на левой стороне. Здесь заседали либералисты. В подражание французскому парламенту они выбирали себе места на левой половине зала. Их так и называли «левый фланг». Вождем его был полковник Катенин из Преображенского полка. Просвещенные молодые люди, офицеры и чиновники, играли в парламентаризм. Цензура не допускала в пьесах никакого вольнодумства. Но зрители искали в намеках и иносказаниях пьес скрытый политический смысл. Свистки или, напротив, аплодисменты, внезапно раздававшиеся, не всегда относились к качеству игры актера, но часто — к репликам, имевшим злободневный смысл.

В антрактах обменивались новостями и шепотком критиковали гнетущий режим александровского царствования, озираясь при этом: не видно ли вблизи арачьевских шпиков.

Николай Иванович Тургенев рассказал Пушкину о парижской поездке Мочалова, представляя это происшествие, как образец чисто московского варварства.

— Беда, как мы в просвещении пойдем назад. По крайней мере, идти недалеко, — сказал Тургенев, — мы все еще на первой станции образованности.

— Да, — сказал Пушкин с едким оживлением, — мы в черной грязи...

Время было тревожное. В стране возникали тайные общества. Стало известно, что немецкий студент Занд убил известного драматурга Коцебу.

Мочалов недоумевал. Кому помешал этот писатель, автор чувствительной драмы «Ненависть к людям и раскаяние», где у Мочалова была превосходная роль сторожа Мейнау? Мочалову объяснили, что Коцебу был не только писателем, но и тайным агентом царского правительства.

Еще одно убийство: в Париже рабочий Лувель убил наследника престола, герцога Беррийского. Гул этих событий пронесся по Европе и потряс ее. Всюду усилилась реакция. В России — тоже.

Мочалов не замечал ничего. Он стоял в стороне от событий своего века. Он играл.

Чувствительный к своей славе, он подослал людей к Аксакову:

— Развейдите, что говорит сейчас обо мне этот упрямец. Некогда он предсказал мне, мальчишке, мировую славу.

Мнение Аксакова с болезненной силой интересовало Мочалова.

Аксаков отозвался о нем с презрением. Он говорил о Мочалове в прошедшем времени, как о покойнике:

— Мочалов не любил бескорыстно искусства, — пробурчал он, — а любил славу. Он не верил в труд, в науку. Я ошибался в нем...

Но иногда Аксаков тайно приходил в театр. Когда Мочалов играл дурно, Аксаков злорадствовал и нарочно выходил в первые ряды партера. Пусть Мочалов видит, что Аксаков присутствует при его провале.

Но когда Мочалов играл хорошо, Аксаков испытывал восторг и наслаждение необыкновенные. Незаметно он покидал свой темный угол и уходил из театра.

Больше всего Аксаков удивлялся внезапной политической страсти, которой Мочалов умел напирать на монологи. В таких местах публика аплодировала особенно бурно, — словно одной силой своего таланта этот невежественный актер воплощал в себе все передовое, все протестующее, что было в тогдашнем русском обществе.

Такова была неотразимая сила правды, которая содержалась в искусстве Мочалова и без которой большое искусство вовсе невозможно.

1937

ВЛАСТЬ СОБЫТИЙ

Розенкранц увлек Гильденстерна в нижнее фойе возле курилки.

До начала спектакля еще минут сорок, фойе пустынно. Я стою в темном уголке, курю, они меня не замечают. Взявшись под руки, они ходят взад и вперед. Розенкранц

что-то шепчет Гильденстерну, нервно озираясь, судорожно поводя худой шеей в слишком широком вязаном воротнике.

Я наблюдаю его и в ожидании спектакля безмятежно покуриваю. Все-таки, благодушно размышляю я, Розенкранц похож на своего папу. Такой же маленький, такой же кудрявенький. Я улыбнулся, вспомнив, как Розенкранц-папа раз в месяц приходил к нашему окающему парикмахеру, и тот раскручивал его бараньи завитки, так сказать, раскудрявливал его. Однажды, усевшись в кресле и откинув лысеющее темя на подголовник, он заявил не без торжественности:

— У меня родился сын.

Парикмахер вежливо склонил голову.

— Да? И какое имя вы ему дали?

— Никодим.

Щипцы, порхавшие в руке парикмахера, на секунду замерли. Потом он сказал:

— Имя довольно редкое...

И, выдержав эффектную паузу, закончил:

— ...у датчан.

По какому-то ленивому сцеплению мыслей я вспоминаю далее, что Шекспир снимал комнату у парикмахера и в комнате этой написал «Отелло», а может быть, и «Гамлета».

В это время оба придворных поравнялись со мной, и я явственно услышал, как Никодим Розенкранц сказал:

— Я, кажется, схожу с ума. Ты помнишь, что сказал Гамлет о нас с тобой: «Весело видеть, как сапер взрывается на собственной mine».

— Это становится невыносимым,— сказал Гильденстерн раздраженно.— Он охаивает нас почему зря где попало. «Зубастыми гадюками» обозвал нас! Ты-то не боишься за свою шкуру. Тестюшка в случае чего тебя выручит.

— А ты...

— Нет, нет, я не имею к этому никакого отношения. Пожалуйста, не впутывай меня в эту историю.

— Придется перепрегримироваться,— пробормотал Розенкранц.

Но когда он подошел ко мне, чтобы прикурить, лицо его было бесстрастно, словно секунду назад слезы не текли по его раскрашенным щекам.

Я не удержался и спросил:

- Помните, что было начертано на фронто́не театра «Глобус»?
- В чем дело?
- Totus mundus adit historinem.
- Короче! — пробормотал этот невежественный молодой человек.
- Я перевел:
- Весь мир актерствует.

Шофер зевнул так широко, словно хотел проглотить бежавшее навстречу шоссе со всеми его дорожными знаками, бензоколонками, старыми дамами, степенно прогуливающими лохматых песиков под развесистыми буками, окаймляющими дорогу. Сегодня воскресенье, наш автобус полон, на его переднем щитке надпись: «Эльсинор».

Собственно, по-датски: «Helsingor». А по-нашему, стало быть, «Гельсингёр». Но и это не совсем точно: ведь первая буква в слове «Helsingor» латинское «Н», не «Г» и не «Х», а отсутствующий в русской азбуке придыхательный звук. Самый-то звук присутствует в русском произношении. Но создатель нашей азбуки Петр I почему-то не ввел его в письменный алфавит, из-за чего мы вынуждены писать «Бог», хотя произносим «Бох», или — «Гейне», хотя следовало бы «Хайнэ».

Автобус наш обыкновенный, рейсовый, а надпись на передке сказочная. Мы и едем в сказку, в легенду, в замок Принца Датского Гамлета. Все время от самого Копенгагена — вдоль моря. Сквозь маленькую Данию, молочно-мясную Данию, чьи реки текут молоком и пивом. Дания заливает мир пивом. Сто шестьдесят стран получают его отсюда. Пивовары одарили музеи бесценными полотнами импрессионистов. Пивовары поставили у копенгагенской набережной знаменитую Русалку. Датская Афродита родилась из пены пивной.

То, что я невольно подслушал в фойе театра в Москве, не дает мне покоя и сейчас, когда я брожу по этому древнему замку Эльсинор. Официально он называется Кронборг. Эльсинор — городок вокруг него. Но кто же нынче говорит Кронборг? Да и сам Гамлет, разгадав сыскные намерения Розенкранца и Гильденстерна, обратился к ним с приветствием, в котором, правда, больше издевки, чем радушия: «Господа, добро пожаловать в Эльсинор!»

Задрав голову, я смотрю на высоченную шестигранную башню, вхожу внутрь, поднимаюсь по витой каменной лестнице... Честное слово, она менее внушительна, чем грандиозная лестница, воздвигнутая Николаем Акимовым, когда он много лет назад ставил «Гамлета» на сцене вахтанговского театра.

Я иду по блистающему тронному залу. Он огромен, как улица, или, если угодно, как станция метро «Арбатская». Здесь гулкое многоголосое эхо, и король Клавдий, несомненно, слышал, как Гамлет во время представления «Убийство Гонзаго, или Мышеловка» сказал Офелии: «Прекрасная мысль — лежать между ног девушки». Борис Пастернак (а может быть, его редактор) в заботе о нравственности русских читателей поправил Шекспира. «Лежать у ног девушки», — написал он. Согласитесь, что это совсем не то же самое. И хотя Пастернак — великий поэт, но этот задира Гамлет под стыдливым пером переводчика (а может быть, редактора) стал совсем корректным малым, а густой язык XVI столетия, настоящий на живописном сквернословии, превратился в туалетную воду.

Сюда присоединилась армия литературоведов и шекспирологов, сделавших из Гамлета, из этого сгустка воли какую-то пену сомнений. Даже умница Кьеркегор заявил, что «быть или не быть» является чисто личным делом, и приписал это дурацкое заявление самому Гамлету.

Я иду по бесконечному залу. Вокруг меня бубнит и шаркает многоязычная толпа туристов, главным образом японцы. Настоящее не отсекает от прошлого. И я гадаю, сколько среди них желтолицых гамлетов и розенкранцев. На стенах трехметровой толщины — старинные гобелены. Прошлое цепляется за современность: на одном из гобеленов фантастические животные, совершенные близнецы немислимых зверей на картинах Анри Руссо.

Замок Эльсинор считался непревзойденным чудом крепостной архитектуры. Построил его... Да кто же все-таки его построил?

Никто.

Эльсинор построил наш брат литератор.

Шекспир.

Да как крепко, на века! Стоит не камень, а слово.

Но ведь все-таки был же на свете настоящий Гамлет или Амлет, как рассказал об этом летописец XII века

Саксон-Грамматик. А он извлек этого средневекового Амлета из еще более темных недр чуть ли не языческой Дании, из IX столетия. Тот Амлет тоже мстил за отца. Более того: некоторые черты его сохранились через семь столетий в шекспировском Принце Датском, даже стиль его речи, полной глубоких иносказаний.

И все же автор отходит на задний план. Автора всегда затирает его же произведение. И это естественно, ибо создатель никогда не достигает такого совершенства, как его создание. Эльсинор пахнет не Шекспиром, а Гамлетом. Только в одном из отдаленных коридоров, где-то на задворках замка, я увидел на стене небольшой барельеф — хорошенький чистенький Шекспирчик с тщательно выутюженной бородкой и красиво уложенными кудрями. Никого в этот момент не было рядом, и я прошептал:

— Распалась связь времен.

Зачем же я связать ее рожден?

Как я любил это прелестное двустипшие из старинного перевода Андрея Кроненберга! Как поэтичны эти строки и как обширен их смысл!

И вдруг разверзлись гранитные уста Шекспира, и он рывкнул:

— Почему Кроненберг меня пригладил? Почему он напихал своих дрожжей в мое тесто? Какая, к черту, «связь времен»? Я как сказал? Я сказал так: «Век вывихнут. Что за мерзкая беда, что я рожден вправить этот вывих!» А? Здорово? Сказано по-мужски, правда?

«А как вправить?» — подумал я. Но вслух сказал:

— Отец и учитель, позвольте вам напомнить, что великий Толстой решил заметить, что вы тешитесь «явно умышленными эффектами, как, например, при вытаскивании за ноги трупов полдюжины убитых, которыми кончаются все драмы Шекспира, вместо страха и жалости становится смешно...»

Сказал и с опасением посмотрел на Шекспира.

— Что ж, может быть, он и прав, — сказал Шекспир и скромно улыбнулся. — Мои ошибки так же велики, как и я сам.

Он лукаво подмигнул мне своим отлично изваянным глазом без зрачка и добавил:

— Это же можно сказать и о Толстом. Верно ведь?

Тут нахлынула толпа туристов. Шекспир сразу присмирел и вернулся в свое скульптурное существова-

ние, как ему и полагается по его работе в штате младшей челяди замка Эльсинор.

Все же ответ на свой вопрос — как вправить вывих века? — я получил там же, в Копенгагене. Правда, от другого гения. От Кьеркегора. Несчастьем своего столетия — девятнадцатого — он считал то обстоятельство, что этот век — просто Время, то есть нечто преходящее, нечто такое, чего чурается Вечность. Кьеркегор наконец подобрался к старому врагу своему, никогда не останавливавшемуся, всегда ускользающему, ненавистному Времени. Кьеркегор расправился с ним. Как? Смертью. Ловко, а? Смерть убивает Время. Наповал. Пулей в лоб. Себе, себе, конечно! «Этим выстрелом я убиваю Время», — заявил Кьеркегор.

Вот уже вторично я упоминаю имя этого щеголя, пьяницы, датского Сократа, калеки, монархиста, умницы, магистра иронии, автора двадцати томов глубоких размышлений и блестящего бреда, презренных при его жизни и вдруг получивших всемирную славу в наши дни.

Но о Кьеркегоре потом особо.

А куда я брожу по лугу у стен Эльсинора, по знаменитой изумрудной траве, где бродила безумная Офелия, сплетала венок и напевала:

Он умер, леди, умер он,
Он умер, нет его.
Быть может, то был только сон —
И больше ничего.
И вот однажды на заре
Вошел он в темный лес.
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.

И не стало пламени влюбленным, —
В сердце север, север ледяной!
И горит на знамени зеленом
Клевер, клевер, клевер золотой...

Так пела она и раздавала цветы: королю — водосбор, означающий предательство, королеве — маргаритку, символ непостоянства, брату своему Лаэрту — розмарин, знак преданности, благородному Горацию — руту, непреходящую печаль. Поискала глазами Розенкранца, она приготовила ему цветок укропа — герб подхалимов...

...— Но я же не знал! — закричал Никодим Розенкранц.

Голос его совсем размяк от слез.

— Веришь мне, я же не знал, что так кончится. Я предложил Поэта с гитарой для увеселения гостей. Знаешь, как водится на вечеринках. Кто-то споет, потом станцуют...

— Сумасшедший! — сказал Гильденстерн.

— Кто? Он?

— Нет, ты! Ты же знал, что за песни он поет.

— Так это ж был даже не он сам!

— Еще бы! Пойдет он к такому пошляку, как ты!

— Зачем ты так... Во всяком случае, это был его голос, записанный на пленку.

— Так сказать, острая приправа к пресной вечеринке.

— Но кто же мог предвидеть, что вдруг войдет Пол... Розенкранц боязливо оглянулся.

— Кто?

Розенкранц шепнул:

— Полоний...

— Он рассвирепел?

— Ох! «Как, у меня дома? — кричал он. — Под носом у меня, главного правительственного советника, поют эти антигосударственные дерзости!» Я хотел обратить все в шутку... Какое там...

— Я понимаю, Никодим, что это удар по твоему девственному оптимизму. Но ты сам виноват, не рыпайся, не лезь. Конечно, жаль Поэта. Но что делать, себя жаль больше.

— Да, да... Но все-таки ужасно неприятно. Выходит, что я его предал. Как Гамлета... Пойдут разговоры... Я должен что-то сделать для Поэта. Но что?

— Надо было раньше думать. Гамлет сказал все-таки не о себе, а о тебе: «Так в трусов превращает нас самокопанье».

— Ты считаешь, что я трус? Так вот я пойду к Полонию и поговорю с ним серьезно! Да! Так, мол, и так...

— То есть?

— Ну, скажу: в какое положение вы меня поставили?.. Больше того, я скажу: нам с женой придется выехать от вас, чтобы спасти свою репутацию.

— Расхрабрился, Никодим! Сказать тебе, что будет дальше? Он выгонит тебя и прикажет развести тебя со своей дочкой. Ему это нипочем. Он всемогущ.

Розенкранц поник головой.

— Да, Гамлет прав...

— В каком смысле?

— Он сказал: «Дания — тюрьма».

Гильденстерн оживился:

— Так он сказал? Ты сам слышал? Когда? Где?

— Тише! Вот он...

И в самом деле: из курилки вышел Гамлет. Он шел, ни на кого не глядя, бормоча полупшепотом:

— Какое восхитительное творение человек...

Вдруг он увидел Розенкранца. Отшатнулся, и — полным голосом:

— Нет, человек не радует меня!

Я был единственным зрителем этой импровизированной репетиции. Я отступил в тень, боялся пошевелиться. Они забыли обо мне.

Г а м л е т. Отвечать на вопросы, которые мне задает губка? Мне, принцу Гамлету?

Р о з е н к р а н ц. Какая же я губка, принц!

Г а м л е т. Именно — губка. Одной стороной ты впитываешь награды, которые власть швыряет своей дворне. Другой стороной ты всасываешь все, что слышишь от разных людей. В нужный момент власть выжимает тебя себе в рот, и ты снова сухой.

Р о з е н к р а н ц. Принц! Вы это серьезно?..

Но Гамлет уже удалялся, ловко скользя по хорошо натертому полу нижнего фойе.

Итак, я обещал о Кьеркегоре. Чью сторону он взял бы? Ринулся бы со всей страстью своего по-вольтеровски желчного ума в защиту Поэта? Подверг бы ураганному обстрелу Полония, как он это сделал с Гегелем, с Андерсеном, не сумев, впрочем, причинить ни тому, ни другому никакого ущерба. Фейерверк слепит, но не разрушает.

Этот вопрос я задавал себе, стоя в саду библиотеки Копенгагенского университета возле памятника Сёрену Кьеркегору.

День был серый. И все было серо вокруг. Замшелые камни университетских зданий, вода в бассейне, даже на взгляд холодная, и мертвые листья, плававшие там, и посвист осеннего ветра в полуголых деревьях, и этот человек на пьедестале с застывшей на века скорбно-сардонической улыбкой, и серая патина времени на

устало насмешливых чертах его. Он тоже пытался стать хирургом века, вправить его вывих. (Он тоже пытался.) Но век не признал его, и он сам сказал о себе (ибо его ирония бывала направлена и против самого себя): «Провинциальный гений».

Я смотрел на презрительную усмешку, затвердевшую на лице философа, и думал: как эта каменная оцепенелость не идет к его вулканическому темпераменту! Иронию, которая обычно сопутствует безверию, Кьеркегор сделал опорой веры. Верить, заявил он, это значит понять, что бога нельзя понять. Надо думать, что бог несколько опасался этого своего не в меру рьяного поклонника, у которого не всегда можно было разобрать, то ли он верит, то ли издевается над верой. Чтобы обосновать бессилие разума, Кьеркегор напрягал все силы своего изощренного ума. Современные экзистенциалисты провозгласили Кьеркегора своим Магометом, Моисеем, апостолом Павлом. Впрочем, в наружности его не было ничего апостольского.

На кривых ногах, почти горбун, в щегольском пальто и цилиндре, фатовски сдвинутом на ухо, с зонтом под мышкой, с сигарой в зубах он ежедневно, как некое ритуальное действие, совершал прогулку по Королевской площади, по Восточной улице, сквозь центр столицы. Знакомые, увидев его, шныряли в боковые улицы, боясь жалящих насмешек. Он не выносил рядом с собой ничего успеха. Когда вышла в свет книга его сверстника, тоже копенгагенца, великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, Кьеркегор разразился разгромной критической статьей, озаглавив ее «Из бумаг некоего, пока еще живого...».

Андерсен не остался в долгу и ответил сказкой «Калоши счастья».

«Дело было в Копенгагене,— начинает эту сказку Андерсен,— на Восточной улице, недалеко от Новой Королевской площади. В одном доме собралось большое общество...»

По счастливой случайности я остановился в Копенгагене совсем близко от этого дома на улице Бредгаде в гостинице «Викинг». Иногда утром я выходил погулять на Новую Королевскую площадь, где часовые в высоких медвежьих киверах сейчас, как и полтора-два года назад, маршируют попарно размеренным шагом вдоль дворца, полукругом обнимающего площадь.

Я шел мимо Королевского театра, мимо Академии

искусств и выходил на Восточную улицу. Именно здесь две сверхъестественных дамы, фея Печали и маленькая прислужница феи Счастья, незримо проникли в дом, где в тот момент советник юстиции Кнап сцепился с неким Эрстадом. Несколько возбужденные пуншем, который они закусывали горячей лососиной, Кнап и Эрстад спорили о том, что же такое счастье. Услышав этот спор, феи поставили в прихожей свои калоши счастья, которые внесли столько суматохи в жизнь тихой датской столицы.

Андерсен одушевлял все, что видел. Он одарял страстями животных и даже вещи — штопальную иглу или оловянного солдатика. Но из Кьеркегора он вынул душу и превратил его в попугая:

«Попугай мог внятно выговаривать только одну фразу, нередко звучавшую очень комично: «Нет, будем людьми», а все остальное получалось у него столь же невразумительно, как щебет канарейки».

Этот попугай был самодоволен. Андерсен вкладывает ему в клюв хвастливый монолог:

«...Я знаю, что я умен, и с меня довольно... Я сведущ в науках и остроумен... болтовней своей могу кого угодно поставить на место...»

Это все, что мог пролепетать кроткий сказочник в ответ на вьедливую критику датского Мефистофеля. Или датского Гамлета?

Ведь это Кьеркегор, а не Гамлет сказал:

«Повесишься, ты пожалеешь об этом. Не повесишься, ты тоже пожалеешь. Ты пожалеешь в обоих случаях».

Значит, есть и датский Гамлет. Ибо тот, классический, из Эльсинора, это ведь британский Гамлет.

Но когда Гамлет вновь появился в фойе театра в сапогах бутылкой, в косоворотке, такой свойский, простецкий, словно он не из Эльсинора, а из ресторана «Балчуг», и совсем не принц, а наш, московский парень, может, замоскворецкий, может, с автозавода имени Лихачева, что ли... нет, нет, сказал я себе, он не из Шекспира, уж скорее из Островского.

Розенкранц только увидел его, сразу к нему со своим мучительным вопросом — виновен ли он в беде, свалившейся на Поэта, и как этот вывих вправить?

И я снова услышал громовые раскаты, которые Гамлет так легко извлекал из своего горла:

— Ну, что ты крутишь! Ты такой же кривляка, как

Озрик, который еще грудным младенцем кокетничал перед соском матери. Ты просто трус. Ты как Бернардо, который при виде Тени Моего Отца наделал в штаны.

— Да нет... Но согласись сам... Кто мог знать?.. Это было как обвал, как землетрясение. Как же теперь?..

Между тем из верхнего фойе уже доносился гул прибывающей публики. И только я успел подумать, не опоздает ли спектакль, как прибежал помощник режиссера и набросился на актеров:

— Ребята, что же вы? Пора на сцену.

Но Гамлет и Розенкранц не слушали и продолжали гвоздить друг друга яростными репликами.

— Ребята, вы сорвете спектакль! — паниковал помреж.

Гамлет вдруг повернулся и в полном спокойствии на великолепной дикции отчеканил:

— Не мешай. Я репетирую.

— Не валяй дурака! — затопал ногами помреж. — Это не тот текст!

— Это не важно, — сказал Гамлет. — Я психологически вхожу в роль. По системе Станиславского. И вообще до начала спектакля еще семнадцать с половиной минут.

И снова кинулся в бешеный словесный бой с Розенкранцем:

— Ну что ты канючишь! Ну что ты виляешь то сюда, то туда! Кто Гамлет, в конце концов? Я Гамлет или ты Гамлет?

— Но пойми же, что я тут ни при чем...

— Зачем ты запустил песни Поэта? Зачем? Чтоб распотешить гостей? Пошляк! Я правильно сделал, что убил тебя!

— Лучше бы я сам застрелился!

— Ах, скажите, пожалуйста: «Сам застрелился»! Заработал бы ослиное погребение: тело твое швырнули бы в яму и забросали камнями. Прелестный конец для студента Виттенбергского университета.

Последние слова Гамлет произнес сокрушенно. Даже какая-то мягкость появилась в его тоне, когда он вспомнил об их студенческом братстве.

Но как мал мир! Я ведь тоже побывал не только в Эльсиноре, но в свое время и в Виттенберге. Попал я туда весной сорок пятого года. Германия только что капитулировала. Наша армия вошла в Цербст, в Дессау, в Виттенберг. Я выскочил из бронетранспортера и подошел к собору. Высокие темные ворота были приотворены.

Я вошел внутрь. Я осторожно углублялся в полутемную гулкую пустоту. Так это здесь Лютер огласил свои девяносто пять тезисов, объявил о создании новой мировой религии и, проклятый папой римским, произнес свои знаменитые железные слова: «Hier stehe ich. Ich kann nicht anders»¹, — слова, которые спустя три столетия восхищали Кьеркегора своей фанатичной непреклонностью. Правда, и здесь этот философ, такой глубокий и такой игривый, не удержался, чтобы не выкинуть коленце, и, провозгласив свои тезисы, тут же спародировал Лютера: «На том я стою, только не знаю, на ногах или на голове».

Этот мыслитель, этот христианский философ был кутилой и бабником. И на практике, и в теории. В то время как Андерсен писал: «О душе беспокоиться нечего — когда она действует самостоятельно, все идет прекрасно, и лишь тело мешает ей и заставляет ее делать глупости», — Кьеркегор вводит в свою этическую систему, изложенную в его основном труде «Либо-либо», именно тело, то есть влечение к сексуальным утехам и создает (очевидно, из насмешливого подражания образу Иоанна Крестителя) образ Иоанна Соблазнителя, погруженного в изощренные половые игры. Да, у этого религиозного писателя трудновато иногда найти границу между служением богу и богохульством. Во всяком случае, Кьеркегора можно считать не только пророком современного экзистенциализма, но и мессией современной датской порнографии, самой откровенной и развитой в мире.

Конечно, в антракте я пошел за кулисы. Интересовавших меня актеров я нашел в маленьком буфетике. Розенкранц со скорбным видом хлебал ряженку, а Гильденстерн неумолимо втыкал ему:

— Теперь ты видишь, что Полоний сам тайный развратник.

Розенкранц слизал с губ молоко и сказал плачущим голосом:

— Он, конечно, опасный человек. Но зачем навешивать на него лишнее?

— Он это делает осторожно. Ведь он у всех на виду. Только что, перед тем, как его ухлопал Гамлет, с каким

¹ «Здесь стою я. Не могу иначе» (нем.).

сладострастным удовольствием, спрятавшись за ковром, он слушал смачные выражения принца о королевском супружеском ложе: «Зловонный пот этой загаженной постели». Гамлет умеет выдать, а? Не знаю, чему он научился в Виттенбергском университете, но у себя в Замоскворечье он набрался хлестких словечек. Надо было видеть, какое блаженство расплылось на обтекаемой мордочке твоего высокопоставленного тестя — я-то из-за кулис видел, — когда Гамлет влепил этой суке Гертруде: «Изнасилованная королева». «Это хорошо, — сказал Полоний, облизнувшись. — Изнасилованная? Хорошо!» Ему нравятся непристойности. Знаешь, что ему крикнул Гамлет? «Эй, милорд, — крикнул он, — ступайте в Сексоцентр!»

И вправду через некоторое время я его там увидел.

Есть в центре Копенгагена примечательная улица. Это, собственно, не одна улица, а целых четыре: Естергаде, Амагертори, Ньюгаде и Фредериксберггаде. Они сливаются в один недлинный проспект, слегка приподнятый по краям. Все его несколько корытообразное пространство вымощено широкими каменными плитами. Два пышных здания замыкают проспект с обоих концов — громадный мрачноватый Королевский театр и нарядная, похожая на гигантское пирожное, Ратуша.

По проспекту не ездят автомобили. Здесь и мостовой нет. Сплошной тротуар. Весь во власти пешеходов.

Здесь и ночью светло. Пылают витрины, многоцветными огнями фонтанируют рекламы. Всех пышнее, ослепительнее, призывнее и наглее огни над Сексоцентром.

На углу кино «Метрополь». Снаружи стенды с рекламными кадрами. Здесь идут два фильма. Один — «Советский цирк». Я узнаю на снимках милую рожицу Олега Попова. Другой, как объявляет афиша, «Первый датский сексуальный фильм». До сих пор, значит, пробаивались импортными, главным образом, шведскими. Припоминаю, что действительно неделю назад я проходил в Стокгольме мимо кино, и там тоже висели на улице у входа кадры с похабельными изображениями. Но это были, можно сказать, цветочки по сравнению с теми ягодицами, которые висят у входа в копенгагенский «Метрополь». Правда, будем справедливы, на этих кад-

рах у голых мужчин и женщин срамные места заклеены белыми бумажками, на которых начертано одно слово: «Цензура». Вот что такое, оказывается, цензура.

Меня, можно сказать, почти восхитила патриотическая гордость, с какой подчеркивалось, что это первый датский сексофильм. Избавились, стало быть, от порнографической зависимости от заграницы. Стали на собственные, ну скажем так, ноги.

Я приближаюсь к Сексоцентру. Это мощный порнографический комбинат. Половые искания здесь обслуживаются всесторонне. Полки уставлены соответствующей литературой. Это солидное книгохранилище, так сказать, неисчерпаемый кладезь порнографических знаний. Красочные обложки изображают сцены... не подберу эпитета. Пикантные? Нет, это слишком слабо.

В коридоре рядом с сексуальной книготорговлей стоят ряды автоматов — вроде тех, которые выбрасывают сигареты или шоколадки. Над ними — надпись: **КЛИМАКС-СКОП! 10 РАЗНЫХ ПОРНОФИЛЬМОВ! БЕЗОСТАНОВОЧНО! ТОЛЬКО ЗА 2 КРОНЫ!** Опустив монетку и прильнув к глазку, вы смотрите порнографический фильм, совсем коротенький, развлечение на ходу, по дороге с работы домой.

Вот здесь-то я и увидел Полония. Запихав остроколючую бороду в поднятый воротник голубого пиджака и нацепив на свой мясистый пористый нос очки, он присосался к автомату. Я стоял в сторонке и ждал, когда он отвалится, чтобы убедиться, действительно ли это он, Полоний. Он здесь единственный пожилой человек. Остальные созерцатели — юнцы и, по-моему, иностранцы. Японцев — тех-то сразу можно узнать.

А Полоний все не отрывался от глазка, слегка подергивая задом и бросая в щель одну датскую двушку за другой.

Но вот оторвался. Конечно, это не он. Но как похож! Заметив мой пристальный взгляд, он слегка приподнял шляпу. Я не удержался и спросил:

— Интересно?

— Так ведь и вы сюда за этим же, — сказал он улыбнувшись.

— Да нет, — сказал я несколько смущенно.

— Ах, вы, наверно, думали, — сказал он с учтивой насмешливостью, — что это автоматы с бутербродами?

— Возможно.

Он засмеялся.

— А какая разница? В поглощении бутербродов тоже нет ничего духовного.

Я не нашелся, что сказать, а он, сняв очки, смотрел на меня своими острыми насмешливыми глазками (может быть, такой взгляд был у Кьеркегора). Потом сказал:

— Вы иностранец, правда? Дания нынче полна иностранных туристов. Что их манит сюда? Увидеть тайное, которое стало явным. Увидеть страну, где раскрылись двери спален, где разверзлись альковы, где пали стены публичных домов. Скажите, пожалуйста, чем люди хуже мух, которые проделывают это, греясь на солнышке, или собак, которые для своих встреч вовсе не снимают номер в отеле. Вы думаете, что это новая мораль? А это просто новая физиология. Современная наука дала нам новые противозачаточные средства. Вы скажете, что в нашей стране исчез стыд? Да, исчез. Но, позвольте спросить вас, что такое стыд? Сношение стало считаться греховным и нечистым вследствие физиологической случайности. Это, я сказал бы, анатомический каприз природы. Как только мы это поняли, мы избавились от стыда. И учтите, что при этом исчез и первоначальный грех человечества.

— Ах, в этом ваша духовность? — сказал я язвительно.

— Э, да вы русский? Сразу догадался по этому вопросу. Духовность — это же ваша национальная профессия. Вы торгуете духовностью уже второе столетие.

— Позвольте! Вы все напутали!.. — закричал я.

Но он улыбнулся и исчез в толпе, запрудившей эту удивительную улицу.

А я подумал, чего бы натворил Гамлет, попав в этот Сексоцентр. Вот где поработал бы его страшный меч, вот где пролились бы реки крови! Пожалуй, он пощадил бы только продавцов. Они сидят посреди своего бюро порнографических услуг — немолодая женщина с усталым лицом и парень, может быть, ее сын. У обоих такой же невозмутимый вид, как если бы они торговали не этой похаберией, а, скажем, брыззой или детскими игрушками.

В конце концов, спрашиваю я себя, кого разил меч Гамлета?

Пошлость.

Да, да, пошлость! Гамлет — борец с пошлостью: всякой, бытовой, общественной, государственной. Он

убил торжественного пошляка Полония и распухшего от обжорства и пьянства Клавдия, который вскарабкался на трон по трупам. Да если на то пошло, то и Розенкранца-то пришел, потому что и тот пошлячок. Он вломился бы в «Гамлет-отель», что рядом с замком, и зарубил бы его владельца за профанацию своего знаменитого имени. Да, разгулялся бы страшный меч Гамлета на улицах Копенгагена, этой, как называл его еще Кьеркегор, «проституированной резиденции мещанства».

Где бы я ни был, я не мог отделаться от мыслей о Поэте.

И вдруг я увидел его.

Он шел вдоль Аллеи классиков мимо старомодных деревянных теремов за покосившимися штaketными заборами. Когда проезжал автомобиль с каким-нибудь классиком или военным из генеральского поселка, Поэт прижимался к самому краю придорожной канавы, чтобы не окатило грязью его гитару, которую он нес на тесьме через плечо.

Потом он пересек шоссе и пошел по бровке Неясной поляны. Огромная, выпуклая, она лежит в объятиях леса. И весь ее громадный простор, и сельское кладбище, карабкающееся в гору, и майские трели соловьев, и родничок, бормочущий под горой, и золотые купола патриаршей церкви, и три могучие сосны над могилой Бориса Пастернака, и громовое журчание авиалайнеров, летящих в аэропорт, весь этот русский покой, смиренный и тревожный, вливался в Поэта.

Он опустился на пенек у края дороги. Гитара лежала рядом, обыкновенная рыночная гитара, потертая, исцарапанная. И у самого Поэта был такой же заурядный вид, — несколько потрепанный красавец, с чаплинскими усами; с большими влажными глазами раненого оленя.

— Я не могу отказаться от моих стихов, — сказал он. — Мои стихи — это моя боль за Россию и моя любовь к России.

— И все этот Розенкранц! — сказал я с досадой.

Он покачал головой.

— Нет. Это неотвратимо. Не он, так другой. Не сегодня, так завтра. Не на этом перекрестке времени, так на следующем. Нет, я никого не обвиняю. Это моя судьба. Я сам избрал ее.

— Но Гамлет обвиняет именно Розенкранца.

— Гамлет — борец. Пошлость душит. Гамлет борется с ней. Вы сами сказали это. Он — очиститель жизни в отличие от своего друга Горацио, который только рассуждает.

— Так ведь Горацио сам сказал о себе, что он скорее древний римлянин, чем датчанин.

Поэт посмотрел на меня с удивлением.

— Неужели вы уважали бы меня больше, если бы я был скорее древний скиф, чем современный русский?

— Нет, но... Вспомните, что Гамлет сказал Горацио: «Ты самый справедливый из всех людей, с которыми мне приходилось встречаться».

— А дальше? Забыли? Дальше Гамлет сказал: «Ты человек, который, все выстрадав, как будто и не перенес страданий и который с одинаковой благодарностью принимает удары и награды судьбы». Не правда ли, странный комплимент? «Ты — равнодушный, ты — конформист», — вот что, в сущности, сказал Гамлет своему другу, которого он, несомненно, любил. Не так как Марцелла, но все-таки...

— Марцелла? — вскричал я удивленно и даже возмущенно.

— Да, Марцелла Гамлет любит больше. Горацио — друг его ума, Марцелл — сердца. Гамлет обычно приветствует своего верного телохранителя не шаблонным «здравствуй», а залихватским «Илло-хо-хо, мой принц!». Этот бравый офицер не облакает свои мысли в изящные силлогизмы. Он и не нюхал Вюртенбергского университета. Но как-то при всех выпалил с солдафонской прямоотой: «Подгнило что-то в датском королевстве». Ничто на свете — и том, и этом — не устрашает Марцелла. Самую тень отца Гамлета, явившуюся в ночь его дежурства в Эльсиноре, он хотел зарубить алебардой, да вовремя смекнул, что ее этим не проймешь, ибо что такое Призрак, если не пар? И удовольствовался тем, что называл Призрак презрительно в среднем роде: «Существо», «Оно», «Нечто», «Испарение», да и покрепче.

— Ну кого вы сравниваете, — проговорил я, не желая сдаваться, — Горацио интеллигент...

Поэт встрепнулся:

— Что вы?! Это Гамлет интеллигент. При том русский интеллигент. Он колеблется и действует. Он, даже борясь, сомневается. Он разит и рассуждает. Он истекает

кровью и словами. И все же он борется с пошлостью, низостью, жестокостью. Согласны?

— Может быть... Но я все-таки думаю, что нельзя принести людям счастье на кончике меча.

— Я понял, — сказал Поэт грустно. — У вас комплекс Горацио. Есть два способа совершенствовать мир: способ Гамлета — улучшать его и способ Горацио — улучшать себя. Но пока вы будете заниматься нравственным самоусовершенствованием и постепенно превращаться в праведников, вас всех перебьют. Да, вас назначат праведниками, но на том свете. Вас это устраивает? Наверно, нет, тем более что существование «того света» еще не доказано.

Он засмеялся, его развеселила собственная шутка.

«Смеешься — значит живешь», — с облегчением подумал я.

— Для того чтобы действовать мечом, надо иметь, как минимум, меч, — сказал я, тоже смеясь и желая продолжить шутливый тон разговора.

Но он не поддержал меня. Он оставался серьезен и задумчив.

— Мой меч — мое слово.

Он сказал это твердо и печально, как обреченный.

1970

ПОМНИШЬ ХЕМИНГУЭЯ?

Я спустился в темный провал у подножия Хамардабы.

Часовой проверил мой пропуск, и я побрел по глубокому извилистому рву, который вел к командарму.

Изредка попадались навстречу делегаты связи, порученцы, оперативники, которых нетрудно было узнать по набрякшим векам и нездоровой желтизне лица. Дни и ночи корпели они в своих подземельях над картами, схемами, сводками, подготавливая таинственную бухгалтерию победы.

Сквозь маскировочную сетку я видел узенькую голубую полоску и иногда на мгновение — истребитель, пересекавший ее так быстро, что я не успевал заметить, наш это или японский.

Бесконечный ход сообщения был так тесен, что для того, чтобы разминуться с встречным, надо было втиснуться в одну из ниш, выдолбленных в стене. Но их было

мало, и тогда младший по званию поворачивался и, смиренно обтирая плечи о глинистые стены, семеня до ближайшей выемки. А если сталкивались двое равных, начиналось длительное состязание в вежливости.

Я в ту пору носил, как и все корреспонденты, темно-зеленые петлицы без знаков различия, и из-за этого, а может быть, во внимание к моим седым вискам и небоевому ордену, меня обычно принимали за врача и уступали дорогу.

Мне показалось, что командарм оживился — все-таки я вносил некоторое разнообразие в скуку его жизни. Было что-то глубоко мирное в этом прославленном герое испанской войны. Выражение властности умерялось в его лице какой-то доброй насмешливостью. Во взгляде, быстром и повелительном, вдруг появлялась мечтательность. Его скорее можно было принять за ученого или политического деятеля.

Однако эту свободу от профессионального облика я не раз замечал во многих крупных военных и здесь, на Халхин-Голе.

Разве комкор Георгий Жуков не был похож более всего на трагического актера, старый солдат полковник Федюнинский — на школьного учителя, дважды Герой Яков Смушкевич — на циркового борца, а неистовый летчик Сергей Грицевец — на студента-первокурсника?

Нет, нет, боевых петухов с трубным голосом, с маузером на боку, с матом на губах и прочими принадлежностями воинственности надо было искать не здесь, а где-нибудь подальше, на базах хозяйств, в уютных недрах Военторга.

— Нравится ли вам Бальзак? — спросил командарм, усаживая меня на неудобный стул, носивший в армии прозвище «сиди-не-то-упадешь».

Я сказал, что преклоняюсь перед Бальзаком, но что некоторые из его чрезмерно подробных описаний обстановки скучны. Командарм мягко попрекнул меня за уозость вкусов. А я думал о том, как бы склонить его к рассказу об Испании.

Снаружи доносилась гулкая скороговорка наших дальнебойных орудий, стоявших на восточном склоне Хамар-дабы. Время от времени заходили вестовые с донесениями. Командарм пробежал их и с жаром возвращался к «Блеску и нищете куртизанок».

Я редко встречал его на командных и наблюдательных пунктах. Я не видел боевых приказов, подписанных

его именем. Это поражало меня, и я задавал себе вопрос: да командует ли этот командарм?

Когда японцы затеяли эту маленькую жестокую войну в глубинах Монголии, Сталин вызвал из Белорусского военного округа лихого кавалериста комкора Жукова и сказал ему, глядя, как всегда, мимо глаз собеседника куда-то поверх головы:

— Партия и правительство возлагают на вас священную миссию: разбить зарвавшихся японских империалистов.

И подарил Жукову саблю.

Жуков сказал, что постарается с честью выполнить почетное задание партии, правительства и лично товарища Сталина, поцеловал саблю и полетел на Восток.

Вскоре наши войска одержали победу в бою близ Номон-Хан-Бурд-обо, и Сталин забеспокоился.

Он вызвал с Дальнего Востока командарма Григория Штерна.

— Центральный Комитет нашей партии возлагает на вас высокую миссию, — сказал он, устремив взгляд куда-то вдаль, — разбить обнаглевших японских милитаристов.

На вопросы Штерна Сталин отвечал так, что для командарма осталось неясным, кто же должен, собственно, командовать в боях с японцами — он или Жуков?

Полководец, как и капитан на корабле, должен быть один. Старший по званию и по должности Штерн не давил своим влиянием на комкора. Оба конники, они с полуслова понимали друг друга. Руководство со стороны командарма было таким мягким, что неосведомленный наблюдатель мог его и не заметить. И все же то положение неопределенности, связанности, двоевластия, в которое Сталин любил ставить своих генералов, оскорбляло командарма и пугало его.

Через некоторое время, когда наши войска нанесли японцам поражение в бою у горы Байн-Цаган, Сталин вновь забеспокоился и отправил на Халхин-Гол армейского комиссара I ранга Льва Мехлиса.

Журналист и политработник, Мехлис считал себя прирожденным полководцем. Покуда он обнаруживал только второстепенные признаки командира: решительность и храбрость, носившую, правда, несколько театральные характер. Он тосковал по деятельности стратега. Но это было неосуществимо здесь, где уже находи-

лось столько военачальников. Комиссару пришлось ограничиться политработой. Он давал темы для листовок, вдохновлял писателя-фантаста, поселившегося в прифронтовом городке, учил, как подымать дух бойцов. Динамичный темперамент комиссара не укладывался в политическую работу. Избыток его он тратил на то, чтобы с необыкновенной быстротой гнать от станции Борзя за 750 километров на фронт горючее и боеприпасы, танки и пулеметы, понтоны, гречневые концентраты, пушки, витамины, марлю, самолеты, кабель, бумагу, военных корреспондентов, сено и многое другое, необходимое для боевого труда армии. В то же время Мехлис старательно выполнял поручение (про себя он называл его «дипломатическим»), данное ему Сталиным, — незримо наблюдать за командармом и комкором.

(Забегая вперед, скажу, что через несколько лет мечта комиссара, к несчастью, осуществилась. В 1942 году он повел войска в неумело организованное и поэтому безнадежное наступление на Керченском полуострове. Это кончилось неудачей и гибелью тысяч бойцов. Всякого другого Сталин за это расстрелял бы, объявив предварительно изменником Родины. Но таких преданных людей, как Мехлис, у него было немного. Сталин заслал его на один из фронтов в качестве второго члена Военного совета. Там я увидел его грустного, павшего духом. По старой памяти он отпустил мне двадцать литров бензина — теперь это был предел его могущества.)

Путем целой серии наводящих вопросов мне удалось наконец приблизить разговор к испанской войне. Надо признаться, не без сопротивления со стороны Штерна.

Сдавшись наконец, он заговорил скучным лекторским голосом:

— Муссолини прислал на помощь Франко корпус численностью в шестьдесят тысяч человек, состоявший из четырех дивизий: «Божья воля», «Черное пламя»...

— Простите, — прервал я его, — это я знаю.

— Ах, знаете? С нашей стороны им противостояли тридцать тысяч бойцов. Итальянский план операции предусматривал нанесение удара через Гвадалахару. Для этого в районе Сигуенсы...

— Простите, но...

— Так, я вижу, вам и без меня все известно.

— Нет, не все.

— Что же вас, собственно, интересует?

- Вы. Ваше участие.
- Ну, это неинтересно.
- Простите, это и есть самое интересное.

Командарм покачал головой и сказал:

- Рано еще об этом говорить.

И сколько я его ни упрашивал, он решительно отказывался:

- О себе не буду.

Надо думать, вид у меня был в этот момент довольно унылый, потому что он вдруг рассмеялся и, видимо, сжалившись надо мной, сказал:

— Лучше я вам расскажу о Хемингуэе, а? Как он у нас там был в окопах? Идет?

- Конечно!

— Так вот, значит, как-то раз заявляется ко мне Михаил Кольцов и ведет за ручку здорового мужика вот с такими плечами и шеей штангиста. Рядом с маленьким подвижным изящным Кольцовым пара получалась, доложу вам! Типичный медведь с мальчиком-поводырем. «Знакомьтесь: Эрнест Хемингуэй». Он протягивает мне огромную красную лапищу. Я, знаете, не из слабеньких, но это было действительно рукопожатие Топтыгина! И при этом милая застенчивая улыбка. Наверно, он знал силу ее обаяния, потому что впоследствии он часто пускал в ход эту свою неразменную монету. Ну-с, значит, я ему, как водится, сказал, как высоко мы ценим его книги, и все такое. И это, между прочим, чистейшая правда. Не знаю, как вы, а я считаю, что «Прощай, оружие» и «Фиеста» — это первый сорт! А? Особенно «Прощай, оружие». Помните, как там про Капоретто?

Кольцову я запретил таскать Хемингуэя на передовую. Ведь этот отчаянный Кольцов лез в самый огонь. Ну это его дело. Кольцов ведь там у нас был не только корреспондентом. Он занимал довольно ответственную военную должность.

Я решил прервать его:

- А вы знаете, что Кольцов сейчас...

Командарм резко поднялся. Зеленые глаза его потемнели. Он зашагал по убежищу. Закурил.

Широкий, с задумчиво опущенной головой, он грузно нес из угла в угол свое засидевшееся тело.

Я смотрел на его неподвижное лицо и уже жалел о своем неосторожном вопросе.

Молчание становилось тягостным.

Наконец он заговорил медленно, не глядя на меня, словно думая вслух:

— Мы все считали там в Испании, что Кольцов чертовски смелый... А вот сейчас я начинаю думать, что он искал смерти...

Он отшвырнул папиросу и сказал устало:

— И правда, лучше бы его убило где-нибудь там под Уэской рядом с Лукачем, чем...

Он махнул рукой и продолжал уже спокойно:

— Так вот, значит, скоро я узнал, что Хэмингуэй сам нашел дорогу, куда хотел. И в Бригуэнсу, и в Университетский городок, и в Боадолья-дель-Монте. Словом, во все горячие места. Разве за вами, писателями, уследишь? По-испански он говорил. И потом эта его улыбка действовала как пропуск генштаба.

Ну вот, значит, после разгрома очередного наступления фашистов он вдруг заявился ко мне: «Хочу посмотреть». Поехали. Ну, зрелище, доложу вам! Действительно, было на что посмотреть. По всей дороге брошенные машины, некоторые вверх тормашками, всякие там «фиаты», Лянчии да Изото-Фраскини. Ранцы, снаряды, пулеметные ленты, лопаты буквально сотнями. А бумаги! Меня всегда удивляло, сколько на войне бумаги! Письма, карты, донесения, приказы, дневники...

Хэмингуэй попросил остановить машину и вышел.

Он шел медленно, внимательно осматривая все на пути. Особенно трупы.

Я обратил внимание на его походку: шаг словно неуклюжий, даже немного косолапый, вместе с тем мягкий, осторожный, я бы сказал — звериный шаг.

Иногда он останавливался. Один раз я слышал, как он пробормотал:

— Да, это они...

Я понял: ведь он видел разгром итальянцев под Капоретто!

Потом он повернулся ко мне и сказал:

— Знаете, генерал, когда я был помоложе, я много думал о смерти. А теперь...

Он пожал плечами: чепуха, мол. Так, по крайней мере, я его понял.

Но потом он вдруг прибавил:

— И все-таки я ее ненавижу за то, что она отняла у меня столько друзей.

Вот идите поймите его! Тут-то мне и показалось, что

Хемингуэй, как говорится, соткан из противоречий. А может, я чего-то и недопонял.

Говорил он отрывочно, примерно так, как он иногда пишет. Он еще сказал:

— Знаете, генерал, я ведь никогда не видел так называемой естественной смерти, хотя отец мой был врачом, и у нас дома...

Он не закончил, словно какая-то мысль поразила его. Потом он сказал извиняющимся тоном:

— Я сказал «так называемой», потому что никакая смерть не кажется мне естественной.

Командарм остановился, чтобы разжечь потухшую папиросу. Никогда он не говорил так долго. Казалось, он вознаграждал себя за обычную молчаливость.

Мне хотелось записать все это. Но я боялся прослушать какую-нибудь вескую подробность. Поэтому почти мускульным напряжением я насторожил внимание, чтобы в точности все запомнить.

В это время, откинув плащ-палатку, заменявшую дверь, вошел низкорослый атлет с двумя Звездами Героя на гимнастерке.

— Сядь, Яков, — сказал командарм, — я тут рассказываю товарищу про наших испанских знакомых.

Смушкевич осторожно уселся на стул «сиди-не-то-упадешь» и склонился курчавой головой над ворохом аэрофотоснимков. Тяжелое и несколько сонное лицо его казалось вялым. Только маленькие глазки иногда остро посверкивали под густыми бровями. Он выглядел необычно в мягких неформенных брюках и дачных сандалиях. Но все на фронте знали, что командующий фронтовой авиацией Яков Смушкевич во время вынужденного прыжка с парашютом повредил себе ноги.

Командарм продолжал, откинувшись на спинку стула широкими покатыми плечами и мечтательно глядя вдаль:

— Некоторое время я шел рядом с Хемингуэем. Погода была аховая. Помнишь, Яков? Мерзлый дождь пополам со снегом. Я отстал, пошел в машину. А он шел все вперед и вперед. Иногда надевал очки, во что-то вглядывался. А я смотрел ему вслед и думал, как же из такой мужской громадины, боксера, матадора, охотника на львов вылупился такой тонкий, душевный писатель?

Он вернулся промокший, угрюмый. Мы поехали

обратно. Он вынул из кармана фляжку и отхлебнул. Я ни о чем не спрашивал его. Видел, что человеку хочется помолчать. Наконец он сказал:

— Это ужасно. Но это единственный способ расправиться с этими гангстерами.

Я сказал:

— Знаете ли вы, что это совпадает с тем, что сказал Максим Горький?

Он оживился:

— В самом деле?

Я сказал ему известные слова Горького, вы, конечно, знаете их: «Если враг не сдается, его уничтожают».

Он покачал головой и сказал:

— Я освобожусь от этого только тем, что напишу об этом.

Смушкевич поднял свое массивное лицо и спросил:

— О ком это ты?

— О Хемингуэе. Помнишь его?

— А кто это?

— Я же говорю: Хемингуэй.

Командарм несколько смущенно покосился на меня и повторил настойчиво:

— Хемингуэй. Американский писатель. Забыл, что ли? Конфуз прямо. Ну, здоровый такой дядя. С Лукачем приходил к нам. И с Кольцовым.

Смушкевич махнул рукой.

— А черт его знает!

Командарм сказал с последней отчаянной надеждой:

— Мы еще, помнишь, пили с ним.

Герой равнодушно пожал плечами:

— Мало ли с кем мы пили.

И снова углубился в аэроснимки, грызя ногти и поживаясь от комариных укусов.

Я поспешил переменить разговор:

— И все-таки после этой замечательной победы республиканцы были разбиты...

Командарм развел руками.

— Что вы хотите? Франко получал помощь и от Гитлера и от Муссолини. Если бы республиканцам помогла Франция, они бы победили.

— Франция? А Россия?

Вдруг заговорил Смушкевич.

— Слушайте, — сказал он, презрительно помаргивая тяжелыми веками, — середка на половинку — это хуже нет. Полуправда хуже, чем вранье. Полусила — это то

же самое, что полуслабость. Ясно! Или вам требуется разжевать?

Я понял, что мои вопросы только мучают их.

Я встал.

— Спасибо вам большое, — сказал я, обращаясь к командарму. — И за подробности, и за Хемингуэя. Я увидел все прямо как на экране.

— Это все вы увидите и здесь, — сказал командарм. — Японцев ждет такой же разгром. Это я могу твердо обещать.

Должно быть, я не удержался от удивленного взгляда, услышав это «я», потому что командарм на мгновение отвел глаза.

— Ну а что касается Хемингуэя, — сказал он, приятно улыбаясь, — то ведь у нас есть вы.

На дне этой любезности мне послышалась насмешка.

Кровь застучала у меня в висках, и я сказал запальчиво:

— Простите, но я могу писать только о том, что мне понятно до конца!

Штерн грозно сдвинул брови.

— А что же вам, собственно, непонятно?

«Кто, в конце концов, командует здесь?» — уже готов был я выкрикнуть.

Но вдруг за этой маской властности и гнева я увидел комочек боли, крошечный, тщательно скрываемый. И мне стало бесконечно жаль этого героя на цепи, эту запеленутую мощь, эту жертву игры Сталина.

И я промолчал.

Молчал и он.

Какое это было оглушительное молчание!

1940

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

Есть писатели легкой судьбы. А есть — трудной. Все было у Андрея Платонова — талант выдающийся, обширная образованность, знание жизни. Одного не было дано ему: житейской ловкости. Но ведь отсутствие ее тоже украшает человека. Андрей Платонов был писатель трудной судьбы. А между тем по своей натуре он был человеком радостным. Даже в самые тяжелые для себя дни он сохранял светлый дух. Он жил с открытым сердцем.

Как-то в нехороший для него период, в последний год его жизни, когда он тяжело болел, зашел я к нему. Он сидел в кресле с книгой в руках. Поднял голову. Вижу: его некрасивое, простонародное, прелестное лицо светится веселостью. Заглянет в книгу и тихо засмеется. Это был довольно известный в ту пору роман, отнюдь не юмористический, — наоборот, сугубо «проблемный». Спрашиваю:

— Что вас так смешит?

Он говорит:

— Знаете, если бы это было написано еще немножко хуже, это было бы совсем хорошо.

Это был смех удивления. Платонова поразили почти пародийные несообразности этой книги, и впечатление его тотчас вылилось в этих немногих, убийственно метких словах.

В пору своей молодости Андрей Платонов любил иногда поиграть словом и образом, попробовать свои силы по-озорному: «А дай-ка я сюда поверну сюжет...», «А дай-ка я толкану своего героя поступить этак...». И поворачивал, и толкал. Это были забавы силача. Сам Платонов писал о них через много лет:

«Я совершил несколько грубых ошибок».

К сожалению, за этими ошибками кое-кто не увидел большого, мужественного, честного художника.

В 1950 году Платонову после долгого молчания удалось выпустить книгу сказок «Волшебное кольцо» — благодаря Шолохову, который поставил свое имя как редактор этой книги. Это пересказ народных сказок, сделанный великолепным русским языком.

Вообще русское, национальное было выражено в Платонове очень сильно. Выражалось оно, разумеется, не в том, что он носил косоворотки с расшитым воротом или раздражался декламацией о любви к родине. Но в языке, в образности, в военной судьбе, в характере мышления, даже в говорке. Оно, это русское, национальное, существовало в нем произвольно и естественно, как дыхание. Он всегда мне казался русским интеллигентом в самом чистом смысле этого понятия.

И вместе с тем кое-что в его писательском облике было родственно очарованию француза Экзюпери. И в этом нет ничего противоречивого: то, что по-настоящему национально, то по-настоящему и является общечеловеческим.

Своеобразным было отношение Платонова к природе.

Инженер по образованию и по практической деятельности, он объединял цивилизацию и природу в одно разумное целое. Он писал в своей автобиографии:

«Рост травы и вихрь пара требуют равных механиков».

Случайно, походя, в разговоре обнаруживались его обширные познания в естественных науках, в философской литературе.

В природе для него не было ничего противного. Даже червь, которого находит мальчик Егор из рассказа «Железная старуха», червь, который обычно вызывает ощущение гадливости, так изображен писателем:

«Червь дремал... от него пахло рекою, свежей землей и травой. Он был небольшой, чистый и кроткий, наверно детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик».

В одной из своих критических статей, которые, кстати, отличает не только глубина мысли, но и изящество формы, Платонов писал «о литературе, которая действовала бы «напрямую», то есть кратко, экономно, но с глубокой серьезностью излагала бы существо того дела, которое имеет изложить писатель».

Это и было одно из характерных свойств Платонова как писателя и стилиста: он прямо идет к цели, не позволяет себе уклониться от нее ни на миллиметр. И он идет до дна, он беспощаден. Это толстовское свойство.

Энергия образности его временами поразительна. Вспомним старого паровозного машиниста из чудесного рассказа «Фро», которого перевели на пенсию, а он тосковал по работе и каждый день ходил в депо, и, пишет Платонов, «возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения».

Говорят о гуманизме Платонова, о его любви к людям и т. д. Да, конечно. Но забывают о его сатирическом даре, о мече, который он не выпускал из рук.

Когда Платонов пошел на войну, снова, как и во время гражданской войны, выяснилось, что он обладает обоими видами храбрости — и интеллектуальной, и физической.

Кажется, в сорок втором году я встретил его на Тверском бульваре, у Дома Герцена, где он жил. Военная гимнастерка не щегольски, но ладно сидела на нем. Он приехал, помнится, из-под Ржева. Узнав, что я с Юго-Западного фронта, он встрепенулся:

— Ну как там, в Воронеже Ямская слобода? У нас или у немцев?

Это была его родина. Он потребовал, чтобы я рассказал ему, какие дома в Воронеже разбиты. Лицо его темнело во время моего «доклада». Он ни минуты не сомневался в нашей победе. Кстати, его корреспонденции с фронта принадлежат к тем немногим военным очеркам, которые живы и сейчас.

Андрей Платонович очень любил детей, и я не знаю, что может сравниться с его циклом «Рассказы о детях» — по силе, поэтичности, нежности, великодушию, глубине, — разве что рассказы того же Экзюпери.

И этому человеку, который так любил детей, суждено было пережить потерю сына. Он умер от туберкулеза на руках у Андрея Платоновича, успев заразить отца.

Человек создан для счастья. Но оно когда-то было так редко, что в писателе не накапливался запас жизненных наблюдений о счастье.

И Платонов изображал человека в трудных условиях существования и показывал, как все мужественное и светлое, что есть в человеке, напрягается и достигает блеска.

Последние годы Платонова были омрачены тяжелой болезнью.

Он вел себя мужественно.

Он даже открыл некоторые радости в ней.

Дело в том, что в эти горькие для него дни люди старались помочь ему. И Андрей Платонович радовался не только тому, что облегчили его существование, но и тому, что целая группа людей бескорыстно и деятельно заботилась о нем.

Он говорил:

— Если бы не моя болезнь, я бы так и не узнал о любви ко мне стольких хороших людей.

Это трогало его до слез.

В одном из военных очерков своих Платонов писал о том, «как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его». Не «смертию смерть поправ», а жизнью «смерть поправ» — вот философия Андрея Платонова.

1963

ФЕРМЕНТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Трудно сказать, когда я впервые увидел Бабеля. У меня такое ощущение, что я знал его всегда, как знаешь небо или мать.

По-видимому, все-таки первое знакомство произошло где-то в самом начале двадцатых годов. Именно тогда на оборотной стороне больших листов табачных и чайных бандеролей, оставшихся в огромном количестве от дореволюционных времен, печатались ранние советские одесские издания. Там-то, на этой прозрачной желтой бумаге, стали появляться рассказы Бабеля, пронзившие нас, молодых литераторов, своим совершенством.

Обаяние писательской силы Бабеля было для нас непреодолимо. Сюда присоединялось еще и личное его обаяние, которому тоже невозможно было противиться, хотя в наружности Бабеля не было ничего внешне эффектного.

Он был невысок, раздался более в ширину. Это была фигура приземистая, приземленная, прозаическая, не вязавшаяся с представлением о кавалеристе, поэте, путешественнике. У него была большая лобастая голова, немного втянутая в плечи, голова кабинетного ученого.

Мы приходили в его небольшую комнатку на Ришельевской улице, набитую книгами и дедовской мебелью. Он читал нам «Одесские рассказы» и открывал всю сказочную романтичность города, в котором мы родились и выросли, почти не заметив его.

Стоит сказать несколько слов о манере чтения Бабеля; она была довольно точным отпечатком его натуры. У него был замечательный и редкостный дар личного единения с каждым слушателем в отдельности. Это было даже в больших залах, наполненных сотнями людей. Каждый чувствовал, что Бабель обращается именно к нему. Таким образом и в многолюдных аудиториях он сохранял тон интимной камерной беседы.

Чтение его отличала высокая простота, свободная от того наигранного воодушевления, которое неприятно окрашивает иные литературные выступления. Поразителен был контраст между спокойной, мягкой, южной интонацией Бабеля и тем огненным темпераментом, который пылал в его рассказах и о котором Ромен Роллан писал Горькому:

«Существуют ли между Вами и Бабелем какие-

нибудь отношения? Я читал его произведения, полные дикой энергии».

Во время чтения с лица Бабеля не сходила улыбка, добро-насмешливая и чуть грустная.

Оговариваюсь тут же, что Бабеля никак нельзя было назвать грустным человеком. Наоборот: он был жизнерадостен! В нем жила жадность к жизни и острый интерес к познанию тех механизмов, которые движут душевной жизнью человека, душевной и социальной. Когда человек его заинтересовывал, он старался постигнуть, в чем его суть и пафос. С годами Бабель стал писать проще. И из жизни его стала исчезать та несколько театральная таинственность, которой он любил облекать некоторые стороны своего существования. Он избавлялся от стилистических преувеличений. Это, между прочим, отразилось на его отношении к Мопассану. В ранние одесские годы он говорил:

— Когда-то мне нравился Мопассан. Сейчас я разлюбил его.

Но, как известно, и этот период прошел. Избавляясь от стилистических излишеств, Бабель снова полюбил Мопассана.

Бабель как писатель созрел в Одессе. И Одесса признала его сразу. Но далеко не сразу удалось его рассказам перекочевать с листов табачных бандеролей на страницы литературных журналов. Для всей страны Бабеля открыл Маяковский, когда в 1924 году напечатал в журнале «Леп» «Соль», «Король», «Письмо» и другие рассказы, — по определению одного критика, «сжатые, как алгебраическая формула, но вместе с тем наполненные поэзией».

Сохранилась стенограмма, к сожалению неполная, выступления Маяковского на диспуте в 1927 году, где Маяковский, между прочим, сказал:

— Мы знаем, как Бабеля встретили в штыки товарищи, которым он показал свои литературные работы. Они говорили: «Да если вы видели такие беспорядки в Конармии, почему вы начальству не сообщили, зачем вы все это в рассказах пишете?..»

Одно время Бабель хотел поселиться под Одессой, у моря, за Большим Фонтаном, в месте тихом и тогда почти пустынном.

По разным причинам это не удалось, и он поселился под Москвой, в месте далеко не пустынном, в писательском поселке Переделкино.

На вопрос, каково ему там, он ответил:

— Природа замечательная. Но сознание, что справа и слева от тебя сидят и сочиняют еще десятки людей, — в этом есть что-то утрашающее...

Бабель, который для многих служил объектом восхищения и даже обожания, сам имел бога.

Этим богом был Горький.

При Бабеле нельзя было сказать ни одного критического слова о Горьком. Обычно такой терпимый к мнениям других, в этих случаях Бабель свирепел.

Горький привлекал к себе Бабеля не только как писатель, но прежде всего как необычайное явление человеческого духа. Он не уставал говорить о Горьком. Он был до того влюблен в Горького, что все ему казалось в нем прекрасным — не только проявления его духа, но и любые подробности его физического существа. Описывая одежду Горького, он писал:

«Костюм сидел на нем мешковато, но изысканно».

Говоря о походке Горького, он прибавлял, что она «была легка, бесшумна и изящна».

Или — о жесте Горького:

«Он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец».

Не однажды Бабель писал о Горьком, а в 1937 году вышел номер журнала «СССР на стройке», целиком посвященный Горькому. На обложке его значится: «План, передовая и монтаж текста И. Бабея». Вот несколько строк из этой передовой, которая вся — гимн Горькому, прекрасные своей вдохновенностью:

«Горький, учась всю жизнь, достиг вершины человеческого знания. Образованность его была всеобъемлюща. Она опиралась на память, являвшуюся у Горького одной из самых удивительных способностей, когда-либо виденных у человека. В мозгу его и сердце — всегда творчески возбужденных — впечатались книги, прочитанные за шестьдесят лет, люди, встреченные им, — встретил он их неисчислимо много, — слова, коснувшиеся его слуха, и звук этих слов, и блеск улыбок, и цвет неба... Все это он взял с жадностью и вернул в живых, как сама жизнь, образах искусства, вернул полностью...

Перед нами образ великого человека социалистической эпохи. Он не может не стать для нас примером — настолько мощно соединены в нем опьянение жизнью и украшающая ее работа».

Жизнь Бабеля была прервана на полпути, тогда, когда талант его начал приобретать новые, еще более сверкающие грани.

В этот последний период жизни он как-то сказал в разговоре:

— Я не жалею об ушедшей молодости. Я доволен своим возрастом.

— Почему? — спросили его.

Он ответил:

— Теперь все стало очень ясно видно.

О двух замечательных советских писателях существовал ходячий обывательский миф, что они мало писали: о Бабеле и об Олеше.

Но после Олеси осталось одно из его крупнейших и по размерам и по значительности произведений: «Ни дня без строчки».

После Бабеля осталась пьеса, по-видимому, незаконченная, но содержание которой он рассказывал, осталось и несколько папок с рукописями.

Уже много лет Бабеля читают во всем мире. И чем дальше, тем больше. Его рассказы отличаются, если можно так выразиться, своей непреходящей современностью.

Говоря о стиле нашей эпохи, Бабель сказал, что он заключается «в мужестве, в сдержанности, он полон огня, страсти, силы, веселья».

Я думаю, что в этом и заключается фермент долговечности Бабеля.

1963

ИТАК, Я ЖИЛ ТОГДА В ОДЕССЕ...

Почему Дерибасовская улица, казалось бы, ничем не замечательная — ни обширностью, ни архитектурой, ни исторической значительностью, — на которой нет ни вузов, ни памятников, ни дворцов, почему именно она издавна так полюбилась людям, так повсеместно стала

известна, так прочно вошла в литературу? Вот же рядом Пушкинская, которая красивее, Ришельевская, которая шумнее, Екатерининская, которая грандиознее.

Но сердцем Одессы, ее сущностью, ее самым романтическим выражением остается маленькая Дерибасовская.

Мальчишкой я пробегал по ней, направляясь в школу. Мне знаком здесь каждый камень, каждый выступ дома, каждое дерево. И вот сейчас, спустя полвека, я стою у ее устья. Что ж, словно бы и не изменилась Дерибасовская... Слева тот же старинный двухэтажный дом графа Воронцова с губернаторской канцелярией, где коллежский секретарь Пушкин получал прогонные на командировку по борьбе с саранчой и потом представил знаменитый насмешливый стихотворный отчет. Далее — акации Городского сада. Справа — пухлый рококошный торговый «Пассаж», похожий на огромное пирожное с кремом. За ним вдали силуэт «Московской» гостиницы с алебастровыми мистическими мордами на фасаде.

Да, не изменилась Дерибасовская, и все же она совсем другая. Потому что протянулась она не только в пространстве, но и во времени.

По-видимому, Дерибасовская была окрещена примерно тогда же, когда и маленький военный порт Хаджибей. Он получил свое имя от античного милетского поселения Одессос. Она — увековечила Де Рибаса.

Накануне взятия Хаджибея этот молодой честолюбивый генерал писал:

«Я гибну от желания что-нибудь совершить».

Он сам повел войска на штурм. В ночь на 14 сентября 1789 года солдаты по приставленным лестницам взобрались на стены крепости во главе с капитаном Трубниковым, о котором Де Рибас писал с никогда не покидавшим его чувством юмора:

«Он был так непочтителен, что оставил меня внизу лестницы, чтобы показать мне, как он умеет идти на штурм».

Насколько можно судить, Де Рибас соединял в себе талант, горячность и остроумие. Великий Суворов говорил, что для него с Де Рибасом нет ничего невозможного, и брался вместе с ним и сорока тысячами русских солдат завоевать Константинополь. Отсюда видно, что Де Рибас был одесситом еще до появления Одессы.

Через полтора года защитники осажденной Одессы прокатили по Дерибасовской дальнобойные орудия, от-

битые у гитлеровцев. На перекрестке они остановились, и все могли прочесть надписи, сделанные мелом на стволе каждой пушки: «Она стреляла по Одессе — стрелять больше не будет. Факт. Ручаемся». И длинный ряд подписей. Узнаете? Это все тот же неиссякаемый одесский сплав отваги и юмора.

Перекресток этот — Дерibasовская угол Ришельевской (теперь ул. Ленина) — один из оживленнейших. Но примечателен он еще и другим. Здесь стояла гостиница, где останавливался Пушкин. Из своей комнаты на втором этаже он видел театр, море. Надо сказать, Пушкин и сегодня ощущается в Одессе почти физически, вероятно, благодаря необычайной конкретности одесских строф в «Евгении Онегине».

«Всем нам знакомы два окна во втором этаже дома на углу Ришельевской улицы, из которых, по сложившейся уже легенде, высывалась курчавая голова и кликала для расплаты стоявших на этом углу биржевых извозчиков, которым Пушкин оставался должен за езду в дни безденежья...» — пишет в своих воспоминаниях ришельевский лицеист Маркевич.

Внизу была кофейня под вывеской: «Сезар Оттон ресторатор».

Шум, споры — легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном...

Онегинские описания до того достоверны, что по ним можно восстанавливать старую Дерibasовскую. Помните об «Одессе грязной»?

Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд...

Это не метафора, не поэтическое преувеличение. Вот цитата из воспоминаний старожила:

«Жители надевали высокие деревянные башмаки («ходули»). Но это не всегда помогало. По углам главных улиц стояли носильщики. Они нас переносили с одного тротуара на другой, причем сами иногда ходили по пояс в грязи. Платили за это по 5 или 10 копеек».

И даже знаменитый «вол в дрожках» —

Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склона,
Сменяет хилого коня —

тоже не метафора. Старожил продолжает:

«...Отец выедет утром по делам; часам к трем возвращается кучер верхом на лошади. «Где же отец?» — спрашиваем мы. «Да дрожки застряли на Дерибасовской улице!» Потом нанимали волов и вытаскивали дрожки из грязи...»

Одесские строфы «Евгения Онегина», о которых поэт В. Туманский сказал, что они «грамота на бессмертие» Одессы, написаны тем не менее не в Одессе. Здесь Пушкин пишет о Крыме («Бахчисарайский фонтан»), о Бессарабии («Цыганы»), о Петербурге, о «деревне, где скучал Евгений». Об Одессе он пишет в Михайловском. Там написано даже знаменитое прощание с морем — «Прощай, свободная стихия». Издали виднее...

Пушкинская Одесса — это еще и огромный старинный дом на углу Дерибасовской и улицы Маркса, бывший «дом Вагнера». Здесь помещался Ришельевский лицей. Отсюда вышли декабристы Поджио, Корнилович и другие. В темпераменте Пушкина, в его свободолюбии, отваге, пылкости, иронии находили совпадения с духом передовой Одессы. Среди лицейстов ходили по рукам, впрочем, как и во всем городе, запрещенные политические стихи Пушкина, его эпиграммы на Воронцова. Ни для кого не была тайной борьба могущественного генерал-губернатора с поэтом. Из Казенного дома на Дерибасовской улице летели в Петербург доносы на мятежного поэта. В одном доносе Воронцов называет Пушкина «слабым подражателем малопочтенного образца — лорда Байрона», — ухитрившись, таким образом, в одной фразе оплевать двух гениев.

«Дом Вагнера» связан не только с именем Пушкина. Это огромное строение раздалось на три улицы, охватив, кроме Дерибасовской, еще Екатерининскую и Ланжероновскую. Детскому воображению моему этот дом казался гигантским, как мир. Просторный двор его сохранил спокойные, уютные и изящные черты старой одесской архитектуры. Круглый каменный бассейн, тенистые акации, арки...

Именно здесь в 1825 году жил кандидат в преподаватели Ришельевского лицея Адам Мицкевич. А забегая вперед на три десятка лет, упомянем, что в 1855—1856 годах здесь преподавал Д. И. Менделеев.

К Дерибасовской примыкает полутемный от нависших ветвей акаций переулок, сохранивший свое старое название: Красный. Когда я сейчас вступил в него, в нос мне ударил запах кофе с такой силой, что я оглянулся,

ища глазами все эти бесчисленные маленькие греческие кофейни, которыми была напичкана эта расщелина у Дерibasовской улицы.

Но, конечно, я их не увидел, потому что это был не запах кофе, это было воспоминание о запахе кофе, о стуке бильярдных шаров и костяшек домино, о полосатых тентах кафе «Дюльбер», под которыми мастер Верлинский за сходную плату делал разгромные маты тщеславным любителям, без конца попивая ароматный турецкий кофе из крошечных глиняных чашечек.

Несомненно, сюда приходил Пушкин. И не об этих ли местах сказано в «Отрывках из путешествия Онегина»:

Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.

Но, конечно, не ради кофе приходил сюда Пушкин. Здесь был центр греческих эмигрантов, «гетеристов», готовивших восстание против Турции.

«...В лавках, на улицах, в трактирах, — восторженно писал Пушкин в одном письме, — везде собирались толпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты...»

Я подошел к дому № 18. Он сохранился нетронутым во всей своей прекрасной скромности. Только прибавилась антенна телевизора. Сознание, что в 1823 году здесь собирались греческие патриоты-заговорщики, что на дом этот с жадным интересом смотрел Пушкин, — не может не волновать.

Площадь рядом, тоже примыкающая к Дерibasовской, называлась Греческая. Она была полна рыбными запахами, трактирами, крестьянскими возами. Сейчас здесь автобусный вокзал. И, шагнув сюда с Дерibasовской, вы можете сесть в комфортабельный автобус и поехать в Киев, Черновцы или Умань.

На дореволюционной Дерibasовской было немало живописного. Мостовая из деревянных торцов. Кокосовые орехи в ларьках. Прохладные подъезды с мраморными лестницами. Ограда Городского сада, увитая плющом. Продавщицы цветов на углу Дерibasовской и Екатерининской, такие же нарядные и красочные, как их тюльпаны и розы, качавшиеся в ведрах с водой. Однако эти умиляющие подробности не должны нас разнеживать. Живописность блекла по мере удаления от центра на окраины. Там более чем две трети домов не имели

водопровода, а канализации там вообще почти не было. И вот результат: на Пересыпи, в Слободке-романовке, на Сахалинчике смертность была почти в два раза больше, чем в патрицианских домах на Дерибасовской.

Поэтому я не скорблю об исчезнувших кокосах и торцах, мраморных лестницах и ограде Городского сада. Но все-таки есть вещи, которых жаль. Мне жаль, например, «Гамбринуса».

Этот прославленный Куприным кабачок находился на углу Дерибасовской и Преображенской.

Вы помните великолепный, ставший почти классическим рассказ Куприна? Помните трогательный и мужественный образ Сашки-Музыканта?

Но ведь рассказ «Гамбринус» замечателен не только своей художественной силой. Он достоверен во всех своих деталях. Когда Эдуард Багрицкий «узнал, что герой купринского «Гамбринуса» Сашка-Музыкант продолжает здравствовать и играет в том же кабачке, он немедленно отправился туда, свел знакомство с Сашкой, очень гордился этим знакомством и одну зиму вообще никаких других развлечений, кроме посещений «Гамбринуса», не хотел признавать», — пишет Б. Скуратов в своих воспоминаниях о Багрицком.

Сашка-Музыкант дожил до 1921 года. Константин Паустовский был на его похоронах.

«Хоронила Сашку-Музыканта, — пишет он в «Потоке жизни», — вся портовая и окраинная Одесса. Эти похороны были как бы концовкой купринского рассказа», этого, как далее называет его писатель, «шедевра любви к людям, жемчужины среди житейского мусора».

Несколько лет назад «Гамбринус» вдруг переименовали в «Антарктику». А потом и вовсе закрыли. Сейчас на этом месте склад. Я думаю, что складское помещение в Одессе как-нибудь нашлось бы и в другом месте. А «Гамбринус», восстановленный в том виде, в каком его обессмертил Куприн, мог бы составить одну из культурных и романтических достопримечательностей Одессы. Сохраняют же чехи в Праге кабачок, где заведателем был Швейк. Хорошие традиции надо уважать.

Мне нравится, что сняли ограду с Городского сада. Дерибасовская от этого выиграла. Дыхание ее стало шире. Внешняя аллея сада теперь как бы слилась с улицей. Здесь стоят скамьи. Под конец дня на них не найдешь места. Здесь сидят как в театральных креслах

и наблюдают нарядное зрелище вечерней гуляющей Дерибасовской.

Мы не должны пройти мимо того дома на Дерибасовской, чьи окна, забранные решеткой, смотрят в сад. Здесь помещалась редакция газеты «Одесское Обозрение». В годы между 1907 и 1909 она была одной из наиболее читаемых в городе. Горький получал ее на Капри. Разворачивая свежий лист «Одесского Обозрения», читатель прежде всего искал фельетон, подписанный Фавном или Кентавром. Когда эти фельетоны, отличающиеся гражданской смелостью, остротой темы и художественным блеском, вдруг прекратились, газета сразу поблекла и потеряла популярность. Этим Фавном и Кентавром был большевик-ленинец, выдающийся литератор Вацлав Воровский. Фельетоны в «Одесском Обозрении», в которых отразилась прямая, отважная, рыцарская натура Воровского, разумеется, не были единственной, ни даже главной его работой. Он руководил Одесской партийной организацией. Редакция «Одесского Обозрения» была им, между прочим, использована и как большевистская явка. Здесь он получал письма от Ленина и Крупской. Одесская охранка давно охотилась за некоей Жозефиной. Это была подпольная кличка Воровского. Дважды его арестовывали и в конце концов отправили из Одессы в ссылку.

В годы гражданской войны Дерибасовская видела кровь. На углу Пушкинской был предательски, из-за угла, застрелен начальник штаба Красной Армии М. Кангун.

Как-то в Одессу ворвались одновременно петлюровцы и денкинцы. Они разодрали Одессу на две части. Этот трагикомический эпизод описан в талантливой повести А. Козачинского «Зеленый фургон»:

«Границей добровольческой зоны была Ланжероновская улица, границей петлюровской — параллельная ей Дерибасовская. Рубежи враждующих государственных образований были обозначены шпагатом, протянутым поперек улиц. Квартал между Ланжероновской и Дерибасовской, живший между двух натянутых шпагатов, назывался нейтральной зоной и не имел государственного строя».

Белогвардейская Дерибасовская блестяще изображена Алексеем Толстым в повести «Похождения Невзорова, или Ибикус»:

«Что за чудо — Дерибасовская улица в четыре часа

дня, когда с моря дует влажный мартовский ветерок! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде...»

Не вызывает ли это у вас в памяти что-то знакомое? Конечно.

«Нет ничего лучше Невского проспекта...» и так далее.

Гоголь!

И дальше. У Ал. Толстого:

«Если вас одолело сомнение, да верно ли, не мишура ли вся эта разодетая, шумная Дерибасовская?..»

У Гоголя:

«О, не верьте Невскому проспекту... Все обман, все мечта, все не то, чем кажется!»

Нет сомнения: Толстой сознательно выдержал описание Дерибасовской в музыкальном ключе гоголевского описания Невского проспекта. Дерибасовская для разбитой и бежавшей буржуазии стала Невским проспектом юга — последний клочок земли, за который цеплялся изгнанный народом эксплуататорский класс. И в этом сатирический смысл художественной параллели между Невским проспектом и Дерибасовской.

Война!

На 23 августа 1941 года гитлеровцы назначили парад своих войск на Соборной площади, прилегающей к Дерибасовской улице. Это вызвало среди защитников Одессы град яростных насмешек. После этого несостоявшегося парада Одесса оборонялась еще около месяца и эвакуировалась, только подчиняясь приказу Ставки и то предварительно попытавшись его оспорить.

Не хватает оружия? Фабрика игрушек стала изготавливать мины, фабрика ваксы — запалы. Мастерские трамвайного парка переоборудовали тракторы в танки. Одесситы немедленно прозвали их «НИ», то есть «На испуг». Когда линкор «Парижская коммуна» крыл большим калибром через город по противнику, в городе ласково улыбались: «Слышите голосок? Это наша парижаночка». Между тем кольцо блокады сжималось. На фронт ездили в трамвае, до любого пункта — сорок минут. В некоторых вагонах на вращающихся корабельных башнях стояли пушки. У театра возле Дерибасовской выросли надолбы и рогатки.

Смелый десант защитников Одессы отбросил про-

тивника. Шел третий месяц обороны. Положение осажденного города улучшилось. Он готовился к наступлению.

В это время получился из Ставки приказ оставить Одессу и эвакуироваться в Крым. Как видно из воспоминаний вице-адмирала И. И. Азарова, Одесса хотела продолжать драться и даже телеграфировала наркому просьбу сохранить Одесский оборонительный район. В ответ получилась строгая телеграмма:

«Прекратите обсуждение приказа Ставки и мобилизуйте людей на выполнение его...»¹

Это была не совсем обыкновенная дискуссия между высшей властью, приказывающей отступить, и городом, не желающим отступить. В истории второй мировой войны известен только один случай такой дискуссии: вот этот, одесский.

Эвакуация была до того неожиданна для противника, что сошла не замеченной им. По искусству проведения и достигнутым результатам она считается непревзойденной во всей истории войны.

* * *

И вот я стою у истока Дерибасовской улицы: Сзади — улица Гарибальди (он был здесь полтора года лет назад), внизу лестница в порт, впереди море.

Так и хочется сказать: море доплескивается до Дерибасовской. Преувеличение? Конечно, на самой Дерибасовской нет моря, но есть моряки. И сколько их!

Неофициальная статистика утверждает, что нынче каждый третий одессит связан с морем. Он или моряк, или портовик, судостроитель, китобоец, рыбак, либо учащийся одного из морских учебных заведений. А их в Одессе свыше десятка. Одесский порт самый большой, а Черноморское пароходство самое крупное в стране. Помещается оно тут же, в начале Дерибасовской.

Удивительно ли после этого, что в оживленной толпе на Дерибасовской то и дело мелькают тельняшки, бескозырки, мичманки, голландки, маленькие якоря — золотом на фуражке, татуировкой на руке.

Они толпятся — на углу Дерибасовской и улицы

¹ А з а р о в И. И. Осажденная Одесса. М., Воениздат, 1962, с. 173.

Маркса — возле огромного дома с романтической вывеской «Управление антарктическими китобойными флотилиями». Они заполняют четыре кинотеатра, разбросанные в разных концах Дерибасовской. Они забегают по соседству в кафе «Малютка», где, вопреки его названию, посетителям, к счастью, подают не соску с молочком, а черный кофе с ликером.

Одесская толпа шумна, но по-веселому. Даже отдельного одессита слышно издали. Это не суетливость. Это избыток энергии, это переливающаяся через край радость существования.

Одесса растет, как и Москва, на юго-запад. Там, где была бескрайняя польничная степь да редкие бахчи, встают кварталы многоэтажных домов.

Что касается Дерибасовской, то ей предстоит превратиться в улицу-бульвар — зеленые аллеи, скамьи, водоемы. А магазины? Да, они остаются на Дерибасовской. Но они архитектурно преобразованы, осовременены и, так сказать, распахнуты навстречу свету. Они выходят пространством на улицу. Внешняя стена — от земли до крыши — прозрачная и наклонная, как бы слегка нависающая над улицей. Это красиво и целесообразно.

На Дерибасовской появятся музыкальные салоны, цветочные магазины, учреждения для бытовых услуг, кафе. Во всем будет легкость, прозрачность, светлые цвета. Найдет ли в себе Одесса охоту, средства и силы, чтобы осуществить это? Конечно: ведь Одесса не любит отступать. Даже когда ей приказывают.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Турков. Недаром пожито!</i>	3
НАСЛЕДНИК. <i>Роман</i>	9
АРДЕННСКИЕ СТРАСТИ. <i>Роман</i>	213
ДВА БОЙЦА. <i>Повесть</i>	443
РАССКАЗЫ	
Дело под Картамышевом	505
Мадонна придорожная	528
Поездка в Цербст	543
Предвестие истины	564
Армения! Армения!	588
Кармелина	611
Безумный друг Шекспира	619
Власть событий	629
Помнишь Хемингуэя?	646
Андрей Платонов	654
Фермент долговечности	658
Итак, я жил тогда в Одессе...	661

Славин Л. И.
С47 Наследник; Арденнские страсти: Романы; Два бойца: Повесть; Рассказы/Вступ. статья А. Туркова.— М.: Худож. лит., 1990.— 671 с.
ISBN 5-280-01109-6

В книгу известного советского писателя Льва Исаевича Славина (1896—1984) вошли романы «Наследник», «Арденнские страсти», повесть «Два бойца», а также рассказы разных лет, свидетельствующие о широком круге интересов автора.

С $\frac{4702010201-149}{028(01)-90}$ 46-90

ББК 84Р7

Лев Исаевич Славин НАСЛЕДНИК

Редактор *А. Краковская*
Художественный редактор *Е. Ененко*

Технические редакторы
А. Кашафутдинова, Л. Заселяева

Корректор *И. Лебедева*

ИБ № 5799

Сдано в набор 13.07.89. Подписано в печать 14.03.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 35,28 + вкл. = 35,33. Усл. кр.-отт. 35,38. Уч.-изд. л. 37,8 + вкл. = 37,84. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3559. Заказ № 196. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

